

ДЮрий
ружников

УЗНИК России



России

УЗНИК



ДЮрий
ружников

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ

УЗНИК РОССИИ

По следам неизвестного Пушкина

Роман-исследование

Трилогия

Москва
«Голос-Пресс»
2003

УДК 882
ББК 84 (2Рос-Рус)6
Д 76

ISBN 5-7117-0389-7

© Оформление. Издательство «Голос-Пресс». 2003
© Дружников Ю. И. 2003

ИЗГНАННИК САМОВОЛЬНЫЙ



Хроника первая

*...Изгнанник самовольный,
И светом, и собой, и жизнью недовольный,
С душой задумчивой.*

Пушкин. «К Овидию»,
26 декабря 1821
(II.63)

Глава первая

ПУШКИН СОБИРАЕТСЯ ЗА ГРАНИЦУ

*Краев чужих неопытный любитель
И своего всегдашний обвинитель...*

Пушкин, 30 ноября 1817 (1.281)

Летним вечером 1817 года в Петербурге маститый поэт и будущий переводчик на русский язык гомеровской «Илиады» Николай Гнедич познакомил в театральном антракте двух поэтов. Один из них, Павел Катенин, был гвардейским офицером, дослужившимся три года спустя до полковника, и драматургом. Другой... Этот другой молодой человек прогуливался вместе с Гнедичем. «Вы его знаете по таланту, — представил Гнедич Катенину своего спутника, — это лицейский Пушкин»¹. На самом деле Пушкин уже получил чин 10-го класса, то есть коллежского секретаря, и был зачислен на службу в Министерство иностранных дел. Гнедич, конечно, это знал, а «лицейский» означало «тот самый, который был в Лицее».

По-видимому, разговор между ними пошел о продолжении знакомства, но выяснилось, что это сейчас невозможно. «Я сказал новому знакомому, — пишет в воспоминаниях Катенин, — что, к сожалению, послезавтра выступаю в поход, в Москву, куда шли тогда первые батальоны гвардейских полков; Пушкин отвечал, что и он вскоре отъезжает в чужие края; мы пожелали друг другу счастливого пути и разошлись»².

Сомневаться в том, что Катенин запомнил слова Пушкина, не приходится. Исследователи не раз убеждались в достоверности его мемуаров. Катенин не указывает даты знакомства, но, скорей всего, Пушкин сказал ему, что уезжает, 27 августа на представлении драмы Августа Коцебу «Сила клятвы», в которой играла трагическая актриса красавица Екатерина Семенова. Гнедич был ее учителем декламации, а Катенин и Пушкин были актрисой увлечены, не подозревая о соперничестве.

К нашей теме флирт этот не относится, не будем на нем задерживаться. Отметим лишь слова Пушкина, что он вскоре отъезжает в чужие края. Слова «чужие края», «чужбина» были просто синонимами слова «заграница». В те годы образованное общество с ними не связывало никаких негативных оттенков. Итак, после окончания Лицея (а возможно, и еще раньше, но мы не знаем) Пушкин начал думать о поездке за границу. Исполнилось ему восемнадцать.

Мы выделяем факт, отмеченный Катениным, потому, что биографы поэта не упоминали о намерении Пушкина сразу после окончания учения отправиться за границу. Вот, например, как забавно толкуются слова его, сказанные Катенину, что «он вскоре отъезжает в чужие края»: «Пушкин имел в виду свою поездку в Михайловское»³. Выходит, родное поэту Михайловское он назвал «чужие края». Выдающийся пушкинист М.Цявловский в первой и, кажется, последней существующей статье на эту болезненную тему начинает разговор о планах поэта выехать за границу с 1923 года, на шесть лет позже⁴. Через 20 лет жизнь Пушкина оборвется, но за это время великий русский поэт так и не побывает ни разу за пределами империи, — факт, важность которого для него и для страны, где он жил, нам предстоит исследовать.

Голос крови был силен в Пушкине. Может быть, поэтому важно его, так сказать, иностранное происхождение. Предка Пушкина считали негром, потом абиссинцем, т. е. уроженцем страны, которую ныне называют Эфиопией. Ныне доказывается, что африканский прадед поэта Ибрагим, так называемый арап Петра Великого, родился, по-видимому, недалеко от озера Чад, на границе современных Чада и Камеруна⁵. Ибрагим был ребенком, когда началась война с Турцией. Турки вывозили трофеи, ценности, рабов. В конце XVII века мода на чернокожих слуг дошла до России, в их число попал и предок поэта. Журналист с несколько попорченной репутацией Николай Греч говорил, что Ганнибала продали в Кронштадте Петру за бутылку рома⁶. Легенда о том, что Савва Рагузинский привез их в Россию морем, тоже была придумана⁷. На деле, чтобы потешить царя Петра, двух негрятят тайно, в зашторенной кибитке, ввезли через Бессарабию в Россию.

Ибрагима называли Абрамом Ганнибалом. Любопытно, что черный мальчик был в Турции рабом, но оказался в

России свободным человеком — не по прихоти Петра, а по закону, тогда изданному. Для пущего эффекта он выдумал себе аристократическое происхождение. Впоследствии за сметливость и преданность царь произвел его в генералы. Женат Абрам был первым браком на гречанке, а потом на немке или шведке Христине Шеберг, от которой у него были дети. Сын Абрама и Христины Иосиф, ставший впоследствии Осипом, и стал дедом Пушкина⁸. Могилу пушкинского прадеда Абрама Ганнибала в Гатчине революционный народ в 1917 году уничтожил.

Голос предков может оказаться немаловажным фактором в желании покинуть страну, где ты родился, а может и не иметь никакого значения. Желание эмигрировать любители списывать на наличие иностранных кровей компетентные органы в разгар бегства из Советского Союза. В определенные периоды в политической полемике подчеркивалась то чистая русскость Пушкина, то его «интернационализм» или «братская солидарность с другими народами», поскольку негры символизировали угнетаемых в капиталистических странах. Маяковский, имея в виду негритянское происхождение поэта, писал: «Ведь Пушкина и сейчас не пустили бы ни в одну «порядочную» гостиницу и гостиную Нью-Йорка»⁹. Происхождение Пушкина использовалось, чтобы доказать советскому читателю, как хорошо жить в СССР и как плохо в Америке.

В противоречие с традиционным представлением, волосы у Пушкина не были черными, а когда он вырос, перестали виться. Он их не стриг, и они свисали до плеч. «У меня свежий цвет лица, русые волосы», — кокетливо описывал он себя по-французски в стихотворении, когда ему было пятнадцать лет (1.80). Говорил он также, что хочет покрасить волосы в черный цвет, чтобы более походить на арапа. Биограф Пушкина Петр Бартенев записал со слов родственников, что у Надежды Ганнибал, матери Пушкина, были на теле темные пятна¹⁰. Ее называли креолкой. Возможно, такие пятна свидетельствуют о нарушении пигментации кожи, а не о происхождении. Что касается прозвища, оно и вовсе означает потомков европейских колонизаторов в Латинской Америке. Надежда Ганнибал была полушведкой, или, как туманно намекает советский источник, со стороны матери были «рюриковичи»¹¹. Предки другой бабушки, о которой мало что известно — Ольги Чичериной, матери его отца, приехали из Италии.

Род Пушкина по отцу идет от прусского выходца Радши (Рачи), въехавшего в Россию во время княжения Александра Невского. Пушкин упомянул его в своих записках. Когда поэта канонизировали, начали писать, что Радша не немецкого, а славянского происхождения. Имеет ли это значение? Кажется, только для мифа. При всем влиянии генетики, главное — кем Пушкин сам себя ощущал. Он считал себя русским дворянином, это была его национальность. Интеллигентный Вяземский, человек более космополитический, уверял его, что русскости в определенные периоды истории лучше бы стыдиться. Но и гордость Пушкина своим российским рождением вполне имела право на существование.

Тем не менее отдельные черты характера своего африканского прадеда поэт перенял, причем не только лучшие. Мальчиком Абрама Ганнибала пытались выкупить, Петр его не уступил, но отпустил учиться во Францию. С восторгом, даже излишним, правнук описывает его заграничные похождения там, где «ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов» (IV.7). Царь звал Абрама обратно, а тот учился, гулял, вступил в армию, воевал за Францию. Только промотавшись окончательно и запутавшись в любовных интригах, заявил, что готов возвратиться, если пришлют средства на дорогу, что и было сделано. Про жизнь прадеда в России Пушкин не дописал, оборвав записки на полуслове.

Есть подозрение, что Петр сделал Абрама приближенным не случайно. Царь воевал с Турецкой империей, и не исключено, что имел виды не только на Индию, но и на Африку. На этот случай у него была бы, мысля современными категориями, готовая марионетка. Петр умер, оставив сии планы для последующих владык империи. Как бы там ни было, Африку Пушкин называл своей.

Социальное происхождение Пушкина теоретически дало ему определенные привилегии для поездок за границу, и это происхождение следует рассмотреть. Где точно родился Пушкин в Москве, остается не до конца ясным и является предметом споров вот уже полтора века, — такая хлипкость русской истории. Установлено лишь, что родился он в Немецкой слободе и что крестили его в церкви Богоявления в Елохове. Мы жили пару лет в этой бывшей Немецкой слободе после Второй мировой войны — там все оставалось, как в конце восемнадцатого века. Разве что

трамвай громыхал рядом с извозчиками, развозившими дрова по кривым улочкам между развалинами, в которых из каждой заборной щели вылезали люди. Немецких профессоров университета и обрусевшей иностранной интеллигенции там, разумеется, не осталось, большую часть улиц переименовали, и дома вельмож и богатых помещиков заполнила пролетарско-деревенская голытьба.

Во времена Пушкина это был престижный немецкий район недалеко от центра Москвы, в которой жили 300 тысяч жителей (во всей России при Петре было около тринадцати миллионов человек, а при Александре I — около сорока миллионов)¹². Прирост населения империи шел не столько за счет рождаемости, сколько за счет захвата новых территорий. Цивилизация проникала вовнутрь не спеша: первый водопровод, подобный древнеримскому, построили, когда Пушкину было пять лет, и воду стали возить в бочках на лошадях не из реки, а из фонтана в центре города.

Хотя Сергей Пушкин, отец поэта, был сыном богатого помещика, от богатств этих внуку досталось мало. Для утешения самолюбия и продвижения вверх оставалось утверждать знатность рода. Среди предков Пушкина были те, кто подписали грамоту об избрании Михаила Романова на царство. Поэт говорил о шестисотлетних корнях и вставлял своих родственников в художественные описания русской истории, но над ним потешались. А когда в конце девятнадцатого века было составлено подробное описание обрусевших пушкинских корней, выяснилось, что по отцу родословная даже богаче, чем предполагал Пушкин.

Среди его предков выделяются знатные дипломаты и исполнители особых царских зарубежных поручений. Василий Слепец в 1495 году сопровождал княжну Елену в Литовское царство, Василий Пушкин в 1532 году ездил послом в Казанское царство, Евстафий Пушкин — к шведам, Григорий — к полякам и шведам, Степан — послом в Польшу, Алексей Пушкин был сенатором, посланником при датском дворе. Один только Матвей Пушкин в конце XVII века, сопротивляясь тому, что его детей посылали учиться за границу, вызвал ярость Петра. Наследственность как бы поощряла Пушкина ступить на дипломатическую стезю.

Странно, но факт: раннее свое детство Пушкин вспоминал безо всякой охоты, не чтил семейных событий, был

холоден к родителям. Ни разу не упомянул отца или мать в своих стихах, хотя кого он только ни увековечил. В «Евгении Онегине», например, подробно говорится о воспитании героя, его учителях, отце, даже дяде, но нет ни слова о его матери. Переписка поэта с родителями тоже не сохранилась. Родимой обителью, домом он называл Лицей. Перед смертью Пушкин не вспомнил недавно умершей матери, хотя купил могильное место рядом с ней, не попросил позвать к себе родных: отца, забыл о младшем брате и сестре.

Серьезных причин отчуждения от родительского очага поначалу не было. Пушкин был толстым (тучным, по выражению сестры), неуклюжим, малоподвижным. Обижали его не больше других. Воспитание мальчика до Лицея было бессистемным. Единственное, в чем он преуспевал, был французский язык, и читал он много, конечно, по-французски.

Восемнадцатый век в России шел под немецким влиянием. В конце того века и начале девятнадцатого оно сменилось французским, и семья Пушкиных исключением не была. Пушкин рос среди французов, гостивших в доме родителей, и офранцузенных русских. Брат Лев Пушкин вспоминает: «Вообще воспитание его мало заключало в себе русского. Он слышал один французский язык; гувернер его был француз... библиотека его отца состояла из одних французских сочинений». Она была начинена, в основном, эротическими писателями XVIII века и французскими философами, — все это Пушкин читал с детства, что способствовало раннему его созреванию. Пушкинист Б. Томашевский утверждал, что французский был вторым родным языком Пушкина¹³.

Сопоставим русское и французское влияние на формирование Пушкина. Читать и писать по-русски ребенок начал, когда ему было пять или шесть лет. Говорила с ним по-русски бабка с материнской стороны Мария Ганнибал, сама слабо владевшая русской грамотой¹⁴. Дьякон учил Закону Божьему по-русски, когда мальчику исполнилось десять лет. До и после воспитателями его были только французы, как вспоминает сестра. В семье по-русски не говорили. Пушкин учился фехтованию, и эти его учителя (Вальвиль, Гризье) русским владели из рук вон плохо. Я. Грот со слов одноклассника поэта Матюшкина сообщает, что «при поступлении в Лицей Пушкин довольно плохо

писал по-русски»¹⁵. Добавим: лицейских преподавателей это не заботило.

Первый известный нам автограф Пушкина писан по-французски. Первые стихи, написанные им в восемь лет, поэма *La Toliade*. Пушкин пишет много стихов, все по-французски, и сжигает их, так как гувернантка смеется над ними. Девятилетний мальчик сочиняет комедию в духе Мольера и сам ее разыгрывает. Он изображает в лицах любимых героев французских романов. Герои эти жили в Париже, на юге Франции или в Италии. Он воспитывается на французской литературной школе, и это происходит даже тогда, когда он читает Шекспира, Скотта, Байрона, Данте, Гете, Гофмана, потому что их он тоже читает по-французски.

По словам брата (согласитесь, это некоторое преувеличение), к одиннадцати годам Пушкин знал всю французскую литературу. Именно через французский язык он постигал мировую культуру. «...Он был настоящим знатоком французской словесности и истории, — сообщает его сестра, — и усвоил себе тот прекрасный французский слог, которому в письмах его не могли надивиться природные французы»¹⁶.

Что касается творчества, то уже писалось, что «Пушкин выступил как откровенный подражатель французской поэзии»¹⁷. Павел Анненков отмечал, что «в ранней молодости он (Пушкин. — Ю. Д.) писал одни французские стихи, по примеру своего родителя и по духу самого воспитания»¹⁸. В литературе анализируются модели, по которым зрелый Пушкин создавал свои произведения. Типичная модель выглядит так: французское произведение — русские реалии — русское произведение Пушкина. То есть Пушкин накладывал французскую (или другую европейскую) литературную модель на русские события, создавая свое произведение. Европейская литература часто была для него более важным источником сюжетов, нежели русская действительность, по крайней мере, пока он не обратился к документам русской истории. Но и тут западные модели исторических романов лежали на его столе, облегчая поиски формы. Именно французские авторы сделали его европейцем.

Значительная часть из уцелевших его писем написана не по-русски. С семнадцатилетнего возраста он подписывается в письмах и документах *Pouchkine*. Прожив чет-

верть века, он сообщит Жуковскому: «Пишу по-французски, потому что язык этот деловой и мне более по перу» (X.111). Зрелым мастером он напишет Чаадаеву: «...я буду говорить с вами на языке Европы, он мне привычнее нашего» (X.282). Не странно ли, что письма русского поэта мы читаем в переводах его биографов? Всю жизнь язык парижан был ему близок. «Пушкин, по роду своего воспитания, часто и охотно употреблял французский язык в разговоре даже с соотечественниками», — вспоминает современник¹⁹.

Как большинство людей его круга, Пушкин прожил в окружении иностранных вещей и иностранцев. Мебель, книги, украшения, одежда, вина — все было привезено из Европы или сделано в подражание Европе. Все, за исключением привезенного с Востока. Мы забываем, что Татьяна Ларина пишет письмо Онегину по-французски, а автор романа выступает как бы в качестве переводчика. «Когда-нибудь должно же вслух сказать, — писал Пушкин Вяземскому, — что русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии. Дай Бог ему когда-нибудь образоваться наподобие французского (ясного точного языка прозы — т. е. языка мыслей)» (X.120).

В жизни русскую рубаху Пушкин надевал разве что ради потехи, в деревне, когда шел на ярмарку. Среди мужиков он оставался в этой рубахе своим до того момента, пока не открывал рта. Нет, не вторым, а первым и родным языком Пушкина волею обстоятельств оказался французский. Потом поэт стал двуязычным, в стихах и прозе русский язык стал главенствовать. Но — не владей Пушкин языком Вольтера, возможно, не было бы великого русского писателя.

Не случайно со школьной скамьи закрепилась за ним кличка «француз». И спустя годы он сам часто называл себя «Пушкин-француз»²⁰. Кем же он был, этот, как называли бы его радетели чистоты расы или юмористы, офранцузенный русский африканского происхождения с дальними примесями немецкой, шведской и итальянской кровей? Конечно же, настоящим русским человеком и русским писателем, и это существенней всего.

Вот как, однако, оправдывались в советской пушкинистике французские корни поэта и его заимствования из западной литературы, весьма часто без сравнения с первоисточниками (зачем поколениям пушкинистов нужно

было оправдывать эти заимствования, вопроса, надемся, не возникает). «Разумеется, Пушкин не подражал Парни, а вольно варьировал заданную им тему». «Пушкин не был рожден копировщиком, точный перевод был не сроден его натуре...» И даже так: «Обращаясь к иностранным писателям, он подчинял их своим творческим задачам»²¹.

Родители хотели дать сыну, если не европейское, то хотя бы европеизированное образование. Обсуждались два варианта: иезуитский колледж в Санкт-Петербурге и привилегированный пансион, содержавшийся католическим аббатом. Русские учебные заведения, по мнению родни, были недостаточно престижны, да так и было на самом деле. Но в 1811 году правительство решило открыть специальное учебное заведение для детей элиты с целью подготовки высшей чиновничьей аристократии, как это делалось в Англии и Франции.

Миф о Лицее как колыбели русской патриотической знати — особый. На практике все в Императорском лицее, от названия до содержания, заимствовалось из подобных институций, давно существовавших на Западе. Само слово было новым в русском лексиконе, и Пушкин обсуждал, как его писать: лицей, ликей или ликея? Современник вспоминает: «Лицей был заведение совершенно на западный лад; здесь получались иностранные журналы для воспитанников...»²²

Преподавателями были иностранцы и русские; последние получили образование за границей за казенный счет. Александр Павлович подарил Лицею свою юношескую библиотеку, состоявшую в основном из иностранных книг. Лицей разместили в Царском Селе, в императорском дворце, и он выглядел частью семейных покоев царской фамилии. Это был результат замыслов графа Михаила Сперанского, который предлагал обучать в Лицее членов высочайшей фамилии, готовя из них просвещенных государственных мужей. Таким образом, Пушкин мог бы оказаться на одной скамье с великими князьями Николаем и Михаилом Павловичами, то есть стать школьным приятелем Николая I, который был всего на три года старше.

Попасть в Лицей удалось по могучей протекции. Семья задействовала высшие силы, которые оказали содействие. Среди протекторов был Александр Тургенев, директор департамента духовных дел иностранных исповеда-

ний, впоследствии очень близкий Пушкину человек. Когда стало ясно, что члены императорской семьи в Лицее учиться не будут, критерии отбора кандидатов снизились. Дядя Василий Пушкин, поэт со связями, повез племянника в Петербург, взяв с собой любовницу Анну Ворожейкину. Впрочем, он вез в столицу Ворожейкину, а заодно взял племянника. До этого дядя, будучи женат, с вольноотпущенной девушкой «в Париж и прочие немецкие города ездил»²³.

Экзамены оказались для Пушкина при его хорошем французском и наличии у мальчика покровительства пустой формальностью. Сомнения родителей, не сделали ли они ошибку с иезуитским колледжем, вскоре отпали сами собой: два года спустя колледж закрыли, а в 1820 году иезуитов выслали из России. Началось другое, более жесткое время. Пушкину повезло. Либерализма в педагогической концепции иезуитов было меньше: там осуществлялась система аудиторов и внутреннего шпионства каждого за каждым. Отверстия в дверях для подглядывания за учащимися в Лицее отсутствовали.

Открытие Лицея произошло в волнующее время. Считанные месяцы отделяли страну от войны с французами, когда освободившая себя Россия сумела не только не стать жертвой, но, напротив, сама прошла через пол-Европы до Парижа. После войны общество спешило жить, восстанавливать и развивать свои духовные силы и ценности, пополненные французскими. Азиатское смешалось с европейским: разные образы жизни, языки, обычаи, вещи, лошади, книги, люди. Смешалась кровь, ибо в русских деревнях родилось неподдающееся учету число французских детей, а в Европе — русских.

В России складывалась интеллигенция с ее особыми стремлениями, надеждами на лучшее время. У этих надежд были основания. Выразители официального мнения печатно радовались победе русского оружия, и юный Пушкин был подвержен общему пафосу. Но были и такие, кто осознал, что победа французов в России могла стать подлинным благом. Офицер и будущий декабрист Федор Глинка не случайно иронизировал по поводу идеи переименовать русских в северных французов.

Франция не только показала, но и внесла бы в жизнь более высокую культуру, — бытовую, экономическую и духовную. Наполеон мог бы сделать то, на что России понадобилось еще полстолетия: отменил бы непродуктивное

крепостное право, открыл границу и создал более совершенный общественный строй, как в европейских странах. В России появились бы надежды на конституцию и права человека, рожденные французской революцией: европейский демократизм под контролем ограниченной монархии. Карл Маркс, например, тоже считал, что была бы удачей для деспотической России победа над ней более демократической Франции. Для первого марксиста Наполеон был распространителем «плодов французской революции». Быть Европе республиканской или казацкой — вот какой была альтернатива, неудобная для советской историографии²⁴. Позже мысль о благе оккупации для России, нам кажется, проскользнула и у повзрослевшего Пушкина. В стихотворении «Наполеон» поэт писал о той роли, какую Наполеон мог сыграть для Российской империи:

Когда надеждой озаренный
От рабства пробудился мир... (II.57)

Западные влияния и роль европейской ориентации лучшей части русского образованного общества обычно уменьшаются в российской исторической литературе. Правящий аппарат в России во все времена был привержен патриотизму. Исключение составлял, как ни странно, царь Александр I.

Взращенный на идеях французского просвещения благодаря мудрым иностранным наставникам, он с готовностью осваивал аксиомы цивилизованного общества, на которые в России наложено табу. Александр Павлович женился, когда ему было 15 лет, на Баденской принцессе Луизе-Марии-Августе, названной в миропомазании Елизаветой Алексеевной. Это произошло в год, когда Екатерину всерьез встревожили ветры французской революции.

Вначале Пушкин называл Александра якобинцем (X.701), а затем самодержцем, умеющим уважать человечество и смягчившим строгость Петровских законов (VII.242). Швейцарец Лагарп, воспитатель и своего рода духовный отец царя, сохранил письма, в которых молодой великий князь Александр Павлович писал, что желает свободных учреждений для России и даже отмены династического наследия власти.

Лагарп говорил, что из Александра он хочет сделать Марка Аврелия, но русское окружение предпочитает, что-

бы царь стал Чингисханом²⁵. Юный Александр обещал, что даст России свободу и конституцию западного образца, а затем отречется от трона и уйдет в частную жизнь «на берега Рейна» (т. е. в Германию). Позже он решил удалиться в Америку²⁶. Мысль спастись в Америке овладела Александром, когда он понял, что его бабка Екатерина хочет отстранить от престола своего сына и сделать царем внука. Услышав об этом, внук ответил бабушке ласковой благодарностью, но за спиной царицы говорил, что хочет уклониться от власти. Так началось его раздвоение²⁷.

Александр действительно отправился в Вену, но не в качестве эмигранта, а уже царем подписывать жесткий акт о разделе Европы. Мы не знаем, возникало ли у него в процессе царствования желание оставить корону, скипетр и державу и эмигрировать в Америку. Но известно, что он глубоко презирал страну, которой ему приходилось управлять.

В самом деле, нет более рискованного занятия, чем управлять Россией, и даже самые ловкие деспоты готовили себе укрытие в эмиграции на случай, если придется бежать. Иван Грозный договаривался с королевой английской Елизаветой о предоставлении убежища на случай смуты, а после собирался жениться на англичанке. И снова просил о взаимном укрытии. На взаимность Елизавета не пошла, но Ивану убежище обещала.

Несколько александровских лет были, так сказать, эпохой гласности. Смягчены законы, упразднена тайная полиция, дворянство дышит европейским воздухом, получает европейское образование. Налицо почти что просвещенный абсолютизм, тот самый, за который ратовали и пострадали Радищев и Новиков, чьи имена перестали быть под запретом. «Дней Александровых прекрасное начало», — вспомнит Пушкин, когда этих дней уже не будет (II. 113).

Первое сохранившееся письмо шестнадцатилетнего подростка исполнено чувства «любви и благодарности к великому монарху нашему» (X. 7). Пушкин допишет к молитве «Боже, Царя храни» две строфы для исполнения на годовщине Лицея. Он искренне верит в благодеяния царя. Позже Иван Тургенев назовет александровскую эпоху знаменательной в развитии и России, и Пушкина²⁸.

Но и в либеральное время Санкт-Петербург оставался столицей гигантской военной империи. Повсюду маячат казармы, на площадях гарцуют полки, военная карьера престижна, на улицах и на балах много офицеров, а южная

Россия обрастает военными поселениями, окруженными могилами солдат, засеченных в назидание еще живым. Фабрики отливают пушки, ткнут паруса, за границей закупается новое военное снаряжение, в генеральном штабе отрабатываются стратегические планы — срочные и на годы вперед, дипломатическая машина ищет слабые звенья в альянсах иностранных держав.

Александр оказался лишь временным владельцем не им созданного гигантского механизма, управляющего российским обществом. Численность русских войск увеличивалась постепенно от Петра I до Первой мировой войны с 200 тысяч до 4 миллионов, то есть в 20 раз. К середине девятнадцатого века на содержание армии в России приходилось 45—50 процентов всех расходов государства. На образование — один процент²⁹.

Россия вела столько сражений, что переходы от мира к войне были подчас незаметны, страна находилась в состоянии почти непрерывной войны. Уже в наше время подсчитано, что в течение четырех столетий Россия захватывала в среднем пятьдесят квадратных километров ежедневно. Русские войска оказались в Париже. Если, не дай Бог, это состоится в будущем опять, пропаганда станет утверждать, что Париж принадлежит русским с 1813 года и они лишь освобождают свой город. Зрелый Пушкин приводит скромное высказывание Екатерины II: «Ежели б я прожила 200 лет, то бы конечно вся Европа подвержена б была Российскому скипетру»³⁰.

Веками жизненная энергия русской нации направлялась на захват чужих земель. И в противоречие с этой исторической логикой Наполеон напал на Россию, а не наоборот. Россия испытала прелести оккупации на себе. Но вот русская армия вернулась из Европы. Раньше поездки за границу были привилегией сравнительно узкого круга лиц. Теперь сотни тысяч русских очутились в Европе, в таком же, но и отличном от России мире, с иными традициями, другой культурой. Офицеры привозили домой целые библиотеки, распространяя таким образом на Руси западные духовные ценности. У многих происходило перерождение души от сопоставления того, что они узнали и с чем столкнулись, вернувшись назад. Это вело думающих людей к оппозиции.

Собираться «поговорить» становилось традицией, до того неизвестной. Нашупывались точки соприкосновения

России с Западом, и их оказывалось много. Искались преимущества других религий, находились православные, принимавшие католичество. Развивалось масонство с его заповедью служить человечеству, иметь братьев во всех концах Вселенной. Пушкин, как многие другие, естественно, тянулся к этим соблазнительным идеям.

В 1815 году произошло событие, суть которого стала понятна не сразу. После победы Россия выступила на Венском конгрессе с притязаниями на право решать судьбы других стран Европы, и Европа с этим мирно согласилась. Усилилась роль русской дипломатии на мировой арене, появилась реальная возможность устрашать других не только оружием, но и путями переговоров и тайных влияний. В каком-то плане Лицей стал школой для подготовки дипломатической элиты, способной распространять русскую великодержавную идеологию в новых условиях.

Тогда же наступило похолодание в политике внутри страны. В течение последующего десятилетия развивается тайная полиция, сеть доносчиков, цензура, репрессии по отношению к инакомыслящим. Незазванной задачей деятельности правительственного аппарата стало тормозить социальный прогресс. Следует оговорить, однако, что в 1817 году эта политика еще не распространялась на прозападную ориентацию культуры и систему элитарного образования.

Французский язык царскосельского лицеиста Пушкина звучал лучше, чем у его сверстников. Но, как выяснилось при общении с офицерами, вернувшимися из Франции, выученный по книгам с помощью не очень образованных гувернеров язык оказался тяжеловатым, несколько старомодным. А реальный французский был живым, игривым. Французское воспитание и реальная русская жизнь увязывались между собой еще меньше, хотя Пушкину с бытом простых людей приходилось соприкасаться весьма мало.

Восторженные сочинения Пушкина о Лицее не всегда адекватны реальной картине. В сущности, это была смесь монастыря с военным училищем, в котором читались некоторые европейские предметы. Учение Пушкин назвал «заточением» и жизнью «взаперти» (X.8). Барон Модест Корф вспоминал, что свободы передвижения в Лицее не было никакой, комнаты воспитанников назывались каме-

рами, за провинности наказывали стоянием на коленях. Пушкин стоял однажды две недели — за утренними и вечерними молитвами³¹.

Говорили, что за шесть лет учения лишь двух воспитанников выпустили в Петербург по случаю тяжелой болезни родителей. Первые три или четыре года не пускали порознь даже в сад. Родители могли при посещениях находиться с воспитанниками только в общей зале или на общей прогулке. Свои книги у лицеистов отобрали сразу. Сочинять тоже было запрещено: писали украдкой. Потом, правда, разрешили держать книги и даже издавать самодельные журналы (апологетические, конечно), разумеется, под контролем. Немудрено, что, оставаясь без контроля, лицеисты набрасывались на недозволенное с полным максимализмом юности.

Но дух западного либерализма отразился в лицейской программе, насытив ее предметами, изучение которых доставило бы наслаждение нам с вами. Закон Божий и священная история, языки, древние и новые, иностранные литературы, общая история с пристрастным вниманием к трем последним векам, нравственная философия (странно звучащее сегодня название, будто была и безнравственная философия как предмет; впрочем, через полвека именно такая появилась). А еще — логика, физика и география, статистика иностранная и отечественная (в сущности, элементы социологии), политическая экономия и финансы, право естественное (то есть права человека), право частное и публичное, право гражданское и уголовное, чистая математика и прикладная, полевая фортификация и артиллерия, наконец, фехтование.

К этому надо добавить частые посещения лучших писателей и ученых, в том числе иностранных. Двойное покровительство императора, официальное и дружеское, и опека членов царствующей семьи заменяли отсутствующих родителей. Пушкин в темном коридоре подкараулил и прижал к стене, приняв за горничную, княжну Волконскую, сердитую старую деву. По одной версии, царь сказал, что берет на себя адвокатство, защитив Пушкина, по другой — государь приказал Пушкина высечь. Позже юный поэт получил золотые часы с цепочкой от императрицы Марии Федоровны за сочинение оды в честь принца Оранского. Согласно легенде, Пушкин разбил часы о каблук, что, с точки зрения некоторых послеоктябрьских пушки-

нистов, свидетельствовало об антимонархизме и революционности его убеждений.

Клички его меняются. Француз — самая из них нейтральная, но и она после войны с французами стала ругательством³². Воспоминания одноклассника и соседа Пушкина барона Корфа, откуда взяты эти сведения, опубликованы с сокращениями в 1974 году и вовсе изъяты из переиздания мемуаров барона в 1985 году. Корф будто предвидел это: «...тот, кто даже и теперь еще отважился бы раскрыть перед публикой моральную жизнь Пушкина, был бы почтен чуть ли не врагом отечества и отечественной славы»³³. Другая кличка Пушкина, Обезьяна, возможно, связана с его непоседливостью и специфическим выражением лица. Грибоедов потом звал его Мартышкой. Третья — Помесь обезьяны с тигром — отражала его несдержанный темперамент. Коллеги по «Арзамасу» называли его Сверчком — прозвище более пристойное для графомана и говорящее о его болтливости. «Я не умен и не красив», — шутит он в стихах и вдохновенно рисует свои профили.

В успехах Пушкину было трудно конкурировать с серьезными сверстниками, и принуждение, возможно, способствовало его образованию. Французского оказалось недостаточно, хотя по этому языку он был на втором месте. Он овладел латынью, но далеко не лучше других знал античную литературу: многие оказались эрудированней его. Через год занятий Пушкин занимает лишь 28-е место (начав с четырнадцатого). Даже в стихах (часть он пишет по-французски) у него есть более удачливые соперники.

Его интересы обычны для подростка: чтение, шалости и открытие волнующих прелестей прекрасного пола, которые он описывает на двух языках двумя способами: элегантными литературными ассоциациями и по-русски — в лоб. «Лишь тобою занят я...» — сохранившееся его стихотворение «К Наталье» обращено к крепостной актрисе (I.9). Игру с судьбой он начал с этого имени и закончил им. Юный стихотворец перечисляет здесь национальности, к которым он мог бы примкнуть: он арап, турок, китаец, американец, немчура, — кто угодно, только почему-то не русский. Впрочем, он пока всего лишь монах, то есть лицеист. А вокруг него монастырь, ему тесно и душно. Не потому ли участники событий, описанных в другом стихотворении («Монах»), помчались в Париж, в Ватикан, в Иерусалим? (I.14 и 22) У мальчика-автора уже скепсис:

Но ни один земли безвестный край
Защитить нас от дьявола не может. (I.13)

Во второй строчке первые два слова лучше бы поменять местами, но это для юного сочинителя не существенно. Суть же не придумана им, а заимствована у западных романтиков. Делать свою жизнь он, став взрослым, мечтал по образцам кумиров Европы: Вольтера, Наполеона, Байрона. Главное для него — честолюбие. Стихотворец стремится к мировому признанию, просит Вольтера одолжить ему лиру, чтобы стать известным всему миру. На меньшее он не согласен, но если попросили, охотно сочиняет оду «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году», и дядя-поэт с удовольствием пропагандирует стихи племянника.

Пушкин не терпит насилия над собой, называя себя «несчастливым царскосельским пустынножителем», которого дергает «бешеный демон бумагомарания», и жалуется: «Безбожно молодого человека держать взаперти» (X.8). Строго упрекает мальчика уже в наше время Андрей Синявский: «Блестящее и поверхностное царскосельское образование... отсутствие строгой системы, ясного мировоззрения, умственной дисциплины, всеядность и безответственность автора в отношении бытовавших в то время фундаментальных доктрин»³⁴. Оценка в каком-то смысле точна фактически, и с точки зрения психологии личности вряд ли негативная. Скорее, наоборот: разве что у ретивых комсомольцев в определенные периоды советского государства можно было обнаружить ясное мировоззрение и ответственность в отношении доктрин, да и то чаще напоказ.

Разумеется, воспитывать патриотические чувства было основной задачей Лицея. Однокашник Пушкина Антон Дельвиг в стихотворении «Тихая жизнь» с тонкой иронией, свидетельствующей о понимании сути патриотических наставлений, идущих сверху, писал:

Блажен, кто за рубеж наследственных полей
Ногою не шагнет, мечтой не унесется...³⁵

Пушкин становился европейским человеком. Позже поэт Василий Туманский назовет его человеком «столь европейском по уму, по характеру, по просвещению, по стихам, по франтовству...» (Б.Ак.13.326).

Директор Лицея Егор Энгельгардт понимал, что ветер дует из-за рубежа, принося свежие идеи. Там шла богатая духовная жизнь, и подростки подхватывали крупицы ее. Лицей самим существованием своим отражал присущее всякой российской структуре противоречие формы содержанию. Форма заимствовалась с Запада, но из нее изгонялся западный дух. В лицейском саду посадили семена просвещения Западной Европы, а затем огородили сад высоким забором. Директор отмечал у Пушкина в качестве недостатков французский ум и страсть к сатире. В последнее понятие он вкладывал то, что мы теперь называем словом «критиканство». К этому можно, по-видимому, прибавить и ранний скепсис.

Глава вторая

«ПЕРЕСЕЛИТЬ ЕГО... В ГЕТТИНГЕН»

Оставим наскоро Россию.

Пушкин (I.139)

Александр Тургенев писал брату Сергею о Пушкине: «Удивительный талант и добрый малый, но и добрый повеса»³⁶. Последствия лицейского образования понимали и старшие друзья его. «Я бы желал переселить его года на три, на четыре в Геттинген или в какой-нибудь другой немецкий университет, — писал Жуковский Вяземскому. — Даже Дерпт лучше Сарского Села»³⁷. Батюшков в письме к Тургеневу, который мог бы оказать и в этом Пушкину протекцию, намекал: «Не худо бы его запереть в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикою... Как ни велик талант Сверчка, он его промотает...»³⁸

Геттинген окончили три брата Тургеневы. Жуковский, будучи молодым, тоже мечтал о загранице. Он раздобыл деньги и собрался в тот же Геттинген учиться, а потом жить в Париже и путешествовать по Европе, но началась война с Францией, и поездку пришлось отложить.

Возможно, оказался тогда Пушкин настойчивей, он выехал бы учиться в Германию, которую по недостатку зрительных ощущений спутал с Англией и назвал «туманной». Но отъезда не произошло. И не только по его юношескому

легкомыслию или недостатку средств у семьи. Помимо прочего, Геттинген не соответствовал его интересам «француза». Немецкий не давался ему с детства. Он не любил его учить, хотя принимался несколько раз, каждый раз забывал и начинал с азов. Но не случайно героем «Евгения Онегина» станет геттингенский студент Ленский.

Лицеисты вышли в свет. Они проводили время вольно, вошли в кружки и компании, попали в дома к царскосельским знаменитостям. Первый среди гуляк, Пушкин веселился с гусарскими офицерами. Тут были и значительные знакомства. Например, сойдясь у Карамзиных с Петром Чаадаевым, Пушкин зачастил к нему в казарму. Золотое время, когда все впереди и все в радужных тонах, — зачем ему туманный Геттинген?

Литературную, писательскую карьеру Пушкин всерьез поначалу не рассматривал; он просто писал стихи. Перед ним открывались два пути, обеспеченных полученным образованием: карьера военного и карьера дипломата. Оба варианта сулили неплохо обеспеченную за казенный счет жизнь, волю и утехи.

Еще до выпуска Пушкин просил у отца разрешения поступить в лейб-гвардии гусарский полк, но для этого требовались большие деньги. Кроме того, до Сергея Пушкина доходили рассказы о гусарских распущенных нравах, и отец предпочел разрешить сыну поступить в полк гвардейской пехоты. План этот оказался несерьезным. Хороших предложений не было.

Карьерой, к которой стремилось большинство лицеистов, была дипломатия. Советский пушкинист Д.Благой сформулировал суть дела так: «Утешало Пушкина и то, что дипломатическая служба несла с собой возможность «увидеть чужие страны», то есть попасть за границу, общая черта всей либерально настроенной, томившейся в путах русской «азиатчины» молодежи того времени. Эту мечту, и в пример своим военным мечтам, довольно скоро им брошенным, Пушкин питал в течение всей своей жизни, но ей также никогда не суждено было сбыться»³⁹.

Добавим, что именно внешняя часть дипломатической службы — заграничная жизнь — привлекала Пушкина, к сути же, к повседневным обязанностям и труду служащего Министерства иностранных дел он относился весьма иронично.

Царь управлял внешней политикой единовластно и сам назначал чиновников, которые будут эту политику осуществлять. Имена окончивших Лицей поделили на два списка: выпускавшихся в военную службу и в гражданскую. Во втором списке вверху оказался Александр Горчаков, Вильгельм Кюхельбекер значился на третьем месте, Пушкин — на четырнадцатом. В зависимости от успехов в учении лицеистам была обеспечена гражданская служба с чинами от XIV до IX класса Табели о рангах. Пушкину, выпускнику Лицея четвертым от конца, самим Александром I был определен X класс и звание коллежского секретаря.

Министерство иностранных дел было создано в 1802 году, но по инерции часть дел сохранялась за Коллегией, каковой это Министерство было с Петровских времен. К моменту, когда туда пришел Пушкин, Коллегия превратилась в некий отстойник, прибежище для молодых людей, зачисленных на службы сверх штата, резерв для канцелярии министра и дипломатических миссий. В высочайшем именном указе царя от 13 июня 1817 года говорится: «Его Императорское Величество всемилостивейше соизволили из числа выпущенных из Царскосельского лицея воспитанников: князя Александра Горчакова... Вильгельма Кюхельбекера... и Александра Пушкина... определить согласно желанию их в сию Коллегию»⁴⁰.

Со званием коллежского секретаря Пушкин был взят на службу в Коллегию и мог начинать делать карьеру. Царь Александр Павлович распорядился выделить из казны по 10 тысяч рублей на экипировку тех лицеистов, которые победнее, и выплачивать каждому стипендию не менее 700 рублей ассигнациями, пока тот не станет работать. Жалование чиновникам по всей империи выплачивалось раз в месяц — 20-го числа. «Человек двадцатого числа» — синоним слова «чиновник». Александр Пушкин перед намечавшимся выездом за границу стал человеком двадцатого числа; жалование должно было повыситься при поступлении на штатное место. Весьма вероятно, что это место Пушкин видел для себя за границей.

Все делалось бюрократически методично, без хлопот со стороны самого Пушкина. Через пять дней после окончания Лицея, 15 июня 1817 года, его вызвали в Министерство иностранных дел — красивое здание с колоннами на Английской набережной. Здесь он увидел своих лицейских

однокашников Кюхельбекера и Горчакова, а также недавнего знакомого и тезку Александра Грибоедова.

По указанию священника Сенатской церкви Никиты Полуховича каждый из четверых в присутствии свидетелей прочитал присягу на верность престолу и отечеству и «руку приложил». Подписавший обязывался верой и правдой служить государю императору и отечеству. Документ этот сохранился: указ Петра Великого «О присутствующих в Коллегии иностранных дел». В «Книге расписок лиц, поступающих на службу в Московский главный архив Министерства иностранных дел», есть подпись: «Читаль 10-аго класса Александръ Пушкинъ 1817 июня 15»⁴¹.

Задержимся на остальных трех молодых чиновниках, также подписавших присягу. Первый, Кюхельбекер, через три года будет уволен со службы по его просьбе и уедет за границу секретарем богатого вельможи Александра Нарышкина. Будет читать лекции в Париже и путешествовать по Европе. Станет декабристом, выстрелит в великого князя Михаила Павловича. Попытается бежать за границу, но будет схвачен в Варшаве, присужден к смертной казни, замененной вечными каторжными работами, и закован в кандалы. Пушкин случайно встретит арестанта, перевозимого из тюрьмы в тюрьму.

Второй, князь Горчаков, быстро продвинется в крупные дипломаты, будет работать во многих странах, станет другом Бисмарка. Ему придется заниматься сватовством членов царственной фамилии за границей. Став министром, Александр Горчаков окажет большое влияние на положение России в мире. Будучи российским государственным канцлером, князь умрет в Германии восьмидесяти пяти лет от роду.

Третий, Грибоедов, через год отправится секретарем дипломатической миссии в Персию. В сочинениях будет высказывать идеи, противоположные тем, которые осуществлял как чиновник. Окажется под следствием по делу декабристов, но счастливо избежит их участи, а позже будет зарезан при разгроме русской миссии в Тегеране. Трое, принявших присягу, считались пиитами. Тогда же присягу подписали еще четверо выпускников Лицея.

В начале восьмидесятых двадцатого столетия мы отправились поглядеть на красивое двухэтажное здание Архива Коллегии иностранных дел, отлично отреставрированное, которое занимал Московский горком комсомола.

Переводчик Пушкин бывал в этом здании много раз, здесь числились на службе и многие его друзья. Кстати, напротив в таком же старинном особняке по иронии судьбы разместилось советское учреждение, как раз ведающее выездом за границу — ОВИР.

Бывшие лицеисты готовились ехать «на чужбину» — служить в русских посольствах и миссиях, путешествовать, отдыхать, просто посмотреть других и показать себя. Собираясь вместе, мечтали о загранице. Карамзин описывает одну такую встречу. «Несмотря на ветер, довольно сильный, мы с женою, с детьми, с Тургеневым, Жуковским, Пушкиным (которые все у нас жили в Петергофе) сели на катер и носились по волнам Финского залива часа два или более; одна из них облила меня с головы до ног — но мы были веселы и думали о том, как бы съездить морем подальше!»⁴² Осенью 1818 года Пушкин провожает за границу Константина Батюшкова, которому составил протекцию Александр Тургенев. Батюшков говорил, что служба в Италии есть мечта всей его жизни, его сокровенное желание. Он уверял Тургенева, что в слове «Италия» для него заключаются «независимость, здоровье, стихи и проза»⁴³. Весной 1817 года Батюшков поехал лечиться в Одессу, а там получил письмо Тургенева, что поэта ждет место в дипломатической миссии в Неаполе.

Перед отъездом Батюшков и Пушкин часто встречаются, о чем-то договариваются. Тургенев писал в Варшаву Вяземскому: «Вчера проводили мы Батюшкова в Италию. Во втором часу, перед обедом, К.Ф.Муравьева с сыном и племянницею, Жуковский, Пушкин, Гнедич, Лунин, барон Шиллинг и я отправились в Царское Село, где ожидал уже нас хороший обед и батарея шампанского. Горевали, пили, смеялись, спорили, горячились, готовы были плакать и опять пили. Пушкин написал *impromptu* (экспромт. — Ю. Д.), которого послать нельзя, и в девять часов вечера усадили своего милого вояжера и с чувством долгой разлуки обняли его и надолго простились»⁴⁴.

Александр Тургенев предпринимал усилия, чтобы Пушкин отправился служить по дипломатической части. Не исключено, что направление поэта на службу произошло с его участием для этой, следующей цели. Государь был сильно расположен к Тургеневу, подарил перстень с шифром, министр Каподистрия ни в чем не отказывал. «Теперь остается только пристроить Пушкина», — писал Тургенев

Вяземскому⁴⁵. Пушкин, по-видимому, рассчитывал на такую же синекуру, которая выпала Батюшкову. Не стал бы Тургенев хлопотать в верхах, не имея от Пушкина согласия.

Выпускники начинают разъезжаться, провожая друг друга и договариваясь не забывать Лицея. А Пушкин только провожает и остается. Представим себе этого молодого человека, который — как бы он ни был честолюбив — не подозревает о роли, которую ему предстоит сыграть в истории страны, где он родился.

Вот он идет по Невскому, элегантен и чуть неряшлив, в широком черном американском фраке (точнее *a l'americaine*) и французской шляпе, маленького роста, по-видимому, на каблуках. Мы с вами почти точно знаем, что он говорит, встречаясь с приятелями, как оживает, увидев в проезжающем экипаже хорошенькую женщину, даже о чем думает. Его мысли, привычки, взгляды часто меняются. Но если верить Шопенгауэру, характер человека остается неизменным в течение всей жизни. Позволим себе одно добавление, важное для нашего исследования: жизненные цели и даже методы, которыми Пушкин пытался их достичь, тоже не менялись до последних его дней.

Иван Тургенев указал на парадокс личности Пушкина: он получил французское воспитание, но был «самым русским человеком своего времени»⁴⁶. Вопрос, однако, в том, определено ли определение «самый русский»? Кто, вообще говоря, «самее» выражает русский дух: Иван Грозный? Курбский? Малюта Скуратов? Пугачев? Новиков? Достоевский? Нечаев? Савва Морозов? Бердяев? Иван Бунин? Ленин? Ежов? Сахаров? Горбачев? Не станем перечислять разнообразных наших современников. Если сузить список и рассмотреть русских людей пушкинского времени, то и в этом случае спектр окажется достаточно разбросанным: Карамзин, Александр I, Бенкендорф, Лунин, адмирал Шишков, Николай I, Чаадаев... Почему же «самый» именно Пушкин?

Нам кажется, просто писателю Ивану Тургеневу был ближе духовно, особенно своей европейской ориентацией, именно писатель и именно Пушкин. А в действительности перечисленные выше и многие другие — все «самые русские», все, причем по-разному, выражают русский дух, и Пушкин не больше других.

Официальный литературовед В.Кирпотин писал: «Пушкин — дитя европейского просвещения, выросшее на рус-

ской почве». Представляется, что эта оценка точнее тургеневской. В ряду наших великих писателей едва ли найдется другой столь беспокойный человек, как Пушкин, «не по-русски живой», — добавлял Кирпотин⁴⁷. Интересно, что эта прозападная оценка Пушкина проскочила в печать накануне 1937 года.

По мнению Ю. Тынянова, русские гены в Пушкине были — легкомыслие и пустодумие. Пушкин оценил себя сам, подписав однажды письмо: «Егоза Пушкин». А ганибальская стихия — это яростные страсти, жизнелюбие и жажда свободы.

Еще более узко сформулировал сверхзадачу жизни Пушкина автор советского журнала «Вопросы литературы»: в ранней юности у Пушкина возникает «нечто такое, что хотелось бы назвать целеустремленной свободой»⁴⁸. Понятие «целеустремленная свобода» весьма удобно тем, что его можно трактовать по-разному в зависимости от исторической и политической ситуации. В период, о котором идет речь, все, как нам представляется, работало на Пушкина. С такими предками (то есть с такой биографией), с таким знанием иностранного языка и культуры, с таким образованием и службой, с таким скепсисом по отношению к России, неутоленным интересом ко всему мировому и, прибавим, с такой холодностью к семейным привязанностям, — если кому из русских и следовало уехать и жить за границей, так именно Александру Пушкину.

Есть люди, с детства предназначенные быть эмигрантами. Он же сделался государственным чиновником, как многие образованные люди в той стране, но ему нужно было больше воздуха, чем большинству. Все готовы были исполнять, он хотел — пока еще неосознанно — творить. Через несколько лет он назовет себя министром иностранных дел на Парнасе, которого отстранили от дел (X.98). Комментаторы будут добавлять одно слово: на русском Парнасе. Но Пушкин этого слова не писал. Парнас для большого поэта един, универсален, всемирен.

Чиновничья стезя, однако, его не привлекала. Так и случилось: на службе следующий чин титулярного советника он получил через 15 лет, тогда как его однокурсники становились титулярными советниками сразу после Лицея. Понимал ли он тогда, что если ехать за границу, то это нужно делать немедленно? Сознавал ли, что момент благоприятный, что чиновником, да еще мелким, выехать

сравнительно легко, пока числишься в законопослушных? Ответить на эти вопросы мы не можем.

Первое, что делает Пушкин, устроившись на службу, — в преддверии заграницы он берет отпуск на два с половиной месяца для приведения в порядок домашних дел и вскоре уезжает в Михайловское. Самое раннее, дошедшее до нас послелицейское стихотворение навеяно впечатлениями от дороги туда:

Есть в России город Луга,
Петербургского округа;
Хуже не было б сего
Городишки на примете,
Если б не было на свете
Новоржева моего. (I.275)

Однако, не досидев до конца отпуска, Пушкин простился с Михайловским и возвратился в Петербург. Ему предстоит проводить за границу лицеяского приятеля Федора Матюшкина, отправляющегося в кругосветное путешествие на военном шлюпе «Камчатка» во главе с капитаном Головиным.

Матюшкин был родом из Германии, из семьи русского дипломата, крестили его в лютеранской церкви из-за отсутствия православной. Свой путь — морское путешествие — Матюшкин выбрал под влиянием Пушкина, который убедил его наблюдать мир и вести дневник. В Лицее и сам будущий поэт мечтал о морских путешествиях⁴⁹. Когда Пушкин вернулся из Михайловского, Матюшкин был уже оформлен на корабль. Капитан Головин предупредил, что если тот не справится со своими обязанностями, оставит его в Англии.

26 августа 1817 года Пушкин отправился вместе с Матюшкиным по Неве из Петербурга в Кронштадт, откуда в открытое море уходили корабли. Сидя в каюте на шлюпе, ужинали, договаривались встретиться в чужих краях, как только Пушкин там окажется⁵⁰. «Ты простирал из-за моря нам руку», — вспомнит он их разговоры через восемь лет (II.245). Матюшкин позднее дослужился до адмирала, стал сенатором. Именно он предложил поставить известный памятник поэту в Москве.

На следующий вечер после проводов, 27 августа, Пушкин и Катенин, как мы знаем, познакомились в театре. О том, что сам он собирается за границу, Пушкин сказал рав-

нодушно, как о деле решенном («вскоре отъезжает»). Значит, прошение уже было подано, и в ближайшее время он ждал разрешения на выезд. Надолго ли собирался он в Европу? Если служить по дипломатической части, то это зависело от начальства. Если же путешествовать, то при его склонности к прожиганию жизни он оставался бы там, пока хватало средств к существованию, потом возвращался бы налаживать дела в имении, откуда текли доходы, проводил время в обеих столицах на балах. Ну и снова отправлялся на жительство в Париж или Рим.

Однако мысль об отъезде навсегда на ум поэту приходила. Он ее выразил в стихотворении «Простите, верные дубравы!», которое записал в альбом своей соседки по Михайловскому Надежде Осиповой перед тем, как отправиться в Петербург, а затем на Запад. Поэт писал:

Прости, Тригорское, где радость
Меня встречала столько раз!
На то ль узнал я вашу сладость,
Чтоб навсегда покинуть вас? (I.276)

«Навсегда покинуть...» В альбоме под стихами дата: 17 августа 1817 года. Они написаны за десять дней до встречи в театре с Катениным, когда Пушкин заявил, что отправляется в «чужие края». Стихи эти при жизни поэта не печатались. Пушкин прощался с соседями навсегда, но следом размышлял неопределенно:

Быть может (сладкое мечтанье!),
Я к вашим возвращусь полям...

Итак, быть может, возвращусь, а может, и не возвращусь. Ведь еще за два года до этого юный скептик нарисовал в стихотворении «Тень Фонвизина» картину возвращения на родину тени умершего четверть века назад писателя Дениса Фонвизина. Возвращается тень его из рая, и знакомая картина предстает перед великим сатириком:

Все также люди лицемерят,
Все те же песенки поют,
Клеветникам как прежде верят,
Как прежде все дела текут.
В окошки миллионы скачут,

Казну все крадут у царя,
Иным житье, другие плачут,
И мучат смертных лекаря... (I.139)

Несчастный Фонвизин, попав на родину, от скуки готов снова умереть. «Оставим наскоро Россию», — заключает он. Эти настроения то и дело возникают в стихах юноши Пушкина. Отъезд за границу кажется ему в августе 1817 года делом решенным.

Глава третья НЕВЫЕЗДНОЙ

*Помнишь ли ты, житель свободной Англии,
что есть на свете Псковская губерния...*

Пушкин — Кривцову, летом 1819 (X.13)

Пушкин, как нам представляется, беззаботно ждал ответа на свое прошение. Он был немного легкомыслен и уверен: ведь действовали влиятельные друзья. Тогда еще не было административной практики заставлять просителя ждать ответа долгие месяцы. Ответ, надо полагать, последовал быстро. Пушкин узнал о нем в последние дни августа или в сентябре 1817 года. В отличие от всех его соучеников, также подготовленных для службы за границей, молодого поэта не пустили.

Запретительного документа не сохранилось, и, возможно, такового не существовало. Значит, отказ был устный или его не было вообще. Просто не разрешили, и никто не известил. Но факт остается фактом: Пушкин за границу собрался, объявил об этом и никуда не поехал. Нам предстоит проанализировать ситуацию, собрав косвенные объяснения причины этого невыезда.

Термин «выездное дело» — чисто советский, бюрократический. В нем — незамазанная биография, не запятнавшие себя родители, родные, друзья, преданность режиму, покорное поведение, доверие. И тем не менее ретроспективно мы можем говорить о выездном деле Пушкина, ибо все черты бюрократической процедуры имели место. Отказ в выезде за границу был тревожным симп-

томом, свидетельствовавшим о недоверии властей данному чиновнику. Отказ мог быть и временным, но чаще отражался на всей карьере русского человека, ибо в досье появлялась таинственная отметка о неблагонадежности. Или ничего не появлялось, но кто-то «дал указание». Восемнадцатилетний Пушкин, говоря современным языком, стал невыездным и отказником.

Не повлияла ли расписка, взятая у Пушкина при поступлении в Министерство иностранных дел, на отъезд за границу? Глядя современными глазами, подпись под документом о неразглашении тайн можно рассматривать как форму секретности и, таким образом, как предлог для отказа в выезде. Взглянем на присягу, подписанную молодым чиновником, исторически. За ней стоит несколько постановлений, утвержденных в разное время.

Еще в XVII веке чиновников Посольского приказа для присяги «приводили к кресту». В указе Петра I от 1720 года и определении Коллегии иностранных дел от 5 марта 1744 года о неразглашении служебных тайн приводятся общие слова о верности и повиновении императору, «не щадя живота своего до последней капли крови». Предписывается «всякую вверенную мне тайность крепко хранить», стараться предостерегать и оборонять все, что к «верной службе и пользе Государственной во всяких случаях касаться может»⁵¹. При императрице Елизавете Петровне было повелено «всем служителям этой экспедиции и архива ни с кем из посторонних людей об этих делах не говорить, не ходить во дворы к чужестранным министрам и никакого с ними обхождения и компании не иметь»⁵².

Документ этот был усовершенствован дважды Екатериной II, и фактически Пушкин подписывался под указом от 4 августа 1791 года. «Ея Императорское Величество высочайше указать изволила подтвердить прежде данное повеление, чтоб никто из чинов ведомства Коллегии иностранных дел... в дома иностранных послов, министров и прочих доверенных от других держав особо не ездили и не ходили... под опасением не токмо отрешения от дел, но суда и взыскания по всей строгости закона. Подтверждает Ее Императорское Величество равным образом всем и каждому из помянутых чинов Коллегии иностранных дел, чтобы дела, каждому вверенные, сохраняемы были с надлежащею тайною... В исполнении и наблюдении чего взять со всех означенных чинов подписку, да и впредь по определении вновь

канцелярских чинов ведомства моя Коллегии, каждый таковой вновь определяемы по сею подпискою руку свою приложить долженствует»⁵³.

Присягу принимали все государственные служащие. К тому же из подписавших ее все, кроме Пушкина, отправились за границу. Так называемые «государственные соображения» были и тогда, и потом ответом для тех, кого выпускать не желательно. Формально с подпиской под присягой у молодого чиновника возникал «режим», что давало основание не пускать его за границу столько, сколько власти сочтут нужным. Однако никакими тайнами Александр Пушкин не обладал, а подписал, так сказать, на будущее. Суть работы любого дипломата в том, что он всегда обладает государственными тайнами, которые вывозит за рубеж; при этом ему доверяют.

Его приняли на работу в Архив Министерства иностранных дел согласно воле Александра I. Еще в 1766 году Сенат постановил: «В архив избирать людей трезвого жития, неподозрительных, в пороках и иных пристрастиях не примеченных». Пушкин был принят, но под эти требования он теперь не подходил.

Кто персонально занимался делом Пушкина, неизвестно. Министра иностранных дел в то время фактически не было. Во главе Министерства стояли два человека: сорокалетний граф Карл Роберт Нессельроде и сорокашестилетний граф Иоанн (он же Иоаннис и Иван) Капо д'Истрия (фамилию Каподистрия позже стали писать в одно слово). Многие вопросы царь решал сам и, играя на соперничестве двух руководителей, извлекал выгоду от обоих. Оба начальника Пушкина были людьми неординарными, во многом противоположных взглядов.

Нессельроде, человек прусского происхождения, родился на английском корабле, который подплывал к Лиссабону. По-русски Нессельроде не говорил. Был он жестким, хитрым и двуличным. Грек Каподистрия являл собой либеральное начало и европейский подход к русским вопросам. Поскольку Пушкин был принят на службу графом Нессельроде, а также учитывая смягчающую роль Каподистрия после конфликта (о чем еще будет речь), можно предположить, что отказ в выезде за границу последовал из канцелярии графа Нессельроде.

Были ли основания не выпускать молодого поэта за рубеж или это был произвол? Так или иначе, с самого на-

чала самостоятельной жизни звякнули возле уха Пушкина ласковые, как защелка собачьей цепи, слова «за границу не выпускать».

Возможности бесконтрольного пересечения границы на Руси были ликвидированы при Иване Грозном. «Ты затворил царство русское, сиречь свободное естество человеческое, словно в адовой твердыне, — упрекал Андрей Курбский Ивана IV. — Кто поедет из твоей земли в чужую, того ты называешь изменником, а если поймают его на границе, ты казнишь его разными смертями». Дворянство было поставщиком кадров преданных государству чиновников. «Чтобы можно было спокойно удерживать их в рабстве и боязни, никто из них... не смеет самовольно выезжать из страны и сообщать им о свободных учреждениях других стран». Так объяснял русскую ситуацию немецкий путешественник XVII века⁵⁴. С XV века (а может, и раньше) под изменой стали понимать, главным образом, побег или попытку побега за границу⁵⁵.

Причин ограничений было несколько: опасение, что чужая вера проникнет внутрь страны, возникнет ересь, что, узнав о вольной жизни за границей, вернувшийся будет недоволен крепостной зависимостью на родине, наконец, весьма частое превращение путешественников в невозвращенцев: «одно лето побывает с ними (с иностранцами. — Ю. Д.) на службе, и у нас на другое лето не останется и половины русских лучших людей»⁵⁶.

Тайные побегии за границу были следствием запрета на легальный выезд. А чтобы пресечь побегии, возникла система заложничества. То была остающаяся семья, жизнь которой зависела от того, вернется посланный или нет. «А который бы человек князь или боярин, или кто-нибудь сам, или сына, или брата своего послал для какого-нибудь дела в иное государство без ведомости, не бив челом государю, и таком б человеку за токе дело поставлено было в измену, и вотчины и поместья и животы взяты б были на царя ж, а ежели б кто сам поехал, а после его остались сродственники, и их бы пытали, не ведали ль они мысли сродственника своего ж, или б кто послал сына, или брата, или племянника, и его потому ж пытали бы, для чего он послал в иное государство, хотя государством завладети, или для какого иного воровского умышления по чьему наущению»⁵⁷.

Заметим: государство непременно предполагает в личных стремлениях человека только плохие намерения. Для

того чтобы выехать, надо унизиться, бить челом. Выезд за сто лет, прошедших от Ивана Васильевича до Алексея Михайловича, стал труднее. Хорват Юрий Крижанич, писатель, подвизавшийся в Москве в середине семнадцатого века, сформулировал пять принципов власти в России, которыми регулировалась жизнь: 1) полное самовладство; 2) закрытие рубежей; 3) запрет жить в безделье; 4) государственная монополия внешней торговли; 5) запрет проповедовать ереси. Добавим к этому сверхзадачу, о которой Крижанич запямятовал, а именно: идею мирового господства, амбиции типа «Москва — Третий Рим».

Крижанич писал о закрытии границ: чужестранцам не разрешается свободно и просто приходить в нашу страну, и нашим людям не разрешают без важных причин скитаться за пределами. Эти два обычая — две ноги и два столпа сего королевства, и их надо свято соблюдать⁵⁸. Самого Крижанича, между прочим, когда он въехал в Россию, сослали в Сибирь и долгие годы не разрешали вернуться на родину.

При Петре Великом, прорубившем так называемое окно в Европу, для охраны границ была учреждена ландмилиция, то есть пограничная стража. Вдоль границ начали строиться оборонительные линии. Однако для учения, торговли и заимствования западных новшеств, особенно в военной области, поездки за рубеж при Петре расширились.

Выпуск за границу встречал противодействие в русском обществе. Зрелый Пушкин, читая материалы о Петре, отмечал: «За посылание молодых людей в чужие края старики роптали, что государь, отдавая их от православия, научал их басурманскому еретичеству. Жены молодых людей, отправленных *за море*, недели траур...» (IX.11). Традиционное русское мышление вообще все иностранное и за границу в целом, как отмечает американский славист Д.Ранкур-Лаферрьер, соотносит с дьявольщиной, с тем местом, где, с точки зрения русского человека, дьявол обитает. Заграница — это то, что находится далеко: у черта на куличках, у черта на рогах, а сами иностранцы сродни дьяволам⁵⁹. Об этом же свидетельствуют многочисленные источники, начиная с древней русской литературы до «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, у которого демонический Воланд изображен иностранцем. Заграница есть нечто проклятое Богом, ад. Для Пушкина же и его единомышленников заграница — источник просвещения, культуры, вообще рай.

Проблема выезда за границу облегчилась при императоре Петре III с изданием Манифеста о вольности дворянской. Привилегированное сословие освобождалось от принуждения к службе. Неслужащий дворянин получил даже право ехать за границу и служить там. При Екатерине Великой с ростом культуры русского общества сближение с Европой еще более расширилось. Поездка за границу для учения, развлечений или по медицинской надобности становилась неременной частью существования состоятельных людей. В Европу ехали художники, музыканты, сочинители. Одни приезжали и снова уезжали, другие оставались там навсегда. Сравнительно легко удавались и побегии. Брат писателя Василия Капниста Петр благополучно бежал от ухаживаний Екатерины II за границу, просто сев инкогнито на корабль, уходивший в Англию.

Дворянин, если он хотел выехать за границу, сделать это, как правило, мог. Писатели часто служили по дипломатической части и ездили за границу охотно. Василий Тредиаковский был чиновником в Париже и Гамбурге. Антиох Кантемир — послом в Лондоне и Париже. Бывал в Европе Фонвизин. Карамзин выбрался, когда ему было 23 года, проехал пять стран. «Сколько лет путешествие было приятнейшею мечтою моего воображения», — писал он в дороге⁶⁰. Вернулся через полтора года, решив стать реформатором, но немного погодя реальность остудила его планы.

Пожалуй, одним из первых русских писателей Карамзин сделал заключение: «Хорошо писать для россиян; еще лучше писать для всех людей»⁶¹. Он стал думать о том, не отправиться ли в Чили, Перу, на остров Бурбон, что в Индийском океане, на Филиппины, на остров Святой Елены: «Там согласился бы я дожить до глубокой старости, разогревая холодную кровь свою теплотою лучей солнечных; а здесь боюсь и подумать о седирах шестидесятилетия», — написал он Ивану Дмитриеву⁶². Позиция Карамзина, вернувшегося из-за границы, такая: каждый может уехать, нельзя только, выехав, ругать свою страну. Но будучи за рубежом писатель рассуждал иначе. Когда соотечественники спросили его, что происходит на родине, Карамзин пожал плечами и ответил одним словом: «Воруют».

Отправляются за границу бывшие лицеисты. Уже после отказа Пушкину уехал служить в русскую миссию в Италию Николай Корсаков, по кличке «Русский парижан-

нец», который вывез за границу рукописный лицейский журнал. В 1820 году этот молодой человек умер во Флоренции от чахотки. В литературном обществе «Арзамас», собравшем цвет петербургской интеллигенции, том самом обществе, которое несколько напыщенно называют политическим университетом молодого Пушкина, из двадцати человек, подписавших устав общества, за границу, как показывает подсчет, кроме Пушкина, съездили все, — кто по Европе, кто в Америку, кто в Азию. И это не случайно.

Эталоном свободы в «Арзамасе» являлся Запад, где, как выразился Николай Тургенев, правительство существует для народа, а не народ для правительства, и где не власть правительства, а свобода подданного почитается неограниченной⁶³. В каком-то смысле понятие западной свободы идеализировалось, она существовала в качестве чистой альтернативы свободе в России, что не во всем соответствовало реальности. В арзамасском братстве помогали друг другу даже и после того, как общество распалось, пытались помочь выехать и Пушкину: среди членов «Арзамаса» были и действующие, и будущие крупные правительственные чиновники.

Выезд за границу, хотя и контролировался, но был достаточно простым. Однако же соображение, что ездить должны меньше, плавало в воздухе, наводя на граждан разные ограничения, и поддерживалось частью общественного мнения. Писатель Орест Сомов, с которым Пушкин общался с некоторой надменностью, рассуждал (как раз в описываемые нами годы) о том, что отечественным подданным вовсе и незачем ездить за кордон: «...поэты русские, не выходя из пределы своей родины, могут перелетать от суровых и мрачных преданий Севера к роскошным и блестящим вымыслам Востока»⁶⁴.

В 1817 году в журнале «Северный наблюдатель» появилась басня Крылова «Пчела и мухи», начинающаяся словами: «Две Мухи собрались лететь в чужие край...» Мораль басни вполне соответствовала подходу властей:

Кто с пользою отечеству трудится,
Тот с ним легко не разлучится;
А кто полезным быть способности лишен,
Чужая сторона тому всегда приятна:
Не бывши гражданином, там мене презрен он,
И никому его там праздность не досадна⁶⁵.

Применительно к Пушкину, басня объясняет его стремление в Европу тем, что он был лишен способностей, что, конечно же, забавно. В советские годы басня цитировалась в контексте борьбы с безродными космополитами. Однако последние строчки смягчают угрюмую запретительную идею, что пчелы должны трудиться только на родине. Баснописец вроде бы намекает на большую свободу делать что хочешь за границей. Важно тут, что стремление российского правительства контролировать выезд за границу находило живой отклик и одобрение (правда, тогда еще не единодушное) у сочинителей-соотечественников.

Права свободного выезда, закрепленного в законодательстве, к которому можно апеллировать в случае конфликта (а иначе к чему законы?), этого права в России первой половины XIX века не существовало. Сделав Пушкина служащим, государство сразу же продемонстрировало ему свои когти. Отказав поэту в поездке за границу, царь с огромной свитой вскоре отправился в очередной раз в Европу. В рукописи под стихотворением, которое написано 27 ноября 1817 года и называется «Уныние» (позже оно было опубликовано под названием «К...» — «Не спрашивай, зачем унылой думой...» I.280), есть приписка: «Я человек несвободный».

Глава четвертая

КОНФЛИКТ УМА И СЕРДЦА

*Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих;
авось полуденный воздух оживит мою душу.*

Пушкин — Вяземскому,
не позднее 21 апреля 1820 (X.16)

Загул без чувства меры, превышающий всякие физические возможности, был реакцией восемнадцатилетнего честолюбивого и сознающего свой талант человека на запрет отправиться путешествовать. Пушкин числится в присутствии, но не служит, время есть, и он его прожигает со всей беспечностью, на которую способен. Ему, по выражению Боратынского, дано «быть сердца верным знатком и лучшим гостем за бутылкой». На одном из кутежей

(а большая часть приятелей его подбирается для этого занятия) Пушкин спорит, что выпьет бутылку рома и не потеряет рассудка. Он выигрывает, так как, напившись, ничего не сознает, но свидетели утверждают, что сгибает и разгибает палец.

Молодой поэт часто бывает в театре, у него бесконечные романы с актрисами и воспитанницами театрального училища. Он ссорится из-за денег с отцом и, как после вспомнит, бранит Россию: «плюет эпиграммами», по словам Александра Тургенева⁶⁶. Матерщинник он почище Баркова — смотрите, например, его стихотворения с многочисленными отточиями, сделанными цензурой. Повисшие рифмы не оставляют сомнений в сути выражений (1.337—347).

Брат Александра Тургенева Николай стыдит Пушкина за то, что он берет жалованье и при этом ругает того, кто его дает. Совет молодому поэту — быть посдержаннее в эпиграммах против правительства. Пушкин вызывает Николая Тургенева на дуэль, но, одумавшись, извиняется. Недруги и друзья сходятся во мнении. Александр Тургенев о Пушкине: «...теперь его знают только по мелким стихам и крупным шалостям»; у него лень и нерадение о собственном образовании, вкус к площадному волокитству и вольнодумство, также площадное, восемнадцатого столетия⁶⁷. Директор Лицея Егор Энгельгардт: «Ах, если бы этот бездельник захотел заниматься, он был бы выдающимся человеком в нашей литературе»⁶⁸.

Пушкин жжет свечу своей жизни с обоих концов. Он разрушительно творит и творчески разрушает то, что ему дано природой. Неудовлетворенность действительностью — его болезнь, как и многих других. Батюшков писал Вяземскому: «...в нашей благословенной России можно только упиваться вином и воображением»⁶⁹. Батюшков, правда, почему-то забыл про женщин. Утешением Пушкину служит роман с одной из самых необычных красавиц Петербурга.

Это Евдокия Голицына, она же «принцесса Ноктюрн», «небесная княгиня», которую подруги считают чудачкой. Она предпочитает дружбу с мужчинами, благо с мужем находится, как тогда говорили, в разъезде. Голицына не просто великосветская дама, она западница, философ, занимается науками и черной магией, в доме у нее бывают такие же чудачки со всего света, которых она принимает по ночам, так как ночью не спит: гадалки предсказали ей

смерть во сне. На деле легенду эту сочинила она сама. Принцесса Ноктюрн принимала по ночам потому, что постарела, а французские светские львицы никогда не показывались днем. Дневной свет при не столь изощренной косметике, как сегодня, выявлял у немолодой женщины все ее недостатки.

По свидетельству Карамзина, Пушкин смертельно влюбился в Голицыну, хотя она вдвое старше. Позже поэт включает ее в свой донжуанский список, куда попали только наиболее значительные его возлюбленные. Он уезжает от нее поздно утром, чтобы выспаться дома и затем сочинять, лежа в постели. Обедать едет в ресторан, вечер проводит в притонах или театре, а ночью снова мчит в будуар к Голицыной, если она согласна его принять. Он почти идеальный эгоцентрик: вся Вселенная вокруг него и только для него, причем данная минута важнее всей жизни.

Я говорил: в отечестве моем
Где верный ум, где гений мы найдем?
Где гражданин с душою благородной,
Возвышенной и пламенно свободной?
Где женщина — не с холодной красотой,
Но с пламенной, пленительной, живой? (I.281)

На то, чтобы подобрать другое слово вместо дважды попавшегося «пламенный», нет времени, он спешит:

Где разговор найду непринужденный,
Блистательный, веселый, просвещенный?
С кем можно быть не холодным, не пустым?

Слово «хладный» два раза — про себя и про нее. Тяжелая, державинообразная причастная рифма висит в изящном стихотворении, как незакрепленный кирпич над головой читателя, которого, однако, под конец ждет блистательный пассаж:

Отечество почти я ненавидел —
Но я вчера Голицыну увидел
И примирен с отечеством моим.

Конфликт ума и сердца, проходящий через всю жизнь Пушкина. Как бы ни было мерзко на душе от того, что

происходит вокруг, но если есть, в кого влюбиться, от кого потерять голову, значит, еще не все потеряно, значит, можно быть счастливым даже тогда и там, где и когда это невозможно. Вот, если хотите, одна из опорных точек пушкинской философии, роковое триединство: я, данная женщина и все остальное на свете. Перпетуум-мобиле, но и тормоз, который вдруг, непредсказуемо, останавливает жизнь поэта, переворачивая ее вверх дном.

Почти три послелицейских года — длинная вереница его минутных подруг: ветреных Лаис, которых он любит за «открытые желания», молодых монашек Цитеры, включая сюда известную парижскую проститутку Олю Массон, находящуюся в творческой командировке в Петербурге, Дориду, в чьих объятьях он «негу пил душой», Фанни, чьи ласки он обещает вспомнить «у двери гроба», Наташу — с ней он проводил время на травке, проститутку Наденьку, польку Анжелику, по воспоминаниям лицейского друга Ивана Пущина, родившую от Пушкина сына, продавщицу билетов в бродячем зоосаду... Перечисляем только тех, о ком сохранились сведения в его собственных заметках. В научных комментариях к сочинениям Пушкина проститутки именуются «представительницами петербургского полусвета». Смысл эвфемизма, видимо, в том, что эти представительницы работают в полутьме.

Анненков описывает послелицейский период жизни Пушкина так: «Беззаботная растрата ума, времени и жизни на знакомства, похождения и связи всех родов, — вот что составляло основной характер жизни Пушкина, как и многих его современников»⁷⁰. Александр Тургенев делится с Вяземским: «Сверчок прыгает по бульвару и по блядам... Но при всем беспутном образе жизни его, он кончает четвертую песнь поэмы»⁷¹.

Время в чем-то несчастное, но и счастливое. Ежедневные новые знакомства и ссоры, отчего ценность подлинной дружбы несколько смазывается, но в суете он этого не замечает. Происходит разрыв с Карамзиным, которому бранная риторика насчет рабства представляется недостойной. Но при этом — и становление личности, лепка самого себя как поэта, разумеется, с помощью более зрелых, более терпимых, более образованных друзей, европейцев по духу.

Одна беда: умнейшему и талантливейшему молодому творцу уже тесно в пределах возможностей того литера-

турного круга, в котором он находится. Его субъективное ощущение, что ему тесно в России вообще.

Увы! куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы,
Везде неправедная Власть
В сгущенной мгле предрассуждений... (1.283)

Говорят, это было написано в один присест в гостях у Николая Тургенева. Но стоит ли к этим словам относиться столь же серьезно, как это сделали в правительстве Александра I? «Самовластительный злодей» в оде «Вольность» относится вовсе не к русскому императору, а к французскому. Слово «свобода» в компаниях, где бывал Пушкин, произносилось так же часто, как «вино» и «любовь». И вовсе не всегда имелась в виду политическая свобода. Пушкин много раз бывал в доме Лаваля, управляющего третьей экспедицией Особой канцелярии Министерства иностранных дел. Экспедиция просматривала зарубежную периодику, составляя рефераты для царя о положении дел в Европе. Новости вливались в салон Лаваля без цензуры и растекались по Петербургу. Читали тут и стихи.

Поэт искал себя, определялся во мнениях. Третий брат Тургеневых, Сергей, писал: «Да поспешат ему вдохнуть либеральность»⁷². Из этого утверждения следует, что политические взгляды Пушкина гибкие. Экстремизм шел, возможно, не от естества, но от среды, в которой он дышал. Ряд стихов он сочинил, чтобы стать ближе к своим знакомым, но для серьезных борцов он оставался милым проказником, не более того. Протест не был связан ни с какими поступками.

Симпатии и неприязнь молодого поэта возникали подчас не столько от его собственных взглядов, сколько под влиянием лиц, с которыми он сближался. Это прежде всего братья Тургеневы и, более других, Александр. В 1817 году Александр Тургенев именовался «Ваше Превосходительство» и был управляющим департаментом Министерства духовных дел и народного просвещения, приближенным министра князя Александра Голицына.

Отметим, между прочим, что забавно читать у Тургенева слово «советский». Без малого за сто лет до Ленина,

в ноябре 1824 года, он писал брату Николаю Тургеневу за границу: «Для тебя не может быть это теперь тайной, ибо ты советский...»⁷³ Имелась в виду принадлежность брата Николая к Государственному Совету. Николай был крупным государственным деятелем, членом Госсовета, но также и либерально мыслящим человеком. Третий брат, Сергей, пребывал в это время в Париже. Все трое хорошо относились к Пушкину, и, при наличии больших связей, имели широкие возможности, чтобы похлопотать о друзьях.

Еще одним петербуржцем, влияние которого на Пушкина представляется несомненным, хотя известно мало, был его тезка Александр Сергеевич Грибоедов. Они в одно время пришли служить в одно ведомство, вместе подписали присягу, хотя Грибоедов был без малого на десять лет старше. Он уже имел озлобленный ум, по мнению современника, из-за того, что его не оценили как человека государственного. Можно предположить, что поведение Грибоедова, столь знакомое нам по Пушкину, также было результатом постоянного раздражения действительностью, — *болезнью среды*, как назовут состояние российского интеллигента психиатры конца XIX века.

Осенью 1817 года Грибоедов должен был стреляться из-за балерины Истоминой с корнетом Якубовичем. Дуэль отложили на год. Потом была «четверная» дуэль, во время которой Грибоедову прострелили руку. Общались они с Пушкиным недолго: Грибоедов уехал, а впоследствии за то, что был секундантом на дуэли, его отправили в Персию секретарем посольства. Впрочем, наказание Грибоедова Пушкин посчитал бы для себя удачей.

От Грибоедова о Пушкине прослышал его приятель по Московскому университету корнет Петр Чаадаев (Пушкин с его абсолютным слухом в языке писал «Чадаев», что по-русски звучит естественней). Восемнадцати лет отправившись воевать, Чаадаев дошел до Парижа, получил награды. Его прочили адъютантом к царю, а стал он адъютантом командующего гвардейским корпусом генерала Иллариона Васильчикова. Чаадаев, в отличие от Пушкина, был богат. Встретились они у Карамзина. Будущий философ и богослов, Чаадаев, как вспоминал современник, заставлял Пушкина мыслить. Он способствовал развитию поэта больше, чем кто-либо другой. Философия, мораль, право, история — их постоянные темы. Пушкин все чаще бывает у Чаадаева, берет книги. Именно Чаадаев открывает ему

Байрона, и Пушкин начинает учить английский. Пиетет по отношению к Чаадаеву, как часто у поэта бывало, сплетен с иронией, но в ней любопытная оценка: в другой стране Чаадаев был бы знаменитой личностью, а в России он всего-навсего военный невысокого чина:

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарской. (I.371)

Это подпись к портрету Чаадаева, и смысл ясен: талант у нас не в цене, власть в гениях не нуждается.

Чтобы замкнуть круг, остановимся на человеке, который также оказывал большое влияние на Пушкина, но сегодня менее известен. То был чиновник Министерства иностранных дел Николай Кривцов. В войне 1812 года ему оторвало ядром ногу выше колена. После русских побед он остался за границей, лечился. В Лондоне ему сделали пробковый протез, настолько удачный, что он мог даже танцевать. Он жил в Австрии, Швейцарии, Франции, Германии, говорил свободно на нескольких языках, водил знакомство с Гете, Гумбольдтом, Талейраном, встречался с Наполеоном, запросто бывал у многих западных знаменитостей. Когда Пушкин вышел из Лицея, Кривцов возвратился из Европы. Познакомились они у братьев Тургеневых и сошлись.

Кривцов вернулся большим либералом и продемонстрировал Пушкину великолепный образец раздвоенного сознания российского интеллигента. Он был исполнительным, аккуратным и преданным престолу служащим, а в узком кругу ругал русские власти и отечественные порядки, не стесняясь в выражениях и не скупясь на остроумие. Речи его звучали еще резче, чем мальчишеская терминология Пушкина. И это было воспитание другого рода, нежели влияние друзей, перечисленных выше. Кривцов вскоре получил назначение в русское посольство в Лондон, о котором, как и обо всей Европе, много и увлекательно рассказывал Пушкину. Обсуждали они, по-видимому, и возможности пушкинского путешествия.

Из-за физической и нервной перегрузки, а возможно (по взгляду современных врачей) от инфекции (грипп? воспаление легких?), Пушкин заболевает горячкой. Этим сло-

вом называли любую болезнь с высокой температурой. В послелицейские годы он вообще часто хворал. На этот раз он болеет долго, и доктор не гарантирует благополучного исхода. Однако через два с лишним месяца молодой организм победил и Пушкин поднялся на ноги. Поправляясь, он сочиняет стихи Кривцову на память перед отъездом того в Лондон, дарит свою книгу. Связь не прерывается после отъезда. Александр Тургенев пишет князю Вяземскому, уехавшему служить в Варшаву: «Кривцов не перестает развращать Пушкина и из Лондона и прислал ему безбожные стихи из благочестивой Англии»⁷⁴.

Друзья продолжают разъезжаться. Вяземский находится в Варшаве практически без дела. Летом следующего года он подпишет записку об освобождении крестьян. То было либеральное время, и он не пострадал за вольнодумство. Настроение Вяземского, приехавшего в Петербург, было невеселым: «...мне так все здешнее огадилось, что мне больно было бы ужиться здесь», пишет он и вскоре уезжает обратно в Варшаву⁷⁵.

Польша была, конечно, еще не Западная Европа, но уже и не Россия, Пушкин это понимал. Поэтому, встретившись летом с Вяземским, он говорит о том, что, может быть, если не удалась за граница, его пустят в Варшаву. Вяземский обещает узнать и похлопотать «оттуда». В любом случае, здесь оставаться, по мнению Вяземского, невозможно. Вскоре он опять напишет: «У нас ни в чем нет ни совести, ни благопристойности. Мы пятимся в грязь, а рука правительства вбивает нас в грязь»⁷⁶.

Пушкин не мог не знать, что выезд из Варшавы в Германию неизмеримо проще, чем из метрополии. Карамзин, отправившийся впервые за границу, подробно рассказал о своих наблюдениях, и его заметки были к тому времени неоднократно опубликованы. «На польской границе, — писал он, — осмотр был нестрогий. Я дал приставам копеек сорок; после чего они только заглянули в мой чемодан, веря, что у меня нет ничего нового»⁷⁷. В Петербурге, городе, который он называет мертвой областью рабов, Пушкину плохо; он живет в немилой ему, «сей азиатской стороне» (I.326).

Неизвестно, принимали ли участие в хлопотах по поводу выезда Пушкина в Варшаву братья Тургеневы или еще кто-либо, кроме Вяземского, но усилия не увенчались успехом. Да и сам Вяземский, судя по его письмам, рвется из Варшавы в Париж. Между тем гадалка уже предсказа-

ла Пушкину дальнюю дорогу, о чем он сам вспоминал двадцать лет спустя.

А времена менялись. Выступая в Варшаве, Александр Павлович обещает дать России конституцию, какую он дал Польше (что могло укрепить Пушкина в стремлении туда перебраться). В Польше появилось нечто вроде парламента. На открытии Польского Сейма Александр размышлял о законно-свободных учреждениях, которые он надеется распространить. Европа беспокоилась по поводу произвола, царящего в России, и царь в беседе, которая была опубликована на Западе, говорил о том, что скоро другие народы России, вслед за Польшей, получат демократию.

Либеральные воззрения Александра I преподносятся Западу, а внутри он, получив звание фельдмаршала Прусской и Австрийской армий, поощряет деятельность Аракчеева. Послабления, которые начали было ощущаться, к 1819 году отменяются. Время надежд на перемены, время новых противоречивых идей уходит в прошлое. Наступает период завинчивания гаек внутри, который всегда сопровождается опусканием железного занавеса.

Брожения в странах Европы заставляют глав государств искать пути к договорам для защиты порядка, и русское правительство находит в том для себя двойную выгоду: под предлогом опасности ужесточать дисциплину внутри и расширять сферы своего политического и военного влияния вовне. Сильные мира сего, которых Пушкин, смеясь, два года назад назвал «всемирными глупцами» (X.10), на самом деле таковыми вовсе не были.

Эйфория, связанная с возвращением русской армии из Европы домой, сошла на нет. Просветительские и либеральные идеи затухали на глазах. Те, кто вернулись, думали, что возврата к старому быть не может, однако теперь европейские начала вытравлялись, оставались традиционные, азиатские. Оказалось, что общественное мнение ничего не стоит, с ним можно не считаться. В университетах началась борьба с иноземной наукой. Инстанции были озабочены укреплением подлинно русских убеждений, под которыми подразумевалась преданность престолу. Высказывать публично мнение становилось снова опасно; общественная жизнь ушла в подполье.

Идея развития России по американскому пути с введением конституции и отменой рабства, та идея, которую в

течение нескольких лет вынашивали декабристские группы, в сущности, первые зачатки партий в стране, в принципе была мало реальной. «В Африке и Америке начинают чувствовать сие беззаконие и стараются прекратить оное, а мы, россияне, христиане именем, в недрах отечества нашего имеем защитников сей постыдной, сей богопротивной власти!» — доверяет бумаге свои мысли декабрист Александр Муравьев⁷⁸.

Николай Тургенев сообщает брату Сергею: «Мы на первой станции образованности», — сказал я недавно молодому Пушкину. «Да, — отвечал он, — мы в Черной Грязи»⁷⁹. Так называлась первая станция по дороге из Москвы в Петербург.

Наступало время, привычное для русских людей в возрасте и приводящее в растерянность молодых. Тридцатилетний оптимист Николай Тургенев, мечтая о журнале «Россиянин XIX века» при сотрудничестве Пушкина, записывал в своем дневнике: «Каждый вечер оканчиваю с некоторым унынием... Ввечеру сижу у окошка и в каждом предмете, в каждом движущемся автомате вижу бедствие моего отечества... Какое-то общее уныние тяготит Петербург и сие время... Иные ничего не понимают или, лучше сказать, ничего не знают. Другие знают, да не понимают. Иные же понимают одни только гнусные свои личные выгоды. Неужели я до конца жизни буду проводить и зимние, и летние вечера так, как проводил доселе?.. Неужели я и при последнем моем издыхании буду видеть подлость и эгоизм единственными божествами нашего Севера?»⁸⁰. У многих на уме Европа. Проводив свою знакомую в Париж, Александр Тургенев пишет Вяземскому: «Спокойнее и счастливее там, где и душа, и цветы цветут»⁸¹.

Либеральные идеи овладели Пушкиным не вовремя. Более опытные друзья, тот же Александр Тургенев, Карамзин, Жуковский встретили очередное похолодание на теплых должностных местах, офицеры-декабристы шли на риск, многие уходили в кутежи. Пушкин с энергией молодости кинулся во все сферы сразу. Он пытался соединить все стили жизни, и ему, с его умом и горячностью, это удавалось. Но возник вопрос: готов ли он всем пожертвовать ради того, чтобы встать на рискованный путь активного протестанта, готов ли к последствиям?

По всей видимости, его планы все же более эгоистичны, и они в литературе, не в политике. Он не борец, а

лишь поклонник правды и свободы, как он сам назовет себя позже. Но и в такой роли ему нет места. Он жалуется Дельвигу:

Бывало, что ни напишу,
Все для иных не Русью пахнет... (II.32)

Переведем это в прозаический контекст: то, что он пишет, — прозаического толка и здесь не нравится. Интересы его сосредоточены на Европе. За три послелицейских года много времени потеряно впустую. Бездеятельность, растрата самого себя — весьма популярная в России форма протеста, в чем-то неосознанного. Он пытается оставаться самим собой, а его подгоняют под принятые стандарты. Поэзия — основная форма его жизнедеятельности, а чтобы писать стихи, желательно видеть мир непредвзятыми глазами. Пушкину же предложена другая игра, другие рамки: сделаться чиновником и в свободное от службы время кое-что пописывать, притом в определенных тонах: для услаждения себя и других.

Русская литература пушкинского времени мало отвечала на вопросы, стоявшие перед обществом. Отечественная словесность существовала, но в сравнении с западной, пожалуй, ни проза, ни поэзия еще не сформировались, находясь в эмбриональном состоянии. Анненков, рассказывая о жизни Пушкина, назвал русскую литературу того времени «всеобщим царством скуки и пошлости»⁸². «Лучшими русскими писателями были Вольтер и Жан-Жак Руссо, — шутили авторы «Сатирикона». — Лучшими русскими поэтами были Вергилий и Пиндар»⁸³.

Читать по-русски было нечего, не у кого учиться молодому писателю современному литературному мастерству. «У нас еще нет ни словесности, ни книг, все наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке», — скажет после Пушкин (VII.14). Даже само слово, обозначающее словесность, писалось на латинско-французский манер: *литтература*. Греция давным-давно родила Гомера, Англия — Шекспира, в Германии здравствовал великий Гёте, а кого подобного масштаба явила Россия до Пушкина? Нация должна была достичь определенной ступени развития культуры, заявить о ней, чтобы вывести в мир свою литературную звезду.

Словесность жила полной жизнью на Западе. Там работали известные профессиональные авторы. В России таковыми могли быть только чиновники или любители, которых презрительно называли сочинителями. Европеизм как общественное течение в среде русской интеллигенции был, в сущности, свежим ветром из окна в Европу. Власти ветра боялись и поэтому подавляли любые нестандартные движения мысли.

Взамен сознание заполнялось великодержавной идеологией, важную часть которой составляла целебная для души мечта о мессианском предназначении Руси. Молодой европеист Пушкин жил внутри системы, среди этих людей, соотносился с ними, и вирус имперского мышления проникал в его мысли, особенно, если сопутствующим обстоятельством была лесть.

Поэт в мессианской рамке — такая картина вполне обеспечила бы ему перспективу безоблачного счастья, которое ему прочили. Он сочинял по образцам французских поэтов Эвариста Парни и Жана Грекура, а ему уже готовили кресло в русском поэтическом президиуме. Формы стихов он, казалось, перенимал у своих русских старших братьев, но ведь элегии и баллады Жуковского были немецкими, переименованными на русский манер. Поэма «Руслан и Людмила», выведшая Пушкина в лучшие русские поэты, была результатом умелого восприятия рыцарского романа итальянского поэта Лудовико Ариосто «Неистовый Роланд» («*Orlando Furioso*»)⁸⁴. В «Руслане и Людмиле» имена также напоминают о Парни, к которому Пушкин питал особую симпатию: у Парни — Аина, у Пушкина — Наина, у Парни — Русла, у Пушкина — Руслан.

В российской литературе оставались гигантские пространства целины, и талантливый человек, овладевший мировой литературой, мог браться и разрабатывать любой жанр или все жанры сразу, что русские поэты делали весьма успешно. Пушкин называл Батюшкова «наш Парни российский», но и его самого в молодости можно так назвать (I.64). Все темы нетронутые, все интересно попробовать. И благосклонное одобрение наверху гарантировано при одном только условии, старом, как мир: не касаться щекотливых вопросов политики и права. Пушкину такого счастья было мало.

Неожиданно для всех (но не для него самого) он после очередного приступа «гнилой горячки» задумывает уст-

роиться на военную службу, — новая идея на старый лад. Друзья вначале удивлены. «Я имею надежду отправить его в чужие края, но он уже и слышать не хочет о мирной службе», — говорит Александр Тургенев. В марте 1819 года сообщается более твердо: «Пушкин уже на ногах и идет в военную службу». А еще через неделю Тургенев пишет Вяземскому, что Пушкин собирается в Тульчин, а оттуда в Грузию, и бредит войной, что можно толковать как состояние возбуждения, в котором он находится⁸⁵. Возможно, идея возникла у Пушкина в результате знакомств с грузинами в Петербурге.

По свидетельству Ивана Пущина, Пушкин ищет связи с Павлом Киселевым, только что назначенным начальником штаба 2-й армии. Киселев обещал содействие в определении Пушкина к себе. Сам Киселев готовился отбыть в военные поселения на юг Украины. Киселев не знал, а некоторые приятели поэта были в курсе дела: из Тульчина Пушкин, будучи принят на военную службу, сумеет отправиться в войска, расположенные на Кавказе и передвигающиеся в сторону Турции.

В мае Батюшков в письме из Неаполя, не догадываясь об истинных намерениях Пушкина, сожалеет о его решении поступить на военную службу⁸⁶. А Пушкин в конце мая 1819 года со дня на день готов тронуться на юг. В этом состоянии его свалил новый приступ болезни. Тургенев в письме Вяземскому замечает о Пушкине: «Он простудился, дожидаясь у дверей одной бляды, которая его не пускала в дождь к себе для того, чтобы не заразить его своей болезнью»⁸⁷. Видимо, Пушкин все же добился приема, ибо тот же Тургенев напишет чуть позднее, что Пушкина нельзя обвинять за оду «Вольность» и за две болезни «не русского имени». Состояние Пушкина опять тяжелое, и доктор Лейтон ни за что не ручается.

Лечение молодого и сильного организма, однако, шло успешно. Обритый наголо Пушкин покупает парик. Периодически надевая его, он, видимо, старается к нему привыкнуть. Поднявшись с постели, молодой повеса живет той же жизнью, с риском оказаться, как тогда говорилось, «жертвой вредной красоты».

Денег не хватает, Пушкин начинает искать связи, дабы устройство его на военную службу состоялось. Он не знает того, что стало ведомо его друзьям. Николай Тургенев почувствовал, что попытки выхлопотать для Пушкина

должность за границей по дипломатической части натываются на холодные отказы, впрочем, как и ходатайства насчет военной должности, и писал брату Сергею: «О помещении Пушкина теперь, кажется, нельзя и думать»⁸⁸. Почему и в дипломатической, и в военной карьере поэту отказано? Остается предположить, что он, в сущности, еще ничего не сотворив противу власти, уже был на заметке.

Между тем слухи о военной кампании сошли на нет, так и не реализовавшись. Генерал Орлов, приятель Пушкина, охладил его пыл, сообщив, что если поэт попадет сейчас на юг в качестве офицера, ему придется участвовать в расправе над восставшим уланским полком. Это в планы Пушкина вовсе не входило, и он подал прошение об отпуске. Отпуск по собственным делам в Михайловское переводчику Иностранной коллегии был разрешен.

Но и в Михайловском ему не сидится, он опять скачет в Петербург. «Пушкин по утрам рассказывает Жуковскому, где он всю ночь не спал; целый день делает визиты блядам, мне и кн. Голицыной, а в вечеру иногда играет в банк...»⁸⁹ Это из отчета Тургенева Вяземскому.

Не способствовал улучшению душевного состояния Пушкина и вернувшийся из двухлетнего кругосветного путешествия одноклассник Федор Матюшкин. Два года, десятки стран, неведомые острова, народы, обычаи. А Пушкин так и не сдвинулся с места. Матюшкин сразу стал рассказывать об Америке. Вспомнил старика Сеземова, которого встретил в Новом Альбионе, в Калифорнии. Старик и слушать не хотел о возвращении на родину: «Там солдату двадцать пять лет батюшке-царю служить надоть, а мне невтерпеж. Я, сударь, и так до смерти не успею много доделать, а вот извольте поглядеть чудеса мои да сестре пересказать, если когда свидитесь»⁹⁰.

И старик стал показывать Матюшкину урожаи невиданные: редька весом в полтора пуда, репа 12—13 фунтов, картофель родит сам сот, притом дважды в год. Эти строки пишутся нами в Калифорнии, в трех часах езды от Альбиона. И хотя старик немного приврал насчет размеров редьки и репы, это действительно прекрасный уголок на берегу Тихого океана, неподалеку от другого и более известного исторического русского поселения Форт Росс.

Матюшкин захлебывался рассказами о заграниче. Останавливался он на острове Святой Елены, даже встречался с Наполеоном. Тот был в халате, обросший, с боро-

дой, с подзорной трубой в одной руке и бильярдным кием в другой. Наполеон жаловался русскому путешественнику на дурное содержание и дороговизну баранины на острове. Можем только догадываться, с какими чувствами слушал Пушкин эти рассказы, о чем думал.

Конец 1819 — начало 1820 года проходят у него под знаком скандалов. В присутствии того же Матюшкина Пушкин-отец грозил сыну пистолетом. Возможно, отец отказывался дать деньги, а сын требовал. В театре Пушкин вызывает на дуэль майора Денисевича. Ссору улаживают. В ресторане «Красный кабачок» Пушкин с компанией Нащокина участвует в драке с немцами. Затем происходит еще несколько драк. Состоялась дуэль с Кюхельбекером из-за эпиграммы — Пушкин стреляет в воздух. Екатерина Карамзина в письме в Варшаву жалуется брату, Петру Вяземскому: «Пушкин всякий день имеет дуэли; благодаря Бога, они не смертоносны, бойцы всегда остаются невредимы»⁹¹. Пушкин проигрывает в карты все деньги, а затем тетрадь своих сочинений, которая идет за тысячу рублей. В стихах его то и дело мелькают упоминания о попойках.

Реакцию Пушкина на сорвавшуюся попытку попасть на Кавказ можно предугадать. Он затевает ссору с лицейским одноклассником, а теперь соседом по дому Модестом Корфом, который побил его слугу Никиту. Пушкин вызывает Корфа на дуэль. Последний, к счастью, просто-напросто отказывается встречаться. Еще одна реакция на неудачи: Пушкин вдруг начинает бранить Запад. Друзья удивлены. Когда поэт сильно русофильствовал и громил Запад, Александр Тургенев заметил: «Да съезди, голубчик, хоть в Любек!» Это был первый иностранный порт, в котором останавливались шедшие за границу пароходы. Пушкин расхохотался⁹².

Наконец, в Петербурге проносится слух, что поэт был вызван в секретную канцелярию Его Величества и там высечен. Узнав об этом слухе, позорящем его дворянскую честь, Пушкин готов драться с каждым, кто слух пересказывал. Распространителем слуха оказался картежник Федор Толстой по кличке Американец.

Ситуация в стране мрачнеет, образ Европы, земли обетованной, то и дело возникает в новых красках и впечатлениях. Приехал из-за границы Сергей Тургенев и уехал в Константинополь. Предприимчивые знакомые поэта собираются за границу. Кюхельбекер печатает в журналах за-

метки о своем воображаемом путешествии по Европе. Через полгода он туда уедет, а пока описывает Европу 26-го века — довольно примитивная фантазия. Друг Пушкина пытается высказать между строк идею: Россия в будущем может стать похожей на Америку, которая для цивилизованных россиян уже служит эталоном общественного устройства⁹³.

Даже умеренный Карамзин строит свои планы: «Боюсь только фраз и крови. Конституция кортесов есть чистая демократия... Если они устроят государство, то обещаю идти пешком в Мадрид, а на дорогу возьму Дон-Кихота»⁹⁴. Впрочем, Пушкин после искажил мысль Карамзина, написав, что Карамзин (он называет его одним «из великих наших сограждан», но адресат прозрачен) еще раньше говорил, что «если бы у нас была бы свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Константинополь» (VII. 139). Получается, что Карамзин хотел ехать не за свободой, а от разгула свободы, что, вообще говоря, в отдельные периоды развития некоторых стран имеет свои основания, но тогда он говорил обратное. Вяземский, сидя в Варшаве, предчувствует, что не за горами репрессии: «Власть любит генерализировать (он соединяет два языка в одном слове. — Ю. Д.) и там, где дело идет о мере частной, принимать меры общие... Я о Франции плачу, как о родной» (Б.Ак. 13.13).

28 марта 1920 года Пушкин обедал у Чаадаева, и разговор вертелся вокруг двух тем: слухов о предстоящей войне и за границе. Споры о новой военной кампании, подготовка к которой шла на Кавказе, велись на всех этажах чиновничьей иерархии. Шли перемещения офицеров. Цель не называлась, но было ясно, что речь идет о новом походе на Турцию, который все откладывается. Чаадаев думает о поездке в Европу, и оба приятеля уже не первый раз обсуждают возможность совместного путешествия.

Раньше Пушкин вместе с Михаилом Луниным ездил в Царское Село провожать в Италию Батюшкова, а теперь он провожает Лунина. В нежном порыве поэт отрезает у Лунина на память прядь волос. Он хотел бы вслед за друзьями отправиться в Европу, он задыхается здесь. В письме к Вяземскому Пушкин сетует: «Жалеть, кажется, нечего — а все-таки жаль. Круг поэтов делается час от часу теснее — скоро мы будем принуждены, по недостатку слушателей, читать свои стихи друг другу на ухо. — И то хорошо» (X. 16). А

дальше говорит, что ему плохо, что он жаждет покинуть душный Петербург, — те слова, которые мы вынесли в эпиграф. С января по май 1820 года он написал едва ли больше пяти стихотворений, хотя начал еще несколько. Он чувствует, что теряет даром время. «Я глупею и старею не неделями, а часами», — жалуется он Вяземскому.

И дней моих печальное начало
Наскучило, давно постыло мне!
К чему мне жизнь? (I.342)

Лунин любил повторять, что язык до Киева доведет, перо — до Шлиссельбурга. От безвыходности две мысли приходят Пушкину: покончить с собой или — убить царя. Его остановили и отговорили Чаадаев и Николай Раевский. Поэт вспомнит потом в «Руслане и Людмиле»:

Ум улетал за край земной;
И между тем грозы незримой
Сбиралась туча надо мной!..
Я погибал... (IV.80)

Что касается намерения стать террористом, о котором Пушкин сам признается через пять лет в неотправленном письме к императору Александру, то экстремизм его, как и многое в желаниях, был весь в словах, в браваре, а не в деле. Пушкин принес в театр и показывал знакомым портрет Лувеля, заколовшего наследника французского престола, со своей надписью «Урок царям», что вряд ли стал бы делать серьезный цареубийца.

Скорей всего, ничего этого не было бы: ни драк, ни злобы, ни антиправительственных стихов, ни мальчишеских глупостей в общественных местах, ни мыслей о терроре, если бы Пушкина просто-напросто отпустили за границу. Возможно, там он решил бы, что дома все же лучше, и тихо вернулся полным впечатлений, а то и стал бы горячим защитником всего чисто русского — от царя до лаптей. Но так устроена русская система: борясь с недовольными, она их плодит, чтобы затем с новой силой подавлять. Энергия нации уходит в борьбу со своими согражданами, в слежку друг за другом. За Пушкиным слежка уже шла, и последующие события происходили быстро, как в кинематографе.

Добровольный осведомитель Василий Каразин записывает в дневнике мысли о «поганой армии вольнодумцев», приводит эпиграмму Пушкина и сообщает о ней управляющему Министерством внутренних дел Виктору Кочубею. Кочубей докладывает о полученном письме царю. Петербургский военный генерал-губернатор граф Михаил Милорадович приказывает полиции достать копию пушкинской оды «Вольность» и эпиграммы Пушкина, что, согласно докладу полиции, удается «не без труда и издержек». Становится известно и о подписи к портрету, который поэт демонстрировал в театре.

Политический сыщик Фогель в отсутствие Пушкина является к нему домой, прося его слугу Козлова за 50 рублей дать почитать рукописи хозяина. Козлов ему отказывает. Пушкин, вернувшись домой, поспешно сжигает часть рукописей. На следующее утро он ждет обыска, но его приглашают на прием к Милорадовичу. За Пушкина заступился Федор Глинка, чиновник по особым поручениям при генерал-губернаторе. Предполагалось, что, пока будет идти беседа, полицмейстер заберет все рукописи, которые найдет у Пушкина в доме. Поэт, однако, с готовностью предложил прямо в кабинете написать все крамольные стихи, ему известные, пометив при этом, какие из них сочинены им самим. Эта открытость обезоружила генерала, и он, услышав слова раскаяния, от имени Александра Павловича объявил поэту прощение. Пушкин мог только вздохнуть, решив, что он легко отделался.

Император, однако, был не доволен чересчур быстрым раскаянием Пушкина, заподозрив отсутствие чистосердечия. Наказание требовал также военный министр Аракчев, сообщивший царю о двух эпиграммах Пушкина. Речь пошла о ссылке в Сибирь или в Соловецкий монастырь. Возможно, у Пушкина была слабая надежда, что с ним поступят, как с Грибоедовым, которого отправили служить за границу. Но у Грибоедова был чиновничий стаж. Боратынский в тот же год попадает в солдаты, и это считалось ссылкой, но — в Финляндию⁹⁵. Именно поэтому, может быть, Пушкин эпатировал публику и был откровенен с Милорадовичем.

Мысль об отправке Пушкина в виде наказания за границу, как ни странно, у властей возникала. Обер-прокурор Священного Синода и министр народного просвещения

Голицын знал Пушкина по Лицею и даже представлял его среди других выпускников царю Александру. В 1818 году Голицын издал инструкцию для цензоров, в которой предлагалось не допускать мысли, противные принятым твердым правилам, обнаруживать и пресекать вольнодумство, безбожие, своеволие, мечтательное философствование и пр. Теперь Голицын предложил выслать Пушкина в Испанию⁹⁶.

Любопытно, что об этой детали биографии поэта нет никаких разработок. Кому Голицын предложил эту идею? Александр Тургенев, директор департамента духовных дел и иностранных вероисповеданий, был прямым подчиненным министра Голицына. Отношения между ними были хорошими, не случайно Голицын предоставил Тургеневу квартиру в своем доме. Тургенев вполне мог обосновать такую ссылку для Пушкина, а Голицын — подать мысль царю. Вариант мог бы и осуществиться, если бы не революция, вспыхнувшая в Испании. Не знаем, стала ли идея такой ссылки известна поэту и какова была его реакция. Предложение не нашло одобрения, да это и понятно: отправка в Испанию вовсе не стала бы наказанием.

Между тем причины для принятия мер против вольнодумцев и смутьянов были, с позиций властей, серьезными. В Испании революция, во Франции убит наследник престола, в Петербурге полиции известно о заседаниях нелегальных организаций, вроде Союза Благоденствия. Пушкин общается с заговорщиками. Как всегда в России, крамолу писали многие (например, вполне лояльный Федор Тютчев). О стремлении Пушкина вырваться на Запад было известно; потакать ему в этом так, как предложил Голицын, царь не намеревался.

Филипп Вигель, член общества «Арзамас» и приятель Пушкина, сформулировал суть дела: «Когда Петербург был полон людей, велегласно проповедующих правила, которые прямо вели к истреблению монархической власти, когда ни один из них не был потревожен, надобно же было, чтобы пострадал юноша, чуждый их затеям, как последствия показали... Пушкин был первым, можно сказать, единственным тогда мучеником за веру, которой даже не исповедовал»⁹⁷.

Друзья, которые понимали цену его дарования, переполошились. Чаадаев помчался к Карамзину, прося зас-

тупиться за друга перед вдовствующей императрицей Марией Федоровной и начальником Пушкина графом Каподистриа. Карамзин готов был содействовать, но потребовал от Пушкина обещания не писать против правительства в течение двух лет. Почему именно двух? Видимо, просто условный отрезок времени, чтобы успокоить страсти. Пушкин дает Карамзину такое обещание. Участь поэта действительно облегчила Мария Федоровна, которая помнила, что наградила юного поэта за стихи золотыми часами, которые он в лихом порыве раздавил каблуком. Теперь, по ходатайству Карамзина, она замолвила слово, что и смягчило гнев ее сына, Александра Павловича.

Заступиться за Пушкина Чаадаев просил также своего начальника князя Васильчикова. Чаадаев, по его собственному выражению, спас Пушкина от гибели. В хлопоты втянуты Александр Тургенев, уговаривавший своих влиятельных знакомых, Жуковский, обратившийся к императрице, Гнедич, бывший челом перед членом Госсовета и статс-секретарем Лениным, директор Лицея Энгельгардт. Такого натиска ходатаев Александр I, по всей видимости, не ожидал.

Граф Иоанн Каподистриа, будущий президент Греческой республики, управлявший пока что русским Министерством иностранных дел, имел большое влияние на Александра Павловича и был его доверенным лицом во многих щекотливых международных делах. Хорошо образованный, либерально мыслящий, сторонник отмены крепостного права и организации Совецательного дворянского собрания (то есть адвокат идеи конституционной монархии) граф был среди почетных членов общества «Арзамас», к этому времени уже распавшегося.

Он буквально вымолил у царя согласие сменить гнев на милость, видимо, доказав тому, что доброта царя вызовет одобрение в обществе. Наставление в письме Каподистриа было составлено хитро: «...можно сделать из него прекрасного слугу государству или, по крайней мере, писателя первой величины...»⁹⁸ Царь написал резолюцию: «Быть по сему». Мысль, проскальзывающая в литературе, что царь согласился на замену ссылки в Сибирь отправкой Пушкина по службе, чтобы не было шума на Западе, кажется очень соблазнительной, но это стереотип советского времени, а тогда она не возникала⁹⁹. Ссылку

не отменили, место было определено: южные поселения колонистов.

Какие конкретно сочинения послужили поводом к ссылке Пушкина, остается неясным. Неопределенность дала возможность построить важную часть мифа, что поэт был наказан за политическую активность и, в первую очередь, за оду «Вольность». Однако еще М. Цявловский ставил это под сомнение. Он считал, что реальная причина была в эпиграммах на Аракчеева, а «Вольность» тут ни при чем¹⁰⁰. Представляется, однако, что сработали все обстоятельства вместе, и возникло решение проучить молодого своевольного забияку-поэта.

Как явствует из письма Пушкина Вяземскому, Петербург ему так надоел, что он рвался уехать куда угодно. 5 мая 1820 года Александр Тургенев сообщал тому же Вяземскому, что Пушкин стал тих и осторожен, даже его в публике избегает. Знакомое поведение опального человека, который боится подвести друзей. А когда решилось, он утром выехал с верным дядькой Никитой и эскортом провожавших друзей в сторону Царского Села. Он ехал одетый как на маскараде: в красной рубахе, подпоясанной кушаком, и в сапогах. В кармане лежал свежий паспорт, а вернее, подорожная, которая сохранилась во Франции до наших дней. Ее подарил Пушкинскому Дому коллекционер и балетмейстер парижской оперы С.Лифарь. В подорожной на ссылку Пушкина и не намекалось. Там было написано: «Отправлен по надобности службы», что было вполне почетно.

Другой бумагой в кармане ссыльного было письмо, сочиненное Каподистриа от имени Нессельроде, писанное по-французски, о том, что чиновник Пушкин направляется на службу. Письмо было одобрено царем. В письме также не содержалось и намека на ссылку. Фактически Пушкин получил перевод по службе и вез в Екатеринослав главному попечителю колонистов Южного края генералу Инзову приятную весть о повышении в должности: тот назначался Наместником Бессарабии. В дороге у поэта было достаточно времени, и, вполне вероятно, он перебирал в мыслях возможности уехать подальше.

Глава пятая

КУРОРТНИК ПОНЕВОЛЕ...

*Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.
Свобода! Он одной тебя
Еще искал в подлунном мире.*

Пушкин. «Кавказский пленник» (IV.85)

Выделенные строки были выброшены цензурой, но, по словам приятеля Пушкина Михаила Юзефовича, в рукописи, поэтом ему показанной, строки имелись, и Юзефович их выписал¹⁰¹.

В истории пушкинской ссылки, описанной в сотнях книг, остаются загадки. И первая из них — почему Пушкин, в отличие от всех ссылных до него и после, отправился в ссылку весело? Может быть, он рад тому, что едет со слугой и самостоятельно, а не со стражниками и в кандалах? Что счастливо избежал участи политического преступника? Конечно, ему повезло, но для веселья это еще не повод. Суть дела, нам кажется, объяснима: молодой поэт надеялся в ссылке получить свободу, от которой его отлучили в Петербурге и к которой он так стремился.

Пушкин был пьян после шумных проводов, но и этого недостаточно, чтобы объяснить его приподнятое настроение. Радостными были два важных обстоятельства, о которых ему сообщил на прощанье, хотя и ворчащий, но добрый Карамзин. Такая ссылка (а фактически — перевод на новую должность) была знаком прощения со стороны царя невоздержанному на язык и раскаявшемуся поэту, жестом монаршей доброты, следовавшей за обещанием не сочинять противоправительственных стихов¹⁰². Более того, Карамзин шепнул (вряд ли он это выдумал), что месяцев через пять его простят совсем. Пять месяцев, когда одна дорога туда и обратно займет месяца полтора, вот от чего также можно было веселиться.

Но имелось и еще одно радостное и немаловажное обстоятельство. Пушкин приехал в Екатеринослав, и там проезжавшее мимо почтенное семейство Раевских взяло его с собой на Кавказ, а потом в Крым. Традиционно это излагается в пушкинистике как случайный подарок судьбы.

Вот что любопытно: 17 мая, в день, когда Пушкин приехал в Екатеринослав, где была резиденция нового начальства, Карамзин писал из Петербурга в Варшаву Вяземскому: Пушкин «благополучно поехал в Крым месяцев на пять». И — «если Пушкин и теперь не исправится, то будет чертом еще до отбытия своего в ад»¹⁰³. Значит, Карамзин знал, что Пушкин поедет к Черному морю.

Еще интереснее другое письмо. Николай Тургенев сообщает брату в Турцию, в Константинополь, важную весть: Пушкин скоро будет недалеко. Он собирается с молодым Раевским в Киев и в Крым. Письмо написано 23 апреля за 14 дней до отъезда Пушкина из Петербурга в ссылку.

Вот от чего опальный коллежский секретарь Пушкин радовался: он заранее знал, что отправляется в увеселительную поездку, что едет отдыхать на Кавказ и в Крым в хорошей компании. Ничего, кроме двух тысяч долга, он не оставлял, а на дорогу был пожалован тысячей рублей из казны и обещанием друзей прислать еще. Мрачная альтернатива: Сибирские рудники или Соловецкий монастырь, которую устранили его заступники, — придавала пушкинскому веселью несколько нервический оттенок.

Почти ничего не известно о дружбе Пушкина с Николаем Раевским-младшим, с которым он сговаривался в Петербурге о поездке, ничего, кроме признания Пушкина в письме брату: «...ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные» (X.17).

Ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка, приятель Чаадаева, Николай Раевский был на два года моложе Пушкина. Знакомы они были с лицейских лет. Раевский хорошо образован, особенно по части истории и литературы, знал языки и имел несомненное литературное чутье, что позволяло вести с ним нескончаемые дискуссии не как с дилетантом, но как с равным. Они особенно сблизились в трудные для Пушкина месяцы слезки и угрозы наказания.

Раевский оказался среди тех немногих, кто не отвернулся от Пушкина, когда у того начались неприятности. Но что же за услуги, да еще важные и незабвенные, оказал Пушкину Раевский в Петербурге? Ведь такой оценки дружеской помощи не найти больше во всей переписке Пушкина. Ответа на этот вопрос не находилось.

Может, выручил материально? Но что незабвенного в этом для Пушкина, любившего сорить деньгами? Такую услугу он не посчитал бы важной. Нам кажется, действи-

тельно незабвенным в тот период (и поэт понимал это лучше всех) было спасение от серьезного наказания и разрешение отправиться «под контролем» генерала в отпуск на юг.

Что сделал Раевский? Одновременно с Чаадаевым воздействовал на князя Васильчикова? Или же он, влиятельный сын генерала и героя прошедшей войны, да и сам признанный героем, ухитрился отыскать иные сильные связи, которые оказали давление на Александра I? Этого мы пока не знаем. Но все другие услуги были бы мелки, и Пушкин вряд ли придавал им такое значение. Не случайно проездом через Киев поэт останавливается именно у Раевских, — это тоже было заранее договорено.

Здесь маршрут усовершенствовался, — впрочем, скорей всего и это Пушкин знал заранее. Семейство Раевских собиралось сперва на Кавказ — отдыхать и лечиться, а уж затем в Крым. Договорились, что по дороге они заберут Пушкина из Екатеринослава.

Пушкин между тем формально ехал на службу сверхштатным чиновником канцелярии генерала Инзова, Главного попечителя и Председателя комитета об иностранных поселенцах южного края России. Инзов принял молодого чиновника ласково, по-отечески велел осваиваться и отдыхать. О службе и речи не шло, не было возражений и против вояжа с Раевскими на Кавказ. В Петербург от Инзова полетела депеша к графу Каподистриа, что чиновник прибыл и устроен.

Поэт, до этого не видевший ничего, кроме обеих столиц да имений родителей, жадно набирался впечатлений. Дорога шла мелкими городишками. Екатеринослав, хотя и числился губернским центром, был городок захудалый и грязный, как отмечает современник, тоже чиновник Инзовской канцелярии. «...Общество в Екатеринославе, за исключением 2—3 личностей, было весьма первобытным... Образ их жизни был самый забулдыжный. Карты, обжорство, пьянство, пустая болтовня и сплетни отнимали все их свободное время»¹⁰⁴.

Тут, глядя ежедневно на тюрьму и исправительную роту, Пушкин обдумывает сюжет «Братьев-разбойников»: историю в духе Шиллера о двух скованных цепью беглецах из Екатеринославской тюрьмы, которым удается убедить стражника переплыть вместе реку и бежать. Впоследствии Пушкин сжег поэму, но до нас дошли отдельные части, и в них — отголоски мыслей поэта. «Цепями общими гре-

мим...» — говорит он, и его слова обретают историко-философский оттенок (IV.129). В мае 1823 года Вяземский писал Тургеневу: «Я благодарил его (Пушкина. — Ю. Д.) и за то, что он не отнимает у нас, бедных заключенных, надежду плавать и с кандалами на ногах»¹⁰⁵.

В Екатеринославе план путешествия на юг оказался под угрозой. Катаясь на лодке по Днепру, Пушкин выкупался в холодной воде и слег с горячкой (острое респираторное заболевание? вирусный грипп? ангина?). Когда через неделю за ним приехали Раевские, они нашли его в «жидовской хате, в бреду, без лекаря, за кружкой оледенелого лимонада» (X.17). Впрочем, это была единственная туча в те дни на его небосклоне.

Кортеж из нескольких карет, колясок и возов с семейством почтенного генерала Раевского: взрослые дети, гувернантки, прислуга, после еще и телохранители, — продолжил путь с прибавившимся больным Пушкиным. Через неделю, по мере приближения к югу, он уже чувствовал себя лучше. Ему грозила ссылка, а попал он на праздник.

Они направлялись в Минеральные Воды и Пятигорск, уже ставшие тогда модными курортами, пить из целебных источников и принимать ванны. По дороге представители местных властей встречают известного генерала и его свиту хлебом и солью. Иногда добродушный генерал просит Пушкина: «Прочти-ка им свою оду»¹⁰⁶. Затем следуют званные обеды у местной администрации. В Таганроге они отобедали у градоначальника, в том самом доме, где позже умрет Александр I.

И чем дальше они продвигались, тем жизнь становилась более похожей на райскую. *Dolce far niente* — прекрасное ничегонеделание, как говорят итальянцы, нирвана, как называют это на Востоке. «Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался». Это он напишет брату через три месяца, 20 сентября 1820 года, из Кишинева. К этому мы можем лишь добавить, что такой жизни у Пушкина больше никогда не будет.

Он блаженствует. Он внутренне подготовился к худшему: к изгнанию, к наказанию, к отверженности, к лишениям, может, даже к голоду и холоду Соловков. А оказался в вельможной роскоши, окруженный заботой и вниманием, красивыми женщинами, умными собеседниками.

Он был в семье, которая стала ему ближе родной. Нигде и никогда не мог он чувствовать себя аристократом (чего ему всегда хотелось) и полностью свободным (чего требовал его бойкий ум и всячески избегающий дисциплины талант).

У него нет никаких обязанностей. Он свободен, может ни о чем не думать и ничего не делать, кроме того, что захотелось в данную минуту. «Завтра» для него не существует. Себя он называет «преданным мгновенью» (X.19). Он развлекается и потешает других. А его наблюдения во время путешествия на Кавказ и в Крым, как не раз отмечали специалисты, были поверхностны, отрывочны, содержат ошибки.

По дороге он вписал себя в книгу учета приезжих как недоросля, за что Раевский-старший ласково журит его под звонкий смех дочерей, с которыми Пушкин всю дорогу кокетничает. Сочиняет эпиграммы, в том числе злые, и они принимаются благосклонно. Поигрывает в картишки, гоняет верхом в горы, переживает случайные мгновенные романы. Все планы, все заботы и все цели улетели, как ангелы, и его не тревожат. Деньги для Пушкина, полученные из Петербурга, Инзов пересылает ему на Кавказ. В Пятигорске он сходится со старшим сыном Раевского Александром, циником, притом европейски образованным, с ясным умом и точным мышлением. Пушкин, который был моложе на четыре года, попал под его влияние.

Но так ли он в действительности счастлив и беспечен, как это ему показалось с самого начала? Надолго ли он останется в этом состоянии? Переживания, связанные с отъездом в сладкую ссылку, были нелегкими. Обстоятельства разорвали прежние его привязанности. Их место заняли другие симпатии. Сложилась новая сфера дружеских и сердечных отношений, из которой к прошлому возвращаться было незачем. «Мне вас не жаль, неверные друзья». Как всегда, его эмоции категоричны и события послушно рифмуются (II.11).

Всю жизнь Пушкин оглядывается назад и оценивает свое прошлое. Как же он оценит это время? В посвящении к поэме «Кавказский пленник» он скажет:

Я жертва клеветы и мстительных невежд;
Но, сердце укрепив свободой и терпением,
Я ждал беспечно лучших дней... (IV.82)

Отсюда следует, что он понимал: свободы, к которой он рвался, не удалось достичь в этом временном раю. И еще — он «ждал беспечно», значит, упрекал себя, что не добился того, чего хотел. Чего же именно? Суть размышлений автора в поэме «Кавказский пленник» есть стремление героя к освобождению. Он европеец, застрявший у азиатов, задержавшийся из-за любви. Белинский после скажет, что Пушкин сам был этим кавказским пленником.

Мысли о загранице, по-видимому, не покидают его. К поэме он выписывает эпиграфом цитату из Ипполита Пиндемонте, а затем вычеркивает ее:

О, счастлив тот, кто никогда не ступал
За пределы своей милой родины...

(Перевод с итальянского. IV.413, 443)

Период нирваны был важным с точки зрения перехода Пушкина от беспечности к самосознанию, к ответственности за свои поступки. Но — только переходом. С Кавказа он готовился поехать дальше, в Грузию, куда собирался еще год назад. Николай Тургенев теперь уведомлял брата, находившегося в Турции, что Пушкин двигается туда. А через полгода Пушкин напишет Гнедичу о своем сожалении, что не добрался до границ Грузии (24 марта 1821 года). Он был вполне доволен представившейся дружбой и завязывавшимся романом с Марией Раевской, младшей дочерью генерала. Снова у Пушкина *cherchez la femme*. Но было и новое обстоятельство.

Высылка поэта из Петербурга способствовала его популярности. Ко всем приятным обстоятельствам добавилось еще одно: его имя замелькало в прессе. Осведомитель Каразин сообщал, куда следует, о печатных органах, в которых он обнаружил намеки на высылку Пушкина из Петербурга, и требовал обратить внимание на всех авторов. Стихи Пушкина были постоянным предметом разговоров в гостиных. Никто не накладывал запрет на печатание его произведений. Сразу после отъезда поэта брат его с приятелем получили из цензуры поэму «Руслан и Людмила», и она пошла в печать. А через десять дней издатель выплатил для Пушкина гонорар.

С кавказских минеральных источников кортеж Раевских перемещается между тем к побережью Черного моря, сопровождаемый отрядом из шестидесяти казаков с пуш-

кой для устрашения недопокоренных племен. Из Керчи отплывают морем на корабле до Феодосии, там пересаживаются, чтобы плыть в Гурзуф, на военный сторожевой бриг «Мингрелия».

Ночью, плывя на корабле между берегами Крыма и Турции, он записывает строки:

Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волнением и тоской туда стремлюся я... (II.7)

Можно подумать, он с тоской стремится в Крым, куда идет судно. Но далее из стихотворения выясняется, что он стремится к другим берегам:

Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей. (II.7)

Вот и подведены итоги счастливого времени. Не таким уж беззаботным было его пребывание с Раевскими. Он обдумывал побег. Он добровольный изгнанник в том смысле, что никто не гнал его за границу, он рвался туда сам. И рай в России — вовсе не рай. Плыть куда угодно, только не к берегам родины. Ничего хорошего не вспоминается, кроме неприятностей, минутных заблуждений и боли сердца. Вот почему —

Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края... (II.7)

Разумеется, это лишь слова, и не стоит их понимать слишком буквально. Изгнание — традиционная тема романтической поэзии, своего рода литературный штамп. Как позже отметит Ю.Лотман, стилистика литературного поведения Пушкина шла под влиянием романтической литературы¹⁰⁷. Но поэтическое изложение вполне реальных проблем, которые его волнуют, — неотъемлемая часть пушкинского самовыражения. И именно поэтому мысль об отторжении от печальных берегов родины, высказанная в стихотворении «Погасло дневное светило», весьма важна.

Позже к приведенному стихотворению он напишет эпитафией слова: «*Good night, my native land! Byron*» (II.355). Имя Байрона тогда то и дело упоминалось в семье Раевских. Не без их влияния Пушкин примеривал свою биографию к жизни и поступкам знаменитого англичанина.

В Крыму он флиртует, купается, объедается виноградом, гуляет и резвится, как дитя, но и снова принимается за английский. Он занимается языком не только с Екатериной, старшей дочерью Раевского, которая знала английский прекрасно и помогала поэту переводить Байрона, о чем в биографиях Пушкина говорится, но и с англичанкой мисс Маттон, о которой не упоминают. Маттон ехала в свите Раевских. Занятия с Екатериной по строгим понятиям тех лет были бы нарушением норм приличия: Екатерине было 23, а Пушкину 21. Кто бы позволил им проводить много времени вместе, да еще наедине?

Между тем вояж с Раевскими подходит к концу, и Пушкину, хочет он того или нет, предстоит объявиться на службе.

Глава шестая

КИШИНЕВ: ТРАНЗИТНЫЙ ПУНКТ

*Ужасный край оставим оба,
Беги со мной...*

Пушкин. «Кавказский пленник» (IV.99)

Александр Тургенев, сидя в Петербурге, старался быть в курсе дел Пушкина. «Теперь он в Бессарабии с Инзовым, — писал он брату Сергею в Константинополь 11 сентября 1820 года, — следовательно, может быть в сношении с вами»¹⁰⁸. В этот день Пушкин еще был в Крыму. В Кишиневе он появился лишь через десять дней, усталый, весь в пыли, сквозь которую можно было различить крымский загар. Коляска остановилась возле убогих домишек без деревьев. В тени от стен удавалось укрыться от палящего зноя. Верный слуга Никита стал стаскивать с коляски обтрепанные чемоданы.

...Забыв и лиру и покой,
Лечу за милою мечтой.
Где ж отдохну, молодой изгнанник?.. (II.28)

Это из недописанного стихотворения. Отдыхать романтику предстояло здесь. Выезжая из северной столицы, Пушкин не рассчитывал, что ему придется осесть в Кишиневе. Попечительский комитет о колонистах Южного края был распоряжением сверху переведен сюда только теперь. Инзов, его начальник, уже переехал, и Пушкин явился служить ему.

Старые авторы называют вещи своими именами: Россия оккупировала эти территории дважды в XVIII веке и один раз в XIX¹⁰⁹. Раньше туркам и австрийцам удавалось отвоевывать их, но после Бухарестского трактата 1812 года, похоже, русские утвердились тут окончательно, получив все земли по левому берегу реки Прут. В местечке Кишала Ноу создавался административный центр управления новой колонией. Город был дотла сожжен русскими еще в предыдущую оккупацию, но за тридцать лет ожил. При других оккупациях тут было святое место, принадлежавшее Иерусалимскому патриаршеству¹¹⁰.

Теперь начиналась русификация, в которой Пушкин как государственный чиновник должен был участвовать. Одной из причин колонизации края Россией, как писал историк начала XX века, являлось то обстоятельство, что население Бессарабии при турках «было не уверено в завтрашнем дне»¹¹¹. Центру управления колонией и предстояло вселять эту уверенность в местное население.

Направляясь сюда, Пушкин следовал в бывшую за границу — ведь он ехал на Запад, в страну, которая только что «присоединена». Последнее слово есть более удобный и традиционный русский вариант иностранного слова «оккупирована». Какое впечатление произвела на него эта европейская страна? Филипп Вигель, приятель Пушкина, будущий тайный советник и вице-губернатор Бессарабии, прибыв в Кишинев, написал следующее: «Обширнее, бесконечнее, безобразнее и беспорядочнее деревни я не видывал... Въезжая в нее, ровно страдают и взор и обоняние: она вся состоит в излучистых переулках, униженных лачужками, тесно друг к другу приклеенных. Помои и нечистоты стекаются сюда из всех мест, отсюда впадают в Бык

и в летние жары так заражают воздух, что производят повальные лихорадки»¹¹².

Улицы представляли собой сплошные заборы (защита от воров), дома были с маленькими окнами под самой крышей, чтобы трудней было забраться, да еще обузданные железными решетками и потому похожие на тюрьмы и землянки. Бурные потоки в дождь вымывали со дворов нечистоты и несли их в овраги. Мы появились в Кишиневе, чтобы пройти по следам Пушкина, спустя 165 лет и, хотя фонарей в городе стало больше (при Пушкине их было тридцать три), грязь и убожество целых районов бросались в глаза повсюду.

В 1829 году путешественник сообщал: «Стоит только въехать в город, чтобы судить о неисправности полиции, и заглянуть в какое вам угодно Губернское Присутственное Место, чтобы видеть беспорядок в управлении Областью. Нет ни суда, ни правды. Губернаторов до десятка переменялось не более как в течение двух лет, двое из них заглянули только в Присутственные Места и, убоясь бездны, открывшейся пред ними, можно сказать, бежали»¹¹³.

Население Кишинева было смесью Востока и Запада с преобладанием восточной публики. Там жили болгары, турки, цыгане, французы, итальянцы, греки. Немецкий путешественник И. Коль, побывавший в этих местах лет через пятнадцать после Пушкина, отмечает, что главный элемент населения, как и у большинства городов Бессарабии, не молдаване, а евреи, которых насчитывается 15000. Одна из частей города называлась турецкой. Теперь сюда из России бежали крестьяне. Одни, не осев на земле, начинали заниматься разбойным промыслом, другие смешивались с местным населением по цитируемой молдавским историком поговорке: «Папа — рус, мама — рус, а Иван — молдаван»¹¹⁴.

В сущности, теперь, после курортного раздолья, началась для Пушкина ссылка. Она была неприятная, но не жестокая. Судьба и люди продолжали благоприятствовать ему. Для оперативного управления новой колонией наместник ее подчинялся статс-секретарю (Каподистриа), а тот — лично царю¹¹⁵. Здесь Пушкин осознал, что отправка его Каподистриа к Инзову была жестом продуманной доброты.

Попав под начало наместника, Пушкин арендовал в городе часть небольшого домика и начал новую жизнь. Кишиневский музей поэта, когда мы в нем бывали в восьмидесятые годы, находился в доме, в котором якобы чуть

больше месяца жил Пушкин, что весьма сомнительно. Правда, записанный биографами рассказ владельца дома Ивана Наумова подтверждал сослуживец поэта Феликс Пршебыльский, но последний уверял (и скорей всего врал, так как слегка тронулся умом), что ему 117 лет. Дом прошел через многих владельцев. В конце девятнадцатого века его занимала старуха Атаманчикова. Она за деньги показывала комнату, где под окнами, выходящими на восток, росли три старых саксаула. Старуха утверждала, что именно в этой комнате жил Пушкин. Ее внуки в это время раскрывали дешевое издание Пушкина и начинали громко читать стихи¹¹⁶. Пушкин был для Атаманчиковой способом немного заработать.

Благодаря заботе Каподистриа, Инзов, его начальник, был предрасположен к опеке над прибывшим молодым чиновником. Холостяк, лишенный к тому же родственных привязанностей, принялся опекать Пушкина как родного, по-отечески наказывая и прощая его. За душевную мягкость, незлобивость и нетребовательность наместника именовали не иначе как Инзушко. А ведь он получил должность председателя Верховного Совета Бессарабской области, впрочем, органа, несмотря на одиннадцать человек, его составлявших, весьма незаметного. Говорили, что Инзов — незаконнорожденный сын одного из предыдущих императоров и его имя означает аббревиатуру слов «Иначе Зовущийся». Пятидесятидвухлетний служака, он был скромн и мягок характером, терпим к возражениям. В войне с французами он участвовал вместе с Каподистриа, с которым между боями играл в шахматы. У него было одиннадцать орденов, множество медалей и шпага с алмазами, поднесенная ему за храбрость, но никогда он не кичился прошлыми заслугами¹¹⁷.

В литературе сообщается, что в канцелярии Инзова был единственный русский чиновник Кириенко-Волошинов¹¹⁸. Если это так, то с Пушкиным их двое. Подчиненные, большинством местные, во всю пользовались мягкостью Инзова, чтобы проворачивать свои дела. Взятничество, коррупция, всякого рода злоупотребления процветали в канцелярии с чисто восточным размахом, несмотря на относительную близость Запада.

Вдоль всего юга России образовывались колонии для развития и освоения края: немецкие, болгарские, еврейские. Инзов по мере сил защищал колонистов от притесне-

ний центрального правительства, стараясь не замечать неисполнения спущенных сверху постановлений. В этом была и негативная сторона: состояние общественной сферы в Бессарабии было из рук вон плохое. Грязь в Кишиневе стояла и в сухую погоду. Когда к Инзову пришел нанятый на службу иностранец с жалобой, что дом, в котором он живет, со всех сторон окружен водой, Инзов спокойно ответил: «Ведь и Англия на острове»¹¹⁹.

Почти пять предыдущих месяцев Пушкин был счастлив, но воспоминания о прошедшем счастье не компенсировали отсутствие оно в настоящем. Поэт сразу начал скучать. Через три дня после приезда он уже пишет брату: «Будешь ли ты со мной? скоро ли соединимся? Теперь я один в пустынной для меня Молдавии» (X.18). «В пустынях Молдавии», — скажет он и в письме Гнедичу, а в «Евгении Онегине» появится строка: «В глуши Молдавии печальной».

Пустыня для Пушкина — не географическое понятие, а синоним провинции, азиатчины, отсутствия интеллигентного общества, информации, светской жизни. Вот слова Пушкина о Ленском: «В пустыне, где один Евгений мог оценить его дары...» (V.35) Слово «пустыня» то и дело повторяется в «Евгении Онегине», в письмах и в стихотворениях именно в таком значении. В Кишиневе Пушкин вспоминает тех, кого оставил в Петербурге, начинает чувствовать свой собственный ошейник, который все лето не натирал ему шею.

Он умоляет в письмах сообщать ему новости. Ничего хорошего не слышно из Петербурга. Запрещена книга его лицейского учителя Куницына «Право естественное», ибо само употребление слова «право» есть крамола. Слышит о том, что из университета исключено несколько профессоров. Его волнуют отъезды друзей за границу. Пушкин спрашивает, отбыл ли уже Жуковский с Ее Величеством? Узнает с завистью о том, что пока сам он добирался до Кишинева, уехал за рубеж Вильгельм Кюхельбекер.

Кюхельбекер думал отправиться в Дерптский университет, чтобы со своим родным немецким там преподавать. А в это время знатный вельможа Александр Нарышкин искал секретаря для поездки за границу. При своих связях он без труда оформил свидетельство на выезд (называвшиеся также паспортами) и для всей своей свиты. И вот Кюхельбекер в Дрездене, затем в Вене, Риме, Париже,

Лондоне. Почему же он, Пушкин, это время столь бесцельно проводит в пустыне?

Кюхельбекер выступил в Вольном обществе любителей словесности в Париже с хвалой сосланному Пушкину:

Что для тебя шипенье змей,
Что крик и Филина, и Врана?¹²⁰

Доносы об этом дошли до правительства. Рассказал ли Пушкину кто-нибудь из приезжих весьма существенную весть о том, как, узнав, что Кюхельбекер за границей, царь сказал: «Не следовало пускать»¹²¹? Информация важная и для Пушкина. Значит, Вильгельма выпустили за границу без согласования с царем — вот какой демократический расклад. И совершили ошибку, которую вряд ли захотят повторить. После смерти Кюхельбекера остался сундук с бумагами: полное собрание неопубликованных стихов, прозы, дневники, — целая гора тетрадей. Тынянов в советское время сумел купить их и написал несколько работ. Он тяжело болел и умер в Москве в 1943 году. Архив Кюхельбекера он оставил в блокадном Ленинграде. Говорят, все рукописи из бесценного чемодана сожгли, потому что нечем было топить печь.

От приезжавших знакомых и незнакомых, из писем с оказией и без Пушкин то и дело узнавал новое о своих друзьях за границей. Без телефона, телеграфа, радио и телевидения, без самолетов и спутников связи, при тех допотопных способах передвижения, при жестокой цензуре и системе перлюстрации почты люди начала XIX века знали друг о друге и о событиях в мире больше, чем их соотечественники до начала распада советской системы.

Из Франции, милой Пушкину, Кюхельбекер писал: «Странное, дикое чувство свободы и надменности наполняло мою душу: я радовался, я был счастлив, потому что никакая человеческая власть до меня не достигала и не напоминала мне зависимости, подчиненности, всех неприятностей, неразлучных с порядком гражданского общества!»¹²² Кюхельбекер общался со многими западными писателями, в том числе с Гете, сокурсником которого по Лейпцигскому университету был отец Вильгельма. «Деятельная, живая жизнь пробудилась во мне», — сообщает он в письме к матери, написанном по-немецки. Поездка на Запад была, по его словам, «в высшей степени замечательною, для всей моей жизни, дар моей судьбы»¹²³.

Реальное путешествие по Европе оказалось интереснее воображаемого, сочиненного Кюхельбекером пару лет назад. В Париже он так переполнен новостями, что есть письма, где, захлебываясь, он не успевает рассказывать и переходит на списки названий, событий, имен. Ему казалось, впечатлений хватит на всю жизнь. Волею судьбы так и получилось.

Он решил стать российским культуртрегером, своего рода миссионером русской словесности, и начал читать лекции по истории России и русской литературе, но, надышавшись свободой, несколько забылся и увлекся критикой существующих в России порядков. Его покровитель Нарышкин рассердился, и с помощью русского посольства в течение суток Вильгельма вытолкали из Парижа и отправили в Россию. Такова версия Тынянова¹²⁴.

Журналист Николай Греч оставил в воспоминаниях свою версию возвращения Кюхельбекера: якобы поэт Туманский помог ему «пробраться в Россию»¹²⁵. Не случайно в официальном акте об отставке Кюхельбекера фактически фигурировало безумие («болезненные припадки»). Александру Павловичу стало известно, что Вильгельм собирался в Грецию, — там начиналась революция. В «Евгении Онегине» Пушкин, создавая портрет Ленского и имея в виду Кюхельбекера, сначала написал: «Он из Германии свободной привез учености плоды». А потом исправил «свободной» на «туманной» (V.33, 491—492). Дома друзья, опасаясь последствий, спротежировали Вильгельма чиновником по особым поручениям к генералу Ермолову, что походило на добровольную ссылку. Но наверху считали, что он удален за плохое поведение в Париже.

В то время, как Кюхельбекер в Европе вел жизнь в высшей степени замечательную и активную, Пушкин в Кишиневе, не меняя своих привычек, просыпался поздним утром. Сидя голым в постели, он стрелял в стену для тренировки, а затем холил свои неимоверно длинные ногти. В постели завтракал, сочинял, потом вскакивал на лошадь и часами носился по лесам и полям, начинавшимся сразу позади дворов. Когда солнце клонилось к закату, он появлялся за бильярдным или карточным столом, а затем в гостях. Волочился за чужими женами, дурачился, например, танцуя вальс под музыку мазурки, дерзил и готов был драться на пистолетах, рапирах или кулаках при любом показавшемся ему недостаточно почтительном слове. Бли-

же к ночи, если у него не предвиделось свидания, он с приятелями наведывался в «девичий пансион» мадам Майе. Хотя все места, где бывал Пушкин, тщательно обозначены мемориальными досками, на пансионе мадам Майе (дом ее сохранился) такой доски пока нет.

Служба его не утомляет, впрочем, говорят, переводчик Пушкин переложил на русский язык несколько законоположений старой территории, которые никому не понадобились. Весь год с него не могут взыскать двух тысяч рублей, которые он остался должен в Петербурге. Егор Энгельгардт в письме к бывшему сокурснику Пушкина Александру Горчакову сетует в те дни: «Когда я думаю, чем бы этот человек мог бы стать, образ прекрасного здания, которое рушится раньше завершения, всегда представляется моему сознанию»¹²⁶. Жажда наслаждений, задор, склонность к издевательству и насмешке, подчас жестокой, самолюбие и самомнение, полная бесцельность существования, — таков его облик в представлении случайных кишиневских наблюдателей.

Возможно, потому Инзов, отечески его опекающий, выделяет для опального чиновника в своем двухэтажном доме две комнаты с окнами в сад на первом этаже. В доме этом останавливался царь Александр во время визита в Бессарабию. Пушкин переезжает, но образ его жизни не меняется. И все ж представление о поэте как задиристом бездельнике несколько неполно. Для узкого круга лиц, которым повезло стать его друзьями в Кишиневе, открывался другой человек, «простой Пушкин без всяких примесей», как выразился Анненков¹²⁷.

Поэт любопытен, впечатлителен. Он столь щедро талантлив, что не нуждается в длительном времени на обдумывание, работая по принципу: пришел — увидел — сочинил. Он делает предметом поэзии все, что видит, создавая, кажется, из ничего свободный строй ассоциаций. Десять лет спустя он без сожаления напишет другу Алексею: «Пребывание мое в Бессарабии доселе не оставило никаких следов: ни поэтических, ни прозаических» (X.255). Но это чрезмерная скромность: в Кишиневе он сочинил почти сотню стихов, включая серьезные поэмы, мелочи, рифмованную матерщину и наброски. Он читает все, что попадает под руку. Приятель его вспоминает, как, будучи уличенным в ошибочном указании какой-то местности в Европе, он безотлагательно берется за книги по

географии¹²⁸. Круг его знакомых — люди, приехавшие с Запада и говорящие по-французски, да еще русские офицеры, среди них — члены тайных обществ, о чем Пушкин не подозревает, хотя и участвует в их политических спорах.

Пушкин попал в пустынный Кишинев в напряженный исторический момент, когда назревал очередной конфликт с Турцией. Он рассматривал свое пребывание в ссылке как временное. Но вот протекли полгода, а никаких изменений в его статусе не намечалось. Произвол бесит его. В стихах кишиневского периода Пушкин рисует себя в виде «добровольного изгнанника». Это, по мнению некоторых биографов, довольно традиционный литературный образ, не более. Двойник Пушкина якобы утверждал, что он добровольно бежал из неволи на волю, то есть сюда на юг¹²⁹. На деле сам поэт ощущает себя чужим, отверженным. Наполеона называет «изгнанником вселенной» и сочувственно пишет о том, как тяжело опальному императору в ссылке.

Вокруг все знакомые ездят за границу, он остается. Когда Пушкин соблазнил в Кишиневе жену богача Инглези цыганку Людмилу-Шекору, муж вызвал любовника на дуэль. Об этом донесли Инзову — тот посадил Пушкина на десять дней на гауптвахту (и сам навещал его, чтобы развлечь), а Инглези немедленно вручил бумаги, что ему разрешается выезд за границу вместе с женой. На другой день Инглези с Людмилой-Шекорой уехали.

Молодому поэту хотелось погулять по Европе, только и всего. Но теперь это желание, смешавшись с обидой, превращается в настойчивое стремление вырваться. Не поехать, а уехать — вот результат его размышлений, реакция на запреты, на рабскую зависимость от прихотей начальства. В Кишиневе Пушкин начинает строить планы, чтобы тайно вырваться из неволи.

Согласно положению, полномочный наместник Бессарабии Инзов не только лично подписывал заграничные паспорта, но лично их вручал. В Государственном архиве Молдавии сохранилось несколько таких документов. Никаких бумаг для получения паспорта не требовалось. Практически каждого чиновники знали в лицо, имели данные о том, чем кто занимается, и для проформы спрашивались сведения неопределенного свойства: «Цель выезда?» — «По торговой надобности». В паспорт вписывались родственники и прислуга. В таможене с каждого главы семьи бралась дополнительная расписка, что лошади будут воз-

вращены в Россию¹³⁰. По поводу родственников и прислуги таких расписок не требовалось. Не давал обязательств и сам выезжающий. Короче говоря, выехать было сравнительно не трудно. Что касается Пушкина, то отпустить поднадзорного чиновника Инзов не мог.

Документальных подтверждений того, что Пушкин обращался к Инзову с просьбой отпустить его за границу, обнаружить не удалось. Но, возможно, Пушкин, когда писал, что скоро оставит эту землю и отправится в более благословенную, уже намекал на определенные шаги, им предпринятые. По прозрачным причинам подробнее распространяться на эту тему не хотел, хотя и подчеркивал слово «скоро». Другой вариант: Пушкин специально держал Инзова в неведении, чтобы легче было осуществить побег, — отпадает, ибо сперва поэт пытался выехать легально.

Документов не сохранилось, но есть предположение, что Пушкин верноподданнически просил отпустить его и первый раз сделал это «по инстанции». По собственному душевному порыву добряк Инзов отпустить Пушкина не мог. Инзов понимал, что несет ответственность лично перед правительством, распорядившимся отправить провинившегося чиновника сюда. Он мог пообещать просить своего друга министра Каподистриа замолвить слово за Пушкина. Если Каподистриа это сделал, то в ответ, очевидно, услышал от Александра Павловича раздраженное «Нет». Царь вполне мог считать, что Пушкин будет вести себя в Париже еще хуже, чем Кюхельбекер. Зачем же его выпускать?

А Пушкин надеется. Он хочет быть законопослушным и избежать конфликта.

Я стал умен, я лицемерю —
Пощусь, молюсь и твердо верю,
Что Бог простит мои грехи,
Как Государь мои стихи. (II.39)

Он опять принимается писать стихи по-французски, а также начинает переводить на французский Байрона, что было своего рода двуязычной практикой. Одновременно Пушкин начинает обдумывать побег. Жить «на лужице города Кишинева», как он выражается в письме, ему противно (X.19).

Первые реакции Пушкина всегда поэтические, и в стихах появляется образ беглеца. Пускай действие происходит на Кавказе — отнюдь не случайно это пишется имен-

но в Кишиневе. Тут, как писал один из современников, поэт впервые реально «очутился почти в пограничном городе, что для него было очень важно»¹³¹.

Перебраться из Кишинева в заграничную Молдавию, казалось бы, не очень трудно. Отношение Инзова к беглецам, буде они задержаны, насколько мы можем судить по другим историям, было весьма терпимым. В конце концов Пушкин всегда мог сказать, что поехал прогуляться верхом (что он делал каждый день) и заблудился. В худшем случае он отделался бы домашним арестом на несколько дней. Вряд ли Инзов стал бы доносить об этом в Петербург.

Но и недооценивать трудности бегства из Бессарабии не следует. Как раз при Инзове было усилено наблюдение на карантинных постах и таможнях; обо всех происшествиях надлежало сообщать ему. Пушкину вскоре покажется, что легче бежать из Одессы, а в Одессе — что лучше это совершить в Михайловском. На деле в Одессе это будет трудней, чем в Кишиневе, а в Михайловском трудней, чем в Одессе. Но поймет он это еще позже.

А пока обстоятельства снова идут ему навстречу. С доброго согласия Инзова Пушкин отдыхает в Каменке, под Киевом. Европа бурлит страстями восстаний, а в Каменке кипят страсти за столом. Его приятели, и среди них будущие декабристы, строят планы тотального переустройства России, о чем ему мало известно. В Каменке Пушкин опять болеет, и заботливый Инзов просит удержать его от возвращения на службу, не пускать в мороз ехать в Кишинев. Вернувшись под крыло начальства, Пушкин выясняет, что социальные волнения докатились до Бессарабии. Один шаг — и он их участник, но шаг этот еще предстоит сделать.

Глава седьмая

С ГРЕКАМИ В ГРЕЦИЮ

*Недавно приехал в Кишинев и скоро оставляю благо-
словенную Бессарабию — есть страны благословеннее.*

Пушкин — барону Дельвигу, 23 марта 1821 (X.23)

В Москве, а следом и в Петербурге распространяются слухи о том, что сочинитель Пушкин благополучно бежал

из Бессарабии в Грецию. Слухи прилетали с юга, и Пушкин сам дал им повод. Спустя сто с лишним лет профессор Одесского института народного просвещения В. Селинов, сопоставив все известные материалы, скажет: «Как мы будем видеть, *реальные* (выделено Селиновым. — Ю. Д.) намерения к отъезду из России у Пушкина впервые зародились в Кишиневе по связи с восстанием Ипсиланти...»¹³²

Намерения к отъезду, как мы знаем, возникли раньше, но сейчас речь именно о кишиневской весне 1821 года, когда Пушкин, что явствует из приведенного в эпиграфе письма Дельвигу, изложил свой план в доступной даже непосвященным форме: «скоро оставлю», ибо «есть страны благословеннее». Больше того, он начал предпринимать (и в этом Селинов точен) конкретные шаги по реализации замысла.

В Кишиневе Пушкин сдружился с Еленой Горчаковой, сестрой лицейского товарища, который служил первым секретарем русского посольства в Лондоне. Пушкин влюбился в Елену как раз в то время, когда греки, бежавшие из-под турецкого ига в Россию, готовились принять участие в войне против турок. Борьбу организовывала этерия, греческая община, или партия, одним из вожаков которой был муж Елены Георгий Кантакузин. Среди руководителей этерии числился и брат Георгия Александр, и четверо братьев Ипсиланти.

В доме Георгия и Елены Кантакузиных был своеобразный центр греческой оппозиции. Собирая в Кишиневе материалы, мы разыскали, в частности, могилу Елены Кантакузиной, оказавшуюся разрытой и разграбленной. Местный журналист рассказал, что он выяснил, кто это сделал: оказалось, подростки из ближайшей школы. В этерии шла энергичная подготовка к освобождению Греции от турок, и русское правительство, в предвидении войны с Турцией, благосклонно смотрело на эти приготовления. Правительство держало их под контролем через находящихся на русской службе офицеров братьев Ипсиланти и через статс-секретаря Каподистриа. Александр I даже обещал поддержку Ипсиланти, следственно и Инзов сочувствовал грекам.

Надежды на перемены в России всегда увязывались с внешними событиями. Тайные общества офицеров-заговорщиков, будущих декабристов, связывали революционную ситуацию в Греции с возникновением аналогичной

ситуации в России. У Пушкина подобных мыслей не было, но, по мнению Ю.Лотмана, он их мог слышать от своего приятеля полковника Михаила Орлова¹³³. В конечном счете, члены Южного общества мечтали об освобождении и объединении всех балканских народов — разумеется, под опекой России.

Два слова в названии первого тайного общества декабристов: «Общество истинных и верных сынов отечества» несовместимы: «истинные» и «верные». В российском политическом контексте приходилось быть либо истинным, либо верным. Пушкин отличался от офицеров, входивших в общество, по меньшей мере тем, что считал себя истинным, но не верным. Позже он не раз писал, что гордится предками, но презирает отечество. В литературе можно прочесть, что в Кишиневе Пушкин стал даже более радикален, чем в Петербурге, и произошло это под влиянием декабристов. На деле развитие поэта шло в другом направлении, и, хотя друзья всегда были лучшими философами и политиками, чем он, и всегда влияли на Пушкина, между ними оставалась пропасть.

Когда поэт вернулся из Каменки, внешние события разворачивались полным ходом и уже вышли из-под контроля Петербурга. В Кишинев со всех сторон съезжались греки. Братья Ипсиланти подняли на ноги этерию в Одессе. Оттуда морем уплыли на Родину около четырех тысяч греков. Ипсиланти появились в Кишиневе в конце февраля, и Александр с братом успешно переправились через границу.

Вскоре они издали обращение к грекам, призывающее свергнуть турецкое владычество. Георгий Кантакузин прибыл в турецкую часть Молдавии на помощь Ипсиланти с отрядом из 800 человек. Шестой корпус русской армии получил приказ начать передвижение к границе, и это было воспринято как обещанная поддержка грекам в их «справедливой борьбе за независимость», говоря казенным языком советской прессы.

Пушкин решает присоединиться к греческим добровольцам. Но как практически это сделать и где? Он спешит в Одессу и опаздывает: добровольцы уже уплыли морем¹³⁴. «В Одессах, — пишет Пушкин, — я уже не застал любопытного зрелища: в лавках, на улицах, в трактирах — везде собирались толпы греков, все продавали за ничто имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты... все шли в войско счастливца Ипсиланти» (X.22).

Надо возвращаться в Кишинев. Здесь есть путь в Яссы — ближайший пункт за границей. О сборах Пушкина в Кишиневе, последовавших за сообщением о скором отъезде, мы знаем немного. Прежде всего Пушкин озабочен судьбой младшего брата Льва, опасаясь, что после бегства старшего брата у того будут неприятности. «Боюсь за его молодость; боюсь воспитания, которое дано будет ему обстоятельствами его жизни и им самим, — сообщает он другу юности Дельвигу 23 марта. — Люби его; я знаю, что будут стараться изгладить меня из его сердца, — в этом найдут выгоду». Это единственное из восьми сотен известных нам писем Пушкина оканчивается по-русски, коротко и недвусмысленно: «Прощай» (Х.23—24).

На следующий день поэт сочиняет письмо Гнедичу: «Не скоро увижу я вас; здешние обстоятельства пахнут долгой, долгою разлукой!» Вчерашнее письмо Пушкин вкладывает в только что написанное, и оба письма вместе отправляются в Петербург, не по почте, конечно, а с верной оказией.

В дни, когда Пушкина не было в Кишиневе, искал путь нелегально выехать оттуда третий брат Александра Ипсиланти, Дмитрий, у которого, как и у Пушкина, не было заграничного паспорта. К Инзову пришел кишиневский купец П.Анавностопулос с ходатайством выехать в Италию «по торговой надобности». Без лишних вопросов Инзов распорядился такой паспорт выдать ему, как «жителю города Кишинева и греческому купцу Бессарабии»¹³⁵. В паспорт, по просьбе Анавностопулоса, чиновник канцелярии вписал его приказчика. Под видом приказчика в Грецию выехал Дмитрий Ипсиланти. Писатель и пушкинист Иван Новиков описал эту ситуацию так: «Вельтман (знакомый Пушкину чиновник. — Ю. Д.) трунил, что это «только алчущие хлеба, но не жаждущие славы». Пушкин тогда сердился в ответ и жалел, что его не было в Кишиневе, когда Ипсиланти и два его брата покидали Россию. Он непременно уехал бы с ними»¹³⁶.

Готовясь к отъезду, Пушкин был в курсе всех греческих дел, следил за ходом событий, собирал и аккуратно записывал сведения в заведенный им «Журнал греческого восстания». То и дело Пушкин навещается к оставшемуся пока в Кишиневе другому деятелю этерии Михаилу Суццо. Поэт чувствует себя греком, он одержим греческой национальной идеей, как ему кажется, больше, чем те.

кто остался в Кишиневе. 2 апреля он записывает в дневник: «Говорили об А.Ипсиланти; между пятью греками я один говорил как грек... Я твердо уверен, что Греция восторжествует...» (VIII.15)

Он перестал быть эгоистом и прожигателем жизни: высокая идея освобождения другого народа, угнетаемого оккупантами, вдохнула в него новые жизненные силы. Не случайно, получив письмо от Чаадаева, Пушкин мысленно говорит с ним. Чаадаев всегда пытался доказать ему, что общие проблемы выше частных, что жизнь коротка и высокие цели делают ее полной. Месяц назад Чаадаев подал в отставку и собирается покинуть Россию. Пушкин вторит Чаадаеву в стихах:

Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне. (II.47)

В дневнике он исповедуется Чаадаеву: «Твоя дружба мне заменила счастье, одного тебя может любить холодная душа моя» (VIII.16).

О скоро ли, мой друг, настанет срок разлуки?
Когда соединим слова любви и руки? (II.48—49)

Пушкину хочется во что бы то ни стало срочно попасть в Петербург на несколько дней. Нужно упасть как снег на голову друзьям (его выражение), договориться с Чаадаевым, добиться у отца денег. В письме Александру Тургеневу читаем: «...сперва дайте знать минутным друзьям моей минутной младости, чтоб они прислали мне денег, чем они чрезвычайно обяжут *искателя новых приключений*» (X.25). Последние слова он жирно подчеркивает. В этом же письме сообщает, что ему надо в пакостный Петербург (опять его собственные слова) проститься с Карамзиными, с Тургеневым, ибо «без вас двух, да еще без некоторых избранных, соскучишься и не в Кишиневе, а вдали камина княгини Голицыной замерзнешь и под небом Италии». Судя по стихам, в мечтах он уже за границей, и не только с греками, но и с карбонариями в Неаполе. Он прощается с друзьями: «Верьте, что где б я ни был, душа моя, какова ни есть, принадлежит вам и тем, которых я умел любить».

Он не очень-то верит, что друзьям удастся вытребовать его через посредство каменных жителей Каменного острова, то есть через царскую семью. И поэтому Пушкин просит приятеля, офицера Генерального штаба Ивана Липранди, отправляющегося в Петербург, поговорить с отцом и растолковать ему в чем дело — не писать же по почте¹³⁷. Пушкин и не подозревает, что Липранди для такого рода тайных откровений — самая неподходящая фигура.

В майские дни 1821 года Пушкин становится особенно энергичным потому, что исполняется годовщина, как его выселили, и терпение иссякло. С надежными людьми уже послана депеша к тому, кто там, в Греции, является главнокомандующим и уполномоченным тайного правительства. Содержания письма мы не знаем, есть только запись в дневнике от 9 мая: «Третьего дня писал я к князю Ипсиланти, с молодым французом, который отправляется в греческое войско» (VIII.16).

Даже после первых поражений греков в сражениях с турецкой армией Пушкин все еще готов бежать. Брату он сообщает: «Пиши ко мне, покамест я еще в Кишиневе. Я тебе буду отвечать со всевозможной болтливостью, и пиши мне по-русски, потому что, слава Богу, с моими конституционными друзьями я скоро позабуду русскую азбуку» (X.26). Он ждет ответа от Ипсиланти.

После эйфории успехов и первых побед отряды греческих волонтеров начали расправы с турками и первые казни, по жестокости оказались соизмеримы с крутостью восточного нрава оккупантов. «Семеро турков были приведены к Ипсиланти и тотчас казнены — странная новость со стороны европейского генерала», — удивляется Пушкин (X.21—22). Кровавые расправы его возмущают: в другом месте греки перерезали сто турок.

Денег у Пушкина все еще нет, и друзья не спешат помочь. Правда, ссыльный Пушкин исправно получает правительственное жалованье. 1 мая 1821 года ему вручили 7600 рублей. Хотя долгов полно, отдавать их он не спешит. Получив повестку уплатить долг под страхом полицейского преследования, он отвечает, что уплатить не может, и пытается уговорить отца прислать денег.

Общая ситуация постепенно меняется. Греческим активистам, с которыми он в приятелях и которые могли бы помочь, не до него. Зато «до него» агентам тайной полиции. Один из них доносил еще в марте, что Пушкин в ко-

фейных домах публично ругает не только военное начальство, но и правительство. Реакция сверху, по-видимому, смягченная статс-секретарем Каподистриа, быстрая: от Инзова требуют информацию о сем юноше.

Инзовская характеристика была составлена в оптимистическом тоне, что вызывало недоверие к самому Инзову, которым Александр I был недоволен: Инзов несвоевременно сообщил о подготовке восстания, хотя знал, что Александр Ипсиланти готовил его в Кишиневе. Правительственные чиновники действовали по известному принципу: «доверяй, но проверяй». Информацию, помимо бюрократических каналов, поставляли секретные агенты, в том числе специально прибывавшие из столицы.

Агентура сообщила царю из Парижа, что секретарь Нарышкина Кюхельбекер собрался ехать в Грецию сражаться за независимость греков. К тому ж третий лицейский приятель Пушкина граф Сильверий Броглио вскоре после окончания Лицея уехал в Пьемонт, сделался участником освобождения Греции и погиб. Дата его смерти и место остались неустановленными. Пушкин услышал об этом, когда сам рвался туда же, и, возможно, всерьез задумался. Тема нелегального перехода границы у него на кончике пера. В наброске стихотворения «Чиновник и поэт» читаем:

— Куда ж? — «В острог — сегодня мы
Выпроважаем из тюрьмы
За молдаванскую границу.....Кирджали». (II.72)

Кирджали, как теперь выяснено, был историческим лицом. Этеристы без особого труда проходили границу и возвращались в Бессарабию после поражений. В Молдавском архиве сохранились списки, направленные Инзову из Новоселицкой таможни, в которых перечислено по пятьсот человек. Такие же сведения шли Инзову из Скулян — прикордонного пункта на дороге из Кишинева в Яссы. В Яссах был русский консул, который сообщал правительству о многочисленных побегах из Бессарабии. Инзов вызывал к себе представителей Кишиневских властей и выговаривал им, что они способствуют тайному бегству людей за границу¹³⁸.

Не очень ясно, в чьих интересах действовал Александр Ипсиланти, грек и русский генерал: в интересах греков,

царя или своих собственных. Он надеялся заполучить для себя небольшое королевство на Балканах и обсуждал разные планы кампании, не в силах остановиться ни на одном. Проекты Ипсиланти получали огласку и уже поэтому становились неосуществимыми. Турецкая армия была вдесятеро сильнее; греки начали терпеть поражение за поражением. Остается добавить вспыхнувшую на турецкой территории эпидемию чумы. Греки бежали опять — назад в Кишинев. За два-три месяца в городе, как сообщает Вельтман, вместо 12 тысяч греков стало 50 тысяч.

Когда в Румынии началось восстание под руководством Владимиреско, Ипсиланти перебрался в Румынию. О своих планах он сообщил Александру I, прося поддержки, но царь под влиянием Меттерниха решил отмежеваться от дел этерии — общества с неясными целями. Каподистрия и Нессельроде сообщили Ипсиланти тайно, что царь не гневается, но не может помочь. Ипсиланти пришлось отступить к австрийской границе, чтобы бежать, а турецкая армия уже надвигалась. Боясь измены румын, Ипсиланти решил разгромить отряды Владимиреско и тем настроил против себя румын. Греки были разбиты, Ипсиланти укрылся в Австрии, но был схвачен и посажен в тюрьму. Вышел он лишь в 1827 году и скоро умер. Результат греческого восстания печален: дунайские княжества были опустошены турками.

Надежды Пушкина на бегство к грекам теряли не только реальность, но и привлекательность. Еще недавно он называл Грецию священной (II.107). Греки, возвращаясь, становились в Кишиневе забулдыгами и алкашами. Да и сама благородная цель — ринуться освобождать Грецию, находящуюся в цепях рабства, — постепенно вывернулась для поэта наизнанку. Позже Пушкин резко писал о полнейшем ничтожестве народа, лишенного энтузиазма и понятия о чести. Н. Лернер указывает, что суждения поэта стали столь негативными, что его даже упрекали в симпатии к турецкому игу¹³⁹. Спустя три года Пушкин напишет Вяземскому: «Греция мне огадила... пакостный народ, состоящий из разбойников и лавошников...» (X.74) То была обида.

Потом, отстранившись от личного, Пушкин стал смотреть на те события более объективно. В «Кирджали» он вернулся к идее судьбы небольшого народа, ставшего жертвой противоборствующих держав — России и Турции. То, что не сказал Пушкин, договорил Байрон, который, в

отличие от русского поэта, сперва отправил на помощь грекам за свой счет два корабля, а затем появился в Греции сам: «Так как я прибыл сюда помочь не одной какой-либо клике, а целому народу и думал иметь дело с честными людьми, а не с хищниками и казнокрадами... мне понадобится большая осмотрительность, чтобы не связать себя ни с одной из партий...»¹⁴⁰ Греки еще не отвоевали свободу, но уже боролись за власть, разделив этеристов на касты и требуя привилегий руководителям.

Анненков очень точно оценил едва ли не важнейшую черту характера Пушкина, сказав, что у него было «обычное его натуре соединение крайнего увлечения с трезвостью суждения, когда ему оставалось время подумать о своем решении»¹⁴¹.

Пушкин загорелся освобождением Греции, но вот парадокс: он отправлялся из несвободной страны освобождать такую же, а может, и более свободную, чем его собственная. По крайней мере, оттуда можно было без труда выехать в любую страну, куда душе угодно, — никто не задерживал. Не логичнее ли было бы сперва подумать о собственной стране и о своем народе, раз уж в крови горел огонь желанья сжечь себя на костре справедливости? Тем более, что возможности такого рода имелись в России даже в Кишиневе, где зрели и готовились декабристские ячейки, — чем не этерия?

Но в том-то и состояла, на наш взгляд, логика созревания Пушкина: дома он уже «доборолся». Он, как и его друг Чаадаев, рано понял, что здесь «вечный туман» (II.33), свободой и не запахнет:

Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет. (II.40)

Думается, Пушкин искал свободы не для греков, но лично для себя и готов был выбираться «через греки в варяги». Официальный миф иной: поэт остался в России, а не бежал в Грецию потому, что он, как и декабристы, понял: его судьба неотделима от судьбы России. Если бы это было так, отчего начинается у Пушкина полоса крайнего негативизма, о котором принято умалчивать? Он раздосадован. Мятежный дух угасает в нем, не найдя применения, самолюбие делается болезненным. Он составляет для себя особый кодекс прав и свобод привилегированной лич-

ности. Нелучшие черты его характера выходят на поверхность, задавив собой остальные.

Пушкин опять игрок, ловелас, дуэлянт. Поединки вспыхивают по ничтожному поводу. Он вызывает на дуэль человека за то, что тот удивился, что поэт не читал какой-то книги, хотя Пушкин ее читал. Знакомому, который отказался принять вызов, пишет оскорбительное письмо, рисует на него карикатуру. На клочках бумаги записывает имена своих обидчиков и готов хранить эти бумажки всю жизнь, пока не рассчитается с каждым сполна. Он не ценит своей жизни и считает, что имеет право распоряжаться жизнями других.

Итак, поэт уже не собирается освобождать греков. По его собственному выражению, у него был «последний либеральный бред», он «закаялся». А в обеих столицах распространился новый слух на старый лад. Издатель Михаил Погодин 11 августа 1821 года сообщает приятелю в Петербург о Пушкине: «Кстати, я слышал от верных людей, что он ускользнул к грекам»¹⁴². Об этом же услышал Федор Тютчев¹⁴³.

Глава восьмая

БЕГСТВО С ТАБОРОМ

*Почто ж, безумец, между вами
В пустынях не остался я,
Почто за прежними мечтами
Меня влекла судьба моя!*

Пушкин. «Цыганы», черновик (IV.384)

Так с сожалением скажет он спустя три года, оканчивая поэму, начатую на юге. К цыганам Пушкин обращался не раз в стихах, а сведения о похождениях его в таборе ничтожны, отыскиваются буквально крупички. Попытаемся их собрать, тем более что это напрямую связано с исследуемой нами стороной биографии поэта.

Желание «на стороне чужой испытывать судьбу иную» не реализуется. Судьба его остается той же, и желание пересечь границу не только не ослабляется, но становится сильней. В литературных образах этого периода у Пушки-

на происходит переход от пленника к беглецу. И кавказский пленник, и разбойники, и цыгане отторжены от нормального общества. В поисках другой судьбы они разорвали предуготовленные обществом связи. И Пушкин, как его герои, в конце июля 1821 года исчез. Анненков утверждал, что это произошло в 1822 году, но он ошибался¹⁴⁴.

Исследователь бессарабского периода жизни Пушкина Кочубинский произнес речь «Черты края в произведениях Пушкина»¹⁴⁵. Подводя итоги своих поисков, Кочубинский заявил, что летом 1821 года Пушкин решил тайно покинуть Россию и для этого отправился «с цыганской экскурсией» до Измаила.

Сам Пушкин хранил молчание. Даже потом, годы спустя, повествуя о своих замыслах, он выражал лишь общие симпатии к цыганам и особенно к цыганкам. Только близкие друзья узнали подробности его экскурсии. Несколько лет спустя он исповедовался об этом своей знакомой Александре Смирновой, да и то в полушутливой форме и не касаясь целей экскурсии. Строки о том, что поэт скрылся в таборе, были вписаны им самим лишь в экземпляре «Цыган», подаренный князю Вяземскому:

За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил.
Простую пищу их делил
И засыпал перед огнями.
В походах медленных любил
Их песен радостные гулы —
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил. (IV.169)

Пушкин этих строк не опубликовал. Теперь они весьма произвольно включены в эпилог канонического текста поэмы. Стихотворение-воспоминание «Цыганы» Пушкин и через десять лет поместит в печати как перевод с английского. Тут он свое пребывание в таборе сделает условным, будто кто-то другой прошел через эти приключения:

Я бы сам в иное время
Провожал сии шатры. (III.200)

А в «Евгении Онегине» скажет, что не он посетил цыганский табор, а его муза.

И, позабыв столицы дальней
И блеск, и шумные пиры
В глуши Молдавии печальной
Она смиренные шатры
Племен бродящих посещала,
И между ими одичала. (V.143—144)

Такая конспирация поэта не случайна.

Пушкин считал цыган ветвью индийцев (он писал «индейцев»), париями, изгнанными из своей страны. Он наблюдал стремление русских отторгнуть этих инородцев, узаконив их бесправное положение. Но цыгане, благодаря своему отказу от оседлой жизни, оказались жизнеспособнее и свободнее, чем коренное население. Они кочевали (и по сей день кочуют) по всей Европе, включая Англию. Правда, современные цыгане делают это более комфортабельно в так называемых караванах — автомобилях-квартирах, которые подключаются на стоянках к электричеству, канализации и телефону. Об этом на Западе существует целая литература.

В рассматриваемое нами время российские границы не были для цыган помехой. И дикую свободу передвижения не раз использовали лица, которые хотели оказаться вне Российской империи нелегально. Этеристы бесконтрольно ходили в Молдавское княжество, в Грецию и возвращались в Бессарабию с цыганскими таборами по несколько раз в год¹⁴⁶.

Похоже, местные власти махнули рукой на бродяг, не подчиняющихся приказам сверху. Путешествовали цыгане без виз и паспортов, пересекали границы, минуя таможенные кордоны. Пушкин это знал, оставалось стать цыганом, раствориться в массе, — остальное произойдет само собой. Пушкин гляделся в зеркало, и сомнения во внешнем сходстве с данным племенем исчезали. Некоторые черты характера тоже подходили.

Согласно одной из версий, в цыганский табор за рекой Бык Пушкина привел чиновник инзовской канцелярии Дмитрий Кириенко-Волошинов, тот самый, которого в канцелярии считали единственным русским. О человеке этом известно мало, не знаем ни возраста, ни отчества, ни подробностей жизни. Воспоминания Е. Д. Францевой, его дочери, о встречах Пушкина с Кириенко один из пушкини-

стов назвал малодостоверными в подробностях¹⁴⁷. Даже если принять это ограничение, то оно означает, что в основе воспоминания достоверны. Кириенко, прожив в тех местах много лет, бойко говорил по-цыгански. Он вскоре из табора ушел, а поэт остался.

По другой версии Пушкин тогда направлялся в командировку, в степи встретил табор, пристал к нему и некоторое время кочевал с цыганами, спал под открытым небом у костра¹⁴⁸. В. Яковлев, ссылаясь на непоименованные источники, пишет, что Пушкина отправил в Буджакскую степь сам Инзов. Он не раз посылал поэта в дальние командировки в виде наказания, когда домашние аресты с чтением французских романов не помогали. Известно, что Инзов лично отправлял Пушкина в Измаил. Следование за табором, возможно, оказалось тайной стороной одной из таких поездок.

Так или иначе, связавшись с цыганами, поэт неделями не появлялся в канцелярии и подолгу не приходил к себе в квартиру в Инзовском доме. На его исчезновения никто не обращал внимания¹⁴⁹. Скорей всего, Инзову не приходило в голову, что Пушкин может сбежать за границу. Отсутствие его после очередного затеянного им скандала в городе Инзова даже устраивало: это успокаивало страсти.

Дополнительный штрих к ситуации дает А. Шимановский. По его мнению, в таборе Пушкина, сокращая имя Александр, звали Алеко, и у него была связь с цыганкой¹⁵⁰.

Сколько времени Пушкин провел с табором, который вскоре разобрал шатры и ушел к юго-западу, вопрос спорный. По мере изучения деталей срок загула увеличивается. «Несколько дней», — говорит Б.Томашевский в примечаниях к собранию сочинений поэта (II.420). Кишиневский краевед тщательно собрал переходившие из поколения в поколение местные предания, в которых утверждается, что Пушкин находился в цыганском таборе около месяца, из них около двух недель у него был роман с цыганкой, которую он называл Земфирой¹⁵¹. Намечены даже даты таинственной отлучки: с 28 июля до 20 августа 1821 года. Есть у Трубецкого уточнение: табор расположился не у села Долна, как писали другие, а у села Барсук, в стороне от дороги Долна-Юрчены. Табор снялся с места, двинулся к Варзарештам, и Пушкин ушел с ними¹⁵². Он жил в одном шатре со своей будущей героиней, в которую был влюблен¹⁵³.

Здесь, в таборе, реализуется тема беглеца, скользкая по стихам Пушкина. Он решился испытать все прелести жизни, которую проходят его герои, включая намерение с табором перейти границу. В поэме «Цыганы», написанной три года спустя, желание это уточнено. Героя «преследует закон», и он, как говорит Земфира, «готов идти за мной повсюду». Но вот какой парадокс: Пушкин рвется к европейской цивилизации от русского дремучего варварства, а в поэме осуждает цивилизацию как скопище нравственных пороков.

Противоречие легче объяснить, если предположим, что это мысли вовсе не Пушкина, а Байрона, который со своими героями двигается от Западной цивилизации к опрощению; у Байрона это логично. А у Пушкина литература становится чем-то вторичным и не имеющим логического выхода. В результате автор смиряется, зайдя в тупик: «И от судеб защиты нет» (IV.169). Такова последняя фраза «Цыган». Отметим, что поэма писалась позже, когда поэт явственно ощутил тупик, в котором он находится и из которого не может найти выход.

Что происходило в таборе с Пушкиным? Действительно ли там имело место убийство из-за ревности или это сюжетный ход? Узнаем ли мы когда-нибудь об этом? Судя по тому, что Пушкин везде описывает цыганское племя как мирное и даже прощающее козни извне, мы склонны предпочесть выдумку. Цыганка, которой он увлекся, изменила поэту и «бескровно» бежала с настоящим цыганом.

Остается загадкой, почему Пушкин не ушел с табором за границу. Табор туда не двинулся или Пушкин не пошел с табором? Непокойное состояние за границей Бессарабии, война турков с греками, бандитизм, кровожадность обеих сторон — достаточные аргументы для вожаков табора, в котором много стариков и малых детей, чтобы кочевать по эту сторону границы, где относительно спокойно.

Мы можем только гадать о состоянии Пушкина, решившего в знак протеста скрыться от всех. Выехать поэту не удалось, а оставаться противно, и вот естественная реакция: бежать, куда глаза глядят. Но не исключено, что это, так сказать, пристрелка на местности, репетиция побега, тренировка. Помалкивать об этом впоследствии было весьма разумно. Как всегда у поэта, доминирующую роль и

тут играла женщина, которой он в данный момент увлечен. Эту причину можно не скрывать, а наоборот, сделать ее главной, что Пушкин и осуществил в поэме. Пребывать дальше в таборе становилось бессмысленным, хотя после, по размышлению, Пушкин стал думать, что лучше было бы остаться. Но он, «безумец», ушел.

Важно отметить, что пребывание в таборе стало все-таки реальным поступком, в отличие от множества других, которые поэт обдумывал, обговаривал, решал и ничего не предпринимал. Цыганская тема прошла через всю жизнь Пушкина и обрела симпатию у читателей его не без участия легенд, которыми обросли стихи. С фактами дело сложнее, и, кажется, время их уничтожило.

Инзовский дом в Кишиневе исчез. Дом, где жил Пушкин, превратился в конюшню. Много лет уже в наше время собирались сделать музей, да все не было средств. В 1986 году, побывав в Кишиневе, мы нашли этот дом в полуразвалившемся состоянии. «Теперь на месте тех садов, где Пушкин обдумывал свою чудесную поэму «Цыганы», — писал в местной газете автор, подписавшийся инициалами М. З., — ржут лошади и раздается руготня конюхов... Стоит ли быть у нас великим человеком?»¹⁵⁴ Эти строки таинственный М. З. опубликовал в 1880 году, и они все еще звучат актуально.

Глава девятая

НАДЕЖДА НА ВОЙНУ

Приблизьте хоть мой гроб к Италии прекрасной!

Пушкин. «К Овидию», 26 декабря 1821 (II.63)

В мае 1821 года Пушкин вступил в масонскую ложу. Это было таинство, но никакой оппозиции в нем не содержалось. Повсюду в ложи вступали многие, если не все, мода считалась вполне разрешенной. Инзов, наместник края, тоже был членом ложи, как и его чиновники, и офицеры, причастные к действительно тайным обществам.

Ритуальные атрибуты масонской ложи: треугольник, циркуль — Пушкин сохранял и позже¹⁵⁵. А тогда это была для него еще одна попытка удовлетворить природное лю-

бопытство и убить время. Никакого проникновения в философию масонства и тем более следования ей не было. Не случайно в момент, о котором идет речь, едва сделавшись масоном, Пушкин с иронией писал об идее всемирного братства народов.

Друзья Пушкина в то время обсуждали «Проект вечного мира» французского писателя аббата Сен-Пьера. В бумагах поэта сохранились об этом заметки. Идеи справедливости Шарля Сен-Пьера были очевидны и привлекательны, но вряд ли их можно было воплотить в жизнь. Аббат считал, что власти, совершенствуясь, постепенно водворят всеобщий и вечный мир на земле. Европейские правительства относились к идее с одобрением. Строились даже прогнозы, когда это произойдет: «...возможно, — пересказывает Пушкин идеи Сен-Пьера, — что менее чем через 100 лет не будет больше постоянных армий». Сам он не скрывал сарказма, называя Руссо, в пересказе которого узнал о сочинении Сен-Пьера (самого аббата Пушкин не читал), мальчишкой, идею абсурдной, а тех, кто поверит в вечный мир, глупцами (VII.363, 532).

20 августа 1821 года Пушкин покинул цыганский табор, а 21 августа написал письмо в Одессу Сергею Тургеневу, только что прибывшему, по ироническому замечанию поэта, из «Турции чуждой в Турцию родную» (X.27). Пушкин рвется «подышать чистым европейским воздухом», но говорит, что Инзов держит его в карантине, как зараженного «какою-то либеральной чумой». Чума была, однако, настоящая.

Сергей Тургенев направлялся из посольства в Константинополе домой в связи с неожиданным поворотом в дипломатических отношениях России с Турцией. Реакция Пушкина была немедленной. Очутиться в Греции в связи с восстанием не удалось. На просьбы добиться разрешения заехать на несколько дней в «северный Стамбул» (то есть в Питер) ответа нет. И вот новая идея. Наверное, Тургенев, как и его братья, привыкший к постоянным просьбам Пушкина, был немало удивлен новой его причуде: «Дело шло об моем изгнании — но если есть надежда на войну, ради Христа, оставьте меня в Бессарабии» (X.27).

Слухи о предстоящей войне, носившиеся с весны и поухишие, теперь вспыхнули с новой силой, и на этот раз было больше оснований. О новом походе России на Турцию заговорили все; эти вести могли дойти до Пушкина, убедив его

оставить забавы в степи у костра в связи с открывающейся реальной возможностью действовать немедленно, чтобы снова не опоздать, не остаться у разбитого корыта.

Вот как передает ощущения Пушкина И. Новиков: «Ложась спать, исполненный таких приподнятых впечатлений, Пушкин остро чувствовал близость границы, которая вот-вот могла загореться на картах Липранди изогнутой огневой линией. «Что же, война?» — спрашивал он себя, просыпаясь. И эта мысль заставляла его внимательно приглядываться к русскому воинству, которого в Кишиневе было достаточно»¹⁵⁶.

В связи с войной у Пушкина состояние эйфории. Мысли, впечатления, эмоции немедленно выливаются в рифмованные строки: наконец-свинец, чести-мести и т. д. Но попробуем обнажить мысли поэта, изложив стихотворение с немудреным названием «Война» вульгарной прозой. Наконец-то война! — заявляет поэт. — Увижу кровь и праздник мести. Сколько сильных впечатлений для меня: звук мечей, трупы солдат и командиров, песни — все это поможет разбудить мой уснувший гений. Вот бы родилась во мне жажда славы и геройства, она бы затмила все надежды юности. Вряд ли и она поможет преодолеть мою лень. Хочу скорее испытать ощущение смерти. «И все умрет со мной...» А пока героизм негде проявить, и я тут таю от скуки, потому что с войной что-то медлят.

Читателя, которого шокирует подобная трактовка, отправляем к самому стихотворению (II.31). На наш взгляд, оно пародийное. В противном случае, если принимать эти стихи серьезно, становится не по себе. Отметим то, что почувствовал еще А. де Рибас: в стихотворении «Война» — отголоски решения Пушкина бежать¹⁵⁷. Пушкин не собирался становиться активным борцом за свободу других и использовал конфликтную ситуацию для приобретения личной свободы. В написанном тогда же стихотворении «Дельвигу» даже весьма чувствительную проблему славы он истолковывает так:

К неверной славе я хладею...
Одна свобода мой кумир... (II.32)

В традиционном литературоведческом сознании над Пушкиным тяготеет образ победной русской армии, с которым он вырос, армии, которая дошла до Парижа. Война

для него — это повторение похода в Европу или хотя бы в южную Европу, возможность движения туда вместе с армией, причем вполне легально и даже героически. На деле все гораздо проще. Война — неразбериха. Война — это когда не до ссыльного поэта. Война — это открытая граница. Русская армия наступает, и ты само собой оказываешься за рубежом. Остается дожидаться начала военных действий, и вопрос решится сам собой. Стихотворение «Война» вполне оправдано, ибо война для Пушкина — путь к свободе. Вот почему поэт так ждет войны.

Вот почему он просит приостановить хлопоты о его возвращении в Петербург, о чем писал Сергею Тургеневу: Пушкин не хочет, чтобы ссылка сейчас кончилась, он срочно начинает учить турецкий язык¹⁵⁸.

Но чтобы намерениям осуществиться, они должны, как минимум, совпасть с планами правительства. Когда греки двинулись на румынскую территорию, пошли слухи, что генерал Алексей Ермолов получил приказ выступить с войском на помощь грекам. Армия двинулась, но остановилась у границы как бы для ее защиты.

Статс-секретарь Иоанн Каподистриа от имени царя, несомненно, способствовал формированию намерений русского правительства идти на помощь Греции, что давало возможность захватить у турков новые земли на Балканах. Этерия оказалась удобной пятой колонной, и ее выгодно было поддерживать. Когда греческое вооруженное вмешательство на Балканах стало реальностью, Александр I предложил европейским монархам начать коллективные переговоры с Турцией. Это была незамысловатая хитрость, которую Англия и Австрия сразу раскусили. Державы заявили, что они против умиротворения Греции. Похоже, что война отодвигалась.

Турция, почувствовав нерешительность союзников, немедленно ввела войска в Румынию — навстречу греческим отрядам из Бессарабии. А в мае конгресс Священного союза закончился подписанием протокола о праве вооруженного вмешательства во внутренние дела других государств для подавления революционных волнений. Отдай Александр Павлович приказ о военной помощи грекам, это выглядело бы как поддержка тех революционных волнений, подавлять которые он обязался. Вот почему весной слухи о начале военных действий не подтвердились, и Пушкин об этом быстро узнал. Каподистриа, который уго-

варивал Александра вмешаться, был отставлен. Этот человек, делавший для Пушкина добро, еще год пробыл в России в ожидании перемен, а затем ее покинул.

Летом, однако, слухи о предстоящей войне поползли снова. Вернувшись в Россию из Европы, царь стал смотреть на Балканскую ситуацию иначе. Внутри страны было немало сторонников легкой экспансии, для которых и праведное дело Греции было поводом урвать кусок для России. Чиновник по особым поручениям при московском генерал-губернаторе Александр Булгаков, известный впоследствии как перлюстратор пушкинской почты, писал брату 15 марта 1821 года: «Что-то выйдет из этого, но дело святое! Постыдно, чтобы в просвещенном нашем веке терпимы были варвары в Европе и угнетали наших единоверцев и друзей. Не имей я семьи и тебя, пошел бы служить и освободить родину свою, Царьград...»¹⁵⁹

Официозный русский патриотизм носит своеобразный характер: родиной называется все то, что нужно России. Пушкин тоже, всерьез или нет, говорил, что для России «сбудется химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии» (X.17). Захват Кавказа — лишь некий промежуточный этап, устранение преграды для будущих победных шествий. 28 июня Турции был отправлен довольно надменный ультиматум, а 8 августа русский посланник в Константинополе граф Строганов, а с ним и чиновники миссии отплыли в Одессу.

Воинственная часть русского правительства нажимала на Александра, уговаривая его не упустить удобный момент, напасть на Турцию, и Александр вначале согласился. Вот почему дошел до Пушкина слух о войне. Франции, у которой были свои интересы на Балканах, пообещали отдать часть захваченных территорий. Но Англия и Австрия оказались тверды и заявили, что конфликта такого не допустят. Александр попросту струсил и тем проявил государственную мудрость.

Итак, наверху уже стало известно, что война не состоится, а Пушкин по недостатку информации еще ждал ее начала и надеялся на свободу, которую при дележе юга Европы он сможет приобрести. Другими словами, интересы Пушкина и империи в данном случае совпадали, и это частично объясняет мотивы стихотворения «Война».

Пушкин был одним из чиновников бюрократического аппарата, укомплектованного гражданскими и военными

служащими. Аппарат, возглавляемый генералом Инзовым, разместился на недавно оккупированных территориях и выполнял несколько задач, среди которых на первом месте стояли две. Основная — русификация захваченных территорий (насаждение русского языка, православия, установление русских порядков, правил и законов, ликвидация недовольных и т. д.). Переводя (хотя и с леню) местные законы на русский язык, Пушкин как представитель оккупационных властей занимался именно русификацией.

Другой важнейшей задачей местного аппарата была тайная подготовка к дальнейшей экспансии в регионе. Для выполнения разного рода особых миссий в Бессарабию присылались уполномоченные представители из Петербурга, о деятельности которых даже Инзов многого не знал. Иногда это были обычные шпионы, иногда незаурядные личности. Пушкин, открытый для общения, жадный к свежим и умным людям, сближался с ними и, ничего не подозревая, становился пособником в их делах.

Двойные роли приходилось играть многим, находившимся на службе. Полковник Павел Пестель, глава Южного общества декабристов, впоследствии казненный, прибыл в Кишинев с секретной задачей: собирать сведения об организации, участниках и планах проведения греческого восстания, о чем он подробно доносил правительству. Сначала Пушкин напишет в дневнике о Пестеле: «Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю». А спустя двенадцать лет скажет: «Пестель обманул... и предал этерию, представя ее Александру отраслию карбонаризма» (VIII.16 и 23).

Еще более загадочную миссию выполнял другой кишиневский знакомый Пушкина Иван Липранди. «Он мне добрый приятель, — писал Пушкин Вяземскому, — и (верная порука за честь и ум) не любим нашим правительством и, в свою очередь, не любит его». Пушкин отметил другое достоинство Липранди, добавив, что он соединяет «ученость личную с отличными достоинствами военного человека» (VII.16). Немного таких оценок друзьям можно найти в бумагах поэта. Опальность («не любим нашим правительством») являлась для него едва ли не высшим показателем значительности личности.

Липранди родился в России: его отец, уроженец Пьемонта, здесь ассимилировался. Подполковник Липранди старше Пушкина на девять лет, бывал в Париже, блестя-

ще знал европейские языки, историю и культуру. Человек либерально мыслящий, смелый и трезвый в суждениях, он был одним из первых принят в тайное общество. Пушкин близко сошелся с этим штабным офицером, делился творческими замыслами, пользовался его библиотекой. В течение четырех лет они встречались едва ли не ежедневно, и, несомненно, Пушкин откровенничал, как всегда это делал с близкими по духу людьми. Пушкин не догадывался, а когда узнал, не хотел поверить, что Липранди был секретным сотрудником тайной полиции.

Впрочем, странности этого человека отмечал еще в Кишиневе другой приятель Пушкина, Алексеев, считая Липранди загадочным, «дьявольским», не понимая, откуда тот достает огромные деньги. До Кишинева, будучи в Париже, он выполнял сыскные дела по русской армии за границей, неожиданно выехал из Кишинева в Петербург, а через четыре дня был арестован первый член тайного общества Владимир Раевский.

Липранди вышел в отставку, а после декабрьского восстания тоже был арестован, но ненадолго. Он был уверен: его скоро освободят, что и произошло. Еще через два года царь назначает его начальником только что учрежденной высшей тайной заграничной полиции. Известно, что именно Липранди подослал провокатора к петрашевцам.

Свою дружбу с Бенкендорфом, Дубельтом и Видоком Липранди не скрывал. В преклонном возрасте этот великий практик доносительства стал теоретиком новой области педагогики, издав проект об учреждении при университетах особых факультетов, «чтобы употреблять их (студентов. — Ю. Д.) для наблюдения за товарищами, чтобы потом давать им по службе ход и пользоваться их услугами для ознакомления с настроениями общества»¹⁶⁰.

Этот необыкновенный человек жил подолгу за границей и умер в довольстве, не дотянув двух месяцев до девяноста лет. О своей деятельности в области военно-политического сыска Липранди впоследствии выборочно рассказывал сам, но большую часть сведений о заслугах перед отечеством унес с собой в могилу. «Гениальным сыщиком» назвал его Анненков. Обширная переписка между ним и Пушкиным, продолжавшаяся несколько лет, таинственно исчезла.

В декабре 1821 года, когда слухи о предстоящей войне еще имели место, взяв с собой поэта, Липранди отправля-

ется в длительную командировку по южным колониям, где ему поручено расследовать солдатские волнения в 32-м егерском полку в Аккермане (теперь Белгород-Днестровский) и 31-м егерском полку в Измаиле¹⁶¹. Оба полка расквартированы совсем недалеко от границы. В Петербурге могут предполагать, что волнения связаны с тайной деятельностью офицеров и представляют политическую опасность, так что ничего странного в самом расследовании нет. Чиновник канцелярии Пушкин едет, чтобы, по мнению Инзова, быть при деле.

Липранди представлялся еще и как военный историк. Он действительно блестяще разбирался в военно-политических проблемах, в частности, на Балканах, и собирал информацию о Европейской Турции, которую уже планировали присоединить к южным колониям России. Липранди знал, а Пушкин мог сообразить, что колонизация и русификация захваченных земель, их изучение, освоение, охрана границ, строительство укреплений и военных поселений, развитие промышленности, связи и торговли были этапами, обеспечивающими завоевание следующих территорий¹⁶². Липранди тратил большие суммы, вербуя осведомителей на уже захваченных и пока еще турецких территориях, куда он тайно переправлялся и возвращался снова, а также направлял личных агентов¹⁶³.

Объезжая край, этот чиновник делал больше, чем было известно Пушкину. Последний со своей общительностью, знаниями и способностями к сближению с незнакомыми людьми не мог не помогать Липранди. Видимо, и Пушкину перепала лишняя информация сверху.

Обнаружатся ли когда-нибудь секретные материалы о том, как Липранди использовал Пушкина для своих целей? Доносил ли о поэте наверх и, если да, что именно? Возможно, что и не доносил — у него были другие, более важные функции. Ясно и то, что стоило Липранди захотеть, он мог бы отправить или вывезти Пушкина за границу без особых хлопот. Мог, но не сделал. Вместе с тем, нет никаких оснований лишать Липранди человеческих симпатий и привязанностей, в которых он был вполне порядочен. Кроме того, поэт скрашивал быт и делал более respectable существование этого человека.

Пушкин взял у Липранди французский перевод римского поэта Овидия Назона, судьба которого показалась ему сходной с его собственной. Овидий был сослан императо-

ром Октавием Августом в Римские колонии на берег Черного моря, и Пушкин даже думал, что Овидий сослан был именно в места, которые они с Липранди посетили.

Как ты, враждующей покорствуя судьбе,
Не славой — участью я равен был тебе. (II.64)

Грустно думать, что правовой уровень России XIX века был таким же, а возможно, и ниже, чем в Риме I века нашей эры.

Любимой темой отечественного литературоведения всегда было соотношение биографического и литературного в творчестве Пушкина. При этом, когда было политически выгодно, говорили, что Пушкин отражает собственные мысли и взгляды (например, в экстремистских стихах), а когда мешало (скажем, политическая индифферентность Онегина, который ни в какую не хотел стать декабристом), то объясняли, что это лишь взгляды пушкинского героя.

Не вступая в длинную полемику, отметим, что мало у кого из писателей была такая близость между литературной фантазией и исповедью, как у Пушкина. Мало у кого литературные ассоциации столь прозрачны.

О, други, Августу мольбы мои несите!
Карающую длань слезами отклоните, —

умоляет Овидий, прося, в случае его смерти, хоть гроб с ним отправить в Италию (II.63). Это, пожалуй, и ассоциациями не назовешь, настолько прямо написано: Овидий — Пушкин, Август — без сомнения, Александр I. И рядом находится элегия «Умолкну скоро я», где высказаны мысли о смерти, о том, что веселье улетучилось из души поэта. И к стихотворению «Наполеон» он приписывает эпиграф по-латыни: «Неблагодарное отечество...», сравнивая себя на этот раз с Наполеоном.

Пушкин страдает и мечется, а тем временем в Петербурге Александр I в разговоре с великим князем Николаем Павловичем назвал нашего Овидия «повесой с большим талантом», что можно принять за похвалу¹⁶⁴. Но сыск идет своим чередом. Доносчик сообщает из Кишинева с полугодовым опозданием, что Пушкин вступил в масонскую ложу. Ответная депеша поставит Инзову в упрек, что не

обратил внимания на таковые занятия Пушкина. «Предлагается вновь Вашему Превосходительству, — требует начальник Главного штаба князь Петр Волконский, — иметь за поведением и деяниями его самый ближайший и строгий надзор»¹⁶⁵.

Власти прекрасно знали, что масонские ложи не представляли никакой опасности. Наблюдали за ними для порядка, как за всем остальным. Руководители лож и сами охотно сообщали полиции о своих членах и их занятиях. От европейского масонства русское было практически отрезано и сходило на нет. Пушкин терял к нему интерес.

Единственное, что скрашивало его существование в кишиневской пустыне, были гости из-за границы. Он с радостью мчится к каждому, надеясь «подышать чистым европейским воздухом» (Х.27). Пока Липранди в командировке занимается своими делами, Пушкин знакомится с Тарданом, основателем швейцарской колонии Шабо возле Аккермана.

По-видимому, Пушкину было интересно понять, почему человек удрал оттуда, куда он сам мечтал отправиться. Тардан ссылался на опасность революции, но ведь она Швейцарию не задела. Поговорили они два часа и общего языка не нашли. Оказалось, что Инзов для развития виноградской отрасли в колонии уговорил Тардана поселиться здесь, обещая содействие в развитии дела. Теперь Луи Венсен Тардан уже называл себя Иваном Карловичем и писал соотечественникам в Швейцарию, советуя им «не искать счастья в пустынях и лесах Северной Америки, а спешить на плодоносные земли Новой России, где виноградные лозы, персики и шелковица поспевают и рано, и с большим успехом»¹⁶⁶.

И правда, два года спустя в Бессарабию приехали еще несколько семей из Швейцарии. Инзов принял их тепло. «Тардан» стало после маркой бессарабского вина, которое Пушкин продегустировал одним из первых, но не обнаружил в нем никаких свойств, чтобы предпочесть его французскому.

Война не состоялась. Версия советских историков о том, почему Александр I не помог грекам, звучит примечательно: «...оказалось невозможным совместить традиционное покровительство России угнетенным народам с верностью принципам Священного союза»¹⁶⁷. Вместо войны Пушкин пережил землетрясение. Дом Инзова, в котором поэт за-

нимал комнаты внизу, пострадал, сохранилась лишь часть, где жил Пушкин, да и то по стенам пошли трещины. Инзов выехал, а Пушкин продолжал там жить некоторое время. Потом перебрался к своему приятелю Николаю Алексееву. Тот стал собирать все сочинения Пушкина, которые нельзя было печатать и даже опасно было держать, — первый сборник поэта в самиздате.

Глава десятая ХЛОПОТЫ И ОТКАЗЫ

Говорят, что Чаадаев едет за границу — давно бы так; но мне его жаль из эгоизма — любимая моя надежда была с ним путешествовать — теперь Бог знает, когда свидимся.

Пушкин — Вяземскому, 5 апреля 1823 (X.49)

С сентября 1821 по апрель 1822 года в переписке Пушкина, если не считать двух писем в январе, имеется провал, да и вообще об этих двух годах его кишиневской жизни мы знаем мало. «Денег у него ни гроша, — пишет о нем Александр Тургенев Вяземскому 30 мая 1822 года. — Он, сказывают, пропадает от тоски, скуки и нищеты»¹⁶⁸.

В одном из двух писем, которые Пушкин написал в январе, он сообщает Вяземскому, что у него «лени много, а денег мало» (X.29), а в другом, брату Льву, вдруг вспыхивает надежда на возможность явиться в Петербург: «...я давал тебе несколько поручений самых важных в отношении ко мне — черт с ними; постараюсь сам быть у вас на несколько дней — тогда дела пойдут иначе» (X.30).

Речь идет, видимо, о просьбе к Жуковскому хлопотать о разрешении Пушкину приехать или о рискованном замысле нарушить ссылку самовольно. Ответа на просьбу не пришло. Самовольно нарушить ссылку — значило рассердить царя и подвергнуться более серьезному наказанию. И вот уже снова уныние: «Пожалейте обо мне: живу меж гетов и сарматов; никто не понимает меня... не предвижу конца нашей разлуки. Здесь у нас молдованно и тошно...» (X.33) Он устал жить на биваке. Состояние неопределенности с постоянными переходами от надежды к отчаянию

удручает его. Он все чаще подвержен хандре. «В эти минуты, — признается он Плетневу, — я зол на целый свет» (X.43).

Кончается второй, начинается третий год его ссылки, бессудной и бессрочной. Право, закон в стране заменены движением указательного пальца Александра Павловича: куда направит он свой перст, туда и двигаться коллежскому секретарю Пушкину, а не пошевелит пальцем — оставаться на месте. На переживания, связанные с бесправием, а не на творческие дела, уходят силы, нервы, молодость, ум.

О Пушкине уже много пишут журналы в обеих столицах. Критика расточает похвалы, издатели просят новых стихов. Ссылного выбирают в члены Общества любителей российской словесности, напечатан портрет поэта с гравюры Егора Гейтмана в виде приложения к отдельному изданию поэмы «Кавказский пленник». Имя Пушкина начинает появляться и в западной прессе.

Первым Европу познакомил с новым именем Сергей Полторацкий, написав о нем в октябрьском номере французского журнала «Энциклопедическое обозрение» за 1821 год. Тридцать лет спустя Полторацкий признался в письме французскому писателю Ксавье Мармье, что те несколько строк «причинили много неприятностей и огорчений тому, кем они были написаны»¹⁶⁹. Полторацкого уволили со службы и выслали в деревню под надзор полиции за то, что он упомянул в журнале оду «Вольность» и стихотворение «Деревня», в которых, как он выразился, «поэт скорбит о печальных последствиях рабства и варварства».

В Англии и Франции напечатаны переводы стихотворений Пушкина, затем на немецком появился «Кавказский пленник». Рецензенты подчеркивали оппозиционность мышления Пушкина. Не остановился и Полторацкий: он продолжал нелегально пересылать на Запад свои материалы и печататься под псевдонимом *R. E.* Полторацкий сделался страстным собирателем рукописей, изданий и материалов о Пушкине, которые он впоследствии переправлял Герцену и Огареву для публикации того, что здесь запрещено.

Пушкин аккуратно выписывает, что о нем пишут за границей (точнее, что удастся узнать), и не без оснований опасается: публикации на Западе отрицательно скажутся на всемиловитейшем разрешении побывать в столице. «Князь Александр Лобанов предлагает мне напечатать мои мелочи в Париже. Спасите ради Христа; удержите его по

крайней мере до моего приезда — а я вынырну и явлюсь к вам... Как ваш Петербург поглупел! а побывать там бы нужно» (X.39).

Когда Пушкин отправлял приведенные только что строки, он уже написал ходатайство графу Нессельроде, своему высокому петербургскому шефу, с просьбой отпустить его. Мы не знаем, куда он просился — за границу или в Петербург. Думается, в данном случае, в Петербург. Все же больше шансов. Ни заявления, ни ответа не сохранилось. Есть только письмо, написанное еще через несколько дней, в котором не все ясно. «Я карабкаюсь, — пишет Пушкин брату в Петербург, — и, может быть, явлюсь у вас. Но не прежде будущего года. (Далее часть текста в рукописи тщательно зачеркнута писавшим; видимо, он решил, что следует быть осторожной и не дать этой информации утечь к промежуточному читателю. — Ю. Д.) Жуковскому я писал, он мне не отвечает; министру я писал — он и в ус не дует — о други, Августу мольбы мои несите! но Август смотрит сентябрем...» (X.41)

«Карабкаюсь» в этом письме можно понимать как «пытаюсь выбраться» или «предпринимаю попытки». Ходатайство подано («министру я писал»), а ответа нет («он и в ус не дует»). Впрочем, отсутствие ответа можно рассматривать как отказ.

Откуда Пушкин знает, что в этом году не получится («не прежде будущего года»)? Не объяснение ли вычеркнуто в письме? До конца года остается два с небольшим месяца. Есть ли у него основания полагать, что ссылка окончится в следующем году? Он повторяет строки из стихотворения об Овидии: молитесь императора, чтобы простил, но надежды мало, ибо «Август смотрит сентябрем». Пушкин заимствует строку из стихотворения Языкова.

В это время на Веронском конгрессе русское правительство находит общий язык с Францией, Пруссией и Австрией, договорившись о подавлении революции в Испании. В январе, после ультиматумов этих стран, Франция вводит в Испанию войска. Международная ситуация напряженная, и, как всегда в таких случаях, русские власти первым делом обеспечивают порядок и полное молчание внутри собственной страны.

Пушкин снова сочиняет послание министру иностранных дел: «Осмеливаюсь обратиться к Вашему превосходительству с ходатайством о предоставлении мне отпуска

на два или три месяца» (подлинник по-фр. X.44). Мотив сугубо личный: увидеться с семьей, с которой расстался три года назад. Отправив прошение, он осторожно спрашивает в письме, на месте ли царь, и просит напомнить о себе друзьям и родне, которые мало заботятся о судьбе его, а могли бы замолвить о нем словцо у Августа.

Проходит месяц. Нессельроде исправно докладывает государю, последний опять отказывает¹⁷⁰. Нехитрый круг замыкается в очередной раз. «Мои надежды не сбылись, — пишет Пушкин Вяземскому, — мне нынешний год нельзя будет приехать ни в Москву, ни Петербург» (X.49). Унылые отчеты о своих мытарствах Пушкин то и дело доводит до сведения брата и друзей в письмах. Отказы ясно показывали, что легальным путем ему ничего не добиться. Его словно подталкивали к самостоятельным отчаянным решениям, направляя мысли и энергию его на то, чтобы возненавидеть отечество.

Что ни мысль у него, то афоризм. Как трудно выбрать что-нибудь другое из его писем: не о хандре, не брань по поводу собственной страны, не о надежде выехать, не о желании бежать. Он начинает называть Кишинев тюрьмой, а свое пребывание в нем передает в известном двенадцатистишии «Узник»: «Сижу за решеткой в темнице сырой». Поэт мечтает вместе с орлом улететь туда, где за тучей белеет гора и где синеют морские края. Это, между прочим, написано дома, скорей всего, в постели, когда Пушкин сидел, наказанный Инзовым за хулиганство. Но он мог гулять в большом инзовском саду и принимать гостей.

Все, что он задумывает, полно романтики. Романтизм — неперенное направление во всем написанном, своего рода литературный лабиринт, из которого предстоит найти выход. Поэт живет и творит в неких условных рамках, согласно определенной ролевой игре, как теперь говорят психологи. Он принял эту роль сам, и она отобрала для себя подходящие черты его темперамента, мышления, образа жизни.

Далекий от поэзии человек, Инзов считал странности Пушкина «маской байронизма»¹⁷¹. А поэт Павел Катенин называл его сочинения «Бейронским пением»¹⁷². Романтизм на Западе был связан с проявлением роли личности, ее прав, интереса к политической жизни, расширения социальных связей, а значит, свободы передвижения, сочувствия людям, лишенным прав. Гуманизм на Западе стал в

XIX веке реальностью, а романтизм — воспоминанием, иногда сентиментальным, о прошлом. Для России заимствованное это течение было открытием важным, но умозрительным, неадекватным реальности, которая не совмещалась с чужим романтизмом.

Пушкин находился под влиянием Шатобриана, и исследователи уже отмечали немалое сходство «Ренэ» и «Цыган»¹⁷³. Затем кумиром его стал Андре Шенье, а в описываемые годы, как отмечали не раз современники, поэту хотелось играть роль Байрона, драматическая биография которого стала предметом обсуждения в гостиных всей Европы. Молодые люди от Лиссабона до Москвы имитировали его во всем; это касалось и конфликта со своей родиной. И Пушкин, и Кюхельбекер, и Грибоедов подражали Байрону.

Когда русский поэт отправился в ссылку, Байрон уже четыре года жил и действовал за границей. Близко познакомившись в Крыму с английским языком и творчеством Байрона, Пушкин обрел эталон для подражания. В Кишинев он явился байроновским двойником (что заметил даже Инзов). Здесь в результате чтения и краеведческих экскурсий дорогу Байрону перебежал Овидий.

Два символа, два кумира подталкивали Пушкина сразу к двум образцам поведения, то есть к существованию в двух противоположных образах. Байрон звал поэта на борьбу, Овидий — к любимым наслаждениям. Байрон советовал эмигрировать, Овидий — возвращаться в столицу к друзьям. Байрон враждовал со всей Англией, Овидий — только с императором. Овидий казался старомодным, и его привлекательность слабела. Байрон же подталкивал Пушкина к решительности в поступках.

Но был еще и третий вариант поведения, черты характера которого заложила в Пушкина Россия. Пушкин был русским Байроном, или, точнее, Байроном на российский манер, Бейроном Сергеевичем, как нежно назвал его Жуковский. А это означало физиологическую неспособность к поступкам, то, что академик Иван Павлов назвал основной чертой русского мужика: угасший рефлекс цели. Поэт загорался, но остывал перед тем, как что-либо совершить.

Тем не менее, Пушкин подражал все больше именно Байрону, хотя разница между ними возрастала по мере того, как замыслам кишиневца предстояло преобразоваться в поступки. Байрон после конфликта с обществом спокой-

но сел на пароход и уехал из Англии, считая себя изгнанником отечества. Он мог сравнивать себя с древними римлянами, которых в наказание изгоняли к варварам. Пушкин, хотя и вел себя с вызовом, тотчас умолк, когда возник скандал, но был выгнан из провинциальной европейской столицы в еще более глухое место, хотя мечтал попасть из варварского Петербурга хоть в какую-нибудь точку Европы.

Байрон участвовал в революции в Италии, затем в Греции, отдав на это все свое состояние, а Пушкин (при всех его благих намерениях) продувал свое состояние в карты. Не столько поступки, сколько дух Байрона, его литературное мастерство увлекало Пушкина. Он стремился сорвать плоды с веток, до которых он, будучи на цепи, дотянуться не мог.

После смерти Байрона Александр Тургенев писал князю Вяземскому: «Смерть его в виду всей возрождающейся Греции, конечно, завидная и поэтическая. Пушкин, верно, схватит момент и воспользуется случаем». Вопросы байронизма Пушкина в те времена обсуждались более подробно и открыто, чем после канонизации поэта в советское время¹⁷⁴. Но оказалось, что собственные переживания были для Пушкина важнее беды мировой литературы, и русский поэт пишет нечто чудовищное: «Тебе грустно по Байроне, — отвечает он Вяземскому, — а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии» (X.74). Не хочется думать, что здесь примешивалась еще и сальериевская зависть.

В жизненных поступках Пушкин просто не дозрел до самоотречения Байрона. На практике у него ничего не выходило, и, может, это унижало его? Что же касается влияния, то немало страниц написано о байронизме Пушкина, большей частью одно и то же: «подпал» — «освободился». Одна часть пушкинистов утверждает, что лишь «южный» период был у Пушкина «байроническим». Другие — что освобождение из-под влияния Байрона было результатом увлечения Гете, когда Пушкин, читая «Фауста», из мятежника превращался в философа, из романтика в реалиста.

На самом деле, нам кажется, влияние это осталось в произведениях навсегда. Байронизм Пушкина проявился не в том, что «Братья-разбойники» навеяны «Шильонским узником», а «Евгений Онегин», начатый тут, в Кишиневе, 9 мая 1823 года, — подражание шуточной повести Байрона «Беппо» и затем «Паломничеству Чайльд-Гарольда».

Думается, Пушкин сперва был байронистом-романтиком, а потом стал байронистом-скептиком, так и не выйдя из-под тени великого европейца. Пушкин призывал и других поэтов писать байроническую поэзию, ибо она «мрачная, богатырская, сильная» (X.23).

Байронизм — не этап, но вся жизнь Пушкина. Когда писатель из отсталой страны приобщает своего читателя к достижениям более высоких цивилизаций, задача это трудная и вполне благородная. В заимствованиях такого рода нет ничего унижающего ни его как поэта, ни зеленую тогда русскую литературу.

Хотя Пушкин и создал для себя условный мир, который позволял ему выжить в условиях ссылки, жизненные обстоятельства то и дело напоминали ему о себе. Теперь его судьбу разделил еще один поэт — Павел Катенин. Катенин писал лояльные вещи, стало быть, сослан был не за стихи. А за что же? За фрондерство? Знали ли власти, что Катенин принадлежит к тайному Союзу Спасения, одной из ветвей организации Военного общества декабристов, готовившихся к перевороту? Похоже, что нет, ибо вызван он был к тому же генерал-губернатору Милорадовичу и выслан на десять лет «за шиканье артистке Семеновой»¹⁷⁵.

Ни возвратиться из ссылки, ни выехать за границу Катенин не рвался. Он вскоре был прощен, но из собственного имени уезжать в столицы не захотел и Пушкина уговаривал не нервничать. Впрочем, Катенин был, кажется, единственным исключением.

До Пушкина то и дело доходят сведения об отъездах. Уехал историк, библиофил и писатель Александр Чертков; пробыв два года в Австрии, Швейцарии и Италии, он собрал обширную библиотеку книг о России на многих языках. В Кишиневе подал в отставку бригадный командир Павел Пушин. Сбросив мундир с генеральскими эполетами, он собрался в Париж. Пушкин спрашивает друзей о Кюхельбекере и радуется за приятеля, который набирается впечатлений, гуляя по Европе. Беспокоится Пушкин за Батюшкова, психически заболевшего в Италии. И наконец, слухи о путешествии Чаадаева. Три года спустя, вспоминая начало их дружбы, Пушкин отметит:

На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество. (II.195)

И тут же добавит:

Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным.

Стихотворение написано в 1824 году, скорей всего, уже в Михайловском. Как видим, началась дружба «на сих развалинах», а продолжение ее мыслилось посвятить «развалинам иным». Потом Чаадаев скажет: «Пушкин гордился моею дружбой; он говорил, что я спас от гибели его и его чувства, что я воспламенял в нем любовь к высокому...»¹⁷⁶ Пушкин же в кишиневском дневнике года исповедовался перед Чаадаевым: «Твоя дружба мне заменила счастье, одного тебя может любить холодная душа моя» (VIII.16). То было редкое сродство душ.

До знакомства с Пушкиным Чаадаев прошел с русскими войсками по Европе до Парижа. А в 1820 году, посланный с расследованием в Семеновский полк, где он служил раньше, Чаадаев сообщил в докладе царю о своих виноватых товарищах. За преданность ему предложили пост флигель-адъютанта императора, он, однако, отказался и вышел в отставку. Власти перехватили его письмо, в котором он писал, что в России жить невозможно. Чаадаев начинает распродавать свою огромную библиотеку и решает уехать из России навсегда. Можно понять пушкинскую «жалость из эгоизма»: друзья давно строили планы, но поехать удалось Чаадаеву одному; Пушкин остается на привязи.

Чаадаев писал: «И сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово: раб! Вот заколдованный круг, в нем все мы гибнем, бессильные выйти из него. Вот проклятая действительность, о нее мы все разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто самые благородные усилия, самые великодушные порывы. Вот что парализует волю всех нас, вот что пятнает все наши добродетели...»¹⁷⁷

Как всегда у Пушкина, обида, унижительность положения сперва проявляются внешне: в раздражительности, злобе, то и дело возникающей ярости, для большинства его знакомых немотивированной. Он и сам писал о себе, что он *бессарабский* и *бес арабский*. Традиционно пушкинская ярость и негативизм объяснялись социальными

причинами. Непрерывно возникающие конфликты, в которых поэт защищает свое достоинство, были якобы в том, что Пушкин беден, не служил офицером, а имел маленькую должность коллежского секретаря; он не мог сносно существовать, самолюбие великого поэта страдало¹⁷⁸.

К сожалению, конфликты подчас провоцировал он сам. Из-за спора, какой танец исполнять, Пушкин вызывает на дуэль командира егерского полка и тут же, после примирения в ресторане, грозит вызвать на дуэль каждого, кто плохо отзовется об этом командире. В дневнике кишиневского чиновника князя Павла Долгорукова читаем: Пушкин «всегда готов у наместника, на улице, на площади, всякому на свете доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России. Любимый разговор его основан на ругательствах и насмешках, и самая даже любезность стягивается в ироническую улыбку»¹⁷⁹.

За обедом у Инзова кто-то называет Пушкина молоко-сосом, а Пушкин того винососом — и снова вызов на дуэль. Инзов то и дело вынужден запирает поэта дома. Пушкин ходит с тяжелой железной палкой, всегда готовый к драке. И если что-то не по нему, начинает драться не медля. Он спорит со всеми и готов, едва аргументы иссякнут, влить пощечину. В письмах его друзей то и дело мелькают сообщения о том, что Пушкин ударил в рожу одного боярина или дрался на пистолетах, рапирах, а если избить или ранить не удастся, драка или дуэль возобновляются в последующие дни.

Но обида и унижение остаются и после дуэлей, в которых он рискует жизнью. Оскорбленный ум воспринимает все более остро. Он всегда один против всех. Вяземский предлагал подать коллективную жалобу на цензуру, и Пушкин его отговаривает, что это почтут за бунт. Даже в общественных делах — поучает он Вяземского — лучше действовать в одиночку. Нет, сражаться с правительством он не хочет.

Может быть, главный итог кишиневской жизни — приход Пушкина (вслед за Чаадаевым) к осознанию порочности не отдельных проявлений власти или жизни в этой стране, но страны в целом. Как всегда, это тоже происходит в крайних выражениях, с обобщениями, далеко перекрывающими непосредственный повод. В Европе горит политический костер, а здесь вялое тление жизни, и это удручает поэта. Павел Долгоруков вспоминает, что он заходил к

Пушкину и тот «жалуется на болезнь, а я думаю, что его мучает одна скука. На столе много книг, но все это не заменит милую — неоцененную свободу»¹⁸⁰. Отметим про себя это «жалуется на болезнь», хотя он вполне здоров, и приглядимся к его настроению.

В письмах он старается быть сдержанным: «здесь не слышу живого слова европейского» (X.35). В разговоре срывается на крайности. За столом у Инзова говорит, что всех дворян в России надо повесить, и он сам «с удовольствием затягивал бы петли»¹⁸¹. В стихах также нет особого оптимизма:

Везде ярем, секира иль венец,
Везде злодей иль малодушный,
А человек везде тиран иль льстец,
Иль предрассудков раб послушный. (II.110)

И уже прозой дописывает: «Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой». Но и в стихах Пушкин то и дело теперь переходит на крик. Ничего он не ждет от этой земли:

Ничтожество! Пустой призрак,
Не жажду твоего покрова! (II.103)

Самые нейтральные поводы приводят его к размышлениям о глупости и ничтожности страны, в которой он вынужден жить. Он сочиняет «Песнь о вещем Олеге», легенду в стихах, а в комментарии с презрением отмечает, что это страна, в которой герб заимствован у Римской империи, где двуглавый орел знаменовал разделение ее на Западную и Восточную. «У нас же он ничего не значит» (II.346). Все нормальное в этой стране вывернуто наизнанку. Вот что автор говорит цензору в своем послании, опубликовать которое нечего было и думать.

Ты черным белое по прихоти зовешь:
Сатиру пасквилом, поэзию развратом,
Глас правды мятежом, Куницына Маратом. (II.112)

Россия не доросла до европейской цивилизации:

Что нужно Лондону, то рано для Москвы. (II.111)

Глубокое презрение к своим собратьям по перу испытывает кишиневский узник. Им свобода творчества и не нужна, они вполне довольны той, что им дадена:

У нас писатели, я знаю, каковы:
Их мыслей не теснит цензурная расправа... (II.111)

В черновом варианте вместо этих строк было размышление о том, во что вылилась бы свобода печати в России, буде цензура отменена, как на Западе.

Потребности ума не всюду таковы:
Сегодня разреши свободу нам тиснения,
Что завтра выдет в свет: Баркова сочиненья. (II.366)

Страна настолько, по Пушкину, ненормальная, что, например, у царя рождается 40 дочерей — и все без того, что составляет главное отличие анатомии женщины. Находясь на привязи, Пушкин иронизирует над своим приятелем: «Я барахтаюсь в грязи молдавской, — пишет он Вяземскому, — черт знает когда выкарабкаюсь. Ты — барахтайся в грязи отечественной и думай:

Отечества и грязь сладка нам и приятна». (X.48)

Пушкин взял строку из Державина: «Отечества и дым нам сладок и приятен». Эту же строку выудил Грибоедов для комедии «Горе от ума». Серьезно ее произносит Чацкий или тоже иронизирует? Грибоедов, сидя за границей, возможно, толковал ее серьезно, а Пушкин в грязи молдавской — иронически. На полях он рисует свой автопортрет в старости: во что он превратится, если останется в этой грязи.

Он проникается почти физиологической ненавистью к городу, в котором вынужден пребывать: «О Кишинев, о темный град!» (II.52) В письмах называет город Содом-Кишинев (X.55). Пушкин переделывает географию, утверждая, что Кишинев находится на границе с Азией. Брань в рифму обрушивается на это место:

Проклятый город Кишинев!
Тебя бранить язык устанет.
Когда-нибудь на грешный кров

Твоих запачканных домов
Небесный гром, конечно, грянет,
И — не найду твоих следов!

Ну, а какой же выход? Выход только в мечтах:

Провел бы я смиренно век
В Париже ветхого завета! (III.140)

Так ответил Пушкин стихотворным письмом на приглашение своего приятеля Филиппа Вигеля приехать погостить в Кишинев осенью того же 1823 года, когда он из Кишинева все-таки вырвался. Что это удастся, Пушкин и не подозревал. Одесса, конечно, была не заграница, но более цивилизованное место. Возможно, он, побывав там, выяснил, что планы побега оттуда осуществить легче, и начал бомбить просьбами (более скромными, чем раньше) своих петербургских друзей.

В апреле 1823 года Пушкин еще не знал, что переедет в Одессу, так как звал Вяземского приехать к нему в Кишинев. А в Петербурге чудачка Евдокия Голицына, бывшая его любовница, пригласила к себе в ночной салон графа Михаила Воронцова, который был уже назначен вместо Инзова наместником Новой России — Новороссийской губернии. Образование оной завершало объединение и обрусение захваченных территорий, превращая их из колонии в исконное тело империи. Во время исполнения романа на пушкинские слова «Черная шаль» Голицына прошептала на ухо Воронцову о таланте молодого поэта, который сохнет в Бессарабии и расцветет под чутким руководством графа в Одессе.

Вяземский просит Александра Тургенева похлопотать об этом же, и тот отвечает, что уже говорил с министром Нессельроде, а также с графом Воронцовым. Брат Тургенева Сергей был под началом Воронцова в оккупационных войсках во Франции. Дело прошло гладко, Воронцов обещал перевести Пушкина к себе в одесскую канцелярию. Это была удача.

Еще не ведающий об этом, но, возможно, предчувствующий перемены Пушкин в начале июля отпрашивается у Инзова в связи с ухудшившимся состоянием здоровья лечиться морскими ваннами в Одессе. Придуманная болезнь, о которой он твердил всем встречным, помогла. В Одессе

Пушкин узнал от самого Воронцова, что переходит под его начало, тогда как сам новый губернатор собирается ехать осматривать владения.

В Кишинев Пушкин мчался, как на крыльях. Город этот был провинцией, а теперь становился задворками: столица края перемещалась в Одессу. Жить, как он писал, «в бессарабской глуши, не получая ни журналов, ни новых книг» (X.38) — он имел в виду западные издания, так как русские он получал, — жить так было невыносимо, а тут прорезалась щель, чтобы дышать.

Инзов расстроился, что Пушкин, для которого он столько старался сделать, легко променивает его на Воронцова. «Разве отсюда не мог он ездить в Одессу, когда бы захотел, и жить в ней, сколько угодно? — жаловался Инзов приятелю Пушкина Вигелю. — А с Воронцовым, право, недобровать ему!»¹⁸² Но байроническая модель поведения, наложенная на русский характер, являла собой вполне прагматический эгоизм. Русский байронизм строился на презрении к человечеству вообще, праве сильной личности командовать над слабыми и поступать якобы от их имени только потому, что данный байронист считает это целесообразным.

Философия эта имела далекие последствия, но в данном случае все было скромнее и проще. 26 июля 1823 года Инзов перестал быть наместником Бессарабии, сдал дела Воронцову. Останься Пушкин в Кишиневе, он все равно подчинялся бы теперь новому наместнику, и рассчитывать на помощь Инзова в отъезде за границу Пушкин уже не мог: паспорта теперь подписывал Воронцов. Надежды на войну здесь тоже больше не было. Греческие брожения закончились. У местных властей (скорей всего, не без подсказки сверху) возникла идея выслать этеристов во внутренние губернии¹⁸³.

Теперь мы знаем, что Пушкин в своих рассуждениях ошибался. Уехать он мог, и со значительной степенью вероятности можно утверждать, что это ему удалось бы без паспорта. Высылка греков не состоялась. В последующие годы около трех тысяч греков и к ним примкнувших лиц удачно бежали через границу¹⁸⁴.

В настроениях и мироощущении Пушкина начинается перелом. 1 декабря 1823 года он пишет Тургеневу о своих политических стихах, что «это мой последний либеральный бред, я закаялся...» (X.61). Он осознает, что переме-

ны в стране не близки, если вообще возможны. Он становится суеверным. Кто-то заметил, что роковое число «три» тяготеет над Пушкиным в Кишиневе: он провел здесь три года, сменил три квартиры, позже он будет три раза свататься, за жизнь его сменятся три царя, и графиня в «Пиковой даме» будет владеть тайной трех карт.

Надеясь пробыть в изгнании не больше полугода, Пушкин провел три, причем в основном под покровительством Инзова, терпеливо сносившего все проделки ссыльного. Если не считать прошений о разрешении вернуться хотя бы ненадолго в столицу, то добавим еще одно роковое число «три»: Пушкин трижды готовился бежать из Кишинева за границу: с греками, с армией в случае войны и с цыганским табором. Из этого ничего не получилось, но переезд в Одессу стал фактом.

22 июля 1823 года граф Воронцов, приехавший накануне, объявил Пушкину, что тот будет под его началом воспитываться в нравственном духе. «Приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково», — писал Пушкин брату (X.53). 9 или 10 августа 1823 года, скорей всего, в свите Воронцова, Пушкин отправился из Кишинева в Одессу.

Александр Тургенев, который старался быть в курсе всех планов поэта, писал Вяземскому: «...тебя послали в Варшаву, откуда тебя выслали; Батюшкова — в Италию — с ума сошел; что-то будет с Пушкиным?»¹⁸⁵

Если датировка пушкинских стихов, приводимая составителями его собраний сочинений, верна, в Кишиневе до отъезда в Одессу за весь 1823 год Пушкин написал одно стихотворение из восьми строк «Птичка».

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать! (II.134)

Говорили, что Пушкин действительно выпустил птичку — не свою, а из клетки Инзова. За ассоциацией ходить недалеко. Удивительно другое: в тот же год стихотворение напечатано в «Литературных листках» с оговоркой для

глупых цензоров, что речь идет о выкупе из тюрьмы невинных должников. До революции «Птичка» была хрестоматийной, ее повторяли все дети, едва выучившись говорить. После революции стихи эти из учебников изъяли, потому что в них есть слово «Бог».

Спустя десять лет поэт напишет Алексееву в Бухарест: «Пребывание мое в Бессарабии доселе не оставило никаких следов, ни поэтических, ни прозаических» (X.255). А пока он летел птицей в коляске, в кортеже Воронцова, по пыльной дороге к морю. Он понимал, что свободу ему не даровали, но все же надеялся, что из Одессы до нее ближе.

Глава одиннадцатая

ОДЕССА: ЗА ЧЕРТУ ПОРТО-ФРАНКО

*Правда ли, что едет к вам Россини и
итальянская опера? — Боже мой!
это представители рая небесного.
Умру с тоски и зависти.*

Пушкин — Дельвигу из Одессы в Петербург,
16 ноября 1923 (X.59)

Об одесской жизни Пушкина написано много, а известно мало. И в этом нет противоречия. Документальных материалов и писем сохранилось от той поры весьма ограниченное количество. То, что мы знаем, дошло до нас из вторых рук. К шестидесятым годам XX века о жизни Пушкина в Одессе было опубликовано около двухсот пятидесяти работ; в начале нынешнего века число это удвоилось, а новых сведений найдены крупницы. Гостиница «Норд» — единственное сохранившееся здание, где жил Пушкин. Даже место его квартиры не установлено. Возможно, это было правое крыло второго этажа во внутреннем флигеле. Когда мы последний раз были в Одессе в 1986 году, в здании этом помещалась инюрколлегия, разыскивающая наследников тех, кто уехал за границу.

Зарегистрировано, что в Одессе у поэта было 90 знакомых, друзей и врагов. Именно благодаря им и их потомкам, до нас доходят сведения, но разобраться в них непросто. Согласно одним источникам, Пушкин считал время,

проведенное в Одессе, счастливейшим периодом своей жизни¹⁸⁶. Согласно другим источникам: «О подробностях своего одесского житья Пушкин не любил вспоминать»¹⁸⁷.

Кишиневские и одесские пушкинисты спорят, где Пушкину жилось лучше. Кишиневский автор считает, что лучше было в Бессарабии: «В Кишиневе было гораздо больше интеллигенции, более умственно развитой...», в Одессе же «как в муравейнике, кишели многочисленные чиновники и дельцы, пресмыкавшиеся перед богатством и начальством»¹⁸⁸. Одесские авторы другого мнения: Пушкин приехал из захолустья в цивилизованный город. «Одесса — просто маленький Петербург, по крайней мере, в умственном развитии», по выражению современника¹⁸⁹. Одессу считали также русским Марселем. Что касается самого Пушкина, то и он поначалу считал, что перебрался из Азии в Европу.

Древние греки называли Черное море Эвксинским, то есть Гостеприимным, и поселение на месте Одессы существовало еще до Рождества Христова. Захватив эти территории в конце XVIII века, русские начали строить порт. Для развития в городе экономики, торговли и привлечения в гавань иностранных судов высочайшим указом было введено порто-франко: въезжающие сюда пользовались правом беспшлинного ввоза товаров. При этом первое, что было построено в порту еще до указа о порто-франко, таможня, а затем целая пограничная линия для борьбы с контрабандой. Таможенная черта отделяла Одессу от России и делала ее как бы свободным городом. Границу охраняли казаки. Город рос и богател быстро, но еще быстрее богатели таможенные чиновники.

В Одессу шли обозы с хлебом едва ли не со всей России, на экспорт. Отсюда вывозили уголь, для изготовления которого жгли леса. Русские начинали конкурировать с западными коммерсантами. В Одессу бежали крепостные, солдаты-дезертиры, бродяги, каторжники, становясь «вольными гражданами» и постепенно превращаясь в коренное население Новороссии. Здесь временно или навсегда оседали иммигранты из Европы, Азии и Африки — неудачники, безземельные крестьяне, торговцы, — надеясь разбогатеть. Им по решению правительства выдавались пособия. Их — итальянцев, французов, турок, греков, албанцев, сербов, хорватов, поляков, евреев, немцев — было больше, чем русских. В стихах Пушкин вписал в этот спи-

сок армян, молдаван, испанцев (V.175). На Армянском бульваре в Одессе русская речь слышалась реже, чем другие языки.

Итальянцы пекли хлеб, делали макароны и конфеты, пели в опере, учили детей музыке. Французы разводили сады, торговали вином и свечами, варили мыло, содержали отели, рестораны, учебные заведения, бордели, были архитекторами, мебельщиками, поварами и парикмахерами, но часто бросали дело и уезжали обратно. Дольше других задерживались повара, так что еще и во второй половине XIX века одесская французская кухня славилась далеко за пределами города.

Немцы ремесленничали, были кузнецами, каретниками, сапожниками, столярами, портными, типографами. Среди поляков стало много богатых, соривших деньгами: адвокаты, аптекари, потом появились ремесленники и прислуга польского происхождения. Греки разных сословий держали кофейни и игорные дома или посещали их; те и другие крутились вокруг организации «Филике этерия», готовившей вторжение в Грецию. Их мало интересовало происходившее в самой Одессе, но осведомители, подсланные русскими властями, исправно доносили о том, что происходило в этерии.

Евреи стекались в Одессу отовсюду, от Испании до Польши, и занимались всем, постепенно откупая у иностранцев магазины и мастерские. По мере обрусения Одессы они осваивали русский язык и культуру. Во время Пушкина в городе было 35 тысяч жителей и небольшой процент евреев. К концу девятнадцатого века, когда Одесса стала четвертым городом России (после Петербурга, Москвы и Варшавы), в ней жило 300 тысяч евреев и сто тысяч русских. Многие русские понимали идиш¹⁹⁰.

Порт был действительно европейский. Когда Александр I посетил Одессу (за пять лет до Пушкина), в гавани стояли триста кораблей. Торговые, культурные и личные связи соединяли одесситов со множеством городов разных стран, куда добраться отсюда было быстрее, чем из Петербурга или Москвы. Но информация, приведенная выше, почерпнута нами из дореволюционных источников. Позже советские авторы начали утверждать, что буржуазные историки клеветали на Одессу, называя ее европейским городом; на самом деле, Одесса всегда была городом

русским¹⁹¹. Писали также, что иностранцев в Одессе было на самом деле немного и встретить их можно было лишь в порту и на центральных улицах¹⁹². Теперь, естественно, сообщается, что Одесса всегда была украинской.

Территория города не была столь уж привлекательна, по поводу чего иронизировал, вспоминая Одессу, Пушкин. Поэт Туманский, приехав из Парижа, —

Пошел бродить с своим лорнетом
Один над морем — и потом
Очаровательным пером
Сады одесские прославил.
Все хорошо, но дело в том,
Что степь нагая там кругом... (V.175)

Пушкин был объективнее наших научных современников. В письме к Александру Тургеневу от 1 декабря 1823 года он объяснил, что провел три года в «душном азиатском заточении» и теперь чувствует цену «и не вольного европейского воздуха» (X.61). В идеализированной, показной Одессе —

Там все Европой дышит, веет,
Все блещет югом и пестреет
Разнообразием живой.
Язык Италии златой
Звучит по улице веселой... (V.175)

Но реальная картина выглядит несколько иначе.

В Одессе пыльной, я сказал.
Я б мог сказать: в Одессе грязной —
И тут бы, право, не солгал. (V.176)

Живописуя подробности жизни в «густой грязи», когда кареты вязнут, а пешеход лишь на ходулях рискует перейти улицу, Пушкин в главе «Путешествия Онегина» не жалел красок: Марсель этот выглядел весьма на русский манер. Однако ж лавки вдоль улиц всюю торговали зарубежными товарами, французские газеты поступали в Одессу без цензуры. Позже сюда поплыл тамиздат, например, «Колокол» Герцена. Здесь был магазин иностранных книг, оперный театр и газета, тоже на французском языке, пе-

чагавшая преимущественно зарубежные новости. Когда Воронцов получил разрешение издавать газету, у нее набралось тридцать семь подписчиков. Переоценивать свободу не следует: газету, которая существовала четыре года, запретили. Причиной запрета стало нарушение редактором правила, не разрешающего печатать самостоятельные статьи на политические темы; такие статьи дозволялось только перепечатывать из близких к правительству изданий.

Так или иначе, Пушкин попал в молодой город и остановился в гостинице с видом на залив. Продолжая числиться по Министерству иностранных дел в звании коллежского секретаря, Пушкин поступил в дипломатическую канцелярию Новороссийского генерал-губернатора. Ссылкой это можно назвать с большой натяжкой.

Сорокалетний генерал-адъютант Воронцов, умный и просвещенный либерал, получивший блестящее образование на Западе, был полон энергии и планов действовать в духе герцога Ришелье, главного устроителя Одессы. О Пушкине он наслышан от общих знакомых и готов ему покровительствовать. Воронцов «принимает меня очень ласково», — сообщает Пушкин брату (X.53). С собой Воронцов привез большую группу молодых чиновников из хороших семей и сделал это с определенной целью. До того Одессой управляли иностранцы. Теперь формировалась русская администрация, появлялась русская интеллигенция. Российское дворянство оказывалось в центре культурной жизни города, что было полезно и с точки зрения русификации края.

Пушкину опять везло: дипломатическая канцелярия, в которой он служил, ведала внешней торговлей, изучением колебаний курса валюты и хлебных цен на рынках Европы, а также собирала сведения о политических аспектах конфликтов в Греции и Испании. Канцелярия держала связь с иностранными консулами в Одессе, занималась проблемами судоходства. Особенно интересно, что канцелярия ведала также вопросами эмиграции и иммиграции¹⁹³. Правда, Пушкин был весьма далек от служебных дел и вряд ли в них вникал. Само понятие службы отвращало его даже от тех дел, которые ему были бы весьма полезны.

Воронцов открыл для Пушкина личный архив и огромную библиотеку, которую привез из Лондона. В библиотеке этой (после Октябрьской революции разворованной)

хранилась переписка предков Воронцова с Радищевым. Перед Пушкиным открылись уникальные рукописи, политическая и философская литература всего мира, в том числе русская и о России. Жадный пушкинский ум стал развиваться без ограничений, черпать темы, сюжеты, мысли, которые впоследствии поэт использовал всю жизнь. Жене своей Елизавете, красавице и умнице, Воронцов поручил опекать одинокого и талантливое поэта.

Вот он гуляет по Одессе в черном сюртуке и фуражке или черной шляпе с неизменной тяжелой железной палкой. Он такой же, как и раньше, искатель приключений и картежник. Вместе с тем, он и любознательный читатель, остроумный, словоохотливый собеседник, многим добрый и сердечный приятель. Иллюзия Европы, однако, не может ему заменить саму Европу. Поэтому несмотря на обширный круг знакомых, состояние одиночества у Пушкина в Одессе не только не становится слабее, но вскоре обостряется. «У меня хандра», — жалуется он брату (X.54). «У нас скучно и холодно. Я мерзну под небом полуденным», — это сообщение Вяземскому (X.55). «Вам скучно, нам скучно: сказать ли вам сказку про белого бычка?.. скучно, моя радость! Вот припев моей жизни», — делится он тоской с Дельвигом (X.58). И так из письма в письмо.

Происходит сие вскоре после переезда в Одессу. Чем же он скрашивает скуку? «Недавно выдался нам денек, — исповедуется он Вигелю, — я был президентом попойки — все перепились и потом поехали по блядям» (X.57). Умеющий точно подмечать происходящее в людях, его особый приятель Липранди находит Пушкина «более и более недовольным»¹⁹⁴. «Хороша и наша *civilisation!* — пишет между тем Пушкин Вяземскому. — Грустно мне видеть, что все у нас клонится Бог знает куда...» (Б.Ак.13.381) Цитата взята нами из черновика письма: в беловом тексте Пушкин, опасаясь перлюстрации, эту мысль опустил.

Состояния эйфории хватило ненадолго. Перед Рождеством граф Воронцов, которому не удастся привлечь Пушкина к серьезным занятиям (не в канцелярии, нет, но важным для самого поэта), осторожно просит Филиппа Вигеля, зная, что тот близкий приятель Пушкина, склонить шалопая-чиновника к тому, чтобы заняться чем-нибудь путным.

Вигель был фигурой не менее любопытной, чем Липранди, но в другом плане. Острый умом и хитрый, он мог

трактовать события во многих ракурсах, в зависимости от того, с каким собеседником имел дело. Себя всегда умел выставить в выгодном свете и делал на этой своей способности неплохую карьеру. В истории стал известен доносом на Чаадаева и его философические письма. Вигель был гомосексуалистом, что Пушкин отмечал с некоторой иронией. Приятель Пушкина Соболевский написал на Вигеля эпиграмму:

Ах, Филипп Филиппыч Вигель!
Тяжела судьба твоя:
По-немецки ты *Schwinwigel*,
А по-русски ты свинья!¹⁹⁵

Этот человек, по просьбе губернатора Воронцова, должен был положительно влиять на Пушкина. Тем временем в столицах издают Пушкина, и, по слухам, государь император готов с ним помириться¹⁹⁶. Публикации поэта не радуют, как прежде: «Мне грустно видеть, что со мною поступают, как с умершим, не уважая ни моей воли, ни бедной собственности» (X.64).

Пушкин встречает грека-предсказателя (по другим данным, гадалку). Тот (или та) в лунную ночь везет Пушкина в степь и, спросив день и год его рождения, что-то долго бормочет, потом произносит заклинания, обращенные к небу и, наконец, сообщает, что Пушкин умрет от лошади или от беловолосого человека и что у поэта будут два изгнания.

Наблюдатель с чутьем профессиональной ищейки, Липранди записал свое ощущение от встречи с Пушкиным той зимой: «Я начал замечать какой-то *abandon* в Пушкине...»¹⁹⁷ Бартенев перевел это слово как «заброшенность, ожесточение». По-английски это значит «покидать, оставлять». Пушкин страдает в «прозаической Одессе», когда на свете существует «поэтический Рим» (X.61). Батюшков, находящийся в Неаполе, назвал Одессу «русской Италией», а Пушкину теперь охота в настоящую Италию, то есть нерусскую.

И снова, как в Кишиневе, в связи с разными мыслями, все чаще посещающими его, он хочет повидаться с младшим братом: «Если б хоть брат Лев прискакал ко мне в Одессу!» (X.59) Письма его к брату шли из Одессы, минуя почту. Пушкин передавал их с отправлявшимися в Петер-

бург чиновниками Воронцова и, значит, тоже до конца не мог быть откровенен.

Восемнадцатилетний Левушка, которого друзья с легкой руки их общего друга Соболевского звали по-английски *Lion*, прискакать не торопился, отвечал не очень охотно, да и часто был занят. Как писал тот же Соболевский:

Пушкин Лев Сергеич,
Истый патриот:
Тянет ерофеич
В африканский рот¹⁹⁸.

Никогда еще тяга за границу не была такой сильной. Скитания в одиночестве по побережью, горькие раздумья, общая ситуация заставляли действовать. Никогда еще свобода не была столь близка: вот она — на другом берегу. Кажется, можно дотянуться рукой.

Одесса открывала перед ним морской путь через Босфор в Средиземное море. Хаджибейскую бухту заполняли паруса и флаги всех цветов. Здесь швартовались у причалов и бросали якоря на рейде корабли из Италии, Англии, Америки. Л. Гроссман замечает: «Нигде план избавления от тисков царизма не был так близок к осуществлению, как именно здесь»¹⁹⁹. Замыслы зрели у Пушкина давно, а должны были реализоваться именно тут, в 1824 году. Вопрос только в том, каким способом.

В Одессе Пушкина мало кто знал. Встречая его в порту или на побережье, на него не обращали внимания, и это было удобно. Он доучивает английский, освоил здесь итальянский и даже немного испанский. Он собирается покончить со своими старыми привязанностями: «Возможно ли, чтоб я еще жалел о вашем Петербурге?» (X.62) Чего же он хочет оставить тут, какую память о себе? Он не очень-то щедр: «я желал бы оставить русскому языку некую библейскую похабность». Вот и все, большего отечество не заслуживает.

На всякий случай он спрашивает у друзей адрес Якова Толстого, своего петербургского приятеля, который отбыл в Париж (X.64). В письме брату, посланном с оказией, которую поэт специально поджидал, Пушкин обижается на Льва, который никак не появится, а надо бы, «иначе Бог знает, когда сойдемся». Происходящее вокруг все явственнее выводит его из себя: «Душа моя, меня тошнит с доса-

ды — на что ни взгляну, все такая гадость, такая подлость, такая глупость — долго ли этому быть?» (X.65—66) Это миновавшее перлюстрацию большое и очень важное письмо, отправленное в Петербург между 13 января и началом февраля 1824 года. За ним стоит много несказанного, недоговоренного, и нам придется возвращаться к этому письму. А пока лишь еще два сообщения из этого послания, требующие пояснений.

«Ты знаешь, что я дважды просил Ивана Ивановича о своем отпуске чрез его министров — и два раза воспоследовал всемилостивейший отказ». Разные Иваны Ивановичи встречаются в письмах Пушкина. Среди них Иван Иванович Мартынов, директор департамента Министерства народного просвещения, который был куратором Лицея, и даже французский классик Иван Иванович Расин. В данном же тексте — и в этом нет сомнения — Иван Иванович — это Александр I. Даже и в письме, посланном не по почте, Пушкину не хочется называть царя прямо.

Значит, прошения дважды шли через министров Каподистрия и Нессельроде — два ходатайства Пушкина о выезде за границу, на которые он получил отказы. Что же делать? «Осталось одно, — поясняет далее Пушкин брату, — писать прямо на его имя — такому-то, в Зимнем дворце, что против Петропавловской крепости...» Иван Иванович, как мы видим, получает точный адрес.

Третьего прошения Пушкин посылать не стал. Предыдущие отказы были «всемилостивейшими», значит, мнение самого Ивана Ивановича почтительно спросили, и он не изволил разрешить. Чего же ждать в третий раз? Нет, надо самому устраивать свою судьбу, рассчитывать только на себя. И сделать это надо, не привлекая к своей персоне внимания начальства. Так с новой силой вызревают планы побега.

Как раз в эти дни Пушкин едет в командировку в Бессарабию вместе с Липранди. Генерал Сабанеев, принимая гостей из канцелярии Воронцова, предлагает Пушкину повидаться с заключенным в тюрьму Тираспольской крепости кишиневским приятелем поэта Владимиром Раевским. Ранее Пушкин, услышав от Инзова, что Раевскому грозит арест, успел предупредить того, и Раевский сжег лишние бумаги. Теперь поэт отказывается от предложенного свидания в тюрьме под предлогом необходимости попасть в Одессу к определенному часу. Но какова была истинная

причина? Скорей всего, он просто опасался провокации. Свидание привлекло бы к его персоне внимание, а именно это сейчас ни к чему.

Глава двенадцатая ПУТЯМИ КОНТРАБАНДИСТОВ

*Для неба дальнего, для отдаленных стран
Оставим берега Европы обветшалой;
Ищу стихий других, земли жилаец усталый;
Приветствую тебя, свободный океан.*

Пушкин. Черновой набросок (II.139)

Это поистине космическое желание поэт высказал в конце 1823 года.

Если весь одесский период плохо документирован, то это в еще большей степени относится к фактам, которые Пушкин намеренно скрывал от чужих глаз по причинам, не требующим объяснений. Но биографы Пушкина были вынуждены иногда изъясняться еще туманнее, чем сам поэт, не без оснований опасавшийся перлюстрации своей почты. Например, о причине, по которой Пушкин перебрался в Одессу, в исследовании пятидесятых годов советского периода говорится так: в Одессе «он надеялся стать свободным»²⁰⁰. «Стать свободным» может означать и просто окончание ссылки.

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — зываю к ней...

Но далее следуют строки, не оставляющие сомнения в его цели:

Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами споря,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии,

И средь полуденных зыбей,
 Под небом Африки моей,
 Вздохать о сумрачной России,
 Где я страдал, где я любил,
 Где сердце я похоронил. (V.25—26)

Пушкин размышляет о побеге в стихах, в письмах и, наверное, устно. Он собирается на южное побережье Средиземного моря, планируя очутиться в Африке. Александр Тургенев, его благодетель, зовет Пушкина в письмах «африканцем», и Пушкин словно хочет оправдать это прозвище²⁰¹. Африку сменяет мысль об Италии.

Адриатические волны,
 О Брента! нет, увижу вас... (V.25)

«Нет» в этих строках несет полемическую нагрузку. Поэт спорит с теми, кто считает, что он Адриатическое море и реку Brentu не увидит, а может быть, и с теми, кто не хочет его выпустить. В этом «нет» звучит упрямство, настойчивость, вера в возможность выскользнуть из ссылки.

Ночей Италии златой
 Я негой наслажусь на воле... (V.25)

Потом в письме, посланном не по почте, Пушкин говорит, что собирается в Турцию, в Константинополь (X.65). О Константинополе он размышлял, возможно, еще и потому, что от рожденья был с ним породнен. Ведь его называли именем Александр в честь Александра, архиепископа Константинопольского, о чем писал еще Бартенев²⁰².

Пушкин находится в наиболее удобной точке: из Одесского порта в принципе можно выбраться куда угодно. До Константинополя отсюда рукой подать. Но вдруг, придя домой и набрасывая на клочке бумаги так и не оформившиеся потом в стихотворение строки, Пушкин сообщает, что берега Европы обветшали и его не устраивают. Может, он имеет в виду Азию, но разве она не обветшала еще больше? Куда же тогда он нацеливает стопы?

Бывший генерал-губернатор Одессы Александр Ланжерон, который был почти втрое старше, становится приятелем Пушкина. Смещенный с поста в связи с изменением

внешнего и внутривластного курса русского правительства и потому обиженный на Александра I, Ланжерон нашел в Пушкине сочувствие и понимание. Сближали их поначалу и литературные интересы; графоманские сочинения этого человека приводили Пушкина в ужас, что не мешало обоим быть откровенными.

Ланжерон, обрусевший француз, эмигрировал в юности в Америку и, будучи весьма левых взглядов, участвовал в борьбе за независимость США. Ко времени знакомства с Пушкиным взгляды Ланжерона стали несколько умереннее, романтический восторг молодости остался в рассказах о стране, где он провел несколько лет. Пушкин вообще легко поддавался влиянию, и, может быть, под впечатлением рассказов Ланжерона у поэта впервые возникает идея двигаться в Новый Свет, что отразилось в стихах, вынесенных нами в эпиграф.

Мысль Пушкина о бегстве Ланжерон одобрял и еще недавно, обладая реальной властью, мог бы помочь выехать. Увы, легко быть прогрессивным, когда ты уже не у дел. Вскоре Ланжерон уехал за границу. Память о нем сохранилась в Одессе и полтора столетия спустя. Пляж Ланжерон одесситы всегда называли настоящим именем, хотя власти переименовывали его в Комсомольский. Впоследствии Ланжерон вернулся, умер от холеры в Петербурге и был похоронен в Одессе. В церкви, где его могила, в советское время был спортивный зал.

Современник вспоминает: поэт вслух жалел, что не обладает такой физической силой, как Байрон, который переплывал Геллеспонт²⁰³. С появлением в Одессе новой администрации только порт с примыкавшей к нему территорией все еще оставался вольным. Упомянутая таможенная черта порто-франко была чем-то вроде границы, отделяющей город от империи. «Единственный уголок в России, где дышится свободно», — говорили приезжие²⁰⁴. Действительно, солнца и иностранной валюты было много, а полицейских стеснений мало: жизнь была беспаспортной. Вдоль моря, над гаванью, размещались здания морской таможни, казармы и карантин, построенный после эпидемии чумы 1814 года. Для карантина часть порта обнесли высокой стеной — остатки ее сохранились по сей день. В одноэтажных домиках, обслуживаемых особой прислугой, отсиживались приезжавшие из-за моря купцы, дабы не завезти в империю чуму.

Процедура выезда из Одессы в мемуарной литературе того периода описана весьма тщательно. Надо было пройти осмотр в таможне. В конце первого тома «Мертвых душ» Гоголь, не раз путешествовавший за границу, рассказывает эпизод из биографии Чичикова, имевший место до истории с мертвыми душами. Чичиков страстно мечтал попасть на службу в таможню.

«Он видел, — пишет Гоголь, — какими щегольскими заграничными вещицами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и батисты пересылали кумушкам, тетушкам и сестрам. Не раз давно уже он говорил со вздохом: «Вот бы куда перебраться: и граница близко, и просвещенные люди, а какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись!» Надобно прибавить, что при этом он подумывал еще об особенном сорте французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну коже и свежесть щекам; как оно называлось, Бог ведает, но, по его предположениям, непременно находилось на границе»²⁰⁵.

Таможни стояли на трех дорогах, ведущих из Одессы. В таможне взимался налог за новые иностранные вещи. Процедура досмотра была длинная. Все сундуки открывались, и в них рылись надзиратели. С ними пререкались путешественники, обычно приходя к компромиссу посредством взятки. Память современников сохранила рассказ о женщине, которая подвесила под платьем стенные часы и благополучно пронесла бы их, если бы ни полдень: часы начали бить двенадцать раз. Поэтому женщин казаки-надзиратели бесцеремонно ощупывали, при этом спрашивая: «А ще сие у вас натуральнэ, чи фальшивэ?»²⁰⁶

Надо сказать, что приемы совершенствовались обе стороны: и таможенники, и контрабандисты. Последние, обходя морскую таможню, переносили товары по воде в непромокаемых мешках. Шли они в волнах, по шею в воде, надев на голову стальной шлем, отражающий солнечный и лунный свет и потому не видимый с берега²⁰⁷.

Для выезда из Одессы морем за границу Одесский магистрат выдавал «Свидетельство на право выезда за границу причисляющемуся в... (название учреждения) господину... (имя) с семейством... (состав, включая слуг)»²⁰⁸. Однако часто бывали случаи, когда уезжали за границу безо всякой бумажки.

Пушкину все это было известно лучше, чем нам. Как раз в то время он налаживает знакомство с начальником Одес-

ской портовой таможни Плаховым. Это был весьма интересный человек, в доме которого собиралось местное общество и который сам был вхож в лучшие дома. В гостиной у Плахова бывали и будущие декабристы, и лидеры этерии. Разговоры в салоне его велись самые либеральные, критиковалась политика правительства. Подробностей об этом знакомом Пушкина не сохранилось, хотя младший брат Пушкина, Лев, позже служил в Одесской портовой таможне и застал там многих старожилов, помнивших поэта.

Для бегства нужны были связи в таможне и в порту. Пушкин сводит также знакомство с начальником Одесского таможенного округа князем Петром Трубецким и даже передает с ним письма друзьям в Москву. Он бывает в гостях у племянницы Жуковского Анны Зонтаг. Ее муж Егор Зонтаг был капитаном «над Одесским портом». О связях с хозяином порта почти ничего не известно, а между тем это важное звено в пушкинских контактах.

Карантинная гавань, где суда отстаивались в ожидании окончания чумного карантина, отделялась от остального порта Платоновским молотом. Перестроенный, он еще сохранился в наше время, и здесь по-прежнему разгружаются иностранные суда. В конце Платоновского мола была площадка, «пункт», или разговорное название «пунта», куда одесская знать съезжалась дышать свежим морским воздухом и общаться. Неподалеку от «пунты» были построены купальни, к которым подъезжали в коляске. Пушкин стал чаще бывать здесь, в порту, иногда по несколько раз в день.

Бывало, пушка зоревая
Лишь только грянет с корабля,
С крутого берега сбегая,
Уж к морю отправляюсь я.
Потом за трубкой раскаленной,
Волной соленой оживленный
Как мусульман в своем раю,
С восточной гушей кофе пью. (X.176—177)

Вспоминая об этой жизни, поэт все свои тогдашние заботы в порту сведет к гастрономии:

Но мы, ребята без печали,
Среди заботливых купцов,
Мы только устриц ожидали
От цареградских берегов. (X.177)

На самом деле тут были и знакомства, и гульба, и серьезные разговоры. Приход новых кораблей радовал Пушкина. «Иногда он пропадал, — вспоминала княгиня Вера Вяземская, жена его друга. — Где вы были? — На кораблях. Целые трое суток пили и кутили»²⁰⁹. Именно там, на кораблях, устанавливались связи с деловыми людьми, которые были нужны. Сводил поэта с этими людьми поистине легендарный человек Али, он же Морали или мавр Али (*Maure Ali*). Многое точно замечавший Липранди записывает, что Пушкин веселеет только в обществе Али²¹⁰.

Это была необычная личность. Могучая фигура, кося сажень в плечах, бронзовая шея, черные большие глаза на обветренном лице, черная борода, важная походка, в осанке нечто многозначительное. От тридцатипятилетнего настоящего мужчины веяло экзотикой: «Одежда его состояла из красной рубахи, поверх которой набрасывалась красная суконная куртка, роскошно вышитая золотом. Короткие шаровары были подвязаны богатою турецкою шалью, служившею поясом; из ее многочисленных складок выглядывали пистолеты»²¹¹. Ходил Али с тяжелой железной палкой на случай драки, как и поэт.

Пушкин говорил, что Морали — египтянин, «сын египетской земли» (V.175, 503), и считал, что по африканской крови они друг другу родня. По более поздним данным, Али был полунегр-полумавр из Туниса²¹². Они познакомились в кофейне грека Аспориди, неподалеку от оперного театра. Морали любил там сидеть на бархатном диване вишневого цвета, потягивая дымок из кальяна. По воспоминаниям Липранди, Али часто заходил в канцелярию графа Воронцова, где у него были кое-какие дела. Любил он и просто поболтать с чиновниками²¹³.

Согласно легенде, Али был одно время шкипером на судне, купцом, негоциантом, набобом, и теперь о его темном прошлом ходили самые невероятные слухи²¹⁴. Из них можно узнать, будто Али был пиратом в Средиземном море, шел на abordаж, грабил купеческие суда, а сокровища зарывал на необитаемых островах и в пещерах, в том числе, в Одесских катакомбах. «Корсар в отставке», по выражению Пушкина, фантастически богатый, он в один прекрасный момент влюбился в местную красотку, бросил рискованное ремесло и пришвартовался в Одесской гавани. Где точно жил Али, неизвестно: было у него в Одессе несколько домов. Поскольку великому русскому поэту не приличеству-

ет дружить с пиратами, в советской пушкинистике Али был превращен в «капитана коммерческого судна»²¹.

Завидую тебе, питомец моря смелый,
Под сенью парусов и в бурях поседелый!
Спокойной пристани давно ли ты достиг —
Давно ли тишины вкусил отрадный миг?
И вновь тебя зовут заманчивые волны.
Дай руку — в нас сердца единой страстью полны. (II. 139)

А дальше в стихотворении идут строки, вынесенные нами в эпиграф. Говорили, что бывший корсар, которому море по колено, поддерживает старые связи и участвует в темных делах, встречаясь с прибывающими ниоткуда и отбывающими в никуда сомнительными людьми. Еще болтали, что он — поставщик в гарем турецкого султана: присматривает подходящие кадры, прячет в пещерах, а затем люди султана переправляют девушек через море. Что здесь соответствует действительности, теперь проверить невозможно.

Старейший одесский литератор и директор библиотеки де Рибас полвека спустя утверждал, что он помнит Али, ведь тот глубоким стариком бывал у них в гостях. От множества легендарных достоинств этого выдающегося человека остались три: аферист, картежник, выпивоха. Он принесил две золотые табакерки и хотел их продать за 30 тысяч²¹⁶.

По сведениям другого одессита, в восьмидесятые годы, то есть в возрасте за девяносто, Морали еще жил в Одессе припеваючи. Он передал капиталы сыновьям и удачно выдал замуж дочерей²¹⁷. Последнее, что слышали одесситы, будто более умелые картежники обыграли Али в пух и прах, и он исчез из города. Скрылся ли он, уплыл ли за границу, умер или был убит, остается загадкой. Исчез Али так же таинственно, как появился.

В январе — феврале 1824 года Али становится неразлучным компаньоном Пушкина. Липранди, заходя к Пушкину домой, застаёт у него Али. Приятель и поэт Туманский отговаривал Пушкина от странной дружбы со столь сомнительным человеком: упаси Бог, наживете беду! А Пушкин называл его братом и привязался к нему, как ребенок; хохотал, сидя у Али на руках, когда тот щекотал его. Али водил приятеля по самым сомнительным притонам в подвалах Греческого базара. Вместе они проводили время на кораблях, в блатных компаниях и ночных пуб-

личных местах для моряков, играли в карты. Пушкин говорил с ним по-французски, а отчасти по-итальянски и веселился от души, когда Али пытался сказать что-нибудь по-русски: тот до неузнаваемости коверкал слова.

Но были у них и более серьезные занятия. Али свел Пушкина с греками, членами тайного общества этеристов. Заседания проходили в одном из домов, принадлежавших мавру. Али пользовался их особым доверием, снабжал отъезжающих в Грецию оружием из своих кладовых. Однажды Пушкин рассказал Туманскому, что Али водил его ночью в катакомбы, где с факелом в руках показывал склады оружия, приготовленные для этерии. Говорят, он ссужал греков деньгами, но, возможно, и наоборот: греки платили Морали за то, что он поставлял им оружие и помогал нелегально перебираться в Грецию.

Один из одесских пушкинистов сообщает, что Пушкин встречался с Морали на «пункте». Здесь Пушкин и заинтересованные владельцы судов обсуждали возможность бегства за границу²¹⁸. Эта версия сомнительна. Для чего тайную операцию демонстрировать? Друзья вполне могли обговорить все в любом другом месте города. Пушкина видели с Али на пункте и в других местах порта не обязательно в связи с дальними планами.

Но дружба с Али и замыслы побега были связаны. Риск, пиратство, выяснение реальных возможностей бегства за море, способов и деталей этого предприятия могли быть откровенными темами их разговоров. Видимо, Али охотно объяснял, что бежать можно и сделать это не трудно. В руках Али были все связи: можно подкупить стражу в порту, подыскать надежных людей, которые переправят туда, куда нужно. Самое простое — плыть в Константинополь, а там уже решать в зависимости от обстоятельств.

Однако, наверное, Али удивлялся стремлению Пушкина. Для бывшего пирата свобода была вполне достаточна и тут, за чертой порто-франко, под опекой российской неразберихи. Тут Али мог творить, что хотел, в том числе операции, за которые в любой цивилизованной и даже восточной стране он уже давно угодил бы за решетку. Но в этом поэт понять Али не мог, как тот не мог понять нерешительности и непредприимчивости Пушкина.

Тогдашние трудности в восьмидесятые годы нашего века казались смешными: быстроходные ракетные катера, пограничная служба на вертолетах, прожектора, ощупываю-

шие море всю ночь, радары, стальные сети под водой для безумцев, рискнувших выбраться с аквалангами. А тогда — жалкая охрана, падкая на взятки, да пустынные берега. Можно было причалить и отчалить во многих местах.

Среди знакомых Пушкина был Карл Сикар, бывший французский консул в Одессе, а потом владелец гостиницы и ресторана «Норд», в котором обедали все одесские иностранцы. Тут одно время Пушкин жил²¹⁹. Один из старейших и уважаемых жителей Одессы, Карл Сикар, которому здесь наскучило, уже после отъезда Пушкина решил выехать, впрочем, вполне легально. Он сел на корабль, отправлявшийся туда же, куда собирался Пушкин, в Константинополь, и исчез. Что произошло, не известно, полагают, корабль утонул.

По-видимому, Али дал Пушкину какие-то гарантии. Его приятели контрабандисты совершали подобные операции не раз и обычно успешно. Али обещал снабдить Пушкина адресами своих партнеров, живущих в портах вдоль Средиземного моря, сказав, что они помогут. Но есть одна сложность: без денег никто пальцем не пошевелит, и платить надо вперед. Если заплатить мало, перевозчики могут выдать беглеца, чтобы отомстить ему за скупость. Али сказочно богат, но, если он будет оказывать посреднические услуги бесплатно, он тоже разорится. Сделка состоится, но Пушкину нужны деньги.

Глава тринадцатая ДЕНЬГИ ДЛЯ ВЫЕЗДА

*...не то взять тихонько трость и шляпу и поехать
посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне
становится невтерпеж. Ubi bene ibi patria. А мне
bene там, где растет трын-трава, братцы.
Были бы деньги, а где мне их взять?*

Пушкин — брату, между 13 января
и началом февраля 1824, не по почте (X.65)

«Где хорошо, там родина». Латинская поговорка, которую поэт привел в письме к брату, стала его девизом. Обратим также внимание в приведенной выше цитате из письма на слово «тихонько». Шляпа у Пушкина была. Для того

чтобы попасть туда, где растет трын-трава, а тем более «тихонько», необходимо срочно раздобыть некоторую сумму.

У Пушкина было до сего времени три источника дохода: собственное жалование, помощь родителей и изредка гонорары от издателей. И того, и другого, и третьего явно недостаточно для довольно легкомысленных повседневных расходов. Можно, конечно, возразить, что жалование ссыльному платили ни за что: он никак не старался рвением по службе заработать лучший чин и большой оклад, а про 700 получаемых рублей говорил, что это «паек ссыльного невольника» (X.71). Это не совсем соответствовало истине.

Старший сын непрактичных родителей, он ничего не делал, чтобы помочь отцу привести в порядок хозяйственные дела в имениях и получать больший доход. Восемнадцатилетним юношей он во время прогулки на лодке по Неве в присутствии отца кидал в воду золотые монеты, любуясь их блеском²²⁰. Ничто не указывало, что в 24 года он стал серьезнее. Впоследствии он принял от отца управление Болдином, вел переписку, но этого было явно недостаточно, чтобы что-либо улучшить. Пушкин, если и читал Адама Смита, экономом был не более глубоким, чем его герой Евгений Онегин, и его занимал лишь конечный результат в купюрах, которые он мог тратить. Родители внимали его просьбам с осторожностью и недоверием.

Пушкин постоянно нуждался в деньгах, но теперь к обычным расходам (если не считать долгов, которые следовало отдавать) предстояло прибавить еще две статьи. Во-первых, нужна была круглая сумма в несколько тысяч, не меньше, на уплату за перевоз беглеца в трюме через море. И, во-вторых, требовалась сумма, очевидно, не меньшая, в запас, в качестве прожиточного минимума на новых местах, поскольку, как он сам гордо заметил, «ремеслу же столярному я не обучался; в учителя не могу идти...» (X.53). Упоминание в письме столярного ремесла не случайно: граф Воронцов по настоянию отца выучился столярному делу.

Здесь необходимо небольшое отступление о материальной подоплеке выезда за границу во времена Пушкина. Отъезд за рубеж служивых представителей дворянского сословия мало что менял в их статусе. Все они оставались подданными империи, им исправно шло жалованье в твердой валюте, поскольку они занимали свою должность в Табели о рангах. Поступали также доходы от собствен-

ных поместий. От царя зависело, поручать им какие-либо миссии, в том числе шпионство, или дать возможность вольно прожигать в Европе жизнь. Этот альянс действовал до тех пор, пока не возникало напряженности в отношениях между подданным и русским правительством.

Например, поэт и друг Пушкина по петербургскому литературному обществу «Зеленая лампа» Яков Толстой, парижский адрес которого Пушкин на всякий случай только что попросил у друзей, уехал за границу для лечения, взяв отпуск. Позже там его застали события 14 декабря. Следственная комиссия вызвала его для допроса. Он благоразумно не явился и таким образом стал эмигрантом. Последовало увольнение его со службы, перестало поступать жалованье. Доходов оказалось недостаточно; Толстой вскоре остался без средств к существованию и, не будучи приспособлен к труду, оказался в крайней нужде.

Разумеется, никто не лишал Якова Толстого гражданства. Больше того, имея он как помещик достаточно доходов, он продолжал бы исправно получать их за границей, — никто не посягал на его собственность. Но под влиянием нужды, а также и по свойствам характера, Толстой начинает искать путь заслужить у царя прощение. Чтобы закончить отступление, упомянем итог: Толстой сперва сделался тайным агентом русского правительства в Париже, а впоследствии дослужился до чина действительного тайного советника.

Рассчитывать на жалованье в случае нелегального бегства Пушкин не мог, в тайные агенты не готовился, надеяться за границей на помощь семьи не приходилось. Оставалось получить как можно больше сейчас. Вот почему из месяца в месяц весь 1823-й и 1824-й годы он бомбардирует семью одной и той же просьбой. «Изъясни моему отцу, — втолковывает он брату, — что я без денег жить не могу... Все и все меня обманывают — на кого же, кажется, надеяться, если не на ближних и родных» (X.53—54). Отец не возмущается, но и не помогает, поэтому Пушкин жалуется: «Мне больно видеть равнодушие отца моего к моему состоянию, хоть письма его очень любезны» (X.54).

К весне 1824 года письма поэта становятся все настойчивее: «Ни ты, ни отец ни словечком не отвечаете на мои элегические отрывки — денег не шлете», — пишет он брату (X.69). Не получая субсидий от родных, он обращается к друзьям. «Прости, душа — да пришли мне денег», — просит он Вяземского (X.70). И опять без особой изобре-

тательности брату Левушке: «Слушай, душа моя, мне деньги нужны» (X.74).

Он надеется на третий (помимо службы и семьи) источник дохода и рассчитывает получать больше за литературные произведения, благо издатели их охотно публикуют. Происходит то, что позже он выразит отточенной формулой в стихотворении «Разговор книгопродавца с поэтом», вложив свою мысль в уста книгопродавца:

Наш век — торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет. (II.178—179)

Публикации в столицах волнуют поэта прежде всего гонораром. Даже цензура притесняет его тем, что не дает заработать: «Жить пером мне невозможно при нынешней цензуре...» (X.53) Вопросы честолюбия, всегда для него болезненные, теперь отбрасываются в сторону. «Печатай скорее, — торопит он Вяземского насчет «Бахчисарайского фонтана», — не ради славы прошу, а ради Мамона» (X.63). Маммона согласно Новому Завету — как бы дух богатства, которого верующим рекомендуется остерегаться. «Впрочем, — говорит Пушкин в другом письме о том же стихотворении, — я писал его единственно для себя, а печатаю потому, что деньги были нужны» (X.67). «Что до славы, — объясняет он брату в уже упомянутом нами письме о подготовке бегства в Константинополь, — то ею в России мудрено довольствоваться. Русская слава льстить может какому-нибудь В.Козлову, которому льстят и петербургские знакомства, а человек немного порядочный презирает и тех и других. *Mais pourquoi chantais-tu?* (Но почему ты пел? — фр.) На сей вопрос Ламартина отвечаю — я пел, как булочник печет, портной шьет, Козлов пишет, лекарь морит — за деньги, за деньги, за деньги — таков я в наготе моего цинизма» (X.65).

Взгляды свои на независимость писателя Пушкин заимствовал, читая в личной библиотеке графа Воронцова труды Пьетро Аретино — итальянского борца за высокие гонорары²²¹. Проблемы гонорара усугублялись тем, что авторских прав в России не было. Пушкин пытался подойти к русскому издательскому пиратству с европейских позиций, что ему, разумеется, не удавалось.

Издатели платили Пушкину от 11 до 25 рублей ассигнациями за стихотворную строку. Но количество строк, ко-

торые он мог продать, чтобы на них жить, было невелико. Он написал в Одессе чуть больше тридцати стихотворений, из них опубликовано было в 1824 году три, а при жизни поэта семь. За поэму «Кавказский пленник» Пушкин получил 500 рублей, а за «Руслана и Людмилу» ему платили частями, причем книгоиздатель вернул часть суммы в виде непроданных книг. Трудность состояла и в том, что все договоры велись через друзей, знакомых и родных, а издатели, пользуясь путаницей, обманывали и посредников, и автора.

Пушкин печатал написанное ранее; что же касается большой новой работы, начатой еще в Кишиневе, названием которой стали просто имя и фамилия героя, то автор с самого начала знал, для чего он ее пишет. «Вроде «Дон Жуана», — объясняет он в письме Вяземскому, — о печати и думать нечего; пишу спустя рукава» (X.57). «Спустя рукава» — шифровка, встречающаяся в письмах Пушкина. Означает она вовсе не небрежность, не написанное кое-как, а написанное свободно, без внутренней цензуры и на цензуру не рассчитанное.

«На досуге пишу новую поэму, «Евгений Онегин», — делится он с Александром Тургеневым, — где захлебываюсь желчью. Две песни уже готовы» (X.62). «Захлебываюсь желчью»... Первая глава «Евгения Онегина» становится зеркалом состояния поэта на привязи. В оглавлении, составленном самим поэтом спустя семь лет, когда он дописывал роман, первой части дано название «Хандра». Причина хандры — болезненная тоска по загранице. Тоска автора навязывается герою — ленивому домоседу, никуда не собирающемуся бежать. Отсюда идет постоянно ощущаемая несовместимость, отторжение авторских отступлений от основного сюжетного движения. Пушкин стал Чайльд-Гарольдом, которому, как писал Байрон, родина казалась тюрьмой. Ю.Лотман, замечая, что часть первой главы посвящена замыслу побега, пишет: «Маршрут, намеченный в XLIX строфе, близок к маршруту Чайльд-Гарольда, но повторяет его в противоположном направлении»²²².

Пушкин то и дело соскальзывает на свои любимые мысли о радости свободной жизни за границей. Мелькают европейские имена, названия, отголоски европейских будней, всегда похожих на праздник, и европейской мысли, сочетающей историю с современностью. Возможно, состояние это передавалось Пушкину от друзей, вернувшихся

«оттуда», особенно благодаря впечатлениям сверстника и приятеля Туманского.

Поэт Василий Туманский, теперь чиновник той же канцелярии Воронцова, только что вернулся из Парижа, где два года был вольнослушателем в Коллеж де Франс. Рассказы Туманского о Европе были бесконечны, и Пушкин слушал их с завистью, скрывавшейся иронией. Лишь в тридцатые годы XX века стало известно, что Пушкин уничтожил части первой главы «Евгения Онегина». Не исключено, что там было значительно больше информации о проблеме бегства из Одессы.

Онегин был готов со мною
Увидеть чуждые страны;
Но скоро были мы судьбою
На долгий срок разлучены. (V.26)

Пушкин сообщает, что его герой собирался ехать за границу с автором. По сюжету события эти происходили, когда автор познакомился с Онегиным в Петербурге, то есть готовность эта была до ссылки, до весны 1820 года (еще одно доказательство стремления Пушкина выбраться за границу после Лицея). Тогда они и строили планы совместных заграничных путешествий. Но тут Онегин получил извещение о болезни дяди, а Пушкину пришлось против воли менять маршрут и отправиться на юг.

Словно предвидя, что начало «Евгения Онегина» будет толковаться вовсе не так, Пушкин в белой рукописи добавил эпиграф на английском, который весьма многозначителен, но в печатном издании исчез: «*Nothing is such an enemy to accuracy of judgement as a coarse discrimination*» (V.487) — Ничто столь не враждебно точности суждения, как недостаточная пронизательность. Эдмунд Берк, которому принадлежит мысль, был крупным правительственным чиновником, оратором и писателем Англии XVIII века. Скорей всего, Пушкин отыскал эту цитату в личной библиотеке Воронцова.

Нет оптимизма и во второй главе «Онегина», писавшейся в Одессе и позже названной «Поэт». Она представляет собой как бы альтернативу первой, зазеркалье, прогноз того, что произойдет с поэтом, который, вырвавшись в Европу, решает вернуться обратно. Об онегинской строфе имеется большая литература, отметим лишь, что стиль строфы.

выработанный с самого начала, для данного содержания оказывается слишком легким, поскольку рассказывается мрачная история русского интеллигентного молодого человека «с душою прямо геттингенской», который вернулся из Европы в родную деревенскую дыру и вскоре был убит.

Пушкин писал роман вольно, будто не намеревался иметь дело с цензурой, но при этом надеялся на достаточную проницательность читателя. О каком же читателе он думал? «Я бы и из Онегина переслал бы что-нибудь, да нельзя: все заклеяно печатью отвержения» (X.78). Тем, кто предлагал ему попробовать опубликовать первые главы «Евгения Онегина» в столице, он запрещал даже размышлять об этом: «Об моей поэме нечего и думать — если когда-нибудь она и будет напечатана, то верно не в Москве и не в Петербурге» (X.67). Где же в таком случае? Остается предположить, что рукопись писалась, чтобы взять ее с собой на Запад.

Одновременно Пушкин пытается получить из Петербурга другую рукопись, которую неосмотрительно проиграл в карты приятелю Никите Всеволожскому. Вяземскому он недвусмысленно объясняет, что предисловию, которое тот написал для публикации «Бахчисарайского фонтана», тоже лучше бы увидеть свет не здесь: «Знаешь что? твой «Разговор» более написан для Европы, чем для Руси» (X.69).

Но деньги продолжают держать Пушкина на старом месте, и он начинает думать о возможности подороже продать неоконченный роман в стихах издателям здесь, в России. «Теперь поговорим о деле, т. е. о деньгах, — обращается он к Вяземскому (да простит читатель за то, что приводим ненормативный текст классика). — Слёнин предлагает мне за «Онегина», сколько хочу. Какова Русь, да она в самом деле в Европе — а я думал, что это ошибка географов. Дело стало за цензурой, а я не шучу, потому что дело идет о будущей судьбе моей, о независимости — мне необходимой. Чтоб напечатать Онегина, я в состоянии х., т. е. или рыбку съесть, или на х... сесть. Дамы принимают эту поговорку в обратном смысле. Как бы то ни было, готов хоть в петлю» (X.70).

Вопрос о том, что это — лишь начатый кусок неоконченной вещи, не обсуждается. Быстро с публикацией также не выходит, хотя в принципе никто не говорит «нет». Пушкин расстроен: время-то не ждет! «“Онегин” мой рас-

тет, — сообщает он приятелю. — Да черт его напечатает — я думал, что цензура ваша («ваша», как будто он уже гражданин Франции. — Ю. Д.) поумнела при Шишкове — а вижу, что и при старом по-старому» (X.76). Хочется написать и продать побольше, но никто не спешит платить.

Его выводит из себя нерасторопность, неделовитость, разброд среди знакомых в Петербурге, от которых он зависим и которые вовсе не торопятся сделать то, что для него — вопрос жизни: «...мы все прокляты и рассеяны по лицу земли — между нами сношения затруднены, нет единоподушия...» (X.73) Если бы не финансовая зависимость, он бы давно порвал с ними со всеми, за исключением разве что двоих: «Ты, Дельвиг и я, — говорит он брату, который вообще далек от словесности, — можем все трое плюнуть на сволочь нашей литературы — вот тебе и весь мой совет» (X.73). Весьма типичное свойство русского интеллигента, находящегося в возбуждении: потребность к единоподушию, когда все должны думать, как он, все обязаны понять и одобрить его; а если он хочет плюнуть, то и все должны плевать вместе с ним.

Его расходы превышают поступления, и мысль настойчиво ищет средство сразу решить проблему, в один присест разбогатеть. В карты он поигрывал еще в Петербурге, а в Кишиневе становится азартным игроком. Надежда вдруг выйти из-за стола с состоянием делается навязчивой, когда деньги нужны до зарезу, и судьба обязана смириться.

Картежники скрывались в подвалах греческих кофейен, — рассказывает одесский старожил. Какие темные дела делались в этих подвалах, сказать трудно. Однажды во время игры в подвал ворвался полковник полиции. Хозяин немедленно погасил свечи. Когда свечи снова зажгли, полковника в подвале уже не было, но не было и пятнадцати тысяч рублей, лежавших на столе²²³. В рукописи второй главы «Евгения Онегина», написанной в Одессе, появилась строфа, которую Пушкин после выкинул:

Страсть к банку! ни дары свободы,
Ни Феб, ни славы, ни пиры
Не отвлекли б в минувши годы
Меня от карточной игры;
Задумчивый, всю ночь до света
Бывал готов я в эти лета

Допрашивать судьбы завет:
Налево ляжет ли валет?
Уж раздавался звон обеден,
Среди разорванных колод
Дремал усталый банкомет.
А я, нахмурен, бодр и бледен,
Надежды полн, закрыв глаза,
Пускал на третьего туза. (V.434—435)

Но выиграть не удавалось, скорее наоборот, карты отнимали последнее. Играл Пушкин и в бильярд. Но тут шансы внезапно разбогатеть были еще меньше, чем в карты. Денежные проблемы настолько захватили Пушкина весной 1824 года, что, казалось, ничего на свете более важного не существует. Любопытно, что как раз в это время начальство было им довольно. Граф Воронцов, который еще недавно просил Пушкина заняться чем-нибудь путным, теперь его хвалил. «По всему, что я узнаю на его счет, — писал Воронцов в Петербург, — и через Гурьева (градоначальника Одессы. — Ю. Д.), и через Казначеева (руководителя канцелярии Воронцова. — Ю. Д.), и через полицию, он теперь очень благообразен и сдержан»²²⁴.

Никто из посторонних как будто бы не догадывался о далеко идущих планах поэта.

Глава четырнадцатая ОТ ТУЧ ПОД ГОЛУБОЕ НЕБО

*Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.*

Пушкин. «Для берегов отчизны дальней» (III.193)

Жизнь в молодой столице Новороссийского края шла своим чередом, а жизнь Пушкина своим, и ничто не предвещало неприятностей. Сто лет спустя Владислав Ходасевич, уже будучи в Берлине, первым заметил, что в сочинениях Пушкина неблагоприятное положение правительства представлено в виде дурного климата. Это касается и строк «Брожу над морем, жду погоды...», и писем поэта, в которых он то и дело жалуется на обстоятельства: «Ты не при-

казываешь жаловаться на погоду — в августе месяце — так и быть — а ведь неприятно сидеть взаперти, когда гулять хочется!» (Х.46) По Ходасевичу, «отношения с правительством и мечты о побеге за границу... даны в терминах, так сказать, климатических и метеорологических». Дискуссии по поводу разрешения выехать или возможности бежать построены у Пушкина и его знакомых на прогнозах погоды наверху²²⁵.

Современному русскому интеллигенту этот язык столь же близок, поэтому ситуацию в начале весны 1824 года определим так: погода испортилась, подул ветер, над Пушкиным начинают сгущаться тучи. Но вот что любопытно: ветер подул не с севера, откуда его можно было ждать, а возник в Одессе. В конце февраля — начале марта погода испортилась. Друзья принялись искать объяснения этим обстоятельствам еще при жизни поэта. Но и по сей день, несмотря на сотни написанных работ, биографы расходятся во мнениях. Переводя с языка метеорологического на обычный, получаем: отношения между Пушкиным и его непосредственным начальником и покровителем графом Воронцовым неожиданным образом испортились.

О новороссийском генерал-губернаторе Михаиле Воронцове написано немало. Один его архив, который успели частично издать до революции, составляет тридцать семь томов. В обширной библиографии можно найти ему славословия:

Благословляют Воронцова
И город тот, и те края!
Монаршей воли исполнитель,
Наук, художеств покровитель,
Поборник правды, друг добра,
Сановник мудрый, храбрый воин,
Олив и лавров он достоин!²²⁶

Двадцать лет спустя, когда Воронцов был назначен губернатором на Кавказ, его пребывание в Одессе современник назвал «Золотым веком Одесской словесности»²²⁷. В советском пушкиноведении Воронцов традиционно обозначался как негативная личность, невинной жертвой которой стал гениальный поэт. Исторические факты свидетельствуют об ином.

Отец Михаила Воронцова, Семен Воронцов, был в течение двадцати лет русским послом в Англии. Он отличился в бою с турками в Бессарабии, а умер в Лондоне. Дочь Семена Воронцова была замужем за лордом Пемброком. Сын управлял землей, отвоеванной отцом, но и сам был человеком недюжинной отваги. Кутузов называл его храбрцом. На Кавказе он вынес из-под огня раненого товарища, под Бородином сам был ранен. Триста раненых солдат он разместил у себя в имении, чтобы вылечить их. Он запретил телесные наказания солдатам и не раз конфликтовал с Александром I. Перед уходом русской армии из Франции генерал Воронцов расплатился за кутежи в долг всех офицеров и разорился. Финансы его поправила лишь женитьба на дочери богатого польского шляхтича Елизавете Браницкой.

Жуковский обессмертил Воронцова в стихах. Лев Толстой писал об этом своем дальнем родственнике в повести «Хаджи-Мурат»: «Воронцов, Михаил Семенович, воспитанный в Англии, сын русского посла, был среди русских высших чиновников человек редкого в то время европейского образования, честолюбивый, мягкий и ласковый в обращении с низшими и тонкий придворный в отношениях с высшими»²²⁸. Комментаторы советского издания поправляют Толстого в примечаниях: Воронцов был «жестокий и хитрый царедворец»²²⁹.

Отношение Воронцова, безусловно серьезного государственного деятеля, к Пушкину было крайне доброжелательным. Знаток древних литератур и книг эпохи Возрождения, он привил Пушкину интерес к истории, к архивным документам. Губернатор строил порт, поселения, развивал экономику, создавал управленческий аппарат, поднимал культуру, и, как пишет одесский автор, покровительствовал евреям и иностранцам²³⁰.

«По долгу и вкусу, — писал он, — я старался помочь и давать пример по части виноделия». В результате усилий губернатора на южном берегу Крыма и в Бессарабии посажено было более четырех миллионов виноградных лоз, привезенных из Франции, Германии, Испании и Греции. Новороссийские вина стали известны на всю Россию. Воронцов сделал Одессу богатой. Свое жалованье он отдавал нуждающимся подчиненным. Пушкин в их число не входил. Уделять много внимания молодому поэту Воронцов не мог, но продолжал оставаться к нему терпимым.

Ничто не предвещало ссоры, ибо еще перед Новым годом Пушкин собирался с Воронцовыми в Крым на весенние каникулы. Что же вдруг изменило отношение губернатора к подчиненному?

Анненков считал, что Пушкин был плохим чиновником. Такой же точки зрения придерживался Сергей Аксаков. Чем занимался рядовой служащий 10-го класса Пушкин в канцелярии Воронцова, точно неизвестно. Ни единой бумаги, им подготовленной на работе, не найдено, да много ли их было? Его нельзя было назвать бездельником на службе только потому, что он там не появлялся вообще. Жалование исправно шло, но размером его Пушкин был недоволен и возмущался вслух. И все же можно ли считать, что именно служба была причиной внезапного охлаждения к нему Воронцова?

Хотя стихи в канцелярии сочинял не один Пушкин, его прочили губернатору как талантливого писателя, и он отнесся к рекомендациям со всей серьезностью. В первом номере журнала, издаваемого Фаддеем Булгариным, появилось весьма доброжелательное напутствие: «Гений Пушкина обещает много для России; мы бы желали, чтоб он своими гармоническими стихами прославил какой-нибудь отечественный подвиг. Это дань, которую должны платить дарования общей матери, отечеству»²³¹. Пушкина откровенно призывали заняться пропагандой, и он, с его настроениями, мог только посмеяться в ответ. «У нас еще нет ни словесности, ни книг, — записывает он в черновике, — все наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке...» (VII.14)

Воронцов не был столь прямолинеен, как Булгарин. Никакими рамками прославления империи, царя или своей персоны он Пушкина не связывал — для этого он был достаточно умен. Он не хуже Пушкина понимал, сколь отстала русская культура от Запада, сам вносил посильный вклад в ее прогресс и вправе был рассчитывать на серьезное отношение талантливого писателя к этому важному предмету. Он ждал от поэта той самой просветительской деятельности, к которой Пушкин, вообще говоря, питал интерес и важность которой хорошо понимал. Не корысти ради ожидал Воронцов вклада, будь то в поэзии, истории, журналистике или любой другой области. А Пушкин выглядел гулякой, играл в карты и предавался ничегонедела-

нию. Сочинения поэта, что Воронцову удавалось прочитывать, были, по мнению графа, вторичными, подражанием Байрону. Воронцов знал Байрона лучше Пушкина, причем не во французских переводах.

М. Горький считал, что Пушкин пытался доказать публике: писатель в иерархии государства стоит выше чиновника, но в то время над этим могли только смеяться. Однако, применительно к данной ситуации, Пушкина ставили на место по его собственной, Пушкина, вине. «Как человек он мне не понравился, — вспоминает его одесский знакомый. — Какое-то бретерство, *suffisance* и желание уколоть, осмеять других»²³². *Suffisance* у французов — означает тщеславие, самодовольство. Это ощущали многие, с кем он общался.

В сущности, Пушкину была обеспечена нормальная жизнь даже в том случае, если бы он не занимался ничем ни в канцелярии, ни в литературе. Но он перессорил чиновников Воронцова, за глаза оскорблял хозяина и его гостей. Он демонстрировал свое презрение к сослуживцам, которые не сделали ему ничего дурного. Вдобавок в Одессе Пушкин попал под влияние Александра Раевского, адъютанта Воронцова. Эгоист и циник, лукавый демон, Раевский еще более распял Пушкина из корыстных соображений.

Похоже, именно характер и поведение поэта вывели Воронцова из себя: «Здесь слишком много народа и особенно людей, которые льстят его самолюбию, поощряя его гнусностями, причиняющими ему много зла. Летом будет еще многолюднее, и Пушкин, вместо того, чтобы учиться и работать, еще более собьется с пути»²³³. Речь, как видим, идет о *несовместимости*. Пушкин и сам чувствовал это. Впрочем, с одним человеком в Одессе совместимость Пушкина, наоборот, увеличивалась. Это была супруга графа Елизавета Воронцова.

Пятью годами раньше, в Париже, Элиса Браницкая, богатая наследница, вышла замуж за командующего русским экспедиционным корпусом во Франции генерала Воронцова. Жена Одесского губернатора была старше Пушкина на семь лет, но, по мнению современников, отличалась от сверстниц молодостью души и очаровательной наружностью. Неудивительно, что другие пушкинские увлечения в значительной мере ослабевают, а Воронцова становится центром его временной вселенной. Она этим

центром в Одессе действительно была. При посещениях пышного двора генерал-губернатора дамам полагалось целовать руку его жене — удивительное сочетание англоманства с азиатчиной.

О романе Пушкина с Воронцовой написано много. Много сказано и о том, что Александр Раевский, дальний ее родственник, также в нее влюбленный и столь же успешно добившийся взаимности, настраивал графа против Пушкина, будучи с обоими в прекрасных дружеских отношениях. Версия, известная в пушкинистике, утверждает, что Пушкин, хотя и был увлечен Воронцовой, в альянсе ее с Раевским играл роль прикрытия. Поэт не замечал зигзагов двойной игры, в которой он был пешкой, но позже наступило прозрение²³⁴.

Основания для ревности у Воронцова были серьезные, если учесть, что вскоре Воронцова родила, и, судя по мнению нескольких биографов Пушкина, оба успешных любовника полагали ребенка своим. Считать ревность Воронцова основной причиной их ссоры принято давно. Так полагал и сам Пушкин, а позже Герцен и Огарев. Так считал и Вигель: «Он (Воронцов. — Ю. Д.) не унизился до ревности, но ему казалось обидным, что ссыльный канцелярский чиновник дерзает подымать глаза на ту, которая носит его имя»²³⁵.

Воронцов перестал доверять Пушкину. Служебные отношения между ними висели на волоске, а личные прекратились. Поэт был злопамятен и мстителен, обид не прощал и всеми своими поступками только ухудшал ситуацию. Отдельные авторы утверждали, что Михаил Воронцов расправлялся с поклонниками своей жены путем политических доносов: он донес и на Пушкина, а потом отправил в ссылку, в Полтаву, Раевского. Однако Воронцов был правительственным функционером, на своем посту автоматически выполнял все административные распоряжения, поступающие сверху, и, плюс к тому, был озабочен поддержанием порядка во вверенной ему губернии. За Пушкиным наблюдали больше, чем за другими, и Воронцов это знал.

При тогдашнем всеобщем ожидании политических перемен во всех углах Европы в одесских салонах разговоры тоже были относительно свободными, и Воронцов не был ретроградом. Крамольные высказывания и даже политические сочинения Пушкина его мало волновали. Позже выяснилось.

что английский купец Томсон снабжал декабристов в Одессе либеральными газетами и брошюрами²³⁶. Пушкин знал Томсона, «контрабандная» литература доставалась и ему. Но такую литературу Пушкин мог просто брать в библиотеке Воронцова: никто его в чтении не ограничивал.

Официальная пушкинистика построила такую модель: власти считали Пушкина причастным к делам декабристов и именно за это начали его преследовать в Одессе. Отмечалось, что «речь должна идти об идейных вещах», что в Пушкине видели «активного участника» политического движения, что он был «политически опасен»²³⁷. Еще смешнее прогнозы такого типа: если бы Пушкин остался в Одессе, он пошел бы на эшафот с лидерами декабристов²³⁸.

Полагать, что губернатор боялся политического влияния Пушкина на одесситов, наивно. Чтобы довести сдержанного, воспитанного в английской манере человека до возмущения, вынудить его отправить жалобу правительству, прося избавить от мелкого чиновника, для этого, нам кажется, потребовалось весомое основание. Для внезапного возмущения необходима внезапная причина.

«Одесский вестник», фактическим редактором которого был Воронцов (почему-то его называют еще и цензором «Одесского вестника»), охотно печатал стихи Пушкина в самый разгар их конфликта и после²³⁹. Одесское общество смертельно надоело Пушкину, но он во многих домах оставался желанным гостем. Воронцов был терпим к ухаживаниям за своей женой и смотрел на это, так сказать, европейски. У него самого были адюльтеры.

Но (и здесь мы приближаемся к нашей гипотезе) появилась причина, узнав о которой новороссийский губернатор не на шутку обеспокоился. Ему сообщили, что ссыльный чиновник Пушкин, наблюдать за поведением которого Воронцову было вменено в обязанность персонально его императорским величеством, — что этот чиновник собирается нелегально бежать за границу. Еще несколько дней — и служащий его собственной канцелярии может удрать за пределы империи.

Неприятные последствия подобного происшествия Воронцов при всем его либерализме оценил немедленно. Намерения Пушкина он мог рассматривать не только как непорядочность по отношению к себе, но и как предательство по отношению к отечеству и лично государю императору, который занимался делом опального поэта.

Кто мог сообщить Воронцову о намерениях Пушкина? Ответить несложно. Генерал-губернатор, согласно административному порядку, регулярно получал детальные отчеты о поднадзорных лицах от одесского градоначальника, от полицмейстера, от правителя своей канцелярии и, конечно, от столичной полиции, которая переправляла губернаторам выписки из перлюстрированной корреспонденции с надлежащими комментариями.

О том, что почта его подвергается сыску, Пушкин знал. Перлюстрация достигла в стране таких размеров, что власти выпустили секретное распоряжение, запрещающее на почтах вскрывать письма без высочайшего распоряжения о лицах, к которым «целесообразно применять перлюстрацию»²⁴⁰. Одной из постоянных забот поэта было избежать утечки информации в письмах. «Пиши мне покамест, если по почте, так осторожно, а по okazji что хочешь», — предупредил он Вяземского еще из Кишинева (X.47). А из Одессы напоминал: «Отвечай мне по extra-почте!» (X.53)

Ища канал для пересылки почты с надежными людьми, чтобы прислать Вяземскому «тяжелое», Пушкин каламбурит: «Сходнее нам в Азии писать по okazji» (X.63). Вяземский не понял насчет «тяжелого», то есть рукописей, и решил, что у Пушкина нет денег, чтобы отправить посылку. И из Одессы следует терпеливое разъяснение: «Ты не понял меня, когда я говорил тебе об okazji — почтмейстер мне в долг верит, да мне не верится» (X.70). Для контроля Пушкин просит уезжающих, если не застанут адресата, привести письмо ему обратно. О том, что не все его письма доходят, он также знал. Но и хранить письма было опасно, особенно миновавшие почту. Вот почему переписка Пушкина, Дельвига и Боратынского, по их взаимному согласию, адресатами уничтожалась.

Намеки на подготовку к бегству были и в открытых письмах вполне прозрачны. Но для того, чтобы узнать мысли и планы Пушкина, перлюстрация, которая проводилась формально, была не очень нужна. Достаточно послушать, подглядеть, с кем он встречается, что говорит. Видимо, имея в виду проблему бегства из Одессы, Анненков писал: «Тысячи глаз следили за его словами и поступками из одного побуждения — наблюдать явление, не подходящее к общему строю жизни»²⁴¹.

Пушкин не был скрытен. Почты остерегался, но по okazji писал брату Льву, что Синявин, адъютант графа Во-

ронцова, «доставит тебе обо мне все сведения, которых только пожелаешь» (X.69). А в это время другой адъютант Воронцова Отто-Вильгельм Франк доносил Воронцову обо всем, что творилось вокруг, в том числе собирал для него ходившие по рукам тексты Пушкина. Третий адъютант, Раевский, любовный конкурент Пушкина, двуличность которого позже раскусил и сам поэт, разжигал антипатии своего патрона. Пушкина уже не будет в Одессе, когда наступит позднее прозрение: не Раевский ли был злым гением?

Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом... (II.182)

Вокруг Пушкина были и добровольные, и профессиональные осведомители. Добавим к имени Липранди графа Ивана Витта, начальника военных поселений Новороссии, организатора тайного сыска на южных территориях. И, конечно, женщину, в которую Пушкин влюбился по приезду в Одессу, но страсть к которой позже, как он сам отмечал, «в значительной мере ослабла» (X.56). Речь идет о Каролине Собаньской.

Собаньская притягивала Пушкина. Тот часто гулял с ней вдоль моря, и она его умело выспрашивала. Знал ли Пушкин, что она любовница хитрого генерала Витта? На этот вопрос можно ответить утвердительно. Она и Витт не скрывали своих отношений. Но Пушкин не догадывался, что Собаньская — агент политического сыска. Информация от нее попадала в секретные отчеты генерала и шла наверх. Если она была в курсе планов Пушкина (а он любил верить свои мысли вместе со своими чувствами), то в курсе была и полиция. В будущем эта женщина станет играть еще более важную роль в жизни поэта, но об этом в свое время.

Таким образом, администратор Воронцов имел немало возможностей узнать о планах Пушкина. Похоже, именно бегство он имел в виду, говоря, что этот молодой человек «еще более собьется с пути». Воронцов начал искать оптимальный выход. Все прочие соображения вдруг собрались вместе и подкрепили необходимость срочного действия. Он решает как можно быстрее избавиться от Пушкина, пока тот еще только собирается совершить свой отчаянный поступок.

Анненков первым обратил внимание на то, что Воронцов, обладая огромной властью, мог уничтожить Пушкина, а он проявил «умеренность, сдержанность и достоинство, стоящие вне всякого сомнения»²⁴². Деликатный подход Воронцова объясняется, однако, не только его порядочностью и стремлением выполнить обязательства, которые он на себя принял, пообещав в Петербурге опекать Пушкина, но и самими обстоятельствами. Объясни Воронцов в своих ходатайствах, что он боится, как бы поднадзорный Пушкин не сбежал, это могло бы вызвать нежелательную высочайшую реакцию: недовольство тем, что губернатор края не может обеспечить порядок в столь простом вопросе.

Высказывались предположения, что Михаил Воронцов уничтожил в своем архиве то, что касалось Пушкина, и даже, что часть этих документов находится в архивах «других стран»²⁴³. Последнее представляется маловероятным. Решив избавиться от смутьяна, но не имея возможности сделать это самостоятельно, Воронцов крайне вежливо запросил Петербург, стараясь при этом не выносить сор из избы. Он хвалил Пушкина и лишь в разговорах с очень близкими людьми называл его мерзавцем²⁴⁴.

В середине марта Пушкин поехал в Кишинев встретиться со своим верным приятелем Алексеевым. Накануне или в день его возвращения в Одессу Воронцов отправляет письмо графу Нессельроде. В письме, называя Пушкина превосходным молодым человеком и считая, что он в Одессе стал лучше, Воронцов просит, однако, переместить Пушкина в какую-нибудь другую губернию, в менее опасную среду, где больше досуга для занятий.

Пушкин отправляется в Кишинев, пытаясь (как и полагал Воронцов) договориться с Инзовым, чтобы тот взял поэта обратно. Нежелательность этого шага Воронцов предусматривает: «он нашел бы еще между молодыми греками и болгарами много дурных примеров»²⁴⁵. Поэтому Пушкина надо отправить во внутренние губернии, предупредить его побег.

Воронцов торопится; через десять дней (то есть когда первое письмо едва достигло Петербурга) он пишет второе отношение с просьбой убрать Пушкина. Сам Воронцов с женой находится в это время в отъезде, в Белой

Церкви, и на расстоянии этот вопрос тревожит его. Едва вернувшись через десять дней в Одессу, Воронцов спрашивает разрешения в начале июня прибыть в Петербург, «имея необходимую нужду по некоторым делам службы и своим собственным»²⁴⁶. Вопрос о Пушкине не главный, но он наверняка затронул бы его и постарался решить на высшем уровне.

Через неделю Воронцов отправляет третье письмо с тою же просьбой, а в начале мая, сообщая Нессельроде «об установлении через полицию и секретных агентов наблюдения за всем, что делается среди греков и молодых людей других национальностей», опять просит избавить его от Пушкина. Он торопит события и буквально через два дня отправляет четвертое письмо.

Когда Пушкин узнает о том, что делается за его спиной? Письма Воронцова готовили чиновники секретного стола. Всех их Пушкин коротко знал, любой из них мог намекнуть Пушкину о замыслах Воронцова. В мае о грозящих неприятностях прослышал в Москве Вяземский. «(Секретное.) Сделай милость, будь осторожен на язык и на перо, — уведомляет он Пушкина с оказией. — Не играй своим будущим. Теперешняя ссылка твоя лучше всякого места. Что тебе в Петербурге?» Далее Вяземский говорит, что если бы мог отделаться от своих дел на несколько лет, то бросил бы все и уехал за границу, а если не отделается, то охотно поселился бы в Одессе²⁴⁷.

Вскоре Пушкин ощутил неудовольствие начальства на себе. Графиня Воронцова пригласила Пушкина на морскую прогулку на яхте «Утеха». Пушкин явился в порт, но чиновник, стоящий у трапа, заявил, что, согласно приказу графа, Пушкина не велено пускать. Яхта ушла, Пушкин остался на берегу. Кого винить в том, что начались неприятности? Скрытность и молчание оказали бы Пушкину в жизни лучшую услугу, но это был бы другой человек. Поэту, с его общительным характером, хотелось бежать из России тайно, но так, чтобы все его знакомые собрались на берегу для прощальных поцелуев. Впрочем, Пушкину было не до шуток. Он решает ускорить события, тем более, что судьба идет ему навстречу.

С Амалией Ризнич, в девичестве Рипп, полунитальянкой-полунемкой, Пушкин познакомился еще год назад: они приблизительно в одно время появились в Одессе. Ама-

лии едва исполнилось двадцать. Хорошенькая иностранка с греческим носом, по-русски не говорящая вообще, замужняя, но часто остающаяся одна (муж — коммерсант, бывает в длительных отъездах), Амалия привела Пушкина, по его собственному выражению, в безумное волнение и стала принадлежать ему, а скорее всего, не одному ему, что Пушкина раздражало. Стихи, посвященные ей, полны роковых страстей, но Амалия не могла их читать. Пушкин весьма продвинулся в итальянском языке, мог сказать несколько фраз или понять, что ему говорят, понимал оперу, но для перевода стихов этого было недостаточно.

Муж Амалии, Джованни Ризнич, которого называли Иваном, экспортировал на запад пшеницу и был одно время директором оперного театра в Одессе. Весной 1824 года Джованни решает отправить жену обратно в Европу. То ли это была ревность к Пушкину, с которым он был знаком, то ли необходимость поправить здоровье жены, которая незадолго до этого родила дочь, сказать трудно. Не исключено, что никакой ревности у Ризнича не было, а напротив, когда тот собрался уезжать из Одессы за границу сухим путем через Бессарабию, они договорились, что позже в Одессу придет его корабль, капитан которого получит инструкции взять на борт Пушкина вместе с Амалией. Такая версия нам в пушкинской литературе попадалась²⁴⁸.

В мае мысль бежать от российских туч под вечно голубое небо святой Италии Пушкин обсуждает с Амалией. Со свойственным ему даром опережения событий, он уже мечтает об Италии, едва познакомившись с Амалией осенью предыдущего года. По крайней мере, это нашло отражение в его поэзии:

Ночей Италии златой
 Я негой наслажусь на воле,
 С венецианкою младой,
 То говорливой, то немой,
 Плывя в таинственной гондоле;
 С ней обретут уста мои
 Язык Петрарки и любви. (V.25)

В мае (даты предлагаются биографами разные, вплоть до начала июня) за Амалией приходит зафрахтованный Риз-

ничем корабль и швартуется у Платоновского мола, неподалеку от пунты. Из Италии Амалия собирается на лето в Швейцарию, а оттуда к зиме вернется в Триест, к мужу. Она уверяет Пушкина, что бежать можно и без паспорта, но при существующем произволе можно и паспорт получить за взятку.

Так поступали другие, но не Пушкин. Получить паспорт для отъезда легко любому, но не ему, находящемуся под личной опекой Воронцова. Вот и теперь Воронцову уже, по-видимому, донесли о переговорах Пушкина с четой Ризнич. Тем не менее, в день отъезда Пушкин с утра у Амалии и готов с ней ехать в порт. Историк Одессы А. де Рибас записал подробности, опросив одесских старожилов, свидетелей проводов Амалии²⁴⁹.

Корабль готов к отплытию. Паруса еще связаны. Промоленные канаты дрожат на ветру. Ветер становится все свежее. В это время на молу собирается свита поклонников Амалии. Приезжает кормилица с ее дочкой и скрывается в каюте. Знакомые и друзья Амалии съезжаются, коляска за коляской, загородив причал. Наконец, появляются Амалия и сопровождающий ее Пушкин. Он бледен. Такого общества на причале он никак не ожидал встретить. Амалия ласкова со всеми.

Ветер усиливается, капитан торопит с отплытием. Пушкин видит, что побег невозможен. Разве проскользнешь незаметно на корабль в этой толпе?

Для берегов отчизны дальней
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, час печальный
Я долго плакал пред тобой. (III.193)

Стихотворение он напишет через шесть лет, когда Амалии не будет в живых. Любопытно проследить по черновикам стихотворения за мыслью поэта. В первом варианте он написал:

Для берегов чужбины дальней
Ты покидала край родной.

На основании этого варианта, отброшенного Пушкиным, Б. Томашевский построил предположение, что «стихотворение обращено к русской, уезжавшей за границу, а

не к иностранке, возвращавшейся на родину» (III.457). Нам кажется, однако, сам факт переделки Пушкиным этих строк, наоборот, свидетельствует в пользу того, что стихи посвящены иностранке, и значит, Амалии Ризнич. Впервые свою собственную родину, перевоплотясь в Амалию, Пушкин, подумав, назвал «чужим краем», а заграницу — «краем иным». Оба понятия поменялись местами.

Затем поэт вспоминает в стихотворении о ее и своих планах. И когда стало ясно, что Пушкин остается, они договариваются, что их разлука не будет долгой. Они встретятся там, в Италии:

Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: «В день свиданья
Под небом вечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим». (III.193)

Текст написан быстро. Дважды близко повторяется одна рифма «лобзанья». «Соединить лобзанья», заметим мы, — не самое удачное выражение (можно соединить губы, но не поцелуи). Амалия не целует Пушкина при скоплении провожающих, а бросает на него последний печальный взгляд. Она поднимается по трапу, капитан поддерживает ее. Шуршат паруса, убраны мостки, поднят якорь. Компания машет руками. Пушкина и Амалию разделяет узкая полоска воды. Эта полоса медленно расширяется. Пушкин остается.

Изложенное здесь — романтическая версия. Но основанная на многих, хотя и противоречивых, показаниях свидетелей и их потомков. Версия эта помогает понять происходившее, домыслить состояние поэта в момент решительного поворота в его биографии, поворота, который не состоялся. В памяти Пушкина Амалия Ризнич остается на многие годы ангелом, который зовет его сначала в Италию, а затем в иной мир.

Глава пятнадцатая
«Я НОШУ С СОБОЮ СМЕРТЬ»

...мне наскучило, что в моем отечестве ко мне относятся с меньшим уважением, чем к любому юнцу-англичанину...

Пушкин — А. Казначееву, начало июня 1824
(по-фр., X.598)

Граф Воронцов торопил события, но они развивались медленнее, чем ему хотелось бы. Прося ускорить решение об удалении Пушкина из Одессы, он снимал с себя вину за то, что могло произойти: он сигнализировал своевременно и хотел сделать это без лишнего шума и даже без сообщения истинной причины. Тем более, что причина была всего лишь подозрением в намерении. Как человек европейский, он понимал, что наказывать за несовершенное нельзя. В России же — можно, но тоже без самоуправства, а по указанию сверху. Произвол, идущий сверху, обретает видимость законности.

Но оказалось, что и наверху понадобились доказательства виновности Пушкина, а не просто одно желание губернатора. Если царю донесли о ревности Воронцова, Его Величество, возможно, и улыбнулся. 16 мая 1824 года министр иностранных дел ответил специальной депешей, что он доложил императору о просьбе, но решение пока отложено. Возможно, Нессельроде, готовый оказать такую услугу губернатору, тем не менее не нашел аргументов, когда был о них спрошен; доказательства предстояло подыскать.

Уликой, которую нашли, было перлюстрированное письмо Пушкина, написанное, по видимости, Кюхельбекеру. Рассказывая приятелю, чем он занимается, Пушкин сообщал, что пишет «Евгения Онегина» и, между прочим, берет уроки «чистого афеизма»: «Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил» (X.70). Письмо это известно в отрывке — выписке из него, сделанной при перлюстрации. Дошло ли письмо до адресата — тайна. Безбожие было серьезным криминалом.

Англичанин Уильям Хатчинсон, которого Пушкин в только что приведенном письме называет «единственным умным», а в другом «юнцом», явившемся «щеголять сре-

ди нас своей туповатостью и своей тарабарщиной» (X.598), почему-то не привлек достаточного внимания исследователей. Этот человек был личным врачом семьи Воронцовых и приехал вместе с ними из-за границы. Можно полагать, что Хатчинсон был не менее откровенен с Воронцовым, иначе бы его не допустили в семью и не привезли в Россию. Но в таком случае уроки чистого атеизма брал у него и Воронцов. Имел ли тогда место атеизм Пушкина на самом деле?

Сам Пушкин после скажет: «Покойный император в 1824 году сослал меня в деревню за две строчки нерелигиозные — других художеств за собой не знаю» (X.153). Но были у него и другие художества, это — не самое страшное. Б.Томашевский осторожно писал, что издевка Пушкина над догмами христианства являлась приметой вольтерьянства, вышедшего из моды²⁵⁰. Обвинение Пушкина в атеизме, будь оно серьезным, могло повредить карьере младшего брата, Льва, который в это время служил в Департаменте иностранных вероисповеданий. Задачей департамента было укрепление православия и противодействие проникновению в Россию других религий. Но меры, принятые властями по отношению к Пушкину, брата не задели.

Взгляды Пушкина на религию до Октябрьской революции и после нее толковались по-разному. «Безверие» — называлось стихотворение, прочитанное Пушкиным еще на выпускном экзамене в Лицее. И это название давало карты в руки марксистской пушкинистике. Т.Цявловская называет «Безверие» «наиболее ранним из всех атеистических произведений Пушкина»²⁵¹. Выходит, юный поэт читал богохульствующие стихи на экзамене в Лицее и никто этого не понял.

За полвека до Цявловской Л. Майков писал о том же стихотворении «Безверие» прямо противоположное: «...Пушкин старается изобразить нравственное состояние человека, утратившего веру в Творца Мира. Поэт старается убедить, что такой человек достоин сожаления, а не упреков и презрения. Вся жизнь для него является мраком и исступлением, он нигде не может найти покоя на земле... Стихотворение это имеет ту глубокую идею, что утрата веры у человека влечет за собой нарушение гармонии его духовных сил; все в глазах такого человека теряет смысл и целесообразность, и он сам становится тогда «нищим духом» и обрекается на страшные нравственные мучения»²⁵².

Серьезно ли писал Пушкин об уроках чистого атеизма в письме, которое читали сыщики и которого рука литературоведа не держала? Скорей всего, у любознательного Пушкина в Кишиневе и Одессе был не атеизм, а остатки мальчишеского нигилизма. Ведь на ту же тему писал он в «Евгении Онегине» и противоположное: «Сто раз блажен, кто предан вере». Больше того, в рукописи странствий Онегина, относящейся к 1827—1829 годам, поэт сделал следующую запись: «Не допускать существования Бога — значит быть еще более глупым, чем те народы, которые думают, что мир покоится на носороге»²⁵³.

В письме Кюхельбекеру Пушкин упоминает, что Хатчинсон написал листов тысячу, чтобы доказать, что «не может быть существа разумного, творца и правителя, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души» (Половина цитаты по-фр. X.70). Слова неудачные, неточные, не пушкинские, ибо существом таким можно считать и Бога, и обыкновенного человека, про которого нельзя сказать, что его не может быть. Атеистом в отрывке, дошедшем до нас, выглядит Хатчинсон, а не Пушкин. К тому же на практике Пушкин вряд ли мог прочитать работу такого объема по-английски, да еще рукописную. Он брал у Хатчинсона не уроки чистого атеизма, а уроки чистого английского: его собственный английский был слаб. Знающим этот язык, по воспоминаниям, доставляло немало забавы, когда Пушкин коверкал слова.

Вскоре стало известно об отъезде англичанина из Одессы. Согласно мифу, его выслали за афеизм, как и Пушкина. Фактически доктор решил уехать сам. Он писал, что болен, что ему вреден этот сухой и холодный климат. Но представим себе их диалоги: возможно, не только Хатчинсон влиял на Пушкина, но и Пушкин на врача. Смог ли поэт раскрыть собеседнику глаза на страну, в которой тот оказался? Хатчинсон выразил твердую решимость уехать как можно скорее. В Англии он стал пастором англиканской церкви, и это, может быть, пуще прочего проясняет, какие в действительности взгляды он проповедовал Пушкину, и как, учитывая языковой барьер, Пушкин понимал, что Хатчинсон писал и говорил²⁵⁴.

Тем не менее, основание для принятия мер было обнаружено и подшито к делу, в котором оно сохранилось до наших дней. Воронцов же, пока решение его просьбы наверху затягивалось, искал возможность занять Пушкина

чем-то путёвым или удалить его подальше от моря временно. Тут-то и происходит известная всем со школьной скамьи история командировки Пушкина на борьбу с сельскохозяйственным вредителем, после которой он якобы написал замечательные строки о том, что саранча сидела, сидела, все съела и опять улетела. Байка об этих стихах не заслуживает внимания из-за отсутствия каких бы то ни было доказательств, что Пушкин это написал, но сама проблема выглядела серьезной для всех, кроме поэта.

Несметные тучи саранчи появились на юге России еще в апреле, что угрожало полным уничтожением посевов и голодом миллионам крестьян. Естественно, что губернские власти, встревоженные опасностью, начали принимать меры. Командировки чиновников для выяснения ситуации и принятия неотложных мер шли уже в течение полутора месяцев. Людей не хватало. Никакого издевательства со стороны Воронцова, распорядившегося послать еще трех чиновников в командировки, не было. Примерно 22 мая титулярный советник Сафонов был направлен в Екатеринославскую губернию, столоначальник 1-го стола 4-го отделения титулярный советник Северин в Таганрог, а коллежский секретарь Пушкин — в Елисаветградский, Херсонский и Александровский уезды сроком на месяц. Больше того, Анненков считал, что Воронцов хотел предоставить Пушкину возможность отличиться перед петербургской администрацией²⁵⁵.

Пушкин этим первым служебным поручением возмущен. Его, который «совершенно чужд ходу деловых бумаг», обязывают что-то сделать! В письме правителю канцелярии Казначееву, черновик которого сохранился, Пушкин гордо сообщает, что за семь лет службы службой не занимался, не написал ни одной бумаги и не был в сношении ни с одним начальником, а 700 рублей жалованья воспринимает в качестве «пайка ссылочного невольника» и от этих денег готов отказаться (X.71).

Принципиальное безделье на службе было составной частью пушкинского самоуважения и его личного кодекса чести. Еще служа в Кишиневе, он заявил по-французски своему сослуживцу Павлу Долгорукову: «Я предпочел бы остаться запертым на всю жизнь, чем работать два часа над делом, в котором нужно отчитываться»²⁵⁶. Теперь, не дожидаясь, пока его выкинут, Пушкин пытается подать в отставку, что вполне логично.

Мысль об отставке, как нам кажется, обдумывалась им давно, а проявилась внезапно, в связи с возникшим поводом — предложением ехать в командировку. Пушкин надеялся, что в случае отставки степень его независимости увеличится, его оставят в покое. В худшем случае он будет обитать в Одессе, избавившись от начальника, а в лучшем — сможет даже вернуться в столицу. В размышлениях своих он шел еще дальше. Ведь именно уйдя в отставку, многие его знакомые уезжали в «чужие края».

Вышедший в отставку Кюхельбекер, как и Чаадаев, уехал за границу. В апреле поспешно отправился на лечение в чужие края Николай Тургенев, а следом за ним его брат Александр, отбывший в Европу годом позже. Попытку выйти в отставку Пушкин тоже стал рассматривать в качестве некоего хода конем: освободиться от службы и попытаться, сославшись на болезнь, выехать легально для лечения за границу.

Заглядывая вперед, Пушкин в упомянутом письме Казначееву об отставке ссылается на неизлечимую болезнь: «Вы, может быть, не знаете, что у меня аневризм. Вот уже 8 лет, как я ношу с собою смерть. Могу представить свидетельство какого угодно доктора. Ужели нельзя оставить меня в покое на остаток жизни, которая верно не продлится» (X.71). Неужели он действительно страдает аневризмом восемь лет — с лицейской скамьи? Для отставки ссылка на заболевание не имела значения, но Пушкин готовил второй шаг, потому и привел такой серьезный аргумент, как неизлечимое заболевание.

Непосредственный начальник Пушкина Александр Казначеев был честным и порядочным человеком. Когда ему приносили взятки, он брал их и объявлял, что это пожертвование для бедных. Таким образом он скопил целый фонд, который канцелярия использовала для раздачи нуждающимся²⁵⁷. Казначеев оказывал Пушкину покровительство и хотел неоднократно примирить поэта с Воронцовым. Но отменить приказ о командировке ему не удалось.

После объяснений Пушкин в состоянии обиды получает из казны деньги на месячные командировочные расходы (400 рублей; расписка в получении денег сохранилась) и выезжает, но вскоре выясняется, что до места назначения он не доехал. В канцелярском документе написано, что все три чиновника были посланы «для произведения

опытов к истреблению саранчи»²⁵⁸. Трудно сказать, о каких опытах могла идти речь.

В бумагах поэта тоже сохранилась запись: «*Mai 26. Voyage, Vin de Hongrie*» (Май, 26. Вояж, венгерское вино). Доехав до Сасовки, Пушкин остановился погостить в семье местного помещика. В этот день уполномоченному по борьбе с саранчой, как назвали бы такого чиновника теперь, исполнилось 25 лет. Урожай гибнет, что грозит голодом части России, а он в загуле, который продолжался и на следующий день, после чего пьяного Пушкина усадили в коляску, и он отправился обратно в Одессу²⁵⁹.

Отоспавшись и протрезвев, Пушкин явился в канцелярию с твердым намерением добиться отставки по состоянию здоровья. Вид поэта подтверждает, что состояние его не из лучших, командировочные деньги пропиты. Состояние у Пушкина задиристое. Между ним и Воронцовым происходит неприятный разговор. Приняв прошение об отставке, Воронцов тотчас отправляет его в Петербург. В ответ на предупреждение, что отставка может иметь дурные последствия, поэт в письме Казначееву заявляет: «Я устал быть в зависимости от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника...» (Х.598) Но в России критика пищеварения начальства — это бунт, своеволие, инакомыслие, критикующий должен быть готов сполна вкусить горечь расправы.

Диссонансом оказывается письмо Жуковского. Пушкин отправил ему из Одессы несколько писем, Жуковский получил лишь одно (тоже до нас не дошедшее). Но ответ мэтра, приближенного ко двору, звучит крайне оптимистически: «Ты создан попасть в боги — вперед. Крылья у души есть!.. дай свободу этим крыльям, и небо твое. Вот моя вера. Когда подумаю, какое можешь сострять для себя будущее, то сердце разогреется надеждою за тебя... Быть сверчку орлом и долететь ему до солнца»²⁶⁰.

Куда же предлагает лететь Жуковский, если он прекрасно знает, что долететь до Петербурга царь не разрешит? Понятно, что Жуковский думал о поэтическом Олимпе. А Пушкин в это же самое время мечтал о месте, где можно жить независимо, и поощрение Жуковского дать свободу крыльям мог понять несколько в ином смысле.

Первая реакция на ссору с Воронцовым была, как всегда у Пушкина, яростной. Поэт мстителен, он гневно осуждал сплетни и пасквили, сочиненные другими, но сам охотно их сочинял, делал это быстро и широко распространял среди знакомых своей жертвы. Вот и теперь на Воронцова посыпались эпиграммы, которые только доказывали, что зря он был великодушен и терпелив:

Полугерой, полуневежда,
К тому ж еще полуподлец!..
Но тут, однако ж, есть надежда,
Что полный будет наконец. (II.371)

Если называть вещи своими именами, то «полуневежда» и «полуподлец» были бесстыдной ложью, а эпиграмма в целом клеветой — едкой, несправедливой, злобной и от злобы неостроумной. Были и другие тексты Пушкина такого же уровня. В письме Александру Тургеневу брань в прозе: «Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эгоист» (X.77). Одна из эпиграмм остается не расшифрованной до сих пор.

Бартенев считал, что Пушкин в дальнейшем раскаивался, что поступками его руководил злой гений Александр Раевский, который хотел любым путем избавиться от соперника, предложил Воронцову отправить Пушкина в командировку, а затем уговорил самого Пушкина туда поехать. Раевский же участвовал в сочинении письма об отставке. Но это предположения, да и они поступки поэта не оправдывают.

Пушкин явно переоценивал терпение местных властей и недооценивал жестокость власти центральной. Будь он чуть сдержанней, дружба с Воронцовым, который не так уж много требовал от подчиненного, постепенно открыла бы для Пушкина все двери, в том числе, может, и окончание ссылки, и дверь в Европу. Но Пушкин петушился, лез на рожон, наглел и, не будучи одернут, решил, что ему все дозволено. История с командировкой по борьбе с саранчой — прямое тому подтверждение. В результате защитить его не хотел никто, многие от него просто отворачивались. «Теперь я ничего не пишу, — уведомляет он брата, — хлопоты другого рода. Неприятности всякого рода; скучно и пыльно» (X.74).

Последствия оказались хуже, чем он предполагал. 13 июня 1824 года Вера Вяземская, приехавшая в Одессу на дачу, пишет мужу, что Пушкин — сумасшедшая голова, и у него новые проказы. Еще с декабря он готовился провести лето в Крыму и быть возле Елизаветы Воронцовой, но она стала холодна к нему после эпиграммы на мужа. 14 июня в Гурзуф отбыла яхта; на ней вместе с Воронцовой тридцать гостей, а Пушкина не взяли.

Вокруг него образуется вакуум. «Тиверий (так у Пушкина в письме к Вяземскому. — Ю. Д.) рад будет придраться; а европейская молва о европейском образе мыслей графа Сеяна обратит всю ответственность на меня. Покамест не говори об этом никому. А у меня голова идет кругом» (Х. 74). Римский император Тиберий и его приближенный — весьма прозрачный намек на императора Александра I и Воронцова. Вяземский в письме к жене передает Пушкину: «Скажи ему, чтобы он не дурачился, то есть не умничал, ибо в уме, или от ума у нас и бывают все глупости»²⁶¹.

В конце июня Воронцов получает успокоительное письмо от графа Нессельроде. Тот уведомляет, что государь решил дело Пушкина, который при Воронцове не останется. Пушкин еще не догадывается о решении, которое скоро последует. Тем временем дается секретное указание проверить состояние имения Пушкиных в Псковской губернии и их доходы.

Потакать капризам ссыльного власти не намеревались. В частном конфликте чиновника и губернатора Александр Павлович, подойдя к делу по-государственному, усмотрел нежелание служить правительству там, куда чиновник был направлен. Отсюда высочайшее повеление: «вовсе» удалить коллежского секретаря Пушкина со службы в Министерстве иностранных дел «за дурное поведение» и выслать его подальше от моря, на континент, в имение родителей, под их надзор.

С Пушкиным обошлись подчеркнуто педагогически, как с незрелым подростком. Никакие болезни (ведь он переведен был в Одессу «лечиться» у моря) при вынесении решения вообще не были замечены. Из Петербурга губернатору в Ригу отправлена депеша о том, что Пушкин прибудет в Псковское имение и за ним местным властям следует установить надзор. В Петербурге друзья Пушкина уже знают об этом. В течение нескольких дней

разлетается слух, что Пушкин застрелился. Слух обрабатывает подробностями.

Объект же этих слухов ни о чем не догадывается. Он еще надеется на отставку, на то, что его оставят в покое, а может быть, и выпустят. Причина счастливого неведения в отсутствии Воронцова в Одессе. Из Крыма в конце июля Воронцовы разъехались: она вернулась в Одессу, а он по делам отбыл в Симферополь. Указание сверху ждало в канцелярии его визы. Предписание Воронцова распорядиться насчет Пушкина не заставило себя ждать.

Поэта вызвал градоначальник Одессы Гурьев. Он сообщил ему о высочайшем повелении и взял у Пушкина расписку под следующим распоряжением: «Нижеподписавшийся сим обязывается по данному от г-на одесского градоначальника маршруту без замедления отправиться из Одессы к месту назначения в губернский город Псков, не останавливаясь нигде на пути по своему произволу; а по прибытии в Псков явиться к г-ну гражданскому губернатору. Одесса. 29 июля 1824».

Тут же Пушкин подписал и второй документ: «По маршруту от Одессы до Пскова исчислено верст 1621. На сей путь прогонных на три лошади триста восемьдесят девять руб. четыре коп. получил коллежский секретарь Александр Пушкин»²⁶². Откажись Пушкин подписать бумаги, это ничего не изменило бы, но сразу ограничило бы его свободу действий. Пушкин вышел из канцелярии с ощущением полученной пощечины, за которую он не дал сдачи. Вызвать на дуэль некого. Решение, что нужно бежать, пришло само собой, заслонив все прочие заботы. Бежать немедленно, иначе будет поздно.

Биографы поэта отмечали, что Пушкин занят планом побега еще с 25 июля, то есть за четыре дня до того, как ему объявили о выезде. Воронцова привезла ему, узнав от мужа, печальную новость. Но куда его отправляли, графиня не знала, и это заставило Пушкина терзаться догадками. Он мог предполагать, по меньшей мере, три варианта: назад в Кишинев, возвращение в Петербург, а может, и разрешение уехать в чужие края. Того, что случилось, он не ожидал. Вот почему конкретная подготовка к побегу началась 29 июля, когда все три мягких варианта отпали и осталась ссылка в Псков.

Глава шестнадцатая ЧАС ПРОЩАНИЯ

*Храни меня, мой талисман...
В уединенье чуждых стран.*

Пушкин (II.230)

Вера Вяземская после рассказывала Бартеневу: «Он прибежал впопыхах с дачи Воронцовых, весь растерянный, без шляпы и перчаток, так что за ними посылали человека»²⁶³. Важно в этом рассказе, что, подписав неожиданную бумагу о выезде, Пушкин бросился к Елизавете Воронцовой, а потом к княгине Вере. При его общительности и большом количестве друзей и знакомых всех рангов в трудную минуту оказалось, что лишь эти две женщины готовы ему помочь.

Пушкин расписался в том, что должен выехать немедленно, а это значило, на следующий день, о чем градоначальник Одессы Гурьев уведомил Воронцова и псковского губернатора. Настал час решиться. В случае, если план удастся, на отступление от приказа плевать, а если нет... то не станут же власти ссылать его еще дальше за такую отсрочку. Сейчас дорог каждый час.

В маленьком французском календарике, видимо, подаренном Пушкину, возле дат 29 и 30 июля им самим поставлены длинные черточки. 30-го имеется также запись: «*Turco in Italia*», а 31-го — «*depart*». Предполагается, что календарик этот дала ему Воронцова, у которой было множество зарубежных новинок, — для чего Пушкину покупать самому себе женский календарь? А если это так, считали пунктуальные пушкинисты М. и Т. Цявловские, то и пометки в календаре связаны с той, которая его подарила: длинные черточки — интимные свидания с ней, «Турок в Италии» — опера, на которой он был с ней, а отъезд 31-го — тоже ее отъезд, а не его. Пушкин уехал из Одессы только 1 августа 1824 года²⁶⁴.

Рискнув предположить, что Пушкин задержался на день не из-за любви, а из-за организации побега, вернем слову «*depart*» основное значение: поэт написал это не о Воронцовой, а о себе. И не об отъезде в Михайловское, а о своем побеге в ночь с 31 июля на 1 августа.

Воронцова сердита на Пушкина за мужа. Но теперь она могла считать графа виновным в наказании, не адекватном вине поэта. Пушкин был дамским угодником высшего класса, теоретиком и практиком в одном лице, галантным льстецом с отменными манерами, отличным французским и хорошей эрудицией. К тому же талантливый поэт с развитым чувством собственного достоинства в сочетании с лихой русской беззаботностью. Дон-Жуан, некрасивость которого можно списать на загадочное иностранное происхождение, не мог, особенно в стрессовой ситуации, когда он был в ударе, не поразить сердце одесской леди №1.

Но Пушкин сам оказался в сетях, им расставленных. Он горел страстью. Он называл ее «принцесса Бельветрилль» за то, что она любила, глядя на море, повторять строку Жуковского: «Не белеют ли ветрила, не плывут ли корабли»²⁶⁵. Ей Пушкин посвятил (и перепосвятил посвященные сперва другим женщинам) не менее двенадцати стихотворений. Часть из них остались недописанными. К большинству этих стихов биографы не могут сделать никаких комментариев, кроме сообщений, что при жизни Пушкина они не печатались. На рукописях имеется больше тридцати портретов возлюбленной, сделанных в разное время. О романе этом мы знаем очень много от многих свидетелей и очень мало от самих участников.

Дом, в котором жили Воронцовы в то время, до переезда во дворец над морем, сохранился, и мы внимательно рассматривали его много раз. Широкая лестница ведет на второй этаж, где две двери: левая половина дома принадлежала графу, правая — его жене. Здесь Пушкин бывал часто, приходя почти по-домашнему. Но в упомянутые дни Воронцова жила на роскошной и просторной даче, которую предоставил ей барон Жан Рено, француз, владелец отеля на углу Дерибасовской и Ришельевской, где Пушкин одно время обитал.

С Рено, его молодой полной женой и сыном Осипом, числившимся чиновником Воронцова и некоторое время директором Оперного театра, Пушкин был в приятелях и даже доверял им брать «extra-почту», когда они уезжали. Дача Рено была в двух верстах от города. Сюда Пушкин и раньше любил ходить пешком. Тут, с высокого и безлюдного берега, открывался дивный вид на море, ограниченный полукружьем бухты. В лунные ночи картина становилась волшебной.

Здесь, согласно легенде, гуляли Пушкин и Воронцова. Пушкина особенно занимала не видимая сверху темная пещера у самого приборя — место, мало кому известное, а ночью не посещаемое вообще и потому для встреч удобное²⁶⁶. В Одессе часто путают это место с хутором Рено — районом на Пересыпи, где фирма Рено построила завод по сборке сельскохозяйственных плугов. Но при Пушкине этого не было. Пещеры той давно не существует: ее скрыли бульдозерами, когда готовили площадки под песчаные пляжи для культурного отдыха трудящихся.

Приют любви, он вечно полн
Прохлады сумрачной и влажной,
Там никогда стесненных волн
Не умолкает гул протяжный. (II.170)

Именно та пещера была выбрана в качестве наиболее удобного места, откуда Пушкину предстояло перебраться на корабль, отплывающий за границу.

Еще в марте Пушкин зазывал к себе на летний сезон Вяземского, предлагая снять для него дачу, которую нанимают Нарышкины (последние собирались за границу). Вера загорелась этой поездкой. Князь Вяземский, который был в опале и под тайным надзором после того, как ему запретили вернуться на службу в Варшаву, обиделся и подал прошение о снятии титула. Он назвал Одессу «острогом» и, отправив туда жену с детьми, сам ехать из Москвы не спешил.

Княгиня Вера жила с начала июня с двумя детьми на даче в Ланжероне, откуда в оперный театр плавали на ялике морем и от схода поднимались вверх, в город. Она была старше поэта на девять лет и объясняла мужу, что у нее к Пушкину чисто материнское чувство. Отношения «полудружбы, полувлюбленности», как называла этот роман Цявловская²⁶⁷. Пушкин любил играть с ее детьми: шестилетним Коленькой и двухлетней Надей.

Вяземская быстро подружилась с Пушкиным и Воронцовой. Мы знаем из писем, что они гуляли втроем у моря, ожидали девятого вала, наблюдали в бурю тонущий корабль. Проводить время на виду у публики втроем было удобно для обеих женщин и не скучно ему. Но, уверяя мужа то в материнских, то в сестринских чувствах к поэту и осуждая Пушкина («Никогда мне не при-

ходило встречать столько легкомыслия и склонности к злословию, как в нем...»), Вяземская сходится с Пушкиным все ближе²⁶⁸.

А он влюблен в Воронцову и называет Вяземскую доброй и милой бабой, прибавляя при этом, что мужу был бы рад больше (X.74). Будучи влюблена, княгиня Вера завидует Воронцовой, томится в одиночестве и обижена на мужа, что тот не хочет к ней приехать. 14 июня Воронцова уехала в Крым и вернулась 24 июля. Это были неприятные для Пушкина сорок дней. Зато Вяземская избавилась от конкурентки и получила Пушкина в свое полное распоряжение. Рассерженный на Воронцову и одинокий, он нашел в княгине Vere добрую подругу. Его вообще привлекали женщины старше него.

Вера не хочет потерять его: «Хороша я буду, если Пушкин покинет Одессу: у меня здесь, кроме него, нет никого ни для общества, ни для того, чтобы утешить меня, ни для разговоров, прогулок, спектаклей и пр.»²⁶⁹. Что бы она ни писала в письмах и ни рассказывала впоследствии Барте-неву, Пушкин проводил у нее на даче большую часть времени, и их отношения почти не оставляют сомнений. Хотя Вяземский оставался одним из самых верных друзей Пушкина, Вера была включена Пушкиным в Донжуанский список. Впрочем, читатель волен с нами не согласиться.

Воронцова возвращается. Игра становится сложнее и продолжается втроем: каждый играет отведенную ему роль. Что в точности происходило, мы никогда не узнаем, но заметим, что Вяземский начал всерьез ревновать жену к Пушкину, когда к этому, скорей всего, уже не было оснований: роман свершился в жестких временных рамках до отъезда Пушкина.

Когда перед поэтом возникает жизненно важный и безотлагательный вопрос о бегстве из страны, в обсуждение путей и средств втянуты трое. Все трое пришли к соглашению, что необходимо выбраться в Константинополь как наиболее близкую точку за морем. А оттуда двигаться в Италию, Париж, Лондон. Воронцова практически помочь не могла, так как уезжала на день раньше. Помогать с готовностью взялась Вяземская. Об этом есть краткое упоминание в литературе: «Июнь—июль. Планы тайного отъезда в Константинополь при содействии гр. Е. К. Воронцовой и кн. В. Ф. Вяземской»²⁷⁰. О реализации планов известно ничтожно мало.

Недавно Пушкин кутил с моряками в порту. За Пушкиным несомненно следят, его свобода действий скована. Вяземская связывается с всемогущим пушкинским приятелем Али, чтобы окончательно договориться, как осуществить задуманный шаг, пристроив Пушкина на корабль, отходящий в Константинополь. Об этом упоминает, в частности, такой серьезный исследователь, как Цявловский²⁷¹.

Согласно договоренности, в условленное место ночью должна подойти лодка с гребцами-контрабандистами, которые доставят беглеца на корабль. Там сразу поднимут паруса и уйдут в открытое море. Место согласовано. Это пещера у моря, возле дачи Рено. Лодка может причалить у самого грота: вход в него не виден со стороны суши. Остается решить вопрос с деньгами.

Вяземская только что получила от мужа 6 тысяч рублей, из которых она теперь дала Пушкину 1260. Часть этих денег Пушкин сразу же роздал, в том числе извозчикам, которые давно ворчали, что он ездит в кредит. В день, когда Пушкин идет в оперу, он берет у Веры еще 600 рублей, с тем, что ей после вернет его карточный должник. Долг этот, своевременно должником не выплаченный, Вяземская и потом будет отказываться принять от Пушкина. Затем она тратит еще сто рублей, покупая Пушкину вещи, необходимые в дороге.

А Пушкин в ночь на 31-е прощается с Воронцовой, которая уезжает на сутки раньше. Местом тайного свидания, если положиться на легенды, вошедшие в пушкинистику, выбрана та самая пещера, из которой Пушкину на следующий день предстоит бежать. Уже почти стемнело, когда появилась Воронцова.

В пещере тайной, в день гоненья,
Читал я сладостный Коран,
Внезапно ангел утешенья,
Влетев, принес мне талисман. (II.290)

Она надевает ему на указательный палец золотой перстень и показывает свою руку: у нее точно такой же перстень, с восемью углами сердолик, розовато-красный и кажущийся темным в лунном свете. Позже Пушкин нарисует свою руку с этим талисманом. Перстни и на расстоянии должны сохранять между ними незримую связь. Надпись на них, сделанная на иврите, как печать, зеркально, мало

что объясняет: «Симха, сын почтенного раввина Иосифа-старшего, да благословенна о нем память»²⁷². Откуда они к Воронцовой попали? Знала ли она историю этой пары древних перстней?

Перстень с древнееврейской надписью на руке Пушкина был символом исхода. Не случайно тема рабства иудеев и бегства их из Египта не раз обращала на себя внимание Пушкина. И вот с надетым на руку иудейским перстнем, который оба они целовали, он, полурусский-полуафриканец по крови и француз по душе, взваливал на себя тяжкую судьбу беглеца.

До конца дней Пушкин верил в таинственную силу талисмана. Если следовать ходу мысли стихотворения «Талисман», Воронцова говорила, что перстень не может помочь ему вернуться «в край родной на север с юга», но сохранит его от измены и забвенья (III.35).

Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи —
Храни меня, мой талисман. (II.230)

Сестра Пушкина Ольга позже рассказывала Аннеюкову, что, получая письма с такою же печатью, как на его пальце, Пушкин запирался в своей комнате, не выходил и не принимал никого²⁷³. И даже когда Пушкин терял веру в себя и говорил: «Прощай, надежда, спи, желанье», он при этом прибавлял: «Храни меня, мой талисман» (II.230). Снял перстень на память с мертвой руки поэта Жуковский. Перстень перешел по наследству сыну Жуковского, который подарил его Ивану Тургеневу. В 1880 году Тургенев демонстрировал перстень на Московской пушкинской выставке; там обратились к московскому старшему раввину и тот перевел, хотя и неточно, надпись. Тургенев завещал перстень Полине Виардо, а Виардо подарила его Пушкинскому музею, откуда его украли.

Кроме перстня, Воронцова принесла в пещеру на прощанье Пушкину еще один подарок: свой портрет в золотом медальоне. Судьбу этого талисмана мы не знаем. Спустя два или три месяца Пушкин, уже уехавший из Одессы, начинает сочинять стихи о ребенке. В это время поэт мог получить письмо от Воронцовой, что она беременна, а через девять месяцев после прощания родила девочку, ко-

торая, в отличие от всех детей Воронцовых, была темно-волоса. Утверждение, что Пушкин был отцом ребенка, не ставится под сомнение. Граф Воронцов, говорят, не считал эту девочку своей.

«Приходится начать письмо с того, что меня занимает сейчас более всего, — со ссылки и отъезда Пушкина, которого я только что проводила до верха моей огромной горы, нежно поцеловала и о котором я плакала, как о брате, потому что последние недели мы были с ним совсем как брат с сестрой»²⁷⁴. Так писала Вера Вяземская мужу по следам событий. Факт задержки Пушкина до 1 августа можно считать доказанным: в письме княгиня сообщила точную дату. Отсюда вывод: дав два дня назад подписку выехать, Пушкин задержался, на самом деле не из-за любви, а в намерении бежать из страны. На следующую после прощания с Воронцовой ночь как раз и падает организованная им совместно с Вяземской попытка устроить побег. О факте этой попытки в литературе сообщается без указания даты²⁷⁵. В ночь с 31-го на 1-е побег, как отметил Пушкин в женском календарике, должен был состояться. «Еще никогда, — восклицает биограф, считая, однако, датой предыдущие сутки, — Пушкин не был так близко от осуществления своей мечты!»²⁷⁶

Конкретно о том, что и как происходило той ночью, известно мало, ибо все участники операции по понятным причинам хранили молчание не только в те дни, но и годы спустя. До нас дошли их намеки и рассказы третьих лиц, которые не могли быть очевидцами, но слышали рассказы участников. Попытаемся реконструировать события в том виде, в каком они могли происходить. Моменты, где мы будем добавлять от себя что-либо существенное, будут оговорены.

В дело вовлечен мастер такого рода операций и приятель Пушкина Али. Обещая сумму, одалживаемую Вяземской, Пушкин (при посредничестве Вяземской, гарантирующей выплату) договаривается с Али, а тот ведет переговоры с капитаном брига, который через пять дней должен уйти в Константинополь. По другой версии, корабль пойдет в Геную. При посредничестве Али происходит знакомство Пушкина с капитаном. Детали побега разрабатываются совместно.

Таможня следит за судном перед отправкой. Опытный Али ночью встретит Пушкина в нелюдимом месте на бе-

регу — у пещеры возле дачи Рено. Трое заговорщиков сошлись на том, что более незаметного места для подхода шлюпки с брига, стоящего на рейде, не найти. Под покровом ночи Пушкина посадят в шлюпку и доставят на борт. Предполагается, что на пять суток его спрячут в трюме. Затем бриг уйдет в открытое море. По другой версии — это произойдет сразу, как только беглеца доставят на борт.

Пушкин двинулся в пещеру задолго до условленного часа. Среди необходимых вещей, взятых им с собой, Коран — подробное описание истории, религии, нравов и правовых норм на мусульманской земле, куда ему предстоит прибыть. Беглец нервничает, садится, целует перстень на руке, вскакивает, принимается бродить между каменных глыб, то и дело вглядываясь в море, окрестный берег, прислушиваясь к ударам волн. Бриз переменял направление. Волнение на море усилилось.

Неожиданно Пушкин слышит звуки музыки и веселье. Это гуляка Али позвал на проводы (а возможно, чтобы отвлечь внимание от лодки) цыган и артистов итальянской оперы, гастролирующих в Одессе. Веселье идет полным ходом, и Пушкин с Али оказываются в гуще попойки. Описание ее не входит в нашу задачу. Скорей всего, остаток этой напряженной ночи Пушкин провел с доброй Верой Вяземской, которая его утешала у себя на даче, а утром проводила.

Вернемся теперь к причинам, по которым побег не удался. Начнем по традиции с «любовного» варианта. Самое важное в цепи событий остается неясным. Что произошло в последний час, уже после прощания? Побег сорвался, но — почему? Кажется, ответ дает сам поэт в известном стихотворении «К морю», начатом сразу по следам пережитых событий.

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег.
Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я. (II.180—181)

Итак, не любовь к родине, а любовь к женщине удержала поэта от побега. Трудно найти русского писателя, для которого женщины вообще и каждая из них в данный момент значили бы так много, как для Пушкина. Женщины всегда оказывались у его жизненного руля, и, наконец, причиной смерти его стала женщина. На весах его судьбы всегда стояла с одной стороны женщина, с другой — весь остальной свет, включая Россию.

Официальный миф всегда подменял одну любовь поэта другой. «Поэт слишком любил свою страну, чтобы оставить ее даже при таких тяжелых обстоятельствах своей жизни»²⁷⁷. И еще: «Возможно ли усомниться в том, что «могучая страсть», о которой говорит Пушкин, — это, в сущности, его страстная любовь к России, без которой он не может быть понят?»²⁷⁸ И.Фейнберг писал, что мечты о побеге у Пушкина были юношеским заблуждением. Море интересовало поэта лишь постольку, поскольку Пушкин говорит о победной борьбе Петра за выходы России к морю. Между тем Пушкин в стихотворении «Желание славы» опять пишет, что в жертву памяти любимой он принес все, в том числе и «мрак изгнания», ибо если бы не она, он был бы уже далеко и свободен.

Очевидец свидетельствовал о романе Пушкина с Воронцовой: «...с врожденным легкомыслием и кокетством желала она нравиться, и никто лучше ее в этом не успевал»²⁷⁹. Она стремилась продлить очарование влюбленности и инстинктивно, а может, и сознавая это, помогала ему бежать, но помогала так, чтобы побег сорвался. Если она, участвуя в организации побега, обещала одно, а делала обратное, то что двигало ею — одна ли любовь? Ведь уже было известно, что его с нею не будет...

Воронцова и до этого показала, что при всей преданности святому делу любви она думает о чести и интересах мужа. И то, что ему представлялось самозабвенной страстью, могло быть и расчетом с ее стороны. Бегство опального чиновника за границу навлекло неприятности на ее мужа. Да ее собственная репутация (то есть положение ее семьи и престиж ее в качестве леди №1 Новороссийского края) могла, стань что-либо известно, оказаться замаранной. Одно дело почетный и вполне принятый тогда флирт, другое — участие в антигосударственном мероприятии.

Итак, помогала Воронцова или мешала? М. Цявловский считал, что обе возлюбленные Пушкина, Вяземская и Воронцова, включенные поэтом в Донжуанский список, подготавливали «побег его за границу морем»²⁸⁰. Что Воронцова говорила и что скрывала от Пушкина? Какие факты обсуждались в ее письмах поэту? В последующей переписке она тщательно скрывалась под псевдонимом. Перед уходом из жизни — а умерла она восьмидесяти семи лет, на четверть века пережив мужа и похоронив всех любовников, — Воронцова уничтожила свой эпистолярный архив, включавший письма поэта. Что там было о ее помощи или помехах, чинимых Пушкину в бегстве за границу, можно лишь гадать.

Точности ради заметим, что те же самые мотивы могли заставить действовать княгиню Вяземскую: помогать своему другу так, чтобы не помочь. Но применительно к Вяземской, эта гипотеза не кажется правдоподобной. Она получила Пушкина на время — в связи с отсутствием мужа и Воронцовой. Похоже, она всерьез способствовала его побегу.

Анализируя поступки двух женщин, отметим еще одно обстоятельство. Известно, что фантастически богатая мать графини Воронцовой, которая имела 120 тысяч крепостных, была также фантастически скупа. Княгиня Вера неоднократно снабжала Пушкина деньгами, несмотря на относительную ограниченность своих средств. А Воронцова, хотя для нее сумма, нужная Пушкину, была мелочью, ни разу не предложила ему помощь.

Могли быть и другие причины, по которым бегство не состоялось. Например, разбушевавшаяся морская стихия, помешавшая шлюпке с гребцами пристать к скалистому берегу. Нехватка у Пушкина денег, которые он в этих обстоятельствах от щедрости души пустил на прощальный товарищеский ужин и раздал цыганам. Может быть, контрабандисты и поэт неточно договорились. Или моряки не явились в условленное место. Или, наконец, Пушкин в последний момент почувствовал опасность и сам отказался от рискованного мероприятия.

Наши претензии понятны: нам хочется, чтобы исторические личности были более отважны и бескомпромиссны, чем мы сами. Но обвинять поэта в слабых характеристиках, требовать решительности немного поздно. Возможно, Пушкин, с его потрясающей способностью предчувство-

вать, видел ситуацию на ход или на два дальше своего окружения и поэтому мог раньше остановиться, не дать себя втянуть в беду.

Именно в последний час стало ясно, что степень риска слишком велика. Его развитое поэтическое воображение рисовало предстоящую ситуацию не застывшим диапозитивом, но в живом движении. Просмотрев эпизод до конца, он, возможно, убедился в том, что следует отказаться от задуманного либо потому, что это чревато плохими последствиями, либо — что это скучно, так как... уже прожито. Он как бы уже эмигрировал в душе, лишь брненное тело еще не перенеслось через границу.

Марина Цветаева размышляла на эту тему в записках «Мой Пушкин», которые она сочиняла в эмиграции, скупая по России и томясь неведением о происходящем там. Цветаева дает свою трактовку строкам Пушкина, нами уже цитированным: «Ты ждал, ты звал. Я был окован. Вотще рвалась душа моя. Могучей страстью очарован, У берегов остался я». «Вотще — это туда, — пишет Цветаева, — а могучей страстью — к морю, конечно. Получалось, что именно из-за такого желания туда Пушкин и остался у берегов. Почему же он не поехал? Да потому, что могучей страстью очарован, так хочет — что прирос!.. И со всем весом судьбы и отказа: “У берегов остался я”»²⁸¹.

Никакой любовной страсти, как видим, Цветаева у Пушкина не отмечает. Не Воронцова, а море, берег, место, где он стоит, загипнотизировало его. Словно боясь быть непонятой, Цветаева тут же поясняет: «...то есть полный физический столбняк». Негативная часть концепции Цветаевой понятна: никакой задержки из-за любви и в помине не было. Гипноз кажется достаточно аргументированным, хотя в нем преобладает лично цветаевское, а не пушкинское эмоциональное начало. Стало быть, тем паче следует в нем разобраться. Рискнем понять с позиции Цветаевой Пушкина, у которого после эмоцио, подкрепляя или подавляя первое, наступало рацию.

Сомнение заложено в природу человека. Не сомнение ли было частью могучей страсти, очаровавшей Пушкина, частью того, что Цветаева назвала «полным физическим столбняком»? В столбняке, овладевшем поэтом, Цветаева разглядела современное субъективное постэмигрантское ностальгическое состояние и вложила его в тогдашнее состояние Пушкина. Чем окончилось для Цветаевой

разрешение от бремени ностальгии, то есть освобождение от «полного физического столбняка», известно. «Полный физический столбняк». — традиционная российская неспособность действовать. Но мы не уверены, что это правомочно перенести на Пушкина.

Поэт остался, и его роман с Воронцовой энергично продолжался по переписке, как бы доказывая, что любовь была первопричиной, а героизм самопожертвования — ее следствием. Мотивировка укрепляла любовь. Причина звучала убедительно и требовала ответной жертвы в будущем. Об этом свидетельствует, например, стихотворение «Все в жертву памяти твоей», которое при жизни Пушкина не печаталось. Поэт заявляет, что в жертву было принесено все, включая «мрак изгнания» (II.252).

В связи с запутанными обстоятельствами побега возникает вопрос, от ответа на который зависит объяснение ситуации. Знали ли власти о планах Пушкина бежать за границу; учитывалось ли его намерение нелегально покинуть империю при решении о высылке поэта в Псковскую губернию?

Как уже говорилось, причин для новой ссылки было много, но именно эта причина в прямом виде не упоминается вообще ни в деле №144 о высылке из Одессы в Псковскую губернию коллежского секретаря А.С.Пушкина, ни в обширной мемуарной литературе. Разумеется, не упоминает эту причину и сам Пушкин, когда излагает в «Воображаемом разговоре с Александром I» все мотивы в совокупности, как они виделись ему после. Осторожным намеком связывает побег и высылку М.Алексеев: «тревожные планы побега, закончившиеся внезапным и поспешным отъездом...»²⁸²

По-разному излагались причины высылки разными людьми в самом ходе событий и после них. Начальник Пушкина в Петербурге граф Нессельроде писал Воронцову, что правительство рассчитывало, что служба Пушкина у Инзова и Воронцова «успокоит его воображение», но этого не произошло²⁸³. Из Коллегии иностранных дел он уволен «за дурное поведение». Брат Пушкина Левушка в письме к Вяземскому тоже говорил, что слухи о мелких и частых неудовольствиях Воронцова ложные, а ссылка — жестокая и несправедливая мера правительства²⁸⁴. Все эти сообщения не добавляют ничего нового к тому, что мы уже знаем.

«В этой истории, несомненно, есть какое-то темное место», — считает один из исследователей, но полагает, что это связано с освободительным движением на юге, к которому на деле Пушкин практически не имел отношения²⁸⁵. В некоторых статьях высказывается мысль, что Пушкин был выслан не за эпиграмму, а потому, что Воронцов хотел избавиться от «неблагонадежного» поэта. Сделаем еще один шаг — и причина неблагонадежности может быть понята и доказана.

Когда Пушкин уже был отправлен под надзор в Михайловское, граф Воронцов обрушивает свое неудовольствие на жену и Веру Вяземскую. В письме своему приятелю Александру Булгакову в Москву — а Булгаков был управляющим секретной дипломатической перепиской при главнокомандующем Москвы, и его почта не подвергалась цензуре — Воронцов писал: «Мы считаем, так сказать, неприличным ее затеи поддерживать попытки бегства, задуманные этим сумасшедшим шалопаем Пушкиным, когда получился приказ отправить его в Псков»²⁸⁶. Булгаков в письме к брату в Петербург пояснял: «Воронцов очень сердит на графиню и княгиню Вяземскую, особливо на княгиню, за Пушкина, шалуна-поэта, да и поделом. Вяземская хотела покровительствовать его побегу из Одессы, искала ему денег, гребное судно...»²⁸⁷

Воронцову доносили о планах побега Пушкина, но не об участии в этом Вяземской и, тем более, его собственной супруги. В момент отъезда Пушкина Воронцов находился на Кавказе, а вернувшись, потребовал от жены прекратить все связи с Вяземской и был сердит на нее²⁸⁸.

Пушкин пострадал из-за Воронцова. Но и Воронцов пострадал из-за Пушкина, правда, так сказать, ретроспективно. Исторически получилось так, что вина пала на губернатора. В сущности, поэт помешал ему остаться в истории во всем блеске своих действительно выдающихся государственных заслуг. Впоследствии Пушкин по отношению к Воронцову вел себя хуже, чем тот по отношению к поэту. Спустя десять лет Пушкин не без удовольствия запишет в своем дневнике о соблазнительной связи Воронцова с Нарышкиной (VIII.34). Воронцов же после высылки Пушкина из Одессы представил бессарабского поэта Костаке Стамати к ордену

святой Анны за перевод пушкинского «Кавказского пленника». Когда Пушкин умер, Воронцов нанес визит его вдове. Деятнадцатый век уравнил их, поставив в Одессе памятники обоим — Воронцову даже в полный рост. После революции 1917 года их участи разделили по классовой полезности. Дворец Воронцова в Алушке после революции стал дачей для сталинских помощников и принадлежал поочередно нескольким членам Политбюро. Книги из уникальной библиотеки вожди, их охрана и прислуга разворовали.

Итак, 1 августа 1824 года Пушкин отправился из Одессы в дальний путь на север — в направлении, противоположном своему желанию. Верный дядька Никита Козлов закинул в коляску чемоданы и укрыл от пыли рогожей. Если Никита знал о замыслах барина, то он был доволен: он ехал домой. Еще бы чуть-чуть — и тащиться ему в деревню одному, а хозяина поминай как звали. Вопрос о том, чтобы взять слугу с собой в чужие края, перед Пушкиным и не возникал: с собой — значит вдвое дороже, да и риск больше. Коляска пока-тила.

Когда Пушкин двигался от моря в сторону материка, в каботажной гавани грузились пшеницей три судна, отправлявшиеся в Италию: «Пеликан», «Иль-пьяченце», «Адриано». И еще одно судно «Сан-Николо» отплывало в Константинополь. Принадлежало оно Джованни Ризничу. Не его ли капитан готовился принять в трюм нелегального пассажира? Два дня — и уже Босфор²⁸⁹.

Несколько раз Пушкин пытался организовать побег за границу из Кишинева и Одессы, а ехал в новую ссылку в Михайловское. Вот и таможенная граница — черта порто-франко. Грязные, хамоватые стражники, шлагбаум. Никто не смотрел скромных его пожитков и не требовал взятки: по документам, хоть и невысокого ранга, а все-таки правительственный чиновник.

В то самое время, когда Пушкин ехал из Одессы в Михайловское, любимый Пушкиным баснописец Иван Крылов в Петербурге сочинил и вскоре напечатал басню «Кошка и соловей». Поймала, Крылов рассказывает в басне, Кошка Соловья и говорит ему:

Не трепещися так, не будь, мой друг, упрямым;
Не бойся: не хочу совсем тебя я кушать.

Лишь спой мне что-нибудь: тебе я волю дам
И отпущу гулять...

Некуда деваться певчей птичке из кошачьих объятий:

Худые песни Соловью
В когтях у Кошки²⁹⁰.

Соловей остался в когтях у русской власти.

ДОСЬЕ БЕГЛЕЦА



Хроника вторая

*Медведь, беглец родной берлоги...
И тяжело пляшет, и ревет,
И цепь докучную грызет.*

Пушкин (IV.157)

Глава первая

МИХАЙЛОВСКОЕ: УГОВОР С БРАТОМ

Мне дьявольски не нравятся петербургские толки о моем побеге. Зачем мне бежать? Здесь так хорошо!

Пушкин — брату Льву, около 20 декабря 1824

Выбраться из Одессы в Италию или Францию на корабле не получилось. Вместо этого в первые дни августа 1824 года лошади несли Пушкина через южные степи и леса средней полосы в глушь, в Михайловское, которое местные жители называли Зуево. Не станем гадать, о чем он думал. Сохранились 119 писем Пушкина из Михайловского, множество писем к нему, воспоминания, доносы агентов тайной полиции, наконец, имеются труды исследователей. Не только мысли, доверенные бумаге, но и мелкие высказывания поэта дошли до нас благодаря заботам его друзей и врагов.

Правительственные чиновники считали, что новая ссылка послужит творческому сосредоточению Пушкина на благо русской литературы. Позже, когда Лермонтова сошлют за стихи на смерть Пушкина, Николай Греч на деньги из казны напечатает в Париже книгу «Исследование по поводу сочинения г. маркиза де Кюстина, озаглавленного “Россия в 1839 г.”». Греч объяснит западной публике, что ссылка Лермонтова послужила лишь на пользу поэту и дарование его на Кавказе развернулось во всей широте. Ю.Лотман также считал, что ссылка в Михайловское оказалась благотворной для Пушкина-поэта и Пушкина-человека¹.

Но были и есть другие мнения. «Или не убийство — заточить пылкого, кипучего юношу в деревне русской?.. Да и постигают ли те, которые вовлекли власть в эту меру, что есть ссылка в деревне на Руси?» — писал князь Вяземский Александру Тургеневу². Продолжая это письмо, Вяземский возмущался и недоумевал: «Не предвижу для него исхода из этой бездны... Да зачем не позволить ему

ехать в чужие края? Издание его сочинений окупит будущее его на несколько лет. Скажите, ради Бога, как дубине Петра Великого, которая не сошла с ним в гроб, бояться прозы и стихов какого-нибудь молокососа?»

По мнению М.Цявловского, суровая ссылка в Михайловское отрезвила Пушкина и заставила «серьезно заняться планами бегства из России»³. По-видимому, Цявловский имеет в виду несколько игривое отношение к побегу, которое имело место в Кишиневе и Одессе. Теперь Пушкин переходит от романтизма к реализму и в собственной жизни.

Граф Воронцов уведомил Псковского гражданского губернатора Бориса Адеркаса о прибытии стихотворца Пушкина, «распространяющего в письмах своих предосудительные и вредные мысли»⁴. Губернатор получил также предписание от Прибалтийского генерал-губернатора маркиза Филиппа Паулуччи «снести с г. Предводителем Дворянства о избрании им одного из благонадежных дворян для наблюдения за поступками и поведением Пушкина, дабы сей... находился под бдительным надзором...»⁵. К предписанию Паулуччи приложил копию отношения министра иностранных дел Нессельроде к Воронцову от 11 июля. Выходит, Пушкин в Одессе пытался довольно-таки беспечно совместить подготовку к побегу с наслаждениями, а в Псковской губернии к его приезду уже серьезно готовились.

Объявился он в Михайловском 9 августа 1824 года, не заезжая, как ему было велено, в Псков. Тут он застал родителей, брата и сестру. Адеркас связался с губернским предводителем дворянства князем Львовым, и они назначили новоржевского помещика Ивана Рокотова наблюдать за поведением прибывшего.

По вызову губернатора Пушкину пришлось приехать в Псков и дать подписку «жить безотлучно в поместии родителя своего, вести себя благонравно, не заниматься никакими неприличными сочинениями и суждениями, предосудительными и вредными общественной жизни, и не распространять оных никуда»⁶.

Рокотов был юным вертопрахом, которого Пушкин недолюбливал, хотя и встречался с ним. Сославшись на свое расстроенное здоровье, Рокотов ловко от предложения следить за поэтом отказался. Тогда Адеркас поручил наблюдать за поведением сына Сергею Пушкину. Отец, как принято считать, по слабости характера принял предло-

жение, приведшее к тяжелому конфликту в семье Пушкиных.

Душевное состояние самого поэта оставляло желать лучшего, что отразилось в строках:

Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье;
Уснув, не знаю где проснусь.
Всегда гоним, теперь в изгнание
Влачу закованные дни. (II.172)

Пошел пятый год удаления его из Петербурга, и теперь, в Михайловском, он еще острее чувствует тяготы «ссылочного невольника». Он вспоминает, как прадед тосковал по Африке, сидя в России. Его собственное выражение «изгнанник самовольный» находит новую форму в соответствии с обстоятельствами:

Подобно птичке беззаботной,
И он, изгнанник перелетный,
Гнезда надежного не знал
И ни к чему не привыкал.
Ему везде была дорога... (IV.154)

Одесса оказалась для Пушкина подлинным окном в Европу и по колориту своей беспечной жизни, и по реальной возможности бежать. В Михайловском он яснее это ощутил. После южного солнца, волшебной красоты моря и европейского духа, которым жила Одесса, даже любимая им северная природа угнетала Пушкина. Свинцовая одежда неба, изрытые дороги, хмурые леса, чахлые перелески и убогие деревеньки — «все мрачную тоску на душу мне наводит» (II.187). Плюс одиночество, которое для человека общительного горше унылых пейзажей; «скучно, вот и все!» (X.80).

Причина ясна: «царь не дает мне свободы!» Через две недели в письме к княгине Вяземской в Одессу опять: «Я провожу верхом и в поле все время, которое я не в постели. Все, что напоминает мне о море, вызывает у меня грусть, шум ручья буквально доставляет мне страдание; я думаю, что голубое небо заставило бы меня заплакать от бешенства, но слава Богу небо у нас сивое, а луна точная

репка» (X.81, часть текста по-фр.). Силой воображения он отправляет себя туда, где бежит Гвадалквивир. Поэт стоит под балконом и ждет, когда испанка молодая проденет дивную ножку сквозь чугунные перила (II.186).

Друзья советуют ему сконцентрировать силы на литературе. «Употреби получше время твоего изгнания, — наставляет Дельвиг. — Нет ничего скучнее теперешнего Петербурга. Вообрази, даже простых шалунов нет! Квартальных некому бить. Мертво и холодно...» (Б.Ак.13.110) Вяземский опасается, что Пушкин сойдет с ума. Пушкин, похоже, внимает разумному совету и сходится с Музой. Он возвращается к начатому в Одессе стихотворению «К морю».

Моей души предел желанный!
 Как часто по брегам твоим
 Бродил я тихий и туманный,
 Заветным умыслом томим!

Самым трудным для поэта оказалась в этом стихотворении попытка сформулировать цель бегства.

Мир опустел... Теперь куда же
 Меня б ты вынес, океан?

В черновиках этот вопрос объясняется по-разному: «Куда бы ныне / Я бег беспечный устремил?», «...Я путь отважный устремил?». На что следует скептический взгляд на мир разочарованного Чайльд-Гарольда — строки, не допущенные в печать при первой публикации:

Судьба людей повсюду та же:
 Где капля блага, там на страже
 Уж просвещение иль тиран. (Б.Ак.2.333)

В малом академическом собрании сочинений Б.Томашевский заменяет слово, от которого Пушкин отказался. Получается: «Судьба земли повсюду та же», что делает строку более нелепой, но зато проходимой для советской цензуры (II.81). Обращаясь к стихотворению несколько раз, Пушкин то добавляет, то убирает строфы и с помощью Вяземского печатает его, хотя и не целиком, в альманахе «Мнемозина». Пушкин не раз будет удивляться: откуда

слух о побеге? А слух, так сказать, был предан гласности: в журнале «Мнемозина» черным по белому написано о заветном умысле сочинителя Пушкина и его стремлении навек оставить этот брег.

Символ моря пройдет через всю поэзию Пушкина. И всю жизнь он будет чувствовать могущество этой стихии, которая способна и перенести человека в волшебные заморские страны, и поглотить его. Образ моря расширяется в воображении, меняется в зависимости от настроения. Появляется «жизненное море», «море минувшего», «море грядущего», «огненное море», «ужас моря», даже «адское море». Но живого, настоящего моря, если не считать поездок в Кронштадт, Пушкин больше не увидит.

Он не находит себе места, не знает, чем заполнить пустоту дней, ему не работается. «Бешенство скуки» — это напряженное состояние овладело им с конца октября 1824 года, после ссоры с отцом, который взял на себя обязанность распечатывать переписку, сообщать обо всех шагах старшего сына и приказал младшему не знаться с этим чудовищем, с этим выродком. Мы не знаем, что в точности произошло в те дни; действительно ли Александр подрался с отцом и даже, как тот утверждал, избил его. Но возникает реальная угроза обвинения в рукоприкладстве, отягощенная нарушением Заповеди: сын поднял руку на отца своего.

Пушкинисты в этом конфликте единодушны. Они приняли сторону сына и обвиняют отца в шпионстве. Нам кажется, отец не за себя боялся и не выслуживался, когда дал согласие наблюдать за сыном. Скорее, он решил, что лучше, если он, а не чужой человек, будет делать это, раз уж необходимо. Не станет доносить, но, наоборот, покроет, если что не так. Ни сын, ни отец никогда не упоминали, что Сергей Пушкин вскрыл хотя бы одно письмо. Ни о чем никуда он не сообщал. Если и читал нотации, то делал это из благого желания охранить сына от еще более страшных последствий, нежели ссылка под отеческое крыло. Сестра Ольга в этом конфликте взяла сторону брата, а друг Дельвиг сторону отца. Жуковский и соседка из Тригорского Осипова считали, что вина делится пополам. Несправедливо обвинял отца Пушкин.

Разгоряченный конфликтом, он сообщал Жуковскому: «Я вне закона», умоляя спасти его. Сгоряча поэт отправил поспешное прошение Псковскому губернатору Адеркасу,

жалуюсь, что в доме ненормальная обстановка, и прося ходатайствовать перед императором о переводе его из Михайловского в одну из крепостей. Человек, посланный с прошением в Псков, не нашел там губернатора (может, кто-то, например, Осипова подучила не найти?). К счастью, через неделю письмо вернулось обратно, так и не получив хода.

Жуковский, пользуясь придворными связями, начал хлопоты о переводе Пушкина в Петербург, что поэта вовсе не обрадовало. В письме к брату он заявляет категорически: «...не желаю быть в Петербурге, и верно нога моя дома уж не будет» (X.85). А о том, что в действительности происходит в семействе Пушкиных, он предпочитает помалкивать. И не случайно. Первый биограф поэта Павел Анненков считал даже, что скандал и драку в доме выдумали Пушкин со своей соседкой Осиповой специально, чтобы напугать Жуковского и заставить его заняться освобождением поэта из михайловской кабалы. Нам же кажется, дело в другом.

Именно в эти дни Пушкин начинает усиленно обсуждать с братом Львом возможности побега. В начале ноября Левушка отбывает из Михайловского в Петербург, увозя некий разработанный план, который они начинают осуществлять. Об этом плане чуть позже. А сейчас — о нашем предположении, что семейный конфликт произошел, возможно, из-за того, что отец узнал об этом плане и стал ему противиться, что и вызвало неадекватную реакцию старшего сына. Замысел сыновей поверг отца в ужас непредсказуемыми последствиями для обоих детей. И тогда становится понятным приказание отца младшему брату не знаться с выродком, который хочет нелегально скрыться за границу.

Отец в отчаянии наблюдал, как его старший сын вдруг начал отращивать бакенбарды, чем значительно переменял свою внешность. Для уезжавшего брата Левушки составлен список вещей, необходимых для будущей дороги. Пушкин периодически берет пистолеты, отправляется к погребу позади бани и там палит так, будто готовится к серьезной схватке. Тревога охватила семью. Приятель Сергей Соболевский позже сочинил для Ольги, с которой он дружил, эпиграмму:

Что помышляют ваши братья,
В моей башке не мог собрать я⁷.

Александр I был доставлен рапорт о том, что в Петербурге появился Пушкин, и царь решил, что без разрешения вернулся опальный поэт. Его величество успокоился, когда ему сообщили, что приехал младший брат ссыльного Лев.

Если бы Пушкин посвящал в свои замыслы меньшее количество людей, шансов на реализацию плана было бы больше. То и дело у него, поднадзорного, происходит утечка информации. Вот почему вслед отъехавшему брату от поэта летит письмо с мольбой о том, чтобы просить Жуковского молчать о конфликте в семье. Брату поэт опять напоминает: «И ты, душа, держи язык на привязи» (X.84). И просит прислать ему калоши, спички, игральные карты, рукописную книгу, перстень, а также портрет Чаадаева, путешествующего по Западной Европе. Несмотря на болтливость, особенно после шампанского, подробностей замысленного побега, а тем более своей роли в нем, Левушка не афишировал.

Никаких последствий ссора с отцом не имела, но осадок в душе сына оставила. Был даже момент, когда Пушкин стал думать о самоубийстве: «Стыжусь, — пишет он Жуковскому, — что доселе не имею духа исполнить пророческую весть, которая разнеслась недавно обо мне, и еще не застрелился. Глупо час от часу долее вязнуть в жизненной грязи» (X.509, черновик).

Отказавшись от надзора, отец уехал в Петербург, захватив жену и дочь. Семейная туча прошла; оставшись один, Пушкин успокоился, воспрял духом. В рукописях имеется набросок большого и, можно сказать, программного стихотворения, начатого в день отъезда Левушки и оставшегося незаконченным. До конца рукопись по сей день не расшифрована.

Презрев и голос укоризны,
И зовы сладостных надежд,
Иду в чужбине прах отчизны
С дорожных отряхнуть одежд.
Умолкни, сердца шепот сонный,
Привычки давней слабый глас,
Прости, предел неблагоприятный,
Где свет узрел я в первый раз!
Простите, сумрачные сени,
Где дни мои текли в тиши,
Исполнены страстей и лени

И снов задумчивых души.
 Мой брат, в опасный день разлуки
 Все думы сердца — о тебе.
 В последний раз сожмем же руки
 И покоримся мы судьбе.

Итак, судьба поэта в том, как объясняет он брату, чтобы добраться до заграницы и там отряхнуть прах отчизны. На Льва возложены определенные организационные функции, от него многое зависит, именно поэтому «все думы сердца» — о нем. Далее в стихотворении осталось недописанным следующее:

Благослови побег поэта

 ...где-нибудь в волненье света
 Мой глас вспомни иногда.
 Умолкнет он под небом дальним
 сне,
 Один..... печальным
 Угаснет в чуждой стороне.
 Настанет... час желанный,
 И благосклонный славянин
 К моей могиле безымянной...

В черновике имеется несколько вариантов разных строк, которые помогают постичь мысли поэта, увидеть колебания и — принятое решение.

Так! (я) решил: прах отчизны
 С дорожных отряхну (ть) одежд,
 Презрев сердечны укоризны
 И шепот сладостных надежд.

Для «сладостных надежд» имеется замена «обманчивых надежд», что тоже логично. Для концовки есть черновой вариант, проясняющий мысль, в основном тексте не очень ясную: соплеменники к его могиле под чуждым небом не придут.

Но русский... не посетит
 Моей могилы безымянной.
 (Б.Ак.2.349, 879—881)

Наверное, было бы практичнее сначала удрать из страны, а затем сочинять прощальное стихотворение. Так мог поступить другой человек, но не Пушкин. Поэтическое расставание с родиной весьма сдержанно, без особых эмоций, жалоб и обид. Поэт простился — теперь осталось только выехать.

В Михайловском, как обычно пишут, Пушкин пребывал на попечении няни Арины Яковлевой, которую с легкой руки мемуаристов записали ему в консультанты по фольклору. Эта носительница народной мудрости и народного духа была добрая, заботливая, безграмотная женщина, большая любительница выпить. Она дегустировала с ним самогон и наливки, секреты приготовления которых знала, и выпивку всегда держала наготове. Она приводила к нему на ночь крепостных девушек, если барину не спалось, и спроваживала их, когда барин в их присутствии больше не нуждался. Кроме нее, Пушкину прислуживали дочь Арины Родионовны Надежда, муж Надежды Никита Козлов, так называемый дядька, преданный своему хозяину до могилы, и двадцать девять человек двора.

В имении было много неполадок: нищета, воровство старосты, повальное пьянство. Пушкину все равно, работают люди или пьют. Он уже простился и с имением, и с этой страной. Лев в Петербурге должен уладить финансовые дела поэта с издателями, пристроить кое-что из неопубликованного, получить денег побольше, закупить ему журналы, книги и французскую Библию. А главное, прислать нужные в дороге вещи и адреса.

Перед самым Новым годом Пушкин отправляет брату еще один список необходимого, в нем дорожная чернильница, дорожная лампа, спички, сапожные колодки, две Библии, часы, чемодан. Этого сообщения нет в Малом академическом собрании сочинений (Б.Ак.13.131—132). М.Цявловский писал, что в рукописях имеется листок, вложенный в одно из декабрьских писем 1824 года, и комментировал: «Поэт в это время собирался нелегально уехать за границу, и в посылавшемся списке перечислялись вещи, необходимые Пушкину в дороге»⁸.

Все это надо делать в строжайшей тайне. «Зачем мне бежать? Здесь так хорошо!» — он пишет, конечно, не для Левушки, а для промежуточного читателя. Конспирации ради в ноябре Пушкин переводит свою переписку на соседей в Тригорском, прося посылать ему почту «под двой-

ным конвертом» на имя одной из дочерей Осиповой. Вяземский должен для конспирации подписываться «другой рукой». А свои письма брату и сестре (видимо, посланные с оказией) он велит сжигать. Поэт требует от брата 4 декабря 1824 года: «Лев! сожги письмо мое!» И адресаты сжигали. Жгли даже те письма, которые получали по почте, а значит, они перлюстрировались, поэтому теперь нет возможности точнее узнать, что и как происходило.

Тригорские соседки скрашивали предотъездные дни поэта и даже участвовали в его хлопотах, правда, по-разному. Прасковью Осипову Пушкин считал своим другом, доверенным в личных делах. На нее шла переписка, она была связана со столичными друзьями и знакомыми поэта. Незадолго до того Осипова овдовела во втором браке и больше интереса стала проявлять к светскому общению. Была она человеком суровым. Дочери называли ее деспотичной и считали, что она исковеркала их судьбы. Скандалы в семье случались часто, а для разрядки нервного напряжения Прасковья Александровна выходила на кухню и хлыстом секла прислугу⁹.

По приезде Пушкин быстро сошелся с Алексеем Вульфом, сыном Осиповой от первого брака, но через несколько дней тот укатил в Дерпт, где учился в университете. Пушкин коротает время с дочерьми и племянницей Осиповой, бывая у них почти каждый день. Сестре же он пишет, что тригорские приятельницы «несносные дуры, кроме матери» (Х.90). Это не мешало ему волочиться за всеми одновременно и за каждой по очереди, включая мать, которая, по словам Александра Тургенева, любила его как сына.

Между тем в обеих столицах опять поползли слухи о том, что Пушкин собирается бежать из ссылки за границу. Хотя в стихах он говорил только о прошлых намерениях, слухи распространились о предстоящих. Источник был почти сорок лет неясен, пока Петр Бартенев не опубликовал письма Осиповой Жуковскому. Оказалось, 22 ноября 1824 года она, верный друг Пушкина, написала Жуковскому секретное письмо.

«Я живу в трех верстах от с. Михайловского, где теперь А.П., и он бывает у меня всякий день, — писала Осипова. — Желательно бы было, чтобы ссылка его сюда скоро кончилась; иначе я боюсь быть нескромною, но желала бы, чтобы вы, милостивый государь Василий Андреевич,

меня угадали. Если Алекс. должен будет оставаться здесь долго, то прощай для нас Русских (с заглавной буквы в оригинале. — Ю. Д.) его талант, его поэтический гений, и обвинить его не можно будет. Наш Псков хуже Сибири, а здесь пылкой голове не усидеть. Он теперь так занят своим положением, что без дальнего размышления из огня вскочит в полымя; а там поздно будет размышлять о следствиях. Все здесь сказанное не пустая догадка, но прошу вас, чтоб и Лев Сергеевич не знал того, что я вам сие пишу. Если вы думаете, что воздух и солнце Франции или близлежащих к ней через Альпы земель полезен для русских орлов, и оный не будет вреден нашему, то пускай остается то, что теперь написала, вечной тайной... Когда же вы другого мнения, то подумайте, как предупредить отлет»¹⁰.

Осипова писала искренне. Она просила Жуковского ничего не говорить Льву, чтобы сведения о ее заботах не вернулись в Михайловское. Больше того, 26 ноября Осипова сделала на календаре пометку для памяти: «Писала через Псков... к Жуковскому... к С.Л.Пушкину». Значит, и отцу, с которым сын поссорился, Осипова спешила по секрету сообщить новые детали побега, которыми поэт с ней простодушно делился. А письма внимательно читали и в Пскове, и в Петербурге. Чуть позже Осипова приехала в столицу и там, по-видимому, рассказывала знакомым, что михайловский пленник собирается бежать.

Пушкин об этом предательстве и не подозревал. Спустя десять лет, незадолго перед смертью, изъяснялся он Осиповой в вечной дружбе, не ведая, что она в этой дружбе играла, мягко говоря, не совсем благородную роль. Патриотический порыв Осиповой вряд ли ее оправдывает. Уж легче понять ее желание не порывать с Пушкиным отнюдь не платоническую связь.

Слухи о побеге стали опасными. Забеспокоился брат Лев. «По Москве ходят о том известия, — писал он Вяземскому, — дошедшие и к нам, которые столь же ложны, сколько могут быть для него вредны»¹¹. Левушка беспокоился за себя, ведь именно в это время он выполнял поручения брата. «Христом и Богом прошу скорее вытащить «Онегина» из-под цензуры — слава... ее... — деньги нужны (тут Пушкин посылает славу куда подальше. — Ю. Д.) Долго не торгуйся за стихи — режь, рви, кромсай хоть все 54 строфы, но денег, ради Бога, денег!» (Х.92) Видимо, контакты затруднены, и приходилось слать письма откры-

той почтой. Они зашифрованы, но довольно прозрачно: «Когда будешь у меня, то станем трактовать о банкире, о переписке, о месте пребывания Чаадаева (подчеркивает Пушкин. — Ю. Д.). Вот пункты, о которых можешь уже осведомиться» (X.92).

Здесь все самое важное. «О банкире», то есть что нужно сделать, дабы получить деньги и переправить их за границу. А может, имеется в виду кто-либо из конкретных богатых друзей, кто мог встретить за границей и дать взаймы? «О переписке» — через кого и куда слать корреспонденцию, чтобы держать связь, минуя почту, которая, конечно, перлюстрируется. «О Чаадаеве» — выяснить его адрес в Европе.

Петр Чаадаев (Пушкин об этом знал) в конце 1823 года, путешествуя по Европе, переехал из Лондона в Париж, оставался там до осени и перебрался в Швейцарию. В те дни, когда Пушкин отправил брату процитированное нами послание, Чаадаев, пребывающий за границей уже пять лет, пишет брату из Милана в Москву письмо, из которого ясно, что он по-прежнему ждет Пушкина, но плохо понимает, что происходит. «Может быть, кто-нибудь из моих знакомых погиб; до тебя никогда ничего не дойдет, но нельзя ли отписать к Якушкину и велеть ему мне написать, что узнает про общих наших приятелей; особенно об Пушкине (который, говорят, в Петербурге), об Тургеневе, Оленине и Муравьеве»¹².

Резиденция Чаадаева в Европе была самым подходящим местом для того, чтобы туда поступала почта и деньги для беглеца. Чаадаев все бы исполнил исправно, но нужно знать его адрес в Милане и его планы, чтобы не разминуться с ним. Сочиняя в это время «Евгения Онегина», Пушкин думает о связи с Чаадаевым: на полях черновика рисует его профиль.

Хлопотами брата издатель и друг Плетнев прислал Пушкину 500 рублей. Пушкин рассчитывался с долгами. Время приближалось к Рождеству.

Глава вторая
СЛУГА НЕПОКОРНЫЙ

*Давно б на Дерптскую дорогу
Я вышел утренней порой...*

Пушкин, 20 сентября 1824 (II.172)

К Рождеству Пушкин с нетерпением ожидал приезда из Дерпта на зимние вакации сына Осиповой Алексея Вульфа, а из Петербурга — брата, чтобы провести решающее секретное совещание для обсуждения путей побега.

Приведенные в эпиграфе строки свидетельствуют о том, что Пушкин размышлял, как вырваться из Михайловского хотя бы на время. В упомянутом стихотворении он сожалеет, что нельзя отправиться в Дерпт, а затем добавляет: «И возвратился б оживленный...» Но поскольку поэт под надзором, лучше Вульфу с другим дерптским студентом поэтом Николаем Языковым приехать попойнствовать и повлюбляться сюда, где (Пушкин, однако же, не забывает прибавить) жил его предок:

...позабыв Елисаветы
И двор, и пышные обеты
Под сенью липовых аллей
Он думал в охлажденные леты
О дальней Африке своей. (II.172—173)

Еще Анненков писал, что «заветной мечтой Пушкина с самого приезда его в Михайловское сделалось одно: бежать из заточения деревенского, а если нужно, то и из России»¹³. Бежать из заточения было некуда, кроме как за границу. Куда же еще? Но чтобы осуществить мечту, следовало осмотреться, подготовиться, наконец, сделать то, что Пушкину толком не удавалось никогда, — схитрить.

Планы его вновь обретают плоть, но хитрее он не становится. Намеки в письмах весьма прозрачны. Думается, в результате этого в декабре за ним устанавливается слежка. Сосед Алексей Пещуров, отставной штабс-капитан лейб-гвардии и предводитель дворянства, берет на себя наблюдение за поведением Пушкина, о чем после-

дний, возможно, не догадывается и не тяготится опекой, охотно бывая у Пещурова в гостях.

Около 15 декабря 1824 года Вульф объявился в Тригорском на Рождественские каникулы и пробыл в имении у матери около месяца. Пушкин быстро сблизился с ним и вскоре стал испытывать к нему чувство доверия, столь необходимое для нелегального дела. Брат задерживался. «Вульф здесь, — сообщает Пушкин Льву не позднее 20 декабря, — я ему ничего еще не говорил, но жду тебя — приезжай хоть с Прасковьей Александровной (Осиповой. — Ю. Д.), хоть с Дельвигом; переговорить нужно непременно» (X.91). Дельвиг упомянут, так как он тоже собирается в гости к Пушкину. Но брат не спешит появиться в Михайловском, а Вульф уже здесь. Они начинают совещаться вдвоем, хотя в дела сразу же оказываются посвященными сестры и родственницы Вульфа, за которыми ухаживают оба заговорщика.

Алексею Вульфу как раз в день начала переговоров, 17 декабря, исполнилось девятнадцать. Он был на шесть лет моложе Пушкина. Истинный ловелас, влюблявшийся в деревне поочередно во всех своих кузин, не говоря о молоденьких крепостных девушках, собутыльник и соперник Пушкина, Вульф часто оказывался более удачливым в достижении желаемого. Зеленый юнец второй год изучал в Дерптском университете военные науки, был неплохо образован, начитан, глубок в суждениях. «Он много знал, — писал о нем Пушкин, — чему научаются в университетах, между тем, как мы с вами выучились танцевать... Его занимали предметы, о которых я и не помышлял» (VIII.52). Впрочем, и легкомыслия Вульфу было не занимать. Позже он и другие студенты вытащили из Домского собора в Риге скелет, назвав его предком Дельвига. Череп достался Пушкину, и тот подарил его Дельвигу со стихами.

Проблема бегства для Вульфа была игрой, а для поэта делом жизни. Было два Пушкина: мрачный дома и веселый, оживленный, обаятельный в Тригорском. Вульф потом вспоминал, что ими замышлялись «различные проекты, как бы получить свободу»¹⁴. «Студент Ал.Н.Вульф, сделавшийся поверенным Пушкина в его замыслах о побеге, сам собирался за границу, — писал Анненков. — Он предлагал Пушкину увезти его с собой под видом слуги. Но сама поездка Вульфа была еще мечтой»¹⁵.

Вариант Вульфа, которым оба загорелись, на первый взгляд, был легко осуществим, и в новогодних мечтах поэт

уже видел себя за границей. Профессор Дерптского университета Е. Петухов в статье «Два года из жизни Пушкина» напишет: «А. Н. Вульф был также главным участником в выработке неудавшегося плана Пушкина бежать за границу. Пушкин, которому так и не удалось в своей жизни повидать чужие края, постоянно однако же лелеял мечту о поездке своей за границу, которая манила его воображение широтой свободной общественной жизни и своими литературными и культурными центрами»¹⁶.

Проект, как Вульф сам рассказал после в воспоминаниях, состоял в следующем. «Пушкин, не надеясь получить в скором времени право свободного выезда с места своего заточения, измышлял различные проекты, как бы получить свободу. Между прочим, предложил я ему такой проект: я выхлопочу себе заграничный паспорт и Пушкина, в роли своего крепостного слуги, увезу с собой за границу»¹⁷.

А теперь приведем еще одну цитату: «Я хочу бежать из этой страны. Просьба моя к вам — взять меня с собою. Вы выдадите меня за вашего слугу. Достаточно простой приписки к вашему паспорту, чтобы облегчить мне бегство». Это из новеллы Проспера Мериме «Переулочек госпожи Лукреции»¹⁸. Новелла была опубликована через девять лет после смерти почитаемого им русского поэта, которого он много переводил. Что это — случайное совпадение или запомнившиеся Мериме рассказы друзей Пушкина Александра Тургенева и Сергея Соболевского, с которыми французский писатель по-приятельски общался?

Вульфу получить свидетельство на выезд было сравнительно не трудно и удобнее всего, по-видимому, на летние каникулы. Пушкина он впишет в свою подорожную в качестве слуги, что также практиковалось часто. Таким образом, оба пересекают границу в коляске Вульфа. Рассказывая об этом проекте сорок лет спустя, Вульф был краток и шутив. Он сразу оговорился, назвав план «юношеским», то есть несерьезным: «Дошло ли бы у нас дело до исполнения этого юношеского проекта, не знаю; я думаю, что все кончилось бы на словах...»¹⁹

Однако тогда план начал осуществляться не на словах, а серьезно. Поездка зависела от некоторых обстоятельств: финансовых и учебных для Вульфа, а для Пушкина административных. Впрочем, дружа с Пушкиным, и Вульф наверняка попал на заметку осведомителей. Не следует также забывать, что ему было всего девятнадцать.

а мать отнеслась к идее поездки сына с Пушкиным за границу отрицательно. Наконец, чем детальнее друзья обсуждали проект, тем очевиднее становился риск.

Дорога от Михайловского до Дерпта (мы ее проехали, чтобы лучше представить реальность) сейчас длиной 294 километра, а тогда дороги петляли между болотами и оврагами. На лошадях, как писали путешественники, можно преодолеть 150—200 верст в сутки. Значит, до Дерпта беглецам надо добираться полтора-два дня. Дерпт, который в процессе русификации стал Юрьевом, а теперь называется Тарту, был, по существу, воротами в Западную Европу. Из Дерпта за две с половиной сотни лет до этого бежал в Литву Курбский, и Пушкин, разумеется, знал об этом, не случайно помянув сына Курбского в «Борисе Годунове». От этого города рукой подать до Германии. Но «рукой подать» составляло до Таурогена, принадлежавшего России (сейчас Таураге, Литва), и далее до германского Тильзита (превращенного после Второй мировой войны в Советск), — 488 километров, то есть еще около трех дней пути. А там уже настоящая Европа — езжай, куда хочешь.

Выезд за границу, если довериться описанию Карамзина, был весьма прост: нудная и грязная дорога лишь до границы, особенно в плохую погоду. Паспорт Карамзин легко справил в Московском губернском правлении, дабы ехать по суше, через Ригу и Дерпт, а в Петербурге передумал и хотел сесть на корабль, чтобы быстрее оказаться в Германии. Для этого надлежало «объявить» паспорт в адмиралтействе. Там знакомая ситуация: «надписать» документ отказались, так как в нем был указан путь не по воде. Пришлось следовать, как предписано, но это было единственное огорчение. На заставе майор принял путешественника учтиво и после осмотра велел пропустить²⁰. Стражникам Карамзин бросил сорок копеек, чтобы не рылись в чемодане.

На деле, однако, запрещение сменить маршрут не было бюрократической закорючкой, но указывало на непростую систему выезда из страны. О появлении того или иного субъекта с указанием примет и того, что он может вывезти или ввезти недозволенного, кто с ним следует, и прочее, полиция уведомляла заставу заранее спецпочтой или даже курьером. На заставе опытные сыщики беседовали с выезжающим, выясняя, тот ли он, за кого себя выдает. Так что подозрительное лицо вполне могли задержать.

Исчезновение Пушкина, которому запрещено отлучать-

ся из Михайловского, заметили бы сразу. Перехватить беглеца в дороге не стоило труда, тем более что проезжать надо вблизи Пскова. А уж на границе непременно бы задержали. Каторга грозила бы и Вульффу как сообщнику. Но еще раньше рискованным пунктом плана мог стать именно гостеприимный Дерпт. Не говоря о том, что он кишел осведомителями, возможность встретить знакомых, ехавших из Петербурга в Европу или возвращавшихся обратно, была слишком большой. Появись ссыльный Пушкин в Дерпте нелегально, немедленно последовали бы неприятности. Вот почему заговорщики вскоре стали развивать план: как появиться в Дерпте на законном основании, чтобы затем найти возможность осуществить второй этап.

Трудности упирались в одно: отсутствие разрешения на выезд за границу, для которого нужен веский повод. Этот повод был без долгих размышлений предложен Пушкиным, поскольку он уже сочинялся им раньше в Одессе: опасная, лучше всего смертельная болезнь, вылечить которую здесь нельзя, а значит, необходимо квалифицированное (читай: заграничное) хирургическое вмешательство. Сообщение о принципиальной возможности получить разрешение, то есть о том, готовы ли друзья хлопотать за Александра в высших кругах, должен был привезти Лев, а он не ехал. Но в Михайловском неожиданно появился лицейский друг Пушкина Иван Пущин.

Оба они не оставили ни строки относительно проблемы, которая больше всего в то время волновала поэта, хотя даже мелкие подробности их встречи, бесед и прощания можно прочесть в воспоминаниях. Пущин нашел приятеля несколько более серьезным, чем прежде, однако сохранившим веселость. Пили за Русь, за Лицей, за отсутствующих друзей, даже, вроде бы, за революцию. Одиннадцать месяцев оставалось до выхода на площадь тех офицеров, которых стали называть декабристами. Пущин членом их тайного общества уже был, но на деловые вопросы поэта не отвечал. Пушкин понял и не обиделся, сказав: «Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого не стою — по многим моим глупостям»²¹.

У Пущина были основания для скрытности. Много лет спустя, пройдя каторгу, он спрашивает себя: что было бы с Пушкиным, привлеки он его тогда к тайному обществу? Сибирь, если бы и не иссушила его талант, то не дала бы развиваться. Пушкину, по мнению Пущина, необходимо было разнообразие. «...Простор и свобода, для всякого челове-

ка бесценные, для него были сверх того могущественнейшими вдохновениями. В нашем же тесном и душном заточении природу можно было видеть только через железную решетку, а о живых людях разве только слышать»²².

Оставим в стороне вопрос о том, был ли бывший заключенный Пущин свободен от внутренней цензуры, когда писал воспоминания. Но почему у него не возникло вопроса: а предложи он поэту стать членом тайного сообщества, тот согласился бы? Соответствовало это его планам? Думается, отрицательный ответ более отвечает истине. Для Пущина неволя впереди, для поэта она реальность, от которой надо бежать. Пущин был скрытен с другом, а Пушкину скрывать нечего. Наоборот, ему нужен дельный совет давнего друга. Вот почему нам кажется, что тема бегства из России висела в воздухе во время пребывания Пущина в Михайловском. Косвенное доказательство в том, что он привез и они читали рукопись Грибоедовского «Горе от ума».

Пушкин еще раньше в письме к Вяземскому интересовался комедией Грибоедова, в которой (до Пушкина дошли слухи) выведен Чаадаев. Читая, слушая, споря, Пушкин видел перед собой автора, который презирал окружающую его реальность не меньше, чем он сам. Понимал ли Пушкин то, что позже сформулирует Грибоедов: горстка прапорщиков не перевернет Россию? Впрочем, он и сам мог высказать подобную мысль. А выход? Грибоедов указал его недвусмысленно: «Бегу, не оглянусь...» Если воздуха не хватает, для интеллигентного человека остается, по Грибоедову, один выход: «И вот та родина... Нет, в нынешний приезд, я вижу, что она мне скоро надоест». Практически Пушкин копировал Чацкого: «Карету мне, карету! Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок». Только идти искать надо было, в отличие от Чацкого, без пафосных монологов, тихо.

Пушкин нуждался в помощи друзей, а ни брат, ни Дельвиг не приезжали. Пущин же видел положение русского интеллигента в ином свете: он думал о переустройстве России и своем месте в этом процессе. Ни практических советов, ни помощи в финансировании предприятия Пущин предложить не мог, кроме банального совета попытаться выхлопотать разрешение.

Могли они также, по-видимому, договориться, что Пущин подаст сигнал, чтобы Пушкин тихо прикатил в Москву. Это не наша гипотеза: Анна Ахматова заметила, что

задуманный как раз в это время Дон Гуан приезжает тайно в столицу, чтобы повидать друзей, и это, по ее мнению, несомненная параллель с биографическим эпизодом сочинителя. Как часто бывает, творческое воображение опережало, а иногда и вообще заменяло поступки. Сам Пушкин в это время сильно ушиб руку: лошадь поскользнулась на льду, и он упал.

С легальным отъездом было не так легко, как друзья могли предполагать. Пущин из конспирации поехал не специально к Пушкину: целью поездки было навестить сестру, Екатерину Набокову. И все-таки в Михайловское явился священник Иона, дабы проверить поведение хозяина и гостя, а затем сообщить по инстанциям. В результате полиция, правда, спутав Ивана Пущина с соседом поэта Павлом Пущиным, который хотел в то время поехать за границу, разрешения на поездку последнему не выдала. Полиция ошибалась, но следила внимательно.

Серьезно ли поэт готовился к отъезду? Пушкин подчеркивал, что относится к литературе как к явлению универсальному. Словно вспомнив детство, он написал стихотворение по-французски. О чем эти стихи? О розе, которая отделилась от родного стебля, — вполне прозрачная аналогия. На практике же Пушкин не рвал деловые связи, беспокоился о публикациях в Петербурге и Москве, об ошибках и пропусках, отправил к Плетневу в Петербург поправки к «Евгению Онегину». Поэт проводил время то в Тригорском, то с Ольгой, дочерью приказчика Калашникова. Калашникову Пушкин доверял письма. Тот возил их в Петербург: три дня туда — столько же обратно, и письма эти миновали почту. Возил также рукописи, книги и вещи, которые Лев посылал в Михайловское.

Через три или четыре дня после приезда Пущина Вульф должен был уехать в Дерпт на следующий семестр, а окончательное решение не приняли и не договорились о шифре для переписки. Одной из нерешенных загадок пушкинистики остается исчезновение всех писем Вульфа, которые он посылал Пушкину. Скорей всего письма эти, содержащие нежелательные для постороннего глаза сведения, Пушкин сжег вместе с другими своими бумагами, когда ждал обыска²³.

Простившись с Пущиным и Вульфom, поэт сидит у моря и ждет погоды, как он сам написал в письме. Брат так и не прибыл. Родители и друзья отговорили Льва ехать, запугав строгими карами, которым он мог подвергнуться за по-

мощь брату в бегстве. Пушкин пытается доказать Льву, что брат за брата не ответчик. «Твои опасения насчет приезда ко мне вовсе несправедливы, — пишет он в конце января или начале февраля 1825 года. — Я не в Шлиссельбурге, а при физической возможности свидания лишить одного двух братьев была бы жестокость без цели, следственно вовсе не в духе нашего времени, ни...» (X.98) Строчка осталась не оконченной, мы можем лишь гадать, что еще поэт имел в виду.

Но у Льва есть основания испугаться. В дни, когда Пушкин отправляет из Михайловского письмо, в Петербурге выходит отдельной книжкой первая глава «Евгения Онегина», написанная еще в Кишиневе и Одессе, и в ней черным по белому:

Когда ж начну я вольный бег?
 Пора покинуть скучный брег
 Мне неприятной стихии... (V.25—26)

Открывается издание посвящением помощнику в побеге брату Льву. В письмах Пушкин полон уверенности, что на русском Парнасе скоро произойдут перемены. Какие именно? Жуковский писал Пушкину: «По данному мне полномочию предлагаю тебе *первое* (выделено Жуковским. — Ю. Д.) место на Русском Парнасе» (Б. Ак. 13.120). От первого места Пушкин отказывается. Он назначает сам себя Министром иностранных дел на Парнасе, что более соответствует его интересам, а на Русском Парнасе он оставляет вместо себя Рылеева. В этой игре словами, кажется нам, тоже отразились мысли поэта о бегстве.

Глава третья **ЛЕГАЛЬНО, ДЛЯ ОПЕРАЦИИ**

*Если бы Царь меня до излечения отпустил
 за границу, то это было бы благодеяние, за которое
 я вечно был ему и друзьям моим благодарен.*

Пушкин — Жуковскому, между 20 и 25 апреля 1825

Во время Рождественских каникул в беседах с Алексеем Вульфом Пушкин то и дело возвращается к вариантам

отъезда. Примерно в то же время он сочиняет несколько странное произведение, которое он никак не озаглавил, но которое названо пушкинистами «Воображаемый разговор с Александром I». Разумеется, опубликован набросок не был. С трудом расшифрованный текстологами черновик в сочинениях Пушкина печатается сплошным потоком, без абзацев. Между тем в нем звучит явный диалог царя с поэтом о поведении последнего.

Обращение к императору дружеское и непринужденное, но строгое. Поразительно то, что поэт предвидит беседу, которая состоится с царем, правда, с другим, через полтора года. В рукописи соседствуют мысли, противоречащие одна другой. Но самое интересное для нас видится в конце. Сперва Пушкин написал, что он сделал бы с поэтом на месте царя Александра: «Я бы тут отпустил А.Пушкина». Желание оформилось в своего рода записанный сон: отпустить, конечно же, за границу. Затем Пушкин зачеркнул эту мысль и написал, что император бы «рассердился и сослал его в Сибирь» (Б. Ак. 11.24 и 298). Было предположение, что воображаемый разговор с царем написан Пушкиным специально для друзей²⁴.

Чтобы выбраться из России, у Пушкина два варианта: легальный и тайный. Каждый раз, испытав тщетность одного, он обращается к другому. Переходы эти сопровождаются унынием, упадком сил. Неверие в достижение результата незаметно подкрадывается еще до очередной попытки. Однако весной 1825 года, состояние у него хотя и не очень хорошее, но все же лучше, чем он описывает Вяземскому: «У меня хандра и нет ни единой мысли в голове моей» (X.107). А вот Рылееву: «Тебе скучно в Петербурге, а мне скучно в деревне. Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа. Как быть?» (X.113) Пушкин сгущает краски, чтобы заставить друзей, на которых он возложил определенные поручения, действовать, не тянуть.

В сущности, он пытается осуществить и легальный, и нелегальный способы уехать одновременно. Настроение портит лишь растянутость ожидания, невыполняемость просьб, срыв сроков, о которых договаривались. Он спешит срочно получить три тысячи рублей за стихотворения, переизданные без его ведома. «Хотел бы я также иметь, — просит заговорщик у брата, — «Новое издание Собрания русских стихотворений», да дорого 75 р. Я и за всю Русь столько не даю» (X.101). «Писал ли я тебе о

калошах? не надобно их» (Х.102). В самом деле, зачем в Европу везти калоши, привезенные оттуда? Надобно другое, и Лев в Петербурге выполняет срочные и важные поручения брата: закупает ему в больших количествах вино, ром (12 бутылок), лимбургский сыр, а кроме того, дорожный чемодан. Б. Модзалевский, комментируя это письмо поэта, писал: «О дорожном чемодане просил Пушкин брата и ранее — когда деятельно собирался бежать за границу»²⁵.

Родители и друзья в Петербурге встревожены. Мать пишет письмо Осиповой в Тригорское, спрашивая о состоянии сына (письмо не сохранилось). Осипова немедленно отвечает, но не ей, а отцу Пушкина. Письмо Осиповой тоже неизвестно, но если оно повторяет предупреждение Жуковскому о том, что Пушкин собирается бежать за границу, в этом нет ничего хорошего. Княгиня Вера Вяземская шлет Пушкину письмо, выражая беспокойство в связи с рассказом Ивана Пущина. Все они волнуются не случайно. Их тревога вызвана также состоянием здоровья Пушкина, на описание которого поэт не жалеет красок.

Пушкин приступает к подготовке нового варианта выезда: царь, учитывая его здоровье, подорванное смертельной болезнью, вынужден будет дать разрешение. Свою позицию Пушкин объясняет так: «...более чем когда-нибудь обязан я уважать себя — унизиться перед правительством была бы глупость» (Х.97). Предстоящие действия требуют решительности не только от самого зачинщика, но и от его окружения. Он распяет себя перед сражением. Это самовнушение, он убеждает самого себя в том, что добьется цели, иначе нет смысла и начинать.

Момент вроде бы опять подходящий. С одной стороны, брань в печати: «Онегин» — грубая и бедная копия Байрона, и совет автору сделаться «русским и более оригинальным»²⁶. С другой — императрица Елизавета Федоровна, которой Карамзин дал «Руслана и Людмилу», получила удовольствие от чтения — факт пригодится для просьбы о спасении заболевшего сочинителя.

Идея зазвучала еще в Одессе и ожила в Михайловском: смертельное заболевание. «Вот уж 8 лет (в других местах Пушкин пишет 5 лет и 10 лет. — Ю. Д.), как я ношу с собою смерть» (Х.71). Сам больной (к врачам он не обращался) определяет свою болезнь как «аневризм» и «род аневризма». Согласно современным взглядам, аневризм

есть выбухание ограниченного участка истонченной стенки сердца, обычно после инфаркта, или ограниченное расширение просвета артерии вследствие растяжения и выпячивания ее стенки при атеросклерозе, сифилисе или повреждении. Несколько упрощенное, но так же это понималось тогда. Даль, сверстник, друг Пушкина и врач, объяснял, что аневризма — растяжение, расширение в одном месте боевой жилы (артерии). Всякого рода аневризмы были модными болезнями того времени.

По сути заболевание действительно серьезное. Но Пушкин жаловался на аневризм сердца (*un anévrisme de cœur* — X.142), а мать Пушкина писала, что у него «аневризм в ноге»²⁷. Потом и поэт решил жаловаться на аневризм на правой голени. Врач и пушкинист В. Вересаев писал так: «По-видимому, Пушкин действительно страдал варикозным расширением вен нижних конечностей. Но, конечно, все его жалобы на эту болезнь имели одну цель, — чтобы его отпустили для лечения за границу»²⁸. На самом деле от этой болезни поэт не страдал вообще. Он просил брата прислать ему «книгу об верховой езде — хочу жеребцов выезжать» (X.109). Оригинальное занятие для человека с тяжелой формой аневризмы! Доказательством здоровья является тот простой факт, что после попыток выехать для операции из Михайловского Пушкин об аневризме просто забыл.

Выдумка очевидна, но легенда могла показаться убедительной. Пушкин жаловался еще на юге, но всякая тяжелая болезнь прогрессирует. Лечение за границей при отсталости отечественной медицины считалось вполне нормальным явлением и даже хорошим тоном. Все состоятельные люди ездили лечиться, или принимать ванны, или просто пить целебную воду на курортах Европы. Традиция не делала исключения ни для царской фамилии, ни для чиновников, ни для военных. Ездили и целыми семьями.

Выезд на лечение обычно не вызывал возражений «высшего начальства», как называл правительство Пушкин. И выдуманные болезни не были препятствием, так как их легко изображали больные и не могли проверить врачи. Жена Николая Огарева вспоминала аналогичную историю, произошедшую тридцать лет спустя: «Не без хлопот получили наконец паспорт на воды, по мнимой болезни Огарева, для подтверждения которой Огарев разъезжал по Петербургу, опираясь на костыль...»²⁹

Сразу за границу — Пушкину ясно — его не выпустят. Имело смысл проситься лишь в Дерпт (Тарту) и только для операции. Дерпт был небольшим и весьма провинциальным уездным городом Лифляндской губернии, зато университет в нем считался одним из старейших в Европе и лучшим из шести российских. Либеральней других, он даже был разогнан, но в начале XIX века восстановлен. Профессура и язык, на котором преподавали, оставались немецкими. В Дерпте имелся «профессорский институт для природных россиян», то есть институт повышения квалификации и переподготовки кадров для других учебных заведений России. «Дерптский университет, — писал известный хирург Николай Пирогов, — тем отличался от других русских университетов, что он возобновляет свои силы, заимствуя их прямо от Запада...»³⁰

Перед отъездом Вульф убедил Пушкина, что медицинское свидетельство о необходимости лечения за границей получить удастся. Имелись знакомые, а также знакомые знакомых, которые могли посодействовать, оказав протекцию. Остановились на докторе Мойере, фигуре, идеально подходящей.

Иоганн Христиан Мойер (он же Иван Филиппович) был тридцатидевятилетним профессором Дерптского университета и заведовал университетской хирургической клиникой. Родился он в немецкой семье обер-пастора в Ревеле (Таллинне). Мойер получил богословское образование в Дерпте, где был единственный в России теологический факультет лютеранской ортодоксии, затем поехал учиться медицине в Геттинген, Павию и Вену. Крупная и влиятельная фигура, Мойер стал позже ректором Дерптского университета. Доктор слыл также талантливым музыкантом и поддерживал дружеские отношения с Бетховеном.

Русское общество в Дерпте было немногочисленное. В доме Мойера собирался местный и проезжий столичный бомонд. Кого только не заносила к нему судьба из представителей европейской культуры, рекомендованных общими знакомыми да и просто едущих мимо интересных людей! Алексей Вульф водил знакомство с Мойером и бывал у него в гостях; Пушкин не раз слышал о Мойере.

Великодушный, открытый, трудолюбивый, талантливый и щедрый человек, этот обрусевший иностранец оказывал гостеприимство многим. «Он имел влияние на самого начальника края маркиза Паулуччи, — писал Аннен-

ков. — Дело состояло в том, чтобы согласить Мойера взять на себя ходатайство перед правительством о присылке к нему Пушкина в Дерпт как интересного и опасного больного, а впоследствии, может быть, предпринять и защиту его, если Пушкину удастся пробраться из Дерпта за границу под тем же предлогом безнадежного состояния своего здоровья. Город Дерпт стоял тогда если не на единственном, то на кратчайшем тракте за границу, излюбленном всеми нашими туристами»³¹.

Мойер, едва ему предложили, согласился немедленно ехать, чтобы спасти первого для России поэта (его собственные слова). Однако приезд хирурга вовсе не входил в план михайловского заговорщика. Мыслилось наоборот: убедить хирурга ходатайствовать о присылке Пушкина к нему, а затем ни в коем случае не лечить больного, отказаться оперировать его, а воспользоваться своим авторитетом, влиянием и связями, чтобы отправить пациента для операции и излечения дальше на Запад.

Для того чтобы сноситься по почте о претворении плана в жизнь, Вульф и Пушкин договорились вести переписку, не вызывающую подозрений при контроле почты. Первичная перлюстрация писем от Пушкина и к Пушкину осуществлялась в Пскове, а затем уже в Петербурге и Москве. Часть писем задерживалась. «Дельвига письма до меня не доходят», — жаловался поэт брату (X.125). Пушкин старался, если не забывал, говорить намеками, впрочем весьма прозрачными. В данном случае речь в письмах должна идти о коляске, будто бы взятой Вульфom для отъезда в Дерпт. Если доктор Мойер согласится просить Лифляндского и Курляндского генерал-губернатора маркиза Паулуччи о больном Пушкине, Вульф напишет, что он собирается немедленно отправить коляску назад владельцу. Если же Пушкин прочтает в письме, что Вульф хочет оставить коляску у себя, значит, успех под сомнением.

Кроме того, Вульф должен в закодированном виде сообщать Пушкину вообще всякую информацию, касающуюся данной проблемы. Ехавшие из России путешественники подолгу останавливались в Дерпте, доставляя знакомым свежие столичные новости и сплетни. Вульф выяснит, что в новостях касалось Пушкина. В письмах сообщения Вульфа будут выглядеть так: тема — издание в Дерпте полного собрания сочинений Пушкина — проблема выезда. Слова главного цензора, касающиеся возмож-

ности издания, — это шансы поэта на выезд, то есть слухи о настроении «высшего начальства». Заметки первого, второго и т. д. наборщиков — мнения того или другого из представителей местных властей и проч.³²

Весна идет к концу, и после длительного бездорожья близится хорошее время для давно задуманного путешествия. Но Вульф не торопится. Возможно, с Мойером он и не говорил. Пушкин строчит ему письмо и, взяв мать Вульфа Осипову себе в соавторши, просит ее позвать сына домой, дабы решить неотложные вопросы. К письму Пушкина, адресованному Вульфу в Дерпт, видимо, по просьбе поэта его соседкой сделана приписка о подготовке Вульфа к этой поездке. Осипова пишет весьма недвусмысленно о намерении сына ехать за границу летом: «Очень хорошо бы было, когда бы вы исполнили ваше предположение приехать сюда. Алексей, нам нужно бы было потолковать и о твоём путешествии»³³. «Нам» — имеется в виду Осиповой с Пушкиным.

Похоже, однако, что под влиянием матери, которой замысел не нравится, Вульф тоже обещает на словах помочь, но ничего не делает, тянет, чтобы побег не состоялся. Пушкин тем временем начинает действовать на другом фланге, запуская вперед уже не пешки, но фигуры. В Петербурге Лев получает распоряжение рассказать о болезни Пушкина Жуковскому.

Во-первых, тот с Мойером родня: сводная сестра его по отцу была тещей Мойера, а сам он был женат на любимой племяннице Жуковского Марье Протасовой, которая два года назад умерла. Поэт и сам мечтал на ней жениться. Во-вторых, Жуковский хорошо знаком с губернатором Паулуччи и виделся с ним, когда тот бывал в Петербурге. В-третьих, и это очень важно, Жуковский имеет влияние на царствующую чету. Наконец, в-четвертых, он собирался в Германию через Дерпт, ему и карты в руки. Не случайно письмо Пушкина к Мойеру, посланное несколько позднее, исследователи обнаружили в бумагах Жуковского³⁴. Значит, он и Мойер вели переговоры о болезни Пушкина.

Лев тоже не очень спешил исполнить поручение брата. Пушкин надеется, что к нему приедет Дельвиг. Собирался к нему и Кюхельбекер. А вскоре приходит письмо из Москвы: Пущин тоже подключился помогать другу. Он спрашивает, получил ли Пушкин деньги, сообщает, что из Па-

рижа ожидается приезд их общего лицейского приятеля Сергея Ломоносова. Дипломат, уже отработавший секретарем в русском посольстве в Вашингтоне и теперь служащий в Париже, Ломоносов собирается по пути свернуть из Дарпта и навестить михайловского отшельника.

Из этих троих приехал в апреле 1825 года Дельвиг. Вальясь на диване, он внимательно выслушивал поручения друзьям в Петербурге. Он все понял и увез с собой письма. Кстати, письма Пушкина к Дельвигу сразу после смерти Дельвига были уничтожены во избежание прочтения полицией. Прошел месяц, на дворе май, а дело ни с места. Пушкин написал брату, что ждет от Дельвига «писем из эгоизма и пр., из аневризма и проч.» (Х. 112). Смысл понятен: получить разрешение выехать для операции аневризмы. Ну, что же они не действуют: ни Дельвиг, ни Вульф, ни Жуковский, ни Мойер? Чего тянут?

Трудность состояла в том, что в основе замысла лежал подлог. Пушкин в операции не нуждался, а добросовестного врача и порядочного человека Мойера склоняли к лжесвидетельствованию. Возможно, цель оправдывала средства, но ни Вульф, ни Дельвиг не спешили разглашать суть дела и вводили в заблуждение других участников. Те, кто должны помочь Пушкину — Жуковский и сам Мойер, — приняли аферу за чистую монету.

Мать и брат не пожалели красок, чтобы напугать Жуковского. Обеспокоенный страшным заболеванием друга, Жуковский пишет Пушкину, умоляя обратить на здоровье самое серьезное внимание. Он просит написать ему подробнее, чтобы начать хлопоты о лечении. С генерал-губернатором Паулуччи уже предварительно переговорено, но сути дела Жуковский никак не может уяснить. «Причины такой таинственной любви к аневризму я не понимаю и никак не могу ее разделять с тобою, — пишет он. — Теперь это уже не тайна, и ты должен позволить друзьям твоим вступить в домашние дела твоего здоровья. Глупо и низко не уважать жизнь. Отвечай искренно и не безумно. У вас в Опочке некому хлопотать о твоём аневризме. Сюда перетащить тебя теперь невозможно. Но можно, надеюсь, сделать, чтобы ты переехал на житье и лечение в Ригу» (Б. Ак. 13. 164).

Несказанно удивился Пушкин, с одной стороны, непонятливости друга, а с другой — возможности перебраться на море. Но если с маркизом Паулуччи Жуковский пере-

говорил, а дело не решено, то какие еще хлопоты нужны? Куда обращаться? Ответ напрашивался сам собой. Маркиз Паулуччи рад пойти навстречу, но он лицо должностное. Именно Паулуччи придумал гуманную форму слежки и просил помещика Пещурова поручить отцу поэта надзор за сыном. Вряд ли можно рассчитывать, что Паулуччи отступит от установленного порядка и не испросит разрешения у тех, унижаться перед которыми Пушкин еще недавно считал глупостью. Сам маркиз Паулуччи, пробыв наместником в Прибалтике до 1829 года, отказался от царской службы и уехал в Италию.

Если хочешь выехать, понимает Пушкин, гордость надо положить в карман и нижейше просить, обещать, что ты был, есть и будешь послушным и преданным. Что касается аневризмы, то должен же Жуковский понять подтекст. «Вот тебе человеческий ответ: мой аневризм носил я 10 лет и с Божией помощью могу проносить еще года три. Следственно, дело не к спеху, но Михайловское душно для меня. Если бы царь меня до излечения отпустил за границу, то это было бы благодеяние, за которое я бы вечно был ему и друзьям моим благодарен» (X.111).

Жуковский не понял сути просьбы или сделал вид, что не понял, ибо «душно» в Михайловском может означать желание вернуться в Петербург. Но и Пушкин не считался с реальными возможностями Жуковского: сочинил прошение Александру I, и Жуковский должен передать бумагу наверх, дабы решить дело в пользу Пушкина.

«Смело полагаясь на решение твое, посылаю тебе черновое самому Белому; кажется, подлости с моей стороны ни в поступке, ни в выражении нет. Пишу по-французски, потому что язык этот деловой и мне более по перу. Впрочем, да будет воля твоя: если покажется это непристойным, то можно перевести, а брат перепишет и подпишет за меня». Игривый тон смягчал важность сопровождающего письма и вряд ли настраивал Жуковского на серьезный лад. Вслед за жизненно важной просьбой шли стишки, посвященные общему приятелю, отбывающему за границу:

Веселого пути
Я Блудову желаю
Ко древнему Дунаю
И мать его ети. (X.111)

В прилагаемом Пушкиным прошении на имя царя Жуковский с удивлением прочитал нечто обратное тому, что написано в письме: «Мое здоровье было сильно расстроено в ранней юности, и до сего времени я не имел возможности лечиться. Аневризм, которым я страдаю около десяти лет, также требовал бы немедленной операции. Легко убедиться в истине моих слов». Итак, в письме к Жуковскому — насчет аневризма «дело не к спеху», а в приложенном письме на имя императора — аневризм требует «немедленной операции». Сомневаемся, что Жуковский легко сообразил, где истина и где вранье. Далее Пушкин переходил к сути: «Я умоляю Ваше Величество разрешить мне поехать куда-нибудь в Европу, где я не был бы лишен всякой помощи» (Х.604—605, пер. с фр.).

Предложение о замене письма поэта переводом за подписью брата Льва не было странным. Друзья знали, что почерки обоих Пушкиных изумительно похожи, а подписи почти идентичны. Но, разрешая перевести свое письмо, поэт не предполагал, как это будет истолковано. Жуковский отправился к Карамзину. Не исключено, что они прошупывали почву и еще с кем-то советовались. Придумали, что достичь желаемого разрешения легче, если к всемилостивейшему монарху обратится не сам больной ссыльный поэт, а его чувствительная мать, скорбящая от нависшей над ее чадом угрозы смертельной болезни.

Текст прошения долгое время не был известен. Черновик обнаружен М.Цявловским в Румянцевском музее подшитым в книгу писем Пушкина брату, а беловик опубликован в 1977 году в деле «О всемилостивейшем позволении уволенному от службы коллежскому секретарю Александру Пушкину... приехать в г. Псков и иметь там пребывание для лечения болезни». Дело начато 11 июня 1825 года, а закончено 3 февраля 1826 года. Оно находится в архиве Генштаба, куда шла вся почта к царю, когда тот был в отъезде. До этого в Генштабе пушкинских документов не искали.

«Ваше Величество! — обращается мать Пушкина к царю 6 мая 1825 года. — С исполненным тревогой материнским сердцем осмеливаю припасть к стопам Вашего Императорского Величества, умоляя о благодеянии для моего сына! Только моя материнская нежность, встревоженная его тяжелым состоянием, позволяет мне надеяться, что Ваше Величество соизволит простить меня за то, что я утруждаю Его мольбой о благодеянии. Ваше Ве-

личество! Речь идет о его жизни. Мой сын страдает уже около 10 лет аневризмой в ноге; болезнь эта, слишком запущенная в своей основе, стала угрозой для его жизни, особенно если учесть, что он живет в таком месте, где ему не может быть оказано никакой помощи! Ваше Величество! Не лишайте мать несчастного предмета ее любви. Соболаговолите разрешить моему сыну поехать в Ригу или какой-нибудь другой город, какой Ваше Величество соболаговолит указать, чтобы подвергнуться там операции, которая одна только дает мне еще надежду сохранить сына. Смею заверить Ваше Величество, что поведение его там будет безупречным. Милость Вашего Величества является лучшей тому гарантией. Остаюсь с глубоким уважением Вашего Императорского Величества нижайшая, преданнейшая и благодарнейшая подданная Надежда Пушкина, урожденная Ганнибал»³⁵.

Любопытно, что имя сына, которого мать просит спасти, вообще отсутствует. Начальник Генштаба генерал-фельдмаршал Иван Дибич получил письмо и велит жандармскому полковнику Бибикову выяснить, «не мать ли того Пушкина, который пишет стихи». Запрос пошел отцу, и тот 13 мая подтвердил, что это его сын, но на всякий случай прибавил, что он о письме не знал, и даже перепоручил отцовство царю: мол, письмо извинительно «для матери, умоляющей отца своих подданных за сына»³⁶.

Затем последовал запрос в канцелярию Государственной коллегии иностранных дел. Оттуда сообщили, что Пушкин уволен со службы «под надзор». В результате принимается гуманное решение. Генерал Дибич сообщил матери письмом от 26 июня о царской милости: в Ригу ехать не обязательно, разрешается лечиться в Пскове. Мать, получив депешу генерала Дибича в Ревеле, куда они приехали с дочерью на морские купания, ответила благодарственным письмом.

Любопытно также, что цель, которой добивался Пушкин, а именно заграница, вообще в прошении матери не названа, а упомянуто то, за что предлагал хлопотать Жуковский, — Рига или любой другой город, угодный царю. Значит, прошение сочинялось по указаниям Жуковского. У многочисленного круга людей, знавших Пушкина, не возникало ни малейших сомнений, что он болен.

Журнал «Советские архивы», публиковавший материалы из архива Генштаба, придерживался легенды, что Пуш-

кин действительно «страдал аневризмом, варикозным расширением вен на ноге»³⁷. В период массовой эмиграции «третьей волны» из СССР в семидесятые годы XX века сказку о болезни, сочиненную поэтом, советской пушкинистике пришлось толковать серьезно: все-таки Пушкин ехал за границу лечиться, а не изменять родине.

Между тем он пишет письма в Москву, Одессу, Петербург. Прося одних знакомых помалкивать, другим в это время сообщает, что хочет «полечиться на свободе»³⁸. О том, что происходит в Петербурге, Пушкин не знает, в состоянии сдержанного оптимизма проходит два месяца. Он бывает в Тригорском и вместе с барышнями строит планы, полные надежд, даже договаривается ехать в Дерпт и Ригу вместе с Осиповой и Вульфом. Приходит приятная новость: туда же собирается на лето Вяземский. В альбом Осиповой вписывается стихотворение, в котором поэт прощается с обитателями Тригорского.

Быть может, уж недолго мне
В изгнанье мирном оставаться,
Вздыхать о милой старине
И сельской музе в тишине
Душой беспечной предаваться.
Но и вдали, в краю чужом,
Я буду мыслию всегдашней
Бродить Тригорского кругом,
В лугах, у речки, над холмом,
В саду, под сенью лип домашней.
Когда померкнет ясный день,
Одна из глубины могильной
Так иногда в родную сень
Летит тоскующая тень
На милых бросить взор умильный. (II.229)

У него предчувствие, что скоро мечта попасть в чужие края сбудется. Он утверждает, что вернется сюда только мысленно, а реально никогда, как невозможно вернуться из глубины могильной. Предчувствие обманывает Пушкина.

В связи с прошением матери 21 июня 1825 года поступил запрос начальнику канцелярии Главного штаба от канцелярии Коллегии иностранных дел, а 22 июня (никакой бюрократии) дан ответ³⁹. 23 июня отправлены два сек-

ретных предписания. Лифляндский гражданский губернатор Осип Дюгамель и Псковский губернатор Борис фон Адеркас извещены, что Пушкин может приехать в Псков и пребывать там до излечения от болезни, с тем, чтобы Псковский гражданский губернатор имел «наблюдение как за поведением, так и за разговорами г. Пушкина»⁴⁰. 25 июня он записал в альбом приведенные выше стихи о скором отъезде на чужбину, а 26 июня (он еще не подозревает) получено высочайшее распоряжение: дальше Пскова его не пускать. Знай это Пушкин, стихотворение об отъезде в дальние края он наверняка бы не писал.

Столь грандиозно задуманное мероприятие свелось к тому, что он мог давно сделать сам: просто съездить в Псков к врачу. Узнав о милости начальства, Пушкин пришел в бешенство. А в это время в Петербурге баснописец Иван Крылов, словно насмехаясь над другом Пушкиным, написал еще одну басню про соловья, вскоре опубликованную:

А мой бедняжка Соловей,
Чем пел приятней и нежней,
Тем стерегли его плотней⁴¹.

Глава четвертая ЗАГОВОР С ТИРАНСТВОМ

*...жду, чтоб Некто повернул сверху кран...
у нас холодно и грязно — жду разрешения моей участи.*

Пушкин — Вяземскому, начало июля 1825

«Что же ты, голубчик, невесело поешь?» — спрашивает его Вяземский (Б.Ак.13.181). Не в первый раз мучительное желание Пушкина выехать встречало непонимание близких людей. В очередной неудаче, в провале плана Пушкин обвиняет родных и друзей, в руках которых была его судьба. В первую голову виноват брат. Если раньше Пушкин писал в стихотворении, что тот самоотверженно «забыл для брата о себе» (чего никогда не бывало, но хотелось, чтобы было), то теперь Лев осложняет поэту жизнь: «Он знал мои обстоятельства и самовольно затрудняет

их. У меня нет ни копейки денег в минуту нужную, я не знаю, когда и как получу их» (X.122).

У Льва, которого друзья звали Лайеном, была отличная память, он помнил даже то, что лучше бы забыть при его невоздержанности на язык. Он выполнял второстепенные просьбы брата, а жизненно важные оттягивал. Выучив наизусть поэму «Цыганы», он читал ее в салонах, охотно отвечая на многочисленные вопросы слушателей, Лев болтал лишнее. Константин Сербинович, чиновник особых поручений при министре народного просвещения, записал в своем дневнике, что Лев давал ему читать письма брата. И не ему одному. Пушкин словно чувствовал, когда приказывал, чтобы Вяземский вторую главу «Евгения Онегина» «никому не показывал, да и сам (то есть ты, Лев. — Ю. Д.) не пакости» (X.110).

Получив тетрадь стихотворений для быстреего издания и соответственно выплаты денег, Лев за четыре месяца не удосужился переписать тексты для представления в цензуру. Он читал эти стихи в гостях, охотно записывал в альбомы приятельницам, а полученные гонорары, в том числе и для уплаты старых долгов брата, проматывал. Соболевский писал:

Наш приятель Пушкин Лёв
Не лишен рассудка,
Но с шампанским жирный плов
И с груздями утка
Нам докажут лучше слов,
Что он более здоров
Силою желудка⁴².

Разболтал Лев приятелям и о планах брата бежать за границу, а те распространили весть среди своих знакомых. Остается удивляться, как в этой атмосфере Александр I принял болезнь Пушкина всерьез. По воспоминаниям друга Пушкина Нащокина, государь приказал сказать ему, что от этой болезни можно вылечиться и в России⁴³. Много людей узнало о тайных планах побега. «Тут об тебе, Бог весть, какие слухи...» — пишет Кондратий Рылеев Пушкину (Б. Ак.13.241). Однако в связи со слухами небезынтересно оглядеть круг людей, которым намерения поэта были известны. Разделим их, несколько, впрочем, искусственно, на две группы: соучастники и посвященные.

К соучастникам отнесем тех лиц, коих сам Пушкин втянул в замыслы, кто так или иначе советом или делом участвовал в подготовке его выезда за границу. Некоторые из них, возможно, и не собирались на деле помогать ему. К просто посвященным отнесем тех, кто проник в тайну. Одни, узнав, молчали, другие спешили проинформировать знакомых. Не станем утомлять читателя составлением списков и просто отметим: соучастников было около двух десятков человек; посвященных — как минимум сотня. И это число продолжало увеличиваться. Пушкин прозрачно намекал в письмах как о том, что собирается бежать, так и о том, что вовсе не собирается.

В начале лета, когда обсуждался приезд Мойера и Пушкин старался избежать операции в Пскове, среди соучастников появилась новая женщина. Да какая! «Гений чистой красоты», как назовет он ее вскоре. К сожалению, в отличие от одесской ситуации, когда женщины старались ему помочь, в этой, так сказать, деловой части романа почти ничего не ясно. То есть сама генеральша Анна Керн (а речь, разумеется, о ней) известна даже больше, чем необходимо для биографии поэта. А об участии ее в бегстве Пушкина за границу ни она сама, ни мемуаристы сведений не оставили. Можем лишь выстроить вереницу догадок.

Хотя Пушкин встречался однажды с Керн раньше, время увлечения ею падает на середину июня — середину июля 1825 года, когда она приезжала в Тригорское к своей тетке Осиповой. Ее мужу-генералу шестьдесят, ей двадцать пять, не так уж мало по тем временам. Да и вообще, как считает Вересаев, тогда в Михайловском до интима не дошло, поскольку у Керн были в разгаре два других романа: с Алексеем Вульфом и соседом-помещиком Рокотовым⁴⁴. Через год после того, как они с Пушкиным расстались, Керн родила третью дочь, значит, ребенок этот был не от поэта.

Анна Керн была внучкой губернатора Орловской губернии и дочерью предводителя дворянства Лубны в Украине, женщиной умной и приятной в общении. Что же касается ее небесной красоты, которая стала легендой и одним из связанных с Пушкиным мифов, то это несколько преувеличено. На единственном сохранившемся документированном портрете она выглядит слишком простодушно, чтобы привлечь внимание поэта — выдающегося светского волокиты, действовавшего в конкурентной борьбе со своими приятелями. Соболевский отмечал, что у нее были

некрасивые ноги. Впрочем, в глуши и вне конкуренции женщина вправе рассчитывать на более высокую оценку ее достоинств.

Но прекратим злопыхательство. Красавица эта до Пушкина выдержала не один экзамен в свете. В нее были влюблены отец Пушкина, который потом влюбился и в ее дочь, Лев Пушкин, поэт Веневитинов, критик, профессор и цензор Никитенко. Одним из ее успешных поклонников был Александр I. Дельвиг называл Анну Керн «женой №2». После смерти генерала Керна она вышла замуж за человека на двадцать лет моложе себя — еще одно доказательство ее привлекательности.

Роман с поэтом был, в сущности, подготовлен в письмах. Керн писала, что она «истлевала от наслаждений», однако получала наслаждения тогда от других, а не от Михайловского затворника. Тут разгорелась пылкая любовь с тайными записками, интригами (большей частью выдуманными для пущего эффекта), романтическими прогулками в лесу, стремительным натиском, с ревностью к другу Вульффу, никогда не пропускавшему своего случая, и ко всем прочим ее мужчинам. Всё, по выражению поэта, было «и вдоль, и поперек, и по диагонали». Любовь эта многократно описана и обросла легендами. Для нас важнее другое.

В записках, оставленных Керн, нет и намек на то, что она была в курсе его планов. Но дом в Тригорском жил обсуждением деталей пушкинского побега. Хозяйка Тригорского Осипова непосредственно в нем участвовала. Близкая многим друзьям поэта и обожаемая им, могла ли Анна Керн остаться в неведении относительно того, что волновало его в этот период? Мог ли Вульф не нашептать ей о планах бегства? И — была ли она лишь посвященной или же — соучастницей?

Позже Керн писала: «...нахожу, что он был так опрометчив и самонадеян, что, несмотря на всю его гениальность — всем светом признанную и неоспоримую, — он точно не всегда был благоразумен, а иногда даже не умен...»⁴⁵ Но — самое известное в русской лирике стихотворение «Я помню чудное мгновение» он подарил ей. Пускай слова «гений чистой красоты» придумал не он, а Жуковский в стихотворениях «Я музу юную бывало» и «Лала рук», — остальное сочинено в Михайловском. Он дурчится, он подписывает письмо к ней «Яблочный Пирог». Он неблагоприятен, это точно, а вот насчет не умен...

На Пушкина, обиженного всеми, давит разрешение отправляться для операции аневризмы в Псков, и он не знает, как выкрутиться. Письмо его к Жуковскому полно сарказма: «Неожиданная милость Его Величества тронула меня несказанно, тем более, что здешний губернатор предлагал уже иметь жительство во Пскове; но я строго придерживался повеления высшего начальства... Боюсь, чтоб медленность мою пользоваться Монаршею милостью не почли за небрежение или возмутительное упрямство. Но можно ли в человеческом сердце предполагать такую адскую неблагодарность? Дело в том, что 10 лет не думав о своем аневризме, не вижу причины вдруг о нем расхлопотаться» (X.119).

Намерение Пушкина не ехать в Псков вызвало недоумение друзей в Петербурге. Он умолял, они хлопотали, царь дал добро, и такая неблагодарность. Сам не знает, чего хочет. Петр Плетнев, который, скорей всего, от Льва слышал о замысле Пушкина бежать из России, утешает поэта, что не все потеряно. «Дело об отпуске твоём ещё не совсем решилось, — объясняет Плетнев. — Очень вероятно, что при докладе (императору. — Ю. Д.) сделана ошибка. Позволено тебе не только съездить, но, если хочешь, и жить в Пскове. Из этого видно, что просьбу об отпуске для излечения болезни поняли и представили как предлог для некоторого рассеяния, в котором ты, вероятно, имеешь нужду». Плетнев тут же добавляет: «А то известно, что в Пскове операции сделать некому. Итак, на этих днях будут передокладывать, что ты не для рассеяния хочешь выехать из Михайловского, но для операции действительной» (Б. Ак.13.188). Между тем пятнадцать тысяч рублей на пути от Плетнева к поэту (деньги, столь срочно ему необходимые в дорогу) задержались у Льва.

Сам Пушкин считал, что исход был бы положительным, пусть друзья по инстанциям навверх его собственное прошение. «Зачем было заменять мое письмо, дельное и благоразумное, письмом моей матери? — спрашивает он у Дельвига. — Не полагаясь ли на чувствительность... (Тут многоточие; очевидно, поэт не решился назвать царя. — Ю. Д.) Ошибка важная! В первом случае я бы поступил прямодушно, во втором могли только подозревать мою хитрость и неуклончивость» (X.123). Думается, однако, что результат был предопределен, и ни автор прошения, ни его тон значения попросту не имели.

Те, кто ему пытался помочь, все еще не понимают сути дела. В письмах все вертится вокруг да около, за несколько месяцев Пушкин не объяснил, что реальная болезнь отсутствует. Даже в письме, отправленном Жуковскому с оказией (адрес на конверте: Н. А. Ж.), продолжает недоговаривать. Возможно, он их берег: будучи обманутыми, друзья в глазах властей не становились соучастниками подготовки его побега.

«И для нас, тебя знающих, есть какая-то таинственность, несообразимость в упорстве не ехать в Псков, — гадал Вяземский, — что же должно быть в уме тех, которые ни времени, ни охоты не имеют ломать голову себе над разгадыванием твоих своенравных и сумасбродных логогрифов. Они удовольствуются первою разгадкою, что ты — человек неугомонный, с которым ничто не берет, который из охоты идет наперекор власти, друзей, родных и которого вернее и спокойнее держать на привязи подальше» (Б. Ак.13.220).

А Пушкин не без основания опасается, что ему предпишут жительство в Пскове под постоянным надзором платных и добровольных агентов, и бежать будет еще трудней. К тому же там обман обнаружится. Да кого! Самого Его Величества, и с преступной целью. «Друзья мои за меня хлопотали против воли моей и, кажется, только испортили мою участь» (Х.130). Но друзей ли то была вина, когда он толком не объяснил свою волю? В письме к сестре Ольге Пушкин подводит итоги своего поражения в прошедшей кампании.

«Я очень огорчен тем, что со мной произошло, но я это предсказывал, а это весьма утешительно, сама знаешь. Я не жалею на мать, напротив, я признателен ей, она думала сделать мне лучше, она горячо взялась за это, не ее вина, если она обманулась. Но вот мои друзья — те сделали именно то, что я заклинал их не делать. Что за страсть — принимать меня за дурака и повергать меня в беду, которую я предвидел, на которую я же им указывал? Раздражают Его Величество, удлиняют мою ссылку, издеваются над моим существованием, а когда дивишься всем этим нелепостям, — хвалят мои прекрасные стихи и отправляются ужинать. Естественно, я огорчен и обескуражен, — мысль переехать в Псков представляется мне до последней степени смешной; но так как кое-кому доставит большое удовольствие мой отъезд из Михайловского, я жду, что мне

предпишут это. Все это отзывается легкомыслием, жестокостью невообразимой. Прибавлю еще: здоровье мое требует перемены климата, об этом не сказали ни слова Его Величеству. Его ли вина, что он ничего не знает об этом? Мне говорят, что общество возмущено; я тоже — беззаботностью и легкомыслием тех, кто вмешивается в мои дела. О Господи, освободи меня от моих друзей!» (X.612—613, пер. с фр.)

Получив письмо, сестра целый день проплакала. Пушкин оскорблен, с ним поступили как с непослушным ребенком, подменив его деловую просьбу «каким-то патетическим письмом к императору», по выражению Анненкова⁴⁶. Поэт несправедливо упрекает друзей, что не упомянули вредный для него климат, но ведь он сам об этом не просил. «Климатическую» причину он выдвинул только теперь.

Жуковский продолжает действовать, и его настойчивая забота вызывает уважение. Он пишет Мойеру, прося его приехать в Псков прооперировать Пушкина, о чем по-деловому сообщает и в Михайловское: «Оператор готов» (Б. Ак.13.203). Надо только нанять в Пскове квартиру с горницей для доктора, где можно будет произвести операцию. Плетнев тоже сообщает в Михайловское о докторе: «Когда он услышал, что у тебя аневризм, то сказал: Я готов всем пожертвовать, чтобы спасти первого для России поэта. Это мне сказывала Воейкова, которая к нему о тебе писала...» (Б. Ак.13.202)

Добросовестный доктор Мойер немедленно идет к попечителю Дерптского учебного округа Карлу Ливену испросить разрешения на перерыв в занятиях со студентами для отъезда с целью операции. Получив разрешение, он пакует хирургические инструменты и готовится отправиться в Псков. Это сравнительно недалеко — 179 километров, но все равно — день езды с восхода до заката, а то и полтора дня.

Узнав об этом, Пушкин строчит Мойеру письмо, умоляя ради Бога не приезжать и не беспокоиться. «Операция, требуемая аневризмом, слишком маловажна, чтобы отвлечь человека знаменитого от его занятий и местопребывания», — объясняет поэт врачу (X.125). Другим Пушкин будет отвечать, что у него нет денег на хирурга. Третьим — что он может прооперироваться на месте у любого врача. Четвертым — что он обойдется пока без

операции вообще. Несколько лет спустя Пушкин, Жуковский и Мойер встретились и, представляется нам, наверняка затронули в разговоре это происшествие, которое в 1825 году свело их заочно. Но никаких свидетельств их разговора не осталось.

Мысль, что Жуковский все еще совсем не понимает, куда клонит Пушкин, не соответствует истине. В начале августа Жуковский получил письмо от своей племянницы Александры Воейковой. «Милый друг! — пишет она. — Плетнев поручил мне отдать тебе это и сказать, что он думает, что Пушкин хочет иметь 15 тысяч, чтоб иметь способы *бежать* (выделено Воейковой. — Ю. Д.) с ними в Америку или Грецию. Следственно не надо их доставлять ему. Он просит тебя, как единственного человека, который может на него иметь влияние, написать к Пушкину и доказать ему, что не нужно терять верные 40 тысяч — с терпением»⁴⁷.

Как Воейкова оказалась в курсе намерений поэта? Незадолго до этого Лев собственноручно вписывал ей в альбом стихи брата и вполне мог разболтать интригующие сведения, разумеется, под клятву молчать. Слово «Америка», пожалуй, нет оснований воспринимать серьезно. Но, с другой стороны, Воейкова могла слышать это слово от Льва.

19 июля 1825 года, как записала в календаре Осипова, она сама, ее дочери и Анна Керн отправились в Ригу. Поехали, естественно, через Дерпт, где Керн жила раньше и где ее лучшим другом был хирург Мойер. В Риге ее ждал муж — генерал и комендант города. «Достоинейший человек этот г-н Керн, почтенный, разумный и т. д.; у него только один недостаток — то, что он ваш муж» (X.612, фр.). Не туда ли, на берег Балтики, поэт стремится, продолжая флирт в письмах? Письмо, отправленное Анне, кокетливо: «Покинуть родину? удавиться? жениться? Все это очень хлопотливо и не привлекает меня» (X.615).

Неправда, привлекает! И именно Рига. От Михайловского до Риги сейчас 399 километров. Тогда можно было добраться за два, максимум три дня и оттуда в Европу уплыть морем. Пушкин давно уговаривает Анну оставить мужа — всерьез ли? — и рвется к ней, объясняя, что у него «ненависть к преградам, сильно развитый орган полета...» (X.614)

В Риге у Осиповых-Вульффов родня. Помочь может и генерал Керн. Пушкин рассчитывает на его связи с губер-

натором Паулуччи. Найдут влиятельного, а главное, *своего* доктора, готового помочь, и удастся обойтись без чересчур честного Мойера. Такого доктора они действительно нашли, и мы о нем кое-что разузнали. Впрочем, теперь, когда потенциальный жених Пушкин предпочел замужнюю Керн потенциальным невестам — дочерям Осиповой, не говоря уж о ней самой, ненадежность хозяйки Тригорского, возможно, стала более явной.

Иное дело жена генерала Керна. Сильная любовь в напряженный момент жизни. Влюбленность быстро улетучилась: чуть позже Пушкин напишет Вульф с издевкой: «Что делает Вавилонская блудница Анна Петровна?» (X.160) Вересаев доказывает, что любовь Пушкина реализовалась через три года, в Москве, о чем Пушкин, добавим мы, не замедлил похвастаться приятелю своему Соболевскому вульгарной прозой: «Ты ничего не пишешь мне о 2100 р., мною тебе должных, а пишешь мне о *M-me Kern*, которую с помощью Божьей я на днях выеб» (X.189). Через десять лет в письме к жене Пушкин назовет Анну Керн дурой и пошлет к черту (X.428). Отчего же столь грубо? Вересаев пытался объяснить это так: «Был какой-нибудь один короткий миг, когда пикантная, легко доступная барынька вдруг была воспринята душою поэта как гений чистой красоты, — и поэт художественно оправдан»⁴⁸. В советское время на могилу любовницы поэта в Путне, когда мы там побывали, приезжали после загса молодые пары клясться в нерушимости брачных уз.

А тогда Анна Керн, по-видимому, искренне собиралась помочь поэту бежать через Ригу. Перед отъездом Вульфа из Тригорского в Дерпт в конце июля они с Пушкиным проговорили четыре часа подряд, обсуждая варианты выезда. Обида у Пушкина долго не проходит, но брезжит слабая надежда: вдруг передоложат Его Величеству и тот разрешит «рассеяться». Осиповой в Ригу Пушкин пишет: «Друзья мои так обо мне хлопочут, что в конце концов меня посадят в Шлиссельбургскую крепость...» Пушкин просит Осипову ничего не сообщать его матери, «потому что решение мое неизменно» (X.608, фр.).

Несообразительность друзей бесила, ибо только дружба и была его опорой в этом мире. Тогда же Пушкин сообщает Осиповой в Ригу: «Мои петербургские друзья были уверены, что я поеду вместе с вами» (X.608). А через три дня он в отчаянии пишет брату: «...Мне деньги нужны или

удавиться. Ты знал это, ты обещал мне капитал прежде году — а я на тебя полагался» (X.125). В Ригу Пушкин отправляет письмо за письмом.

То, что происходит с поэтом, находит отражение не только в деловой переписке, но всегда так или иначе перетекает в творчество, становится мыслями и поступками его героев. В июле 1825 года, между требованием ехать в Псков и отъездом Вульфа, Пушкин придумывает для «Бориса Годунова» сцену «Корчма на Литовской границе», чего в первоначальном замысле не было. Тут тщательно описывается эпизод, как Гришка Отрепьев бежит из России и пытается нелегально перебраться через границу. Отрепьев предполагает, что за ним идет погоня. Прочитаем знакомый текст пристрастно, увязывая его с мыслями, волновавшими Пушкина.

Мисаил. Что ж закручинился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой так хотелось тебе добраться.

Григорий. Пока не буду в Литве, до тех пор не буду спокоен.

Варлаам. Что тебе Литва так слюбилась?.. Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли: все нам равно, было бы вино...»

Поглядим, как дальше развиваются диалоги в корчме. Любопытно, что никого из биографов Пушкина, упоминавших о намерении поэта бежать из Михайловского, связя с темой этой в «Борисе Годунове» не заинтересовала.

Григорий (хозяйке). Куда ведет эта дорога?

Хозяйка. В Литву, мой кормилец, к Луёвым горам.

Григорий. А далече ли до Луёвых гор?

Хозяйка. Недалече, к вечеру можно бы туда поспеть, кабы не заставы царские да сторожевые приставы.

Григорий. Как, заставы! что это значит?

Хозяйка. Кто-то бежал из Москвы, а велено всех задерживать да осматривать.

Григорий (про себя). Вот тебе, бабушка, и Юрьев день... Да кого ж им надобно? Кто бежал из Москвы?

Хозяйка. А Господь его ведает, вор ли разбойник — только здесь и добрым людям нынче прохода нет (sic! — Ю. Д.) — а что из того будет? ничего; ни лысого беса не поймают: будто в Литву нет и другого пути, как столбовая дорога!»

Хозяйка корчмы успокаивает беглеца со знанием дела: «Вот хоть отсюда свороти влево да бором иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью, а там прямо че-

рез болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево, а тут уж всякий мальчишка доведет до Луёвых гор».

Когда в корчме появляются приставы, из зачитываемого царского указа выясняется, что ловят они человека, который «впал в ересь и дерзнул, наученный диаволом, возмущать святую братию всякими соблазнами и беззакониями. А по справкам (следует понимать «по доносам». — Ю. Д.) оказалось, отбежал он, окаянный Гришка, к границе литовской... и царь повелел изловить его» (V.210—217). Между прочим, замечено, что место в сцене на границе, где беглец искажает свое описание, когда пристав заставляет его читать вслух указ, заимствовано из оперы Россини «Сорока-воровка», каковую Пушкин мог раньше видеть в Петербурге⁴⁹.

Самозванец не только благополучно удирает за границу на глазах у приставов, но впоследствии возвращается. И по воле Пушкина, который озабочен проблемой побега, мы с удивлением читаем в «Борисе Годунове» подробности перехода границы, весьма интересные, но имеющие косвенное отношение к сути исторической пьесы. Поистине удивительные ассоциации рождались у поэта, который «впал в ересь».

Пушкин любил и мог ходить пешком. С дворовыми собаками гулял из Михайловского в Тригорское и обратно. Пройтись тридцать верст от Петербурга до Царского Села ему было нипочем. Нередко и в дальних разъездах он от станции до станции проходил пешком, отправив вперед лошадей. Перейти границу лесами в том месте, где она охранялась плохо и лениво, было вполне реально, хотя и рискованно. Стерегли границу тогда в большей степени не солдаты.

О появлении чужого человека в пограничной зоне сообщали завербованные и добровольные информаторы. Спустя полвека большевики без особого труда пронесли в Россию подпольные издания, деньги, оружие, бежали за границу из сибирской ссылки. Лишь после революции система усовершенствовалась до бесчеловечности. Практически одна часть населения стала стеречь другую. Мертвые зоны, огороженные колючей проволокой, охраняемые собаками, электронной аппаратурой и автоматически стреляющим оружием, протянулись на тысячи верст вдоль границ. А лагеря были полны беглецами, которые пытались вырваться на свободу по воздуху, под водой и даже под землей, проявляя чудеса изобретательности и отваги.

Вульф обещал действовать, и Пушкин, дождавшись его возвращения из Риги в Дерпт к началу занятий, напоминает, что ждет информации о том, удалось ли уговорить Мойера не ехать, но помочь Пушкину другим способом, выписав больного к себе. Пушкин всеми силами оттягивает свою поездку в Псков. «Я не успел благодарить Вас за дружеское старание о проклятых моих сочинениях, — пишет он Вульфу. — Черт с ними, и с Цензором, и с наборщиком, и с *tutti quanti* (всеми прочими. — Ю. Д.) — дело теперь не о том. Друзья и родители вечно со мной проказят. Теперь послали мою коляску к Мойеру с тем, чтоб он в ней ко мне приехал и опять уехал и опять прислал назад эту бедную коляску. Вразумите его. Дайте ему от меня честное слово, что я не хочу этой операции, хотя бы и очень рад был с ним познакомиться. А об коляске, сделайте милость, напишите мне два слова, что она? где она? etc.» (X.139).

Задание конкретное: не надо хирурга, а пора бежать. Но если бы Вульф, даже будь он более серьезным, и захотел ударить палец о палец, что конкретно ему делать? Можно ли раскрыть Мойеру всю подноготную? Чего просить? И Вульф поэтому не делает ничего.

В связи с планами побега через Дерпт мы не выяснили роль еще одного приятеля Пушкина. С одесских времен он относился к Николаю Языкову, который был на четыре года моложе, с симпатией. Появившись в Михайловском и сойдясь с Вульфом, Пушкин хочет свести дружбу и с Языковым, отправляет ему в Дерпт стихотворное послание, сам и через семейство Осиповых зазывает к себе.

Языков жил в Дерпте у профессора Борга, переводчика на немецкий русских поэтов, имевшего обширные литературные связи в Европе. Частым гостем стал Языков и в доме Мойера. Здесь он влюбился в очаровательную младшую сестру его жены Александру Воейкову, ту самую, которая сообщила Жуковскому, что Пушкин собирается бежать в Америку. Взгляды Воейковой можно, пожалуй, объяснить тем, что она была женой редактора «Русского инвалида» Александра Воейкова, человека болезненной патриотичности. Вдобавок к тому, что Воейкова была женой другого, Языков оказался до крайности стеснителен. Оба, и Вульф, и Пушкин, были в этом отношении противоположностью Языкову: шумны, активны и решительны по амурной части.

Несмотря на приглашения, Языков долго не приезжал в Тригорское и Михайловское, не желая принимать участия

в гульбищах, а возможно, и опасаясь, как бы общение с опальным поэтом не повредило его собственной репутации. Пушкин зовет Языкова приехать, а тот пишет брату: «Ведь с ними вязаться, лишь грех один, суета»⁵⁰. Сам Языков тоже мечтает отправиться за границу, пишет о Женевском озере:

Туда, сердечной жажды полны,
Мои возвышенные сны;
Туда надежд и мыслей волны,
Игривы, чисты и звучны⁵¹.

Но понять то же стремление в Пушкине Языков не способен. «Вот тебе анекдот про Пушкина, — пишет он брату 9 августа 1825 года. — Ты, верно, слышал, что он болен аневризмом; его не пускают лечиться дальше Пскова, почему Жуковский и просил здешнего известного оператора Мойера туда к нему съездить и сделать операцию; Мойер, разумеется, согласился и собрался уже в дорогу, как вдруг получил письмо от Пушкина, в котором сей просит его не приезжать и не беспокоиться о его здоровье. Письмо написано очень учтиво и сверкает блестками самолюбия. Я не понимаю этого поступка Пушкина! Впрочем, едва ли можно объяснить его правилами здорового разума!»⁵²

Информированность Языкова вызывает сомнения. На следующий год он все-таки появился в Тригорском, но, хотя много времени проводилось в гуляньях, пирушках и откровенных беседах, оставался чужим. Накануне отъезда Пушкина из Михайловского (по совпадению) он пишет брату: «У меня завелась переписка с Пушкиным — дело очень любопытное. Дай Бог только, чтобы земская полиция в него не вмешалась!»⁵³ Пушкин считает Языкова близким по союзу поэтов, а Языков, тремя годами позже провожая одного своего приятеля в Германию, советуется собрать там сокровища веков, —

И посвятить их православно
Богам родимых берегов!

Он и сам решил спрятаться в имении на Волге и, как он выразился, посвятить себя патриотизму. Заболев, Языков поехал лечиться за границу, но там ему не понравилось, и он вернулся на Волгу.

Лето подходило к концу, а с ним приближалась распутица. Ситуация продолжала оставаться неопределенной, и Пушкину надо было на что-то решаться. Тригорские друзья и друзья их друзей милы в компании, и весело с ними проводить время, но теперь они разъехались и напрочь забыли о Михайловском затворнике до следующих вакаций.

Петербургские его люди продолжают требовать: отправляйся на операцию в Псков. Вяземский находится в Ревеле, куда выехал на летний отдых. Там же отдыхают родители Пушкина и его сестра. Вяземский, поддерживая контакт с ними, одновременно внушает ему, что поездка в Псков необходима «во-первых, для здоровья, а во-вторых, для будущего». «Для будущего» надо поступить, как разрешено, нежелание ехать сочтут за неповиновение и ошейник могут еще туже затянуть: «Право, образумься и вспомни собаку Хемницера, которую каждый раз короче привязывали, есть еще и такая привязь, что разом угонит дыхание; у султанов она называется почетным снурком, а у нас этот пояс называется Уральским хребтом».

Друзья уговаривают: смирись и терпи, ибо всем плохо, даже и в Европе. «Ты ли один терпишь, — взывает Вяземский, — и на тебе ли одном обрушилось бремя невзгод, сопряженных с настоящим положением не только нашим, но и вообще европейским». Вяземский удерживает Пушкина от побега. Альтернатива — все тот же Псков. «Соскучишься в городе — никто тебе не запретит возвратиться в Михайловское: все и в тюрьме лучше иметь две комнаты; а главное то, что выпуск в другую комнату есть уже некоторый задаток свободы». И дальше в том же письме: «Будем беспристрастны: не сам ли ты частью виноват в своем положении?»

Как это знакомо! Всем плохо, почему же ты хочешь, чтобы тебе было лучше? Не дают выехать? Но ты же сам виноват в том положении, в котором оказался. Вот оно: сам виноват. А в чем виноват русский поэт? Вяземский так формулирует вину: «Ты сажал цветы, не сообразясь с климатом». И совет: «Отдохни! Попробуй плыть по воде: ты довольно боролся с течением».

Блестящая, неустаревающая формула; лучше пока не сказал никто. Вяземский недвусмысленно объясняет другу, что инакомыслие в этой стране нецелесообразно. Положение гонимого в русских условиях не прибавляет популярности в глазах русской публики. «Хоть будь в канда-

лах, — пишет Вяземский, — то одни и те же друзья, которые теперь о тебе жалеют и пекутся, одна сестра, которая и теперь о тебе плачет, понесут на сердце своем твои железа, но их звук не разбудит ни одной новой мысли в толпе, в народе, который у нас мало чуток!» Вяземский несправедлив, обвиняя Пушкина в донкихотстве: «Оппозиция — у нас бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях: она может быть домашним рукоделием про себя и в честь своих пенатов, если набожная душа отречься от нее не может, но промыслом ей быть нельзя. Она не в цене у народа...»

Анализируя ситуацию, Вяземский называл вещи своими именами. «Пушкин как блестящий пример превратностей различных ничтожен в русском народе: за выкуп его никто не даст алтына, хотя по шести рублей и платится каждая его стихотворческая отрывка. Мне все кажется, *que vous comptez sans votre hôte* (что вы строите расчеты без хозяина. — Ю. Д.), и что ты служишь чему-то, чего у нас нет» (Б. Ак.13.222). Даже близкие друзья осуждали Пушкина за то, в чем он не был виноват.

Вяземский просит сестру Пушкина Ольгу уговорить брата помириться с отцом, ведь известие о ссоре вредит поэту в глазах Александра I⁵⁴. Друзья не помогают не потому, что они плохие друзья; они не могут помочь, они такие же собаки Хемницера, только поводок подлинней. Вяземский из них — самый догадливый, самый терпимый, но и он призывает к смирению. Уговаривая смириться, Вяземский тем самым в письме доказывает, что в России Пушкину жизни быть не может. И Пушкин прямо пишет ему, что его болезнь — лишь предлог: «Аневризмом своим дорожил я пять лет как последним предлогом к избавлению, *ultima ratio libertatis* — и вдруг последняя моя надежда разрушена проклятым дозволением ехать лечиться в ссылку» (Х.140). Латинские слова переводятся в разных изданиях как «последним доводом за освобождение» (Б.Ак.13.548) или «последним доводом в пользу освобождения» (Х.616), — но там и там *довод*, а у Пушкина черным по белому *предлог*. Эту разнопонимаемость Пушкин выразил в каламбуре: «...друзья хлопочут о моей жиле, а я об жилье» (Х.141).

Ему не удается объяснить, что происходит. «Вам легко на досуге укорять в неблагодарности, — отвечает он Вяземскому, — а были бы вы (чего Боже упаси) на моем месте, так может быть и пуще моего взбеленились... Они

заботятся о жизни моей; благодарю — но черт ли в эдакой жизни?.. Нет, дружба входит в заговор с тиранством, сама берется оправдать его, отвратить негодование; выписывают мне Мойера, который, конечно, может совершить операцию и в сибирском руднике... Я знаю, что право жаловаться ничтожно, как и все прочие, но оно есть в природе вещей. Погоди. Не демонствуй, Асмодей: мысли твои об общем мнении, о суете гонения и страдальчества (положим) справедливы, — но помилуй... Это моя религия; я уже не фанатик, но все еще набожен. Не отнимай у схимника надежду рая и страх ада» (X.140—141).

Надежда рая... Только что в «Северных цветах» были опубликованы письма Василия Перовского с восторгами об увиденном в Италии, и Пушкин, прочитав, пишет Жуковскому: «Вижу по газетам, что Перовский у вас. Счастливцев! он видел и Рим, и Везувий» (X.135). А Жуковский советует не только прооперироваться, но и делать быстрой «Годунова». При наличии «правильной» пьесы легче будет помочь автору.

Пушкин мечется. Он хочет всем доверять и не может никому. «На свете нет ничего более верного и отрадного, нежели дружба и свобода, — пишет он Осиповой. — Вы научили меня ценить всю прелесть первой» (X.128, фр.). И в то же время:

Что дружба? Легкий пыл похмелья,
Обиды вольный разговор,
Обмен тщеславия, безделья
Иль покровительства позор. (II.251)

Он за и против, он левый и правый, он конформист и диссидент, одним словом, он Пушкин, и они его не понимают. Он устал. Современник, встретивший его, отмечает: «...на нем был виден отпечаток грусти...»⁵⁵ Поэзия ему надоела: «...На все мои стихи я гляжу довольно равнодушно, как на старые проказы». Он пишет Анне Керн в конце сентября: «Пусть сама судьба распоряжается моей жизнью; я ни во что не хочу вмешиваться» (X.143). Понятно, что в этом есть поза, игра, кокетство. Он спешит успокоить знакомых в Петербурге: не зря они за него хлопотали, быть по сему, осенью он съездит в Псков. А созревает компромиссный вариант, следующая попытка. Но прежде чем перейти к новому замыслу Пушкина выбраться за грани-

цу, скажем еще об одной встрече со старым приятелем, которая состоялась неподалеку от Михайловского.

Помещик Пещуров, взявший на себя негласное наблюдение за поэтом, сообщил своему племяннику в Париж, что общается с Пушкиным. Племянник собирался навесить дядю по дороге из-за границы домой. Это был лицейский товарищ и тезка поэта Александр Горчаков, дипломат, ставший впоследствии министром иностранных дел Российской империи, канцлером. Однокашников многое разделяло, но и объединяло многое. Они общались не раз в Петербурге во время наездов Горчакова из Европы, хотя особой близости и доверия у Пушкина к нему не было.

Как Пущин и Дельвиг, Горчаков не побоялся увидеться с опальным приятелем. Например, Александр Тургенев уговаривал Пущина не ехать в Михайловское, а Вяземскому советовал прекратить переписку с Пушкиным, чтобы не повредить ему и себе. Сам Тургенев тоже осторожничал. Горчаков же, хотя и не заехал в Михайловское, сославшись на простуду, встретился с Пушкиным, несмотря на предупреждение своего дяди о том, что поэт находится под надзором.

Встреча с Горчаковым могла бы стать переломным моментом в жизни Пушкина. Горчаков уже сделался влиятельной фигурой в Министерстве иностранных дел и вообще в русской дипломатии. Он находился в Вене, когда туда приехал царь и при нем генерал Александр Бенкендорф. Горчаков отказался выслушивать назидания Бенкендорфа, и скоро в его досье появилась запись: «Князь Горчаков не без способностей, но не любит Россию»⁵⁶. Не опасайся его Пушкин, обсуди с ним жизненно важную проблему, — не исключено, что Горчаков бы помог. А Пушкин читал ему отрывки из «Бориса Годунова», вспоминали общих друзей.

Видимо, сказалось и настроение поэта, который отнесся к заезжему чиновнику холодно: «Он ужасно высох — впрочем, так и должно; зрелости нет у нас на севере, мы или сохнем, или гнием; первое все-таки лучше» (X.144). Из этого следует, что Пушкин считал: он сам здесь гниет. По настроению своему Пушкин и Горчакова сделал жертвой российского климата, хотя тот больше жил за границей. Расстались они без энтузиазма. А четыре месяца спустя, сразу после восстания декабристов, Горчаков тайно явился на квартиру Пущина и предложил тому заграничный паспорт. Бежать можно было сразу. От паспорта Пущин отказался, решил разделить участь товарищей. Сто-

ит ли говорить, какому риску подвергал себя Горчаков?

Пушкин об этой истории не узнал. Рассказал ее Пуштин уже после смерти поэта. Итак, помочь Пушкину бежать Горчаков мог. Иван Новиков выстраивает следующий весьма откровенный диалог между Пушкиным и Горчаковым:

«— А ты не взял бы меня за границу? Мне нужно паспорт.

— Ежели б ты был в Петербурге, я думаю, это было б нетрудно. Но ведь не властен же я отвезти тебя в Петербург.

— Шутки в сторону: а ежели б был в Петербурге, хотя б непрощенный, и мне надо было бы тайно покинуть Россию?

Горчаков деловито подумал, взвешивая что-то в себе. Холодные глаза его чуть посветлели, и он негромко сказал:

— Я это сделал бы для любого лицейского товарища»⁵⁷.

Как видим, этот вымышленный диалог, целиком основанный на истории с Пушциным в Петербурге, перенесен Новиковым на встречу с Пушкиным в деревне. Обратился ли поэт с такой просьбой или Горчаков с таким предложением в августе 1825 года, когда они встретились? На этот вопрос мы никогда не получим ответа. Возможно, Новиков в своем допущении ошибся. Пушкин, так доверчиво относившийся к лицейским друзьям, сделал тут тактический промах. Существует и другая версия, что Горчаков ездил в Псков просить за Пушкина, поручился за него губернатору. Версия сомнительная: кто-кто, а Горчаков не мог не понимать, что дело Пушкина решается не в Пскове.

Глава пятая

ПРОШЕНИЕ ЗА ПРОШЕНИЕМ

*Я все жду от человеколюбивого сердца императора,
авось-либо позволит он мне со временем
искать стороны мне по сердцу и
лекаря по доверчивости собственного рассудка,
а не по приказанию высшего начальства.*

Пушкин — Жуковскому, начало июля 1825

Анна Керн из Риги (и не она одна) уговаривает Пушкина подать прошение царю. Он благодарит за совет, отвечает, что не хочет. На деле именно лояльное прошение он

вновь собирается написать. По-видимому, уже готов черновик, только теперь он — часть целой серии действий, с учетом прошлых ошибок и неудач.

Глядя издалека, восхищаешься многоплановостью дел поэта-отшельника в Михайловском: от решения глобальных вопросов мироздания до флирта с молодыми соседками. Он жалуется на одиночество и управляет на расстоянии поступками множества людей. Он — органист, играющий одновременно на пяти клавиатурах, и каждая клавиша управляет на расстоянии его знакомыми, вызывая ответный звук. Он прям и двуличен, простодушен и скрытен, благороден и хитер. Помыслы его подчинены тому, чтобы оказаться в Европе любым путем.

Приняты во внимание все советы друзей, самолюбие положено в карман. Он готов бить себя в грудь, признавать даже те проступки, которые не совершал, только бы царь сжалился, простил, отпустил. Период неверия в себя и упадка сил закончился. Пушкин опять бодр. Из замысла отправиться в Ригу созревает новый проект, который мы назовем Балтийским.

Пушкин нигде не написал, что он хочет бежать из Риги: после Одессы он стал осторожней. После неудачных попыток поехать в Дерпт он собирается в Ригу лечить болезнь, которой нет. Для чего? Новый вариант прояснился, когда из Риги в Тригорское вернулась Осипова. Она привезла важную новость, о которой Пушкин тотчас поведал в письме Жуковскому. «П.А.Осипова, будучи в Риге, со всею заботливостью дружбы говорила обо мне оператору Руланду; операция не штука, сказал он, но следствия могут быть важны: больной должен лежать несколько недель неподвижно *etc.* Воля твоя, мой милый, — ни во Пскове, ни в Михайловском я на то не соглашусь...» (X.144)

Итак, военный хирург Руланд, с которым Осипову свел, скорее всего, генерал Ермолай Керн, отнесся к будущему пациенту серьезно и согласился делать операцию. Два новых участника оказались втянутыми в Балтийский проект Пушкина: хирург Руланд и генерал Керн. Причем оба понятия не имеют об истинных намерениях поэта. Ни о роли первого из них, ни о роли второго в планах Пушкина бежать из России материалов не имеется. В справочнике «Пушкин и его окружение» Руланд не упоминается. В примечаниях к письмам Пушкина Руланду отведено шесть строк⁵⁸. Попытаемся восполнить этот пробел.

В архиве Музея истории медицины в Риге нам удалось найти несколько документов, касающихся Руланда. Справочник «Врачи Лифляндии», изданный по-немецки в Латвии (Митава, позже названная Елгавой), хотя и ссылается на академический альбом, но биография Руланда несколько отличается в деталях⁵⁹.

Хайнрих Христоф Матиас Руланд (Модзалевский называет его Генрих Христиан-Матвей) родился в Беддингене под Брауншвейгом 17 марта 1784 года. Сын специалиста по ранам, то есть хирурга, Руланд-младший принадлежал к тем иностранцам, которые по приглашению русской власти приехали в Вильнюс, чтобы изучать медицину за казенный счет («за счет короны», говорится в издании «Врачи Лифляндии»). Оттуда студент Руланд был направлен в январе 1811 года в Дерптский университет, где продолжал штудировать медицину.

В декабре 1812 года Руланд окончил медицинский факультет и получил должность штаб-лекаря в Рижском военном госпитале. Через несколько лет у него появилась частная практика. Хайнрих Руланд умер следом за Пушкиным 13 марта 1837 года. В некрологе, который нам удалось разыскать, Руланд назван рыцарем. Данные некролога, составленные сразу после смерти Руланда, видимо, следует считать наиболее точными⁶⁰. Таким образом, в год, когда Пушкин собирался с ним увидеться (или только использовать его приглашение для выезда в Ригу), Руланду 41 год, он на пятнадцать лет старше Пушкина и уже опытный врач с тринадцатилетней практикой.

Сложнее обстояло дело с протекцией генерал-лейтенанта Керна, поскольку за три месяца до того у Пушкина был роман с его женой. Боясь, что флирт разрушит семью, опытная соседка поэта и родственница Анны Керн Осипова увезла ее в Ригу мириться с мужем, пообещав Пушкину найти ему там врача. Плетя любовную интригу, Пушкин, судя по сохранившимся письмам, сперва издевался над Керном как только мог; можно себе представить, какими словами он говорил о нем устно.

Ермолай Керн, участник войны с французами, хотя и был старше своей жены на тридцать пять лет, сохранял хорошее здоровье и считался не только крупным военным, но интересным светским человеком. Брак не дал ей счастья, но с его стороны был не по расчету, хотя, говорят, постарев, он подсовывал жене молодых людей, чтобы дер-

жать ее утехи под контролем. Повторяя без комментария иронические замечания Пушкина, биографы необъективны к генералу Керну. В середине восьмидесятых годов мы пытались найти в Риге дом Кернов. Он значился на месте бывшей Рижской цитадели, рядом с церковью Петра и Павла. Тут стояло здание, в котором находилось вполне советское учреждение Госагропром.

В начале октября 1825 года Керны приехали навестить родню в Тригорском, и генерал познакомился с Пушкиным. Зная свою хорошенькую и кокетливую жену, Керн мог ее ревновать. «Он очень не поладил с мужем», — признавалась впоследствии Анна Керн Анненкову⁶¹. Пушкин же в письме приятелю Алексею Вульфу об этом самом эпизоде писал совершенно противоположное: «Муж ее очень милый человек, мы познакомились и подружились» (X.145—146). Как объяснить это противоречие?

Раньше Пушкину нужна была жена Керна, и он насмеялся над ее мужем. Анна, принадлежа им обоим и многим другим, исходила из простой логики, как должны складываться отношения между обманутым мужем и любовниками. Пушкин же, думается, предвидел, что комендант Риги генерал Керн, когда поэту удастся там оказаться, сможет реально помочь. И во время пребывания Кернов в Псковской губернии Пушкин старался произвести на генерала хорошее впечатление. Он великолепно умел это делать, и, как ему казалось, сие удалось. Думается, гарнизонного врача Руланда предложил Пушкину именно Керн, хозяин гарнизона. Когда конфликт в семье Кернов усугубился, Пушкин из деловых соображений попытался примирить супругов: «Постарайтесь же хотя мало-мальски наладить отношения с этим проклятым г-ном Керном» (X.614). Формула «тяжело больной поэт» в глазах всех участников мелодрамы отодвигала на второй план роман с Анной.

Теперь предстояло отыскать подтверждения, что в Пскове такая операция невозможна и Пушкину по жизненным показаниям необходимо ехать в Ригу. Конечной целью проекта был побег через Балтийское море на Запад. Врачу в Пскове предстояло удостоверить несуществующую болезнь и факт, что в Пскове лечить эту болезнь отказываются, но с операцией можно подождать. Таким образом, поэт проявит послушность и можно добиваться ходатайства местных властей, которое пойдет по бюрократическим каналам в столицу.

Хирургом в Пскове был штаб-лекарь Василий Сокольский, но Пушкин по понятным причинам не хотел попасть на осмотр к серьезному врачу. Он предпочел того, о котором слышал раньше, а потом познакомился у Пещурова, — «некоторого Всеволожского, очень искусного по ветеринарной части и известного в ученном свете по своей книге об лечении лошадей» (X.119). Это письмо Пушкина Жуковскому не имеет адреса и даже полного имени адресата, значит, было отправлено не по почте. Вяземскому Пушкин также сообщал, что ему «рекомендуют Всеволожского, очень искусного коновала» (X.120). Пушкин забыл или сознательно изменил фамилию врача Всеволода Всеволодова, который действительно был ветеринаром и переводчиком трудов по лечению «заразительных болезней домашних животных». Известно, что он (возможно, будучи пьяным) избил своего фельдшера. Позже Всеволодов стал профессором Петербургской медико-хирургической академии⁶².

Около середины августа 1825 года Пушкин встретился с Всеволодовым, надо думать, за обедом, а может, и еще не раз, что очень важно для установления доверия. «На днях виделся я у Пещурова с каким-то доктором-аматёром: он пуще успокоил меня — только здесь мне кюхельбекерно...» (X.135) Грустный юмор видится в пушкинском «доктор-аматёр», ибо это *врач-любитель*. Пушкин писал «пуще успокоил», чтобы поняли, наконец: Мойеру приезжать не надо.

После Пушкин встретился с Всеволодовым снова, когда, «увидя в окошко осень» (X.144), сел в тележку и прискакал в Псков. Между прочим, поразительно мало изменилось в русских порядках и через три четверти века после смерти Пушкина. В 1898 году Ян Райнис, выдающийся латышский поэт, будет отправлен царским правительством из Рижской тюрьмы в ссылку в Псков, откуда Пушкин мечтал вырваться в Ригу⁶³.

В Пскове Пушкин нанес три визита и из них первый — врачу. Поэт писал «с каким-то доктором-аматёром», но прекрасно знал, с каким. Не ведаем, разыгрывал ли Пушкин тяжело больного или просто щедро заплатил Всеволодову. Скорее всего, имело место и то, и другое. Врач подтвердил серьезность болезни настолько, что предписал пациенту не двигаться не только после, как об этом предупредил Руланд, но и до операции. А главное, Всево-

людов согласился с пациентом: болезнь теперь настолько осложнилась, что об операции в Пскове не может быть и речи, хотя высочайше повелено.

Второй визит Пушкина состоялся к архиепископу Псковскому Евгению Казанцеву. Ссылный поэт догадывался, что слежка идет и по этой линии. В связи с предстоящим вояжем он решил явиться засвидетельствовать почтение и доказать благонравность мыслей на случай, если у начальства возникнут подозрения. Ему хотелось усыпить бдительность Казанцева, и, как Пушкину показалось, это удалось.

Наконец, третий и самый важный визит был к гражданскому губернатору Псковской губернии фон Адеркасу, осуществлявшему надзор за поэтом по указанию губернатора Паулуччи и графа Нессельроде. Ссылаясь теперь не на свое самочувствие и желание, а на псковского штаб-лекаря, Пушкин объяснил Адеркасу: болезнь осложнилась настолько, что ему грозит прикованность к постели и скорая смерть.

Губернатор, по мнению Пушкина, оказался «весьма милостив» (X.146), внимательно выслушал, посочувствовал и обещал выяснить мнение наверху, то есть в Петербурге. Губернатор предложил, кроме того, переправить в столицу стихи Пушкина, что тоже было, по мнению поэта, хорошим знаком (мы в этом сомневаемся). «...Итак погодим, — написал Пушкин Жуковскому, — авось ли царь что-нибудь решит в мою пользу» (X.145). Тут же в Пскове Пушкин написал письмо Вяземскому, но сжег его. Скорей всего, в письме содержались подробности визитов и чересчур откровенные комментарии. Он решил не рисковать.

Вернувшись в имение с надеждой на царскую доброту, Пушкин сочиняет прошение Александру I, которое можно считать вторым шагом в его Балтийском проекте. От прошения сохранился лишь черновик. Вняв просьбам друзей смирить гордыню и каяться, Пушкин стал вспоминать в письме, как началась его опала. Она была результатом необдуманных обмолвок и сочинения сатирических стихов. В Петербурге разнесся слух, что молодой поэт был высечен в Тайной канцелярии. Позор толкнул на отчаянные поступки: дуэли, мысли о самоубийстве и, может быть, даже на мысль о покушении. Далее в письме стоит буква V и волнистая черта, и некоторые исследователи полагают, что Пушкин имел в виду *Votre Majesté* — Ваше Вели-

чество. Разумеется, писал Пушкин, все было лишь в воображении, великодушие и либерализм власти спасли его честь. С тех пор, добавлял он, «я смело утверждаю, что всегда, на словах и с пером в руках уважал особу Вашего Величества».

Объяснив царю, что он пишет с откровенностью, которая была бы невозможна по отношению ко всякому другому властителю в мире, Пушкин просил о великодушии: «Жизнь в Пскове, городе, который мне назначен, не может принести мне никакой помощи. Я умоляю Ваше Величество разрешить мне пребывание в одной из наших столиц или же назначить мне какую-нибудь местность в Европе, где я мог бы позаботиться о своем здоровье» (Х.617, фр.). Поэт стремился разжалобить государя, поставить его в такие условия, чтобы тот не мог отказать в столь простой просьбе. Назначить местность в Европе — звучало великолепно. В Петербурге мать и влиятельные друзья, как он надеется, снова просят царя, а дирижер оркестра находится в Михайловском.

Он передумал и письмо царю не отправил. Еще недавно Пушкин считал прошение матери ошибкой, полагая, что государь может усмотреть хитрость, уклончивость, упрямство нераскаявшегося преступника. Да и у болезни не было врачебных подтверждений. Ныне Пушкин хочет показать, что он раскаялся. К тому же болезнь грозит скорой смертью. Вот почему теперь уместно и матери обратиться к царю. На полях черновика письма Надежды Осиповны рукой приятеля Пушкина Соболевского сделана пометка: «Вероятно, сочинено А.Пушкиным». Это, однако, не доказано и не опровергнуто. Но поскольку сын был крайне недоволен предыдущим письмом матери, скорее всего, новое письмо Александру I могло быть отправлено только с его согласия.

«Ваше Величество! — звучит текст, подписанный Надеждой Пушкиной 27 ноября 1825 года. — Несчастливая мать, проникнутая сознанием доброты и милосердия Вашего Величества, осмеливается еще раз припасть к стопам Своего Августейшего Монарха, повторяя свою покорнейшую просьбу. По сведениям, которые я только что получила, болезнь моего сына быстро развивается, псковские доктора отказались сделать необходимую ему операцию, и он вернулся в деревню, где находится без всякой помощи и где общее состояние его очень худо. Собла-

говолите, Ваше Величество, разрешить ему выехать в другое место, где он смог бы найти более опытного врача, и простите матери, дрожащей за жизнь своего сына, что она вторично осмеливается взывать к Вашему милосердию. Только на груди отца своих подданных несчастная мать может выплакать свое горе, только от своего Государя, от безграничной его доброты смеет она ожидать избавления от своих тревог. С глубочайшим уважением остаюсь Вашего Императорского Величества нижайшая, покорнейшая и благодарнейшая из подданных Надежда Пушкина, урожденная Ганнибал»⁶⁴.

Идея ходатайства долго обсуждалась друзьями поэта. Вяземский еще летом писал жене из Ревеля, где общался с отдохавшим там у моря семейством Пушкиных: «Мать, кажется, еще просила государя, чтобы отпустили его в Ригу, где есть хороший доктор»⁶⁵. Чтобы письмо вернее дошло по назначению, мать написала еще сопроводительное письмо начальнику Главного штаба генерал-фельдмаршалу Дибичу.

«Ваше Превосходительство! Сочувствие, которое Вы соблаговолили проявить ко мне, а также письмо, которым Вы почтили меня, дают мне смелость представить Вам мое нижайшее прошение Его Императорскому Величеству и умолять Ваше Превосходительство еще раз представительствовать за меня. Моему несчастному сыну не было оказано никакой помощи в Пскове; врачи решили, что болезнь его слишком запущена для того, чтобы они могли взять на себя сделать операцию. Я не хочу распространяться, сердце мое переполнено, но поверьте, генерал, что благодарность матери больше всего того, что можно выразить, и эту благодарность Вам я сохраню на всю жизнь и буду счастлива выразить ее Вам лично, так же как и чувство почтительного уважения, с которым имею честь оставаться. Вашего Превосходительства нижайшая и преданнейшая Надежда Пушкина»⁶⁶.

Отправляя эти письма из Москвы, мать не знала, что царя уже в живых не было.

Между тем, как бы в дополнение ко всем прошениям, Пушкин подготовил литературный труд — «Бориса Годунова». Жуковский не раз призывал доказать лояльность творчеством и тем завоевать расположение императора. К началу ноября драма была готова. Пьеса покажет царю, что от легкомысленности поэта не осталось и следа, он

стал серьезным писателем, к тому же историческим, а значит, не опасным для власти, и его можно спокойно отпустить за границу. Друзьям станет легче хлопотать за него, когда можно будет сослаться на созданное поэтом для пользы отечества: «пусть трагедия искупит меня» (X.145).

Кстати, у Пушкина мог быть еще один предлог проситься в Прибалтику, и значительно более достоверный. Предок его Абрам Ганнибал после смерти Петра Великого много лет прослужил обер-комендантом города Ревеля. Пушкин писал, что хочет добраться до ганнибаловских бумаг. Он мог бы присовокупить ходатайство о разрешении собирать там исторические материалы.

Роль тяжелой артиллерии в сражении за выезд Пушкин отводил влиятельным друзьям. Используя связи с крупными должностными лицами, они могли привести в действие прошение поэта, а теперь драматурга и историографа до-романовского правления (в котором, с точки зрения царствующей фамилии, дозволены к упоминанию и некоторые слабости). Пушкин надеялся и на человечность царя, что немедленно отразилось в его стихах.

Ура, наш царь! так! выпьем за царя...
Он человек! им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей.
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал Лицей. (II.247)

Против царю преследование, он надеется получить ответное прощение. Остается ждать да учить английский. «Мне нужен английский язык — и вот одна из невыгод моей ссылки: не имею способов учиться, пока пора. Грех гонителям моим!» — пишет он Вяземскому (X.147).

Верит ли Пушкин в возможность того, что его выпустят? Надеется, хотя и сомневается, ибо параллельно продолжает прощупывать возможности бежать. В переписке с Алексеем Вульфом, находящимся в Дерпте, Пушкин снова переходит на условный зашифрованный язык и просит ускорить выяснение вопросов, о которых они договаривались: «О коляске моей осмеливаюсь принести вам нижайшую просьбу. Если (что может случиться) деньги у вас есть, то прикажите, наняв лошадей, отправить ее в Опочку, если же (что также случается) денег нет — то напишите, сколько

их будет нужно. — На всякий случай поспешим, пока дороги не испортились» (X.145). Не все ясно в тайнописи, но главные пункты таковы: пора ехать; сообщи, какая ситуация; сколько денег нужно для побега, просьба ускорить дело.

Он живет напряженным ожиданием весь ноябрь, не ведая, что 19 числа в Таганроге умер Александр I. Такого оборота событий никто не ждал. В Петербурге известие получено 27 ноября. Пушкин услышал о смерти царя еще через три дня, когда до Парижа дошла весть, что Пушкину позволили съездить в Псков для лечения. Об этом Николай Тургенев написал Чаадаеву, который ждал Пушкина в Дрездене.

Глава шестая

«ЧТО МНЕ В РОССИИ ДЕЛАТЬ?»

*Если брать, так брать — не то, что и совести
марать — ради Бога, не просить у царя позволения
мне жить в Опочке или в Риге; черт ли в них?
а просить или о въезде в столицу, или о чужих краях.
В столицу хочется мне для вас, друзья мои, — хочется с
вами еще перед смертью поврать; но, конечно,
благоразумнее бы отправиться за море.
Что мне в России делать?*

Пушкин — Плетневу, 4—6 декабря 1825

Надежды рухнули — надежды возникли. Едва услышав, что солдат, приехавший из Петербурга, рассказывал в Новоржеве о смерти Александра I, для проверки слуха Пушкин немедленно посылает в Новоржев кучера Петра. Петр вернулся на следующий день, подтвердив слухи и даже привезя новость: присягу принял новый царь Константин Павлович. Первая мысль Пушкина — о том, что проблемы его решались сами собой. Коронация значила амнистию почти автоматически. Старые планы теряли смысл. Также неожиданно Пушкин получает письмо из Петербурга от Пушина. Хотя письмо не сохранилось, в нем несомненно содержались намеки на возможные перемены. Желание ехать в Петербург возникло немедленно, и мы имеем соответствующий архивный документ.

Билетъ

Сей данъ села Тригорскаго людемъ: Алексею Хохлову росту 2 аршина 4 вершка, волосы темно-русые, глаза голубые, бороду бреетъ, летъ 29, да Архипу Курочкину росту 2 аршина 3 ¹/₂ вершка, волосы светло-русые, брови густые, глазомъ кривъ, рябь, летъ 45, въ удостовѣреніе, что они точно посланы отъ меня в С.Петербургъ по собственнымъ моимъ надобностямъ и потому прошу господъ командующих на заставахъ чинить имъ свободный пропускъ.

Сего 1825 года, Ноября 29 дня, село Тригорское, что въ Опоческом уезде.

Статская советница Прасковья Осипова.

Текст фиктивной подорожной написан самим Пушкиным, подпись Осиповой подделана им же, поставлена его печать. Сочинив бумагу, поэт отправился в Тригорское, собираясь либо уговорить соседку изготовить подлинник по образцу, либо предупредить на всякий случай.

Крепостной Алексей Хохлов — он сам. Кстати, из трех известных нам указаний на рост поэта (брат Лев говорил, что 2 аршина 5 вершков с небольшим, а художник Григорий Чернецов — 2 аршина и 5 ¹/₂ вершков) рост, указанный самим Пушкиным, наиболее точный: для жандармов рост был первым фактором установления личности. Таким образом, точный рост Пушкина был 160 сантиметров без каблучков, в лаптях. Годы он себе прибавил, так как выглядел старше своих лет.

Второе лицо, упомянутое в подорожной, садовник из Михайловского Архип Курочкин. Замысел: воспользовавшись неразберихой, появиться в Петербурге ненадолго, переговорить с друзьями с глазу на глаз, выяснить обстановку и использовать перемену власти для обретения свободы.

Дата в документе (может, чтобы спешка не показалась подозрительной?) сдвинута Пушкиным назад. И.Новиков полагает: Пушкин рассчитывал на обещание Горчакова нелегально достать ему заграничный паспорт, если поэт окажется в Петербурге. «Так все пути к отступлению были отрезаны, — пишет Новиков. — Он волновался не только близким свиданием с Керн. Он вспоминал и Горчакова: мог бы не говорить, но если сказал, так и сделает. Но он ясно представил, что поки-

дает Россию — как будто привычная мысль, — и все же холодок пробежал по спине»⁶⁷.

Пушкин нарядился в мужицкую одежду. Архип уложил в дорожный чемодан барские пожитки, и 10 декабря они тронулись. Пушкин выехал в Петербург, выбрав не основную дорогу. И чем дальше ехал, тем авантюрней, бессмысленней и опасней казался ему собственный замысел. Если трудно скрыться в Дерпте, то уж в Петербурге его всякая собака узнает.

А завтра же до короля дойдет,
Что Дон Гуан из ссылки самовольно
В Мадрит явился, — что тогда, скажите,
Он с вами сделает? (V.317)

Это ведь Пушкин писал о себе, только позже.

Военные, гвардия, охрана, спецслужбы — все сейчас начеку в связи с переменой власти, дабы не возникло беспорядков. В Пскове сразу хватятся. Да и как смогут приятели помочь, когда ничего не ясно? Вполне вероятно, что это в скором времени удастся само собой. Но там только себе навредишь: после самоуправства опять по-хорошему за границу не отпустят. Примерно так думал Пушкин, не ведая, что в Петербурге хаос и не до михайловского ссыльного: не ясно, какому царю присягать, переписка между Николаем и Константином, междуцарствие.

Не отъехав далеко, поэт вдруг велел Курочкину поворачивать назад. Потом уже несколько человек рассказывали, что Пушкин вернулся, так как дорогу им перебежал заяц, а это была дурная примета. Кроме того, навстречу шел священник. Детали приводятся разные, но вернулся Пушкин не из-за плохих примет, хотя приметам верил, а по логическому рассуждению и удивительной способности предвидеть опасности — дару, который его не раз выручал.

В нашем рассуждении повторены соображения Анненкова, который считал, что основную роль в решении возвратиться сыграли не приметы, а осмотрительность поэта. По меткому замечанию Ю. Айхенвальда, в Пушкине всегда был «голос осторожности»⁶⁸. То, что он возвратился в Михайловское, его спасло: до восстания декабристов оставались считанные дни, и ссыльный поэт оказался бы в самом пекле.

Судя по воспоминаниям Соболевского, Пушкин, не подозревая о попытке переворота, собирался приехать и спрятаться на квартире Рылеева, который светской жизни не вел⁶⁹. Окажись Пушкин в доме одного из основных заговорщиков, его бы посадили в Петропавловскую крепость и подвергли изнурительным допросам. Так что не известно, чем бы все кончилось.

За несколько часов до того, как Пушкин узнал о смерти царя, он писал Александру Бестужеву: «...надоела мне печатать... поэмы мои скоро выйдут. И они мне надоели...» (X.148) Теперь происходившее могло настроить его на сдержанный оптимизм. Не случайно Анненков жизнь Пушкина до 1826 года называет Александровским периодом. Пушкин понимал, что со смертью Александра закончилась историческая эпоха, и мог рассчитывать на изменение политического курса империи.

Новая эпоха началась с чеканки новых серебряных рублей с изображением императора Константина. Тот еще не взошел на престол, но уже возникли иллюзии. Вернувшись в свою берлогу, Пушкин сразу пишет Катенину в Москву: «...как поэт, радуюсь восшествию на престол Константина I. В нем очень много романтизма... К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше; словом, я надеюсь от него много хорошего» (X.150). Не исключено, что эти верноподданнические строки написаны в расчете на перлюстрацию письма — прием старый, как сама перлюстрация.

В деревне Пушкину не сидится, и его можно понять. Письмо за письмом уходят в Петербург и Москву каждый почтовый день: «Если я друзей моих не слишком отучил от ходатайства, вероятно, они вспомнят обо мне», — намекает он Плетневу и далее говорит о том, что в России поэту делать нечего (см. эпиграф). Мысль о «самоосвобождении» оставлена, все усилия сконцентрированы на доброй воле нового царя Константина.

Письма исчезают без отзвука, в глухоту. Зря Пушкин расточал похвалы Константину: через несколько дней тот отрекся от престола в пользу младшего брата. Теперь Пушкин надеется на высочайшее снисхождение вступившего на царствие Николая. Но из Петербурга в ответ — мрачные вести о бунте выведенных на Сенатскую площадь полков. В ночь на 14 декабря великий князь Николай Павлович зачитал манифест о своем вступлении на престол, и войска отказались присягнуть новому императору. Воен-

ный губернатор Милорадович, занимавшийся делом Пушкина до ссылки поэта на юг, смертельно ранен на площади Каховским. Войска рассеяны артиллерийским огнем, в Петербурге обыски и аресты.

Первая реакция Пушкина — решение сжечь рукописи. В то время для ареста из-за политических причин (в отличие от советского времени) властям нужны были улики. Чтобы их уничтожить, поэт сжигает свои тетради, где находились и автобиографические записки, над которыми работал четыре года. Позже он скажет, что записки могли замешать многие имена и умножить число жертв.

В архиве Пушкина этих дней писем брата Льва, князя Вяземского и некоторых других корреспондентов не сохранилось: все ушло в огонь. Пушкин сжег важную часть своего архива и не жалел об этом; он вообще редко жалел о прошлом. Впрочем, если бы не первый импульс, мог бы и не сжигать. Допустим, не мог сесть на лошадь да отвезти друзьям в Тригорское: друзья могли разболтать. Не хотел доверить слугам — их бы допросили. Но мог ведь спрятать в лесу — имение-то большое. Когда в советской Москве начала писаться эта книга, для поиска спрятанных рукописей органы привозили взвод солдат и велели срывать на дачном участке слой земли глубиной в метр. Одна группа солдат копает, у другой — отдых; через час они меняются. Тому, кто найдет — премия: увольнительная домой на несколько дней. И рыли солдатики за надежду увидеть маму, не задумываясь, что рыли могилу инакомыслящему писателю. Но и в таком случае не под силу им было бы срыть Михайловское имение в поисках запретных мыслей.

А что, если Пушкин и в самом деле спрятал или отдал кому-то на хранение бесценные рукописи свои и только сказал, что сжег, чтобы не искали? Вяземский, например, принял на хранение портфель с рукописями декабристов и возвратил его в сохранности Пушкину, когда тот вернулся с каторги⁷⁰. Интересно бы узнать, что писал Пушкин в своих заметках о намерениях отправиться за границу. Впрочем, и без того много деталей сохранилось, не упустить бы важное из имеющихся материалов. Его герой тех дней — граф Нулин, «русский парижанец»,

Святую Русь бранит, дивится,
Как можно жить в ее снегах,
Жалеет о Париже страх. (IV.241)

Принято считать, что восстание на Сенатской площади многое перевернуло в судьбе Пушкина. За ним действительно последовал ряд важных для него событий, но связанных не с восстанием непосредственно, а со сменой царя. Уничтожив улики, Пушкин составил список своих проступков: в Кишиневе был дружен с тремя декабристами, состоял в масонской ложе, которую потом запретили, был знаком с большей частью заговорщиков, покойный царь упрекнул его в безверии. Вот и все. Послав список Жуковскому с просьбой сжечь письмо, Пушкин резюмировал: «Кажется, можно сказать царю: Ваше Величество, если Пушкин не замешан, то нельзя ли наконец позволить ему возвратиться?» (X.154)

Правительство, однако, объявило опалу и тем лицам, которые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не сообщили о том полиции. Этот упрек Пушкин отводил: кто ж, кроме полиции и правительства, не знал о заговоре?

О своей невинности (а точнее, что надо говорить о его невинности) сообщает он вскоре Дельвигу: «Конечно, я ни в чем не замешан, и если правительству досуг подумать обо мне, то оно в том легко удостоверится... Никогда я не проповедовал ни возмущений, ни революции — напротив... я желал бы *вполне и искренно* помириться с правительством... Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя» (выделено Пушкиным. X.155). Объяснение причин нетерпения находим в письме, посланном Плетневу; Пушкин ждет милости, надеясь, что сбудется его желание уехать: «Ужели молодой наш царь не позволит удалиться куда-нибудь, где бы потеплее?» (X.153) И — «пускай позволят мне бросить проклятое Михайловское. Вопрос: невинен я или нет? но в обоих случаях давно бы надлежало мне быть в Петербурге» (X.157).

Письмо за письмом, и в них то же: «Батюшки, помогите». Он готов к компромиссу, только выпустите. Но при этом он оставляет себе что-то, ту малость, ниже которой интеллигентный человек опуститься не может. Убеждения в этой части земного шара иметь можно, нельзя их лишь высказывать, и Пушкин это понимает: «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости» (X.158).

На Рождественские каникулы в Тригорское приехал из Дерпта Вульф. Обсуждают неувязки старых планов, кото-

рые отменились сами собой в связи с тем, что вскоре все будет решено новым царем. Пили за него. Всю ночь напролет Пушкин читал Вульффу «Бориса Годунова». Накануне нового 1826 года вышел том стихотворений гигантским тиражом 1200 экземпляров — доказательство недюжинной либеральности прессы в те времена. Однотомник рекламировали широко, и деньги за него Пушкину поступили немалые. Помещик Пещуров отказался от наблюдения за поэтом. На Новый год пили за надежды, которые теперь-то уж обязательно должны осуществиться: и русская зима имеет свой конец.

А в Петербурге кипит работа в созданном Тайном комитете для следствия по делу о декабристах. Во многих делах фигурируют стихи и слова Пушкина. Павел Бестужев на допросе показал, что причина его вольномыслия — стихи Пушкина. Михаил Бестужев-Рюмин заявил, что вольнодумные стихи Пушкина распространялись по всей армии. Пушкина упоминают на допросах А.Бестужев, барон Штейнгель, мичман Дивов, капитан Майборода. Не упомянул поэта на допросе Пущин, а на прямо поставленный вопрос отвел его вину, сказав, что Пушкин был всегда противником тайных обществ⁷¹.

Для оптимизма, которым жил теперь поэт, оставалось все меньше оснований. Допросы шли полным ходом, по всей стране производились обыски и аресты. Пушкин знал, что исчез Вильгельм Кюхельбекер и якобы погиб в день бунта. А Кюхельбекер оказался среди тех немногих участников восстания, которые решили скрыться за границей.

В городе, бывшем фактически на осадном положении, где кругом солдаты, сыщики и добровольные доносчики, Кюхельбекер благополучно пробрался домой и затем столь же благополучно выехал. Он сумел раздобыть подложный паспорт. Он знал, как и куда двигаться. Он допустил лишь одну оплошность: не запасся деньгами. Сравнительно легко добрался он до границы, и здесь его свели с тремя парнями, которые согласились переправить его за границу. Плата за это — две тысячи рублей. У Вильгельма оставалось только двести, и он решил ехать сам.

Пока он добирался до границы с Польшей, выбирая кружные пути, прошло около полутора месяцев. Его искали, уже распространили его приметы, которые сообщил полиции бывший его друг Булгарин. В пограничных местностях бдительность установлена была особая. Кю-

хельбекер подделал дату в своем виде на жительство и благополучно добрался до Варшавы. Три года назад он возвращался тут из-за границы и помнил эти места. У беженца в кармане было два адреса верных людей, но он не успел их навестить: его опознали на варшавской улице. 28 января 1826 года в Петербурге стало известно о его аресте.

Мы не знаем источника, из которого Тынянов почерпнул подробности бегства, скорее всего, то были воспоминания, которые находились в архиве Кюхельбекера, доставшемся Тынянову, а после исчезнувшем. Учитывая время написания, то есть сталинские годы, Тынянов нарисовал эту сцену удивительно смело. Смысл ее прозрачен: спасение только на Западе; в полицейской России со всеобщим доношением деться некуда⁷².

Пушкин и Кюхельбекер были близкими друзьями с детства. Как знаток западной философии Кюхельбекер влиял на взгляды Пушкина. В письме, полученном от Дельвига, Пушкин прочитал: «Наш сумасшедший Кюхля нашелся, как ты знаешь по газетам, в Варшаве». «Как ты знаешь по газетам...» — это написано для третьего читателя, для перлюстратора. Дельвиг сперва начал писать «пой», т. е. «пойман», но одумался, зачеркнул и написал «нашелся» (Б.Ак.13.260).

Вряд ли Пушкин сильно удивился, что Кюхельбекер пытался осуществить то же, что сам поэт, — удрать за границу. Но, без всякого сомнения, Пушкина потряс арест неподалеку от цели. Именно этот факт умерил планы поэта бежать тайно. А ведь кроме Кюхельбекера, арестовали и Грибоедова. Было от чего потерять и сон, и аппетит, и жажду развлечений. Узел затягивался вокруг той самой троицы, которая в 1817-м принесла клятву служить верой и правдой русской дипломатии: двое за решеткой, очередь за Пушкиным.

Кюхельбекер был недалеко от свободы, но, отсидев десять лет в Шлиссельбургской и Динабургской крепостях и еще десять лет в Сибирской ссылке, больной чахоткой, ослепший, он перед смертью просил Жуковского добиться царской милости, напечатать самые невинные литературные произведения: «...Право, сердце кровью заливается, если подумаешь, что все, мною созданное, вместе со мной погибнет, как звук пустой, как ничтожный отголосок!»⁷⁴

Другой декабрист, Михаил Бестужев, в ночь после восстания также обдумывал пути бегства за границу, совету-

ясь с коллегой Константином Торсоном. Вот диалог Торсона с Бестужевым из воспоминаний самого Бестужева.

« — Итак, ты думаешь бежать за границу? Но какими путями, как? Ты знаешь, как это трудно исполнить в России, и притом зимою?

— Согласен с тобою — трудно, но не совсем невозможно. Главное я уже обдумал, а о подробностях подумаю после. Слушай: я переоденусь в костюм русского мужика и буду играть роль приказчика, которому вверяют обоз, каждодневно приходящий из Архангельска в Питер. Мне этот приказчик знаком и сделает для меня все, чтобы спасти меня. В бытность мою в Архангельске я это испытал. Он меня возьмет как помощника. Надо только достать паспорт. Ну да об этом похлопочет Борецкий, к которому я теперь отправляюсь. Делопроизводитель в квартале у него в руках... Он же достанет мне бороду, парик и прочие принадлежности костюма... Лишь бы мне выбраться за заставу, а тогда я безопасно достигну Архангельска. Там до открытия навигации буду скрываться на островах между лоцманами, между которыми есть задушевные мои приятели, которые помогут мне на английском или французском корабле высадиться в Англию или во Францию»⁷⁴.

Затея Бестужева не удалась. Улицы были полны патрулей. У своего родственника актера Борецкого он переделался в мужика, приклеил бороду. Через знакомого Борецкий достал беглецу паспорт человека, незадолго до этого умершего в больнице. Но выяснилось, что паспорта уже недостаточно для проезда заставы. Надо еще личную записку коменданта, так что удрать невозможно. Дом Бестужева окружили шпионы и сыщики тайной полиции. Бестужев сдался жандармам добровольно.

Другой участник бунта, морской офицер Николай Бестужев, решил бежать в Швецию. Из Петербурга он добрался незамеченным до Толбухина маяка, остановился обогреться, но жена одного матроса, узнав его, донесла властям, и беглеца вскоре догнали⁷⁵.

Друзья советуют Пушкину обратиться к новому царю с просьбой о прощении, а не о загранице. «Самому тебе не желать возврата в Петербург странно! — удивлялся Павел Катенин. — Где же лучше?» (Б. Ак.13.259) А немного позднее Катенин советует писать «почтительную просьбу в благородном тоне» прямо новому царю. В конце февраля Плетнев сообщает Пушкину поручение Жуковс-

кого: надо написать покаянное письмо. В начале марта письмо сочинено и приложено к ответному письму Плетневу. Сам Пушкин, чтобы не упоминать императора, прибавляет: «При сем письмо к Жуковскому в треугольной шляпе и в башмаках. Не смею надеяться, но мне бы сладко было получить свободу от Жуковского, а не от другого...» (X.158)

Пушкин рассчитывал, что друзья поймут и письмо достигнет царя: куда же, как не на прием, надевает Жуковский треугольную шляпу? Поэт снова напоминает о своей болезни (теперь уже не аневризм, но нечто более неопределенное, «род аневризма», требующий немедленного лечения). «Вступление на престол государя Николая Павловича подает мне радостную надежду. Может быть, Его Величеству угодно будет переменить мою судьбу» (X.158).

Месяц ушел у Жуковского на прощупывание почвы, а ответ обдал Пушкина ушатом холодной воды. «В теперешних обстоятельствах, — отвечает ему Жуковский, подчеркивая важные места, — нет никакой возможности ничего сделать в твою пользу. Всего благоразумнее для тебя остаться покойно в деревне, не напоминать о себе и писать, *но писать для славы*. Дай пройти несчастному этому времени. Я никак не умею изъяснить, для чего ты написал мне последнее письмо свое. Есть ли оно *только ко мне*, то оно странно. Есть ли ж для того, чтобы его *показать*, то безрассудно. Ты ни в чем не замешан — это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством» (выделено Жуковским. Б. Ак.13.271).

Многое мог сделать Жуковский (и, добавим, делал), но в тот момент он сам весной отправлялся за границу — на лечение и отдых на все лето, до сентября. А Пушкину Жуковский советовал сидеть тихо в Михайловском и вести себя благонамеренно: «Еще не время. Пиши Годунова и подобное: они отворят дверь свободы». «Борис Годунов» уже был написан, и кое-какие надежды на пьесу Пушкин возлагал. Он хотел посоветоваться с Жуковским с глазу на глаз и поэтому спрашивал Вульфа: не через Дерпт ли едет Жуковский в Карлсбад? Конечно, ехал он через Дерпт, но почему-то не заглянул в михайловскую глушь.

В Петербурге оставался старик Карамзин, не раз выручавший из беды, но он занемог. Да и отношения их в пос-

леднее время не были теплыми. Карамзин считал писания Пушкина живыми, но недостаточно зрелыми. Что касается влияния Карамзина на покойного императора, то это влияние в конце ослабло. С Николаем I отношения у Карамзина были лучше, но время не очень подходило для просвещенных советов царю. Впрочем, Карамзин замолвил все-таки слово за Пушкина и, может быть, отвратил худшие последствия. То был последний жест доброй воли шестидесятилетнего писателя.

Карамзин смертельно болен и, в отличие от Пушкина, не притворяется. Ему, чтобы выжить (воспаление легких, кашель с кровью), как полагают врачи, остается последний шанс: целебный климат Италии. Карамзин просит дать ему должность русского резидента во Флоренции, обещая в чужой земле беспрепятственно заниматься Россией. Царь остроумно отвечает, что российскому историографу не нужно такого предлога, чтобы выехать: Карамзин может там жить свободно, занимаясь своим делом, которое важнее дипломатической корреспонденции, особенно флорентийской. Николай Павлович назначает историографу и его семье огромную пенсию 50 тысяч рублей годовых (прежний царь платил 2 тысячи) и обещает даже дать специальный фрегат. Уже пакуются чемоданы для Италии, но окружающие понимают, что писатель умирает. 22 мая 1826 года, не успев отправиться лечиться в Италию, Карамзин скончался.

Неожиданно за границу ускакал и другой заступник, Александр Тургенев: поспешил в Дрезден к брату Сергею, который там заболел. Этой поездке не помешало то чрезвычайное обстоятельство, что третий брат Николай отказался вернуться в Россию после восстания декабристов и был приговорен к смертной казни заочно. Новый царь не препятствовал отъезду Александра Тургенева за границу, с него лишь взяли подписку, что не будет встречаться с осужденным братом.

Не мог помочь и князь Вяземский. Несчастье обрушилось на его семью: в мае в Москве умер трехлетний сын, из пятерых детей остался один. Пушкин в конце апреля уже просил Вяземского об одолжении. Он отправил к нему крепостную Ольгу Калашникову, «которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил» (Х.159). Пушкин просил пристроить ее в имении и позаботиться о малютке. 1 июля 1826 года у Пушкина ро-

дился сын Павел, которого записали сыном крепостного Якова Иванова, — такова была обычная практика. О судьбе мальчика ничего не известно.

Все разъехались. Вяземские отбыли из столицы в Ревель вместе с вдовой и детьми Карамзина, а Пушкин сидел на том же месте, всеми забытый.

Наступило тревожное затишье и в общественной, и литературной жизни. Как выразился поэт Николай Языков, «перевоз тела в бозе почившего монарха поглотил все чувства литературные; ничего нового не является в публику»⁷⁶. Предполагали, что лед вот-вот тронется. «Дождись коронации, — утешал Пушкина Дельвиг, — тогда можно будет просить Царя, тогда можно от него ждать для тебя новой жизни» (Б.Ак.13.271). Сам Дельвиг только что женился, был счастлив и увлечен новыми обязанностями. Заниматься хлопотами, связанными с Пушкиным, ему было не по силам. Пушкину ничего не оставалось, кроме как ждать.

Глава седьмая НА ПРИВЯЗИ

*Ты, который не на привязи, как можешь ты
оставаться в России? Если Царь даст мне свободу,
то я месяца не останусь.*

Пушкин — Вяземскому, 27 мая 1826

Обдумаем эти слова, написанные Пушкиным в письме, посланном из Михайловского, разумеется, не по почте, а с оказией в начале лета того тревожного и очень важного года в жизни поэта. Он не только не хочет сам оставаться в России, но удивляется другу, у которого есть возможность уехать, а тот ее не реализует. Слово «слобода» четко написано Пушкиным в ласковом просторечном звучании, но исправлено на «свобода» в Малом академическом собрании сочинений (X.161). Пушкин многозначительно выделяет слово *слобода*. Он рассчитывает, что новый царь отпустит его. Поэт указывает срок (и этот срок, как видим, меньше месяца), который ему нужен, чтобы уладить дела и отбыть.

Подтолкнули его к очередному шагу извне. Согласно рескрипту Николая I на имя управляющего Министерства внутренних дел Ланского от 21 апреля 1826 года от всех находящихся в службе и отставных чиновников, а также от неслужащих дворян должна быть взята подписка о непринадлежности к тайным обществам в прошлом и обязательство к таковым не принадлежать в будущем. Форма придумана не столько для проверки лояльности власть имущего слоя (абсолютное большинство помещиков едва знали, о чем идет речь), сколько для порядка: всем застегнули на шее поводок.

Пушкину тоже пришлось поехать в Псков и подписать в присутственном месте бумагу, что он ни к каким тайным обществам не принадлежал и никогда не знал о них. В связи с этой подпиской Пушкин, видимо, посоветовавшись с чиновниками в Пскове, а также учтя давление друзей (кайся! кайся!!), написал прошение всемилостивейшему государю. Он обращается «с надеждой на великодушие Вашего Императорского Величества, с истинным раскаянием и твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпискою и честным словом)» (X.162).

Он по-прежнему озабочен медицинским подтверждением своей липовой болезни: «Я теперь во Пскове, — сообщает он Вяземскому, — и молодой доктор спяна сказал мне, что без операции я не дотяну до 30 лет. Незабавно умереть в Опоческом уезде» (X.161). Пили они вместе с доктором или ветеринар был уже пьян, когда Пушкин к нему явился, а может, опять взятка помогла, факт остается фактом: Всеволодова удалось провести.

Как явствует из письма, Пушкин почему-то уверовал, что его на этот раз выпустят за границу. В мыслях он уже уехал, он уже там. «Мы живем в печальном веке, — пишет он Вяземскому, — но когда воображаю Лондон, чугунные мосты, паровые корабли, Английские журналы или Парижские театры и бордели — то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-й песне «Онегина» я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно — услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — айда умница. Прощай» (X.161).

Слово «бордели» печаталось в ранних советских изданиях писем Пушкина, но позже было заменено прочерком, а в словах «Английские» и «Парижские» заглавные буквы, написанные поэтом, исправлены на строчные. Уже после смерти Пушкина друг его Павел Нащокин вспомнит: «Ни наших университетов, ни наших театров Пушкин не любил».

Два важных заявления в письме: Пушкин все еще готовится выехать нелегально («удрать»); для тех потомков, кто будет доказывать, что патриот Пушкин хотел лишь съездить за границу, сам поэт заявляет, что «никогда в проклятую Русь не воротится». Прямой намек на желание уехать навсегда можем обнаружить даже в пушкинском прошении Николаю I. «Здоровье мое, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чем и представляю свидетельство медиков: осмелюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего в Москву, или в Петербург, или в чужие края» (X.162). Поэт просит отпустить его для постоянного лечения.

Настроение скорого отъезда поддержал в Пушкине Дельвиг. В письме, присланном Осиповой в Тригорское, говорится: «Пушкина верно пустят на все четыре стороны; но надо сперва кончиться суду»⁷⁷. Процесс над декабристами идет полным ходом.

В Тригорское на летние каникулы приехал Алексей Вульф и привез Николая Языкова, который поселился в бане. Тут и Пушкин остается ночевать, когда гуляние идет за полночь, и ему весело с друзьями и подругами. Оптимизма, однако, хватило ненадолго. Когда опять пришло письмо Вяземского с советом написать покаянное письмо и просить дозволения ехать лечиться, Пушкин отвечает: «Твой совет кажется мне хорош — я уже написал царю, тотчас по окончании следствия... Жду ответа, но плохо надеюсь» (X.163). Следствие по декабристскому *coup d'etat* грозило и Пушкину дорогой в противоположную сторону.

В столице его судьба давно обсуждалась, о чем он почти ничего не знал. Еще в феврале Максиму фон Фоку, тогда управляющему Особой канцелярией при Министерстве внутренних дел, доставлено донесение, что Пушкин и ныне проповедует безбожие и неповиновение властям⁷⁸. Жандармский полковник Бибиков положил на стол шефу и родственнику Бенкендорфу соображения по поводу обращения с вольнодумцами. Ссылка, по мнению Бибикова,

делает таких людей, как Пушкин, лишь более желчными. Полковник предлагал польстить тщеславию этих мудрецов, и они изменяют свое мнение.

Власти тщательно прослеживали контакты Пушкина. Еще в апреле Петербургский генерал-губернатор Голенищев-Кутузов на секретной записке начальника Главного штаба Дибича о Петре Плетневе отметил, что хотя он поведения примерного, следует организовать надзор за ним, поскольку он является комиссионером Пушкина. Плетнева пригласили и сделали ему выговор за переписку с михайловским ссыльным. Плетнев подчинился, и в кругу поэта еще на одного верного человека стало меньше.

Бенкендорфу поступил донос в связи с перехваченным письмом Михаила Погодина, где тот приглашал Пушкина сотрудничать в новом журнале «Московский вестник». В доносе предлагалась мера наказания, проливающая некоторый свет на проблему, которая волновала и Пушкина. «Запретить Погодину издавать журнал, без сомнения, невозможно уже теперь. Но он хотел ехать за границу на казенный счет, хотел вступить в службу — вот как можно зажать его», — предлагал правительству Булгарин⁷⁹. Бенкендорф ознакомил с доносом государя. Другой тайный агент в донесении сообщал: «Все чрезвычайно удивлены, что знаменитый Пушкин, который всегда был известен своим образом мыслей, не привлечен к делу заговорщиков»⁸⁰.

Нет, время было не самое лучшее, чтобы надеяться на прощение. Николай I делает распоряжение Следственной комиссии: «Из дел вынуть и сжечь все возмутительные стихи». Глава русского государства приравнял поэзию к чуме. В архиве сохранился лист с показаниями декабриста Громницкого. На обороте текст густо зачеркнут и написано: «С высочайшего соизволения помарал военный комиссар Татищев». Это было стихотворение Пушкина «Кинжал»⁸¹.

В Петербурге опубликовали список заговорщиков, привлеченных к суду. Теперь князь Голицын, типичный иезуит и прирожденный следователь-сыщик, по выражению Н.Лернера, мог считать свою миссию в качестве главы Следственной комиссии по делу о 14 декабря полностью выполненной. До казни оставался месяц, брезжили кое-какие иллюзии на помилование.

В промежутке между приговором и повешением изменилась структура государственного сыска. Покойный император Александр I уничтожил Тайную канцелярию и

даже запретил упоминать ее название. Секретные дела, направленные против государства, стали рассматриваться в обычных присутственных местах и присылались на так называемое «обревизование» в первый департамент Сената, откуда, может быть, пошло советское название «первый отдел».

Летом 1826 года, перед казнью декабристов, начальник первой Кирасирской дивизии генерал-адъютант Бенкендорф, активный член Следственной комиссии, был назначен шефом жандармов и командующим Главной императорской квартирой, а затем начальником Третьего отделения Собственной Его Величества канцелярии, которую почтительно стали называть Высшей полицией. Реорганизовали ее из двух особых канцелярий — Министерства полиции и Министерства внутренних дел.

Третьему отделению был придан корпус жандармов (в качестве исполнительной части). Империю разделили на восемь жандармских округов во главе с генералами и штатом офицеров, в задачи которых входили тайное наблюдение и слежка за деятельностью и личной жизнью чиновников и всех обывателей. Еще в первый день Рождества, после разгона восставших, генерал Бенкендорф получил от императора орден Святого Александра. Генерал от кавалерии, на которого поколения пушкинистов не жалели черной краски, был на самом деле неординарной личностью.

Сын эстляндского гражданского губернатора из Риги, он в молодости увлекался либеральными идеями. Его мать была близкой подругой императрицы Марии Федоровны, брат Константин написал книгу «Краткая история лейб-гвардии гусарского Его Величества полка»⁸². Можно представить себе, каким бестселлером могла бы стать книга самого главы Третьего отделения, будь она написана.

Пятнадцати лет этот человек попал во флигель-адъютанты императора Павла. Бенкендорф был хорошо образован, умен, отважен и, как ни странно, порядочен. При огромной и тайной власти, которой он располагал, он не использовал служебного положения для корысти, не организовывал ложных дел, чтобы выслужиться, не сочинял напрасных обвинений, не преследовал личных врагов и презирал людей, доносивших ложь. Тынянов утверждал, что старательность Бенкендорфа раздражала царя и тот не любил генерала. Тынянов добавлял, что Бенкендорф был

бабником, но не говорил того же о Пушкине, в сравнении с которым шеф жандармов был образцовым семьянином.

В 1826 году Бенкендорфу исполнилось 43 года. Николай, который был моложе на 13 лет, видел в генерале одного из самых близких себе людей, доверял ему наиболее деликатные поручения, огласки которых не хотел. Преданность главы Третьего отделения была безупречная, и Николай Павлович мог на него рассчитывать, когда впоследствии говорил шведскому послу: «Если явилась бы необходимость, я приказал бы арестовать половину нации ради того, чтобы другая половина осталась незараженной»⁸³. Из Министерства внутренних дел в Третье отделение был переведен управляющим фон Фок, возглавивший тайный политический сыск. Стихи Пушкина и доносы о нем теперь стали стекаться в одно место.

Пушкин с беспокойством ждал окончания следствия и приговора декабристам с февраля, а сообщение о казни дошло до него 24 июля. Жестокость приговора потрясла цивилизованный мир: руководителей — к четвертованию (когда последовательно отсекают руки, ноги и затем голову), остальных — к политической смерти в ссылке. В результате пятерых, приговоренных к четвертованию, гуманно решили повесить. Сергей Муравьев-Апостол, у которого во время повешения оборвалась веревка, крикнул: «Проклятая страна, где не умеют ни составлять заговоры, ни судить, ни вешать!»⁸⁴

Вяземский, который был «не на привязи», писал жене: «Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена: мне в ней душно, нестерпимо... не хочу жить спокойно на лобном месте, на сцене казни!» Он уехал в Ревель, чтобы не присутствовать на коронации. Пушкин же, еще не зная о происходящем в Петербурге и получив о предстоящей коронации весть, решил попытать счастья и подать документы на выезд, чтобы они пошли по инстанции.

Он опять отправился в Псков. Очевидно, сперва посетил губернатора, и тот потребовал медицинское заключение. Пушкин прошел обследование у знакомого врача, и можно было сказать, что болезнь прогрессирует. К прошению поэта императору Николаю Павловичу от 11 мая 1826 года приложено свидетельство от 19 июля 1826 года за подписью доктора Всеволодова.

В свидетельстве врачебной управы говорится: По предложению Его Превосходительства Господина Псковского

Гражданского Губернатора и Кавалера за № 5497, свидетельствован был в Псковской Врачебной Управе г. Коллежский Секретарь Александр Сергеев сын Пушкин, причем оказалось, что он действительно имеет на нижних конечностях, а в особенности на правой голени повсеместное расширение крововозвратных жил (*Varicositas totius cruris dextri*), от чего г. Коллежский Секретарь Пушкин затруднен в движении вообще. В удостоверение сего и дано сие свидетельство из Псковской Врачебной Управы за подлежащим подписом и с приложением ее печати... Инспектор врачебной Управы В. Всеволодов»⁸⁵. Со ссылкой на злополучный «род аневризма» Пушкин просил спасти его жизнь и разрешить лечиться там, где его могут вылечить. Отметим, что в прошениях Пушкина это последнее упоминание каких-либо болезней, с помощью которых он надеялся выехать за границу.

Время казалось идеальным для выезда: близилась коронация, а значит, амнистия для тех, кто был в опале при прежнем царе. Дав подписку, Пушкин отрекся от всего, что связывало его с декабристами, болезнь документально подтверждена. Л. Гроссман сформулировал все более современным языком еще в сталинские годы: платой Пушкина за освобождение был отказ «от антиправительственной пропаганды»⁸⁶. Ложь и самоунижение явились необходимыми элементами компромисса. Псковский губернатор Адеркас отправил в Ригу Прибалтийскому губернатору маркизу Паулуччи бумагу на Высочайшее Имя с приложением прошения Пушкина, медицинского освидетельствования и подписки о непринадлежности к тайным обществам.

Снизу вверх шло прошение, а сверху вниз двигалось особое расследование о поведении в Псковской губернии стихотворца Пушкина. В Новоржев выехал специальный агент, посланный по устному приказу генерал-лейтенанта Ивана Витта. Задачей агента А. Бошняка было тайное расследование поведения поэта, подозреваемого в возбуждении крестьян. С Бошняком послали фельдъегеря Блинкова: арестовать Пушкина, если он окажется действительно виновным. У Бошняка был солидный опыт оперативной работы, поскольку в Одессе он служил провокатором в Южном обществе декабристов. Для ареста Пушкина Бошняк имел при себе открытый (то есть незаполненный) документ.

С утра Бошняк отправился собирать компромат. Он беседовал о Пушкине в гостиницах, в доме уездного судьи, навестил соседей-помещиков, игумена Иону. Бошняк объехал округу, и везде слышал, что Пушкин ведет себя уединенно, скромно, тихо, крестьянские бунты и тайные заговоры не организует. По-видимому, в тот момент кое-что зависело от агента Бошняка. Другой припугнул бы допрашиваемых, добавил от себя, и дело сшито; можно арестовать поэта и получить повышение в чине. Бошняк этого не сделал. Опытный службист, он понимал, куда дует ветер: Пушкина хотели освободить. Поэт в те дни был в Пскове, и его даже не потревожили. Через пять дней Бошняк отпустил Блинкова в Петербург, поскольку для ареста Пушкина не оказалось оснований, а чуть позже отбыл и сам.

Ничего не знал Пушкин и о другом событии: из-за границы вернулся Чаадаев. А декабрист Иван Якушкин, абсолютно уверенный, что Чаадаев за границей и недосыгаем, назвал его членом тайного общества. Специальные агенты в Варшаве, досматривая чаадаевский багаж, перерыли все его бумаги и среди них нашли стихи. Великий князь Константин Павлович, полгода назад отказавшийся стать царем, шлет об этих стихах рапорт в столицу. В Брест-Литовске Чаадаева арестовывают и допрашивают по поводу найденных у него рукописей. Выпускают его под надзор Московского губернатора. Чаадаев (тексты допросов сохранились) назвал автором нескольких рукописей Пушкина и перечислил всех лиц, от которых он эти рукописи получал, а также всех, кому давал стихи эти читать⁸⁷.

До Пушкина дошел слух, что заочно приговоренный к смертной казни по делу декабристов ученый и публицист Николай Тургенев выдан в Лондоне русскому правительству и привезен в кандалах на корабле в Петербург для расправы. Не исключено, что тайная полиция сама слух распространила. Он не способствовал подъему настроения, и Пушкин написал Вяземскому тревожное письмо. Выяснилось, что это выдумка; Николай Тургенев остался на Западе. Через сто лет, уже при советской власти, издали его дневник за те годы. Он входил в седьмой выпуск «Архива братьев Тургеневых», но тираж крамольной книги был уничтожен. Остались два экземпляра уникального издания⁸⁸.

Длинные руки российских секретных служб действовали и за границей. Князь Иван Гагарин, бросивший дип-

ломатическую службу и перешедший во Франции в католичество, говорил, что у него была идея обратиться к католичеству всю Россию, а первым — Бенкендорфа. Русский консул в Марселе получил секретное указание при первом же удобном случае схватить Гагарина, посадить на военный корабль и отправить в Россию. Гагарин старался вовсе не ходить в гавань, если там стоял русский корабль.

Пушкин живет надеждой, что его вот-вот выпустят из неволи. Отправляя прошение по инстанциям, губернатор Адеркас говорил поэту комплименты и обещал содействие. Не знал Пушкин, что 30 июля из Риги его всеподданнейшее прошение препровождено в канцелярию Министра иностранных дел графа Нессельроде с письмом губернатора маркиза Паулуччи. В письме подтверждается, что Пушкин ведет себя хорошо и, находясь в «болезненном состоянии», «просит дозволения ехать в Москву, или С.-Петербург, или же в чужие края для излечения болезни». Однако Паулуччи полагает «мнением не позволять Пушкину выезда за границу»⁸⁹. Николай I в этой подсказке не нуждался. Однако вопрос: почему губернатор высказал такое мнение, — возникает. Ответ в том, что некоторые мысли верховного начальства витали в воздухе. И маркиз Паулуччи их угадывал. Такое единомыслие засчитывалось в плюс губернатору.

В Москве состоялась коронация нового царя. Среди длинного списка дел, которые он намеревался решить лично, значилось и дело «стихотворца Пушкина, известного в обществе». Ходатайство об освобождении двигалось в бюрократическом аппарате параллельно с расследованием дела об антиправительственных стихах. Оба дела сошлись, и надо было принять решение. Никто не мог это сделать, кроме царя. 28 августа 1826 года, через шесть дней после коронации, начальник Главного штаба барон Иоганн-Антон (он же Иван Иванович) Дибич записал резолюцию, продиктованную ему Николаем: «Высочайше повелено Пушкина призвать сюда. Для сопровождения его командировать фельдъегеря. Пушкину дозволяется ехать в своем экипаже свободно, под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта. Пушкину прибыть прямо ко мне. Писать о сем губернатору»⁹⁰.

Как только фельдъегерь Вальш объявился в Пскове, губернатор Адеркас отправил Пушкину письмо, тре-

бующее явиться немедленно. Адеркас приложил к письму копию секретного предписания начальника Главного штаба барона Дибича. В ночь с 3 на 4 сентября офицер с этими бумагами явился в Михайловское. Пушкин сказал, что не поедет без пистолетов, поскольку всегда их возит с собой.

Тотчас послали садовника Архипа в Тригорское. Когда тот привез пистолеты, был пятый час утра. Захватил с собой Пушкин и рукопись «Бориса Годунова» в подтверждение лояльности и таланта, служащего во благо России. В Пскове ему вручили другое, более любезное письмо Дибича, и поэт, сопровождаемый фельдъегерем не в виде арестанта, несколько успокоился. «Свободно, под надзором», — указано в высочайшем повелении. Такое типично русское словосочетание, мы бы даже сказали, что обе части — почти синонимы. Вечером того же дня они выехали в Москву.

Ничего не зная о происходящем, мать Пушкина опять послала новому императору прошение, сочиненное от ее имени князем Вяземским, умоляя пощадить сына и отпустить лечиться за границу. Вяземский не жалел красок, описывая, как ветреные поступки по молодости вовлекли сына ее в несчастье заслужить гнев покойного государя. Третий год живет ее чадо в деревне, страдая аневризмом, без всякой помощи. Но ныне, сознавая ошибки свои, сын желает загладить оные, а она как мать просит даровать ему прощение. Прошение было доведено до высочайшего сведения лишь в январе 1827 года, когда Пушкин находился в Москве. Николай поставил условный знак карандашом, а статс-секретарь написал: «Высочайшего соизволения не последовало». Бумажная машина работала в своем порядке, не зависимом от людей и даже от царя.

Более чем шестилетняя ссылка кончилась. Пушкин провел ее в трех местах: Кишиневе, Одессе и Михайловском; отовсюду он по несколько раз пытался легально выехать или бежать за границу. Государь пожелал, чтобы Пушкин просил прощения у него лично. И лошади везли поэта не на Запад, куда он рвался, а в противоположную сторону.

Глава восьмая

МОСКВА: «ВОТ ВАМ НОВЫЙ ПУШКИН»

Путь мой скучен...

Пушкин (II.309)

После шести с лишним лет ссылки (точнее 2312 дней, считая день отъезда и день приезда за один день) Пушкина привезли в Москву к дежурному генералу Главного штаба Алексею Потапову, и тот, не дав стряхнуть дорожную пыль, доставил усталого поэта в Чудов монастырь, прямо на встречу с царем. Чудов монастырь, располагавшийся возле Манежа, поистине чудо шестисотлетней давности, снесли в тридцатые годы, построив на его месте школу красных командиров. Там потом расположился Президиум Верховного Совета.

Николай I, как вспоминал барон Корф, говорил ему: Пушкина «привезли из заключения ко мне в Москву совсем больного и покрытого ранами — от известной болезни». В первом издании книги «Пушкин в воспоминаниях современников» изъяты слова «от известной болезни». При переиздании книги Вересаева «Пушкин в жизни» дополнительно изъято также выражение «и покрытого ранами». Во втором издании «Пушкин в воспоминаниях современников» воспоминания Корфа изъяты целиком⁹¹. По-видимому, царь намекал на венерическую болезнь Пушкина, которой на самом деле тогда не было: Пушкин, судя по сохранившемуся рецепту, болел гонореей и лечился год спустя во время поездки в Михайловское. Но в любом случае, «покрытого ранами» сказано Его Величеством для красного словца.

Императорская аудиенция продолжалась около часа. Настроение обоих участников встречи (царь после коронации и поэт, возвращенный из ссылки) было приподнятым и устремленным в будущее. Ситуация парадоксальная, почти невероятная: Пушкин был сослан на шесть лет без суда и доказанной вины. А когда вина злоумышленников, реально покушавшихся на власть, и причастность стихов Пушкина к делам экстремистов доказаны, — поэт освобожден. Миф о поэте объясняет, что Николай занялся этим вопросом в связи с огромным беспокойством из-за влияния поэта. На деле он ведь сам писал царю, умоляя о

великодушии, клялся словом дворянина отныне быть верноподданным. В документе с отметкой «секретно» прямо сказано, что освобождают по высочайшему повелению, последовавшему по всеподданнейшей просьбе. Если какие-то круги и представляли Пушкина как жертву режима, поэта, которого власти преследуют и держат в ссылке, — вот вам демонстрация нашего либерализма.

Взгляд на деятельность Николая I, выраженный историком, приближенным к тайной полиции, звучал так: «*Гений* (Петр Великий. Выделено автором цитаты. — Ю. Д.) положил фундамент; *Великая* (Екатерина) соорудила здание; *Благословенный* (Александр I) распространил; а *Мудрый* украшает это здание, с которым не мог бы равняться даже Рим во всем блеске своего величия»⁹².

Несмотря на все прелести отечественного «здания», Европа казалась русским землей обетованной. Члены царствующей фамилии часто проводили время за границей. Старшая сестра обоих последних царей Мария постоянно жила там. Николай до воцарения провел в походах за границей два года. Его европейские связи были обширны, он понимал значение прогресса, однако над царем тяготело несколько обстоятельств, которые он обязан был учитывать.

Завинчивание гаек в последние годы предшествовавшего правления привело к нестабильности власти в стране. Новый царь хотел создать прочные основы для своего правления на десятилетия вперед, а для стабильности необходимо было выровнять баланс между политическими силами, действовавшими до сего времени на разрыв. Николай понимал неизбежность реформ, но находился между более либеральной частью дворянства, сознававшей необходимость отмены крепостного права, и консервативной частью, которая не хотела ничего менять.

Для управления государством создается такой бюрократический аппарат, которого мир доселе не видывал. Делается это Николаем Павловичем с лучшими намерениями: для проведения реформ и проектов. Но, будучи создан, все труднее управляемый аппарат начинает всячески сопротивляться реформам и постепенно все больше влияет на самого Николая, сводя замыслы к нулю. Царь, на которого взваливают историческую ответственность, сам постепенно становится частью бюрократического механизма.

А все ж нового царя отличало прямодушие и искреннее желание исправить застойные ошибки предыдущего прав-

ления. Николай устранил от власти Аракчеева, пообещал полную гласность процесса над декабристами, предложил представить проекты реформ, говорил о необходимости ускорения прогресса. В процессе реализации обещания померкли. Готовность русского правительства предоставить Западу полную информацию о событиях декабря 1825 года свелась к версии о бунте пьяных в Петербурге. Правда, и реакция Запада не была энергичной. Европейцы призывали к милосердию, а в американской прессе вообще не было сообщений о казни декабристов, хотя на процедуре присутствовали иностранные дипломаты. По утверждениям мемуаристов, палачей для исполнения казни привезли из Швеции или Финляндии⁹³.

Создавая надежный аппарат для защиты власти от ползновений «пьяных офицеров», Николай I в то же время делал шаги, способствующие его популярности. Он обеспечил вдову казненного декабриста Рылеева, который на допросе стоял перед ним на коленях и в раскаянии рыдал. Повесив его, царь позаботился об образовании его дочери и внуки. И вот он вернул из ссылки Пушкина, чем привлек на свою сторону образованную часть петербургского и московского общества.

Оба участника аудиенции и их современники свидетельствовали, что разговор для обеих сторон был непростой и достаточно откровенный. В дореволюционных источниках всячески преувеличивалась роль Николая: «благожелательность и великодушие», «положено прочное начало весьма близких отношений»⁹⁴. В советское время подчеркивалась независимость суждений Пушкина: царь России беседует с царем поэзии, а не с подданным, которого император одним жестом может сгноить в Сибири. Преувеличивается прежде всего откровенность и прямота Пушкина и преуменьшается его желание засвидетельствовать свою преданность.

Скорей всего, во время аудиенции были затронуты темы, которые Николай считал нужным затронуть, и не более. Главный смысл встречи состоял в приручении. Полагать, что беседа была в форме предложения поэту определенных условий, типа «если — то», кажется несколько наивным. Если будешь вести себя хорошо, не станешь высказываться против правительства, то лично я буду тебе покровительствовать. Если будешь одобрять и не будешь критиканствовать, то займешь подобающее твоему таланту место. Беседа

часто толкуется в пушкинистике в такой форме, то есть со стороны царя имеет место сделка с подданным.

Николай снизошел до Пушкина, чтобы указать ему на некоторые государственные проблемы, дабы вовлечь писателя в серьезные дела и заставить позабыть мальчишеское ёрничество. В беседе возникли темы предстоящих реформ, образования для народа, судеб осужденных заговорщиков. Компромисс (а не сделка) был взаимовыгодным: монаршая милость в обмен на лояльность. За раскаяние и проявленную готовность сотрудничать с новой администрацией Пушкин получил льготу — личную цензуру императора. Это означало, что надо стать придворным поэтом. Через третьих лиц поэт узнал, что царь назвал его умнейшим человеком в России, и это окрылило Пушкина.

Возникает вопрос: почему поэт не попросил царя, воспользовавшись уникальным шансом, отпустить его за границу? Не возникло в разговоре такой возможности? Пощитал неуместным? Ни Пушкин, ни мемуаристы — а значит, свидетели устных рассказов и поэта, и царя про аудиенцию — об этом не упоминают. Думается, во время разговора проситься за границу лечиться, ссылаясь на липовую болезнь, было бы глупо. В Москве болезнь придется подтверждать не у ветеринара, а у настоящего врача, да и лгать в лицо государю труднее, чем в прошениях. А главное, на аудиенции поэту показалось, что он обретает полноправный статус. То, что вчера казалось невозможным, сегодня, под покровительством императора, становилось само собой разумеющимся. На таком фоне и поездка за границу делалась реальной: теперь Пушкин свободен и просто поедет когда и куда захочет, как делают другие. Настал день возрожденных юношеских иллюзий.

В те дни создается одно из самых известных стихотворений — «Пророк». Стихи легко прошли цензуру и были опубликованы. Многие биографы указывали, что текст написан до встречи с царем — по дороге в Москву. Сергей Соболевский отмечал: «“Пророк” приехал в Москву в бумажнике Пушкина»⁹⁵. М. Цявловский датировал «Пророка» неопределенно: 24 июля — 3 сентября 1826 (Б. Ак. 3. 1130). Б. Томашевский не связывал стихотворения с данным событием, однако датировал стихи 8 сентября 1826 года, то есть днем аудиенции (II.384).

Распространено толкование, что у «Пророка» было революционное окончание и Пушкин намеревался дерзко

вручить его царю в случае конфликта⁹⁶. Это слишком маловероятно. В комментариях о конце стихотворения говорится: «Возможно, что здесь должны были следовать нецензурные стихи политического содержания» (Б. Ак.3.578). Если принять легенду, то поэт подготовил два варианта одного текста, так сказать, «за» и «против», смотря по ситуации. Принято также считать, что в основе стихотворения лежит библейский сюжет: поэты, как когда-то пророки, должны быть народными вождями и провидцами исторической народной судьбы⁹⁷. Против этого возражал о. Сергей Булгаков: «Для пушкинского «Пророка» нет прямого оригинала в Библии»⁹⁸.

Нам представляется, что стихотворение «Пророк» и верховная аудиенция связаны не только временем написания, но и внутренне. В содержании «Пророка» видится намек на то, что Пушкин написал его после пяти вечера, то есть после аудиенции, когда он вышел из Чудова монастыря окрыленным. Только тогда, получив благословение государя, он почувствовал себя свободным и, добавим, благодарным. В стихотворении всего тридцать строк, но для ясности перескажем их убогой прозой с небольшим комментарием.

Поэту, томимому духовной жаждой в пустыне (а пустыня у Пушкина — частый заменитель слов «глушь», «провинция», «ссылка», «отсталая страна»), является шестикрылый Серафим — представитель высшей небесной иерархии, приближенный к Богу и имеющий человеческий образ. Серафим коснулся уст пророка Исайи, сказав ему: «И беззаконие удалено от тебя, и грех твой очищен». Вряд ли такая аналогия могла прийти поэту до беседы. Пушкин от себя вводит уточнения. Серафим коснулся его глаз и ушей — и поэт увидел и услышал, что происходит в мире (возврат к светской жизни). Серафим вырвал его грешный язык (поставил крест на крамольных стихах, написанных ранее) и вложил в уста жало змеи — символ мудрости. Сердце у поэта он заменил на уголь, пылающий огнем. Автор услышал голос свыше: ступай и — «глаголом жги сердца людей» (II.304).

Мысли стихотворения противоречат другим взглядам Пушкина, например, «Ты царь: живи один» (III.165). В традиционных толкованиях стихотворения пророк у Пушкина — лидер, но в тексте он послушный исполнитель чужой воли («исполнись волею моею»). Для придания необходи-

мой одической патетики стихи написаны тяжелым архаическим языком, который раздражал Пушкина в придворном поэте Державине. И все же в одной строке «Пророка» проскальзывает больная личная нота. Бог призывает автора жить, «обходя моря и земли». Эта мечта Пушкина пока что не осуществилась.

Согласно воспоминаниям, после беседы царь вывел Пушкина к царедворцам и сказал: «Господа, вот вам новый Пушкин, о старом забудем»⁹⁹. Поразительно, что во многих работах, посвященных стихотворению, важнейшее событие тех дней жизни поэта: проблемный разговор с императором — вообще не упоминается.

Глава девятая

ПОХМЕЛЬЕ ПОСЛЕ СЛАВЫ

*Здесь тоска по-прежнему...
частный пристав Соболевский бранится и дерется
по-прежнему, ипионы, драгуны, бляди и пьяницы
толкуются у нас с утра до вечера.*

Пушкин — Павлу Каверину, 18 февраля 1827

Поэт вернулся в Москву, но положение его оставалось нестабильным. Частично это связано с неясностью политической линии нового царя. Курс правительства только складывался. Ни перед, ни после аудиенции Пушкин не мог посоветоваться с ближайшими старшими друзьями, как делал всегда, даже на расстоянии. Жуковский путешествовал за границей и не мог дать наставления, как разумнее себя вести. Александр Тургенев — в Дрездене. Вяземский провел лето в Ревеле с семьей умершего Карамзина. В Москве была Вера Вяземская, к ней Пушкин наведался после аудиенции, в дорожной пыли. Добрая и умная, даже, может, все еще влюбленная в него, — что она могла посоветовать?

Пушкин поселился у Сергея Соболевского, своего приятеля, и пребывает в центре внимания московского общества. В Большом театре публика смотрит на него, а не на сцену. Друзья и приятельницы рады ему, а он им. Он освобожден и почти счастлив. Соболевский вспоминал об их

бесшабашной жизни на Собачьей площадке возле Арбата: «Вот где болталось, смеялось, вралось и говорилось умно!»¹⁰⁰ Собачью площадку на Арбате без надобности уничтожили, а позже возвели на этом месте еще один похожий на многие другие памятник Пушкину.

О нем много судачат, и мнения о нем различные. «Я познакомился с поэтом Пушкиным, — писал московский почт-директор Александр Булгаков брату. — Рожа, ничего не обещающая». Близкие друзья смущены цензурной привилегией, данной Пушкину царем: «Если цензура плоха, надо ее отменить, а если законна и целесообразна, как можно разрешать кому-либо миновать ее?» — пишет князь Вяземский Тургеневу и Жуковскому 29 сентября 1826 года¹⁰¹. Они не понимают реального положения Пушкина. Спустя много лет Жуковский отметит, что «Государь хотел своим особенным покровительством остепенить Пушкина и в то же время дать его гению полное его развитие», но что Бенкендорф покровительство царя превратил в надзор¹⁰².

Сам же Пушкин раньше других почувствовал, что он свободен, но под наблюдением. Обласканный государем, поэт тем не менее не имел свободы передвижения даже внутри империи. Едва захотел поехать в Петербург, Бенкендорф сообщает ему: «Государь Император не только не запрещает приезда вам в столицу, но предоставляет совершенно на вашу волю с тем только, что предварительно испрашивали разрешение чрез письмо»¹⁰³. Узнавать от самого поэта о его передвижениях Бенкендорфу, разумеется, не было надобности: существовали осведомители. Но важно, чтобы Пушкин добровольно сообщал тайной полиции о себе, что он и вынужден делать. После чтения без разрешения друзьям «Бориса Годунова» ответ Пушкина недовольному Бенкендорфу полон извинений и послушания, но мы не знаем, о чем думал поэт, сочиняя покаянное письмо.

Каково вообще бунтарство Пушкина, а отсюда — так сказать, теоретическая основа его желания покинуть Россию? Лишь спустя четверть века после смерти поэта, когда появились послабления в цензуре, рассуждения о его политических взглядах стали появляться в печати. Большинство же воспоминаний о нем написано до этого, и политических тем мемуаристы старались избегать.

Свою политическую платформу молодой Пушкин недвусмысленно изложил в письме к Павлу Мансурову в

октябре 1819 года, сказав «ненавижу деспотизм» (X.14). В письме этом скабрёзные шутки перемешаны с матерщиной. Похоже, двадцатилетний молодой человек заявляет, что ему ненавистна всяческая дисциплина, только и всего. Деспотизм неприятен большинству людей; из этого, однако, не следует, что все они — диссиденты.

Экстремистские ноты звучат в голосе молодого Пушкина, террор вызывает восторг, браваду. Его минутный кумир — Занд, немецкий студент, заколовший кинжалом секретного агента русского правительства в Германии. В театре соседям он демонстрирует портрет Лувеля, убийцы герцога Беррийского. Он называет это тираноубийством, но это обычное политическое убийство. Таким же максималистом и тоже, к счастью, только на словах, был в молодые годы Катенин — страстный республиканец с манерами французского маркиза. Остепенился он еще раньше, чем Пушкин. Но и для Пушкина все это оказалось наносным; от этого не осталось и помина «под старость нашей молодости», как он выразился в письме (X.23).

В семнадцать лет поэт требовал святой свободы. Объясняя причины радикализма поэта, Анненков высказал мнение, что Пушкин в своих памфлетах не столько изливал собственный гнев и возмущение по поводу политической ситуации в России, сколько следовал настроению эпохи, правда, с избыточной горячностью¹⁰⁴. Но дело не только в этом. Однажды на упреки семьи в распущенности Пушкин сказал: «Без шума никто не выходит из толпы»¹⁰⁵. Значит, честолюбие (самореклама, как мы теперь говорим) двигало его к политическим крайностям, стремление через эпатаж публики приобрести известность. Крайняя левизна давала больше шансов на успех, чем туповатая крайняя правизна, не говоря уж о тоскливой умеренности.

Вяземский отмечал поверхностность либерализма молодого Пушкина¹⁰⁶. А по мнению Д.Благого, раз Пушкин вышел из Лицея «либералистом», это означало, что он созрел для вступления в тайное общество¹⁰⁷. Впрочем, из сталинского периода пушкинистики можно извлечь и еще более категоричные суждения. «Пушкин... всею душою хотел участвовать в революционной организации», считал литературную деятельность революционной и патриотической. «Нет сомнения в том, что, как и декабристы, Пушкин верил в успех «военной революции», ждал ее, готовил своей политической лирикой»¹⁰⁸. Ода «Вольность» напи-

сана под прямым влиянием Николая Тургенева и непосредственно в его присутствии. Не анархии, а вроде бы следования существующим в стране законам желал поэт от власти, то есть осуществления прокламируемого права:

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье. (1.283—284)

Разумеется, для России утверждение метафизической сущности закона, стоящего выше царя, уже есть крамола. За попытку сопоставить слово и дело властей, за то, что частное лицо смеет открыто сказать о нарушении закона, наказывали без проволочек. Идея улучшить социальное и политическое положение общества носилась в российском воздухе, и Пушкин ее впитывал. Идея эта была не нова и не в России рождена. С Запада пришли и радикализм, и либерализм, и многое другое, но в сравнительно неразвитой политической атмосфере России начала XIX века оппозиция все еще видела только два пути: смиренных прошений и бунта. Правительство в совершенствовании системы, как это происходит на Западе, мало участвовало, но даже прошения, если они заходили в своих целях далеко, рассматривало как подкоп под устои.

Когда Пушкин вернулся из ссылки, времена изменились. «Пушкин был вообще простодушен, — вспоминал впоследствии Вяземский, — уживчив и снисходителен, даже иногда с излишеством...»¹⁰⁹ Вот Пушкин уже и верит, что преобразования пойдут сверху, что Николай I — это Петр I на новом этапе. Начни теперь Пушкин делать политическую карьеру, как он собирался после Лицея (что, впрочем, для бывшего ссыльного вряд ли возможно), он стал бы либеральным консерватором, а не «разрушающим» либералом, — таково мнение Вяземского¹¹⁰. А все ж либерализм Александровской эпохи, сформировавший Пушкина, был чем-то большим, нежели просто общественной тенденцией. Окутанный флером романтики, надежды и молодости, он и для зрелого Пушкина являл собой некую точку отсчета, оставался отголоском периода, который поэт успел застать.

В новой атмосфере Пушкин соприкоснулся с несколькими явлениями политической жизни, искры которых опа-

лили его. Степень ожога трактуется по-разному. Для Радищева, к которому Пушкин относился с почтением, идеалом борцов за свободу были американцы. «Твой вождь, свобода, Вашингтон», — писал Радищев¹¹¹. Восхищался он Франклином, а русских борцов за свободу, вроде Пугачева, не упоминал вообще.

Либерализм американского образца был эталоном и для многих декабристов, хотя ни один из них не был в Америке. Элементы политического устройства США прослеживаются по документам декабристов, что отразилось и в названиях тайных обществ. Было Общество Соединенных Славян и даже просто Соединенные Штаты — название, данное Николаем Бестужевым Кяхтинскому кружку. Декабристы распространяли свои симпатии к Америке среди интеллигенции Сибири¹¹². Позже, как вспоминает Андрей Розен, правительство отправило в Читу инженерного штаб-офицера с помощниками, чтобы выстроить там огромную тюрьму по образцу американских исправительных домов. Декабристы стремились заимствовать у Америки конституцию, а власти — конструкции тюрем.

Мысль о непонимании, о беспросветности жизни в России владела Пушкиным, но — иначе, чем декабристами.

Нас мало избранных, счастливых праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов. (V.315)

Нас мало... В Москве и Петербурге все были родней, знакомыми: и диссиденты, и доносчики, и обыватели, и царедворцы, — тонюсенький слой нарождающейся российской интеллигенции. «Обществом» в то время стали называть узкий круг, который во времена Пушкина составлял по всей России едва ли несколько тысяч. Часть лиц круга были служилыми, часть независимыми, но все лучше или хуже знали всех. В то время со всеми образованными людьми большого города можно было встретиться в течение нескольких дней. В Москве достаточно было назвать фамилию приятеля, и извозчик довозил к дому, даже если приятель сменил квартиру недавно.

Всеобщее кровное родство охватывало всех. Поэты Пушкин и Веневитинов были четвероюродными братьями. Пушкин и Грибоедов — родней: бабка Хомякова, с которой по женской линии состоял в родстве Пушкин, была

урожденная Грибоедова, а сам Грибоедов — двоюродным братом декабриста А. И. Одоевского. По матери Пушкин являлся родственником Чаадаева. Родственные связи соединяли Пушкина с декабристами Чернышевым, Муравьевым, Луниным. Жена Карамзина Екатерина была единокровной сестрой князя Вяземского. Жуковский состоял в родстве с братьями Киреевскими. Знакомые Пушкина Раевские значились родственниками Ломоносова, их родней были также Денис Давыдов и возлюбленная Пушкина Елизавета Воронцова. Брат жены Николая Алексеява, кишиневского приятеля Пушкина, женился на Ольге, сестре Пушкина. Другой приятель, граф Федор Толстой, по прозвищу Американец, был двоюродным племянником Льва Толстого, а сам Лев Толстой оказался четвероюродным внучатым племянником Пушкина. Список можно продолжить; семейное родство уходило за границу.

Офицеры составляли часть элиты, немногие из них оказались членами тайных обществ: историки позднего времени насчитали 337 человек, которые замыслили заговор с целью произвести военный переворот. Отдаленность декабристов от народа, которую с легкой руки Ленина внушали поколениям советских студентов, никакого значения не имела. Свободы хотела небольшая группа людей, а под свободой они разумели свободу духа для себя и послабления для производителей, занятых в общественном труде, чтобы те могли больше производить. Наиболее сознательные дворяне, в том числе братья Тургеневы и Новороссийский губернатор Воронцов, пытались освободить своих собственных крепостных без конфликта, не только из гуманизма, но и из выгоды, понимаемой по-европейски, ибо рабский труд неэффективен. Освободить не то что всех своих крепостных, годовой труд которых Пушкин проматывал за ночь за ломберным столом, но хотя бы одну Арину (не важно, хотела служанка того или нет) в голову по эту не приходило.

Политические перевороты удавались в России и раньше, и позже. Декабристов раздавили не потому, что они не имели популярности, а потому, что они недостаточно точно спланировали захват власти, а также не подготовили заранее сильную и популярную личность для замены царю. Захвати они власть, это была бы диктатура покруче николаевского абсолютизма. Стань главой государства, скажем, полковник Пестель, Пушкин играл бы при нем ту же при-

дворную роль, а возможно, идеологические рамки и цензура стали бы еще жестче, чем при Николае. Поэта, пожалуй, пустили бы за границу, но потребовали стихов, воспевающих Великую Декабрьскую революцию 1825 года и ее мудрых лидеров.

На практике система госбезопасности, которую Пестель предлагал в «Русской Правде» для будущего устройства государства, была бы вовсе не американского образца, а скорее образца эпохи Ивана Грозного. Рылеев грозил Булгарину, что когда они придут к власти, они отрубят ему голову, подложив под нее «Северную пчелу». Значительной части офицерства был свойствен шовинизм, и декабристы его принимали. О демократии в западном понимании подчас говорились наивные слова. Нам кажется, победы Наполеон России, он дал бы ей прав и свобод больше, чем о том мечталось самым либеральным из декабристов.

Даже умнейшие из них (Николай Тургенев, Михаил Орлов, Никита Муравьев) рассматривали литературу как средство пропаганды своих идей. В стихотворениях «Деревня» и «Вольность» поэт выполнял их социальный заказ, не совсем ведая, что творит. Для достижения своих целей Николай Тургенев рекомендовал Пушкину не бранить правительство (то есть не высываться, чтобы не испортить дело), а служить. Поэт, по молодой запальчивости, спорил и даже вызвал Тургенева на дуэль.

Взрослый Пушкин понимал, а возможно, и предвидел опасность. Так образовалась дистанция между ним и декабристами, которую советское пушкиноведение из понятных соображений стремилось сократить. Здоровые ориентиры терялись. «Пушкин считал русское дворянство (не как замкнутую касту, а как культурную силу) могучим источником общественного прогресса и даже резервом революционного движения», — писал Лотман¹¹³. Скорей всего, поэт понял, что дух новой свободы пахнет кастовостью, что к власти придут те, кто ее добивается, и свобода творчества останется недостижимой мечтой. Или, может быть, он стремился избежать нелитературных занятий, непременных для члена подпольной организации. Не был Пушкин и «декабристом без декабря», как его иногда называют.

Да, имя его фигурировало в протоколах допросов. Но в отличие от Байрона, который действовал, сражался, помо-

гал греческой революции, Пушкин был от дел декабристов в стороне. Иван Пуштин говорил, что Пушкин «совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд ли кто-нибудь на него смотрит с этой точки зрения»¹¹⁴. Однако, когда власти разобрались с реальными виновниками, опала распространилась на тех, кто знал о заговоре и не донес, а также был знаком с арестованными. Пушкину приписали чисто русскую вину: дружеские отношения с арестованными. «Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда, — писал он Вяземскому, — но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков» (X.163).

Поэта вернули из ссылки; подозрения, казалось, списали в архив. Пушкин менялся: ода «Вольность» казалась ему детской. Период волнений, связанных с декабристами, этот «узел русской жизни» (выражение Льва Толстого, которое Солженицын, возможно, заимствовал для сегментации романа «Красное колесо») миновал. Пушкин глядит в будущее, предпочитая отодвинуться на солидное расстояние от кровавого финала: «...Взглянем на трагедию взглядом Шекспира» (X.155).

Для многих такой подход звучал кощунственно. Сдержанный Вяземский кипел гневом: «И после того ты дивишься, что я сострадаю жертвам и гнушаюсь даже помышлением быть соучастником их палачей? Как не быть у нас потрясениям и порывам бешенства, когда держат нас в таких тисках... Я охотно верю, что ужаснейшие злодеяния, безрассуднейшие замыслы должны рождаться в головах людей, насильственно и мучительно задержанных. Разве наше положение не насильственное? Разве не согнуты мы в крюк? Откройте не безграничное, но просторное поприще для деятельности ума, и ему не нужно будет бросаться в заговоры, чтобы восстановить в себе свободное кровообращение, без коего делаются в нем судороги...»¹¹⁵

А Пушкин уже завязывает новый «узел» своей жизни. Еще недавно он вроде бы обсуждал мысль, пустить ли Онегина в декабристы. Он сделал бы, наверное, декабристский роман, одержи декабристы победу, — ведь Грибоедовский Чацкий и пушкинский Онегин рождались почти одновременно. Грибоедов назвал комедией то, что было национальной бедой. Пушкин ушел в иронию, а «декабристские» главы сжег, и это тоже доказывает суть его отношения к декабристам. Теперь, когда наступило время политичес-

кой апатии и скрытого недовольства интеллигентной части дворянства, Онегин волей автора стал обыкновенным конформистом, в котором не очень нуждается страна, да и самому Евгению в ней скучно. Может быть, колебания, кем сделать героя и куда его отправить путешествовать, говорят о взглядах русского поэта больше, чем сами высказывания?

В Москве середины двадцатых годов, в которую Пушкин вернулся, был популярен Шеллинг и немецкая философия. Своих философов Россия еще не имела: Чаадаев только готовился в мыслители. Человек иного темперамента, Пушкин следовал ему, но рвался все изведать, постичь, задыхался от однообразия и тупости, — такова была его натура. «Служенье муз не терпит суеты» (II.246), — философствовал он, а на практике следовал как раз обратному. Филипп Вигель говорил, что Пушкина «сама судьба всегда совала в среду недовольных»¹¹⁶. Но не судьба, а он сам стремился туда, куда нельзя, он рвался к запретным плодам.

Пушкин был истинным интеллигентом, а в этом всегда есть диссидентство. Сам он в философской, политической и литературной борьбе чаще всего оставался беспартийным и призывал к терпимости. Возможно, потому Пушкин не стал противником трона. Он выступал лишь против преследования за незлобные рассуждения о свободе, заимствованные большей частью из французской литературы. Проживи Пушкин на два десятилетия дольше — все он смог бы излагать почти свободно, как то делали Некрасов, Добролюбов, Щедрин; мог и уехать куда угодно, и вернуться. Позже тоже сажали — но уже не за литературу, а за попытки свержения власти посредством террора.

Пушкин становился с возрастом скептиком — чем старше, тем больше, и это сближает его с двадцатым веком. Он походил на западного человека, случайно оказавшегося в Тмутаракани. Друзей декабристов понимал и жалел, но в успех их дела серьезно не верил. Вспомним строки из «Андрея Шенье»:

Что делать было мне,
Мне, верному любви, стихам и тишине,
На низком поприще с презренными бойцами? (II.234)

В его задачу не входило переустройство власти в России; политической свободы жаждала душа для творчества.

Взгляды его менялись, но эта позиция оставалась в нем стойкой. Позже он скажет: «Не приведи, Господи, увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» В 1916 году лидер партии кадетов Павел Милюков приведет эти слова в Государственной Думе как предупреждение, что революция уничтожит зачатки русского парламентаризма¹¹⁷.

Иное дело — распространять идеи западного просвещения; тут он был миссионером. Свой просветительский историзм он заимствовал безо всяких изменений у Вольтера. Взгляды поэта сложились под влиянием Баранта, Гизо, Тьерри и других западных историков, по которым он мерил Карамзина, себя, всех и всё, что происходило в России.

Просвещенная монархия — опять европейское явление, идеал, до которого, он понимал, России далеко, но путь логичный, естественный. «Свобода — неминуемое следствие просвещения», — говорил Пушкин. Отсюда и должность, придуманная им для себя: «Свободы сеятель пустынный», который трудился зря. В советской пушкинистике это объяснялось тем, что у Пушкина имелись «глубокие сомнения в идеях безнародной революции»¹¹⁸. Видимо, поэт проштудировал Ленина и понял, что декабристы были страшно далеки от народа. Между тем пушкинское понимание сущности народа было куда более реальным и куда менее лицемерным, чем у последующих поколений политиков, которые манипулировали не только понятием «народ», но и самим народом.

Под словом «народ» поэт понимал «простонародье», то есть крестьян и мещанство. Хотя в произведениях Пушкина появляется простой люд, крестьяне и видно доброе отношение к ним автора, народ не был ни основным героем пушкинских произведений, ни его читателем. «Но, милостивые господа, — задаст риторический вопрос Иван Тургенев в своей знаменитой речи о Пушкине, — какой же великий поэт читается теми, кого мы называем простым народом?»¹¹⁹ Пушкин откровенно смеется над народом в «Путешествии из Москвы в Петербург».

Чернь раздражала поэта. Чернь у него противная, тупая, малодушная, коварная, бесстыдная, злая, неблагодарная, развратная, глупая, безумная. Это необразованная толпа — холодная, ничтожная, эгоистическая, бессмысленная, презренная, подлая. Такова впечатляющая коллекция эпитетов из текстов поэта. Это — «двуногих тварей мил-

лионы» (V.42) — сердцем хладные скопцы, клеветники, рабы, гнездилище всех пороков и т. п. Оскорбления льются, как из рога изобилия. Людской толпе, то есть быдлу, говоря сегодняшним языком, — высшая его доза презрения.

Однако же так относиться к людям великий поэт не должен, и вот адресат пушкинского презрения сужен и утвержден в инстанциях: чернь, оказывается, — лишь великосветское общество. Стало быть, носители всех упомянутых пороков — элита страны: русское дворянство, интеллигенция; а поскольку только они и были грамотными в России, — это читатели Пушкина, друзья, родня и знакомые его, а значит, и он сам.

Неприятие черни традиционно объясняют тем, что свет травил поэта. Но сам он, по утверждению современников, был склонен к слишком частым посещениям знати¹²⁰. Пушкин действительно презирал пьяную и жеманную публику, которая, являясь из казарм в первые ряды театра, хлопает «из приличия» (VII.8). Своих критиков и издателей он называл божьими коровками, злыми пауками, российскими жуками, черными мурашками и мелкими букашками. Собратьев писателей он именует «нашей литературной Санкт-Петербургской сволочью» (X.110). Даже у своего учителя Державина Пушкин предлагал восемь од оставить, а все прочее сжечь. Нелестно отзывался и о читателях: «пусть покупают и врут, что хотят» (X.69).

Но не только и не столько обывательская часть верхушки общества являлась чернью для Пушкина, но народ «с бесчувствием холодным». Это масса, которая по-французски не говорит и по-русски плохо понимает. Ей нужен кнут. С Пушкиным согласен барон Егор Розен, который писал ему: «Чернь наша сходит с ума — растерзала двух врачей и бушует на площадях — ее унять бы картечью!» (Б. Ак.14.621) Не только Пушкин, даже декабрист Кюхельбекер боялся волнений черни¹²¹.

Не царь, а толпа требовала, чтобы вешать смутьянов за ноги, дабы дольше умирали и зрелище было эффектнее. Не ласковы и характеристики народа: он бессмысленный, жалкий, поденщик, раб нужды, рабский народ, вообще стадо. Сколько многозначительного написано об одной фразе Пушкина в «Борисе Годунове»: «Народ безмолвствует». А он просто безмолвствует, и более ничего. Он безмолвствует, потому что это темная, забитая масса, *mob*,

что по-английски одновременно означает толпу, сборище, стадо и воровскую шайку. Народ безмолвствует не потому, что у него особое мнение, а просто потому, что у него никакого мнения нет.

Через три года после «Бориса Годунова» Пушкин напишет и легко опубликует стихотворение «Чернь», в котором определенно выскажется о роли народа: «Молчи, бессмысленный народ» (III.85). Для собрания стихов Пушкин дал ему новое название «Поэт и толпа», что сути не изменило. Это стихи о поэте, Божьем избраннике, рожденном для звуков сладких и молитв, которому народ мешает творить. Реальный народ настолько искалечен веками рабства и страха, что свобода и ценности цивилизации ему не понятны. А если и требовались, то не в виде свободы слова, а в виде еды и сапог. Такой народ готов топтать все, что создавалось другими народами, свидетелями чего мы и оказались в двадцатом веке. Взгляды Пушкина на многие явления менялись, но отношение к народу оставалось неприязненным:

Стадам не нужен дар свободы,
Их должно резать или стричь. (II.143)

Впрочем, не так уж часто общался Пушкин с народом, если не считать прислугу, извозчиков и станционных смотрителей. Брата в письме Пушкин инструктировал вполне цинично: «С самого начала думай о них (людях. — Ю. Д.) все самое плохое, что только можно вообразить: ты не слишком ошибешься» (X.593, фр.). В письме к Давыдову Пушкин более конкретен: «...люди по большей части самолюбивы, беспонятны, легкомысленны, невежественны, упрямы...» (X.78)

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей... (V.24)

Там же, в «Евгении Онегине», поэт размышляет о злобе. Она, по Пушкину, существует в двух ипостасях: злоба слепой фортуны и злоба людская. От окружающей его злобы он страдал, сам становился злым. Лирический герой пушкинской поэзии (то есть сам поэт) не был мизантропом. Достаточно вспомнить щедрое «дай вам Бог любимой быть другим» или «чувства добрые я лирой пробуж-

дал». Мечтая бежать за границу, Пушкин скептически оглядывал даже прекрасную половину империи:

...вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног. (V.19)

Читайте: и это лучше только за границей. Но утешал себя тем, что и остальное человечество — отнюдь не ангелы:

...в наш гнусный век
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник. (II.293)

Две крайности: одни тираны, другие узники, а между ними прослойка доносчиков — очевидно, для поддержания контроля одних над другими. Но если существует только три категории людей, значит, каждого человека, включая и самого поэта, придется отнести только к одной из этих категорий. Пушкин был, несомненно, в роли узника. Оценка народа и отдельных его представителей логически вытекала из того простого факта, что, в отличие, например, от французов или американцев, русский народ (декабристы не в счет) не предпринимал усилий к переменам: «человеческая природа ленива (русская природа в особенности)» (X.464).

Поэта раздражала «пошлость русского человека». К простым людям Пушкин относился сочувственно, но считал: если «крестьяне узнают, что правительство или помещики намерены их кормить, то они не станут работать» (VIII.26). Ни у Пушкина, ни у его единомышленников не было ни грана русофобии. Напротив, многие черты народа почитали они имеющими универсальный характер. Так, Пушкин совместно с Кюхельбекером делали выписки из книги Вейсса «Основания или существенные правила философии, политики и нравственности», вышедшей в Петербурге в 1807 году. И среди выписок было такое: «Только шесть главных побудительных причин возбуждают страсти простого народа: страх, ненависть, своеволие, скупость, чувственность и фанатизм...»¹²² Ко времени послесылочной жизни в Москве социологические изыски Пушкина упростились. Он не строил моделей русской политической системы, а просто объяснял в письме к другу

Дельвигу: «...люди — сиречь дрянь, говно. Плюнь на них да и квит» (X.176).

Жизнь Пушкина в Москве оказалась совсем не такой, как мечталось в деревне. Эйфория прощения миновала, уступив место рассудку, трезвлению, пониманию того, что ошейник как был, так и остался, и все, с чем он сталкивается здесь, ему чуждо. Старые проблемы не разрешились, висели тяжкими заботами, выхода не видно, и формой выражения недовольства его теперь становится скука. Скука оборачивалась меланхолией, меланхолия — тоской. Тупиковое состояние усиливало ненависть ко всему окружающему. Ощущение непонимания, одиночество в толпе оставяло чувство безысходности. Это состояние его в конце 1826 года отмечают все знакомые, старые и новые, а прежде всего, он сам. «Злой рок преследует меня во всем том, чего мне хочется», — пишет он приятелю Зубкову меньше чем через два месяца после возвращения в Москву (X.621, фр.). «Я устал и болен» (X.173).

Разрядкой его, кроме попок, как всегда становятся карты и женщины, колесо ежедневной, еженощной гульбы. Выигрыши, чаще проигрыши, случайные связи, тяжкие похмелья. Издатель Михаил Погодин с грустью отмечает в дневнике: «Досадно, что свинья Соболевский свинствует при всех. Досадно, что Пушкин в развращенном виде пришел при Волкове»¹²³. А. А. Волков, начальник корпуса жандармов, обо всем доносил по службе Бенкендорфу, и едва ли не в каждом сообщении упоминался беспорядочный образ жизни Пушкина.

Ему 27, и вроде бы надо остепениться, устроить свою жизнь. В октябре Пушкин сошелся с Зубковым, приятелем Ивана Пушина, стал бывать у него. Там встретил Софи Пушкину, сестру жены Зубкова, свою однофамилицу. После двух встреч в обществе он неожиданно для всех (и для себя самого) делает предложение. У Софи есть жених, да и вообще она не воспринимает серьезно столь стремительную атаку. Пушкину отказано, и он бежит в Михайловское. «Еду похоронить себя в деревне», «уезжаю со смертью в сердце» (X.621, фр.), — вот лексикон писем тех дней.

Он умоляет Зубкова уговорить Софи, упробить ее, уломать, настрашать скверным женихом и женить на ней его, Пушкина. Но возникает ощущение, что женитьба на Софи не есть ни заветная цель, ни мыслимое им счастье, а бли-

жайшая пристань, к которой одинокий парусник нацелился причалить в плохую погоду. Желание, несмотря на все слова о влюбленности и даже страсти, не от сердца, как у него обычно, а от усталости, от головы. Получив отказ, он остыл так же быстро, как вскипел.

Глава десятая

НОВАЯ СТАРАЯ СТРАТЕГИЯ

Из Петербурга поеду или в чужие края, т.е. в Европу, или восвояси, т.е. во Псков, но вероятнее в Грузию...

Пушкин — брату Льву, 18 мая 1827, не по почте

Эйфория, следствием которой явились пылкие, благодарные рифмы о покровителе-серафиме, дала свои плоды. Реакция наверху была благосклонной, и Пушкин вполне логично рассчитывал на дальнейшее улучшение своего положения. Поэт, кажется нам, искренне поверил императору, хотя постепенно осознавал, что им управляют. Он стал более трезво относиться к предписаниям начальства, но сознательно стремился заслужить доверие Николая Павловича, даже расположить его к себе.

Если это не было искренне, то можно толковать как своего рода стратегию: надувательство благонамеренностью и патриотизмом тех лиц, которых не удалось надуть другим путем. Славословь его величество и получишь компенсацию в виде большей свободы или, скажем, заграничного паспорта. Иными словами, убедившись на горьком опыте друзей, что непокорные сгорают, не успев достичь цели, а сервилисты преуспевают и кое-чего добиваются, он начинает играть роль сервилиста. Для этого требовались определенные актерские данные, и они у поэта были. Метод, знакомый большинству российских интеллигентов. Основы принципа беспринципности (необходимого, чтобы выжить) тогда уже вполне сложились. Осуждать этот принцип легко тому, кто никогда не жил при тирании. Но вот у Байрона неожиданно читаем:

Во мне всегда, насколько мог постичь я,
Две-три души живут в одном обличье¹²⁴.

У Байрона такое состояние добровольное, оно являло собой богатство души и противоречивость ума. Для Пушкина это была необходимость молчать, о чем думаешь, соглашаться с тем, с чем не согласен. «Горе стране, где все согласны», — писал Никита Муравьев. Но горе и отдельной личности, которая выскажется не так, как надо, и, чтобы выжить, личность хитрит. А кто не хитрит, тот жертва; Пушкин уже испытал это на себе.

Ничего сверхъестественного в таком положении поэта в России не было. Стихотворец по сути своей предназначался для воспевания сильных мира, и все предшественники Пушкина почитали сие за норму. Историк и писатель Иван Лажечников рассказывал Пушкину: «...Когда Третьяковский с своими одами являлся во дворец, то он всегда по приказанию Бирона, из самых сеней, через все комнаты дворцовые, полз на коленях, держа обеими руками свои стихи на голове, и таким образом доползая до Бирона и императрицы, делал ей земные поклоны. Бирон всегда дурачил его и надседался со смеху» (Б. Ак. 16.64).

С тех времен нравы изменились, но в отличие от других, Пушкин надевал шутовской колпак, которого раньше побаивался, не ради чинов или денег, а ради свободы. Ему, холерику, человеку очень темпераментному и очень вздорному, подчиненному порыву, осуществить новый метод было легче, чем кому-нибудь другому. «Как поэт, как человек минуты Пушкин не отличался полною определенностью убеждений», — мягко писал Бартенев¹²⁵.

Не будем забывать, что во времена Пушкина пишущему человеку продаваться было не так противно, как в советское время. Трудовые процессы еще не назывались сражениями, жатва — битвой за урожай, беседа иностранного гостя — идеологической диверсией, поездка в деревню — десантом, литература и искусство — передовым фронтом, а гусиное перо — оружием поэта, приравненным к штыку. В этом отношении психика общества еще не была изуродована. Переходы от одной крайности к другой Пушкин совершал сравнительно легко, хотя и жаловался на судьбу. «Я имею несчастье быть человеком публичным, а вы знаете, что это хуже, чем быть публичной женщиной», — сказал он Владимиру Соллогубу¹²⁶.

Вяземский как-то отметил, что Пушкин никогда не писал картин по размеру рам, изготовленных заранее. В одно время сочиняются послание во глубину сибирских руд к

декабристам, где звучат отголоски старых призывов к свободе, и стихи, где восхваляются карательные меры против борцов за эту свободу и царская забота о благе государства.

В «Стансах» Пушкин в первых же строках объявляет, что именно хочет он получить взамен за создаваемый им для нового царя исторический пьедестал:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни... (II.307)

Далее в тексте воссоздается грандиозная фигура Петра Великого, который сперва покарал мятежников, но быстро привлек сердца правдой, укротил наукой нравы и смело сеял просвещение, а сам при этом был простым и скромным тружеником. В стихотворении — призыв к царю быть неутомимым и твердым, как его прапрадед (Пушкин не мог не понимать, что значили в тот момент слова «быть твердым»).

Итак, поэт в художественной форме возвеличивает императора, изображая преемственность великих деяний царской фамилии. А царь поэту за его усердие жалует покровительство и прекращение преследования. Логично поэтому, что стихотворение заканчивается прозрачным пожеланием Николаю Павловичу: быть таким же незлобным памятью, как Петр, забыть старые грехи, гирей висящие на шее поэта. Советский пушкинист сделал заключение, что «Пушкин рассматривал это стихотворение как план прогрессивной политики, на которую он пытался направить Николая I»¹²⁷. Нам же кажется, что если Пушкин и рассчитывал направить политику правительства, то, прежде всего, в своих интересах, что, тем не менее, никак нельзя ставить поэту в вину.

Не таких, однако, стихов ждали от вернувшегося из ссылки кумира его друзья и почитатели. Они возмущены тем, что независимый, самолюбивый Пушкин нашел себе столь холуйское занятие. За неприкрытую лесть Пушкина осудили даже те, кто сам был не без греха, а многие из знакомых от него отвернулись.

Шагать в ногу со всеми, как Пушкин теперь пытался, то и дело не получалось, он сбивался. Записка «О народном воспитании», при том, что у автора ее было «одно желание усердием и искренностью оправдать высочайшие милости, мною не заслуженные» (VII.35), не произвела должного эффекта, хотя отдельные мысли в записке мог-

ли понравиться. Например, о том, что «влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего отечества» (VII.31) и что надо развивать доносительство в учебных заведениях. И мракобесы такое писать прямо не всегда решались.

Следующий шаг не в ногу — стихи во глубину сибирских руд. Бенкендорфу наверняка донесли о том, что он виделся с княгиней Волконской перед ее отъездом в Сибирь, что отправил стихи сосланным приятелям. По возвращении Пушкин был вроде бы прощен, но «хвост» оставался, а значит, и дверь за границу была для него все еще закрыта. И уже надвинулись новые, а точнее обновленные неприятности.

Хотя декабристы были осуждены и наказаны, Третье отделение продолжало поиски распространителей антиправительственных сочинений весь 1826 год. Выяснили, что прапорщик Молчанов переписал у штабс-капитана Алексева стихотворение Пушкина, в котором, между прочим, были и такие строки:

Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. (II.232)

Крутые строки... Стихи увидел «русский учитель», а точнее, кандидат словесных наук Московского университета Андрей Леопольдов и выпросил списать. Он поставил заголовок «На 14 декабря» и дал своему приятелю калужскому помещику Коноплеву. Коноплев оказался осведомителем Третьего отделения. Так начал формироваться новый политический процесс. Молчанова и Алексева посадили за недонесение.

Леопольдов написал письмо непосредственно Бенкендорфу, представляя себя в качестве разоблачителя врагов правительства: «Всегда гнушаясь тайным и презрительным скопищем отечественных злодеев, я радуюсь, что ныне учинился орудием, хотя и посредственным, к открытию злонамеренных людей, которые, вероятно, самому правительству доселе не были известны». Далее Леопольдов требовал смертельного наказания Пушкину, «чтобы он не избег строгости законов»¹²⁸.

Бенкендорф лично беседовал с Леопольдовым. Он устроил его на службу и, видимо, хотел использовать, но им-

ператор рассудил иначе. Дело по высочайшему повелению приказано было довести до финала. Беднягу судили на том основании, что он донес не сразу, а лишь когда узнал, что Коноплев — агент. Леопольдова отправили в солдаты, затем дело его пересмотрели и «за подпись» посадили на срок «более года».

Оба эти осведомителя ничего нового не сообщили. Стихотворение «Андрей Шенье» уже находилось в делах осужденных декабристов. Пушкин писал «Андрей Шенье», хотя он Андре Мари Шенье. Лишняя буква в имени могла поначалу испугать власти, что автор — русский. Факт, что стихи продолжали циркулировать, явился основанием привлечь к делу сочинителя. Комиссия военного суда потребовала получить показания Пушкина: когда, с какой целью стихи сочинены, кому переданы. Раздувалось дело, которое было бы умнее положить на полку.

От возвращения из ссылки до нового преследования прошло четыре месяца. Легко сказать, что Пушкин вел себя не лучшим образом — он вел себя как мог. Вызванный к московскому обер-полицмейстеру, сперва отрицал свое авторство: отрывок был написан не его рукой. Затем Пушкин отрицал связь стихотворения с событиями 14 декабря, поскольку стихи написаны о французской революции. Наконец, признав, что стихи эти его, заявил, что они опубликованы. Но ведь напечатаны они были с купюрой, какой и являлись показанные ему стихи. Пусть это говорит французский поэт Шенье, но это написано Александром Пушкиным незадолго до бунта:

И час придет... и он уж недалек:
Падешь, тиран! Негодование
Воспрянет, наконец. Отечества рыданье
Разбудит утомленный рок. (II.235)

Стихи в запечатанном конверте были вскрыты обер-полицмейстером, предъявлены Пушкину и снова запечатаны как сверхсекретные. В течение 1827 года Пушкин был допрошен четыре раза по делу о стихотворении «Андрей Шенье». Следствие тянулось полтора года и затем было передано в Сенат. В процессе дознания Пушкин отступил еще на шаг и признал, что стихотворение было «известно вполне гораздо раньше его напечатания». За Пушкиным учреждается секретный надзор.

Вслед за быстро улетучившейся эйфорией слабела уверенность, что обрести независимость удастся. Он все отчетливее ощущал себя в кольце слезки. Успешно начавшая выполняться стратегия увядала, не сумев расцвести. Как будет ясно из дальнейшего, с несколькими людьми Пушкин обсуждал возможности отправиться за границу, обсуждал не торопясь, намереваясь тщательно все организовать.

Весной 1827 года два связанных между собой события занимали его внимание. В результате длительных трений между Россией, Англией и Турцией была провозглашена независимость Греции, в ней появилась конституция и президент. Но война продолжалась, значительная часть территории Греции была захвачена турками. Это был хороший предлог для России продвинуться вперед, начав войну с Турцией. Препятствовала Англия, влияние которой в Греции и на Балканах увеличивалось. Пушкин мог рассматривать как хороший знак для себя, что президентом Греции был избран Иоанн Каподистрия, его покровитель, даже спаситель, который с тех пор, как поссорился с Александром I, жил в Женеве. Каподистрия мог вот-вот объявиться в Греции, и вот-вот русские войска могли двинуться туда.

Характер у Каподистрия был независимый, и хотя на Западе его считали агентом русского царя, это был не только дипломат и политический деятель, но человек с принципами и Богом в сердце. Друзья Пушкина в России оставались и его друзьями. За границей Каподистрия охотно помогал приезжавшим русским, о чем с восторгом писал Батюшков своей тетке в Россию¹²⁹.

Другой опорной точкой, на которую хотел бы рассчитывать Пушкин, был брат Левушка. В январе 1827 года Лев не без протекции друзей старшего брата определился юнкером в Нижегородский драгунский полк, который перебросили в Грузию. Войска расквартировали в Кахетии, готовя их к будущей войне. Там был, так сказать, второй фронт, направленный против Персии и Турции: по стратегическому замыслу обе стрелки, обогнув Черное море, должны были сойтись в Босфоре. В каком-то смысле пушкинский замысел совпадал с правительственным, только поэт еще не решил, с какой стороны ему сподручнее огибать Черное море.

Пушкин понимал, что на помощь младшего брата надеяться не приходилось: Лев пьянствовал больше прежне-

го и постоянно был в долгах. Тем не менее, получив разрешение Бенкендорфа отправиться по семейным обстоятельствам в Петербург, Пушкин тотчас, с подвернувшейся оказией, извещает Левушку (часть этого письма мы вынесли в эпиграф): «Завтра еду в Петербург увидаться с дражайшими родителями, *comme on dit* (как говорится — фр.), и устроить свои денежные дела. Из Петербурга поеду или в чужие края, т. е. в Европу, или восвоюси, т. е. во Псков, но вероятнее в Грузию, не для твоих прекрасных глаз, а для Раевского. Письмо мое доставит тебе М. И. Корсакова, чрезвычайно милая представительница Москвы. Приезжай на Кавказ и познакомься с нею — да прошу не влюбиться в дочь» (X.177—178).

Николай Раевский-младший, упоминаемый Пушкиным, был на Кавказе командиром Нижегородского драгунского полка. Ранее письмо это относили к 1829 году. Уточненная датировка (18 мая 1827) позволяет проникнуть в замыслы Пушкина, связанные с Европой и Кавказом, возникшие не внезапно, а вполне продуманно, за два года до реализации. Лев должен спуститься за письмом, привезенным для него, с гор к минеральным источникам. Несомненно, отправившаяся к Кавказским минеральным водам общая знакомая Римская-Корсакова, с семьей которой поэт был дружен, присовокупила к письму устные комментарии старшего брата. И в Москве, и в Петербурге Пушкин принимает меры конспирации, прося, чтобы и Лев, и Раевский писали ему то на адрес сестры, то на адрес отца.

Серьезную ставку Пушкин делал также на лучшего «из минутных друзей моей минутной молодости» Никиту Всеволожского (X.76). Сын петербургского богача, Всеволожский начинал службу вместе с Пушкиным в Министерстве иностранных дел актуариусом, то есть регистратором почты (низшая чиновничья должность). А закончил камергером и действительным статским советником. В молодости у них были совместные театральные и амурные интересы, а также посещения общества «Зеленая лампа». Фат, философ, гуляка, игрок и моралист, он к описываемому времени женился на дочери любовницы своего отца княжне Хованской. Вместе с братом Всеволожский был связан делами с французским коммерсантом Этье и теперь готовился к открытию больших коммерческих предприятий в Грузии и Персии. Война мешала, но не отменяла этой деятельности.

Пушкина коммерция не очень занимала, но шанс отправиться на Кавказ вместе со старым приятелем привлек его внимание. Ближайший друг Всеволожского генерал Сипягин стал Тифлисским военным губернатором, что для Пушкина было очень важно. Всеволожские уехали одни, отправившись сперва в свои обширные поместья в Астрахани, а затем оказались на Кавказе. Когда русские войска осаждали Эривань, они остановились в Тифлисе, и вскоре камер-юнкер Всеволожский был назначен генералом Сипягиным к себе в канцелярию на службу.

А в Москве шли бесконечные переговоры с Соболевским, у которого Пушкин квартировал. Соболевский был соучеником Льва Пушкина по университетскому Благородному пансиону. В молодости Пушкин при посредничестве Александра Тургенева спас Соболевского от исключения из пансиона. Теперь приятель оплачивал Пушкину заботой, то и дело выручая из неприятностей. Соболевский был великим гастрономом (Одоевский звал его за эту привязанность Животом, Пушкин — Калибаном, диким героем шекспировской «Бури», а также Фальстафом, Животным и Обжорой). Гурман и жуир, Соболевский кормил и поил Пушкина, мирил с дуэльными противниками, улаживал его финансовые дела: для отдачи картонных долгов давал Пушкину закладывать свои вещи.

Говорили, что беспутный Соболевский сбивает поэта с пути истинного¹³⁰. Но посвященный во все дела склонного к такой же жизни Пушкина, приятель его был человеком благородным, к тому же сильного характера и воли. Пушкин нуждался в его советах. Близость проистекала также из общности интересов. Библиоман, библиограф, пародист, Соболевский скопил замечательную библиотеку, особенно по географии и путешествиям, едва ли не лучшую в России, и она была целиком в распоряжении Пушкина. Вкусы, взгляды, чувство юмора у них во многом совпадали.

Идет обоз с Парнаса,
Везет навоз Пегаса, —

острил Соболевский. Иногда его эпиграммы приписывали Пушкину. Соболевский был долгое время не только собутыльником, но первым помощником поэта в литературных и издательских делах. Влияние его на поэта было настолько

сильным, что позже к Соболевскому ревновала мужа Наталья Пушкина. Принято считать, что будь Соболевский не за границей, он бы не дал состояться дуэли с Дантесом.

Спустя сорок лет, уже вернувшись из Европы второй раз, он вспоминал об их совместном житье-бытье на Собачьей площадке, в том доме, где была надпись «Продажа вина и проч.». Соболевский поинтересовался у кабатчика, слышал ли тот о Пушкине. Торговец что-то промямлил. Соболевский комментировал: «В другой стране, у бусурманов, и на дверях сделали бы надпись: «Здесь жил Пушкин». И в углу бы написали: «Здесь спал Пушкин!»¹³¹

Он пережил Пушкина на тридцать три года. Мужская дружба была так важна для Соболевского еще и потому, что он всю жизнь оставался одиноким, хотя, по собственному его признанию, в постели у него перебивало около пятисот женщин. В 1870 году слуга обнаружил его за письменным столом уже холодным. После смерти Соболевского библиотека и архив его пошли с молотка, но бумаги и письма купил коллекционер Сергей Шереметев, и они сохранились до наших дней. Имеется 28 рукописных томов, принадлежавших Соболевскому, — четыре тысячи переплетенных писем. Есть там и «Путевые заметки во время путешествий по Западной Европе (1828—1833)». Сохранилось даже шесть его свидетельств на выезд, кажется, все, кроме первого (если оно вообще существовало)¹³².

Могила Соболевского в Донском монастыре, отысканная нами, оказалась неподалеку от могилы Чаадаева и была не ухожена, но, в отличие от многих соседних могил, не разорена. Этот человек мог бы пролить свет на многие тайны поэта. Но «чтобы не пересказать лишнего или недосказать нужного, каждый друг Пушкина должен молчать», — категорически заявил он через 20 лет после смерти поэта¹³³.

В стратегии лести, осуществлявшейся Пушкиным, имелся один просчет. Власть шла навстречу, неназойливо приглашая к сотрудничеству, но поэт еще этого не улавливал. Он просился в Петербург. Царь (несомненно, по рекомендации Бенкендорфа) не возражал. Шеф Третьего отделения заметил лишь, что «не сомневается в том, что данное русским дворянином Государю своему честное слово: вести себя благородно и пристойно, будет в полном смысле сдержано»¹³⁴. От себя Бенкендорф добавлял в письме.

как нам видится, с улыбкой, что ему приятно будет увидеться с Пушкиным.

19 мая 1827 года на даче Соболевского в Петровском парке, неподалеку от Петровского замка — путевого дворца русских царей по дороге из Москвы в Петербург, — собрались близкие друзья проводить Пушкина в столицу. Место это стало тогда модным. Вокруг замка, в котором останавливался Наполеон, решили разбить парк. Под командованием генерала Башилова на территории работали солдаты и крестьяне. В восьмидесятых годах XIX века мы попытались заглянуть внутрь Петровского замка. Там была Военно-воздушная академия, и у всех входов стояла вооруженная охрана. Перед отъездом в Петербург Пушкин хотел окончательно договориться с Соболевским, который собирался отправиться за границу как бы совершенно независимо и, как намечалось, ждаль Пушкина в Париже.

Дельви́г пишет Осиповой в июне 1827 года, что он в Ревеле и ждет Пушкина, который обещал приехать. Мы не знаем, просился ли поэт на берег Балтийского моря, но вместо Ревеля он очутился в Петербурге. Смена Москвы на Петербург принесла мало перемен, поскольку для Пушкина «пошлость и глупость обеих наших столиц равны, хотя и различны» (X.623, фр.). Разве что сменились женщины. Он возобновляет роман с принцессой Ноктюрн — Евдокией Голицыной, которой теперь 47 лет, и начинает встречи с дочерью фельдмаршала Кутузова Елизаветой Хитрово, которой 44. Намерения жениться позабыты.

Он настойчиво ищет общения с главой Третьего отделения, является даже к нему домой, но либо не застает, либо прислуге было велено Пушкину отказать. Сам Бенкендорф встречи вовсе не искал: агентура исправно сообщала ему все, что нужно. Наконец, Пушкин написал письмо, прося «дозволить мне к Вам явиться, где и когда будет угодно Вашему превосходительству» (X.179). На сохранившемся прошении имеется резолюция царя карандашом: «Пригласить его в среду в 2 часа в Петербурге». В Петербурге потому, что Бенкендорф ездил в Царское Село обсудить вопрос с императором, и император велел Бенкендорфу принять Пушкина. Идея создать учреждение для писателей, литературный департамент, так сказать, прообраз Союза писателей, возникла, между прочим, у поэта и чиновника Ивана Дмитриева еще в царствование Екатерины Великой, но тогда не реализовалась. Теперь Третье

отделение выполняло функции наблюдения за писателями и издателями.

Разговор состоялся дома у генерала. Он был вполне благонамеренным со стороны поэта (в соответствии с осуществляемой им программой) и ласково-покровительственным со стороны Бенкендорфа. У главы Третьего отделения были новые планы в отношении поэта, согласованные с царем, и желание Пушкина поддерживать контакты укрепляло мысль, что замысел правилен. Но осуществлять планы глава Третьего отделения не спешил.

У Соболевского внезапно умерла мать, и его отъезд в Париж отложился. 15 июля 1827 года Пушкин посылает Соболевскому деньги, только что выигранные в карты — всю свою наличность, — и напоминает об уговоре: «Приезжай в Петербург, если можешь. Мне бы хотелось с тобою свидеться да переговорить о будущем» (Х.179). Оба приятеля озабочены деньгами. Пушкин старается опубликовать как можно больше в Петербурге, наладить «торговлю стишистую» (Х.185). Идет она не очень хорошо.

Для защиты авторских прав Пушкин обращается к тому же Бенкендорфу, воюет с цензурой, запугивая своей привилегией апеллировать непосредственно к царю. Что касается высочайшей цензуры, то Бенкендорф сообщает: все предложенные Пушкиным стихотворения одобрены. Издатель Плетнев собирается их печатать по согласованию с Третьим отделением с пометкой «С дозволения правительства».

Часть переписки Пушкина с Соболевским, особенно посланной по почте, до нас не дошла. Между тем намерения друзей стали известны властям задолго до осуществления. «Поэт Пушкин здесь, — писал фон Фок в донесении Бенкендорфу. — Он редко бывает дома. Известный Соболевский возит его по трактирам, кормит и поит на свой счет. Соболевского прозвали брюхом Пушкина. Впрочем, сей последний ведет себя весьма благоразумно в отношении политическом»¹³⁵. Об осуществлении замысла мы узнаем из доноса секретного сотрудника. 23 августа 1827 года агент Третьего отделения (по мнению Б.Л.Модзалевского, Булгарин) доносил: «Известный Соболевский (молодой человек из московской либеральной шайки) едет в деревню к поэту Пушкину и хочет уговорить его ехать с ним за границу. Было бы жаль. Пушкина надобно беречь, как дитя. Он поэт, живет воображением, и его легко ув-

лечь. Партия, к которой принадлежит Соболевский, проникнута дурным духом. Атаманы — князь Вяземский и Полевой; приятели: Титов, Шевырев, Рожалин и другие москвичи»¹³⁶.

Соболевский действительно собрался в дорогу. «...Еду завтра в Псков к Пушкину, — писал он общему с Пушкиным приятелю Николаю Рожалину 20 сентября, — уславливаться с ним письменно и в этом деле буду поступать пьяно — т. е. *piano*»¹³⁷.

«Пьяно» — значит «тихо». Так тихо, что мы и по сей день не знаем подробностей, но замысел, обнаруженный доносчиком, налицо. Письмо Рожалину тоже не случайно, Соболевский не болтлив. Николай Рожалин (известно о нем немного) входил в Москве в круг приятелей, наиболее близких Пушкину, Соболевскому и особенно Веневитинову. Знаток греческой, латинской и немецкой культур, философ-идеалист, поклонник Шеллинга, переводчик, критик, «памятный умом и ученостью», Рожалин собирался в Европу. Перед его отъездом Пушкин передал ему несколько своих рукописей.

Недоумение остается. Сказанное в ресторане или клубе слово могло быть без труда подхвачено. Как и что конкретно узнал осведомитель Бенкендорфа? Ездил ли Соболевский в Псков и Михайловское, и если да, то зачем? Пушкин вроде бы не собирался снова пытаться бежать из Михайловского через Дерпт — то был пройденный этап. Скорей всего, в Михайловское к Пушкину Соболевский так и не поехал. Пушкин летом 1827 года Бенкендорфа о выезде не просил. Что значит «уславливаться с ним письменно», если он едет лично увидеться? Речь могла идти о способе тайной переписки после отъезда Соболевского.

Чаадаев спрашивал в письме Степана Жихарева, московского губернского прокурора, в доме которого Пушкин бывал: «...не знаете ли, каким манером Александр Пушкин пустился в чужие края?»¹³⁸ Любопытны в письме осторожные слова «каким манером». Чаадаев не стал бы спрашивать, будь способ обычным. Значит, суть слов: как Пушкину удалось провести бдительность власти? Слух до Чаадаева дошел ложный. Пушкин еще в чужие края не пустился.

Глава одиннадцатая
НЕОТМЕЧЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ

*На море жизненном, где бури так жестоко
 Преследуют во мгле мой парус одинокий,
 Как он, без отзыва утешно я пою
 И тайные стихи обдумывать люблю.*

Пушкин, 17 сентября 1827 (III.24)

«Он» в стихотворении «Близ мест, где царствует Венеция златая», из которого выше приведены строки, — это итальянец, гребец, плывущий на гондоле.

...поет он для забавы
 Без дальних умыслов; не ведает ни славы,
 Ни страха, ни надежд, и тихой музы полн... (III.24)

В поэтическом плане сравнение себя с поющим гондольером великолепно. Но какая-то внутренняя неувязка лежит в глубине стихов. «Как он... я пою...» — разве Пушкин поет для забавы и без дальних умыслов? Разве не ведает он славы, страха, даже, все еще, надежд? Поет он, ища отзыв друзей, и почитателей, и сильных мира сего, а не только для себя. Образ поэта в стихотворении далек от жизненных реалий, да и итальянский гондольер — некая романтическая тень. Поэт в стихотворении — не Пушкин, это перевод из Шенье, однако стихи очень точно отражают пушкинское настроение дня: затишье между конфликтами, желание тихо сосредоточиться на себе после бессмысленной столичной суеты.

Десять лет назад, в конце августа или в сентябре 1817 года, он сказал в театре поэту Павлу Катенину, что скоро отъезжает «в чужие края». Пролетело десятилетие в бесплодных попытках увидеть за границу, юбилей этот он никак не отметил, но стихи его и мечты опять об Италии. Не имея возможности увидеть Европу, он глядит на Италию глазами чтимого им французского поэта.

Следствие по стихам Шенье только-только утихло. Пушкин искал аналогий, хотя трудно было сопоставить биографии русского поэта с французским. Юношей Шенье, как и Пушкин, стал дипломатом, но в отличие от рус-

ского поэта в поисках впечатлений отправился в Италию и Швейцарию, затем работал во французском посольстве в Лондоне. Он вернулся в Париж, чтобы кончить жизнь на эшафоте, когда ему было 32. За мысли Шенье приходилось теперь расплачиваться Пушкину.

Ему 28. Появилась лысина, которую он компенсировал растительностью на лице. Современник отмечает: «...Страшные черные бакенбарды придали лицу его какое-то чертовское выражение; впрочем, он все тот же...»¹³⁹ Хотя Пушкин писал: «Каков я прежде был, таков и ныне я», — во многом он изменился, и не только внешне. «Он был тогда весел, — вспоминает Анна Керн, — но чего-то ему недоставало»¹⁴⁰.

Творческие силы человека, который с молодых лет обнаружил в себе гения, расходовались в значительной степени на сочинение бюрократических документов. Прошения, жалобы, тщетные попытки доказать свою невиновность, бесконечные письма покорнейшего слуги, отнимающие силы от стихов и прозы, которые могли быть написаны на той же бумаге, изучают биографы. Десять лет зрелой жизни, из них шесть в ссылке, а остальные под контролем, слежкой, с перлюстрацией почты, при закулисных решениях, бесправии, с угрозами нового, более тяжкого наказания.

Поэты всех стран, по Пушкину, — родня по вдохновению. Первый поэт России никогда не видел ни Байрона, ни Гете. С представителями западной культуры он общался через посредников — своих друзей: Карамзина, Кюхельбекера, Тургенева, Жуковского. А в рукописях Пушкина мы находим его автопортреты рядом с теми, с кем он увидеться не мог; он запоминал их портреты и, мысленно беседуя с ними, рисовал по памяти.

«Счастливой лени верный сын» — назвал он себя. Пустое его времяпровождение породило легенды о поэте-эпикурейце, легкомысленном прожигателе жизни. Легко живущий молодой человек, каким мы видели его в Петербурге после Лицея, мрачнеет, становится нервным, у него постоянный стресс. «Он всегда был не в духе...»¹⁴¹ Одесский друг и коллега Василий Туманский упрекает Пушкина в том, что не получил ответа на два письма: «Эта лень имеет в себе нечто азиатское и потому непростительное в человеке, столь европейском по уму, по характеру, по просвещению, по стихам...»¹⁴²

По-прежнему он непременный участник пирушек, застолий, балов, постоянный посетитель притонов, борделей, кабаков. Он *играет*. «Страсть к игре, — говорил он приятелю Алексею Вульфу, — есть самая сильная из страстей»¹⁴³. Он ложится под утро, отсыпается, потом пишет, не вылезая из-под одеяла. Кажется, он единственный российский писатель, собрание сочинений которого создано в постели.

Негативизм поэта был естественной реакцией, следствием запретов, невозможности вырваться из замкнутого круга. Прожигание жизни — хорошо знакомая черта русского человека. Он пьет от отчаяния, гуляет, чтобы сжечь время, которое не может реализовать, как хочет, и становится равнодушным лентяем, в котором угасают рефлексы цели. Пушкин постепенно теряет веру: сперва в окружающих, потом в самого себя. Остается верить в чудо, в судьбу: может, она внезапно все перевернет?

Осень поэт встречает в Михайловском. В деревенской тишине достаточно времени обдумать стремления, проанализировать провалы. Почему с периодической настойчивостью рвался он десять лет за пределы империи? В Лицее Пушкин писал стихи, но среди его воспитателей нашлись люди, которые советовали образовать Пушкина в прозе. Сильные мира хотели, чтобы он стоял подле них с одой. Прочитав «Бориса Годунова», царь предложил переделать драму в роман наподобие Вальтера Скотта. Многие хотели Пушкина переиначить, приспособить, использовать, принудить, заставить.

Существует устойчивое мнение, что Пушкин хотел покинуть Россию в ссылке, но оставил эту идею, вернувшись в столицы. На деле, не угасает его желание вырваться. При страсти к новым впечатлениям, любви к путешествиям и уникальной возможности стать мировым поэтом, ему надо потрогать, ощутить Европу. Представим себе привязанными к своим странам его кумиров: Руссо, Байрона, Шенье, Гете. Отказать писателю в праве видеть мир есть, по сути, такая же акция, как выколоть глаза архитектору Барме, строителю Покровского собора на Красной площади, чтобы не мог творить за пределами Московии.

Вопрос о том, любил ли Пушкин родину, столь педалируемый, в действительности не должен быть важен ни для кого, кроме него самого. Много ли пишется о любви Шекспира к Англии? Почему вот уже десять лет поэта не вы-

пускали за границу, несмотря на все его прошения и хлопоты влиятельных друзей? Правительство считало, что ограничения свободы путешествий укрепляли государство. Однако существует оборотная сторона медали: закрытая на замок граница — лучший способ воспитать ненависть к своей родине.

При Николае Павловиче система въезда и выезда из страны стала более жесткой. Были введены строгие порядки выдачи свидетельств на выезд. Контроль и придирки полиции к мелким нарушениям режима жизни стали постоянным явлением обыденной жизни. На границах внедрена запретительная система таможенных пошлин и пограничная цензура. На поездки дворянам предоставлялись разрешения сроком не более пяти лет, а остальным русским подданным до трех лет. Распространенное раньше в дворянских домах воспитание детей иностранцами было ограничено, как и отправка молодых людей учиться в западные университеты. Фактически это приводило к большей изоляции России от остальной Европы.

Выездные свидетельства выдавались разными учреждениями тем, кто ехал по служебной надобности. Частные лица обращались с ходатайством к губернаторам. Полицейский надзор означал невозможность получить свидетельство на выезд. Конечно, в разрешении поехать за рубеж был элемент случайности и удачи. Существовали распространяемые жандармерией по всей стране списки лиц, на которых накладывались ограничения. Важнее всего для властей было то, что называлось «благонадежностью» или, реже, «благонамеренностью» и «благомыслием». «Благонадежность» означает уверенность тайной полиции в отсутствии у данного лица тайных умыслов супротив властей.

У Бенкендорфа не было полного доверия к Пушкину. Но полного доверия у главы тайной полиции не может быть ни к кому в принципе, а между тем многих выпускали за границу. Пушкин оказался историческим исключением, трудно объяснимым. Рассмотрение выездного дела Пушкина не было формальным, коль скоро обо всех его прошениях докладывалось лично государю. Для поэта царь заменял собой все инстанции. Отказы Пушкин получал, так как уже десять лет находился под слежкой, а после возвращения из ссылки — под новым следствием.

Пушкин мешал, его влияние на публику было отрицательным, и его выезд разом облегчил бы заботы несколь-

ких ведомств, включая аппарат главы государства. Высылка за границу практиковалась во многих государствах. Во Франции кумир Пушкина Руссо был приговорен судом к высылке из страны за клевету на своих коллег (что так и осталось недоказанным). Мысль выслать Пушкина в Испанию возникала в 1820 году, но была отвергнута. Поездка за границу рассматривалась как награда, монаршая милость.

Отпустить Пушкина Николай I считал вредным для отечества. О первой причине держания поэта взаперти царь сам открыто заявил иностранным дипломатам в общем виде: «Революционный дух, внесенный в Россию горстью людей, заразившихся в чужих краях новыми теориями... внушил нескольким злодеям и безумцам мечту о возможности революции, для которой, благодаря Бога, в России нет данных»¹⁴⁴. Позволить привезти и распространять новые идеи, которых Пушкин обязательно нахватался бы в Европе, — этого царь допустить не хотел.

Второй причиной держания поэта на привязи был тот же язык Пушкина. Выпусти этого шалопаю, по выражению Бенкендорфа, и он начнет направо и налево высказывать в Европе все злое и ложное о России и правительстве, что только придет ему на ум. Впрочем, в-третьих, взгляд мог быть и более серьезным. Царь считал, что данный талант полезен в России. Зачем же его терять?

И все ж в рассуждениях Бенкендорфа и Николая I видится просчет. Пушкин всегда шел на компромиссы, и чем спокойнее власти относились к его отклонениям от предписанного, тем меньше он нарушал предписания. Зажатый до предела, лишенный степеней свободы (даже цензура персональная, даже передвижения внутри страны с разрешения), Пушкин начинал ненавидеть и то, к чему в нормальных условиях относился бы спокойнее. Его появление на Западе свидетельствовало бы, что у русских есть не только истинная культура и литература, но и человеческое, европейское лицо. По возвращении степень его умеренности выросла бы, как и его благонадежность.

Такова природа отечественной власти: многое она делает себе во вред. Презрение к человеческому достоинству, тирания мелочной опеки и политический обскурантизм — ее неперемненные составные части. Как в заморских странах существует прирожденное право, так у нас — прирожденное бесправие. Князь Вяземский в записной книжке обращал внимание на то, как работает «запрети-

тельная система: прежде чем выпустить свой товар, свою мысль, справляться с тарифом; везде заставы и таможи»¹⁴⁵. Когда писатель Иван Дмитриев заметил, что название Московский английский клуб весьма странное, Пушкин возразил ему, что у нас встречаются названия еще более неподходящие, например, Императорское человеколюбивое общество¹⁴⁶.

Пушкина не выпускали, но почему в течение десяти лет он не реализовал ни одной из попыток бежать? Ю. Тынянов заметил однажды: «Если бы Пушкин знал о себе столько, сколько мы знаем о нем сейчас, он вел бы себя иначе»¹⁴⁷. Да, поэт не всегда был последователен. Он поддавался увещаниям друзей, а их советы были противоречивы. Дельвиг любил повторять мудрость из Талмуда: если двое скажут тебе, что ты пьян, ложись спать. Для бегства Пушкину надо было быть чуть решительнее, чуть предприимчивее и чуть хитрее.

Обдумывая одесские и михайловские ошибки, он понимал, что бегство на корабле, в коляске, под видом слуги или с фальшивым паспортом — способы чересчур рискованные. Для реализации плана нужны особые обстоятельства: политическая неразбериха, бунт или война. Таких особых обстоятельств поэт теперь ожидал. А за границу собирался... его собственный портрет, написанный «русским ван-Дейком» Орестом Кипренским.

Лучшую часть жизни Кипренский провел в Германии, Швейцарии и Италии; ненадолго приехав в Петербург, он собирался снова в Италию, намереваясь там жениться. С собой хотел взять писанный им портрет Пушкина, дабы демонстрировать его на выставках. Пушкин считал настоящими художниками только англичан и французов, но для итализированного Кипренского делал исключение и размышлял о том, как к его портрету отнесутся на Западе:

Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит:
Оно гласит, что не унижу
Пристрастья важных аонид.
Так Риму, Дрездену, Парижу
Известен впрямь мой будет вид. (III.21)

Поэт был рад путешествию хотя бы в виде портрета. В Россию Кипренский не вернулся. Портрет, сделанный

им, находился у Дельвига до его смерти, выкуплен Пушкиным за тысячу рублей у вдовы Дельвига и через сына Пушкина попал в Третьяковскую галерею.

Для тех людей во всем мире, кто может выезжать за границу, бесправный Пушкин не понимаем и уж наверняка не трагичен. В его времена слова «отказник» не было, но практика существовала. Пушкин и тут был первым: первым настоящим, широко известным отказником. Статус отказника есть рефлекторное выражение состояния государства. Как массовые репрессии порождали класс заключенных, возродив в XX веке в СССР и Германии рабовладение, так массовые отказы создали новый социальный слой отвергнутых властью и обществом, насильно прикованных к государству.

Отказ — чисто отечественное изобретение, некое наказание, срок которого колеблется от нескольких дней, как за мелкое хулиганство, до пожизненного. Кто решает, наказать или освободить гражданина, не всегда понятно. Хотя отказ — российское явление, он приносит вред всему миру, лишая людей возможности участвовать в деятельности человечества. И все же, по сравнению с советским периодом, во времена Пушкина, если не считать самого поэта, в вопросах выезда был относительный либерализм.

Его не выпускали, но и не унижали сложными бюрократическими процедурами. Для рассмотрения дела достаточно было прошения, то есть просто короткого письма. Явись Пушкин в советский ОВИР, у него потребовали бы вызов от родственников из Африки. Не пришла тогда еще в голову Бенкендорфу иезуитская анкета, разрешения родителей, справки от братьев и сестер — согласны ли они на выезд их родственника. «Я не лишен прав гражданства и могу быть цензурован», — грустно шутил поэт (X.186).

Уволенный с должности. при переездах он предъявлял свой лицейский аттестат, где значился «воспитанником Царскосельского лицея», и это вполне удовлетворяло жандармов¹⁴⁸. Иногда показывал вместо проездного документа стихи, и по неграмотности полиции даже это сходило. На вопрос, где он служит, поэт однажды ответил: «Я числюсь по России»¹⁴⁹. Пишут, что так Пушкин выразил свою национальную гордость. Нам же кажется, что тут звучат и ошейник, и вечная бездомность, от которых он страдал.

Пушкина называли первым штатским в русской литературе. В самом деле, Державин — тайный советник, Ба-

тышков — офицер и дипломат, Жуковский — придворный учитель, Карамзин — придворный историограф, многие поэты были офицерами. А Пушкин оставался до поры простым сочинителем. Издатели хорошо платили ему за сочинения. «У меня доход постоянный с тридцати шести букв русской азбуки», — гордился он¹⁵⁰.

Иногда царь лично читал рукописи поэта. Часть стихов Пушкин печатал, пользуясь знакомством с цензорами, и это сходило с рук. Критик и цензор Александр Никитенко называл контроль за литературой «тяжкой политического механизма с искусством». Вяземский вместо слова «цензура» говорил «цендура»¹⁵¹. В обеих столицах изредка печатали Рылеева, Одоевского, Бестужева, Кюхельбекера, — то с инициалами вместо подписи, а то, бывало, и с подписью. Такова была тогда свобода печати. Книги Пушкина выходили с его именем и даже портретами, когда он был в ссылке. На двенадцати подводах бывшему ссылочному невольнику везли его библиотеку из Михайловского в Петербург.

Пушкин вхож в высшее общество, беседует с царем, его принимают крупнейшие сановники государства, с ним не боятся общаться ни друзья, ни крупные чиновники. Никто не отнимает у него доступ к читателю и право на заслуженное место в литературе. Репрессивность аппарата царской власти относительно ограниченная. А вот за границу именно Пушкина не пускали. В стихах «Сводня грустно за столом...» даже содержательница небезызвестного публичного дома Софья Астафьевна хочет бежать за границу вместе со своими девицами, ибо тут с Петрова дня по субботу у них не было работы (III.42).

В октябре 1827 года Пушкин решил закончить добровольное заточение в Михайловском и, собрав рукописи, выехал в Петербург. По дороге на станции, когда ему меняли лошадей, он проиграл проезжему 1600 рублей, а затем заметил человека, который был окружен жандармами и показался ему крайне неприятен. В дневнике Пушкин писал, что «неразлучные понятия жида и шпиона произвели во мне обыкновенное действие; я повернулся им спиною, подумав, что он был потребован в Петербург для доносов или объяснений» (VIII.18). Но еще через мгновение оба бросились друг другу в объятия. Это был Вильгельм Кюхельбекер, друг юности и неудачливый беглец с Сенатской площади за границу.

Кюхельбекера везли из Шлиссельбургской крепости в крепость Динабург. Жандармы друзей растащили, а о встрече фельдъегерь донес по начальству. Два лицеиста, два поэта, две судьбы, два пути. Один вернулся из-за границы, чтобы сгнить в Сибири, другой избежал Сибири, но не мог попасть за границу. Оба не сумели туда удрать. Образно говоря, оба были в кандалах: один физически, другой в своем воображении. Больше в этой жизни они не увиделись.

Глава двенадцатая В АРМИЮ ИЛИ В ПАРИЖ

*Жизнь эта, признаться, довольно пустая, и я горю
желанием так или иначе изменить ее.
Не знаю, приеду ли я еще в Михайловское.*

Пушкин — Прасковье Осиповой,
24 января 1828, по-фр.

Пушкин появился в Петербурге среди друзей, но состояние одиночества, в котором он пребывал, не изменилось. Литератор и друг Боратынского Николай Путята, сблизившийся с Пушкиным, отмечает грустное беспокойство, неравенство духа, пишет, что поэт «чем-то томился, куда-то порывался. По многим признакам я мог убедиться, что покровительство и опека императора Николая Павловича тяготили его и душили»¹⁵².

О порыве куда-то мы встречаем намеки, а то и прямые высказывания поэта. Внешние события опять подталкивают его. Над ним висит обвинение Новгородского уездного суда в «небрежном хранении рукописей»¹⁵³. Легко переводимо на иностранный язык это выражение, смысл которого, однако, объяснить западному читателю нелегко. Пушкина снова допрашивали по делу о стихотворении «Андрей Шенье».

Поэт пускается в загул, чтобы разрядиться и хоть на время позабыть неприятности. Судьба сводит его со страстными женщинами. Возникает роман со сверстницей, Аграфеной Закревской, которая была к тому же любовницей Боратынского и Вяземского. Возобновляется связь с

Елизаветой Воронцовой, которая только что вернулась с мужем из-за границы и остановилась в Петербурге. Для тайной корреспонденции Воронцова придумала себе псевдоним Е. Вибельман — отражение пушкинского к ней обращения «принцесса бель ветрил».

В стихах снова оживают образы Италии, удрать в которую ему не помог талисман, подаренный Воронцовой в Одессе. Поэт начинает и бросает писать стихи о крае, где редко падают снега и где блещет безоблачно солнце. А в стихотворении, посвященном вернувшейся из Италии Марии Мусиной-Пушкиной, он осыпает читателя целым каскадом неумеренных восторгов по поводу мест, в которых он никогда не бывал: это «волшебный край», «страна высоких вдохновений», «древний рай», «пророческие сени», «роскошные воды», «чудеса немых искусств» (III.53). «Не знаю, приеду ли я еще в Михайловское», — сообщает он соседке из Тригорского Осиповой. Не появиться никогда в собственном Михайловском, которое он любил, могло означать только один вариант его судьбы: отъезд.

От знакомых Пушкина не ускользнуло, что он серьезно, как никогда раньше, принялся вновь за изучение английского. Один из современников отмечал, что это единственное, чем он серьезно занимается: «Пушкин учится английскому языку, а остальное время проводит на дачах»¹⁵⁴. М. Алексеев писал, что и весь следующий год поэт основательно занимался английским и стал достаточно свободно читать и переводить¹⁵⁵. Однако слова он произносил как по-латыни, то есть по буквам, чем потешал знающих язык. У Пушкина появляется еще интерес: к восточной религии и морали. Он достает перевод Корана и опять, как в ссылке на юге, читает его. Что касается стратегии, то Пушкин осуществляет ее с еще большей энергией, рассчитывая вскоре пожать плоды. Для того чтобы потрафить власти, нет лучше способа, чем выказать свой патриотизм.

В конце 1827 года сочиняется одно из самых, на наш взгляд, неуместных стихотворений Пушкина «Рефутация г-на Беранжера» — хвастливо-патриотические вирши, обращенные к «мусье французу» о победе россиян над «нехристом». Прием, использованный в этих стихах, — обвинение иностранцев во всех смертных грехах и восхваление «наших». Иностранцы — нехристи, живодеры, бло-

хи. Бить, стрелять и вешать их — подлинное наслаждение, и автор издевается над побежденными когда-то французами:

Ты помнишь ли, как были мы в Париже,
Где наш казак иль полковой наш поп
Морочил вас, к винцу подсев поближе,
И ваших жен похваливал да ёб? (III.45)

Еще никто, кроме Пушкина, кажется, не гордился тем, что русская армия — это мародеры и насильники. И слова «как были мы в Париже» в устах того, кто сам-то был тогда ребенком, а в Париже и после не сумел побывать, звучат глуповато. Может, пародия? Нет, содержание стихотворения оставляет мало возможностей для такого прочтения. Думается, это часть хитро рассчитанной стратегии верноподданничества.

Из-за обилия матерщины нечего было и думать о напечатании стихотворения, но в устном распространении оно вызывало улыбку. А для воспитания патриотических чувств накануне войны все средства хороши. Время поправило Пушкина: он считал автором французской песни Беранже, но сочинил ее Дебро.

Следом за «Рефутацией» пишутся стихи «Друзьям», которые автор немедленно поспешил представить на высочайшую цензуру. Пушкин пытается убедить всех в своей искренней любви к императору:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю. (III.47)

Далее следует перечисление достоинств хозяина государства, восхваление его за честность, доброту, милости, заботу о России и даже за то, что «освободил он мысль мою». Стихотворение это — уже не восторги после возвращения из ссылки. Это поэтическое лизание того, что Владимир Даль называет в своем словаре местом, по которому у французов запрещено телесное наказание.

Пушкин перестарался. Предложение опубликовать это сочинение смутило царя, который, однако, не возражал против его распространения, так сказать, в самиздате, о чем Пушкину сообщил Бенкендорф. Не ожидал поэт и столь

резкой реакции друзей. Павел Катенин при свидетелях обвинил Пушкина в прямой лести, и между старыми друзьями произошла ссора. Николай Языков писал еще более резко: «Стихи Пушкина «Друзьям» — просто дрянь»¹⁵⁶. Пушкин между тем, как нам кажется, надеется, что лесть даст свои плоды. Какие-то намеки насчет заграницы властями действительно сделаны: позже князь Вяземский скажет, что были «долгие обещания»¹⁵⁷.

В начале января 1828 года Пушкин сочиняет для ведомства Бенкендорфа характеристику на своего доброго знакомого Адама Мицкевича (Х.496, 588, 699). Выглядит это немного странно: один опальный поэт с плохой политической репутацией рекомендует другого такого же; один поэт, которого за границу не выпускают, хочет помочь выехать другому. Однако польского поэта выпустили. На прощальном обеде друзья поднесли Мицкевичу кубок, на котором выгравировали имена всех участников пирушки. Перед разлукой они много общались в салоне пианистки Марианны Шимановской, обсуждали и поездку Пушкина. Герцен написал: «Они протянули друг другу руки, как на кладбище. Над их головами грозула гроза»¹⁵⁸.

Поэт перебирал любые возможные варианты, чтобы ослабить ошейник. Еще осенью в Михайловском возобновились контакты Пушкина с Алексеем Вульфom. Последний закончил университет в Дерпте (откуда они с Пушкиным собирались бежать за границу два года назад) и стал гусарским офицером. Вульфom предстояло участвовать в русско-турецкой войне, и разговоры их вертелись вокруг этой темы (если не считать женщин). Встречи продолжаются то в имении Вульфов Малинниках, куда Пушкин заезжает погостить на несколько недель, то в Петербурге, где Вульф служил до самого отбытия в действующую армию. У Пушкина появилась на Европейском театре войны, на Дунае, опорная точка на случай, если поэт туда попадет.

Возможность оказаться за пределами русского магнетизма стала вдруг ощутимо реальной, когда в Петербурге появился окутанный славой Александр Грибоедов. Жизнь этого удивительного человека словно демонстрировала русскую пословицу «Судьба — индейка, а жизнь — копейка». Крупный дипломат, писатель, диссидент и конспиратор, озабоченный подпольными планами переустройства всей России, друг декабристов, схваченный после попытки переворота, Грибоедов удачно выкарабкался. Ге-

нерал Ермолов, получивший приказ арестовать его и с рукописями доставить к императору, предупредил Грибоедова, дав ему возможность сжечь опасные бумаги.

Грибоедов был сторонником разжигания турецко-персидского конфликта, который способствовал подъему греческого восстания. Теперь он считал, что хорошие отношения Петербурга с Лондоном и Парижем удержат Англию и Францию в нейтральном положении. Русские смогут воевать против турок без сопротивления европейских держав, а заодно поддерживать Грецию, усиливая свое влияние и на Балканах. Позже, когда Россия оккупировала земли до Дуная, Адрианопольский мир подтвердил, что Грибоедов был прав. Посланный генерал-фельдмаршалом Иваном Паскевичем Грибоедов привез императору Туркманчайский мирный договор, который узаконил оккупацию Армении и Нахичевани. Каспийское море стало русской собственностью.

В Петербурге по случаю победы громыхали пушечные салюты. Николай наградил Грибоедова новым чином, алмазным крестом и деньгами. Было много толков о том, что таких денег (40 тысяч золотом) никто не получал со времен Бородинского сражения, за которое Кутузову было пожаловано 100 тысяч. По традиции к фамилии прибавили победу и стали называть его Грибоедов-Персидский. А Грибоедов удивил знакомых тем, что большую часть денег передал Булгарину на издание своей комедии «Горе от ума».

Принято считать, что Пушкин и Грибоедов не были близкими людьми, хотя познакомились давно, вместе давали присягу на службе. Вот что писал им в общем послании тот, кто третьим расписался под той присягой, а теперь оказался на каторге, — Кюхельбекер: «Любезные друзья и братья поэты Александры. Пишу к вам вместе: с тем, чтобы вас друг другу сосводничать»¹⁵⁹. Оба поэта были не только Александры, но и Сергеевичи, и родня. И круг был один, и общих знакомых хоть отбавляй.

Прибыв в Петербург, полысевший, как Пушкин, рано состарившийся, Грибоедов поселился в той же гостинице Демута, и около трех месяцев они виделись почти каждый день. Царь сказал о Пушкине, что это один из самых умных людей в России, а Пушкин говорил буквально то же самое о Грибоедове. Два самых умных русских человека жили теперь рядом. Встречались они и в гостях у общих друзей: у Всеволожского, у французского эмигранта графа

Лавалю. Оба были откровенны в страстном желании вырваться на свободу из чиновничьего Петербурга, из-под унижительной опеки.

Но дело не только в общих взглядах. Еще до попытки декабрьского переворота Грибоедов связывался с приехавшим из Соединенных Штатов Дмитрием Завалишиным, который подбирал в России опытных земледельцев с семьями для отправки в Калифорнию. Согласно ехать Завалишин обещал выкупить из крепостного состояния¹⁶⁰. Теперь эта идея приняла русский колониальный оттенок: Грибоедов, а с ним и Пушкин, размышляли о переселении крестьянских семей в Закавказье. У Ермолова уже имелся опыт выписки колонистов из Германии, теперь переселенцев завлекали в Армению.

Грибоедов, а также его приятель, муж сестры Всеволожского, тифлисский гражданский губернатор Николай Сипягин, будущий губернатор Петр Завилейский и Всеволожский обсуждали вопрос о том, как на основе прогрессивной экономической теории Адама Смита сделать богатыми захваченные Россией земли. Участники проекта были людьми практичными. Политика огня и меча не давала результатов. По Смиту, государство вообще не должно вмешиваться в экономику. Грибоедов размышлял о системе свободного предпринимательства западного образца, которая потеснит русский деспотизм.

Заимствовав американский опыт, Грибоедов и его единомышленники выдвинули проект Российско-Закавказской компании, которая должна осуществлять внедрение вольнонаемного труда, развивать транспорт, торговлю с Западом и просвещение. Новый трест для развития экономики края встретил поддержку влиятельных лиц в правительстве. Организаторы предвидели от предприятия большие доходы.

По-видимому, Пушкин был непременно участником дискуссий и загорелся новой идеей. И.Е.Ениколопов, работавший в грузинских архивах в поисках документов Российско-Закавказской компании, пишет об участии Пушкина в проекте: «Отныне все помыслы поэта сосредоточиваются на нем»¹⁶¹. Скорей всего, Пушкина занимала финансовая сторона дела и открывающаяся возможность прямой связи компании с границей. В «Записке об учреждении Российской Закавказской компании» Грибоедов планировал захват русскими порта Батуми¹⁶².

Несколько раз весной 1828 года Пушкин с Грибоедовым и Крыловым собираются вместе, чтобы обсудить возможность совместной поездки за границу. К ним присоединяется Вяземский, который писал жене: «...смерть хочется, приехав, с вами поздороваться и распротиться, возвратиться в июне в Петербург и отправиться в Лондон на пироскафе. Из Лондона недели на три в Париж, а в августе месяце быть снова у твоих саратовских прекрасных ножек... Вчера были мы у Жуковского и сговорились пуститься на этот европейский набег: Пушкин, Крылов, Грибоедов и я. Мы можем показываться в городах как жирафы: не шутка видеть четырех русских литераторов. Журналы, верно, говорили бы об нас. Приехав домой, издали бы мы свои путевые записки: вот опять золотая руда. Право, можно из одной спекуляции пуститься на это странствие. Продать заранее написанный манускрипт своего путешествия которому-нибудь книгопродавцу или, например, Полевому, деньги верные...»¹⁶³

Д. Благой, комментируя встречу четырех писателей, отмечает стремление всех четырех «хотя бы на время вырваться»¹⁶⁴. Но их не выпускали. Вяземский мечтал поехать вместе с Грибоедовым в Персию и добавлял, что теперь ему и проситься нельзя.

А Закавказский проект развивается. Никиту Всеволожского из Министерства иностранных дел в Петербурге переводят на Кавказ. Туда же собирается втянутый в компанию приятель и в прошлом коллега Пушкина по Министерству иностранных дел дипломат Федор Хомяков, только что приехавший из Парижа и теперь направляемый графом Нессельроде в распоряжение кавказского главнокомандующего Паскевича. Паскевич женат на двоюродной сестре Грибоедова. Возвращавшийся в Персию в должности министра-резидента Грибоедов встретился с Паскевичем и говорил с ним о том, что обсудил с Пушкиным в Петербурге. Речь шла не только о новой компании для развития края, но и о самом поэте, который мог очутиться на Кавказе. Поэт в Петербурге нащупывал разные возможности, готовый остановиться на любой из них.

В начале февраля 1828 года Пушкин вывихнул ногу и лежал в постели, а когда вставал, прихрамывал. Год был невезучий. Но под лежащий камень вода не течет, и надо как-то действовать. Как всегда, он несколько недооценивал шаги властей, посчитал, что после его комплиментарных со-

чинений император стал к нему добрее и можно перейти к просьбе. Внешние обстоятельства тому способствовали.

Мирный договор с Персией развязывал руки для войны с Турцией. Идея овладения Царьградом оставалась частью великорусского патриотического сознания. Еще осенью русский флот одержал победу над турецким. Шла подготовка к захвату турецких территорий с обеих сторон Черного моря. Предстоящий военный хаос будоражил сознание поэта. Границы не охраняются, становятся гибкими, стираются, возникают новые. Власти меняются, одни порядки и законы сменяются другими. Война всегда переселяет множество людей из страны в страну. Толпы людей исчезают, попадают в плен, дезертируют, просто бегут. Легко затеряться, тихо объявиться на другом конце Европы.

В письме собирающемуся за границу Соболевскому Пушкин интересуется: «Пиши мне о своих делах и планах». Поэт не уверен, что заглянет в Москву, и добавляет: «Во всяком случае в Петербурге не остаюсь» (X.189). Не в Михайловское (как он писал раньше), не в Москву, — куда же тогда? В письме Бенкендорфу от 5 марта 1828 года имеется приписка: «Осмеливаюсь беспокоить Вас покорнейшей просьбою: лично узнать от Вашего Превосходительства будущее мое назначение» (X.190). Это куда же?

На прошении поэта Бенкендорф сделал пометку карандашом: «Пригласить его ко мне послезавтра в воскресенье в 4-м часу»¹⁶⁵. Пушкин получил записку явиться к начальнику Третьего отделения 11 марта в 4 часа. «Можно лишь предполагать, что Пушкин уже в марте добивался быть назначенным в действовавшую в Турции нашу армию», — считает М. Лемке¹⁶⁶. Вяземский обратился с такой же просьбой об отправке в армию, и, похоже, ему обещали подобрать гражданскую должность на театре военных действий.

Пушкин пытается пробиться в армию,двигающуюся в Турцию, для чего просит Бенкендорфа о содействии. Война не началась, но висит в воздухе. По-видимому, поэт получил от генерала неопределенный (но не отрицательный) ответ: Бенкендорф обещал доложить государю. Прошло чуть больше месяца. 14 апреля Россия объявила Турции войну, русские войска уже перешли границу и вторглись на турецкую территорию, а ответа Пушкин не получил. 18 апреля он явился в тайную канцелярию, «дабы узнать решительно свое назначение» (X.191). Его не толь-

ко не впустили, но даже не разрешили дожидаться Бенкендорфа. Пришлось написать почтительное письмо: «судьба моя в Ваших руках».

Слухи о том, что Пушкина прикомандировали к Собственной канцелярии государя, уже ходили. Жуковский написал об этом, как о деле решенном, своей племяннице Александре Воейковой. Всезнающий чиновник по особым поручениям при московском генерал-губернаторе Александр Булгаков размышлял в письме брату: «Август и Людовик XIV имели великих поэтов. Пушкин достоин воспевать Николая»¹⁶⁷. В тот же день Пушкин и Вяземский встретились, отправились гулять за Неву. Подробности прогулки мы знаем из письма Вяземского жене, написанного сразу после их встречи. День был холодный, из Ладожского озера в Неву шел мелкий лед. На лодке переправились они к Петропавловской крепости и бродили по ней часа два, как выразился Вяземский, «по головам сидящих внизу в казематах»¹⁶⁸.

Содержание их разговора не могло быть передано в письме к жене. Спор вертелся вокруг политической ситуации и предпринятых ими шагов. Вяземский изменился. Человек умеренный (Вяземский был церковным старостой в своем приходе), два года назад он убеждал Пушкина пойти на компромисс, покаяться, дать честное слово в послушании, лишь бы вернули из ссылки. А он не был трусом. В Бородинском сражении под ним были убиты две лошади, и он продолжал участвовать в бою. Происходящее вокруг еще недавно холодно называл «лютой существенностью», но в 1827 году сделался злым, чему свидетельство ходившее по рукам известное его стихотворение «Русский бог». Суждения его стали крайними, пессимистическими.

В письме, отправленном за границу Александру Тургеневу, князь Вяземский жаловался: «Как трудно у нас издавать журнал. Вовсе нет сотрудников, а все сотрутники. Иностранные журналы доходят поздно, неверно, разрозненные, оборванные в цензурной драке. Чужих материалов нет; своих не бывало. Пишущий народ безграмотен; грамотный не пишет. Наши Шатобрианы, Беранжи, Дарю гнушаются печати, и вертишься на канате перед мужиками в балагане журнальном, под надзором полицейского офицера, один с Булгаринскими, Каченовскими и другими паяцами, которые, когда расшумятся, начнут ссать на публику. Вот портрет автора в России»¹⁶⁹.

Письма Вяземского перлюстрировались после его увольнения со службы. В апреле 1828 года, о котором идет речь, Николаю I донесли, что Вяземский с Пушкиным были на вечеринке у писателя Владимира Филимонова и что Вяземский собирается издавать «Утреннюю газету». На это последовало не только запрещение, но и обвинение в безнравственности, развратном поведении и дурном влиянии на молодых людей. Возникла угроза подвергнуться строгим мерам. Вместе с Пушкиным Вяземский ищет выход из тупика.

О настроении обоих поэтов можно иметь представление по письму, которое Вяземский отправил Тургеневу в Лондон, когда туда уезжал лицейский приятель Пушкина Сергей Ломоносов: «Петербург стал суше и холоднее прежнего. Эгоизм брюха и жопы, добро бы европейский эгоизм головы, овладел всеми. Общего разговора об общих человеческих интересах решительно нет... Здесь одна связь: связь службы, личных выгод...»¹⁷⁰ Пушкин послал с этой же оказией Тургеневу свои старые и только что вышедшие издания, в том числе «Евгения Онегина».

Вяземский кипит: «И есть же люди, которые почитают за несчастье быть удаленными из России. Да что же может дать эта Россия? Чины, кресты и весьма немногим обеспечение благосостояния. Да там, где или Россия отказывается вам давать эти кресты и чины, или вы сами отказываетесь их иметь, там нет уже России, там распадается, разлетается она по воздуху, как звук. Не дает она вам Солнца и дать не может, ни Солнца физического, ни Солнца нравственного. Чем, что она согреет, что прекрасного, что высокого оплодородить она может! Разумеется, тоска по России дело святое, ибо она рождается благородными возвышенными чувствами, но все ж она болезнь *une maladie mentale* (болезнь психическая — Ю. Д.), достойная уважения и которую страдать могут одни избранные, чистые душою, благородною страстью кипящие люди, но со стороны, но здоровым мучения этой болезни непонятны, а если понятны, то единственно мыслию, а не чувством соответствующим»¹⁷¹.

Словом, возможность их существования в России, война и заграница — вот темы, которые обсуждают Пушкин и Вяземский. Как отчетливо сформулировал Вяземский в письме Тургеневу, «или в службу, или вон из России». Между тем на письме, полученном от Пушкина, Бенкендорф

уже на следующий день наложил резолюцию: «Ему и Вяземскому написать порознь, что Государь весьма хорошо принял их желание быть полезными службою, что в армию не может их взять, ибо все места заняты и отказывается всякой день желающим следовать за армией, но что Государь их не забудет и при первой возможности употребит их таланты»¹⁷². Через день оба поэта уведомления получили.

В ответе Бенкендорфа причина отказа следовать в армию («поелику все места в оной заняты») звучит с явной издевкой, будто Пушкин просился в командиры полка. Истинную причину объясняют письма великого князя Константина Павловича и записки великой княгини Марии Павловны. В письме к Бенкендорфу Константин Павлович писал: «Поверьте мне, любезный генерал, что, ввиду прежнего их (Пушкина и Вяземского. — Ю.Д.) поведения, как бы они ни старались теперь выказать свою преданность службе Его Величества, они не принадлежат к числу тех, на кого можно бы было в чем-либо положиться; точно также нельзя полагаться на людей, которые придерживались одинаковых с ними принципов и число которых перестало увеличиваться лишь благодаря бдительности правительства»¹⁷³.

В другом послании Константин Павлович еще более детализирует причину: «Поверьте мне, что в своей просьбе они не имели другой цели, как найти новое поприще для распространения с большим успехом и с большим удобством своих безнравственных принципов, которые доставили бы им в скором времени множество последователей среди молодых офицеров»¹⁷⁴. Мария Павловна, которая жила в Карлсбаде, говорила, что она вообще недовольна поездками русских за границу, и объясняла появление декабристов влиянием Франции.

Вяземский жалуется жене: «Мне душно здесь, я в лес хочу. Мне душно здесь, в Париж хочу. Пушкину отказали ехать в армию. И мне отказали самым учтивым образом». Письма Вяземского этого периода пропитаны ненавистью к русскому правительству и полны желания эмигрировать. В гневе он обдумывает, как покинуть Россию. «Не хочу жить на лобном месте», — заявил он раньше, а теперь возмущается: «Как же не отличить Пушкина, который также просился и получил отказ после долгих обещаний. Эти ребячества похожи на месть Толстой-Протасо-

вой, которая после петербургского наводнения проехала мимо Петра по площади и высунула ему язык»¹⁷⁵.

Пушкин, которому отказано, удручен, а Вяземский в гневе активизировался. «У нас ничего общего с правительством быть не может, — пишет он жене. — У меня нет ни песен для всех его подвигов, ни слез для всех его бед». В другом письме Вяземский объясняет свою позицию Тургеневу: «Неужели можно честному русскому быть русским в России? Разумеется, нельзя; так о чем же жалеть? Русский патриотизм может заключаться в одной ненависти к России — такой, как она нам представляется. Этот патриотизм весьма переносчив. Другой любви к отечеству у нас не понимаю... Любовь к России, заключающаяся в желании жить в России, есть химера, недостойная возвышенного человека. Россию можно любить как блядь, которую любишь со всеми ее недостатками, проказами, но нельзя любить как жену, потому что в любви к жене должна быть примесь уважения, а настоящую Россию уважать нельзя»¹⁷⁶.

Тургенев путешествовал по Англии и Шотландии, осматривал шекспировские места, обещал Пушкину дать свои записки. Вяземский неожиданно просит Тургенева оказать ему услугу: разведать о его ирландских родственниках, с которыми не было никакой связи. Вяземский помышляет о переселении к ним. Объясняясь с московским генерал-губернатором Дмитрием Голицыным, Вяземский возмущался: «Мне ничего не остается, как уехать из отечества с риском скомпрометировать этим поступком будущее моих детей»¹⁷⁷.

Получивший отказ Пушкин на следующий же день отправляет Бенкендорфу новую просьбу, неосторожно открывая свои истинные намерения. «Так как следующие 6 или 7 месяцев остаюсь я, вероятно, в бездействии, — пишет Пушкин, — то желал бы я провести сие время в Париже, что может быть, впоследствии мне уже не удастся. Если Ваше Превосходительство соизволите мне испросить от Государя сие драгоценное дозволение, то Вы мне сделаете новое, истинное благодеяние» (X.191).

Истинное благодеяние последовало немедленно, причем в форме, которой поэт не ожидал.

Глава тринадцатая
«ЧЕСТЬ ИМЕЮ ДОНЕСТИ»

*С каким усердьем он молился
И как несчастливо играл!
Вот молодежь: погорячился,
Продулся весь, и так пропал!*

Пушкин (III.49)

Настала пора детальной исследовать один из наиболее неприятных аспектов биографии величайшего поэта: самую тайную часть его поднадзорного досье, контакты с Третьим отделением. Эта часть жизни Пушкина связана с весьма чувствительным для его и нашего достоинства вопросом: до какого момента, вообще говоря, допустим компромисс с русской властью? Где уважающий себя человек должен остановиться, чтобы не осуществилась пословица «Коготок увяз — всей птичке пропасть»?

В письмах Пушкина встречаются выражения «Честь имею донести» и «при сей верной оказии доношу вам» (X.196 и 197). Типичные обороты отечественного канцелярского чиновничества были приняты в деловых письмах, даже если они не имели ничего общего с полицейским доносом. «Исправник донес губернатору, а этот доносит министру», — приводит пример Владимир Даль. Во времена Пушкина слова эти писались механически, а все же отражали рабскую преданность подчиненного начальнику, исполнительность нижних, готовых на все, и самоуверенность верхних, также на все способных. Сегодня суть этого выражения видится нам иначе, ибо доносит как раз тот, кто чести не имеет. Поэт уже употреблял канцеляризм «честь имею донести» в письмах к друзьям не без иронии и, по понятным соображениям, никогда — в письмах в Третье отделение.

Пушкинская переписка отражает его человеческие и деловые связи. Зададим простой вопрос: кому поэт написал больше всего писем? При случайностях подобного подсчета ответ может показаться интересным, наводящим на размышления. Проанализировать мы можем лишь сохранившуюся переписку, то есть часть реальной. Кто же были те корреспонденты, с кем Пушкин

общался в письмах чаще всего: родные, друзья, возлюбленные, издатели?

За всю жизнь Пушкин написал (исходя, повторяем, из сохранившегося) матери 2 письма, отцу 5, сестре тоже 5, брату 39 (наибольшую часть — из ссылки, надеясь на помощь в выезде). Немного писем друзьям: Жуковскому — 12, а ближайшему другу Чаадаеву только 3. Исключение в списке составляют три человека: на первом месте жена, которой он отправил 77 писем, на втором Вяземский, единственный из друзей, получивший много писем (72) и третий — шеф тайной полиции Александр Бенкендорф, который получил от Пушкина 58 писем. Б.Модзалевский заметил, что жизнь Пушкина была заполнена «почти непрерывными сношениями с Бенкендорфом, фон Фоком и преемником последнего Александром Мордвиновым»¹⁷⁸.

События, рассматриваемые нами, относятся к апрелю 1828 года. За полтора года после возвращения из михайловской ссылки Пушкин написал 2 письма Вяземскому, столько же брату, 3 своей приятельнице Елизавете Хитрово, 4 соседке по Михайловскому Осиповой, 5 издателю Михаилу Погодину, 8 другу Соболевскому, с которым в это время планировал отъезд за границу, и 11 писем Бенкендорфу.

Бенкендорф аккуратно отвечал на письма Пушкина. Не часто и не во всяком государстве найдешь главу тайной полиции, пребывающего в постоянной переписке, пускай даже и в деловой, с поэтом, да еще инакомыслящим. Причины взаимной тяги просты, но во взаимоотношениях поэта с тайной полицией остаются неясности. Попробуем отразить свой ретроспективный взгляд, отличный от общепринятого.

Пушкин ощутил тайный контроль за своим поведением, будучи подростком, задолго до появления Третьего отделения. В двенадцать лет он заявил воспитателю в Лицее, который отобрал на уроке листок бумаги у его приятеля: «Как вы смеете брать наши бумаги, стало быть и письма наши из ящика будете брать?»¹⁷⁹ Лицейсты узнали, что один из надзирателей, Мартын Пилецкий-Урбанович, состоял секретным агентом полиции. Уровень свобод в Лицее был таков, что удалось добиться ухода его с должности. Последствия либерализма вполне квалифицированно оценил Фаддей Булгарин, который говорил о лицеистах так: «Верноподданный значит укоризну на их языке, европеец

и либерал — почетные названия»¹⁸⁰. Булгарин писал это из убеждений, а не только от зависти, как принято считать: ведь писателем Булгарин считался более популярным, чем Пушкин. Факт любопытный и искаженный в последующих оценках.

Слежка и доносительство в Российской империи осуществлялись и совершенствовались на основе важной задачи: «охранение устоев русской государственной жизни»¹⁸¹. Доносительство выполняло те функции получения информации о происходящем в государстве, которые в свободном обществе осуществляет пресса. После декабристов организационная структура сыска была продумана тщательно. Начальник отдельного корпуса жандармов являлся одновременно и начальником Третьего отделения канцелярии Его Императорского Величества. Получалось, что разветвленная сеть агентов несла информацию снизу непосредственно к трону. Если и был посредник, то только один: генерал Бенкендорф.

В дополнение к сети Третьего отделения повсюду проникали сексоты Министерства внутренних дел и достаточное количество добровольцев. Гостиные буквально наводнялись осведомителями. За доносы хорошо платили. М. Дмитриев, поэт и критик, писал: «Москва наполнилась шпионами. Все промотавшиеся купеческие сынки, вся бродячая дрянь, неспособная к трудам службы, весь обор человеческого общества подвинулся обыскивать добро и зло, загребая с двух сторон деньги: и от жандармов за шпионство, и от честных людей, угрожая доносом... О некоторых проходили слухи, что они принадлежат к тайной полиции»¹⁸². Дмитриев знал, что завербованы сенатор Степан Нечаев, агроном Василий Панов. Пушкин встречается с Нечаевым, они вместе бывают в гостях. Панов известен тем, что донес на собственную жену и добился заключения ее в больницу для душевнобольных: его жена Екатерина Панова была приятельницей Чаадаева, ей адресованы философические письма. Пушкин, если разговор важный, старался беседовать с приятелями в бане во время мытья, но и это вряд ли помогало.

Совершенствуется система перлюстрации почты, введенная еще при Екатерине Великой. Службу вскрытия писем наладил санкт-петербургский почт-директор и президент Главного почтового правления Иван Пестель, отец декабриста. Заграничная почта прочитывалась практически

ки вся. Добрая знакомая Пушкина фрейлина Александра Смирнова писала из-за границы: «В матушке России, хоть по-халдейски напиши, так и то на почте разберут... Я иногда получаю письма, просто разрезанные по бокам».

Эпоху двадцатых годов XIX века в России нельзя понять, если воспринимать доносительство слишком прямолинейно, по-современному. Протоколы допросов следственной комиссии по делам декабристов сохранили для потомков весьма мрачную картину показаний офицеров друг на друга и на самих себя, хотя никто не вымогал этих показаний под пытками или угрозами. Почти все декабристы во время следствия оговаривали сообщников, оставшихся на свободе.

В любой стране существуют доносы, но в одной России они окружены почетом. Чистосердечно раскалывался Кюхельбекер. Явственно виден перелом в показаниях Пестеля, когда он вдруг «поплыл», как почти все остальные. Загадочное поведение, требующее особых раздумий. Моральным оправданием доноса было чистосердечие перед Богом, вера в справедливость государя, сомнение в своей правоте, наконец, искренняя уверенность в пользе честности для отечества.

Правительство стремилось ограничить независимость суждений, контролировать литературу, часть которой образовывала своего рода альянс с тайной полицией, а другая часть подвергалась особому контролю. В одном из донесений 1828 года имеется список лиц, проповедующих либерализм. На первом месте в этом списке Вяземский, на втором Пушкин. Даже Иван Пущин называл некоторые стихи Пушкина «контрабандными»¹⁸³.

Властям выгодно привлекать на службу как людей вполне лояльных, так и оппозицию, явную и тайную. Третье отделение завербовало известных писателей Перовского, Булгарина, Греча. Вольнодумец, философ и член тайного общества декабристов Яков Толстой становится агентом русской службы за границей. Поездки за пределы империи и сотрудничество с тайной полицией оказываются подчас взаимозависимыми.

Есть предположение, что Гоголь, честолюбивый молодой человек, мечтавший о карьере и власти над людьми, с 1829 года тайно служил Третьему отделению. Булгарин свидетельствует, что по просьбе бедствующего материально молодого автора фон Фок зачислил Гоголя на теп-

лое место в Третье отделение: он «ходил только за получением жалования». Это не удастся проверить: дела такого рода предусмотрительно уничтожались¹⁸⁴. Основатель Харьковского университета и член Вольного общества любителей российской словесности Василий Каразин сообщал информацию о многих подозрительных лицах, в том числе и о Пушкине.

Руководители сыска не считали Пушкина исключением, скорее наоборот, и тесные деловые отношения у него с Третьим отделением установились сразу после царской аудиенции 1826 года. «Одиннадцать лучших лет своей жизни, — писал М.Лемке, — великий поэт... был, можно сказать, в ежедневных сношениях с начальством III отделения. Бенкендорф, Фок и Мордвинов — вот кто были представлены к каждому его слову и шагу... Многое ему не было ясно, многое он понял к концу жизни, многое унес в могилу и оставил неразрешенным...»¹⁸⁵

Действительно, некоторые особенности натуры поэта позволяли властям сделать ложное предположение, что рано или поздно поэта удастся привлечь к оказанию услуг тайной полиции. С людьми, которые, как ему казалось, работали на Третье отделение, Пушкин обращался чрезвычайно любезно¹⁸⁶. Вспомним теперь, что декабристы не доверяли Пушкину свои тайны и не принимали в свои круги. Считается, что декабристы берегли первого поэта России, не хотели им рисковать. Но было и другое мнение: не принимали, остерегаясь, что может сболтнуть¹⁸⁷.

Точнее, имелось в виду, что при пушкинской общительности он может случайно проговориться, а вокруг много любознательных ушей. Часть знакомых поэта и некоторые декабристы отнеслись отрицательно к стремлениям Пушкина найти контакты с властью после ссылки, в стихах его увидели желание оправдаться и выслужиться. Н.Эйдельман считал, что Пушкин после возвращения из ссылки для властей остался подозрительным, но — и стал чужим для прошлых своих единомышленников¹⁸⁸.

С Третьим отделением в разные периоды жизни были у Пушкина деловые контакты: разрешения на публикации, поездки, финансовые вопросы. Но не только. Часть сотрудников сыска принадлежала к одному с Пушкиным узкому кругу. Их знали, поэт встречался с ними на балах и приемах. Он довольно много слышал о них сплетен, о чем-то догадывался; они же знали о поэте и его круге практически все.

«Вашего превосходительства Всепокорнейший слуга» — стандартное выражение в письмах к Бенкендорфу, и только. Однако близкие друзья не раз упрекали Пушкина в недостойности высказываемого им этим людям почтения. Так, бывало, Пушкин являлся в приемную Бенкендорфа или к нему домой просто для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Поэт настойчиво стремился поддерживать хорошие отношения с фон Фоком, управляющим тайной политической канцелярией. Тот ведал секретной агентурой, дружил с Булгариным и Гречем, а Пушкина держал за человека, «не думающего ни о чем, но готового на все»¹⁸⁹.

Был поэт знаком и с Мордвиновым, занявшим пост управляющего Третьим отделением после смерти фон Фока. Общался с Павлом Миллером, ставшим позже секретарем Бенкендорфа. Известный перлюстратор писем Александр Булгаков, Московский почт-директор, был хорошим приятелем Пушкина. Только в 1834 году Пушкин возмутился, когда узнал, что Булгаков вскрывал письма поэта к жене, сообщая о них по назначению. В 1828 году перечисленные нами детали дали в руки тайной канцелярии козыри, которые в подходящий момент она могла использовать для привлечения Пушкина к сотрудничеству. И время настало.

Пробным шаром, запущенным в прощенного изгнанника, был заказ Бенкендорфа от имени царя написать записку «О народном воспитании», то есть представить развернутую характеристику охранительных идей. «От него, — точно почувствовал ситуацию Ю. Лотман, — явно ждали информации, которую можно было бы использовать в целях сыска, прощупывали возможность привлечь к сотрудничеству»¹⁹⁰. Не случайно одновременно с Пушкиным мысли об образовании было предложено высказать лицам, напрямую связанным с охранными органами: графу Ивану Витту и Фаддею Булгарину. Поэта откровенно готовили к сексотству, и самым удивительным нам кажется то, что бабочка, ничего не подозревая, с какой-то наивной охотой летела на огонь.

Стараясь быть гибким и обвиняя в записке декабристов в учиненных ими беспорядках, осуждая пагубное западное влияние в России, восхваляя мудрость престола, Пушкин вольно или невольно давал понять, что он единомышленник тех, кто дал ему поручение. Подробные его

рекомендации о налаживании системы доносительства в учебных заведениях идут дальше, чем предложения платных агентов Третьего отделения. «Для сего нужна полиция, составленная из лучших воспитанников, — пишет поэт в записке «О народном воспитании» и поясняет: — чрез сию полицию должны будут доходить и жалобы до начальства. Должно обратить строгое внимание на рукописи, ходящие между воспитанниками. За найденную похабную рукопись положить тягчайшее наказание; за возмутительную — исключение из училища, но без дальнейшего гонения по службе» (VII.33).

Прожектерство Пушкина в области сыска было оценено, и выражена письменная благодарность от имени Его Величества. Бенкендорф в донесении Николаю I сообщал: «Пушкин, после свидания со мной, говорил в Английском клубе с восторгом о Вашем Величестве и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье Вашего Величества. Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно»¹⁹¹.

Логическим результатом взаимного сближения должно было стать прямое предложение о сотрудничестве, или, используя легкомысленный лексикон, — вербачок. Пушкин должен был пройти, скажем так, собеседование, жертвой которого становились многие русские литераторы. И не литераторы тоже. Глава Третьего отделения обещал Пушкину, что Государь «не забудет Вас и воспользуется первым случаем, чтобы употребить отличные Ваши дарования в пользу отечества» (Б. Ак.14.11). Ничего страшного в вербовке писателя не было. Кумир русских романтиков Байрон тоже выполнял в Греции определенные задачи аналогичного британского ведомства, о чем Пушкин, понятно, не догадывался, а то бы, может, ему легче было перенести душевную травму.

В апреле 1828 года власти решили, что настал подходящий час использовать отличные дарования поэта. Бенкендорф, как нам кажется, улыбнулся, прочитав прошение Пушкина выпустить его, коли нельзя в армию, в Париж. «Ишь ты, чего теперь захотел!» — сказал, наверное, Бенкендорф своему подчиненному Андрею Ивановскому и даже не стал докладывать царю. Николай Павлович собирался через несколько дней отъехать в путешествие к театру военных действий, ему было не до мелких вопросов. Да и доложи Бенкендорф — тут не могло быть двух

мнений, ответ государя был бы однозначен. Профессор Степан Шевырев, общавшийся в это время с поэтом, вспоминал: «Пушкин просился за границу, но государь не пустил его, боялся его пылкой натуры»¹⁹². Пылкость натуры поэта стала юридическим основанием, чтобы не выпустить. Сам-то Шевырев вскоре поехал в Европу.

Отказ свалил Пушкина в постель: он потерял сон, перестал есть, как тогда говорили, у него разлилась желчь; здоровье внушало самые серьезные опасения. Бенкендорфу об этом доложили, и он приказал Ивановскому отправиться к Пушкину домой. Указание: уговорить поэта не делать глупостей, быть умником и — после предварительной обработки — сделать ему предложение. Оно будет взаимовыгодным. В своих воспоминаниях чиновник Третьего отделения Ивановский, который встречался с Пушкиным в свете и сам баловался сочинительством, подробно рассказывает об этом визите¹⁹³.

Как и полагается в таких случаях, он прихватил в свидетели еще одного сотрудника. Ивановский почтительно и почти ласково объяснял Пушкину, называя его гением, что, во-первых, поэт — не военный, и в офицеры его прозвести не было оснований, а простым юнкером государь послать его в армию, дескать, не хотел. Во-вторых, государь решил сберечь «царя скудного царства родной поэзии и литературы», ведь на войне может случиться всякое и нет различия между исполинами и пигмеями.

Стало быть, причиной отказа, по Ивановскому (читай: по Бенкендорфу), явилась забота государя о поэтическом даре Пушкина. Поэт, если верить Ивановскому, клюнул на лесть: «Глаза и улыбка его заблестали жизнью и удовольствием». Здесь-то и ждал Пушкина капкан, ловко поставленный агентом Третьего отделения. Эта важная деталь биографии поэта дважды засвидетельствована в мемуарной литературе и никем не была опровергнута.

«Если бы вы просили, — предложил выход Ивановский, — о присоединении к одной из походных канцелярий: Александра Христофоровича, или графа К.В.Нессельроде, или И.И.Дибича — это иное дело, весьма сбыточное, вовсе чуждое неодолимых препятствий». — «Ничего лучшего я не желал бы». Вот каким неосторожным был ответ Пушкина Ивановскому. Однако дальше поэт объясняется с вербовщиком тайной полиции в еще более опасном тоне, вовсе Пушкину не свойственном: «И вы думаете»

те, что это еще можно сделать?.. Вы не только вылечили и оживили меня, вы примирили с самим собою, со всем... и раскрыли предо мною очаровательное будущее!»

Кажется, с тех пор, как сыск существует, никто с таким восторгом не принимал подобного предложения. Тут необходим небольшой комментарий к процессу вербовки нового осведомителя, поскольку пушкинистика на этом конкретно никогда не останавливалась. Теперь понятно, почему Бенкендорф на просьбу Пушкина отпустить его погулять в Париж не ответил, как обычно, письмом, а послал к поэту домой своего сотрудника.

Момент для вербовки, согласитесь, выбран идеальный, выбран профессионально. Разговор идет как по нотам: сначала лесть или запугивание, потом осторожное предложение, а следом за ним — обещание содействовать. Вы — нам, мы — вам. Пушкин, даже если Ивановский и утрирует восторг, согласен. Он готов *присоединиться*. Историк тайной полиции Михаил Лемке считает, что Ивановский точен и «рассказ должен быть признан безусловно соответствующим истине»¹⁹⁴. Примечательно, что мемуары сотрудника Третьего отделения не включались ни в одно издание «Пушкин в воспоминаниях современников».

Поэт, как видим, обрадовался предложению сотрудничать с одной из трех канцелярий, предложению, исходившему, однако, непосредственно от Третьего отделения. За сотрудничество его возьмут на Кавказ, где он сможет под руководством Бенкендорфа посреди великолепной природы вдохновляться новыми сюжетами. Но это не все. Далее последует исполнение другого желания Пушкина. «От вас, — добавляет Ивановский, — зависело бы испросить позволение перешагнуть к нам — в Европейскую Турцию». Что касается прошения в Париж, то теперь, когда открывается такая блестящая карьера, Пушкин и сам от этого намерения откажется, ведь «оно, выраженное прежде просьбы вашей об определении в армию, не имело бы ничего особенного и, так сказать, не бросалось бы в глаза; но после... Впрочем, зачем теперь заводить речь о том, что уже не существует. Завтра, часов в семь утра, приезжайте к Александру Христофоровичу: он сам хочет говорить с вами. Может быть, и теперь вы с ним уладите ваше дело. Между тем я обрадую его вестью об улучшении вашего здоровья и расскажу ему о нашей с вами беседе».

О беседе Пушкина на следующее утро с Бенкендорфом мы знаем из воспоминаний близкого в то время приятеля Пушкина Николая Путяты, подтверждающего, что Ивановский точен. «Бенкендорф отвечал ему (Пушкину. — Ю. Д.), что государь строго запретил, чтобы в действующей армии находился кто-либо, не принадлежащий к ее составу, но при этом благосклонно предложил средство участвовать в походе: хотите, сказал он, я определю вас в мою канцелярию и возьму с собою? Пушкину предлагали служить в канцелярии 3-го Отделения!»¹⁹⁵ Возмущение Путяты явно позднего происхождения. Согласие Ивановскому Пушкин дал, и даже с радостью, а утром протрезвел.

Добросовестный в деталях Анненков отмечал, что с юности «способность к быстрому ответу, немедленному отражению удара или принятию наиболее выгодного положения в борьбе часто ему (Пушкину. — Ю. Д.) изменяла»¹⁹⁶. Потом, в тиши, на бумаге, он мог ответить блистательно. Видимо, так случилось и в тот раз. За ночь Пушкин обдумал предложение, понял, какая плата установлена за его желание, и уже не был столь легковерен и доверчив.

Вербовка агента — всегда дело секретное. Ивановскому, склонному к литературным занятиям, нечего было и думать опубликовать воспоминания при жизни своего шефа. Когда Бенкендорф умер, Ивановский хотел напечатать мемуары в «Северной пчеле», но и тут не получил разрешения нового начальника Третьего отделения Алексея Орлова. Опубликованы воспоминания были, лишь когда минуло четверть века после смерти Ивановского.

Нет сведений, как именно Пушкин отказался от предложения, но то, что Пушкин отказался, очевидно. Во-первых, армия двигалась за пределы империи, а он остался в Петербурге. Во-вторых, стань Пушкин агентом Третьего отделения, его бы наверняка не преследовали, а тут, обозлившись, возбудили против него дело. Спору нет, в России преуспевающий поэт должен в той или иной степени быть функционером и выполнять предначертания властей. Согласись Пушкин сотрудничать, он поехал бы и за границу. Искушение дьявола будет еще долго витать над ним.

Словом, его поездка в Париж опять лопнула. «Разумеется, — пишет М.Лемке, — выпустить поэта в Европу означало, по мнению Николая и Бенкендорфа, собствен-

ными руками создать себе врага, который, не вернувшись в Россию, сумел бы сказать о ней жестокою и горькою правду»¹⁹⁷. Бенкендорф, встретив как-то Пушкина, саркастически заметил: «Вы всегда на больших дорогах»¹⁹⁸. Что в этой фразе: констатация известного Третьему отделению факта биографии Пушкина или ирония человека, который перекрыл поэту все возможности на большие дороги выйти?

Глава четырнадцатая ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО

*И я с веселою душою
Оставить был совсем готов
Неволю невских берегов.*

Пушкин, 14 июня 1828 (III.65)

Анна Ахматова обратила наше внимание на странный парадокс в отношениях Пушкина с разными людьми. Поэт легко писал оскорбительные эпиграммы, смело вызывал обидчиков на дуэль, никогда не забывал свести счеты. Графа Воронцова, который много для поэта сделал, но доставил ему один раз неприятность, Пушкин ругал всю жизнь, мстил ему, оскорблял, как только мог. И лишь один человек, по мнению Ахматовой, был исключением из жизненного правила поэта.

В самом деле, Бенкендорф постоянно притеснял Пушкина, держал, как собаку на цепи, но — на него поэт лишь иногда тихо жаловался друзьям; нет его ни в одной эпиграмме. Даже в шутке, которую припомнил приятель Пушкина Нащокин, звучит определенный пиетет: «Жженку Пушкин называл Бенкендорфом, потому что она, подобно ему, имеет усмиряющее и приводящее все в порядок влияние на желудок»¹⁹⁹. То был не только страх и гипноз власти, что вполне естественно, но и простой расчет поэта: желание не конфликтовать с правительством. Блистательный психолог в других случаях, великолепный игрок, он тут пасовал, прятал козыри, становился послушным, как школяр, терял способность к ответным ходам и всегда проигрывал.

Традиционно в пушкинистике мы видим идущее от самого Пушкина преувеличение могущества начальника тайной полиции и его негативной роли в жизни поэта, что отразилось и на заметке Ахматовой. Между тем Бенкендорф в чем-то, пожалуй, больше был склонен к компромиссу, нежели Пушкин. Не только вредил поэту, но и помогал.

Даже некоторые недостатки Бенкендорфа как службиста можно, пожалуй, причислить к его заслугам. Он бывал рассеян; учет в Третьем отделении поставлен был плохо. Часто чиновники, получив от него на исполнение бумаги, держали их в столах, не раскрывая. Недели спустя, если Бенкендорфа переспрашивали, он мог ответить: «Да бросьте их в огонь!»²⁰⁰ Веди себя поэт иначе, он сумел бы, нам теперь кажется, избежать многих неприятностей.

Положение Пушкина остается крайне неустойчивым, неопределенным. Сам он ситуацию оценивает неадекватно: то слишком оптимистично, то слишком фатально. Как обычно, истина находится где-то посередине. Казалось, цель Третьего отделения достигнута: Пушкин выглядит исправившимся, относится верноподданнически к царю, пишет, что надо. Но — русское полицейское иезуитство: если проштрафились, доверия вам нет и не будет. Вы полагаете, они отстали, а тайная слежка та же, в доносах и докладах вы проходите, как и раньше, и остаетесь виноваты до конца дней, а иногда и долго после. Надзор за Пушкиным отменили много лет спустя после смерти. В этом, с точки зрения тайной полиции, был резон: физически поэта не стало, но душа его еще витает среди публики, еще влияет на общественное сознание, и надо следить за душой.

Третье отделение долго подталкивало Пушкина к сотрудничеству, ходили вокруг да около, выбирали подходящий момент, а жертва, похоже, ускользала. Но то, что для Пушкина было тяжелым нравственным и психическим потрясением, пощечиной, за которую он даже не мог вызвать на дуэль, — для Бенкендорфа будничная служба. Не удалось завербовать поэта — не беда, удастся в следующий раз, никуда не денется. А пока надо наказать упряма, проучить за непокорность, укоротить цепочку. Почувствует, как без нас плохо, сам запросится к нам на службу.

Месть за несговорчивость последовала быстро. Негласный надзор за Пушкиным становится весной 1828 года более активным. Искали, к чему придраться, а найти было

несложно. Дело по стихотворению «Андрей Шенье» достигло Государственного совета, который месяц спустя вынес постановление «иметь за ним (Пушкиным. — Ю. Д.) в месте его жительства секретный надзор». И то было началом новых неприятностей.

В обеих столицах стали распространяться слухи, компрометирующие Пушкина, а это ударило по самолюбию поэта больней всего. Писатель и историк литературы Степан Шевырев вспоминал, что в Москве «после неумеренных похвал и лестных приемов охладели к нему, начали даже клеветать на него, возводить на него обвинения в ласкательстве и наущничестве и шпионстве перед государем»²⁰¹. Распространился слух, что Пушкин стал доносчиком, слух был составной частью мести Третьего отделения.

9 мая 1828 года Пушкин провожал знакомого, уезжавшего за границу. Такие проводы на пароходе до Кронштадта (дальше ему не разрешалось) стали ритуалом. На том же корабле ехал домой в Англию знаменитый живописец Джорж Доу. Тут же он набросал карандашом портрет Пушкина. Неизвестно, кого провожал Пушкин, но стихи поэта, про Доу, сохранились:

Зачем твой дивный карандаш
Рисует мой арапский профиль?
Хоть ты векам его предашь,
Его освищет Мефистофель. (III.56)

Александра Смирнова в дневнике вспоминала о таких проводях: «Вчера приезжал ко мне Пушкин и рассказывал, что он только что перед этим едва устоял против сильнейшего искушения: он провожал в Кронштадт одного приятеля, и ему неудержимо захотелось спрятаться где-нибудь в каюте и просидеть там до тех пор, пока корабль не выйдет в открытое море. Но он-таки устоял против этого страстного желания — отправиться за границу без паспорта»²⁰².

Вот какое состояние было у Пушкина после отказа в поездке в Париж и предложения Бенкендорфа о сотрудничестве. С парохода, идущего до Кронштадта, он вместе с уезжающими пересел на корабль, уходящий в Европу, и захотел спрятаться в каюте. Маркиз де Кюстин, приехавший в Петербург тем же путем десять лет спустя, рассказывает, как рыскали по судну полицейские ищейки, шмонали чемоданы, а самого его подвергали допросу. Риск

быть обнаруженным под койкой или в шкафу был достаточно велик.

Через несколько дней он заканчивает стихотворение «Воспоминание», представляющееся нам одним из самых трагических во всей его лирике. Публикуется половина стихотворения; вторая половина, взятая из рукописи, традиционно печатается в приложениях к собраниям сочинений, хотя по всей логике может быть соединена с первой. Ум его подавлен тоской. «Змеи сердечной угрызенья» съедают поэта по ночам. Во второй части звучит жгучая обида:

Я слышу вновь друзей предательский привет. (III.417)

Это новая интонация в отношениях поэта с друзьями. Не семья, не дом, но друзья всегда оставались опорной точкой души Пушкина. Раньше, в Михайловском, он сердился, обижался, говорил о непонимании. Нынче отношение друзей видится предательством. Причем, как он считает теперь, друзья предавали его и раньше. До боли знакомая ситуация: Пушкин и в этом превращается в Чацкого.

Я слышу вокруг меня жужжанье клеветы,
Решенья глупости лукавой,
И шепот зависти, и легкой суеты
Укор веселый и кровавый.
И нет отрады мне...

В 1828 году поэтом создано около полусотни стихов, часть из них носит «домашний» характер, написаны они по конкретным случаям, обращены к конкретным людям. В других, принадлежащих чистой поэзии, он, преодолевая житейские невзгоды, достигает истинной трагедийности. Сюжеты меняются, но круг тем чаще всего вполне определенный: покойники, утопленники, вороны, яд и тупая толпа. Душевный настрой Пушкина не из лучших. «Шурин Александр заглядывает к нам, — пишет матери Николай Павлищев, зять Пушкина, 1 июня 1828 года, — но или сидит букою, или на жизнь жалуется; Петербург проклиная, хочет то за границу, то к брату на Кавказ»²⁰³. Он мечется, все ему не по душе, все раздражает; он много пьет, играет в карты и чаще всего проигрывает. Вино и азарт помогают забыть неприятности, отвлечься, обрести цель на несколько часов, взбодриться.

Пушкину 29 лет, он уже не мальчик, но молод и должен быть в расцвете сил. На деле, как вспоминает критик и журналист Ксенофонт Полевой, «после бурных годов первой молодости и тяжких болезней, он казался по наружности истощенным и увядшим; резкие морщины виднелись на его лице; но он все еще хотел казаться юношею»²⁰⁴. Он ухаживает за Анной Олениной, дочерью президента Императорской Академии художеств, и, по свидетельству Вяземского, делает вид, что влюблен. Похоже, причину сватовства Пушкин сам выразил в одном слове, сказав в письме Вяземскому, что он «бесприютен» (X.195), — намек на имение Олениных Приютино. Игры с Олениной будут продолжаться до осени, в том числе в стихах, но потенциальная невеста считала его вертопрахом, а отец ее недавно подписался под документом, устанавливающим над Пушкиным секретный надзор.

Поэт опять пустился в распутство, похождения его становятся известны всем. Он и сам хвастался загулами. С писателем Борисом Федоровым они гуляли в Летнем саду и обсуждали дела семейные. «“У меня детей нет, а все выблядки”, — сказал великий поэт»²⁰⁵. Возможно, Пушкин имел в виду, что ничто его не привязывает, семьи и дома нет.

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум.
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум. (III.59) —

написал он в день своего рождения 26 мая 1828 года. За пять дней до этого в Царском Селе Вяземский предложил собраться на прощальный пикник. Предложение было принято, и так получилось, что друзья оказались вместе накануне пушкинского дня рождения. Это стало у них ритуалом: совершать очередную поездку на пироскафе в Кронштадт. Вяземский после писал жене, что туда поехали при хорошей погоде, а обратно — ветер и дождь, поднялась паника. Оленин-сын (брат потенциальной невесты Пушкина) выпил портера и водки на 21 рубль. Видимо, и остальные пили много. «На корабле у меня опять закипел демон, мятежный и волнующий, — писал Вяземский, — но я от него скоро отмолился... Пушкин дуется, хмурится, как погода, как любовь»²⁰⁶.

Из всей честной компании на пироскафе (семеро, не считая Пушкина), по меньшей мере трое были связаны с заграничными планами Пушкина: Грибоедов, Киселев и Шиллинг. Все они служили в Министерстве иностранных дел, все собирались за границу. О Шиллинге речь пойдет позже. А здесь отметим договоренность Пушкина с Грибоедовым, который тогда напел Михаилу Глинке грузинскую мелодию, и композитор написал романс на слова Пушкина. Песни Грузии напоминают поэту

Другую жизнь и берег дальний. (III.64)

Вроде бы в стихотворении речь идет о Кавказе, с которым и у Грибоедова, и у Пушкина так много связано:

Напоминают мне оне
Кавказа гордые вершины,
Лихих чеченцев на коне
И закубанские равнины. (III.418)

Четыре приведенные строки Пушкин вычеркнул, они взяты из черновика. Конкретная географическая привязка исчезла, и в стихотворении «Не пой, красавица, при мне» в памяти поэта всплывает не Кавказ, а другая жизнь, другой призрак, «черты далекой, бедной девы».

Той весной Пушкин сошелся с Николаем Киселевым, который вместе с Языковым учился в Дерптском университете и теперь стал служить в Министерстве иностранных дел. Киселев отъезжал по службе в Вену с заездом в Карлсбад. Мысли Пушкина вернулись к планам побега из Михайловского, и он написал два стихотворения. В рифмованном послании к Языкову поэт говорит:

К тебе собирался я давно
В немецкий град, тобой воспетый,
С тобой попить, как пьют поэты,
Тобой воспетое вино. (III.65)

Пушкин хитрит: не вино пить, как мы знаем, собирался он ехать в Дерпт. И даже не к Языкову, а к своему приятелю Вульффу и доктору Мойеру с вполне конкретной целью. Но еще интереснее дальнейшие строки, частично уже процитированные в эпиграфе:

Уж зазывал меня с собою
 Тобой воспетый Киселев,
 И я с веселою душою
 Оставить был совсем готов
 Неволю невских берегов.

По тексту вроде получается, что Киселев зазывал его ехать за границу раньше, то есть из Михайловского. Но ведь тогда они еще не были знакомы. А главное, речь идет о том, чтобы оставить не Псков и Михайловское, а невские берега, то есть Петербург. Стало быть, Киселев был несомненно в курсе плана Пушкина уехать. Когда Языков их познакомил в Петербурге, Киселев предложил поэту ехать с ним в Европу, и Пушкин согласился *с веселою душою*. Дальнейшие строки подтверждают это:

И что ж? Гербовые заботы
 Схватили за полу меня,
 И на Неве, хоть нет охоты,
 Прикованным остался я.

Гербовые заботы — в традиционной трактовке *долги, деньги*. А может, поэт имеет в виду, что «гербовые заботы» — получение паспорта, то есть свидетельства на выезд? Ведь именно этого документа он добивался и не получил: «схватили за полу». Ведь Пушкин не проиграл тогда много в карты (он был должен около десяти тысяч рублей) и сумел бы раздобыть нужную сумму. Нет, за полу его схватили не деньги, если он остался прикованным на Неве!

Провожая Николая Киселева за границу, Пушкин пишет ему в блокнот четверостишие:

Ищи в чужом краю здоровья и свободы,
 Но север забывать грешно,
 Так слушай: поспешай карлсбадские пить воды,
 Чтоб с нами снова пить вино. (III.90)

К экспромту Пушкин пририсовал свой улыбающийся профиль, отправив себя, таким образом, вместе с Киселевым за границу. Стихи эти в Малом академическом собрании сочинений Пушкина находятся, может быть, по времени не на месте: им должно быть рядом с упомянутым

выше посланием Языкову. Укажем также на опечатку, смешную в нашем контексте. В примечаниях Б. Томашевского строка Пушкина написана: «*Ищу* в чужом краю здоровья и свободы...» (III.443)

Между тем тучи над Пушкиным опять сгущаются. Крепостные отставного штабс-капитана Митькова доносят митрополиту Петербурга Серафиму, что их развращали чтением «Гаврилиады», о чем Серафим довел до сведения властей. Формально злостное богохульство, согласно уставу царя Алексея Михайловича, каралось смертной казнью, легкомысленное — шпицрутенами. Позже за богохульство полагались лишение всех прав и ссылка на поселение в отдаленные места Сибири.

По распоряжению Николая Павловича заводится новое дело. На допросах Пушкин отрицал свое авторство, а в письме к Вяземскому, рассчитывая на перлюстрацию, даже назвал автором сатирика Дмитрия Горчакова, к тому времени покойного. «Гаврилиада» написана под влиянием «Орлеанской девственницы» Вольтера. И совпадение судеб: Вольтеру пришлось отречься под угрозой обвинения, что он глумился над церковью; затем пришлось то же делать Пушкину.

Казалось, достаточно ответить, имеет ли он у себя копию поэмы, и подписать документ, что не будет впредь распространять что-либо без предварительной цензуры. Однако царю этого показалось недостаточно. На письменном признании Пушкина он начертал, что верит, будто список «Гаврилиады» взят поэтом у одного из офицеров гусарского полка и сожжен в 1820 году. А далее император открытым текстом требовал от Пушкина того, чего раньше добивался Бенкендорф, а именно доноса: «...Желаю, чтобы он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость»²⁰⁷.

Угроза расправы становится реальной. «Ты зовешь меня в Пензу, — пишет он Вяземскому, — а того и гляди, что я поеду далее, “прямо, прямо на Восток”» (X.195). Загнанный в угол Пушкин сочиняет письмо государю, которое отправляет на Бенкендорфа, в сущности, донос на самого себя. Хотя у властей не было никаких прямых доказательств авторства, Пушкин признался в том, что «Гаврилиаду» написал он сам. Долгое время считалось, что покаянное письмо грешника не сохранилось, но копия его была найдена: «Вопрошаемый прямо от лица моего Госу-

даря, объявляю, что Гавририада сочинена мною в 1817 году»²⁰⁸.

В результате покаяния поэт прощен, но от него требуют выражения преданности. Жуковский советует написать нечто лояльное и великое, и Пушкин вынужден доказать свою полезность: работа над поэмой «Полтава», начатая еще весной, теперь кажется ему особенно важной. Царь не сможет не оценить воспевание военных амбиций империи, поэзию, обосновывающую историческую необходимость захватнических войн Петра. «Полтавская битва... — писал Пушкин в верноподданническом предисловии к поэме, — утвердила русское владычество на юге; обеспечила новые заведения на севере и доказала государству успех и необходимость преобразования, совершаемого царем» (IV.386). Мало того, в эпиграфе царь назван триумфатором.

Вероятно, психоаналитики найдут иные связующие нити, но отметим то, что кажется нам важным. В поэме, которую уже полтора века именуют героической, патриотической, воспевающей военные подвиги, Петра и пр., главной темой является нечто совсем иное. Тема доносительства не оставляла Пушкина во время работы над «Полтавой», ведь работа протекала параллельно с личными неприятностями поэта, с его вербовкой. Оголив суть сюжетного хода, рискнем сказать так: «Полтава» — поэма о доносе. Основным стержнем, вокруг которого Пушкин закручивает конфликт, становится донос Кочубея «на мощного злодея предубежденному Петру». Между прочим, друзья Пушкина сразу именно так и поняли содержание поэмы, хотя никто не увязывал текст с жизненной ситуацией поэта. «Недавно, заходя к Пушкину, — записал Алексей Вульф, ухватив суть, — застал я его пишущим новую поэму, взятую из Истории Малороссии: донос Кочубея на Мазепу и похищение последним его дочери»²⁰⁹.

Уклонившись от сотрудничества с тайной полицией, Пушкин донес государю на самого себя; раскаявшись, он надеется, что наказание его минует. «Донос на гетманазлодея царю Петру от Кочубея» в поэме «Полтава» — тоже в каком-то смысле самодонос, ибо донос на Мазепу не может не коснуться жены Мазепы — дочери Кочубея. От доноса страдает и сам Кочубей. Пушкин пишет в примечании: «Тайный секретарь Шафиров и гр. Головкин, друзья и покровители Мазепы; на них, по справедливости, дол-

жен лежать ужас суда и казни доносителей» (IV.223). В противоречие с русской традицией («Доносчику первый кнут») Пушкин оправдывает доносителя Кочубея.

Выскажем мысль, которая давно нас занимает: унижение, через которое государство протащило Пушкина, склоня к сексотству, оказало на поэта влияние более сильное, чем принято считать. Немного осталось воспоминаний: поэт по очевидным причинам вынужден был не распространяться на столь щекотливую тему. Но подсознательно, как видим, мучившая его проблема доносительства выливалась через творчество. В апреле 1828 года секретная служба Бенкендорфа недвусмысленно предлагает Пушкину сотрудничество, в апреле же он начинает поэму о доносе Кочубея на Мазепу. Покаянное письмо, то есть донос на самого себя с признанием авторства «Гаврилиады», Пушкин пишет 2 октября, а первую главу «Полтавы», содержащую историю доноса, завершает 3 октября. Случайно ли совпадение?

В то же время, с конца августа, Пушкин набрасывает черновик стихотворения «Анчар». 9 ноября, стараясь отвлечься и застряв по дороге в Михайловское у знакомых в Малинниках, поэт переписывает стихотворение набело.

Принято считать, что «Анчар» относится к числу наиболее значительных созданий Пушкина, и стихотворению посвящено много исследований. Отмечалось, что «Анчар» находится в «несомненной внутренней связи» с окончательно отделяемой тогда же «Полтавой», хотя и не уточнялось, в какой именно связи²¹⁰. Столь же справедливо отмечена ошибка, гуляющая по всем советским изданиям этого стихотворения: «А князь тем ядом напитал свои послушливые стрелы...» При первой публикации стихотворения в альманахе «Северные цветы на 1832 год» Пушкин написал «Царь», да еще с большой буквы, а после конфликта с Бенкендорфом, во второй публикации, ему пришлось заменить слово «Царь» на «князь».

Толкований скрытого Пушкиным смысла легенды о древе яда, несущем смерть, существует несколько. Они восходят к сочинениям нескольких западных авторов, которых Пушкин знал. Упоминаются и статьи в двух русских журналах, опубликовавших перевод с английского о ядовитом дереве, находящемся на острове Ява. Сам поэт взял эпиграфом слова английского поэта Озерной школы Самуэля Колриджа о ядовитом дереве, которое плачет ядо-

витыми слезами (III.441). Цитируя Колриджа и используя другие его литературные открытия (например, «*Table-talk*»), Пушкин не мог не знать биографии своего современника. Колридж с друзьями мечтал эмигрировать в Америку, чтобы основать там общину на рациональных началах, но не собрал денег. Он объехал Германию и вернулся на Британские острова. Позже он стал наркоманом, а тяжело заболев, пришел к религии.

Одни исследователи считают «Анчар» художественным шедевром. Н. Измайлов писал, что «мрачное и загадочное творение Пушкина... таинственный образ, порожденный в далеких пустынях Востока»²¹¹. Другие усматривают в стихотворении чисто политические намеки: протест против деспотизма, против бесправия и рабства, против безграничной власти. «Стоглавой гидре уподобляет, как известно, Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» и самодержавие, и крепостничество, — пишет Д.Благой. — Подобная же концепция лежит в основе пушкинского «Анчара»»²¹¹. Благой отрицает наличие в «Анчаре» других аллегорий.

Третий взгляд принадлежит академику В. Виноградову. Он видит в «Анчаре» своеобразный ответ Пушкина тем, кто упрекал поэта в лизоблюдстве. Упреки были вызваны «Стансами». Павел Катенин написал «Старую быль», где содержался весьма прозрачный намек на низкопоклонство Пушкина. «Анчар», в котором яд можно понимать как яд клеветы, мог быть ответом на стихи Катенина. Катенинский образ «неувядающего древа», считал Виноградов, есть некая антитеза пушкинскому «древу смерти»²¹³.

В современной пушкинистике крайние точки зрения на эти стихи смягчены, лобовые политические аллегории остались только в учебниках. «Анчар» относят к философским стихотворениям Пушкина, легендам, притчам с глубоким значением и общечеловеческой мыслью, многозначными и внутренне свободными образами²¹⁴. С такой расплывчатой трактовкой трудно не согласиться. И все же, нам кажется, символика стихотворения оставляет простор для еще одного варианта прочтения, связанного с жизненными обстоятельствами поэта, приведшими к созданию «Анчара».

Рискнем в качестве гипотезы несколько иначе истолковать смысл стихотворения «Анчар». Несомненно, ядовитое дерево — символ зла; пустило оно глубокие корни

не на Востоке, а в той «пустынной» стране, где живет автор «Анчара». Слово «пустыня» у Пушкина — понятие не столько географическое, сколько социальное. «Пустыня» означает культурное пространство, где поэту скучно; пустыней он называет то Кишинев, а то и Петербург. Пушкин пишет о «пустыне нашей словесности» и даже о «философической пустыне» (V.104). В пустыне поэта преследуют. И — «судьбою вверенный мне дар»

Доселе в жизненной пустыне,
Во мне питаю сердца жар,
Мне навлекал одно гоненье. (III.89)

В первоначальном варианте стихотворения «Анчар» было: «В пустыне чахлой и глухой», а не «скупой», что еще больше сближает пустыню с провинцией. Раба склоняют к тому, чтобы он участвовал в бесчеловечном деле, чтобы принес яд. Раб соглашается и приносит яд. Пушкин получил распоряжение царя донести ему лично, кто автор «Гавририады». Отказ равносителен смерти. В дневнике у поэта 2 октября 1828 года краткая запись: «Письмо к царю. *Le cadavre...*», то есть — труп (VIII.18).

Принес — и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки. (III.81)

Доносительство — вот тлетворная, разлагающая человека отравка, источаемая этим всемогущим и таинственным (или тайным?) органом, именуемым «Анчаром», который наводит страх на всю Вселенную. Сперва отравленный раб, судя по черновикам стихотворения, страдал, но оставался жить. Больше того, в черновиках имеется следующий вариант этого четверостишия:

Но человека человек
Послал к анчару самовластно,
И тот послушно в путь потек —
И возвратился безопасно.

Значит, Пушкин, когда писал стихотворение, думал о том, что яд, хотя и смертельный, но не причинит вреда

человеку, который его принесет, и не сделает вреда другим. Поначалу поэт продумывал и, так сказать, более субъективный вариант легенды: вместо «Природа жаждущих степей его в день гнева породила...» было «Природа Африки моей...».

Слово «яд» у Пушкина примерно в двух третях случаев используется в переносном смысле: «ядом стихи свои в утуду черни буйной он наполняет», «сеют яд его подосланные слуги», «подозревая все, во всем ты видишь яд» и т. д.²¹⁵ Зачем же, согласно замыслу «Анчара», царю нужен яд? А для того, чтобы пускать ядовитые стрелы в своих врагов, уничтожать их. Не в этом ли вечная сущность доносительства?

Когда началась работа над «Анчаром», Пушкин сочинял письмо Вяземскому. В конце есть несколько слов, трудно разбираемых и требующих героических усилий текстолога: «Алексей Полторацкий сболтнул в Твери, что я шпион, получаю за то 2500 в месяц (которые очень бы мнегодились благодаря крепсу), и ко мне уже являются троюродные братцы за местами и за милостями царскими»²¹⁶. Подумав, Пушкин решил об этом Вяземскому не сообщать, и строки остались в черновике письма к нему.

Яд клеветы соединился для поэта с ядом доносительства. Мысль искала эзоповскую форму и нашла в стихах. Образ ядовитого восточного дерева отражал реакцию поэта на предложение распространять яд в «пустыне», где поэт жил. Смысл этот, представляется, мог наполнить произведение и подсознательно. В легендах, которые послужили Пушкину источниками, говорится, что за ядом посылали каторжников, смертников, обещая свободу. И они шли к ядовитому дереву с надеждой освободиться. Над Пушкиным давно висело предложение Бенкендорфа принести яд с обещанием разрешить поехать за границу.

Наше толкование «Анчара» неожиданно нашло подтверждение в жизни. Мы познакомились с женщиной, отца которой посадили в сталинские времена. Будучи в тюремной камере, он мысленно обращался за поддержкой к Пушкину. Отказаться от самооговора и оговора других ему, единственному из большой группы однодельцев, помогли стихи. Удержала зека мысль, что, принеся яд, подчинившись приказу владыки, он превратится в раба, а смерти все равно не избежать. Выйдя на свободу спустя 24 года, реабилитированный утверждал, что именно «Анчар» убе-

рег его от доносительства.

Не случайно публикация стихотворения (а Пушкин не отдавал его издателям три года) привлекла внимание Третьего отделения, заподозрившего опасное иносказание. Цензура пропустила стихи, ничего не обнаружив, а умный Бенкендорф потребовал приказать Пушкину «доставить ему объяснение, по какому случаю помещены... некоторые стихотворения его, и между прочим *Анчар*, *дерево яда*, без предварительного испрошения на напечатание оных высочайшего дозволения» (Б. Ак.15.10).

Пушкин понял, что дело плохо, но и бросить прямое обвинение автору со стороны Третьего отделения было не желательно: цензорам пришлось бы раскрыться, указать на подтекст. Бенкендорф приказал поэту явиться и, отчитывая его, как подростка, обвинил в «тайных применениях» и «подразумениях». Пушкин написал ему весьма резкий ответ, в котором, памятуя, что лучшая защита — нападение, заявил, что «обвинения в применениях и подразумениях не имеют ни границ, ни оправданий, если под словом дерево будут разуметь конституцию, а под словом стрела самодержавие» (Х.316).

В письме этом Пушкин смело протестовал против двойной цензуры, которой он подвергается, вместо одной — царской. Решительный протест многократно приводится в советских работах о Пушкине как доказательство мужества и принципиальной позиции поэта в борьбе с самодержавием²¹⁷. Опускается лишь одна деталь: когда порыв отваги прошел, Пушкин решил письмо не отправлять. А послал другое — «с чувством глубочайшего благоговения» (Х.317).

Цензура стала невероятно придирчива. Пушкин сочинял «Анчар», заменяя «самодержавного владыку» на «непобедимого», а Вяземский рассказывал Пушкину об уморительном цинизме цензоров, которые обязаны следить, чтобы в пропускаемых произведениях содержался патриотизм. Цензор и писатель Сергей Глинка жаловался Вяземскому: «Черт знает за что наклепали на меня какую-то любовь к отечеству, черт бы ее взял!»²¹⁸

Ошейник Третьего отделения всегда будет натирать шею Пушкину. Три года спустя приятель поэта Николай Муханов запишет в дневнике, что на вечере у Вяземского министр внутренних дел Дмитрий Блудов сказал, что министр иностранных дел Нессельроде не хочет платить Пушкину

жалования. «Я желал бы, чтобы жалованье выдавалось от Бенкендорфа». Пушкин «тотчас смешался и убежал»²¹⁹.

Глава пятнадцатая

НЕ СОВСЕМ ТАЙНЫЙ ОТЪЕЗД

*Если мне откажут, думал я, поеду
в чужие края, — и уже воображал себя
на пироскафе. Около меня суетятся,
прощаются, носят чемоданы, смотрят на часы.*

*Пироскаф тронулся: морской,
свежий воздух веет мне в лицо; я долго смотрю
на убегающий берег — *My native land, adieu!**

Пушкин (VI.389)

Пушкин набросал эту картинку, приблизительно процитировав строчку из байроновского «Чайльд-Гарольда». Нет сомнения, что в неоконченном наброске «Участь моя решена, я женюсь», опубликованном через двадцать лет после смерти писателя, это звучит как биографическая деталь, хотя поэт написал, будто бы сделал перевод с французского. Из текста следует, что автор собирался уехать, если ничего не получится с женитьбой. Пушкину не сидится на месте, и тема дороги перетекает у него из одного стихотворения в другое.

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком? (III.121)

Печаль, тревога, безнадежность, тоска и отчаяние то и дело озвучиваются в стихах и письмах. «Пушкин в эту зиму бывал часто мрачным, рассеянным и апатичным», — вспоминала Анна Керн²²⁰. Нездоровье Пушкина отмечает и Вяземский в письме к жене: «Он что-то во все время был не совсем по себе. Не умею объяснить, ни угадать, что с ним было или чего не было, *mais il n'était pas en verve* (но он был не в лучшем состоянии. — фр.)»²²¹. Софья Карамзина, старшая дочь историогра-

фа, писала Вяземскому про Пушкина: «Он стал неприятно угрюмым в обществе, проводя дни и ночи за игрой, с мрачной яростью, как говорят»²²². Снова, как двадцать лет назад, поэт готов послать жизнь к черту, проститься со всем, что его окружает, и только женские прелести еще способны скрасить мрак и вызвать чувство симпатии.

Он раздвоен, странен в поступках, непонятен окружающим. Катя Смирнова, попова дочка, с которой Пушкин познакомился, будучи проездом в Малинниках, после вспоминала: «Показался он мне иностранцем...» Накануне нового, 1829 года, на общественном балу у танцмейстера Иогеля Пушкин встречает шестнадцатилетнюю девицу Наталью Гончарову. Но и эта влюбленность не отвлекла его от других серьезных планов. О намерении ехать на Кавказ или в Европу Пушкин писал брату Льву, писал не по почте, конечно, еще 18 мая 1827 года. После всех неприятностей и полученных от Бенкендорфа отказов и обид он стал еще более решительно собираться в дорогу.

В биографии Пушкина, полной противоречий, которые не удастся объяснить, кавказская эпопея остается одной из самых загадочных, несмотря на многочисленные попытки разобраться в ее целях. Первоисточник путаницы, разумеется, сам поэт: у него были важные причины скрывать истину.

В письме к матери Натальи Гончаровой Пушкин объяснял мотивы своего отъезда внезапной влюбленностью и суровой реакцией матери на его предложение. «Я полюбил ее, голова у меня закружилась, я сделал предложение, ваш ответ, при всей его неопределенности, на мгновение свел меня с ума; в ту же ночь я уехал в армию; вы спросите меня — зачем? клянусь вам, не знаю, но какая-то произвольная тоска гнала меня из Москвы; я не мог там вынести ни вашего, ни ее присутствия» (Х.634, фр.). На деле решение двинуться на Кавказ было принято задолго до этого; предложение Гончаровой Пушкин сделал мимоходом, задержавшись в Москве по дороге из Петербурга на юг.

В письме Бенкендорфу, потребовавшему объяснений, Пушкин доложит: «По прибытии на Кавказ (зачем прибыл, опущено. — Ю. Д.) я не мог устоять против желания повидаться с братом, который служит в Нижегородском драгунском полку и с которым я был разлучен в течение 5 лет. Я подумал, что имею право съездить в Тифлис»

(X.628). Выходит, мысль увидеть брата возникла у Пушкина уже на Кавказе. Между тем, задолго до поездки поэт говорил родственникам и знакомым, что собирается повидать на Кавказе брата. Дядя поэта Василий Пушкин писал Вяземскому из Москвы: «Александр Пушкин здесь и едет в Тифлис к брату»²²³.

Задолжав много денег, выпивоха Лев уехал служить в армию за два года до этого, как выразился Пушкин, «чтоб обновить увядшую душу» (X.176). Но не самому ли поэту хотелось того же самого: обновить увядшую душу? Итак, поездка к брату. Но брату Пушкин писал, что он едет вовсе не к нему, а к своему другу: «поеду... не для твоих прекрасных глаз, а для Раевского» (X.178).

В черновике предисловия к «Путешествию в Арзрум» Пушкин тоже сдвигает акцент, говоря, что ехал он на Кавказские воды (что означало для читателя отдых у минеральных источников), а там решил свидеться с братом. Пушкин добавляет то, что по понятным причинам не хотел сообщать Бенкендорфу: о своем желании встретиться с «некоторыми из приятелей». Имеются в виду опальные декабристы, сосланные на Кавказ и ставшие там, говоря современным языком, оккупантами, причем вполне искренними. Но не к ним ехал Пушкин, добавим мы. Не застав на месте в Тифлисе друзей, сообщает он в предисловии к своему «Путешествию», он решил увидеть «блистательный поход» и поэтому отправился в Арзрум. На деле и раньше было известно, что он собирался именно в армию, а не пить минеральную воду.

Писатель, публикующий заметки о путешествии, вовсе не обязан оправдываться перед читателем. Почему же оправдание целей вояжа на передовую так занимало Пушкина? Записки он опубликовал спустя шесть лет, и в предисловии не раз возвращается к причинам, побудившим его к поездке и к сочинению — теперь уже — воспоминаний. «Сии записки, — пишет Пушкин в отброшенной им перед публикацией части предисловия, — будучи занимательны только для весьма немногих, никогда не были бы напечатаны, если б к тому не побудила меня особая причина. Прошу позволение объяснить ее и для того войти в подробности очень неважные, ибо они касаются одного меня». По возвращении «я не стал оправдываться (в действительности, сделал это. — Ю. Д.). Но обвинение важнейшее составляет меня прервать молчание» (VI.505—506).

Речь в журналах, которые имеет в виду Пушкин, шла о том, что он не воспел победы русского оружия, вернувшись с Кавказа. Выходит, публикация осуществлялась им из стремления выполнить свой патриотический долг. Но в другой рукописи Пушкин начинает отстаивать право писать или не писать о поездке: «частная жизнь писателя, как и всякого гражданина, не подлежит обнародованию» (VI.506). Так какой же была поездка — деловой или частной?

Реальных причин, по которым поэт ринулся на Кавказ, было несколько. Самой таинственной из них представляется та, которая тщательно выскребалась советской пушкинистикой, но была ясна Бенкендорфу, и даже Николаю I. Вернувшись, Пушкин по вполне понятной причине постарался отвести истинные цели в оправдательном письме. «Что именно имеет в виду поэт? — спрашивает В.Кунин и отвечает. — Прежде всего разнесшийся клеветнический слух, будто он собирается через турецкое побережье бежать за границу. Эта абсурдная мысль, судя по некоторым намекам, пришла в голову Вяземскому; в разное время ее повторяли и некоторые пушкинисты»²²⁴.

Три причины выдвигаются этим автором в качестве истинных: «ностальгия по декабризму», то есть стремление Пушкина встретиться с опальными офицерами; желание вырваться из светской суеты, соединенное со страстью к путешествиям; и, наконец, безудержная храбрость, «сопричастность героическому делу русских воинов»²²⁵. У другого автора читаем: «Поездка Пушкина на Кавказ в действующую армию летом 1829 г. определялась преимущественно творческими интересами, хотя последние и были неотделимы от страстного желания увидеть «друзей, братьев, товарищей»²²⁶.

Слухи о поездке Пушкина ходили разные, тайной она не была. Писатель и цензор Владимир Измайлов писал Вяземскому: «Пушкин на полете к югу и, вероятно, к новой славе литературной»²²⁷. Василий Ушаков, театральный критик и писатель, вспоминал, что он «встретился в театре с одним из первоклассных наших поэтов и узнал из его разговоров, что он намерен отправиться в Грузию»²²⁸.

Говорили, что поэт, продувшись в карты, поехал туда выигрывать деньги. Вяземский считал, что разрешение Пушкину ехать в армию могли пробить офицеры-игроки. У них он выиграл деньги, которые пустил на путевые расходы, а там надеялся выиграть еще. К такому предположе-

нию были основания: в полицейском списке московских картежников за 1829 год общим числом 93, под номером 1 значится Федор Толстой, 22 — другой приятель Пушкина, Нащокин, 36 — сам Пушкин, «известный в Москве банкомет»²²⁹. Но, разумеется, такой слух не столь опасен, может, даже выгоден.

Об отбытии поэта фон Фок докладывал Бенкендорфу, и все соображения тут невероятно интересны: «Я вам сказывал (значит, еще раньше доложил. — Ю. Д.), что Пушкин поехал отсюда в деревню *один*. Вот первое о нем известие от собачонки его Сомова. Что далее узнаю, сообщу. Вспомните при сем, что у Пушкина родной брат служит на Кавказе и что господин поэт столь же опасен *pour l'Etat* (для государства. — фр.), как неочиненное перо. Ни он не затеет ничего нового в своей ветреной голове, ни его не возьмет никто в свои затеи. Это верно!.. *Laisser le courir le monde, chercher des filles, des inspirations poétiques et — du jeu.* (Предоставить ему обойти свет, искать девиц, поэтических вдохновений и — игры. — фр.) Можно сильно утверждать, что это путешествие устроено игроками, у коих он в тисках. Ему верно обещают золотые горы на Кавказе, а когда увидят деньги или поэму, то выигрант — и конец»²³⁰.

Слух о бегстве поэта за границу в действительности не был ни клеветническим, ни абсурдным. 18 октября 1828 года Пушкин провожал за границу Соболевского, прочитав ему напоследок «Полтаву» и седьмую главу «Онегина». «Соболевский один, без Пушкина, отправился в первую европейскую поездку», — пишет, противореча себе, В. Кунин²³¹. Этой поездке Соболевского предшествовали долгие переговоры. Год спустя план изменился в связи с отъездом Соболевского в одиночку, но, как мы увидим, продолжал осуществляться. Теперь приятель ждал Пушкина в Европе.

Многое известно о дружбе Пушкина с Сергеем Соболевским, а конкретные детали замысла их путешествия остаются тайной. Намерения отправиться за границу в 1827 и в 1828 годах были у приятелей очень серьезными. Не исключено, что Соболевский откладывал в течение всего года собственный отъезд из-за Пушкина, которому отказывали в выезде и опутывали неприятностями. Планы друзей менялись на ходу. Перед отъездом друга Пушкин заказал свой портрет у художника Тропинина и подарил его

Соболевскому. А тот сделал маленькую копию, которую увез с собой.

Библиотека Соболевского осталась на хранение Ивану Киреевскому, но Пушкин продолжал брать оттуда книги, о чем Киреевский уведомлял хозяина. По отъезде они с Пушкиным друг другу не писали, и в этом тоже можно подразумевать сговор. Но в письмах общим знакомым Соболевский то и дело наводит справки о поэте. Из Флоренции просит Киреевского: «Скажи Пушкину, что я пришлю ему 200 бутылок *Aliatico* на следующих условиях: 1) он мне напишет восемь страниц сплетен своего сердца; 2) известит меня о здоровье Людмилки, Анны Петровны и Лизы; 3) назначит мне, к кому адресовать в Петербург; 4) заплатит мне 250 рублей, ибо *Aliatico* здесь не более 125 *centimes il fiasco* (125 сантимов за бутылку. — Ю. Д.); 5) пересылку выплатит, но это, впрочем, вздор, как и пошлина. Не могу не похвалиться Флоренцией. Я везде принят как старый знакомый, всюду позван и, вероятно, через три дня буду давно и всюду забыт при отъезде, ибо Флоренция — трактир Италии».

Весь этот вздор, как Соболевский сам пояснил, нужен был ему, чтобы затуманить в письме, идущем через перлюстрацию, важные детали. «Прошу тебя, — продолжает он, — написать больше о Пушкине, как и когда приехал, где и как жил, в кого влюблялся и когда едет»²³². Неужели для Соболевского могло быть важным, когда Пушкин едет на Кавказ, если бы за Кавказом не последовала поездка к нему в Италию? Значит, поэт собирается бежать — ведь в легальном выезде ему недавно опять отказано.

Киреевский, издатель журнала «Европеец», был, по видимому, в курсе планов Пушкина с Соболевским. В ответном письме Киреевский отвечал насчет Пушкина столь же непонятно: «Такого мозгу, кажется, не вмещает уже ни один русский череп, по крайней мере, ни один из ошупанных мною»²³³. Ум Пушкина перерос Россию — так, пожалуй, мог Соболевский истолковать намек Киреевского.

А Россия ведет в это время сперва персидскую, а затем турецкую кампании. Поняв, что позволения ему не дожидаться, Пушкин решает ехать в том направлении самовольно. Примерно в марте или апреле 1829 года он пишет повинную записку Ивану Яковлеву, которому проиграл в карты шесть тысяч рублей. «Ты едешь на днях, а я все еще в долгу. Должники мои мне не платят, и дай Бог, чтоб они

вовсе не были банкроты, а я (между нами) проиграл уже около 20 т. Во всяком случае ты первый получишь свои деньги. Надеюсь еще их заплатить перед твоим отъездом» (Х.202).

Как видим, они «на ты». Двадцатичетырехлетний Яковлев, с которым Пушкин сдружился, был правнуком известного богача и фабриканта Саввы Собакина. Наследник сказочных богатств: земель, горных и железодельных заводов, домов в Петербурге — Яковлев широко жил и азартно играл. Пирь, праздники, сопровождавшиеся выходками, о которых говорил весь Петербург, видимо, опостытели молодому человеку, и он стал собираться на жительство в Европу, что вскоре, как пишет Пушкин в цитированном выше письме, осуществил. В Париже он провел двадцать лет, сохранив тот же образ жизни и шокируя парижан.

Пушкин играл в это время в карты действительно много. В 1829 году проиграл 24 800 рублей и долг уплатил с трудом в 1831 году. Однако между Пушкиным и Яковлевым были, как мы сейчас увидим, помимо карт, тайные переговоры. Об этом есть свидетельства, хотя и скудные, с провалом во времени.

Яковлев благополучно отбыл в Париж, откуда, не имея никакой информации о Пушкине и не дождавшись его, просил общего знакомого Николая Муханова, служившего адъютантом петербургского генерал-губернатора, передать Пушкину, что об их договоренности Яковлев не забыл. «Благодарю за несколько слов о Пушкине, — говорится в письме Яковлева Муханову. — Если он не уехал в деревню на зиму, то кланяйтесь поэту-герою. Он чуть ли не должен получить отсюда небольшого приглашения анонимного. Дойдет ли до него? А не худо было бы ему потрудиться пожаловать, куда зовут. Помнит ли он прошедшее? Кто занял два опустевшие места на некотором большом диване в некотором переулке? Кто держит известные его предложения и внимает погребальному звуку, проводимому его засученною рукою по ломберному столу?»²³⁴

Все это письмо зашифровано. Намеки представляются важными, но не очень ясны. Непонятно, что за анонимное приглашение, которое послано (иначе бы ни к чему и беспокорство). Получил ли его Пушкин? По-видимому, не получил, значит, оно было перехвачено. Напоминая о прошедшем, Яковлев вряд ли имеет в виду пушкинский долг.

Человек деликатный и тактичный, да к тому же невероятно богатый, не стал бы он намекать на какие-то шесть тысяч рублей.

Остается предположить, что «прошедшее» — это их переговоры о том, чтобы встретиться в Париже. «Некоторый переулочек» — скорей всего, Загибенный на Васильевском острове, в котором Яковлев жил. На кого, сидевшего на большом диване, намекает Яковлев? Может быть, это они сами сидели рядом и обговаривали детали выезда? Или там был третий человек, который должен участвовать в совместных делах? Чьи и какие хранятся предложения? У кого? Легче всего предположить, что речь идет о продолжении игры в Париже. Но не только. Наиболее вероятно, что имеется в виду договоренность Яковлева с Пушкиным вместе путешествовать. А может, и издательские дела, которые поэт собирался предпринять при финансировании этих начинаний приятелем? Словом, в письме Яковлева сказано явно больше, чем читается.

В комментарии Б. Модзалевский писал: «Письмо это намекает, по-видимому, на новые планы Пушкина о поездке за границу, — быть может, при помощи или при поддержке Яковлева»²³⁵. Л. Черейский тоже считает: Яковлев «намекал, что хотел бы видеть его (Пушкина. — Ю. Д.) в Париже; по-видимому, он сам намеревался содействовать поездке»²³⁶. Остается неясным как конкретно Яковлев содействовал поездке и хотел поддержать поэта-беглеца.

Еще одна нить от Пушкина из России за границу тянулась к графу Каподистриа. Мы помним роль доброго гения, которую граф сыграл, будучи статс-секретарем Министерства иностранных дел в 1820 году, превратив ссылку подчиненного ему Пушкина в командировку к своему другу, наместнику Бессарабии Инзову. Каподистриа и позже интересовался судьбой поэта. Пушкин не раз, будучи в южной ссылке, вспоминал этого человека добрым словом, а когда вернулся, грек Каподистриа, оказавшийся жертвой русских интриг, уже уехал в бессрочный отпуск в Швейцарию. В Женеве он жил как частное лицо в ожидании перемен. В начале 1828 года народным собранием Греции Каподистриа был избран главой греческого правительства, пользовался популярностью и мечтал стать королем Греции, но честолюбивые замыслы его не реализовались.

Собираясь на Кавказ, Пушкин пытался установить связи со старым своим покровителем и начальником. О кон-

тактах с Каподистриа мало что известно, по-видимому, связь была устная, через общих знакомых. Грузинский пушкинист И. Ениколопов пишет: «Его (Пушкина. — Ю. Д.) обуревало одно стремление, — вырваться из этих тисков на волю — в страну, где главой государства был избран доброжелательно к нему относившийся Иоанн Каподистриа, там, мнилось ему, осуществляются его заветные мечтания»²³⁷. Оставалось Пушкину перебраться из азиатской части Турции в европейскую, а оттуда в Грецию.

В Париже находился и другой покровитель Пушкина Александр Тургенев; «страстно любя Россию, он... почувствовал себя в ней лишним»²³⁸. Его брат Николай жил в Лондоне. Вяземский говорил, что Александр Тургенев был космополитом. «Тургенев, верный покровитель попов, евреев и скопцов», — лихо написал об этой человеколюбивой натуре юный Пушкин. Потом они переписывались, а в 1825 году Тургенев уехал за границу. Начались его скитания по миру. В архиве сохранились о нем стихи неизвестного автора:

Где был иль где он не бывал?
И к дальним — сердцем ближе,
В Париже о Москве вздыхал,
В Москве же о Париже.
Европу облетая вкруг,
Везде спешит явиться,
Из Рима рвется в Петербург,
Оттуда в Рим умчится²³⁹.

Важной фигурой в замысле Пушкина был и его друг и единомышленник Николай Раевский-младший, который служил на Кавказе под началом генерала Паскевича. Он уже не раз помогал поэту, и Пушкин мог рассчитывать на его внимание и плечо. Николай Раевский-отец воевал здесь с Персией, а позже сын стал командиром полка. Старик был в курсе дела или, по меньшей мере, знал, что Пушкин собирается к его сыну. Раньше Пушкин хотел наладить переписку с Николаем через отца. Пушкин мог и сам написать своему другу, но, по-видимому, не хотел, как мы теперь говорим, засвечиваться. Через отца писать было удобнее. Расчет был на поддержку, укрытие по дороге и, конечно, на связи.

Ближе к поездке Пушкин взял письмо у Раевского-старшего. Это произошло 3 апреля 1829 года. «Пушкин хотел

из Петербурга к тебе ехать, — писал старый генерал, — потом из Москвы, где нездоровье его еще раз удержало. Я ожидаю его извещения, и письмо сие назначено к отправлению с ним»²⁴⁰. Из письма выясняется причина, почему Пушкин по дороге из Петербурга на Кавказ так долго пробыл в Москве. Болезнь, а не сватовство к Гончаровой, стала одной из причин отсрочки поездки.

За несколько дней до отъезда Пушкина на Кавказ отбыл за границу Степан Шевырев, с которым все годы после возвращения из Михайловского они были близки. Поэт, критик и издатель (он выпускал «Московский вестник»), Шевырев занимался теорией стихосложения. Оба поэта даже сочинили вместе эпиграмму. Шевырев отправился в Рим в качестве воспитателя сына княгини Зинаиды Волконской и оттуда в письмах Михаилу Погодину интересовался делами Пушкина. Год спустя Пушкин участвовал в сочинении коллективного письма Шевыреву в «поэтический Рим». Тогда же отправился в Европу писатель Николай Рожалин. Пушкин часто встречался с ним перед отъездом, вместе они провожали в Германию и Италию Адама Мицкевича. Попади Пушкин за границу, там его встретили бы друзья.

Перед поездкой Пушкин собрал и стал изучать литературу о Кавказе и Турции, долго обсуждал политическую и военную ситуацию с Управляющим Главным штабом графом Петром Толстым, своим родственником. Тот был послом во Франции при Наполеоне и даже предсказал поход на Россию. Именно Толстому были поручены дела по «Гаврилиаде» и «Андрею Шенье». По совету высокопоставленного родственника Пушкин написал расписку, что впредь обязуется не распространять своих сочинений без цензуры. Важно также, что канцелярия Толстого занималась смещением генерала Ермолова и назначением на его место Паскевича, к которому собирался двигаться Пушкин. М. Гершензон позже скажет: «Никто кроме Пушкина не интересовался в такой степени событиями на турецкой границе, никто кроме него не мог подтверждать правильность сведений о территориальных изменениях»²⁴¹.

Как это бывало уже не раз, тайное в процессе сборов поэта стало явным. Пушкину нужна была подорожная. Он без труда ее получил, не испрашивая разрешения у Бенкендорфа. 5 марта 1829 года частный пристав Моллер выдал поэту нужный документ и, скорей всего, сделал это

по указанию канцелярии графа Толстого, либо просто знал о благоволении главнокомандующего к Пушкину и не посмел отказать. Константин Булгаков, петербургский почт-директор, подписал выданную Моллером Пушкину бумагу «от Санкт-Петербурга до Тифлиса и обратно»²⁴². Тогда же тайный агент сообщил фон Фоку, что Пушкин получил разрешение «на основании свидетельства частного пристава». Скорей всего, пристав получил от поэта «на лапку». Спустя пять лет Пушкин запомнил, что в подорожной значилось «до Тифлиса», и заявил, что ехал к минеральным водам.

Он выехал 9 или 10 марта. О планах Пушкина знала близкая ему Екатерина Карамзина: на конверте письма, которое она передала ему от Вяземского, Карамзина приписала: «*Bon voyage, M-r Pouchkine*». Когда от добрался до Москвы, там многие уже слышали, что поэт отправляется на Кавказ. Московский почт-директор Александр Булгаков пишет брату Константину Булгакову в Петербург, откуда Пушкин выехал: «Он едет в армию Паскевича, узнать ужасы войны, послужить волонтером, может, и воспеть все это». Думается, такая трактовка поездки вполне устраивала Пушкина. Что касается воспевания подвигов русской армии, то Пушкин приложил немало усилий, чтобы доказать это свое стремление. «Пушкин едет на Кавказ», — через несколько дней опять писал Булгаков, хотя Пушкин еще из Москвы не двинулся²⁴³.

Пушкин его навестил. Дочь Булгакова сказала тогда поэту: «Байрон поехал в Грецию и там умер; не ездите в Персию, довольно вам и одного сходства с Байроном»²⁴⁴. Пушкин поразился (или сделал вид, что поразился) этому суждению. Сам поэт, конечно, подобные настроения отрицал. Сохранился разговор, в котором приятели упрекали Пушкина за то, что «он не хочет проехаться по иностранным странам». Пушкин ответил: «Красоты природы я в состоянии вообразить себе даже еще прекраснее, чем они в действительности; поехал бы я разве для того, чтобы познакомиться с великими людьми; но я знаю Мицкевича, и знаю, что более великого теперь не найду»²⁴⁵. Он старался пресечь все слухи о том, что собирается за границу.

Еще одна причина задержки Пушкина в Москве становится ясной из письма, которое дядя Василий Пушкин отправил Вяземскому: «Александр Сергеевич, кажется, до летнего пути, т. е. еще месяц пробудет с нами. Да и как

теперь отправляться в Тифлис? Никакого на то способа нет». Еще через две недели дядя повторяет: «А. Пушкин здесь и, кажется, не так скоро отправится в Грузию»²⁴⁶. На ту же причину ссылается и Евгений Боратынский: «Пушкин здесь. Он дожидается весны, чтобы ехать в Грузию. Я с ним часто вижу»²⁴⁷. Словом, болезнь и бездорожье — вот два серьезных обстоятельства, которые задержали Пушкина в Москве на семь недель.

Слухи о его поездке долетели уже до Кавказа. Газета «Тифлисские новости» от 26 апреля 1829 года сообщила, что одного из лучших наших поэтов ожидали сюда, но сия надежда уничтожена. Если учесть, что согласно специальному распоряжению по империи все печатные издания немедленно предоставляли один экземпляр в Третье отделение, можно не сомневаться, что там были в курсе дела.

Новая мысль о женитьбе, казалось, спутает все планы и договоренности с друзьями. 1 мая Федор Толстой от имени Пушкина отправился в семейство Гончаровых делать предложение. Ответ матери разрешал надеяться. Т. Цявловская справедливо называет его «полуотказом»²⁴⁸. Но либо «полунадежда» не вдохновила, либо «полуотказ» обидел уже не раз до этого обжигавшегося и темпераментного поэта. Серьезное решение бежать было готово давно, а реализовалось после неопределенного ответа матери Натальи Гончаровой, и Пушкин в ту же ночь выехал на юг.

Итак, давно намеченное путешествие, причины и цели которого столь противоречивы, началось. На этот раз, впервые в жизни, Пушкин не только задумывал и готовился — он начал серьезно действовать. Вяземский писал жене: «Пушкин едет на Кавказ и далее, если удастся». Слово «далее» обычно толковалось в литературе как поездка на передовую, но передовая линия фронта была на самом Кавказе, а не далее Кавказа, так что сообщение Вяземского просто не желали понять правильно. К тому же после *далее* стоят многозначительные слова *если удастся*.

Куда же это — далее? Одним из первых пушкинистов выражение «и далее, если удастся» осторожно назвал своим именем Тынянов. Вот его комментарий: «Слова «далее, если удастся» могут означать самый театр военных действий (Закавказье), хотя следует отметить, что на языке того времени театр этот был именно «на Кавказе». Быть может, слова «и далее» имеют здесь более широкое значение». Затем, размышляя на эту тему, Тынянов сформулиро-

вал свою мысль более определенно: «Недозволенная поездка Пушкина входит в ряд его неосуществленных мыслей о побеге»²⁴⁹. Пироскаф, на котором Пушкин готов был торжественно отплыть в Европу, остался несбыточной мечтой. Поэт двинулся в далекое путешествие на перекладных.

Глава шестнадцатая

КАВКАЗ: ПЕРЕХОД ГРАНИЦЫ

Далекий возжеленный берег.

Пушкин (III.134)

1 мая 1829 года, так рано, что было еще темно, Пушкин покати́л из Москвы на юг в собственной карете, преодолевая в среднем по пятьдесят верст в день. Началось путешествие в Арзрум, столь известное, описанное самим поэтом и многими биографами его, но при этом остающееся одним из самых загадочных эпизодов жизни Пушкина.

Для выезда он выбрал очень удобный момент. Понимая, что за ним наблюдают и будут следить, он выехал, когда вся полиция и жандармерия были заняты охраной кортежа Николая Павловича, совершавшего поездку в Варшаву, чтобы короноваться польским королем; в Варшаву Николай прибыл 10 мая. Хватило б одного жандарма, чтобы задержать поэта, но почему-то этого не сделали.

Пушкин двинулся в направлении Калуги, потом свернул на Орел. Он сделал крюк, чтобы повидаться с генералом Алексеем Ермоловым, хотя лично знакомы они не были. Факт визита известен, а цели и разговоры покрыты мраком, хотя и отмечается в общем виде, что темы затрагивались важнейшие.

Исходя из патриотических соображений, Ермолов рассматривался в пушкинистике как сильная, положительная фигура: он присоединял Кавказ; это деяние было полезным для империи, а значит, прогрессивным. Ермолов подвергался политическим преследованиям: за хранение вольных стихов дважды наказывался. Герой Бородин, он с трудом уживался с царями. После участия в захвате Парижа он мог рассчитывать на заслуженные почести, а ока-

зался в опале в Грузии. Он покровительствовал декабристам, и ходили легенды (впрочем, мало обоснованные), что готовился примкнуть к ним: в случае удачи переворота у него возникали шансы стать главой правительства.

Пушкин часто восторгался Ермоловым, а это был хитрый царедворец, человек двуличный, по характеру немного иезуит. Как глава оккупационных войск на Кавказе он был жесток, его не раз называли душителем, вешателем, новым Чингисханом, что соответствовало действительности. Приказы Ермолова и сейчас леденят душу: «...не оставляйте камня на камне в сем убежище злодеев, ни одного живого не оставляйте из гнусных его сообщников». Или: «...селения, коих жители подняли оружие, истреблять до основания... дома главных мятежников непрерывно разорять». Генерал и наместник Кавказа Николай Муравьев вспоминает о приказе Ермолова в Тифлисе: «Пойманного мумлу он велел повесить в виду всего города за ноги...»²⁵⁰

Террор был его основным методом достижения победы, и генерал своим методом гордился. В «Записках» сей крайний шовинист писал: «Бунтующие селения были разорены и сожжены, сады и виноградники вырублены до корня, и через многие годы не придут изменники в первобытное состояние. Нищета крайняя будет их казнь»²⁵¹. Слово «шовинист» появилось незадолго до этого (1815) из имени французского солдата Николя Шовина, патриотизм которого выразился в абсолютной преданности Бонапарту. Современный *Webster* объясняет шовинизм как крайний, или слепой, патриотизм. Пушкин, если полагаться на «Словарь языка Пушкина», слова «шовинизм» не употреблял. Специалист по наведению порядка, Ермолов считал себя большим гуманистом: «Снисхождение в глазах азиатцев знак слабости, — писал он, — и я прямо из человеколюбия бываю строг неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены».

Ермоловское владычество на Кавказе продолжалось десять лет. Вяземский писал Александру Тургеневу о Ермолове: «Он как черная зараза губил, ничтожил племена. От такой славы кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся, гимны поэта никогда не должны быть славословием резни»²⁵². Зверства достигли такого масштаба, что о них донесли в Петербург, и Ермолов получил от императора выговор. Заменяли его Паскевичем, к которому теперь направлялся Пушкин.

В советское время пушкинист отмечал «некоторую жестокость Ермолова»²⁵³. Эта кампания называлась воссоединением Кавказа, добровольным присоединением Грузии к России, *etc.* «Проводимая Ермоловым при покорении отдельных народностей система отличалась подлинным варварством», — писал, в отличие от русских пушкинистов, грузинский литературовед²⁵⁴.

Позже Пушкин стал относиться к подвигам Ермолова более трезво, пять лет спустя назвал его даже «великим шарлатаном». Но по дороге туда, где Ермолов совершал свои подвиги, поэт заехал к нему в гости в Орел. И Пушкин, и Ермолов в своих воспоминаниях предпочли обойти суть встречи. Приводятся разговоры о поэзии и истории, в частности, об «Истории» Карамзина. Думается, не случайно в разговоре они затронули Курбского, который успешно бежал за границу от Ивана Грозного. Касались Паскевича, что Пушкину было важно. Потом поэт посчитал нужным подчеркнуть: «О правительстве и политике не было ни слова» (VI.435). Когда биограф Пушкина Бартенев спустя четверть века посетил Ермолова, чтобы расспросить о подробностях встречи, Ермолов остался осторожным на слова. «О предмете своих разговоров с ним Ермолов не говорил», — записал Бартенев.

В действительности, нам кажется, смысл заезда к Ермолову был вовсе не в том, чтобы обсудить с генералом дела литературные. Пушкин хотел заручиться у него рекомендациями к оставшимся в Закавказье людям Ермолова, а также узнать побольше о военных и гражданских порядках на Кавказе, которые лучше Ермолова, самолично устанавливавшего эти порядки, никто не знал.

Трясаясь по ужасным дорогам, Пушкин не мог делать ничего иного, кроме как размышлять. Спустя почти десять лет он снова двигался на Кавказ, где одна за другой шли военные кампании. Захват Грузии (Грибоедов называл эту оккупацию «усыновлением Закавказья») открыл пути на Персию и Турцию. Позже Николай Павлович назвал Турцию «больным человеком Европы». Название оправдывало стремление России лечить больного, но доля истины в определении была.

Еще до выезда Пушкин знал, что идут усиленные приготовления к очередной турецкой кампании. С конца XVII века Россия и Турция воевали 13 раз, так и не разрешив своих притязаний. Столетиями Россия утверждала право

военной силой отстаивать православный мир от влияния ислама, для чего стремилась изгнать Турцию из Европы, вернуть христианскому миру Константинополь и проливы. Чаадаев эту тенденцию комментировал так: «Мы идем освобождать райев (турецких христиан. — Ю. Д.), чтобы добиться для них равенства прав. Можно ли при этом не прыснуть от смеха?»²⁵⁵

Бывшие борцы за свободу — декабристы — превратились в этой войне в активных оккупантов. Опальный Михаил Пущин фактически руководил осадой Эривани. Пушкин прекрасно знал, что весной в Лондоне было достигнуто соглашение о создании независимого греческого государства. «Греция оживала...» — писал он, но сам в данный момент хотел продолжения войны. Его замыслы были связаны со стратегическими планами армии Паскевича в Закавказье, которые он в общих чертах знал. Планы имели в виду захват черноморских портов Трапезунд и Самсун²⁵⁶. Оттуда можно было легко отправиться морем в Грецию и далее в Европу.

Очутившись на Северном Кавказе, Пушкин начал вести «Журнал путешествия в Арзрум». Но ни в журнале, ни в «Путешествии в Арзрум», весьма обтекаемо написанном на основе журнала, почти нет столь свойственной Пушкину открытости мысли и чувства. Писатель невероятно осторожен на слова, так умело обходит острые углы, заполняя текст второстепенными подробностями, что становится скучно. Задержим внимание на нескольких деталях.

Пушкин оглядывает Россию, будто он иностранец. В прозе и в стихах («Прощай, любезная калмычка!») безо всякой романтики рассказывает он о встрече с женщиной, в которой с сожалением не обнаруживает ничего ни от француженки, ни от англичанки. Но француженки и англичанки ему недоступны, и вот философское обобщение, родившееся, пока ему запрягали лошадей:

Друзья! Не все ль одно и то же:
Забиться праздною душой
В блестящей зале, в модной ложе
Или в кибитке кочевой. (III.112)

В прозе эта легкость исчезает. Он ругает еду, которую калмычка ему подала: ничего гаже того, чем его угостили, он не может себе представить. Он рассчитывал и на дру-

гие услуги этой женщины, но на деле, кажется, забыться не удалось.

По пути поэт то и дело встречает знакомых; суть встреч, если они не были случайными, остается для нас загадкой. В Карагаче Пушкин получил из Петербурга порядочный куш за свои сочинения. Шампанское лилось рекой. По дороге он ухитрился стать секундантом на дуэли, которая кончилась примирением. Он проехал Осетию в своей тяжелой петербургской карете, но из аула Коби отправил ее на стоянку во Владикавказскую крепость, и далее стал продвигаться верхом.

Военно-Грузинская дорога, проложенная над пропастями русскими войсками за тридцать лет до поездки Пушкина, была разбита. К дорожным опасностям примешивались военные: без сопровождающей охраны двигаться рискованно. Пушкин был любопытен, посетил сначала немецкую колонию, а потом колонию шотландских миссионеров. По дороге он присматривался, проверяя бдительность полицейских кордонов своим любимым методом. Вместо документов предъявил офицеру черновик стихотворения «Калмычке», а тот по неграмотности принял его за разрешающую бумагу.

В день своего тридцатилетия Пушкин добрался до Тифлиса, где оказался в обществе знакомых, устроивших в его честь празднование. Но чтобы попасть на передовую, требовалось получить разрешение командующего, графа Паскевича. Через несколько дней, когда разрешение было получено, Пушкин заспешил далее в сторону границы. Мы можем лишь приблизительно представить себе чувства, с которыми он приближался к рубежу, отделявшему Российскую империю от Турции, от иностранной державы. В последнюю минуту Пушкин дернул коня за поводок и помчался к границе. В «Путешествии в Арзрум» описание этого события, нам кажется, своей искренностью вырывается из остального текста записок.

«“Вот и Арпачай”, — сказал мне казак. Арпачай! наша граница!.. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимой мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турец-

кий берег». Итак, он вырвался на свободу. Он вне контроля, его больше не будут преследовать, наконец-то мечта-ния сбылись: Пушкин — за границей. Впрочем, отрезвев мгновенно, осознал он горечь реальности, чувство чело-века, видящего, как его пароход уходит без него. «Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России» (VI.454).

Стиль повествования Пушкина, обычно скупого на восклицательные знаки, здесь меняется. Сколько разочарования в последней фразе! Да и «никогда еще не вырывался из пределов» сказано точно. Мог сказать «не выезжал», «не был», «не путешествовал», «не покидал», а написал «не вырывался». И про «заветную реку»... Пограничную эту реку мог назвать любым приемлемым словом, а назвал «заветной». Расставался он с родиной не как-нибудь, а «весело». А когда узнал о том, что он «все еще» в Рос-сии, веселость улетучилась.

В одной из книг мы нашли такой эмоциональный ком-ментарий к этому месту в «Путешествии в Арзрум»: «И вот теперь Пушкин стоял на границе. Ему были известны разговоры о стратегических планах турецкой кампании. Паскевич думал достичь Трапезунда и Самсуна. Через тот или другой порт легко попасть в Европу. Боже мой! Мож-ет быть, это сейчас самое главное: бежать, переступив Арпачай?»²⁵⁷

· «Арпа-чай» по-персидски значит «Ячменная река»; Арпачай служит естественной границей между Арменией и Турцией и впадает в Аракс. Но переступив Арпачай, Пушкин бежать не мог: пока он добирался сюда, граница передвинулась, ушла вместе с наступающей армией, и надо было двигаться дальше. К тому же на берегу Арпачая поэт был не один, а с сопровождающим. Русские войска быст-ро продвигались по чужой территории. Поэт двинулся им вослед и через четыре дня оказался в военном лагере.

Цепь его поступков трудно понять и объяснить. День рождения монарха он отмечал льстивыми тостами. Что это было: проявление пылкой любви к царю или тактический ход? Об отчаянной отваге поэта, в сюртуке и круглой шля-пе скачущего на неприятеля, написано много. Пушкину нравилась война, военная карьера. Старый приятель его Липранди считал, что из поэта мог получиться выдающийся военный. По характеру своему он рвался в драку, хотел участвовать в битвах. Семь лет назад Пушкин мечтал вме-

сте с Байроном освободить Грецию. Теперь он с правительственным войском участвует в закабалении кавказских народов. Казалось, он на себе хотел испытать вариант окончания «Евгения Онегина», согласно которому Евгений должен был стать декабристом, а затем погибнуть на Кавказе.

Действительно Пушкин стремился сделаться героем или играл со смертью? Смерть здесь грозила оказаться и менее героической. Его могли просто пристрелить из засады, он рисковал потерять голову при артобстреле. А то и еще глупее: «Не турецкие пули и сабли были опасны в этой бешеной скачке, а возможность упасть с усталым конем и быть затоптанным своими же», — писал свидетель²⁵⁸.

Пушкин спокойно рассказывает о трупах, валявшихся на его пути, о том, как сакля взорвалась через 15 минут после того, как он вышел. Он принял участие в перестрелке с турками и в набеге на них. Военный историк Н. Ушаков вспоминал, что в атаке Пушкин подхватил где-то пику и отчаянно поскакал вперед один, как типичный новобранец, но его догнал опытный майор Семичев, посланный Раевским, и «вывел насильно из передовой цепи казаков»²⁵⁹. Первое издание своей книги, вышедшее в 1836 году, Ушаков подарил Пушкину. Впрочем, не известно, так ли это было, как писал Ушаков, и было ли вообще: есть расхождения во времени и деталях, которые вызывают сомнение.

Странного гостя в штатской черной одежде солдаты принимали за немецкого пастора и звали батюшкой. Пушкин, добравшийся до передовой, уже не был таким общительным. Он избегал новых знакомств и сходил только с прежними своими приятелями, при посторонних был молчалив и казался задумчивым²⁶⁰. Большую часть времени он проводил с Николаем Раевским, в палатке которого собирались свои. Пушкин никогда не расставался с чемоданом, в котором у него лежали рукописи и пистолеты.

«В стратегический план главнокомандующего отдельным кавказским корпусом Паскевича, — пишет Л. Гроссман, — входило завоевание черноморских портов Трапезунда и Самсуна, откуда так легко было поехать посмотреть на Константинополь»²⁶¹. Русские подошли к Арзруму и начали готовиться к осаде города, важнейшей стратегической точки в русско-турецких войнах. Паскевич торжествовал. «Вы истребили врага совершенно, — говорилось в его приказе. — Для вас открыт теперь путь в недра тех

стран Азии, где две тысячи лет живет слава побед великого Рима. Идите туда с радостью, достойные воины!»²⁶²

Упоминание Рима не случайно не только потому, что тут присутствует навязчивая идея Третьего Рима — Москвы. Арзрум был древнейшей крепостью, воздвигнутой еще римлянами, принадлежал Византии, Османской империи. Выяснилось, однако, что штурм для взятия этого лакомого куса не понадобился: турецкие войска покинули город без боя, и 27 июня русские спокойно вошли в город. Командующий Паскевич, поселившийся во дворце Сераскира, распорядился пригласить Пушкина в гости, подарил ему саблю. Вместе с Игнатием Абрамовичем, ординарцем графа, поэт посетил гарем Осман-Паши.

Далее в событиях, изложенных в тексте «Путешествия в Арзрум», — логическая дыра. Кульминационный момент всей поездки смазан, нелогичен, не аргументирован. Пушкин вдруг заспешил назад в Россию. Три дня поэта продержали в карантине, а 28 августа он выехал из Тифлиса в Москву, о чем специальный курьер, обогнав Пушкина, привез секретное сообщение в Третье отделение.

Глава семнадцатая

«ЖАЛЬ МОИХ ПОКИНУТЫХ ЦЕПЕЙ»

*Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скряться мне.*

Пушкин (III.134)

Побег за границу не состоялся, хотя намерения у Пушкина были серьезные. Уехав из Петербурга и Москвы, он писал домой мало. За пять месяцев, что он отсутствовал, сохранилось только одна краткая весточка в Москву Федору Толстому о дорожной скуке и опасностях в горах. Вся корреспонденция с Кавказа перлюстрировалась в Москве, и приходилось быть осторожным. Ни в письме к матери потенциальной невесты, написанном перед отъездом, ни в записке к Толстому с дороги нет ни слова о том, когда он собирается вернуться. Есть косвенные свидетельства, что Пушкин корреспонденцию посылал. Так, он отправил сразу несколько посланий с адъютантом Паскевича Алек-

сандром Дадиани, своим дальним родственником, которого командировали с донесениями в Петербург, но отправил, когда решил возвращаться назад.

Почему же поэт не довел дело, на которое затратил столько сил и времени, до логического конца? От самого начала замысел натыкался на препятствия. Чувство предвидения, которое раньше Пушкина не подводило, на сей раз изменило ему. В очередной попытке реализовать юношескую мечту о заморских краях он рассчитывал на помощь друзей. Но вереница смертей, которую раньше не прослеживали биографы, сопровождала поэта по мере его продвижения к Турции.

По дороге туда, как писал Пушкин, он встретил арбу, везущую гроб с телом Грибоедова, убитого в Тегеране фанатиками-персами. В действительности такой встречи быть не могло, ибо гроб привезли из Персии торжественно, совсем не так, как описал Пушкин. Для чего ему понадобилось выдумать роковую встречу с гробом в «Путешествии в Арзрум»? Этого мы никогда не узнаем. Ясно только, что смерть друга, о которой он узнал в Тифлисе, стала тяжелым ударом, страшным предупреждением.

Тынянов считал, что Грибоедов не хотел возвращаться в Россию²⁶³. Возможно, Грибоедов примеривался к поступку своего Чацкого, и Пушкин об этом знал. За год до смерти, перед отъездом в Персию, Грибоедов писал Екатерине Булгаковой: «Прощаюсь на три года, на десять лет, может быть, навсегда»²⁶⁴. И вот результат...

Тело Грибоедова было выдано персидской стороной через пять месяцев после убийства. Вначале изуродованный труп протащили по улице за руку и бросили в выгребную яму. Лишь через две недели по требованию русского правительства труп якобы нашли и выдали. Месяцы спустя установили по простреленной руке, что это Грибоедов (о чем упоминает и Пушкин в «Путешествии в Арзрум»). Но, отвечая на наши вопросы, специалисты в Тбилиси доказательств не прибавили. Могила Грибоедова условная, возможно, в ней лежит тело другого человека, перса с простреленной рукой, по другим сведениям, — случайный труп уголовника.

Именно благодаря поручительству Грибоедова Пушкин смог попасть в район действующей армии. Паскевич, давший разрешение Пушкину, высоко ценил Грибоедова, своего близкого родственника. Теперь Грибоедов больше не

ждал Пушкина, и у него появились плохие предчувствия. Хотя он и написал, что смерть Грибоедова была «мгновенна и прекрасна», вряд ли поэт отправился в путь, чтобы найти такую же смерть для себя.

В Тифлисе умер губернатор Николай Сипягин, с которым поэт раньше встречался у Всеволожских. Сипягин входил в число участников Российско-Закавказской компании. Пушкин в «Путешествии» отмечает его смерть мимоходом, хотя и пересказывает одну из версий. У современного грузинского автора сказано, что смерть Сипягина, которому было 43 года, наступила «при загадочных обстоятельствах». Следом были уничтожены сипягинские письма. Его имущество было вынесено на улицу и поспешно продано с торгов²⁶⁵. Ходили слухи, что Сипягин с единомышленниками планировал осуществить военный переворот в Грузии, и ему не дали это сделать.

Два с половиной месяца спустя при таких же странных обстоятельствах умер начальник дипломатической канцелярии Паскевича Федор Хомяков, а вслед за ним — один из пайщиков компании француз Каstellла. Со смертью организаторов идея странного предприятия, сулившего деньги, очень нужные Пушкину, заглохла. А отчаянная надежда выиграть в карты, которая не покидала поэта ни до, ни во время поездки на Кавказ, тоже оказалась несбыточной.

В Арзруме Пушкин узнал, что отряд генерала и декабриста Ивана Бурцова, с которым поэт был знаком добрых двадцать лет, послан в разведку на турецкую территорию и пробивается к Черному морю той самой дорогой, которая занимала Пушкина. Город Байбурт был примерно в двух третях пути до порта Трапезунд. Сосланный на Кавказ Бурцов, благодаря своему мужеству и героизму, дослужился до генеральского чина. И вот он тяжело ранен. Потеряв командира, отряд начал поспешно отступать. Весть эта распространилась среди турок; с криками о священной войне и мести они устремились на русских.

«Жаль было храброго Бурцова, — вспоминал Пушкин, — но это происшествие могло быть губельно и для всего нашего малочисленного войска, зашедшего глубоко в чужую землю и окруженного неприязненными народами, готовыми восстать при слухе о первой неудаче» (VI.475). В «Путешествии в Арзрум» Пушкин написал, что узнал о смерти Бурцова от Паскевича, который выразил

огорчение смертью своего приближенного (VI.475). Известие это не могло не поразить поэта и убедить, что бегство к туркам невозможно.

Наконец, еще одна «смертельная» причина могла повлиять на отказ его от попытки бежать через русско-турецкий фронт. Хотя поговаривали давно, внезапно Пушкин узнает от человека, стоявшего в карауле, что в Арзруме открылась чума. Попав с лекарем в лагерь, где находились больные чумой, Пушкин не слезал с лошади и, как он сам пишет, «взял предосторожность стать по ветру». Впрочем, он поспешил оттуда удалиться. «Мне тотчас представились ужасы карантина, и я в тот же день решился оставить армию» (VI.474). Мысль углубиться на территорию, зараженную чумой, и превратиться в одного из несчастных, медленно умирающих людей отвращала, вынуждала отказаться от задуманного, бежать назад как можно скорей.

Поэт долго готовился к поездке, но реальную ситуацию на Кавказе до того, как туда попал, представлял себе плохо. Ему нравились турецкие песни еще в Кишиневе, еще больше ему нравились турчанки. Он любил вспомнить, что его предок попал в Россию через Турцию. Но, по-видимому, поэт переоценил силу русского оружия, надеялся, что быстро захватят морские порты, а в них будет первое время неразбериха и отсутствие контроля. Оказавшись у Паскевича, он прочитал депешу Николая I от 30 июня 1829 года, останавливающую войска в связи с международными трудностями. «...Я предполагаю, — писал царь, — что Трапезонт не уйдет из рук ваших...»²⁶⁶

Разочарование от того, что Константинополь не захвачен, можно увидеть в пушкинском стихотворении «Олегов щит». Русские войска пробирались к городу под предлогом защиты Святых мест, но Англия преградила путь под тем же предлогом. Русская военная машина забуксовала. Расчет Пушкина на то, что войска достаточно приблизятся к морю, не оправдался. От Арзрума до берега оставалось верст 200 — минимум три дня пути по плохим горным дорогам. Одинокому путнику без охраны и без проводников не пробраться.

Пушкин спервоначалу не думал о злобе персов и турок по отношению к русским, а тут на каждом шагу своими глазами видел зверства русской армии и ответную резню отступавших. Попади он в руки к туркам, пробираясь к

морю, с ним расправились бы мгновенно, как с Грибоедовым и Бурцовым. Его, выучившего для поездки два слова по-турецки («вербана ат» — дай лошадь), несмотря на африканскую внешность, примут за русского шпиона и убьют. Узнал здесь Пушкин и другое: по приказам русской военной администрации специальные подразделения ночью устраивали обыски в аулах, чтобы обнаружить среди осетин и турок русских перебежчиков (так называли дезертиров); их ждала каторга.

Как мы помним, 9 марта Пушкин отбыл из Петербурга, а 21 марта донос о бегстве Пушкина на Кавказ лежал на столе у Бенкендорфа. Ему были ясны истинные намерения поэта («на Кавказ и далее, если удастся...»), и он распорядился о слежке²⁶⁷. Более чем за два месяца до выезда Пушкина из Москвы на Кавказ графу Паскевичу сообщили об учреждении за поэтом секретного надзора. Десять лет спустя Николай I вспомнит эту историю и скажет лицейскому приятелю Пушкина барону Корфу: «К счастью, там было кому за ним присмотреть. Паскевич не любит шутить»²⁶⁸. Нам кажется понятным, какие шутки имелись в виду.

Третье отделение знало возможности Пушкина лучше самого поэта, который не поверил бы, что некоторые из его знакомых опальных декабристов исправно служили осведомителями. На Кавказе Пушкина с нетерпением ждали, и по инстанциям спускались распоряжения о наблюдении за прибывающим путешественником. Слежка была организована в лучших традициях сыскного дела²⁶⁹. Две недели ждал он в Тифлисе пропуска от Паскевича. Штаб Нижегородского драгунского полка, в котором у Пушкина был брат и приятели, находился в Карагаче. Тут была налажена эффективная система слежки за опальными декабристами, да и вообще за всеми, подозревавшимися в вольнодумстве. Именно поэтому сюда потом сослали Лермонтова, Одоевского, Оболенского и ряд других офицеров.

Строевым офицером в полку был майор Иван Казасси, сын надзирательницы женской половины Петербургского театрального училища М. Ф. Казасси. Пушкин знал их обоих в юности и писал о сексуальных шалостях с воспитанницами училища в послании Мансурову в 1819 году. Майор Иван Казасси был осведомителем Третьего отделения и рапортовал о каждой подробности поведения прибыв-

шего Пушкина. На пирушках и обедах Казасси непременно оказывался в одной с ним компании, а после «с оказией» доставлял Пушкину письма от знакомых из Тифлиса. Бенкендорф с удовлетворением отмечал отличные деловые качества Казасси: через три года его произвели в подполковники корпуса жандармов.

Догадываясь о «хвосте», Пушкин вел себя осторожно. В несохранившемся письме Нащокину он писал, что «путешествует с особым денщиком»²⁷⁰ (еще один довод для Бенкендорфа не пресекать своевольное путешествие). В опеке шефа Третьего отделения видятся два этапа: распоряжение Бенкендорфа следить за Пушкиным сперва помогло поэту, дало возможность добраться до передовой. А в результате Пушкин никак не мог избежать круглосуточной заботы Паскевича. От Тифлисского начальства путешественник попал к главнокомандующему русской армией, так сказать, с рук на руки.

Паскевич был хорошим командиром и организатором. Умный администратор, смелый и решительный, он заботился о солдатах, отменил муштру. Конечно, ему представлялось, что знаменитый поэт воспоеет его воинские доблести. Не случайно Паскевич распорядился, чтобы Пушкин неотлучно находился при нем, и командующий получал сведения о каждом шаге гостя. Пушкина он принял таким образом, чтобы доверенным людям было удобно наблюдать за поэтом. Ординарцу Паскевича Игнатию Абрамовичу поручили постоянно быть с гостем. Особым доверием начальства пользовался доктор Мартиненко, соглядатай и также исполнитель этого щекотливого поручения.

Наконец, последний штрих, опущенный поэтом в отчете о путешествии: свидетель событий Н. Б. Потокский вспоминает открытую ссору фельдмаршала с поэтом, которому было предложено уехать²⁷¹. Хотя причина конфликта не ясна, это была последняя капля. Ни о каких дальнейших планах и думать было нечего: Паскевич просто отправил Пушкина в тыл. Впоследствии Паскевич был обижен на Пушкина и в письме к царю после смерти поэта высказался: «Жаль Пушкина как литератора... но человек он был дурной»²⁷².

Пушкин ехал на Кавказ без разрешения Третьего отделения, заведомо зная, что у него будут неприятности, если... он вернется. А Бенкендорф не волновался и доложил о

самовольной отлучке поэта царю лишь 20 июля, когда Пушкин находился в Арзруме. Пушкин еще не вернулся и, возможно, думал, возвращаться ли, а Николай I, уверенный, что поэт никуда не денется, наложил на донесение Бенкендорфа резолюцию: «Потребовать от него объяснений, кто ему разрешил отправиться в Эрзерум, во-первых, потому что это вне наших границ, а во-вторых, он забыл, что обязан сообщать мне обо всем, что он делает, по крайней мере, касательно своих путешествий. Дойдет до того, что после первого же случая ему будет определено место жительства»²⁷³.

Уведомляя Пушкина, Бенкендорф прибавлял: «Я же с своей стороны покорнейше прошу Вас уведомить меня, по каким причинам не изволили Вы сдержать данного мне слова и отправились в Закавказские страны, не предупредив меня о намерении вашем сделать сие путешествие». Приятелю Пушкин, между прочим, сам рассказывал, что Николай I спросил его, как он смел поехать в армию. На ответ, что главнокомандующий ему это позволил, возразил: «Надобно было проситься у меня. Разве не знаете, что армия моя?»²⁷⁴

Параллельно занималась Пушкиным и обычная полиция, хотя и не столь усердно. Спустя шесть месяцев после отъезда поэта из Тифлиса, полиция эта рапортовала, что имярек в Тифлисе «на жительстве и временном пребывании не оказался»²⁷⁵.

Осмелимся утверждать с достаточной степенью уверенности, что, отправляясь на Кавказ в 1829 году, Пушкин думал вырваться из России. Обычно он начинал действовать решительно, эмоции опережали рассудок, как случилось уже не раз. В данном случае, однако, были и план, и долгие приготовления, но по дороге, и особенно прибыв на место, беглец постепенно убедился, что побег невозможен, и передумал. То был разумный поступок.

Вряд ли отзыв о Пушкине тех дней его приятеля Михаила Юзефовича объективно отражал реальные чувства и мысли поэта: «Он был уже глубоко верующим человеком и одумавшимся гражданином, понявшим требования русской жизни и отрешившимся от утопических иллюзий»²⁷⁶. Просто в довершение всего Пушкин, каким бы он ни был энергичным любителем путешествий, устал от трехмесячной отвратительной дороги, грязи, плохого питания, бивачной жизни, отсутствия женщин. Он больше не стремил-

ся вперед, где его ждала неопределенность, жаждал отдыха и, как это у него часто бывало, перегорел, разрядился, и остыл.

Меж горных стен несется Терек,
Волнами точит дикий брег,
Клокочет вокруг огромных скал,
То здесь, то там дорогу роет,
Как зверь живой, ревет и воет —
И вдруг утих и смирен стал.
Все ниже, ниже опускаясь,
Уж он бежит едва живой.
Так после бури истошаясь,
Поток струится дождевой. (III.151)

В комментариях к черновому отрывку обычно говорится, что здесь описан обвал, который преградил Пушкину дорогу во время его путешествия в Арзрум. Нам же пушкинские строки видятся описанием его собственного состояния. Легче и проще всего бежать за границу ему было из Кишинева, труднее из Одессы, еще сложнее из Михайловского, а побег через Кавказ на деле оказался сопряженным со смертельным риском. Поэт опять оказался у разбитого корыта, в том подвешенном состоянии, которое он однажды описал в письме к брату: «...кажется и хорошо — да новая печаль мне сжала грудь — мне стало жаль моих покинутых цепей» (X.53).

Оставалось соблюсти хорошую мину и возвращаться назад. Он спустился с гор, отдохнул, полечился минеральными водами и двинулся на север. Денег на обратную дорогу у него не осталось, его ссудили приятели. Часть этих денег Пушкин вскоре проиграл в карты. «Граф (Паскевич. — Ю. Д.) предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий, — выдумал Пушкин позже. — Но я спешил в Россию» (VI.475). Бенкендорфу же он объяснял все еще нелепее: «Я понимаю теперь, насколько мое положение было фальшиво, а поведение легкомысленно; но, по крайней мере, тут было только одно легкомыслие. Мысль, что это можно приписать другой причине, была бы для меня невыносимой. Я скорее хотел бы подвергнуться самой строгой немилости, чем прослыть неблагодарным в глазах Того, кому я всем обязан, кому готов пожертвовать жизнью — и это не фраза» (X.205, фр.). Это была, конеч-

но же, пустая фраза и хитрость, чтобы скрыть попытку бегства за границу.

Хотя Пушкин и делал записи по дороге, отчет о поездке появился спустя шесть лет. Во многих исследованиях «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» оценивается как выдающееся литературное произведение. «Путешествие в Арзрум», — приводим для примера цитату, — в истории русской путевой прозы занимает совершенно особое место. Пушкин взорвал изнутри традиционный жанр, расшатал его, казалось бы, незыблемые каноны и создал тот «вечный образец», который не был в достойной мере оценен современниками»²⁷⁷. Или оценка другого исследователя: «Путешествие в Арзрум» — это пиршество идей, здесь пафосом является поэзия мысли»²⁷⁸. Подобные оценки звучат пародийно. Для сравнения достаточно взять хотя бы «Письма русского путешественника» Карамзина. Лишь иногда авторы осмеливаются отметить мелкие описки по части дат, событий и географии, вроде той, что гору Арагай Пушкин спутал с Араратом. Лишь единожды мы встретили замечание, что «Путешествие» фрагментарно, что впечатления поэта от похода ему не важны²⁷⁹.

Название Пушкин поставил первое пришедшее на ум. Тогда в газетах и журналах часто печатались то «Путешествие в Малороссию», то «Путешествие в Кронштадт». У самого Пушкина имеется четыре работы под названием «Путешествие...». Традиционно говорится, что Пушкин ездил на Кавказ, а произведение называется не «Путешествие на Кавказ», и даже не «Путешествие в Закавказье», но — «Путешествие в Арзрум», то есть в Турцию, ведь Арзрум был турецким, когда он туда собирался. А по существу, произведение точнее назвать «Неудачное путешествие в Турцию».

Вразрез с традицией скажем, что «Путешествие в Арзрум» — одна из самых слабых работ Пушкина. Обычно такой недосыгаемо искренний, автор здесь то и дело фальшивит. Напечатал он эссе (если не считать публикации маленького отрывка) в первой книжке собственного «Современника». То и дело Пушкин стремится подчеркнуть свою лояльность, патриотизм, даже национализм. Оккупация у него — «приобретение важного края Черного моря», хотя он отмечает и некоторые негативные стороны колонизации Закавказья. Пушкинские эвфемизмы для ок-

купации: «Грузия прибегла под покровительство России» и «Грузия перешла под скипетр императора». Пушкин находит два гуманных средства «принуждения к сближению» и «укрощения сих диких людей»: самовар и — «более нравственное — Евангелие».

Тынянов видел в двух пушкинских стихотворениях, написанных во время путешествия, некую оппозицию и призывы к миру. Имеются в виду «Из Гафиза» и «Делибаш». Делибаш — еще одно турецкое слово, которое узнал Пушкин, означает — отчаянная голова.

Мчатся, сшиблись в общем крике...
 Посмотрите! Каковы?
 Делибаш уже на пике,
 А казак без головы. (III.133)

Никакого пацифизма в кровавых шутках нам не видится, и вряд ли можно отнести стихотворения к заслуживающим серьезного внимания. Кстати, они были без возражений цензуры опубликованы.

Оставим в стороне географическую информацию, почерпнутую Пушкиным из прочитанных книг. Он использовал, например, книгу Н.Н. «Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году», изданную в Москве в 1829. Н.Н. ездил в Закавказье вместе с Всеволожскими; собирался поехать с ними и Пушкин. У него было два экземпляра книги, из которой он много позаимствовал²⁸⁰. Отметим, что в работе немало и собственных интересных наблюдений поэта о нравах, о происходящем, но, по сути, «Путешествие в Арзрум», нам кажется, опубликовано ради сокрытия истины о целях вояжа.

Кажется, Пушкину скучно описывать свое странствие, а читателю скучно читать. Русские и кавказские пейзажи поэт сравнивает с картинами западных художников. Язык небогатый и однообразный. Переделанные для публикации заметки так и остались, по сути, личным дневником, написанным на ходу, хотя между сбором материала и выходом в свет этой небольшой рукописи прошли годы. Белинский, например, сразу отнесся к тексту «Путешествия в Арзрум» холодно, заметив лишь, что «он хорош только подписью автора». Почему ж Пушкин долгое время спустя надумал свои заметки печатать, то есть, как остроумно

выразился один пушкинист, поэт «решил выдать свои путевые записки»²⁸¹?

За год до опубликования Пушкина пригласил к себе главнокомандующий граф Паскевич и поручил осветить талантливый пером турецкую кампанию. Пушкин обещал выполнить свой долг и заплатить за кавказское гостеприимство фельдмаршала. Однако был и еще один внешний повод. За полгода до публикации во Франции вышла книга, в которой перечень генералов, командовавших русской армией, заканчивался так: «...и наконец, г-н Пушкин... покинувший столицу, чтобы воспеть подвиги своих соотечественников»²⁸². Пушкина это, видимо, обидело. Во всяком случае, в предисловии к «Путешествию» он писал: «Признаюсь: строки французского путешественника, несмотря на лестные эпитеты, были мне гораздо досаднее, нежели брань русских журналов» (VI.433).

Поэт говорил, что публикует свои записки так, как они были сделаны в 1829 году, а сам переписал их. Существует точка зрения, что по поводу публикации «Путешествия в Арзрум» Пушкин встречался с Бенкендорфом, а рукопись редактировалась лично Николаем Павловичем²⁸³. Но и тут, спустя шесть лет после войны, цензура вместо слов «Сводный уланский полк» поставила «*** уланский полк», — такова уж природа русской секретности.

Так или иначе, позиция Пушкина в «Путешествии в Арзрум» выглядит двойственной: на деле он, безусловно, отдавал должное славе покорителей Закавказья. Почитаемый им генерал Ермолов «желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход русского народа из ничтожества к славе и могуществу». При этом поэт пытается гордо отвергнуть упреки в славословии: «Приехать на войну с тем, чтоб воспевать будущие подвиги, было бы для меня, с одной стороны, слишком самолюбиво, а с другой — слишком непристойно» (VI.433). Но именно это он сделал.

За годы, пролетевшие между поездкой и публикацией «Путешествия», и ситуация, и сам поэт изменились. Пушкин женился и стал государственным чиновником. Остались позади польские события: Паскевич потопил в крови Варшаву. На портрете наместник изображен самодовольным — с рукой, положенной на карту Польши. Жуковский и Пушкин откликнулись панегириками на это событие, и от них многие отвернулись. Молчание писателя в своем «Путешествии» об истинных целях, делах и встречах, упо-

минание небольшого количества имен можно, скорей всего, объяснить не только разумной осторожностью, но и тем, что к моменту сочинения живые подробности выветрились из памяти.

Само собой, если не считать нескольких взволнованных строк о переезде речки Арпачай, то есть границы с Турцией, к которой он так стремился, — ответа на сокровенные мысли поэта в тексте «Путешествия в Арзрум» искать бессмысленно. И именно бессмысленность публикации истинным писателем неискреннего произведения в угоду обстоятельствам кажется нам основной причиной, по которой он откладывал сочинение, пока на него не надавили, что это надо сделать. Настоящее назначение поездки из текста не ясно, а легендарная цель расплывчата, и этот компромисс великого поэта с реальностью можно понять и простить.

Не доведя операцию до конца, поэт капитулировал. Разрядившись, стосковавшись по друзьям и столичной жизни, он возвратился мрачным. «Цинизм его увеличивает», — отметила Анна Керн²⁸⁴. Мы видим теперь, что Пушкин не смог оценить ни ситуации, ни своих возможностей. Попытка была обречена на неудачу. «Далекий вожделенный брег», о котором так мечталось, не приблизился, а может, стал даже дальше.

СМЕРТЬ ИЗГОЯ



Хроника третья

*Не гость, не любопытный странник,
он был изгой.*

Пушкин. Черновой набросок,
август 1834 (Б.Ак.3.941)

Глава первая
«ПОЕДЕМ, Я ГОТОВ...»

*Покамест я еще не женат и не зачислен на службу,
я бы хотел совершить путешествие во Францию
или Италию.*

Пушкин — Бенкендорфу, 7 января 1830, по-фр. (Х.207)

После четырех с половиной месяцев пребывания в вояже с тайной целью перебраться через Турцию в Европу Пушкин в сентябре 1829 года вернулся из Арзрума в Москву. С подачи генерала Бенкендорфа, следившего за путешественником, царь Николай Павлович потребовал объяснений, почему поэт без разрешения осмелился побывать вне наших границ. «Вне» Пушкин не сумел очутиться, ибо Арзрум уже был оккупирован русской армией. Тем не менее, неудачливому беглецу пришлось унижительно оправдываться, витиевато приписывая себе поступки военно-патриотического характера.

В это время, казалось бы, без всякой связи со стремлением поэта выбраться из России, Третье отделение получило донос, который был немедленно препровожден царю. Речь шла об энтузиастах, выразивших желание переселиться за границу. Немедленно была дана команда начать их поиск. Но сначала о причине паники, а точнее, о книге, из-за которой разгорелся сыр-бор.

В 1818 году вышло вторым изданием сочинение известного литератора Павла Свиньина о путешествии по Америке — библиографический раритет, который ждет своего часа быть переизданным¹. Никакой тревоги издание книги не вызвало, неприятности на путешественника не обрушились.

Пушкин сошелся со Свиньиным еще по возвращении из Михайловской ссылки. Свиньин печатно и устно расхваливал «Евгения Онегина» и стихи Пушкина. Отношение же поэта к этому рецензенту было весьма насмешливым. В эпиграмме «Собрание насекомых» Пушкин, по-

видимому, именно его называет «российским жуком» (Б. Ак.3.1199). В пародийной детской сказке, при жизни Пушкина не публиковавшейся, герой Павлуша — «маленький лжец», который «не мог сказать трех слов, чтобы не солгать», — как принято считать, он же (VII.105). По-видимому, человек этот действительно любил прихвастнуть и, фантазируя, терял чувство меры. Кроме того, он часто во время застолий открывал литературные таланты и начинал их проталкивать в печать. Авторы на поверку оказывались графоманами.

Все упомянутое не мешало обоим писателям пребывать в приятельских отношениях. Пушкин охотно приходил на литературные вечера, которые Свињин устраивал у себя дома. Этот журналист и редактор, дипломат и путешественник провел полтора года в США секретарем первого русского генерального консула. Жил он в Филадельфии и с целью сбора информации, а также удовлетворения собственной любознательности совершал поездки по многим штатам. Одаренный художник, Свињин напечатал в Америке два альбома акварелей и книгу очерков о России. В этой книжке он раньше других авторов отметил сходство двух стран во многих сферах истории и жизни.

Дипломатические отношения с Россией США хотели установить еще при Екатерине Великой, но та отказалась, видимо, из-за страха перед американской революцией. В течение двадцати восьми лет после образования Штатов связей таких практически не было. Наладить дипломатические отношения с Америкой Александру I предложил Фредерик Лагарп, его учитель и консультант. Этот француз из Швейцарии познакомил молодого русского царя с идеями Томаса Джефферсона. Лагарп говорил, что после отъезда из России отправится в Париж, а оттуда — в Америку. Он не сделал этого и стал позже политическим писателем во Франции, но семья, брошенное учителем, не пропало. Отсюда, вероятно, и мысли Александра оставить престол и двинуться в США, тоже, впрочем, нереализованные. Позже сам президент Джефферсон написал царю письмо. В то время у русских инакомыслящих вроде декабристов да и у Пушкина проявился осторожный интерес к республиканскому строю.

В отличие от них Свињин, большой патриот и так называемый истинный христианин, модным веяниям был чужд. В Новом Свете он встретил двух русских людей,

которые покинули родину и обосновались в Штатах, и резко осудил их. «Сердца их никогда не принадлежали России, — считал Свиньин. — Первый эмигрант родился и воспитан в чужой земле, в чужой религии, в чужеземных правилах; другой хотя родился в России, но получил правила и веру от чужеземца, так что сделался ревностным их поборником и воспользовался приездом своим в Америку, чтобы проповедовать католическую религию диким индейцам»². Одним из сих эмигрантов был Дмитрий Голицын — сын писателя, горячего последователя Вольтера и Дидро, русского дипломата в Париже и Гааге князя Дмитрия Голицына и графини Амалии фон Шметтау. Дмитрий-младший взял себе имя Августин и впоследствии скрывался от своих соотечественников-патриотов под именем пастора Смита.

Путешествуя полтора столетия спустя по Америке в поисках русских ее корней, между Питсбургом и Филадельфией, в часе езды на юг от восьмидесятой дороги, соединяющей Сан-Франциско с Нью-Йорком, нашли мы основанный Дмитрием Голицыным очаровательной городок Лоретто. Он немного разросся с тех пор, когда Голицын начал строить тут первые дома, но все еще остается маленьким, зеленым и тихим. Железнодорожную станцию благодарные жители назвали в честь первопроходца, и бородатый старик-кондуктор со свистком, проходя вдоль поезда, элегантно, хотя и с трудом, произносит: «*Gollitzin! The next station's Gollitzin. Three minutes only!*» (Голицын! Следующая станция — Голицын. Только три минуты!)

Вторым эмигрантом, который возмутил Свиньина в Америке, был потомок одного из князей Долгоруковых. Очутившись в опале, он отказался возвращаться в Россию. Имени и следов его мы не нашли.

Что касается самого Павла Свиньина, то он стал едва ли не первым русским автором, опубликовавшим книгу об Америке — сочинение разностороннее и весьма глубокое. Именно Свиньин ввел в русскую печать слово Нью-Йорк, которое до него писалось в России Новый Йорк и которое до сих пор осталось в польском языке (*Nowy Jork*). Книга «Опыт живописного путешествия по Северной Америке» быстро приобрела известность. Пушкин, несомненно, читал и ее, и многочисленные очерки Свиньина на ту же тему, которые публиковались в свиньинских «Отечественных записках»: номера журнала значатся в библиотеке Пуш-

кина и страницы разрезаны. «Опыт живописного путешествия» печатался частями в журналах, переиздавался, хотя так и не был завершен автором, ибо тема оказалась необъятной. Да и другие дела отвлекли одного из первых российских американистов. В 1829 году у Свинына родилась дочь Екатерина. Литературный мир тесен: девочкой Екатерину знал Пушкин, а девятнадцати лет она вышла замуж за писателя Алексея Писемского.

Между тем Свинына подстерегали неприятности.

Разумеется, не книга об Америке вызвала переполох в Третьем отделении — то было вполне патриотическое сочинение, прошедшее цензуру. Бенкендорфа озаботили некоторые читатели «Опыта живописного путешествия». Редакция «Северной пчелы» получила письмо, и редактор Фаддей Булгарин препроводил его шефу жандармов, который, в свою очередь, как уже сказано, доложил государю. Можем лишь попытаться представить сцену, когда, отложив государственные дела, ждущие неотложного решения, Николай Павлович слушает, а Бенкендорф читает вслух, акцентируя внимание царя на отдельных местах этого письма подписчиков «Северной пчелы» из города Вязьмы.

«Несколько молодых людей, испытавших превратности счастья, желали бы поселиться в Америке... Мысль, конечно, очень дерзкая, но при всем том она хорошо продумана; и мы, имея довольно способов к отправлению в те страны, с помощью духа предприимчивости и трудолюбия почти не сомневаемся, что время увенчает наш проект»³.

Было от чего властям обеспокоиться. Авторы письма обнаруживали недюжинное знание литературы, вспоминали те же самые книги об Америке, которые, как было известно Бенкендорфу из материалов, конфискованных на обысках всего каких-нибудь четыре года назад, изучали декабристы. «Тщетно расспрашивали мы просвещенных, по-видимому, людей, — продолжали два юных искателя приключений, — тщетно разыскивали в книгах, тщетно просили совета... нигде не могли найти полного удовлетворения своим вопросам: каким образом выходцы из разных государств находят в сих колониях себе работу?.. Всякому ли дозволено там селиться? Нет ли различия в нациях? Достаточно ли к сему предприятию знания одного только английского языка?»

Пожелания возмутителей спокойствия всерьез встревожили высшее начальство. Возникло опасение, что не одни эти молодые люди готовы бежать за границу, и надо срочно готовить профилактические мероприятия. Ведь авторы письма просили редакцию «Северной пчелы» опубликовать «хотя небольшую статейку о способах поселения в колониях Нового Света», а также об американской торговле и промышленности, уверяя, что информацию такую в России жаждут «не одни вельможи, не одни дворяне, но многие, многие из низшего класса грамотеев в провинциях!».

Итак, низший класс в российской провинции жаждал правдивой информации об Америке. Возможно, генерал Бенкендорф уже предвкушал дело о новом тайном обществе и готовился к арестам. В Третьем отделении сразу после аудиенции у Николая Павловича делу был придан характер секретности государственной важности. Глава политического сыска Максим фон Фок командировал в Вязьму тайного агента Кобервейна с именным повелением к местным властям оказывать ему полное содействие. Б. Модзалевский называет Кобервейна то Оскар, то Осип⁴.

По прибытии Оскара-Осипа Кобервейна в Вязьму новая тайная организация сразу была раскрыта, ведь фамилии и имена значились в письме в редакцию. Членов ее Кобервейн тут же допросил. Это были Константин Гречников, семнадцатилетний конторщик у купца-сахароторговца, и его друг Николай Пыпкин восемнадцати лет. «Чей это почерк?» — строго спросил агент, и Гречников, припертый к стене, раскололся: «Моя рука!» Пыпкин оказался поглупее и просто шел на поводу более энергичного Гречникова.

В процессе многочасового допроса Кобервейн обнаружил криминал: конторщик Гречников воспитывался в Петербурге и слышал, что Булгарину доверять опасно. Поэтому в письме в «Северную пчелу» Гречников сообщил ложный обратный адрес. Вместе с тем допрашиваемый простодушно поинтересовался у Кобервейна здоровьем г-на Свинына, книга которого так сильно на Гречникова повлияла. Оказалось, что со Свиныным у молодого человека уже происходила переписка на предмет выезда в Америку. Сообразительный Гречников в конце допроса осознал свой преступный замысел, заявил, что ехать в Штаты передумал и хочет весной отправиться разводить виноград в Крым.

По завершении операции Кобервейну была выражена благодарность начальства за умело проведенное расследование. Свиный отделался испугом. Негласный надзор за раскаявшимися злоумышленниками установили, но это оказалось напрасной тратой средств из казны.

У нас нет никакого свидетельства, что Пушкин слышал о данной истории или что Свиный рассказывал ему о своей переписке с Гречниковым, хотя это и не исключено. Важно другое: болезненное внимание, с каким правительство относилось к любым попыткам своих граждан покинуть Россию. Пушкин, в сущности, был в худшем положении, чем двое молодых людей из Вязьмы. Переписка должностных лиц, начиная с послелицейского периода жизни поэта в Петербурге, пестрит выражениями: «иметь за ним надлежащий секретный надзор», «лично обращаться на образ его жизни надлежащее внимание», «высочайшее Государя Императора повеление о состоянии А.Пушкина под секретным надзором правительства» и т. д. В этой паутине он пребывает и после возвращения из Арзрума, когда женитьба видится ему светом в конце тоннеля.

Брат Натальи Гончаровой свидетельствовал, что поэт, вернувшись из Закавказья, первым же утром заехал к ним. Наталья побоялась выйти, не спросившись матери, мать же приняла Пушкина в постели, не сказав ему ничего определенного. Позднее, уже будучи Ланской, Наталья сообщила Анненкову, что Пушкин тогда «только проехал по Никитской, где был дом Гончаровых, и тотчас же отправился в Малинники»⁵.

В письме будущей теще поэт выговаривает: «Ваше молчание, ваша холодность, та рассеянность и то безразличие, с какими приняла меня м-ль Натали...» Значит, вдова Пушкина запомнила: он с ней увиделся. Поэт припомнил обиду в начале апреля 1830 года, то есть через полгода после возвращения из Арзрума и того визита. Стало быть, все эти месяцы его виды на Гончарову были под большим вопросом или, как он сам выразился, безнадежными. Он уехал в Петербург «со смертью в душе». В обоих цитируемых нами собраниях сочинений Пушкина это выражение поэта переведено не «со смертью в душе», а — «в полном отчаянии» (Б. Ак.14.404 и X.218 и 634). Однако в оригинале рукой поэта написано: «*la mort dans l'âme*».

В состоянии, которое можно назвать подвешенным (а в таком состоянии он пребывал всю осень и зиму), к нео-

пределенности правового статуса Пушкина (тут он был не один) прибавлялась нестабильность личная, которую, как и общественную, он сам преодолеть не мог. Невеста оказалась такой же неприступной, как крепость Карс, и поэт зашифровал этим именем семейство Гончаровых. «В Петербурге тоска, тоска... Скоро ли, Боже мой, — пишет он приятелю Сергею Киселеву, — приеду из Петербурга в *Hôtel d'Angleterre* мимо Карса!» (X.206) Недостижимость желаемого заставляет его то и дело возвращаться к мыслям о выезде. И, как часто бывало, намерения воплощаются не в дела, но в движения души и поступки героев.

Никто не обратил внимания на совпадение: в конце 1829 года второй раз (первый был, когда Пушкин готовился бежать из Одессы) его Евгений Онегин, как и сам автор, собирается путешествовать. Ведь Пушкин продолжает работать над главой «Путешествие Онегина» именно в это время. В оглавлении им написано: «VIII. Странствие. Моск. Павл. 1829. Болд.» (V.485). Москва (в сентябре) и Павловское (конец октября — начало ноября) — места, в которых поэт пребывал и писал той осенью.

Отметим теперь: Пушкин назвал вояж Онегина «странствием», потому что это слово предполагает путешествие по дальним странам. Поэт продолжает и опять бросает главу. Она не пишется, и понятно почему: у автора нет живых впечатлений о зарубежных поездках, которыми он мог бы наделить своего героя. Открывая пушкинский роман, вместо «странствия» мы видим теперь название главы «Отрывки из *путешествия* Онегина» — существенная разница!

В ноябре или декабре 1829 года Пушкин кладет на бумагу стихотворение, оставшееся при жизни поэта неопубликованным. «Еще одной высокой, важной песни...» — перевод начала «Гимна к пенатам» Роберта Саути. Строки любви обращены к Фебу, великому Зевсу и Афине Палладе:

...вам хвала.

Примите гимн, таинственные силы! (III.150)

Оказывается, как в годы изгнания, тяга к этим богам и теперь не охладела в поэте. Саути — его единомышленник. С ним Пушкин мечтает о Греции, душа рвется отдохнуть подле разрушенных святынь.

Но вас любить не остывал я, боги.
 И в долгие часы пустынной грусти
 Томительно просилась отдохнуть
 У вашего святого пепелища
 Моя душа — зане там мир⁶.

Позже Пушкин снова обратится к Саути, а в начатом словно для сравнения и брошенном «Романе в письмах» (название дано биографами) поэт осуждает российскую общественность за небрежение историей: «Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ!» (VI.50). Пушкин начинает поэму без названия («Тазит» — заголовок опять-таки биографов). Случайно ли совпадение, когда и тут возникает болезненная тема бегства? Молодой горец Тазит

Среди родимого аула
 Он как чужой; он целый день
 В горах один; молчит и бродит.
 Так в сакле кормленный олень
 Все в лес глядит; все в глушь уходит.
 ...Из мира дольного куда
 Младые сны его уводят?.. (IV.227)

Накануне 1830 года Пушкин наметил список, кому послать визитные карточки к Новому году. Список на 42 лица показывает круг поэта, среду, к которой он теперь тянулся. Это иностранные послы, дипломаты, крупные государственные чиновники и аристократия. Прежде всего его интересуют западные связи. Первыми в списке следуют австрийский посланник и большая часть иностранцев, потом идут русские. Судя по тому, что Пушкин знал и жен всех дипломатов, он бывал во всех посольских домах и общался с этой публикой у знакомых. Тогда, в отличие от советских времен, это властями не преследовалось.

О неизжитой мечте податься за границу Пушкин 23 декабря 1829 года пишет стихотворение, представляющееся важным.

Поедем, я готов: куда бы вы, друзья,
 Куда б ни вздумали, готов за вами я
 Повсюду следовать, надменной убегая:
 К подножию ль стены далекого Китая,
 В кипящий ли Париж, туда ли наконец,

Где Тасса не поет уже ночной гребец,
 Где древних городов под пеплом дремлют мощи,
 Где кипарисные благоухают роши,
 Повсюду я готов. Поедем... (III.129)

Три страны — три мечты, согласно стихам, в его планах; две были на уме всегда: Франция и Италия. Теперь прибавился Китай. «Поедем, я готов...» как бы продолжает устные разговоры, являет собой развернутую ответную реплику в споре. Пушкин готов ехать не только в вышеперечисленные страны, но и туда, куда бы его друзья надумали двинуться, лишь бы ехать. И снова бегство связано с женщиной и оттого тормозится: поэт сватается, с ответом тянут, почти отказывают; желание становится сильнее, запретный плод слаще, грозит разрыв, возникает обида. «Надменной убегая», отправился бы хоть на край света. От друзей хочется получить ответ, некую гарантию, что он действительно забудет эту женщину в Париже или Риме. А если не забудет, что делать?

Скажите: в странствиях умрет ли страсть моя?
 Забуду ль гордую, мучительную деву,
 Или к ее ногам, ее младому гневу
 Как дань привычную, любовь я принесу?

• «Надменная», «гордая», да еще в гневе, — все эти обозначения любимой вызывают сомнение в радости такой страсти. Любовь он ей несет «как дань привычную», — необходимость дани вряд ли вдохновляет. Строка из точек поставлена Пушкиным и говорит о том, что отсутствие окончания есть литературный прием. Предыдущая строчка элегантно повисает без рифмы. В музыкальной пьесе отсутствует последний аккорд, и этим создается некая безответность, риторичность поставленного вопроса. Интересно, что неоконченное стихотворение на следующий год опубликовал «Московский вестник», и, таким образом, желание Пушкина ехать в Париж, в Италию или, на худой конец, в Китай объявлено публично, хотя к тому времени он уже получил очередной отказ.

Готовность ехать куда угодно на деле, как считал М.Цяловский, была не совсем такой. «Интересно отметить, что ни теперь, ни раньше, как мы видели, Пушкин не намере-

вался ехать в Германию. Франция, Италия, Англия — вот куда стремится поэт»⁷. О том, почему Германия составляла исключение в планах Пушкина, размышлял в полемике с Цявловским Н.Лернер: «Пушкина не тянуло в Германию не из-за какой-нибудь сознательной или бессознательной антипатии к ней, а в силу духовной чуждости, которая, скажем без околичностей, составляла несомненный пробел в психической организации поэта и его образовании»⁸. Жестко сказано, и, думается, разрешили бы поэту, он наверняка не отказался бы и от Германии. Следует иметь в виду, что статьи Цявловского и Лернера написаны в разгар русско-германской войны.

Кто же те друзья, к которым Пушкин обращается с просьбой и с которыми собирается путешествовать, куда бы они ни вздумали ехать? Мы знаем далеко не всех из них и детали собираем по крохам. В Париже его с нетерпением ждал Сергей Соболевский, с которым они давно договаривались путешествовать вместе и связь поддерживали через третьих лиц. В октябре 1829 года он был уволен со службы «за болезнью» и вскоре выехал в сопровождении двух знакомых иностранцев — Риччи и Бонелли.

Маршрут Соболевского позволяет нам увидеть и возможный путь по Европе Пушкина, если бы им удалось вырваться в совместный вояж: из Москвы через Петербург и Ригу в Варшаву, оттуда в Вену, Венецию, Болонью, Флоренцию, Рим, Неаполь, Геную, Лион и Париж. Почти двадцать лет провел Соболевский в Европе, перебираясь из одной страны в другую: из Италии во Францию, потом в Бельгию, Голландию, Англию, Германию, Швейцарию, Испанию, Португалию — лишь изредка наезжая в Россию.

Италия показалась пушкинскому близкому приятелю наиболее симпатичной. «Я очень люблю Италию и, поживши в разнородном Париже, пивном Лондоне и бестолковой Германии, решил, что, после России, самый для жилья приятный край для большей части года — Италия... В одной Италии люди довольно дети, чтобы радоваться радости и тешиться прекрасным от сердца. Вне Италии все Чайльд-Гарольды и $a + b = c$ радуются и удивляются по известной мере...»⁹ Соболевский вкладывал деньги в бумагоделательное производство в России, а когда мануфактура сгорела, вложил их в акции французских железных дорог.

Кроме двух его писем к Пушкину и четырех ответных писем, их переписка не сохранилась. Но еще раньше, находясь во Флоренции, Соболевский обращался к Ивану Киреевскому, приехавшему в Берлин: «Прошу тебя написать мне больше о Пушкине, — как и когда приехал, где и как жил, в кого влюблялся и *когда едет?* (выделено нами. — Ю. Д.) Желаю иметь список взятых Пушкиным книг... О Пушкин, пиши мне!!!»¹⁰

Другим приятелем, ожидавшим поэта в Париже, был богач и картежник Иван Яковлев, которому Пушкин остался должен шесть тысяч рублей. Поселившись в Париже, Яковлев в Россию приезжал редко. А тогда, в 1829 году, договорившись с Пушкиным перед отъездом и сидя в Париже, через третьих лиц пытался помочь поэту выехать. Но как именно он это делал, остается тайной. Ясно только, что Пушкин был связан с Яковлевым через друзей и, оказавшись в Париже, мог рассчитывать на материальную помощь. Приятелю своему Михаилу Судиенке поэт, разделенный с Яковлевым границей, писал: «Здесь у нас, мочи нет, скучно: игры нет, а я все-таки проигрываюсь. Об Яковлеве имею печальные известия. Он в Париже. Не играет, к девкам не ездит и учится по-английски» (X.210).

Пытаясь выбраться за границу, Пушкин, с его часто сбывавшимися плохими предчувствиями, обсуждал с друзьями запасной вариант на случай, если ему откажут двинуться в Европу. В то время готовилась научная (в секрете и разведывательная, то есть, проще говоря, шпионская) экспедиция в Китай (тогда говорили «посольство»), и приятели, участники экспедиции, предлагали взять поэта с собой. Их было двое: Бичурин и Шиллинг. Жизнеописание каждого из них достойно отдельной книги.

Про русского человека Никиту Бичурина — он же отец Иакинф — говорили, что в процессе жизни в Китае и усиленных занятий китайским языком, историей и культурой глаза у него по-восточному сузились. Выдающийся синолог служил в начале XIX века в течение пятнадцати лет начальником Пекинской духовной миссии, после чего пострадал из-за политических споров наверху, в которых его сделали козлом отпущения.

Впрочем, собственные взгляды этого человека тоже могли кое-кому не понравиться. Например, Бичурин рассуждал Христа не выше Конфуция. Отца Иакинфа сослали в Валаамский монастырь, где он провел четыре года в

напряженных умственных трудах, а освободившись, сумел снова подняться: сделался переводчиком и опять отправлялся с посольством в Китай. Современность врывается в наш разговор о прошлом: в декабре 1994 года коллекцию уникальных книг, собранных Никитой Бичуриным, похитили из библиотеки, но она была найдена, а воры арестованы.

Пушкин слышал о трудах Бичурина еще в Одессе, держал у себя на полках его статьи. А личное их схождение началось в 1828 году. Потом о. Иакинф подарил ему свою книгу «Сань-Цзы-Цзин, или Троеслобие» и познакомил с уникальными коллекциями восточных реликвий. Когда Дельвиг начал выпускать «Литературную газету», Пушкин сосватал в нее статьи востоковеда.

Барон Павел Шиллинг фон Канштадт, второй участник экспедиции в Китай, был военным и, как до отставки Пушкин, числился по Министерству иностранных дел. Он стал известным в двух ипостасях: ориенталиста-путешественника, собирателя уникальных монгольских и китайских рукописей, и инженера, изобретателя. Шиллинг, согласно некоторым источникам, сконструировал электромагнитный телеграфический аппарат, который демонстрировал у себя в квартире.

Из-за патриотической лжи с подтасовкой дат в советской специальной литературе по истории изобретательства трудно определить действительное первенство Шиллинга в сравнении с британцами Куком и Уитстоном и американцем Морзе. Впрочем, энциклопедия Брокгауза и Ефрона тоже называет Шиллинга изобретателем телеграфа. Заслуги его перед империей несомненны. Он провел первые опыты по электрическому взрыванию мин, внося свой вклад в совершенствование способов массового убийства людей. Барон умер в один год с Пушкиным, а в 1900 году высочайшим повелением ему был установлен памятник в Петербурге.

С молодых лет Пушкин знал Шиллинга, веселого, общительного и необычайно тучного человека, друга Александра Тургенева и Жуковского. В 1818 году они вместе проводжали Батюшкова в Италию, в 1828-м ездили в Кронштадт, откуда уходили корабли в Европу. Шиллинг прекрасно знал о желании поэта выбраться за границу. В ноябре 1829 года Пушкин прослышал, что Шиллинг готовится к экспедиции в Восточную Сибирь и Китай.

Пометка в записной книжке их общего знакомого Николая Путьаты сообщает, что Пушкин собрался с бароном

Шиллингом в Сибирь на границу Китая¹¹. По-видимому, поэта не столько интересовали китайские рукописи, сколько само путешествие. Невозможно выяснить, были ли предложения Бичурина и Шиллинга серьезными, но Пушкин отнесся к ним как к последней надежде отправиться путешествовать. Шиллинг не скрывал, что он родственник Бенкендорфа, но вряд ли Пушкин догадывался, что его приятель помогал главе тайной полиции следить за русскими за границей¹². Могла ли родственная связь Шиллинга с Бенкендорфом помочь Пушкину получить разрешение на выезд, ответить не можем, но стихи «Поедем, я готов...» были, очевидно, простодушным и искренним ответом обоим приятелям.

В один из первых дней января 1830 года поэт отправляется на прием к Бенкендорфу с нижайшей просьбой. Главы Третьего отделения не оказалось на месте или он не захотел принять Пушкина, велел сказать ему, что отсутствует. Скорее всего, имело место последнее, так как Пушкину ответили, будто Бенкендорф разрешил обратиться к нему с просьбой письменно. 7 января поэт отправил очередное прошение.

Конечно, оно выдержано в сдержанно-равнодушном тоне, будто Пушкин никуда никогда не просился да и не очень стремится теперь. «Покамест я еще не женат и не зачислен на службу, а состояние моих дел мне позволяет его предпринять (пишет поэт в черновике этого письма. — Ю. Д.), я бы хотел совершить путешествие во Францию или Италию. Если, однако, Его Величество не даст мне разрешения... (Это Пушкин зачеркивает. — Ю. Д.) В случае же, если поехать в Европу (тоже вычеркнуто) оно не будет мне разрешено, я бы просил соизволения посетить Китай с отправляющимся туда посольством» (Х.629, фр.).

В добавление Пушкин решил продемонстрировать Бенкендорфу и царю свою лояльность, объясняя суть «Бориса Годунова», который задерживался цензурой: «Эта трагедия написана в духе самой чистой нравственности и монархизма, а что касается политических идей, — они вполне монархические»¹³. Но фразу сию сервильную он в беловике выкинул.

Пушкин надеется, что если не в Европу, так уж хотя бы в Китай его могут выпустить. «Я спросила его, — вспоминает Александра Смирнова-Россет. — Неужели для его счастья необходимо видеть фарфоровую башню и вели-

кую стену? Что за идея смотреть китайских божков? Он уверил меня, что мечтает об этом с тех пор, как прочел «Китайского сироту», в котором нет ничего китайского; ему хотелось бы написать китайскую драму, чтобы досадить тени Вольтера»¹⁴. Пушкин отшутился, однако намерения были вполне серьезные.

Спустя несколько дней он опять участвует в проводах — на этот раз Ивана Киреевского, с которым провел в разговорах целый вечер. По выезде Киреевский свяжется с нетерпеливо ожидающим друга Соболевским, расскажет о планах поэта, которые сейчас близки к осуществлению, как никогда ранее. Предотъездное настроение у Пушкина эйфорическое. На радостях он дурачится: ночью с графиней Фикельмон и компанией разъезжает по иностранным посольствам вместе с ряжеными.

Через пять или семь дней Бенкендорф докладывал царю о получении прошения Пушкина, в котором выражается желание поехать в путешествие по Франции и Италии или же отправиться с миссией в Китай. Ответ из канцелярии Третьего отделения последовал быстро и был, как всегда, вежливым по форме и иезуитским по существу. «Его Императорское Высочество не соизволил удовлетворить Вашу просьбу о разрешении поехать в чужие края, полагая, что это слишком расстроит Ваши денежные дела, а кроме того, отвлечет Вас от Ваших занятий. Желание Ваше сопровождать наше посольство в Китай также не может быть осуществлено, потому что все входящие в него лица уже назначены и не могут быть заменены другими без уведомления о том пекинского двора... А. Benkendorf» (Б. Ак. 14.398, фр.).

Карточный домик в очередной раз рассыпался. С болью читаем мы униженные слова Пушкина, в тот же день благодарившего Бенкендорфа за отказ: «Я только что получил письмо, которое Ваше Превосходительство благоволили мне написать. Боже меня сохрани единым словом возразить против воли того, кто осыпал меня столькими благодеяниями» (Х.630, фр.).

Близкий приятель того времени Николай Путята записал: «Пушкин просился за границу, его не пустили. Он собирался даже ехать с бароном Шиллингом в Сибирь, на границу Китая. Не знаю, почему не сбылось это намерение, но следы его остались в стихотворении “Поедем, я готов...”»¹⁵ В тех же воспоминаниях Путята объясняет, почему Пушкину отказали. Недавно Бенкендорф, наме-

кая на возможность поездки за границу, предложил Пушкину служить в канцелярии Третьего отделения; он отказался — и вот расплата за упрямство. Последовало также требование изменить в «Борисе Годунове» некоторые места. А через неделю император выразил неудовольствие тем, что на бал у французского посла все мужчины явились в мундирах, а Пушкин один во фраке, и велел поэту впредь являться в мундире своей губернии.

Опять отказано. «После этого отказа Пушкин, хотя уже и не делал более попыток получить официальное разрешение выехать за границу, — отмечал М.Цявловский, — но расстаться с мечтой побывать в Западной Европе он не мог»¹⁶. В этом еще предстоит разобраться. Действительной реакцией Пушкина на запрет было вовсе не радостное послушание, как явствует из письма Бенкендорфу, а — смешенье чувств. Устные выражения оказались значительно резче. Княгиня Волконская, опубликовавшая тогда же свои «Отрывки из путевых записок», рассказывая про горы, которые ей напоминают тюрьму, пишет: «И я скажу с нашим Пушкиным: мне душно здесь, я в лес хочу! Но в лес лавровый»¹⁷. Лавровый лес в России не сыщешь, и намек на Средиземноморье весьма прозрачен.

Разрядка, чтобы отвлечься от жизненных неприятностей, у Пушкина с некоторых пор — игра в карты. Федор Глинка пишет в письме о его пасмурности. В сущности, поэт предвидел очередной запрет, написав за три недели до отказа «Брожу ли я вдоль улиц шумных».

День каждый, каждую годину
Привык я думой провожать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать. (III.130)

Стихотворение традиционно толкуется как патриотическое, при этом цитируют две строки:

Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

«Милый предел» — без сомнения, родина, земля предков, которая поэту дорога как всякому человеку. Но прочитаем предыдущие размышления автора:

И где мне смерть пошлет судьбина?
 В бою ли, в странствии, в волнах?
 Или соседняя долина
 Мой примет охладелый прах?

«В бою ли...» — еще в Кишиневе Пушкин надеялся на войну как средство выбраться из России. То же повторилось менее двух лет назад, когда шла турецкая кампания и они с Вяземским просились в действующую армию или в Париж. «В странствии...» — если одновременно с созданием стихотворения автор пишет ходатайство отпустить его за границу, то яснее становится, о каком странствии его мысли. В черновике это выражено более прозрачно:

Куда б меня мой рок мятежный
 Не мчал по ... земной,
 Но мысль о смерти неизбежной
 Всегда близка, всегда со мной. (Б. Ак.3.784)

«В волнах...» — вряд ли речь идет о мелкой речке Сороть в Михайловском, а скорей всего о море.

И хоть бесчувственному телу
 Равно повсюду истлевать,
 Но ближе к милому пределу
 Мне все б хотелось почивать.

Получается, что он рвется в дальнее странствие, а после смерти, когда «равно повсюду истлевать», хотелось бы лежать на родине. Скепсис и обреченность еще ярче выражены в черновых строках:

Вотще! Судьбы не переломит
 Воображенья суета,
 Но не вотще меня знакомит
 С могилой ясная мечта. (III.422)

Все попытки оборачиваются пустой суетой. Судьбу, он это предчувствует, не переломить, и остается одно — умереть на родине. В этом, надо отметить, ему никто никогда не препятствовал. Равнодушие, апатия характеризуют состояние Пушкина в конце января и феврале 1830 года. Ему безразлично, что его, словно в насмешку, вместе с Фадде-

ем Булгариным принимают в члены Общества любителей русского слова, где коллеги его — «все Оресты и Пилалы на одно лицо». Вяземский уговаривает его отказаться: «нечего давать свои щеки на пощечины» (Б.Ак.14.55). Он не желает слушать.

В то же время в тридцатилетнем поэте проявляется подозрительность, злобность, которые обрушиваются подчас совсем не на тех людей, которые виноваты в его бедах. Литературная полемика приобретает крайние формы. «Как бы Каченовского взбесить?» — спрашивает он совета у приятеля. Пушкин сочиняет на коллег пасквили, которые принято вежливо называть эпиграммами; в ответ на критические статьи Николая Надеждина Пушкин обзывает его журнальным шутком, лукавым холопом, болваном-семинаристом, лакеем, прозу Надеждина — лакейской (III.143 и 145).

Спасть в женитьбе тоже не получается. Он ждет измены от всех своих невест. «Правда ли, что моя Гончарова выходит за архивного Мещерского? Что делает Ушакова, моя же?» (X.210) Несмотря на усилия, от Натальи Гончаровой, а точнее, от ее матери, ответ не получен, и это усугубляет неопределенность состояния Пушкина. Другие женщины помогают ему забыть житейские невзгоды. Тянется, никак не закончится долгая связь с Елизаветой Хитрово, дочерью полководца Кутузова, которая на шесть лет старше его. Не менее двадцати пяти писем написал ей Пушкин со всеми интонациями — от восторга до возмущения. Молодая вдова с некрасивым лицом, но с белоснежными плечами, которые она так оголяет, что вызвала насмешку анонимного сочинителя эпиграмм:

Лиза в городе жила
С дочкой Долинькой.
Лиза в городе слыла
Лизой голенькой.
Нынче Лиза *en gala*
У австрийского посла.
Не по-прежнему мила,
Но по-прежнему гола¹⁸.

Хитрово — верный друг, он для нее — последняя любовь. Но чем она открытее с ним, тем он небрежнее. Ее ежедневные страстные письма он бросает в огонь, не читая. Она ждет, он не является. Она ему надоела, но не хо-

чет этого понять. А у него новый роман — с ее дочерью Долли Фикельмон, женой австрийского посла. Теперь Долли получает от поэта обольстительные письма. Ездит он еще к цыганке Тане. И вдруг сообщает Хитрово открытым текстом: «Я имею несчастье состоять в связи с остроумной, болезненной и страстной особой, которая доводит меня до бешенства, хоть я и люблю ее всем сердцем» (X.626). Это не Долли, но кто же? Имени он не называет. Ничто Хитрово не останавливает, и связь его с ней тлеет, несмотря на потенциальную невесту, а также всех прочих подруг, с которыми он «в отношениях», включая ту, которая делает его бешеным.

Актер и драматург Петр Каратыгин через пятьдесят лет после этих событий предавался сожалениям: «Не пришло еще время, но история укажет на ту гнусную личность, которая под личиною дружбы с Пушкиным и Дельвигом, действительно, по профессии, по любви к искусству, по призванию занималась доносами и изветами на обоих поэтов. Доныне имя этого лица почему-то нельзя произнести во всеуслышание, но, повторяем, оно будет произнесено и тогда... даже имя Булгарина покажется синонимом благородства, чести и прямоты»¹⁹. Каратыгин встречался с Пушкиным все те годы, играл с ним в карты и оставил воспоминания, но имя таинственного сексота, заинтриговав пушкинистов, скрыл.

Хотя кандидатур имеется несколько, нам кажется, имя угадывается прозрачно. Имя Каролины Собаньской не было сразу поставлено в контекст по неведению, а потом — по инерции мышления. Ведь и спустя сто лет М. Цявловский писал: «Любовь между Пушкиным и Собаньской — факт, еще не известный в литературе...»²⁰ Но и после публикации Цявловского, Собаньскую старались замять, обойти стороной. Никак она не укладывалась в благостные «адресаты лирики Пушкина».

Вообще-то нельзя не заметить, что роль разных женщин, близость их к поэту на протяжении его жизни определялась, естественно, самим Пушкиным, но после смерти право это присвоили себе исследователи. Полагалось считать ошибочным, что Пушкин в период сватовства к Наталье Гончаровой страстно желал другую мадонну.

В письме к Николаю Раевскому 30 января (или июня — *janvier* или *juin* — неясно) 1829 года поэт описывает свою героиню из «Бориса Годунова» — странную и честолюбивую

вую красавицу — и прибавляет: «Я уделил ей только одну сцену, но я еще вернусь к ней, если Бог продлит мою жизнь. Она волнует меня как страсть» (Б. Ак. 14.395). И Пушкин действительно возвращается к этой женщине, — но не к Марине Мнишек, а к оригиналу.

Собаньская, женщина необыкновенного очарования и ума, с огненным взглядом и ростом выше поэта, таинственно появляется в его жизни дважды, и оба раза роман разгорается, если поэт собирается за границу. Первый раз это произошло в Кишиневе и Одессе, когда она была любовницей графа Витта, начальника военных поселений, который специализировался на политическом сыске. Она сочиняла за Витта самые хитрые донесения. Пушкин вдруг появился в Одессе, и тогда начались его с ней встречи. Потом поэт переключился на графиню Воронцову. Впрочем, наивно отводить Собаньской пассивную роль. Она сама выбирала себе мужчин.

Второй акт пушкинского романа начался в Петербурге, когда Собаньская уже стала одним из секретных платных агентов Третьего отделения. Настолько секретных, что даже император считал ее политически неблагонадежной. Получилось, что и Пушкин, большой любитель хвастаться своими похождениями, держал имя этой любовницы в тайне. Не упомянута она и в Донжуанском списке, который составлялся в альбоме сестер Ушаковых осенью 1829 года.

Полька знатного рода, она получила блестящее образование в Вене. Каролина проводила жизнь в лихих и неожиданных романах, ее боялись жены, ей отказывали во многих домах, а она вела себя независимо и величественно, как королева. Мужчины влюблялись в нее, когда она сидела, молилась, шла по улице или играла на фортепьяно. В промежутке между двумя романами с Пушкиным у нее была связь со многими, в том числе, например, с Адамом Мицкевичем, который посвятил ветреной красавице «с жемчужными зубками меж кораллов» несколько стихов. Мицкевич ревновал ее, а когда она с легкостью изменила ему, проклял, но после в Москве продолжил встречи. Похоже, что в образе Татьяны, в которую в восьмой главе влюбляется после долгой разлуки Онегин, воплотились черты Собаньской.

Сватающемуся к Гончаровой Пушкину тридцать лет, Собаньской тридцать шесть, по тем временам немалый возраст для женщины. «Вам обязан я тем, что познал все.

что есть самого судорожного и мучительного в любовном опьянении, и все, что есть в нем самого ошеломляющего». Он вымаливает у нее дружбу и близость, «как если бы нищий попросил хлеба». Он готов «кинуться к ногам», что в его лексиконе означает «просить руки». Может, это просто любовная патетика, дань минуте?

На деле он потерял голову. На что не пойдешь ради любимой женщины! «Я ужасаюсь, как мало он пишет», — сетует Соболевский, ожидающий Пушкина в Париже²¹. А поэт страстно атакует ее своими письмами, пытаясь загипнотизировать: «...Я рожден, чтобы любить вас и следовать за вами» (X.631). Она обладала способностью, данной далеко не каждой женщине: разжигать в мужчине страсть, доводя его до самоистязания, до потери собственного достоинства. А главное для Третьего отделения — что она, как никто, умела добиться полного доверия своих любовников, развязывала их языки.

Неужели, проводя много времени с Каролиной в течение месяца, он даже не упомянул о том, что собирается в чужие края, что подает прошение царю, а главное, не рассказал, зачем едет и кто его там ждет? Не может того быть! Ведь он перед ней исповедовался. Отметим: 5 января — вечер и половину ночи он провел у нее, вписал в альбом важные стихи. 6 января, едва проснувшись, сочинял прошение Бенкендорфу выпустить его в Париж, Рим или хотя бы в Китай. 7 января переписывал прошение набело и отправил его, суеверно боясь думать о разрешении, дабы не взглянуть.

Предположение делается вполне реальным, если вспомнить: когда Пушкину отказывали в поездке за границу, он готов был рвануться куда угодно, лишь бы забиться, лишь бы уехать. После получения от Бенкендорфа отказа поэт посылает Собаньской записку: «Среди моих мрачных сожалений меня прельщает и оживляет одна лишь мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в Ореанде» (X.631). Там, в Крыму, у Витта с ней имение, и у них был какой-то разговор о юге, к которому здесь отсылка.

Как сочетались у Собаньской личные чувства с, так сказать, служебным долгом? Что превалировало, или, другими словами, добровольно она завязала роман с поэтом или то было секретное поручение? Ведь практический аспект связи состоял в том, что Собаньская помогала Бен-

кендорфу держать всеслышащее ухо возле ни о чем не подозревающего Пушкина и в обществе, и в постели.

Предложим теперь в свете сказанного новую трактовку стихотворения «Что в имени тебе моем?». Очевидный основной смысл его, на который не обращают внимания — вовсе не разлука с любимой женщиной, а прощание перед дальней дорогой. Поэт уезжает. Прощанию перед расставанием с родиной подчинены остальные интонации. Имя поэта, говорит он возлюбленной,

...умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный.

Дальний берег — несомненная аналогия заграницы, синоним любимого Пушкиным выражения «чужие край», — не стал бы он размышлять о вечной памяти перед тем, чтобы съездить в Малинники или Москву. Пушкин говорит, что его надгробная надпись будет «на непонятном языке», а в России на памятниках пишут по-русски. Имя его исчезнет из памяти обожаемой им женщины,

Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я. (III.155)

Если автор остается в той же стране, он доступен. А он, изящно говорится в стихотворении, стал недосягаем, он «в мире». Окончание стихотворения «Что в имени тебе моем?» логически восходит к его началу: пускай поэт далеко, но он остался в памяти любимой, а она, соответственно, живет не только там, вдали, но и в его сердце. Написаны стихи Пушкиным, повторим это, накануне подачи прошения Бенкендорфу выпустить его, а стало быть, с надеждой на то, что он скоро сядет на пароход, уходящий в Европу.

Несколько стихотворений обращено к Каролине Собаньской, в том числе —

Я вас любил, любовь еще, быть может,
В моей душе угасла не совсем... (III.128)

Для любви к этой сильной женщине найдены потрясающе точные слова: «безмолвно, безнадежно», «то робос-

тью, то ревностью томим»... Не говоря уж о массовой литературе, даже в специальной скрывался адресат послания. В самом деле, не обязательно устанавливать прямую связь между строками, написанными сочинителем, и его поступками, тем более, что стихотворение Пушкин немного позднее сам вписал в альбом Анны Олениной. Факт же в том, что роковая страсть поэта в процессе сватовства к Наталье Гончаровой была, увы, не к невесте. И, как бы наивно это ни звучало, жаль, что одно из лучших в мире стихотворений о любви обращено не к будущей жене, а к леди-вампу, которую Пушкин называл демоном и которая была одной из самых мерзких окололитературных особ XIX столетия. С ней, с этой служащей сыска, а вовсе не с невестой, были у него судороги и муки любовного опьянения.

Когда у Витта умерла жена, он смог жениться на Собаньской. Позже они расстанутся и она выйдет замуж за виттовского адъютанта. После его смерти уедет в Париж и станет женой поэта Жюля Лакруа. Словно искупая вину перед теми, кого она предавала, десять лет она будет самоотверженно ухаживать за Лакруа, когда он ослепнет. Собаньская умерла, когда ей исполнился девяносто один год.

Она никогда не придавала значения влюбленному Пушкину, но лишь запоминала, что он говорил и что делал. В дневниках, которые она вела всю жизнь и которые хранятся в архиве Жюля Лакруа в парижской библиотеке «Арсенал», Пушкин даже не упоминается.

В 1830 году, как только поручение было выполнено, она легко и быстро оттолкнула Пушкина. Приятелю Павлу Нащокину Пушкин сказал, что ему видится стихотворение, где отразится непонятное желание человека, который стоит на высоте и хочет броситься вниз. 4 марта 1830 года Пушкин выехал из Петербурга в Москву. По дороге он три дня приходил в себя у давней подруги Прасковьи Осиповой в Малинниках и между делом крутил шашни в тамошнем девичнике.

Едва Пушкин появился в Москве, на балу случайно (случайно ли?) он встретился с Натальей Гончаровой. Опустошенный, усталый, ищущий спасения от безысходной страсти к Собаньской, запертый в России, он снова потянулся к нераспустившемуся бутону — семнадцатилетней красоте, которую четырнадцать месяцев назад встретил на балу у танцмейстера Петра Иогеля. Так сказать, по контрасту.

Глава вторая ХОТЯ БЫ В ПОЛТАВУ

*Несмотря на четыре года ровного поведения,
я не приобрел доверия власти.*

Пушкин — Бенкендорфу,
24 марта 1830, по-фр. (X.215)

Весной 1830 года многие из пушкинского окружения отбывают за границу. На новоселье у Михаила Погодина Пушкин с приятелями пишет письмо в «поэтический Рим» Степану Шевыреву. На два года уехал в Париж Сергей Полторацкий. Вот уже и «Погодин собрался ехать в чужие края», как пишет Пушкин Вяземскому (X.217).

И — на фоне относительной свободы передвижения других по Европе — постоянная забота властей о поэте: «Секретно. Чиновник 10 класса Александр Сергеев Пушкин 13-го числа сего месяца прибыл из С.-Петербурга и остановился в доме г.Черткова в гостинице Коппа, за коим учрежден секретный полицейский надзор»²². Надзор, конечно, не за Коппом, а за Пушкиным у Коппа. Московский полицмейстер Миллер сообщил об этом в рапорте обер-полицейстеру Шульгину, а тот, в свою очередь, по восходящей. Бенкендорф в Петербурге удивлен внезапным отъездом Пушкина и реагирует быстро: «Вы внезапно рассудили уехать в Москву, не предваряя меня, согласно с сделанным между нами условием, о сей вашей поездке... я вменяю себя в обязанность вас предупредить, что все неприятности, коим вы можете подвергнуться, должны вами быть приписаны собственному вашему поведению» (Б. Ак.14.70).

Пушкин в ответе, тоже написанном по-русски, оправдывается тем, что государь-император ранее повелел ему жить в Москве и что на гулянии он встретил Бенкендорфа и сообщил ему о своих сборах в Москву, и ему было замечено: «Вы всегда на больших дорогах», то есть шеф Третьего отделения об отъезде знал. Очевидная вина поэта в том, что он принял всерьез устную иронию начальства, а эта ирония вовсе не означала, что можно выезжать куда-либо без письменного разрешения. Государь, будто важ-

нее дел у него нет, встретив Жуковского, сказал: «Пушкин уехал в Москву. Зачем это? Какая муха его укусила?» И в дальнейшем разговоре назвал Пушкина сумасшедшим²³.

В очередной литературный конфликт оказываются втянутыми верховные власти. То, что публиковал Пушкин, вызывало критику со стороны разных журнальных группировок. Одни обвиняли его в аристократизме, считая, что аристократический период русской литературы миновал и время занимать позиции в литературе новому, более демократическому слою писателей, другие — в измене романтизму или даже в романтическом цинизме. Размышляя над ситуацией, Ю. Лотман пробовал объяснить ее так: поэта обвиняли в отсталости по той причине, что он был гением и уже отправился в будущее. «Пушкин ушел настолько далеко вперед от своего времени, что современникам стало казаться, что он от них отстал. Он не мог уже быть «властителем дум» молодого поколения, ибо видел бесконечно дальше, чем оно, — его стали обвинять в консерватизме и отсталости»²⁴.

На деле Пушкин ушел и остался одновременно. В противоречивости нужно искать ключ к парадоксу и трагедии Пушкина. При всей гениальности и прорыве в будущее, поэт всю жизнь оставался сыном своего времени, иначе быть не могло. Он участвовал в суете, в ничтожестве жизни столь же энергично, как и в великом творчестве. Да, ушел вперед, но опять-таки оказался в ошейнике обстоятельств и отстал. Так произошло и весной 1830 года: вместо вольного путешествия в Париж и Рим он втянут в очередную склоку с Фаддеем Булгариным.

В отечественной пушкинистике не принято отмечать, что Дельвиг и Пушкин первыми начали полемику с Булгариным. Пушкин предположил, что пока вопрос с его «Борисом Годуновым» решался в инстанциях, Булгарин, которому пьеса была отдана на рецензию, заимствовал сюжет и реализовал совет царя, данный Пушкину, переделать вещь в роман наподобие Вальтера Скотта. Совет не был случайным. Шотландский писатель сделался в то время чрезвычайно популярным в России, два с половиной десятка его книг уже были опубликованы в русских переводах, не говоря уж о французских изданиях, имевшихся едва ли не в каждом читающем доме.

В начале 1830 года «Димитрий Самозванец» появился в печати. Пушкин не любил Булгарина, романы его ругал.

не слишком в них вникая. В результате Дельви́г опубликовал в собственной «Литературной газете» злую критическую статью на «Самозванца». Между тем, число поклонников болгаринских романов значительно превышало количество читающих Пушкина.

Ответом на суровую критику Дельвига и была статья Булгарина в его «Северной пчеле» от 11 марта, где Пушкин (без упоминания, однако, имени) назван каким-то французским стихотворцем, «который в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины». Стихотворец «чванится пред чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных», у него «одно господствующее чувство — суетность» (VII.477).

Пушкин, услышав вокруг себя разговоры, смешки и сплетни, прочитал статью и узнал себя. Какова его реакция? Наиболее достойной для писателя была бы позиция невмешательства, но она противоречила его характеру. Пушкину нужен конфликт. Защищая репутацию поэта, некоторые биографы, пожалуй, потеряли чувство объективности. При всей мерзости лика Булгарина не только он мстил Пушкину, но оба они сводили счеты. В дневнике редактора «Московского вестника» Михаила Погодина от 18 марта читаем: Пушкин «давал статью о Видоке и догадался, что мне не хочется помешать ее (о доносах, о фискальстве Булгарина), и взял» (VII.477). Погодин отказался публиковать, не пожелав влезать в склоку, в которой не поиск истины, не полемика даже, а оскорбление было стимулом. Пушкин напечатал ответный пасквиль чуть позже в той же газете преданного ему Дельвига.

«Северная пчела» была самой популярной газетой России; она выходила трижды в неделю, а вскоре стала ежедневной. Булгарин опубликовал критическую статью на не понравившуюся ему седьмую главу «Евгения Онегина». Глава, считал он, водянистая, полна балагурства, словом, отмечалось падение автора «Руслана и Людмилы». В ответ Пушкин пишет — нет, не полемическую статью, но жалобу на Булгарина — и кому? — Бенкендорфу.

Пушкин не подозревал (а может, наоборот, в своей прозорливости рассчитывал на это?): у него оказался могущественный адвокат. Николай Павлович навещал простудившегося Бенкендорфа, а когда вернулся во дворец, написал ему записку: «Я забыл Вам сказать, любезный друг, что в

сегодняшнем номере «Пчелы» находится опять несправедливейшая и пошлейшая статья, направленная против Пушкина; к этой статье, наверное, будет продолжение, поэтому предлагаю Вам призвать Булгарина и запретить ему отныне печатать какие бы то ни было критики на литературные произведения; и если возможно, запретите его журнал»²⁵.

Николай I читал, судя по его письму, обе статьи Булгарина, ругающих Пушкина (пишет «опять»). Конечно, наше возмущение произволом, царящим в империи, смягчается тем, что наказывают Булгарина, а защищают Пушкина. Беспрецедентный в истории русской литературы факт: царь решительно защищал не совсем благонадежного писателя, — деталь, которую игнорировала советская пушкинистика, хотя архивные материалы были опубликованы в начале века. Как видим, пушкинисты и царь стали в оценке Булгарина единомышленниками.

Бенкендорф, защищая Булгарина, при обсуждении с императором этой полемики хитрил. Царь предложил запретить болгаринское издание. Бенкендорф ответил: «Приказания Вашего Величества исполнены: Булгарин не будет продолжать свою критику на Онегина». Царю тоже «Онегин» меньше понравился, чем «Полтава». Бенкендорф доказывает царю, что московские журналисты также ожесточенно ругают «Онегина» и что к тому же перо Булгарина всегда преданно власти. Кроме того, Бенкендорф представил царю изначальную статью Дельвига, нападающую на болгаринского «Димитрия Самозванца» — роман вполне монархический. Царю же критика романа неожиданно понравилась: оказывается, он сам о романе Булгарина «размышлял точно так же».

В результате, несмотря на запрет императора, в «Северной пчеле» появилось окончание критики седьмой главы «Онегина». «Как оно прошло для Николая незамеченным, сказать трудно: он ежедневно читал эту газету... — пишет Лемке. — По всей вероятности, Бенкендорф сумел отвлечь чем-нибудь внимание»²⁶. Невероятно, но факт: Бенкендорф ухитрился провести императора и защитить Булгарина. Знай Пушкин, кто был его адвокатом, он, возможно, вел бы себя в этой истории иначе.

Глядя издали, скажем, что, публично обвиняя Булгарина в клевете, сам Пушкин поступал не лучше, ибо как и Булгарин, стал искать защиты от критики под крылом Третьего отделения. «Г-н Булгарин, утверждающий, что он

пользуется некоторым влиянием на Вас, — пишет Пушкин Бенкендорфу, — превратился в одного из моих самых яростных врагов из-за одного приписанного им мне критического отзыва. После той гнусной статьи, которую напечатал он обо мне, я считаю его способным на все» (X.633). «На все» — можно предполагать и убийство, что, конечно же, не серьезно. Булгарин был уверен, что Пушкин критиковал его «Димитрия Самозванца» в «Литературной газете», принадлежавшей Дельвигу. И Пушкин действительно был причастен к публикации Дельвига, хотя мы не знаем, как именно. Скорей всего, как обычно в таких случаях, подал Дельвигу мысль и ряд пунктов — что и как ругать (если вообще не сам написал).

«Литературная газета» стала трибуной друзей, публиковавших, защищавших и поддерживавших друг друга. Дельвиг и Вяземский восхваляют до небес Пушкина, тот, в свою очередь, их. Пушкин пишет, подделываясь под слог читателя, якобы обратившегося в газету. Ничего экстраординарного в этих маленьких хитростях не надо усматривать, — таковы были и есть нравы российской, а может, и остальной журналистики.

Печатный ответ Пушкина появился через три недели после его жалобы на Булгарина в Третье отделение. Poleмизируя с «Северной пчелой», Пушкин (в неподписанной статье), не называя имени Булгарина, пишет о Видоке, французском сыщике, прозрачно намекая на связи Булгарина с полицией и даже на сомнительное прошлое его жены. Видок, оказывается, палач, «пишет на своих врагов доносы», «приходит в бешенство, читая неблагосклонный отзыв журналистов о его слоге» и пр. (VII.102—103). В конце статьи аноним призывал власти наказать Видока за оскорбление общественного приличия.

Но и это не все. Пушкин производит по Булгарину еще один выстрел — из своего любимого оружия, раскрывая адрес клички Видок. Он распространяет по знакомым эпиграмму:

Не то беда, что ты поляк:
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин —
И тут не вижу я стыда;
Будь жид — и это не беда;
Беда, что ты Видок Фиглярин. (III.159)

Неожиданно случилось то, чего Пушкин никак не ожидал: заменив лишь «Видок Фиглярин» на «Фаддей Булгарин», Булгарин напечатал эпиграмму в своем «Сыне Отечества». Дельвиг (или Пушкин?) в ответ сочинил было сомнительно остроумное опровержение, что тот увидел «свои ослиные уши потому только, что он их имеет в самом деле» (III.453), но опубликовать этот яркий пассаж цензура наконец-то не разрешила.

Ввязавшись в низкопробную словесную драку, вместо того чтобы заниматься истинным творчеством, выйдя замаранным и ничего не добившимся, кроме мелкого удовлетворения самолюбия, Пушкин пишет стихотворение «Поэту».

Услышишь шум глупца и смех толпы холодной;
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. (III.165)

Высокая поэзия несколько оторвалась от практики создателя приведенных строк. Если бы советы другому поэту Пушкин реализовал сам! Прошедшая полемика больше говорит о душевном состоянии, в котором он находился в те дни, чем о действительных литературных проблемах.

В письме Бенкендорфу Пушкин, помимо жалобы на Булгарина и на неустойчивость собственного положения, отчаявшись выпросить разрешение двинуться за границу, писал: «Я предполагал проехать из Москвы в свою псковскую деревню, однако если Николай Раевский проследует в Полтаву, покорнейше прошу Ваше Превосходительство дозволить мне отправиться к нему туда» (X.633). Ему не сидится на месте: хотя бы в Полтаву!

В девяностых годах XX века появилось предположение, основанное на строке юношеского романса «Возможно ль сына не узнать?» (I.76), что Пушкин собрался в Полтаву, чтобы навестить там незаконно рожденного ребенка. «Сын находится где-то недалеко от Полтавы, а где именно — Пушкин этого не знает и думает, что без Николая Раевского может не отыскать»²⁷. Но Пушкина не интересовали его внебрачные дети — в этом он был принципиален.

Насчет Полтавы Бенкендорф отвечал быстро: «Вам угодно находить свое положение неустойчивым; я не считаю его таковым, и мне кажется, что от вашего собственного поведения зависит придать ему еще более устойчивости». И —

«Его Величество... запрещает вам именно эту поездку, так как у Него есть основания быть недовольным поведением г-на Раевского за последнее время» (Б. Ак.403—404).

Создателя патриотической «Полтавы» в Полтаву не пустили. Даже в такой невинной поездке отказали — на сей раз по причине плохого поведения не его самого, а того, к кому он едет. Впрочем, то была очередная отговорка, смехотворная и издевательская одновременно. Чем больше он старался быть лояльным, тем больше его отчитывали, как провинившегося лицеиста. Из абсурдности запрета погулять по Полтаве следовало, что о дальних поездках можно и не заикаться.

Решение Николая стать личным цензором Пушкина после возвращения его из ссылки в 1826 году фактически передало поэта в распоряжение Бенкендорфа. А в том ведомстве любого подданного Российской империи рассматривали соответствующим образом. 16 апреля 1830 года Пушкин пишет очередное письмо Бенкендорфу «с крайним смущением» (Х. 635, фр.). Пушкин жалуется на нестабильность своего положения, он чувствует себя накануне несчастья, «которого не может ни предвидеть, ни предотвратить». Таково, видимо, его состояние накануне женитьбы. Он высказывает Бенкендорфу обиду на своих бывших начальников («я так и не получил двух чинов, следуемых мне по праву»), полагает, что на нем остается клеймо; поставленное из-за исключения со службы шесть лет назад.

Пушкин сообщает, что хотел бы жениться на мадемуазель Наталье Гончаровой, которую Бенкендорф, возможно, видел в свете. Поэт хочет получить благословение царя. Он объяснял матери Натальи, что собственного состояния ему хватало прежде, но — «хватит ли его после моей женитьбы?». И он сам, и все вокруг предвидят, что нет, не хватит.

В письме Бенкендорфу он делает следующий шаг: «Мне не может подойти подчиненная должность, какую только я могу занять по своему чину. Такая служба отвлекла бы меня от литературных занятий, которые дают мне средства к жизни...» Начальство, как было принято, получая хорошее содержание, посещало присутствие от случая к случаю. На хорошую синекуру поэт согласился бы, но большой чин ему, понятно, никто не даст. Деликатность проблемы в том, что он хочет служить не служа. Получае-

мые деньги нужно оправдывать сочинением того, что полезно правительству. Это немного похоже на цирк, где тигра кормят за то, что он прыгает через огненное кольцо. Но выхода нет.

Просья императора о разрешении опубликовать «Бориса Годунова», Пушкин долго работает над последней частью письма: «Я даю ему (Николаю Павловичу. — Ю. Д.) слово быть цензором гораздо более строгим, чем тот...» Чем кто? Чем царь? Бенкендорф? или штатный цензор? Не найдя сравнения, Пушкин переиначивает эту фразу: «... столь же строгим, сколь и добросовестным...» (Б. Ак. 14. 273, фр. и 450) Но и тут оказывается тупик, поэтому он вычеркивает бессмысленную фразу совсем.

О вычеркнутом говорить вроде бы ни к чему. Но заметим, что само по себе желание обещать властям письменно, что ничего предосудительного сочинитель себе не позволит, можно считать тем самым явлением, которое после получило название *самоцензуры*, то есть добровольной или вынужденной готовности писателя быть собственным предварительным цензором, более строгим, чем власть. Пушкин вычеркнул эту мысль из письма, но на практике следовал необходимости. Он не раз упрекал Вольтера в склонности к компромиссам, хотя сам шел на них часто. Приходится констатировать, что он, по праву являясь первопроходцем многих путей в русской литературе, оказался таковым и по части самоцензуры. Впрочем, чувствовал и предел.

Самое неприятное в письме Бенкендорфу — постскриптум: «Покорнейше прошу, мой Генерал, сохранить мое обращение к вам в тайне» (Х.636). Вот так договор с главой сыска! В черновике деликатная просьба была даже в начале письма, но потом Пушкин решил передвинуть ее в заключение. Суть просьбы не изменилась. Такого жеста Бенкендорф, давно стремившийся приблизить поэта к заботам своего ведомства, не ожидал. И глава тайной полиции делает шаг навстречу Пушкину, о котором мы мало знаем. От имени государя брак с девицей Гончаровой поэту разрешен. Дозволяется и публикация «Бориса Годунова» — «под личную ответственность» (что это значит? может, та же самоцензура? но слова пугают, ибо автора-самоцензора всегда можно обвинить в недостаточной ответственности или вовсе в безответственности). После всего этого Бенкендорф предлагает Пушкину высокий чин.

Еще при Екатерине Великой главным лицом при дворе был обер-камергер, которому подчинялись кавалеры: камергеры и камер-юнкеры. Последние дежурили при дворе, сопровождали императрицу, подчас прислуживали за столом. При императоре Павле в государстве было всего 12 камергеров и 12 камер-юнкеров. При Александре I их всех обязали найти себе должности и служить. Николай Павлович увеличил число камер-юнкеров до 36. Камергерами делали лиц не ниже статского советника, и такой скачок для Пушкина мог быть сделан только за особые заслуги перед правительством. Таких заслуг с точки зрения Третьего отделения не имелось, но можно было дать чин авансом, тоже «под личную ответственность».

По-видимому, предложение получить придворный чин камергера было сделано Бенкендорфом поэту устно. После смерти Пушкина Вяземский писал Великому князю Михаилу Павловичу: «Несмотря на мою дружбу к нему, я не буду скрывать, что он был тщеславен и суетен. Ключ камергера был бы отличием, которое бы он оценил, но ему казалось неподходящим, что в его годы, в середине его карьеры, его сделали камер-юнкером наподобие юношей и людей, только что вступающих в общество. Вот вся истина об его предубеждениях против мундира. Это происходило не из оппозиции, не из либерализма, а из тщеславия и личной обидчивости»²⁸.

Нет в письмах или документах ни самого факта предложения чина камергера, ни серьезного обсуждения. Однако Пушкин об этом поведал своему ближайшему другу три года спустя. Бартенев записал со слов добросовестного по части воспоминаний Павла Нащокина: «Многие его (Пушкина. — Ю. Д.) обвиняли в том, будто он домогался камер-юнкерства. Говоря об этом, он сказал Нащокину, что мог ли он добиваться, когда *три года до этого сам Бенкендорф предлагал ему камергера, желая его ближе иметь к себе* (выделено нами. — Ю. Д.), но он отказался, заметив: «Вы хотите, чтоб меня так же упрекали, как Вольтера!» С. Гессен и Л. Модзалевский приводят это свидетельство, не ставя его под сомнение²⁹. Пушкин был пожалован императором в камер-юнкеры, значит, предложение Бенкендорфа произвести безработного поэта в камергеры было прощупыванием почвы: до какой степени можно сделать Пушкина своим.

Женитьба, как не без резона решили наверху, поможет Пушкину покончить с мальчишескими заблуждениями, остепенит. Бенкендорф остался верен себе. Письмо, разрешающее Пушкину брак, содержит морализаторство по поводу осознания поэтом своего долга. «Его Императорское Величество в отеческом о вас, милостивый государь, попечении соизволил поручить мне, генералу Бенкендорфу, — не шефу жандармов, а лицу, коего он удостоивает своим доверием, наблюдать за вами и наставлять вас своими советами; никогда никакой полиции не давалось распоряжения иметь за вами надзор» (Б.Ак.409).

Под конец Бенкендорф делает в письме блестящий ход, обыгрывая своего подопечного. На просьбу поэта сохранить в тайне его обращение в Третье отделение (мы видим, как широко генерал улыбается, диктуя писарю эти строки) Бенкендорф заявляет: «Я уполномочиваю вас, милостивый государь, показать это письмо всем, кому вы найдете нужным». Даже со скидкой на время, когда глава сыска был почетно принимаемым на балу в любом доме, письмо порождало целый поток неприятных для поэта слухов. Любой человек в свете, которому Пушкин покажет письмо, подмигнет другому и сделает однозначный вывод: за всеми следят, а за ним не следят, ему доверяет лично Бенкендорф. Стало быть, Пушкин — человек Бенкендорфа. Коготок увяз — всей птичке пропасть.

Было от чего прийти в отчаяние. Причины психологического бунта Пушкина происходили, кажется нам, из понимания, что с надеждами на волю покончено. Той весной он тяжело пережил потерю собрата по перу. «Батюшков умирает», — сообщил он в письме Вяземскому (Х.217). Константин Батюшков, поэтический наставник Пушкина, первым правилом литератора считал: «Живи, как пишешь, и пиши, как живешь»³⁰. Нельзя сказать, что Пушкин следовал этому правилу во всех случаях повседневной жизни, но школа Батюшкова много ему дала. Старший товарищ по перу отмечал в молодом Пушкине «вкус, остроумие, изобретение, веселость»³¹. В 1818 году Батюшков отбыл в Италию служить по дипломатической части, и Пушкин думал, что сделает то же самое. «Я за все русские древности не дам гроша. То ли дело Греция? То ли дело Италия?» — писал Батюшков Николаю Гнедичу³².

Спустя три года у Батюшкова повредилась психика. Получив бессрочный отпуск, он двинулся на воды в Гер-

манию, поскольку немецкие психиатры считались лучшими в мире. Обратное Батюшкова отправили в плохом состоянии — сперва в Крым, а оттуда в Петербург. Его снова увозят в Германию на четыре года, и он возвращается в Москву с диагнозом «полная неизлечимость». Находящийся при нем доктор Дитрих пытается успокоить бурные порывы пациента. На подоконнике Батюшков выцарапал: «Есть жизнь и за могилой!»

Пушкин решил навестить больного коллегу. Дома у Батюшкова в Грузинах (после — Большая Грузинская улица, дом 17) служили Всенощную. Пушкин приехал и всю службу отстоял. По окончании молебна попросил, чтобы его отвели к больному, но Батюшков его не узнал. При полном безумии он сохранял хорошее физическое здоровье. Елизавета Хитрово, почитательница поэзии, узнав о тяжелом психическом состоянии Батюшкова, «с самоотверженностью, поистине изумительной», как отметил Пушкин, предложила себя в качестве средства для излечения больного: отдаться ему и попытаться таким образом вывести его из душевного нездоровья.

Батюшкова держали до 1833 года в Москве, а потом перевезли в имение в Вологду, где он долго жил физиологически и умер, пережив Пушкина на 18 лет. Пушкин больше с ним не встретится, но мысли о смещенном мире, в который он попал в Грузинах, не раз вернутся в стихах. Впечатлительный Пушкин увидел зазеркалье.

Жизни мышь беготня...

Что тревожишь ты меня? (III. 186) —

написал он ночью во время бессонницы.

Стихи Пушкина часто группируют по разным тематическим циклам, чего сам он никогда не делал. Исследователю такая перетасовка дает возможность глубже проникнуть в замыслы автора, найти аналогии, ускользающие в разбросе по времени написания. Одна тема остается несобранной; к ней Пушкин возвращается всю жизнь, иногда открыто, иногда в подтексте, сбивая с толку биографов: это «Мечтания поэта о загранице». Многие стихи цикла нам уже пришлось упомянуть, сюда же относится и написанное 23 апреля 1830 года стихотворение «К вельможе», которое в таком подходе пока не обсуждалось.

Коль скоро мы употребляем термин «новый русский» для некоторых сегодняшних граждан России, то логично полагать, что новые русские появлялись в каждую переменчивую эпоху. А если бывали и есть «новые русские», очевидно, в каждую эпоху существовали и «старые русские», которые начинали как новые, но их время уходило. Применительно к пушкинскому времени, восьмидесятилетний вельможа Николай Юсупов стал уже таким *старым русским*, который казался молодому поколению дремучим выходцем из екатерининской поры.

Род Юсуповых ведет летоисчисление аж от Тамерлана, в третьем колене родился Юсуф-мурза, потомок которого в середине XVIII века и оказался воспетым Пушкиным. Каких только почетных должностей при Дворе не занимал князь Юсупов: дипломат, министр, сенатор, член Госсовета, меценат и коллекционер! Он дружил с Фонвизиным и другими большими писателями своего времени. Родители Пушкина одно время снимали у него дом.

Когда Пушкин с приятелем Сергеем Соболевским в 1827 году задумывали свою поездку за рубеж, они отправились за советом в Архангельское к Юсупову, знатоку Европы, гостю многих западных писателей, в том числе Вольтера, Дидро, Бомарше, обладателю уникального дорожного альбома, содержавшего ценнейший для путешественника материал, накопленный Юсуповым за годы странствий по миру со времен Екатерины Великой. Благодаря протекции и личным письмам императрицы, князь был принят европейскими государями и получал доступ в святая святых в каждой стране.

В Архангельском поместье под Москвой Юсупов скопил библиотеку лучших европейских книг числом больше двадцати тысяч изданий. В одной из комнат фешенебельного дворца Юсупов развесил около трехсот портретов женщин, которые ему в разное время принадлежали. Работали над галереей крепостные художники. Екатерина II входила в число его любовниц, когда он был молодым и вполне новым русским: на одном из трогательных портретов они изображены в виде Аполлона и Венеры. Подарки любвеобильная монархиня дарила ему щедрые: в виде земель с деревнями и крепостными.

Много раз бывали мы в Архангельском поместье князя, часами рассматривали картины видных европейских мастеров, разумеется, теперь в копиях. Разоренные после

революции дворец, парк, разрезанный, правда, правительственной трассой, крепостной театр, снова стали красивы в середине советской поры, когда значительную часть имения Юсупова застроили дачами партийной элиты и Министерства обороны, военным санаторием, элитной спортивной базой для подготовки олимпийских чемпионов и пр. В начале шестидесятых, когда мы с приятелями катались на лыжах вдоль оврага по речке Серебрянке, малому притоку Москвы-реки, нас арестовали, держали и допрашивали в какой-то будке угрюмые люди в штатском. Мимо проходила женщина, которой было скучно гулять одной. Она поговорила с нами и велела нас отпустить. Оказалось, овраг проходил близко от территории дачи премьера Косыгина, женщина назвалась его женой. А при Юсупове на этой территории разрешалось гулять всем желающим и хозяин сам кланялся незнакомым дамам, уступая им дорогу.

Сегодня посещение Архангельского снова напоминает о послереволюционной разрухе. Исторический парк урезается под дачи новых русских XXI века, а в музее старого русского, закрытом, похоже, на вечный ремонт, грязь, сырость и заброшенность. Штукатурка осыпается, краска облупилась, крыши текут, ценности разворовываются, хотя по парку ходит охрана с сотовыми телефонами и даже с овчарками. Ухожен лишь бюст Пушкина со стихами, посвященными Юсупову. Невозможно представить себе, что тут сверкали сотни свечей в хрустальных люстрах, на стенах висели клетки с диковинными певчими птицами и вообще все напоминало роскошь дворца Людовика XV.

Недалеко от Красных ворот, напротив другого своего дворца, большой жизнелюб князь Юсупов держал особый дом за глухой каменной стеной. Около двадцати красивейших крепостных девушек, отобранных лично князем в собственных обширных имениях и обученных искусству танца популярным московским танцмейстером маэстро Йогелем, по знаку хозяина тростью во время представления скидывали одежды и обнаженными обслуживали гостей. Гарем? Если угодно, можно назвать и так, а объяснить генетикой восточных корней хозяина. Не исключено, что Пушкину, воспевшему князя, не раз удалось побывать в этих стенах и тут, в нирване, слушать его воспоминания. Самому хозяину нравилась его скандальная слава.

Новый русский эпохи Екатерины, Юсупов и по сегодняшним меркам интересен для кино. В 1826 году юная и симпатичная

девушка, сестра служащего Кремлевской экспедиции, обратилась к Юсупову с какой-то просьбой. Он ответил, что даст ей 50 тысяч золотом, если она пойдет с ним в постель. Девушка отказалась. Прошел год, и братьев ее арестовали за членство в тайной студенческой организации. Юсупов послал гонца к девушке, предлагая сделку: она соглашается отдаться ему, а он сделает так, что братьев освободят. Девушка и тут отказалась. В результате одного брата сослали, а другой оказался в Шлиссбургской крепости.

Таких фактов в стихотворении Пушкина «К вельможе», написанном 23 апреля 1830 года и посвященном Юсупову, нет. Едва стихи «К вельможе» были закончены и доставлены в дар герою (возможно, так было договорено), они оказались опубликованными Дельвигом в его «Литературной газете». Критики, враги и завистники, казалось, только этого и ждали.

Шквал обвинений обрушился на автора. Его стыдили за подхалимаж богатому правительственному вельможе. Юсупов действительно владел землями в двадцати трех губерниях России, имел 31 тысячу крепостных только мужского пола (добавьте сюда жен и дочерей). Фабрики и промыслы приносили князю годовой доход 1,5 миллиона рублей. Будучи к тому же директором Эрмитажа и императорских театров, он скупал за границей сокровища как для музея и театра, так и для себя, причем, честный человек, он не запускал руку в государственный карман. Ему и не нужно было — хватало своего. Полотна Рембрандта и Рубенса запросто висели в жилых комнатах Юсупова.

Пожалуй, доля истины в словах пушкинских оппонентов была, хотя на рисунке рядом с текстом Пушкин изобразил старика Юсупова в весьма карикатурном виде. Вечно нуждающийся поэт имел полное право восхищаться благополучием интеллигентного богача. Но по сей день не обратили внимания пушкинисты на то, что в стихотворении «К вельможе» автор, который не может выкрутиться из долгов, завидует вовсе не материальному достатку князя, не чинам и связям, а совсем другому.

Очередное путешествие Пушкина за границу, как известно, сорвалось. И вот (так у него уже бывало) в стихи «К вельможе» выливается нереализованная мечта. Невыездной поэт, сидя здесь, путешествует по всей Европе, повторяя шаги путешественника Юсупова, который, в отличие от сочинителя, поездил и даже жил там.

Ты понял жизни цель: счастливый человек,
Для жизни ты живешь. Свой долгий ясный век
Еще ты смолоду умно разнообразил... (III.160)

Молодым и любознательным Юсупов побывал в Фернью (поэт пишет Ферней), то есть имении великого Вольтера на границе Франции и Швейцарии. С восторгом описан Версаль, которого поэт, конечно, не видел, но куда отправился Юсупов и где «ликовало все». Следуют годы учения князя, которому читал лекции не кто-нибудь, а сам Дени Дидро — «то скептик, то безбожник». Юсупов едет по Европе:

Но Лондон звал твое вниманье.
Скучая, может быть, над Темзою скупой,
Ты думал дале плыть...

И Пушкин плывет далее, вторя юсуповским рассказам:

Веселый Бомарше блеснул перед тобою.
Он угадал тебя: в пленительных словах
Он стал рассказывать о ножках, о глазах,
О неге той страны, где небо вечно ясно,
Где жизнь ленивая проходит сладострастно,
Как пылкий отрока восторгов полный сон,
Где жены вечером выходят на балкон,
Глядят и, не страшась ревнивого испанца,
С улыбкой слушают и манят иностранца. (III.161)

Если б мы собственными глазами не видели дату, поставленную тридцатилетним автором, можно было бы считать, что это написано молодым Пушкиным, когда ему, романтику, полному огня и задора, жаждалось «вздохнуть о пристани и вновь пуститься в путь». К тому юношескому возрасту более подходило мечтание Пушкина о пленительно сладкой жизни за границей, о том, как он появляется в Испании или Италии, где легкомысленные красотки — скучающие чужие жены — только и ждут появления бывшего лицеиста, чтобы немедленно отдать ему всю страсть любви.

Благословенный край, пленительный предел!

Увлечшись, полстраницы посвящает Пушкин описанию легкодоступных зарубежных амурных походов, в центре которых, к сожалению, не он сам, но князь Юсупов. Поэт словно бы перевоплощается в своего героя.

Двигаясь к окончанию стихотворения, Пушкин-философ вдруг сосредоточивается на любимой теме одиночества, самодостаточности значительной личности. Хорошо человеку, который жизнь провел за границей, столько повидал в Европе, наблюдал смену формаций, поколений, интересов в обществе. Там, за границей, несмотря на солидный возраст, сохранил вельможа молодость, интерес к жизни, вкус к женщинам, чувство ветреной свободы.

Князь возвращается в книгохранилище в Архангельском и насмешливо глядит оттуда в окно. Подобно римскому вельможе, Юсупов близок музам в тишине, не участвует в мирских волнениях. Поколесив по свету, он, когда ему, увы, восемьдесят, с восторгом оценивает русских прелестниц Алябьеву и (тут стихотворец — хозяин-барин) Наталью Гончарову. Наверное, князь во время их разговоров хвалил будущую невесту поэта, которую мог не раз видеть на балах. В подтексте остается автор стихотворения. Сам он не может сравнить Гончарову с западными леди, поскольку дожил до тридцати лет, так нигде и не побывав.

Пушкина упрекали в лести вельможе, а Белинский писал, что в этом произведении «должно видеть только в высшей степени художественное постижение и изображение целой эпохи в лице одного из замечательнейших ее представителей»³³. На наш взгляд, здесь сравнение судьбы опального поэта с судьбой удачника, которому выпало счастье путешествовать. Через год после того, как он был воспет Пушкиным, *старый русский князь Юсупов* скончался. В каком-то плане смерть его стала концом эпохи: разорвалась еще одна нить, связывавшая пушкинское время с вельможным XVIII веком. После всего сказанного можно лишь покачать головой, читая комментарий «К вельможе» Б. Томашевского, который увидел «основную тему послания: переворот в историческом облике Европы в связи с событиями Французской революции» (III.454).

Михаил Погодин собирается в Европу, и поэт ему тихо завидует, когда они обсуждают детали путешествия. Пушкин даже хлопочет через Вяземского и Блудова, чтобы Погодину дали вспоможение для поездки. А сам остается на месте. Встречи и литературные события не отвлекают

потенциального жениха от потенциальной невесты. Иллюзия последнего времени, что он найдет тихую пристань в лице чистой и юной красавицы, освободится от тяжелой страсти к Собаньской, от гнета власти роковой, казалось, близка к реализации. Он делает очередное предложение Наталье Гончаровой, точнее, ее матери.

Зима прожита несуразно. В письме к Вяземской он назвал невесту своей стотринадцатой любовью: ему нравилось играть в Дон-Жуана. Роман с Елизаветой Хитрово тяготит его, он не знает, как от нее избавиться. Он говорит ей, что собирается жениться на другой, но и это не помогает. Приходится признать, что в сознании всегда вольнолюбивого Пушкина происходит постепенная подмена его постоянного и неразрешимого тезиса «свобода или родина» на другой, теперь для него более реальный: «свобода или жена».

Сватовство — примерка, репетиция женитьбы. Дарья Фикельмон хотела бы остановить его: «Как можно такую прекрасную жизнь бросать за окошко?» Всем, кто любит Пушкина, по сей день очень хочется, чтобы у него была замечательная во всех отношениях жена. Отдадим должное точности формулировки Лотмана: «Пушкин собирался жениться не потому, что влюбился, а влюбился потому, что собирался жениться»³⁴. Можно твердо сказать, что несмотря на обилие собранных свидетельств, характер Натальи Гончаровой и ее реальное отношение к жениху и мужу, то есть как до, так и после свадьбы, остается поводом для дебатов. Ее мифологические оценки уводят биографов в сторону, мешая серьезному анализу.

Имя Наталья, рождественское по смыслу, преследовало Пушкина, так сказать, от рождения. В юности была любовь к Наталье Кочубей. В «Евгении Онегине» Наталью он переделал в Татьяну, а в «Графе Нулине» Наталья опять всплыла, прямо-таки навязчиво это имя вело его к невесте, и даже теща оказалась Натальей, а потом Натальей стала и первая дочь поэта.

Пушкинский приятель нарисовал словесный портрет невесты поэта со знанием дела, и вряд ли найдем лучше: Владимир Соллогуб бывал у Пушкиных дома, участвовал в делах и танцевал с ней. «Много видел я на своем веку красивых женщин, — писал он, — много встречал женщин еще обаятельнее Пушкиной, но никогда не видывал я женщины, которая соединяла бы в себе такую закончен-

ность классически правильных черт и стана. Ростом высокая, с баснословно тонкой тальей, при роскошно развитых плечах и груди, ее маленькая головка, как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой шее; такого красивого и правильного профиля я не видел никогда более, а кожа, глаза, зубы, уши!»³⁵

«Но я, любя, был глуп и нем», — признавался Пушкин еще будучи в Одессе. Неужто ничего не изменилось? Неужели всерьез главной целью женитьбы стало на какой-то момент его непреодолимое желание, как писал Вульф, развратить это пока что целомудренное существо? Вяземский пишет жене об уме невесты: «Беда, если в ней его нет! Денег нет, а если и ума не будет, то при чем же он останется с его ветреным нравом?»³⁶ Кюхельбекер, услышав в Сибири о предстоящей женитьбе друга, пишет с okazji: «Да, любезный, поговаривают уже о старости и нашей».

Семья невесты была, как мы сказали бы теперь, неблагополучной. Родичи Гончаровых — выходцы из Лифляндии, то есть из Прибалтики. Дед Афанасий Гончаров сумел прокутить и проиграть в карты свыше двадцати девяти миллионов и оставил долгов на полтора миллиона. Другой дед привез любовницу вместе с дочерью (матерью Натальи) из Дерпта в свое имение к жене и детям. Теща была в молодости невероятной красавицей и однажды отбила у императрицы Елизаветы Алексеевны ее любовника Охотникова.

Отец Николай Гончаров оказался душевнобольным и в припадках буйства гонялся за женой с ножом на глазах у детей; жизнь в страхе отразилась на психике дочери. Постепенно мать становилась деспотичной, детей запирала за железную дверь, спасая от приступов сумасшедшего отца. Впоследствии Пушкин запрещал показывать тестю детей, говоря: «Того и гляди откусит у Машки носик» (Х.371). Теща, самодурка и ханжа, стала алкоголичкой, напивалась до скотского состояния, и, сплавив от себя психически больного мужа, ходила по дому на четвереньках, задрав юбку, готовая переспать с первым попавшимся лакеем или кучером³⁷.

Да что говорить о семье, с которой Пушкин собирался породниться, если эта самая мать невесты потребовала принести справку от главы тайной полиции, что жених не состоит у них на учете по неблагонадежности! Пушкин не нашел ничего лучше, как просить Бенкендорфа, чтобы тот

засвидетельствовал перед будущей тещей его хорошее поведение. Тем не менее — «...Я оброс бакенбардами, остригся под гребешок — остепенился, обрюзг — но это еще ничего — я сговорен, душа моя, сговорен и женюсь!» — пишет он в Бухарест Николаю Алексееву (Х.254). Готовясь к браку, он сочиняет любовные стихи другим женщинам; после, женившись, продолжит делать то же самое.

С одобрения Николая Павловича 6 мая 1830 года в Москве состоялась помолвка Пушкина. Но желание сыграть свадьбу до 1 июля растянулось на неопределенный срок: нужны были деньги. Отец выделил женищемуся старшему сыну часть имущества в сельце Кистеневе, в Болдинской вотчине: 200 душ мужеского пола с семьями, с причитающейся на души землей, лесом, дворами и прочим на общую цену 80 тысяч рублей. Отец предусмотрительно оговорил в бумагах, что доход его легкомысленный сын может получать с имущества полностью, а продать не имеет права, — решение родителя весьма разумное. В середине мая Пушкин проиграл в карты профессиональному игроку 24 тысячи 800 рублей, целое состояние, и стал просить денег в долг, готовый продать все, что попадет под руку.

Два месяца спустя Пушкин, оставив желанную невесту, двинулся в Петербург и там провел месяц. Чем он был занят — тайная страница его биографии. Николай Языков сообщил в письме родным: «Пушкин ускакал в Питер печатать “Годунова”»³⁸. Но, передав рукопись Плетневу, Пушкин в издании, конечно же, не участвовал. Деду невесты он перед отбытием написал, что едет на несколько дней, так как не получил денег и нужных бумаг. Гонорар за «Годунова» он вскоре возьмет.

Приятелю Пушкин признавался: «Все эти дни я вел себя как юнец, т. е. спал целыми днями»³⁹. Это признание не мальчика, но мужа, занятого делом по ночам. Конечно, не в деньгах, издании и бумагах дело, ибо иначе написано в записке к Вере Вяземской: «Признаюсь к стыду моему, что я веселюсь в Петербурге и не знаю, как и когда я вернусь» (Х.643, фр.). С ней, да и с некоторыми другими близкими ему женщинами он обожал делиться своими любовными похождениями. «Нам неизвестно, — считал М. Цявловский, — была ли летом 1830 года Собаньская в Петербурге и общался ли с нею Пушкин в это время. Но эта возможность представляется нам очень вероятной»⁴⁰. Если сие

предположение ошибочно, все равно факт остается фактом, что за торжеством помолвки поэта в Москве последовал большой его загул в Петербурге.

Глава третья

«ЛИШНИЙ ЧЕЛОВЕК» В ЗЕРКАЛЕ

*Как я должен благодарить вас, мадам,
за любезность, с которой вы уведомляете меня
хоть немного о том, что происходит в Европе!
Здесь никто не получает французских газет...
И среди этих-то орангутангов я осужден жить
в самое интересное время нашего века!*

Пушкин — Елизавете Хитрово,
21 августа 1830, по-фр. (X.236)

Вместо Запада Пушкин очутился на Востоке, вместо цивилизации, о которой мечтал, — в глухомани. Настоящее название села Болдина, в которое он приехал, раньше звучало иначе. Известна «грамота к воеводе и дьяку о наказании крестьян деревни Еболдино, данной в вотчину Ивану Пушкину»⁴¹. Поэт эту деталь тактично опустил. Накануне отъезда произошла очередная ссора с будущей тещей. «Я еще не знаю, расстроилась ли моя свадьба, но повод для этого есть, и я оставил дверь открытой», — пишет он Вере Вяземской. На самом деле, нечего строить иллюзии и надеяться на запасный выход: дверь захлопнулась, он повязан женитьбой.

Болдинская осень — фантастический, беспрецедентный выброс накопленной поэтом литературной энергии. Арусяк Гукасова, в семинаре которой мы начали приближение к творчеству поэта в 1953—54 годах, доказывала в докторской диссертации, что Болдинскую осень в биографии Пушкина необходимо выделить в самостоятельный период: между концом холостой жизни и свадьбой. Мысль ее не прижилась в пушкинистике, но остается фактом, что три месяца в Болдине были едва ли не самыми насыщенными во всей жизни Пушкина.

Между тем, во Франции трубят революция, король Карл X под давлением обстоятельств отрекся от престола, о чем

Пушкин, трясаясь на ухабах дороги, еще не знает. В России холера, плюс правительство как всегда опасается того, что позже стали называть экспортом революции.

Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин! (III.167)

Как уже говорилось, Пушкин приехал в Болдино по делу: оприходовать в собственность 200 душ в соседнем сельце Кистеневе, подаренном отцом к свадьбе. В XVII—XVIII веках Пушкиным принадлежали огромные владения в Нижегородской губернии. Отцу досталось Болдинское имение с двумя тысячами душ. У прапрадеда пушкинской невесты в России было около 75 имений, несколько заводов, и все это наследники прокутили. На приданое Наталье деньги давал жених: он собирался заложить Кистеневу и деньги пустить на свадьбу.

Пушкин думал пробыть здесь около месяца, а проторчал почти три. Опять он оказался в заточении и опять не по своей воле. Он вдруг почувствовал себя ненадолго свободным от Бенкендорфа. Не бесправие держало его в глуши, а вспыхнувшая эпидемия холеры. Он думал о невесте, все вокруг раздражало его.

Восточнее Москвы он никогда в жизни не бывал. Зрелый и уставший писатель увидел другую Россию — нищую и пьяную. Путь от Москвы туда — «ни канавы, ни стока для воды, отчего дорога становится ящиком с грязью». И в том же письме невесте: «Будь проклят час, когда я решился расстаться с вами, чтобы ехать в эту чудную страну грязи, чумы и пожаров» (X.645, фр.). Чума и холера для него — одно и то же. А может, так воображалось, поскольку в Болдине, окруженный холерными карантинами, он писал о чуме в Западной Европе в XVII веке. Четыре года назад в Михайловском было недалеко от Литвы, Польши и Германии: птицы легко летали туда и обратно. Тут — убогие мордовские и татарские деревни, «осень чудная, и дождь, и снег, и по колено грязь» (X.243).

В Болдине он помещик, но хозяин плохой: его волнует доход, но он не хочет палец о палец ударить, чтобы улучшить хозяйство, доход приносящее. Заменить бы ярем барщины старинной оброком легким, но нет, не его дело, а управляющие — жулики и пьяницы. Перед глазами столичного денди чернеют ворота, на которых его строгий

дедушка повесил учителя-француза, аббата Николая, будучи им недоволен, да еще виднеется сельский погост. Пушкин пишет, что от чумы умирает только простонародье, а все ж в тревоге — не за себя, за невесту.

Описанная многократно Болдинская осень — в сущности, декадентство Пушкина. Накануне женитьбы, которой он так добивался, в преддверии семейного счастья он создает «Бесов». Солнечной, прозрачной, ласковой сентябрьской осенью, которую поэт так любил, он рисует тучи, вьюгу, похороны домового и — что заставляет задуматься более всего — *свадьбу, на которой бесы выдают замуж ведьму*. Вихрь кружится вокруг жениха Пушкина,

Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне... (III.168)

Холера, из-за которой Пушкин застрял, вызывала страх, но она его странным образом, наоборот, воодушевляла. Нетерпеливые попытки выехать из Болдина, пробраться через кордоны с риском заразиться холерой выглядят мальчишеством, которое сменяется усталостью. Элегия «Безумных лет угасшее веселье», написанная следом за «Бесами», печальна именно своей тихой и спокойной безысходностью.

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море. (III.169)

Несколько лет назад море было символом надежды, если угодно, спасения от бесов, окружавших поэта. Теперь море как символ будущего сулит ему труд и горе, — трансформация образа довольно очевидная. Безумных лет веселье угасло, в бесперспективном море труда и горя возникают (уже не первый раз) мысли о смерти и попытки ей противоречить:

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.

Но почему — умирать? Ведь приближается не смерть, а женитьба? В письме он говорит невесте: «Мой ангел, ваша любовь — единственная вещь на свете, которая мешает мне повеситься на воротах моего печального замка»

(Х.645). Но сразу же и возврат к другим ценностям бытия. Подруге Елизавете Хитрово: «Более всего меня интересует сейчас то, что происходит в Европе» (Х.651, фр.). А в стихотворении — новый поворот, трезвое понимание, что взаимной любви с невестой нет. Не любовь той, что станет женой, а любовь другой женщины, которая может появиться «перед закатом» его жизни, будит воображение:

И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

В стихах он советовал: «Живи один...», а надевает на себя семейную петлю. Но еще не женившись, вдруг трезвеет. Важное письмо, которого избегают пушкинисты-романтики, критику и другу Плетневу. «Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха тридцатилетнего хуже 30-ти лет жизни игрока. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день от дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери — отсюда размолвки, колкие обиняки, ненадежные примирения — словом, если я и не несчастлив, по крайней мере не счастлив». А чуть ниже еще жестче: «От добра добра не ищут. Черт меня догадал бредить о счастье, как будто я для него создан. Должно мне было довольствоваться независимостью...» (Х.328)

Итак, он осознает, что предложение Наталье было ошибкой, но как джентльмен, давший слово, вынужден прыгнуть в омут. Плетнев назвал письмо, полученное от Пушкина, «премеланхолическим».

Письма невесты к нему диктует мать. Обиженный, он ей отвечает: «Письмо ваше короче было визитной карточки» (Х.244). А Вяземскому жалуется: «Что у ней за сердце? твердою дубовою корой, тройным булатом грудь ее вооружена... Она мне пишет очень милое, хотя бестемпераментное письмо» (Х.246). «Позвольте мне вас обнять? — осторожно спрашивает он невесту в письме. — Это несколько не зазорно на расстоянии 500 верст» (Х.242). Как же так? Значит, он ее еще и не поцеловал ни разу! И от незнания переоценивал. Волновался по поводу того, что происходит во Франции и спрашивал ее из Болдина: «Как

поживает мой друг Полиньяк?» По этому поводу Ю. Лотман с иронией восклицает: «Уж Наталье Николаевне было много дела до французской революции!»⁴²

В день получения письма от невесты незадолго до отъезда из Болдина в стихотворении «Для берегов отчизны дальней ты покидала край чужой...» Пушкин вспоминает другую свою возлюбленную — темпераментную итальянку. На основании начальных строк в черновике Б. Томашевский утверждал: «Это заставляет предполагать, что стихотворение обращено к русской, уезжающей за границу, а не к иностранке, возвращавшейся на родину, как обычно предполагают» (III.457). В любом случае Томашевский должен был написать «уезжавшей», ибо у Пушкина это воспоминание о прошедшем времени. Но приходится отметить предположение Томашевского целиком. Здесь поэт вспоминает последнее прощание в Одессе с итальянкой Амалией Ризнич:

Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала. (III.193)

Были договоренности и обещания соединиться в Италии, но Амалия умерла.

В Болдине жила его возлюбленная времени михайловской ссылки, из простых — Калашникова. Теперь она просила у него деньги, барин давал, но ни она, ни собственный сын его не занимали. У него тут новый альянс с Февронией, дочкой зажиточного крестьянина Вильянова⁴³. Кроме того, параллельно с письмами к невесте он пишет любовное послание, «прощание сердца», Елизавете Воронцовой, мысленно лаская ее милый образ —

Как друг, обнявший молча друга
Пред заточением его. (III.127)

Слово произнесено: его ждет неволя, свадьба для него — заточение, тюрьма, острог, кандалы... Это возврат к молодому Пушкину, который иронизировал над желанием Ленского жениться на Ольге Лариной.

Юношеский задор помогает ему спастись от болдинской скуки. Он может быть на равных правах озорником и в жизни, и в литературе. Ему, гению, все можно. Написанная в Болдине «Сказка о попе и о работнике его Балде» —

чистейшее, блистательное богохульное озорство, сочиненное между серьезной работой над другими великими страницами. И — одна за другой пишутся «Повести Белкина» — немногие из прозаических произведений Пушкина, которые доведены до конца.

Пять рассказов, составляющих небольшой сборник прозы, написаны менее чем за полтора месяца, причем Пушкин отвлекался на другие сочинения. Несмотря на благополучные окончания повестей, смерть с косой стоит рядом со столом рассказчика. Пушкин начал с «Гробовщика», здесь же, в рукописи, нарисовав сцену чаепития сапожника Шульца с гробовщиком Адрияном Прохоровым. Сюжетная линия бок о бок со смертью вьется в «Станционном смотрителе» — блудная дочь (инверсия блудного сына); такой же минорной представляется «Русалка», — снова смерть, самоубийство.

Он пишет короткие пьесы, названные пушкинистами маленькими трагедиями. Задуманы они были еще в Михайловском, когда родился несостоявшийся замысел исторической трилогии и первая пьеса «Борис Годунов», которой он гордился, но которая оказалась несценичной. Теперь — продолжение экспериментов в драматургии, попытки равняться на Мольера и Шекспира. Не потому ли он обратился к драматическим миниатюрам, построенным на не раз использованных европейскими авторами сюжетах?

В деревне, где буквально вокруг писателя и с его участием разыгрывалась жизненная русская драма, временами переходящая в трагедию, среди маленьких его трагедий нет русских тем, будто автор живет в центре Европы. В «Каменном госте» Пушкин описывает небо Мадрида и небо Парижа, хотя в жизни ему не дали увидеть ни того неба, ни другого. Лаура говорит:

А далеко на севере — в Париже —
Быть может, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идет и ветер дует...

Париж вовсе не далеко на севере от Мадрида, да и климат в Париже не хуже (Лаура это должна знать лучше Пушкина). И вообще, эти рассуждения не имеют никакого отношения к действию пьесы, но в Болдине автору почему-то хорошо мечтается о Париже.

Пушкин путешествует по европейским литературам в поисках неестественных смертей. В Вене заставляя Сальери, вопреки историческому факту, отравить Моцарта, который на самом деле умер своей смертью. Поэт перемещается в Мадрид, чтобы разыграть маленькую пьеску о многократно обыгранном западными авторами Дон-Жуане, которого убивает каменный командор. Пушкин двигается в Англию на «Пир во время чумы», являющий собой вольный перевод куска пьесы «Чумной город» Джона Уилсона (Пушкин писал, как тогда было принято, «Вильсона»). В «Скупом рыцаре» автор сам сделал подзаголовок: «Сцены из Ченстоновой трагикомедии *“The Covetous Knight”*» — но вроде бы англичанин Уильям Шенстон не писал подобной вещи.

Во всех четырех маленьких трагедиях, написанных в Болдине, мотив один: муки унижения, гибель живой души, отчаяние, за которым следует смерть физическая. Яд запретов — медленный яд, отравляющий душу человека, которого держат на цепи, яд, сводящий в могилу. В «Пире во время чумы» мысль о смерти — основа происходящего. Вальсингам не в состоянии жить в той действительности, которая его окружает. Воспоминания гнетут его, он разрывает связи с людьми, отменяет привязанности; он агрессивен даже по отношению к самому себе.

Есть упоение в бою

У бездны мрачной на краю. (V.356)

Не об этом ли состоянии Пушкин говорил Нащокину: желании броситься со скалы вниз? Выходит, есть упоение и в «дуновении чумы», которое Пушкин испытал на себе год назад в Арзруме. На фоне дуновения холеры в округе Болдина это звучит вполне ощутимо. Кстати (возвращаясь к географии): Вальсингам размышляет о веселых и мирных ручьях чужой страны, но не хочет думать о страданиях собственной родины.

Прозрачные аналогии возникают в «Каменном госте». Пушкинская интерпретация Дон-Жуана (у него Дон Гуан) накануне собственной свадьбы поэта — не свободная любовь, не эротика, но гибель свободы и рабство в браке. «Независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы», — рассуждает Пушкин. Фраза Дон-Жуана очень точно опреде-

ляет суть брака самого поэта: «Я ничего не требую, но видеть вас должен я, когда уже на жизнь я осужден». Дон-Жуан ищет смерти через любовь. Похоже, Пушкин делает то же самое.

Он еще не женился, а уже разочарован в семейной жизни, судя и по написанному в Болдине «Домику в Коломне». Была даже попытка расшифровать это название как «Домик колом мне», что, на наш взгляд, уж совсем нелепица⁴⁴. Но факт, что Пушкин надломлен, устал от жизненных перипетий. «Я воды Леты пью», — пишет он. Творческий подъем в Болдине сочетается у него с весьма скептическим взглядом на происходящее в литературе.

На мелочах мы рифмы заморили,
Могучие нам чужды образцы.
Мы новых стран себе не покорили...

И дальше:

...Пегас
Стар, зуб уж нет. Им вырытый колодец
Иссох. Порос крапивою Парнас;
В отставке Феб живет, а хороводец
Старушек муз уж не прельщает нас.
И табор свой с классических вершинок
Перенесли мы на толкучий рынок. (IV.236)

Вяземский в тон приятелю в письме к нему называет русскую литературу *литературочкой*, а потом *литерадурочкой*. А тем временем Пушкин, подсмеиваясь над братьями-писателями и над собой, заканчивает в Болдине главный роман своей и нашей жизни «Евгений Онегин».

Не случайным кажется, что, переходя на семейную стезю, он спешит закруглить текст и поставить точку, чтобы расстаться с Онегиным — своим *alter ego*. Поэт бросил Онегина «в минуту злую для него» в марте 1825 года. Год спустя, пребывая на даче в Царском Селе, написал важную вставку — письмо героя к героине. Решение о добавке письма в текст возникло, возможно, под влиянием чтения. Вяземский перевел на русский язык «Адольфа» Бенжамена Констана и дал рукопись Пушкину. Позднее перевод вышел с посвящением ему. Пушкин внимательно читал, подчеркивая карандашом заинтересовавшие его места и

обороты. Анна Ахматова отмечала, что таких заимствований Пушкин много сделал и у Бальзака⁴⁵.

Время меняет знаки в отношении к героям романа, к его стилю и форме. Говорилось, что в «Онегине» мало русского и все сплошь западное, и что западного нет, а все сплошь отечественное. Боратынский писал о пушкинском романе Киреевскому: «Форма принадлежит Байрону, тон тоже». А. Мартынов в середине прошлого века писал, что в «Евгении Онегине» повсеместно проявляется подражание, облик западного мудрования, русского же духа и слыхом не слыхано, и видом не видано⁴⁶. Сто тридцать лет спустя советский критик К. Тюнькин обвинял Мартынова в «реакционной тенденции», которая «приобрела характер политического доноса»⁴⁷.

Взятие в долг тем, мыслей, оборотов из иностранной литературы не считалось тогда зазорным. Наоборот, было принято, широко распространено, приветствовалось литературными журналами и не скрывалось авторами. Пушкин, как и все его сверстники, много занимался переводами из европейской литературы. Он лучше многих других умел переносить на русскую почву достижения европейских писателей. Роман Констанана о бесцельном и безвольном молодом французе, сыне своего века, потерявшем точки соприкосновения с обществом, в котором жил, появился в 1815 году и стал своего рода эталоном для целого ряда романов, включая «Онегина», впрочем, как считал сам Пушкин, опосредованно, через Байрона.

Традиционно писалось, что строфа романа придумана Пушкиным и потому называется онегинской, однако сегодня это мнение можно считать ошибочным. Строфа из четырнадцати строк заимствована у Парни и Байрона — из произведений с астрофической композицией⁴⁸.

Пушкин начал с того, что сделал героя повесой вроде многих своих приятелей, а потом стал примеривать Онегину разные ролевые функции: масона, даже участника в декабристском заговоре (по-видимому, от скуки). 19 октября 1830 года, в День Лицея, поэтом совершается некая акция, содержание которой отмечается в дневнике: «Сожжена X песнь» (VIII.19). Мотивы сожжения не ясны. Была ли опасность в тот момент? Может, огню преданы воспоминания об экстремистских стихах самого Пушкина? Предварительно он главу зашифровал, значит, думал адресоваться к потомкам или отправить в Лондон к та-

мошному беглецу Николаю Тургеневу? Онегин изменился вместе с кукловодом-автором и в декабристы больше не собирался, чем осложнил работу советских пушкинистов.

«Лишнего человека» Онегина точнее бы назвать *скитальцем*. Слово и суть подметил Достоевский. Роман начинается с приезда Онегина в чужую среду: «В глуши, в сердце своей родины, он конечно не у себя, он не дома. Он не знает, что ему тут делать, и чувствует себя как бы у себя же в гостях»⁴⁹. Зародилась проблема, нам кажется, вместе с появлением интеллигентных людей. Лишним почувствовал себя Андрей Курбский, лишним оказался Николай Новиков. В отличие от Радищева, твердо решившего, что пора упереть палец в чудище (читай — в систему), Новиков, мирный масон и умеренный просветитель, попал в тюрьму вообще ни за что. Думающие граждане в России мешают власти тем, что они думают. Их усилия уходят в песок, способности не востребуются, они отходят от дел и общественной карьеры.

Краешком ума власти во все времена понимают, что такие люди полезны, но они раздражают начальников, и те пытаются заставить их работать «в русле», а если не получается, сбрасывают фигуры с шахматной доски. Правильнее назвать русских интеллигентов не лишними, а лишенными, то есть, по-советски, лишенцами, ибо они лишены слова, дела, права, стеснены в возможности служить стране и миру и становятся внутренними эмигрантами. Оттого они и бегут, превращаясь в бездомных скитальцев, или обретают вторую родину.

В русской литературе лишний человек был характером, частично заимствованным из европейской романтической беллетристики. После 1825 года, когда стали завинчиваться гайки, лишних людей сделалось много. Расправившись с декабристами, власти продолжали вытеснять сочувствующих им да и просто думающих граждан, а на их место в госаппарат, журналистику, литературу пошли посредственности.

Определение Д. Мирским лишнего человека как «неэффективного идеалиста» кажется ошибочным⁵⁰. Есть попытки подойти к пониманию проблемы с другой стороны. Славист Джесси Кларди считает, что это «эгоцентрик, страдающий маниакальной депрессивностью»⁵¹. На деле, лишний человек отчетливо оценивает реальность и вполне эффективен хотя бы самим присутствием в обществе.

Что касается прототипа самого популярного лишнего человека Онегина, то сам Пушкин и был живым лишним человеком в России. Не первым, но одним из самых значительных, и потому его *лишность*, или, если угодно, *лишничество*, приобретало символический характер. Состояние изоляции было неотъемлемым чувством самого Пушкина едва ли не всю жизнь; с юности и до конца он оставался бездомным, если не считать домом без конца снимаемые им комнаты в отелях да чужие квартиры. А шире — *лишничество* объемлет его духовную бездомность под гнетом известных обстоятельств, что, как в зеркале, отразилось в Онегине.

Пушкин думал о своем *лишничестве*, когда начал писать роман в стихах. Герой романа менялся вместе с его автором, ибо сам Пушкин также выталкивался из жизни. Он оказался чужеродным телом в России и, естественно, для лучшего понимания хотел поглядеть на нее со стороны. Рассматривая жизнь Пушкина, приходится отметить, что в нашем отечестве интеллигентность, которая есть соединение образованности, общей культуры и склада ума, — вообще большой недостаток, если не беда.

Образованность насаждалась для практических нужд: для военной техники и науки; остальное оказывалось неким придатком. Интеллигентность пришла в Россию с Запада — со шведами, иезуитами, немцами, французами, завозилась посредством книг и писем. С точки зрения властей интеллигентность стала болезнью, и лучшая часть дворянства постепенно заражалась ею, как чумой. Спасаться можно было только за границей. Пушкину для сохранения равновесия души и спасения таланта надо было уехать, то есть из бездомного превратиться в скитальца, — такова печальная судьба клана лишних людей.

Лишничество не было диссидентством, как иногда кажется со времени Чацкого. Герцен говорил, что в России есть много лиц, которые если и просят о чем-то правительство, то разве лишь о том, чтобы их оставили в покое, но и это при деспотизме является оппозицией, проявлением индивидуальной воли, раздражает власти. В Болдине Пушкин активен и рвется в Москву, но пройдет четыре года, и то, что казалось тяжелой ссылкой — деревня вроде онегинской, — станет его заветной мечтой: вырваться на Запад невозможно, так хотя бы уединиться.

С точки зрения реалистического романа, каковым принято считать «Онегина», последствия выхода Евгения на дуэль — самое труднообъяснимое обстоятельство. Вопрос о том, осуждает ли Пушкин в своем романе дуэль, имеет в литературе своих сторонников и противников. Нам кажется (не касаясь личных склонностей поэта), что Пушкин не осуждает и не восхваляет, а лишь следует жизненным коллизиям, имевшим место.

В романе имеется вакуум: а что произошло с убийцей после нарушения закона, запрещающего дуэли, то есть после совершения *преступления*? Арест? суд? или — побег? Дуэль со смертельным исходом делала логичным отъезд Онегина за границу, хотя Пушкин ни словом не обмолвился о грозивших Евгению неприятностях. Так могло случиться, если доктор за взятку констатировал случайную смерть Ленского, например, на охоте. Но Пушкин предпочел, чтобы врач зафиксировал другое. Ленского хоронят вне кладбищенской ограды, а значит как самоубийцу:

Там у ручья в тени густой
Поставлен памятник простой.

Стало быть, нет никакого следствия, а убийца благополучно путешествует по России, не прячась от полиции, и со скуки влюбляется. Уж где тут реальность и где набившая оскомину формула Белинского «энциклопедия русской жизни»?

Словом, за границу! Пушкина не пустили, и его герой по замыслу автора отправляется туда вместо него. Не исключено, что к отправке Онегина в путешествие вместо себя Пушкина подтолкнула поэма Боратынского «Бал». Ее герой Арсений — литературный родственник Евгения.

Он ненадолго посещал
Края чужие; там искал,
Как слышно было, развлеченья
И снова родину узрел;
Но, видно, сердцу исцеленья
Дать не возмог чужой предел.

Биограф Боратынского пишет, что «Боратынский отправляет своего героя в чужие края по собственному усмотрению»⁵². Но Боратынский в оправдании не нуждается.

ся, ибо путешествие Онегина пишется позже. Здесь важна мысль: чужой предел не отторгает, а, наоборот, способствует прочувствованию любви к родине. В Болдине, однако, возникают трудности с главой «Путешествие Онегина», в которой не все ясно, поскольку не до конца ясно было и самому поэту.

Онегин отправляется в вояж только по России: в Нижний Новгород и к югу. Старые впечатления автора об Одессе нашли место в романе. Есть свидетельство Павла Катенина, упрекнувшего Пушкина в чрезмерной близости «Онегина» байроновскому «Паломничеству Чайльд-Гарольда». Катенину Пушкин объяснял, что выкинул из окончательного текста романа главу про путешествие героя из-за описаний военных поселений, ибо без них глава становилась куцей. Конечно, описание военных городков опубликовать бы не разрешили. Но есть и другое мнение, высказанное В. Набоковым. Ему, эмигранту, понять это было важно.

Чацкий у Грибоедова три года путешествовал за границей. «Онегинское путешествие, — пишет Набоков, — с момента отъезда из Петербурга до возвращения в августе 1824-го, тоже продолжается три года. Но был ли он за рубежом между отъездом из поместья и отъездом из Петербурга в турне по России? Писатели идеологической школы, такие, как Достоевский, были уверены, что Онегин ездил за границу не потому, что они тщательно изучали текст, но потому, что они знали его смутно и смешивали Онегина с Чацким. Факт, что Пушкин мог задумать послать своего героя за границу, предполагается нами на основе двух доказательств»⁵³.

Набоков отмечает, что онегинское имение было на расстоянии 650 километров от германской границы. Он ссылается на черновик Пушкина:

И наш Онегин поскакал
Искать отраду жизни скучной
По отдаленным сторонам,
Куда не зная точно сам. (Б. Ак.6.442)

Не близко, а стало быть, не в России, по мнению Набокова, была та отдаленная сторона, где не скучно. В другой выброшенной поэтом из «Путешествия Онегина» строфе говорится столь же ясно, что Онегин вернулся из Западной Европы, — с чего бы иначе бредить Россией:

Наскуча слыть или Мельмотом,
Иль маской шеголять иной,
Проснулся раз он Патриотом
В Hotel de Londres, что в Морской.
Россия мирная мгновенно
Ему понравилась отменно,
И решено — уж он влюблен,
Россией только бредит он.
Уж он Европе ненавидит
С ее политикой сухой,
С ее развратной суетой.
Онегин едет, он увидит
Святую Русь, ее поля,
Селенья, грады и моря. (Б. Ак.6.476)

Нагулявшись в Европе, Онегин — о чем Пушкин говорит с иронией — соскучился по России и хвалит ее, а Европу, которая ему надоела, ругает на чем свет стоит. Ю. Лотман в комментарии к роману, подробно пересказав рассуждения Набокова о заграничном вояже Онегина, в конце упрекает Набокова: «Предположения о том, что патриотические настроения Онегина — реакция на предшествовавшее путешествие по Западной Европе... малоубедительны»⁵⁴. На наш же взгляд, именно Набоков вполне логичен. Пушкин откровенно издевается над толпой российских обывателей. Для него несносно

... вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей. (V.146)

Патриотизм как смена декораций вполне логичен. Почему же Пушкин, которого не выпускали за границу, в конечном счете передумал и не выпускает за границу своего героя? из подобия себе? из ревности? А может, это намек на то, что не один Пушкин томился, поскольку ему разрешали путешествовать только по пыльным ухабам российского бездорожья из одного захудалого провинциального города в другой?

Однако ж, если говорить об оставленных Пушкиным текстах, видна неувязка: Онегин путешествовал только внутри империи, и его путь от Петербурга до Крыма

продолжался более двух лет, а все путешествие три года, что при постоянной охоте Онегина «к перемене мест» почти немислимо. Сперва «Путешествия Онегина» поэт назвал «Странствие Онегина». Однако заглавие «Странствие», содержащее смысл «путешествия по странам» (у скитальца Байрона *pilgrimage* Чайльд-Гарольда, по-русски *пилигримство*) за отсутствием личного опыта автора, а стало быть, вторичности написанного, пришлось отменить. В результате пять лет писал поэт главу о путешествиях героя, а в окончательном варианте романа изъясил вообще.

У Пушкина могло быть и еще одно соображение: пусть он Онегина за границу, развязка повторила бы «Горе от ума», а поэта и без того немало упрекали в заимствованиях. Остается размышлять о том, какими сочными вышли бы «Странствия Онегина» из-под пера создателя, побывай автор в Западной Европе.

Впрочем, основная, как нам кажется, причина того, почему Пушкин отказался включать «Странствие Онегина» в роман, была простой и отнюдь не творческой. Поэт передал две главы («Странствие» и «Большой свет») на прочтение императору, — стало быть, безусловно хотел опубликовать. Царь забраковал главу о путешествиях, разрешив печатать лишь мелкие отрывки из нее. Нам остается догадываться, что именно показалось Николаю Павловичу непечатным. Может быть, пыль и грязь в Одессе? Или следующая деталь: в черновиках Пушкин вдруг склонился к упоминанию слуха об Онегине:

Замечен он. Об нем толкует
Разноречивая молва.
Им занимается Москва,
Его Шпионом именует... (V.468)

Притом, как видим, Шпион — с большой буквы. Возможно, тут намек на куперовского «Шпиона», еще в 1825 году переведенного на русский. А все же более вероятна аналогия со слухом о самом поэте. Двусмысленным оставалось положение его после аудиенции с царем в 1826 году: обещанная свобода и реальная тайная слежка. А слух разнесся, что поэт завербован Третьим отделением. Он перенес слухи на своего двойника, а именитому цензору это не понравилось.

Пушкин пытается выбраться из Болдина через холерные карантинные пункты, но возвращается обратно. Он не знает, что 17 ноября 1830 года в Варшаве началось восстание против русских. В России власти в панике, все держится в секрете, но в Москве и Петербурге польские события ни для кого не тайна. Полякам надоело быть придатком Российской империи. Едва русский холод побеждает холеру, поэт является из Болдина в Москву. Он жаждет узнать, что творится на Западе, прежде всего во Франции и Польше. Новости поступают медленно.

Известие о польском восстании его «совершенно потрясло». Пушкин сообщает Вяземскому: «Лиза голенькая пишет мне отчаянное политическое письмо» (X.257). О чем? Письмо не сохранилось, и можно только предположить, что оно о Польше. Усилия покойного царя Александра придать отношениям с Польшей более цивилизованный характер сведены, по мнению Пушкина, Николаем нанет. Это возмущает поэта, так как «ничто не основано на действительных интересах России и опирается лишь на соображения личного тщеславия, театрального эффекта и т. д.» (X.650). Может, Пушкин сочувствует варшавянам? «Любовь к отечеству в душе поляка всегда была чувством безнадежно мрачным», — пишет он. Не таким ли является его собственное чувство по отношению к России?

Польша бродила, русская власть в ней шаталась. Наступающая война всегда связана у Пушкина с возможностью побега. Так было в Кишиневской ссылке, в Москве, когда он просился в действующую армию. Так и теперь: когда назревает польское восстание за независимость, у него возникает желание очутиться в Польше.

По предложению Сергея Киселева накануне нового 1831 года Пушкин пишет письмо в Бухарест своему кишиневскому знакомому Николаю Алексееву, возобновляя старую дружбу, слегка покрывшуюся пылью. В письме, приложенном Киселевым, видимо, уже без Пушкина, прибавлен комментарий к состоянию поэта: «Пушкин женится на Гончаровой; между нами сказать, на бездушной красавице, и мне сдается, что он бы с удовольствием заключил отступной трактат!»⁵⁵ Впрочем, нам сдается, Пушкин это прочитал.

Расторгнуть брачный договор и свободным ехать в Польшу, как Байрон ехал в Грецию, — не такая ли мысль на уме у поэта? Подробности остались тайной, но факт.

что, вопреки логике предстоящей женитьбы, а может, именно из-за нее, Пушкин обговаривает с близкими друзьями этот вариант. Он учится польскому языку, для чего приобрел две польских грамматики и словарь. «Пушкин, измученный проволочками со свадьбой, — отмечает исследователь, — строит планы об отъезде в Польшу»⁵⁶.

Нащокину поэт говорил, что бросит все и уедет драться с поляками. «Там у них есть один Вейскопф (белая голова): он наверное убьет меня и пророчество гадалщицы сбудется»⁵⁷. В другом месте Нащокин обосновывает намерение Пушкина бежать в Польшу вовсе не суеверием, а другой, более весомой причиной: «...Он хотел было совсем оставить свою женитьбу и уехать в Польшу единственно потому, что свадьба по денежным обстоятельствам не могла скоро состояться». Собираясь в Польшу, Пушкин напевал приятелю Нащокину: «Не женись ты, добрый молодец, а на те деньги коня купи»⁵⁸. Он решил пустить деньги на отъезд, вместо того чтобы израсходовать их на свадьбу. Польша, как раньше Арзрум — очевидно, надежда очутиться за пределами России.

Предчувствия не обманули Пушкина, но сделать шаг он опоздал. 13 января 1831 года Польский Сейм провозгласил, что Дом Романовых лишен польского престола. В тот же день русские войска под командованием Дибича вступили в Польшу. Реакция Пушкина незамедлительна. Слово «тоска» становится едва ли не наиболее часто употребляемым, а также «тоска!» и «тоска, тоска!» (V.172 и 173).

Сомнения мучат Пушкина. Он устал от бесцельных попыток выехать, от неуверенности, следует ли жениться, от литературных конфликтов, борьбы, — словом, выдохся. Перелистывая черновики, поэт обращается к стихотворению, которое начал писать два или три года назад и не окончил. Тогда «Кто знает край, где небо блещет» оставалось радостным описанием теплой и солнечной Италии. Теперь, в стихотворении «Когда порой воспоминанье», куда попадают строки, написанные ранее, Пушкин сообщает о желании скрыться от людей, слабый глас которых он ненавидит, не в Италию, а «к студеным северным волнам», на дикий, печальный остров. Комментарий Б.Томашевского: «По-видимому, стихотворение написано под влиянием тяжелых размышлений о будущем, таком же ненадежном, как и прошлое» (III, 204, 459). Вера в перемены к лучшему опять потеряна.

Весело описанная хандра, свойственная Онегину, овладела самым автором романа в стихах вполне серьезно. Хандра, по словарю — скука, уныние. А само слово происходит от *ипохондрии*. Ипохондрия толкуется как медицинский термин: болезненно-угнетенное состояние, тоска, подавленность. В этом состоянии Пушкин узнал о внезапной кончине Дельвига.

Глава четвертая ПОИСКИ НИШИ

*Я хотел ехать за границу — меня не пустили,
я попал в такое положение, что не знал,
что мне делать, — и женился.*

Пушкин — Карлу Брюллову⁵⁹

Он сознается в этом позже, незадолго до собственной смерти, а пока, безуспешно пытаясь отделаться от мрачных предчувствий, тонет в свадебной суете. Смерть друга суету прервала.

Создание «Литературной газеты» теперь приписывается больше Пушкину, чем Дельвигу. Профиль Пушкина, а не Дельвига красуется рядом с заглавием «Литгазеты» ныне. Но газетные дела не сильно занимали Пушкина. В редакции целиком хозяйничал один Дельвиг, за исключением двух месяцев, когда в связи с его отъездом газету делал Пушкин. Он пишет «критики» на своих противников и сочиняет для газеты мелочи, в том числе в небольших дозах поругивает отечественное, похваливает зарубежное, например, восторгается английской пародией и стыдит российскую. Но как только появился Вяземский, Пушкин бросил дела ему и поехал в Москву.

Очередной номер «Литгазеты» вышел в конце октября 1930 года, а вскоре генерал Бенкендорф потребовал Дельвига к себе. Причиной, как чуть позже выяснилось, была информационная заметка об июльской французской революции, которую упоминать в печати было, оказывается, запрещено. Ввели Дельвига жандармы. «Что ты опять печатаешь недозволенное?» — спросил Бенкендорф, обращаясь к поэту на ты. Барон Дельвиг вынул было из карма-

на номер газеты, чтобы показать генералу, но Бенкендорф заявил, что он все знает, никаких оправданий слышать не хочет и что эта троица друзей — Дельви́г, Пушкин и Вяземский — ему надоела. Бенкендорф обвинил Дельвига в том, что тот собирает у себя молодых людей и восстанавливает их против правительства.

Откуда Бенкендорфу стало это известно, не скрывалось. На Дельвига донес Булгарин. Дельви́г возразил, что это недоразумение, что Булгарин у него никогда не бывает, что донос ложный. Попытался даже пошутить, дескать, он не считает Булгарина своим знакомым точно так же, как и Бенкендорф, для которого тот не знакомый, а лишь агент. Шутить в тайной полиции рискованно. Может, это и взорвало Бенкендорфа? Он затопал ногами и выгнал Дельвига с криком: «Вон, вон! Я упрячу тебя с твоими друзьями в Сибирь!» «Литературная газета» была запрещена. Дельви́г расхворался, «впал в апатию»; не ясно, что именно произошло. Не инфаркт ли? Сердце у него остановилось.

Пушкин потрясен. Он оплакивает смерть друга, преданного ему с лицейской скамьи, ибо «никто на свете не был мне ближе». Он пишет Плетневу: «Считай по пальцам, сколько нас? ты, я, Боратынский, вот и все» (X. 261). Итог хотя и несколько зауженный, но печальный: шестеро из лицейцев уже ушли «во мрак земли сырой». Кончина Дельвига усилила чувство пушкинского одиночества, напомнила о собственном бесправии, прибавила очки в пользу женитьбы.

До свадьбы Пушкина остается месяц. В письме Афанасию Гончарову, деду невесты, поэт сообщает: «Сношения мои с правительством подобны вешней погоде: поминутно то дождь, то солнце. А теперь нашла тучка...» (X. 239) Круг жизни на глазах сужается. Тревога сопровождает поэта едва ли не постоянно, и, как ни странно, при наличии невесты чувство одиночества обостряется.

К недобровольной петле — слежке и цензуре — добавляется добровольная, но весьма выгодная власти петля, которую он сам на себя надел. Несвобода гражданская (отсутствие «чувства вольного») замыкается вторым кругом, частным: женитьбой. Брак узаконивал его ошейник, свободная любовь оборачивалась семейным принуждением: «когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел...» Теперь частица «бы» в формуле зачеркивалась. Поэт ста-

новился двойным узником, предвидя чутким и дальновидным умом, что семья станет для него ловушкой, которой до того ему удавалось избегать.

Еще в Михайловском он писал:

Подобно птичке беззаботной,
И он, изгнанник перелетный,
Гнезда надежного не знал
И ни к чему не привыкал.
Ему везде была дорога,
Везде была ночлега сень;
Проснувшись поутру, свой день
Он отдавал на волю Бога,
И в жизни не могла тревога
Смутить его сердечну лень. (II.154)

Беззаботная птичка осталась в стихах. Чем старше становится «изгнанник перелетный», тем тяжелее ему ощущать свою неустроенность и неприютность, жить без гнезда, не имея ни дома, ни семьи. Влюбчивость и временные связи не заменяли семейной любви, донжуанский список не заменял одной женщины, которая могла бы стать его половиной. Сто двенадцать женщин отлюбил Александр Пушкин; стотринадцатая сделалась женой.

Наталья Гончарова-Пушкина-Ланская — безусловно, самая популярная женщина в истории России, несравненно более популярная, чем боярыня Морозова, Екатерина Великая или Крупская, не говоря уж о женах других классиков или героинях более позднего времени. Хотим мы того или нет, жена поэта давно стала исторической достопримечательностью России, леди № 1 и объектом изучения в пушкинистике. Мнения о Наталье Пушкиной крайне поляризованы. Поклонники считают ее добрым гением поэта, идеальной женой и заботливой матерью. Образ ее обожествляют, объявив эталоном красоты, вслед за его стихом — Мадонной. Другие видят в ней посредственность, простушку. По стечению обстоятельств, доказывают они, эта женщина оказалась супругой великого поэта и из-за недомыслия привела его к погибели.

Какой же она была на самом деле? Ангел, воплощение лучших качеств русской женщины, идеализированной классиками, или дьяволица, возлюбленная убийцы поэта, флиртовавшая с царем, который после смерти поэта вы-

дал ее замуж за своего приближенного? Была семейная жизнь поэта безмятежной или на грани развода? И еще, исходя из эпиграфа, взятого для этой главы: как зависимы два мотива в биографии Пушкина: его многолетнее стремление отправиться в Европу и брак?

Красота Гончаровой современниками оспаривалась, вызывала зависть. Через три дня после свадьбы Пушкины появились в Большом театре на маскараде, и Александр Булгаков с дочерью, посидевший с Пушкиными за одним столом, ревниво отмечал: «Хороша Гончарова бывшая, но Ольге все дают преимущество»⁶⁰. Можно понять ревность отца, который писал о дочери. Дарья Фикельмон записывает в дневнике: «Невозможно быть прекраснее, ни иметь более поэтическую внешность, а между тем у нее немного ума и даже, кажется, мало воображения»⁶¹. Поэт скрашивал жизнь Дарьи Фикельмон, она его теряла: «Что до него, то он перестает быть поэтом в ее присутствии».

Спустя столетие взгляды на жену поэта не находят точек для сближения. «И Пушкину суждено было сгореть в этом огне, — писал о. Сергей Булгаков. — Однако первоначально узел трагедии завязывается в идиллии: Пушкин пытается свить себе семейное гнездо. Отныне его судьба определена встречей с красавицей Гончаровой. Он пережил эту встречу (после других «видений чистой красоты») еще раз как явление «святыни красоты», облакавшей, однако, довольно прозаическую посредственность. Пушкин в ослеплении влюбленности называл ее даже «мадонной», явно смешивая и отождествляя внешнюю красоту и духовную святость»⁶². Под знаком смешения понятий тема существует и поныне.

В литературе совершенствуется образ Натальи. Мария, дочь мифологизированной няни Арины Яковлевой, говорила, что была в доме на Арбате и Пушкин показал ей вышивку крестиком своей жены⁶³. Недавно нашли сочинение, написанное маленькой девочкой. Детский лепет важен, ибо интеллектуальных заслуг взрослой Пушкиной замечено не было.

Невеста восхищала публику как изумительное создание природы, восторг льстил самолюбию поэта, но как с любимым хрупким шедевром искусства, общение с ней было односторонним. Время ему хотелось проводить с друзьями, им читать написанное, с ними дискутировать, пить. В творческой и деловой его жизни невеста участия не при-

нимала, отличаясь от других, духовно близких его подруг, и в сознании мужа возникали резонные вопросы о целесообразности затеянного предприятия. Пушкин пишет Плетневу: «Боратынский говорит, что в женихах счастлив только дурак; а человек мыслящий беспокоен и волнуем будущим. Доселе он я — а тут он будет мы. Шутка!» (X.241)

Из очевидной мужской формулы: если можешь не жениться, не женись, он, кажется, только по упрямству и честолюбию гнул в сторону женитьбы. А если бы узнал невесту лучше, сойдись с ней до свадьбы — пошел бы на брак? Ответ, как теперь многим видится, однозначен. Женитьба показалась Пушкину развязыванием узла, но едва она стала неизбежной, он вдруг увидел ее стеснения. «Ты без ноги, а я женат», — пишет он приятелю Николаю Кривоцову, хотя еще не женился. Не от отчаяния ли мысли о смерти, которым он предается накануне свадьбы?

Некоторые его приятели восприняли свадьбу с романтическим восторгом. Навестив Пушкина в новой квартире, Сергей Глинка писал:

Поэт! Обнявшись с красотой,
С ней слившись навсегда душой,
Живи, твори, пари, летай!..

«Теперь ты *вдвое* вдохновен», — подчеркивал Глинка слово *вдвое*⁶⁴.

Многие были против его женитьбы, — не на Наталье, а вообще, хотя и по разным причинам. Считали, что это помешает творчеству, что он не создан для семейной жизни. Языков пояснял, что «женатый поэт не может уже так ревностно, как должен, служить господе Богу своему, ибо лишен главного условия поэтической деятельности — свободы»⁶⁵.

Пушкин страдает от своего жениховства; вступая в брак, ищет способы избежать женитьбы. Семейное счастье представляется ему нелепым, семейные неприятности — национальной чертой. «Вообще несчастье жизни семейственной есть отличительная черта во нравах русского народа... Свадебные песни наши унылы, как вой похоронный» (VII.197). Соболевский вспоминал после, что из дома невесты Пушкин глядел в окно на гробовую лавку. На месте жениху не сидится. Брат Левушка говорит о его мыслях уехать в длительное путешествие, чтобы спастись.

Вдруг он стал равнодушен к перспективе женитьбы. В январе 1831 года происходит еще одна ссора с матерью невесты. «В городе опять начали поговаривать, что Пушкина свадьба расходится, — пишет Александр Булгаков брату. — Я думаю, что не для нее одной, но и для него лучше было бы, кабы свадьба разошлась»⁶⁶. Помолвка расстроена, он предоставляет Наталье полную свободу. Двигается по инерции к свадьбе, друзей не слушает, но мать невесты помогает ему одуматься.

За три дня до брачной церемонии он пишет Плетневу безо всякой романтики, с каким-то юношеским легкомыслием: «Отчего я сердился? Взять жену без состояния — я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок — я не в состоянии. Но я упрям и должен был настоять по крайней мере на свадьбе» (Х.264). В письме Кривцову Пушкин констатирует, что холодно взвесил все за и против женитьбы, видя ее как выход из тупика. Женитьба состоялась благодаря отцу. Пушкин закладывает имение, получив 38 тысяч рублей и фактически выплачивает теще калым за невесту, 11 тысяч рублей, в результате чего мир восстанавливается.

Через два месяца после свадьбы его обманет дед Наталья Афанасий Гончаров, который обещал отдать ей треть Нижегородского имения. Не вернули и денег, которые Пушкин дал теще займы на приданое. «Дедушка свинья, — сообщает он Нащокину. — Он выдает свою третью наложницу замуж с 10 000 приданого, а не может заплатить мне моих 12 000 — и ничего своего внучке не дает» (Х.300). Вместо обещанного дед пытался всучить доверенность, по которой долги и недоимки пришлось бы платить Пушкину.

Накануне свадьбы Пушкин объясняется с Екатериной Карамзиной, вдовой историка. Он был влюблен в нее в молодости, ухаживал за ней, замужней женщиной, и Карамзин тогда имел некоторые основания, учитывая еще и оскорбительную эпиграмму о прелестях кнута, которые он якобы воспевал, вызвать Пушкина на дуэль. Этого не произошло, и говорить не о чем. Теперь, десять лет спустя, поэт оправдывается перед вдовой Карамзина и одновременно нуждается в сочувствии и одобрении своего шага.

Из гостиницы «Англия» Пушкин перебрался в особняк, снятый у Никанора Хитрово, вблизи места, где они с Соболевским обитали на Собачьей площадке. Хозяева жили в

Орловской губернии, и в доме поэт выглядел хозяином. «Заживу себе мещанином припеваючи», — мечтает он (X. 259).

Когда ему было двадцать лет, он писал:

И, признаюсь, мне во сто крат милее
Младых повес счастливая семья. (I. 335)

Все молодые повесы к тому времени слегка облысели, обженились и завели детей. На мальчишнике накануне свадьбы Вяземский представил друзьям похабное стихотворение, посвященное данному случаю и вызвавшее ухмылки собравшихся.

Церковь Большого Вознесения, в которой якобы венчались Пушкин с Натальей, показывают теперь всем. Она — часть мифологического мемориального комплекса, привязанного к поэту: когда он венчался, церковь еще не существовала, ее достроили и освятили через три года после смерти Пушкина. Когда он женился, около этого места стояла другая, маленькая церквушка Старого Вознесения, ее через несколько месяцев разобрали. В церкви Пушкин, Наталья, их родственники и свидетели подписали «Брачный обыск», в котором утверждалось, что акт совершается по указу Его Императорского Величества, в браке нет кровосмесительства, оба, жених и невеста, в целом уме, «к сочетанию браком согласие имеют вольное и от родителей дозволенное»⁶⁷.

Сперва женитьба подогревается чувством юмора. На другой день после свадьбы в Москве повторяют брошенную женихом крылатую фразу: «Если хочешь попасть в рай — молись, а хочешь в ад — женись». Стало быть, Пушкин теперь на пути в ад. Каков следующий шаг? Иван Грозный в день свадьбы убил свою невесту княгиню Марию Долгорукову. Петр Великий заточил жену в монастырь, чтоб не мешала. А Пушкин утром, после брачной ночи, всего-навсего оставил плачущую жену и ушел кутить с приятелями.

Месяц спустя ему уже не сидится в снятом доме на Арбате, хочется двигаться. «Приезжать ли мне к вам, остановиться ли в Царском Селе, или мимо скакать в Петербург или Ревель? — спрашивает он Плетнева. — Москва мне слишком надоела. Ты скажешь, что и Петербург малым чем лучше; но я как Артур Потоцкий, которому предлагали рыбу удить, предпочитаю скучать иным образом»

(Х.269). Граф Потоцкий, бывший адъютант Наполеона, женатый на сестре Елизаветы Воронцовой, был приятелем Пушкина в Одессе. Возникла мысль о Ревеле (Таллинне), куда летом семьями отправлялись на дачу. Туда надо было испрашивать разрешения, и вряд ли его пустили бы. «Москва — город ничтожества, — пишет он Елизавете Хитрово. — На заставе ее написано: оставьте всякое разумение, о вы, входящие сюда. Политические новости доходят до нас с опозданием или в искаженном виде» (Х. 266, фр.).

Как всегда, он радуется встречам с иностранцами. Получил от Хитрово письмо, рекомендуемое ему английского путешественника и писателя Кольвиля Фрэнкланда, который хотел бы с ним встретиться. Фрэнкланд заходил к Пушкину, но не застал дома, и Пушкин сам навестил его на следующий день. Они сошлись и встречались несколько дней почти ежедневно. Англичанину все было интересно, и Пушкин, учитывая временный покой в собственной душе, рассказывал ему о положении в России, впрочем, в весьма умеренных тонах.

Вернувшись в Англию, Фрэнкланд опубликовал воспоминания о вояже в Россию: «После обеда я гулял по Тверскому бульвару... Я заметил много красивых женщин на прогулке; среди прочих заметно блистала жена поэта Пушкина»⁶⁸. Пушкин позвал Фрэнкланда в гости, присутствовали Киреевский и Вяземский, разговоры были либеральные, критиковали правительство, а «прекрасная новобрачная не появилась». Затем Фрэнкланд приглашен поэтом отобедать в Английском клубе. В конце обеда Пушкин смылся «к своей хорошенькой жене», и иностранцу пришлось платить по счету. «Все поэты имеют право на эксцентричность или рассеянность», — философски заключает Фрэнкланд.

Тем временем Русская армия оккупирует Польшу. Всю весну 1831 года там идет настоящая война, а в Петербурге и Москве полно слухов. Польша волнует Пушкина. Подобно многим своим современникам, он ждет, что произойдут решительные действия. «Вот уже около двух недель, как мы ничего не знаем о Польше, — и никто не проявляет тревоги и нетерпения!» (Х.266) Хитрово хлопотала о переводе Льва Пушкина в армию, действовавшую в Польше, но поехал Левушка в свой полк в Тифлис, поскольку Бенкендорфу доложили, что младший Пушкин напился с французами у Яра и болтал там лишнее.

Поэта беспокоит свобода поляков, но как-то странно. Польшу «может спасти лишь чудо, а чудес не бывает», — пишет он (X. 261). Польше придется превратиться в Варшавскую губернию. «Из всех поляков меня интересует один Мицкевич». Пушкина волнует, как бы Адам Мицкевич не вздумал приехать из-за границы на родину, «чтобы присутствовать при последних судорогах своего отечества». И вдруг, тоже в частном письме, Пушкин принимается восхвалять государя. Что это — угождение начальству или перестройка сознания? Он заявляет, что Варшава должна быть разрушена.

Он стал другим, по его собственному выражению, «переродился». В середине декабря, а затем в начале января 1831 года он в Остафьеве у Вяземских читает свое, слушает чтение приятеля и — бранит его за то, что тот излишне хвалит французских энциклопедистов. Критичность по отношению к западным писателям, теперь возросшую, можно отнести, как отметил Вяземский, за счет ревности. Большой писатель, он по сравнению с западными авторами обделен свободой творчества и передвижения, а следовательно, и европейской известностью, талант его искусственно приглушен и насильно локализован.

Принимает он официальную идеологию искренне или надевает маску? Жорж Стайнер назвал такое поведение «двусмысленным компромиссом писателя с подавляющим аппаратом»⁶⁹. Взгляды Пушкина становятся все умереннее, и, если не меняются на противоположные, то претерпевают серьезные изменения. Он и раньше готов был к компромиссу. Бывало, даже на заказ стихи писал, восхваляющие царя. По просьбе графини Тизенгаузен, которой предстояло приветствовать императора по случаю окончания войны с Турцией, Пушкин сочинил для нее текст, начинающийся словами «Язык и ум теряя разом» и заканчивающийся:

Когда б имел я сто очей,
То все бы сто на вас глядели. (III. 154)

Очаровательная графиня выучила текст наизусть и торжественно произнесла, глядя в глаза Николаю Павловичу. Об авторе стихов царю доложили после.

Бунтарь уже испарился, свобода, согласно новому Пушкину, достижима не самоутверждением, а на пути смирения с обстоятельствами.

О смене ориентиров женившегося Пушкина писать не просто. «Дело в том, что я человек средней руки и ничего не имею против того, чтобы прибавить жиру и быть счастливым, — первое легче второго», — объясняет он Хитрово (X. 639, фр.). Она пытается ему помочь, используя связи, чтобы воздействовать на Николая Павловича. «С вашей стороны очень любезно, сударыня, принимать участие в моем положении по отношению к Хозяину. Но какое же место, по-вашему, я могу занять при нем? Не вижу ни одного подходящего. Я питаю отвращение к делам и к бумагам... Быть камер-юнкером мне уже не по возрасту, да и что стал бы я делать при дворе?» (X. 639) Постепенно, однако, отвращение сменяется на нечто противоположное.

Пушкин стыдится собственного конформизма. Не так давно стихи «Герой» с восхвалениями императора, не побоявшегося холеры, называл своей апокалипсической песней, но просил издателя Михаила Погодина опубликовать «где хотите, хоть в «Московских ведомостях», однако анонимно, «не объявлять никому (он подчеркивал. — Ю. Д.) моего имени. Если московская цензура не пропустит ее, то перешлите Дельвигу, но также без моего имени и не моей рукою переписанную» (X. 246). Даже Дельвига он стеснялся, что написал такие стихи, но — хотел, чтобы тот их напечатал. Погодин автора не отговаривал, но сам стихи не стал печатать. «Герой» появился в «Телескопе». Конформизм, как мороз, крепчает.

Читающая публика быстро узнает секреты, и реакция соответствующая: постепенно поэт теряет литературную популярность. Теперь наряды его жены интересуют всех больше, чем его произведения.

В литературной жизни происходят перемены. «И как тридцатым годом кончился, или, лучше сказать, оборвался период Пушкинский, так как кончился и сам Пушкин, а вместе с ним и его влияние; с тех пор почти ни одного бывалого звука не сорвалось с его лиры», — напишет в «Молве» Белинский⁷⁰. Вяземский сожалеет, что традиции Карамзина забыты: «Если верить некоторым слухам, то проза наша мимо его ушла далеко вперед. Ушла она, это быть может, только не вперед и не назад, а вкось»⁷¹. Пушкин, говоря о Франции, Польше и русской словесности, заявил Погодину: «У нас нет семени литературы». Между тем «семья», по мнению Тынянова, было: поэзия уходила

вкось к Лермонтову, Тютчеву, Бенедиктову⁷². Взгляды следующего поколения менялись, точь-в-точь как это происходит сегодня:

Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились младые поколенья.
Жестоких опытов собирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход. (III. 162)

В Москве он ругает Москву и рвется в северную столицу, которая ближе к Европе. «Итак, г-н Мортемар в Петербурге, и в вашем обществе одним приятным и историческим лицом стало больше. Как мне не терпится очутиться среди вас — я по горло сыт Москвой и ее татарским убожеством!» (X. 653) Это письмо к Хитрово про посла Франции. «...Бывши русским, бывши современным, Пушкин принадлежит в то же время векам и Европе», — писал Полевой⁷³. А поэт жалуется, что у него нет о Европе сведений, питается вторичными источниками. «Ваши письма — единственный луч, проникающий ко мне из Европы», — жалуется он Хитрово (X. 652).

Даже мелкие события во Франции волнуют его больше, чем крупные в России. В отношении первых — вопросы, гипотезы, в отношении вторых — скука.

Недолгое время покоя после свадьбы все-таки наступило. Гости, балы, маскарады, театры, гулянья, бесконечные визиты с молодой женой, юбилеи, чьи-то семейные праздники занимают в ту весну все его время. Иногда он жалуется, но больше, кажется, по инерции русского человека. Капитан Кольвиль Фрэнкленд, побеседовав с ним, отмечал критический настрой поэта по части погрешностей и пороков русского управления. А в целом три месяца весны 1831 года были единственными в жизни Пушкина, когда он, несмотря на денежные конфликты, был, если не беспечен, то, в общем, доволен. «Я женат — и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось — лучшего не дождусь» (X. 265).

За арбатскую квартиру уплачено за полгода вперед, а прожито в ней четыре месяца. Провоцировала конфликты теща, которую Пушкин однажды выгнал из дому. Написал ей, что вынужден оставить Москву во избежание дразн, которые выводят его из равновесия. «Меня расписывали моей жене как человека гнусного, алчного, как презрен-

ного ростовщика. Ей говорили: ты глупа, позволяя мужу и т. д. Согласитесь, что это значило проповедовать развод...» (X. 657) Грустно, что в доме на Арбате, который поэт хотел сделать своей пристанью, не написано ни единой стихотворной строки.

Глава пятая

ПРИМИРЕНИЕ ДУХА С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

*Завтра с первыми лучами
Ваш исчезнет вольный след,
Вы уйдете — но за вами
Не пойдет уж ваш поэт.*

Пушкин. «Цыганы» (III.200)

Планы женившегося Пушкина остаются неопределенными. Об этом, в частности, говорит письмо Вяземского жене, а лучше Вяземского, пожалуй, никто состояние Пушкина тогда не чувствовал. «Разве Пушкин, женившись, придет сюда (в Петербург. — Ю. Д.) и думает здесь жить? Не желаю. Ему здесь нельзя будет за всеми тянуться, а я уверен, что в любви его к жене будет много тщеславия. Женившись, ехать бы ему в чужие края, разумеется, с женою, и я уверен, что в таком случае разрешили бы ему границу»⁷⁴.

Опять Пушкин обсуждает с другом возможность поездки в Европу. Горизонт размышлений сводится, как всегда, к двум простым вариантам: разрешат или не разрешат? Предыдущие отказы отбили охоту униженно просить монаршей милости. После свадебной суеты и расходов жена, житейские заботы занимают его ум, средств ехать в Европу явно недостаточно, и он даже не пытается на этот раз выпрашивать разрешение отправиться на Запад.

14 мая 1831 года Пушкину выдано свидетельство на проезд из Москвы в Петербург, о чем полицмейстер Прецистенской части Миллер сообщил секретным рапортом московскому полицмейстеру Муханову. Перед отъездом Пушкин повидался с Чаадаевым, взяв два философических письма с обещанием их напечатать. Пушкин уехал, но только через полтора месяца в Петербург пошло донесе-

ние обер-полицмейстеру, что находящийся под секретным надзором известный поэт с женой выехал из Москвы и «во время пребывания здесь в поведении ничего предосудительного не замечено»⁷⁵.

Молодожены поселяются на неделю в любимой поэтом гостинице Демута, и начинается карусель визитов. По мнению сестры поэта, жена его — совсем ребенок. Бывшая возлюбленная Елизавета Хитрово не без ревности отмечает, что рядом с женой «его уродливость еще более чем поразительна, но когда он говорит, забываешь о том, чего ему недостает»⁷⁶. А слова дочери ее Долли Фикельмон звучат предостерегающе провидчески: «Жена его — прекрасное создание; но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастья. Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем»⁷⁷.

В Царском Селе ему снята дача, и он перебирается туда с прислугой. Пушкин сам говорит, что медовый месяц «отнюдь не мог бы быть назван у нас медовым» (Х. 654). Он не объясняет почему, но можно догадаться. Покоя в душе нет, внешние обстоятельства все явственней напоминают о неприятностях: холера внутри империи, война с Польшей снаружи, плюс его собственные материальные трудности. Впрочем, медовый месяц давно кончился. Он живет явно не по средствам, жалуясь Нащокину, что расходы в семье возросли в десять раз.

Холера гуляет по России, мешает жить, препятствует желаниям куда-либо двигаться, косит без разбора. «Лазареты устроены так, что они составляют только переходное место из дома в могилу», — писал житель Петербурга⁷⁸. От холеры умер Великий князь Константин, едва не ставший русским царем. Он бежал из Варшавы и скончался по дороге в Витебске. События в Польше тревожат. Пушкин жалеет поляков, но пишет Вяземскому, что Польшу «надобно задушить, и наша медлительность мучительна». Теперь его беспокоит вмешательство в конфликт европейских государств: «народы так и рвутся, так и лают»⁷⁹.

И все же Пушкину предстоит четыре месяца относительного покоя в Царском Селе. Летняя царская резиденция по духу и по населению ближе к Европе. Тут, неподалеку от царского летнего дворца, изолированного от толпы петербургского простого люда, западные моды, веяния,

связи явственнее даже на улицах и в парке. Публика здесь особая: гуляющие выглядят ярко, много красивых женщин и респектабельных джентльменов. Бальзак в рассказе, написанном в том же году, шутил: «Небо усеяно звездами, как грудь русского вельможи»⁸⁰.

Петербургский свет принял пушкинскую мадонну в открытые объятия. Раньше Пушкин писал: «И счастье тихое меня не веселит» (II. 343), а теперь пишет обратное: об удовольствии тихо быть счастливым. По утрам принимает холодную ванну, а если пишет с утра, днем иногда выбегает, чтобы полить холодной водой голову. Он называет себя гостем из Африки. «Однажды в жаркий летний день граф (А. В. Васильев), зайдя к нему, застал его чуть не в прародительском костюме. “Ну, уж извините, — засмеялся поэт, пожимая ему руку, — жара стоит африканская, а у нас там, в Африке, ходят в таких костюмах”»⁸¹.

Он часто гуляет по парку, бродит по многу верст пешком один, без жены, по дороге утоляет жажду вином. Ему надо зарабатывать доверие государя. Он встречается с императрицей Александрой Федоровной, когда та, больная нервной болезнью, чувствует себя лучше и выходит в парк. Пушкин с женой беседует с государем, прогуливающимся с государыней, и разговор оказывается очень милым. Николай Павлович, если перевести суть дела с великосветского языка на простой, положил глаз на Наталью. Она понравилась, и скоро пушкинская жена станет фрейлиной.

Хорошу жену — в честный пир зовут,
Меня молодца не примолвили.
Мою жену — в новы саночки,
Меня молодца — на запяточки.
Мою жену — на широкий двор,
Меня молодца — за вороточки. (III.378)

Раньше, до женитьбы, записал он эту народную песню и опять, как в воду глядел, про себя: предстоял ему дальнейший путь на запяточках. Погодин пишет Шевыреву в Рим: «Жена его премилая, и я познакомился с нею молча»⁸². Похоже, она молчала не от ума, а если говорила, то ничтожные вещи: никто из очевидцев не запомнил ни единой ее мысли, наблюдения, интересной детали, сказанной ею хоть кому-нибудь о собственном муже.

Поэт гордился женой, а над ним посмеивались. Екатерина Кашкина, двоюродная тетка, пишет Прасковье Осиповой: «С тех пор, что он женился, это совсем другой человек, — положительный, рассудительный, обожающий свою жену. Она достойна этой метаморфозы, так как утверждают, что она столь же умна, как и красива, — осанка богини, с прелестным лицом; и когда я его встречаю рядом с его прекрасной супругой, он мне невольно напоминает портрет того маленького очень умного и смышленного животного, которое ты угадаешь и без того, чтобы я тебе назвала его»⁸³. Письмо, как видим, язвительное.

Стихи не пишутся. Будучи за границей, Соболевский с грустью воспринял вести о женитьбе Пушкина. Путешествуя по Европе, он писал из Турина Степану Шевыреву: «Да что с ним, с нашим Пушкиным, сделалось? Отчего он так ослабел? От жены ли или от какого-нибудь другого все исключаящего, все вытесняющего большого труда?»⁸⁴ Можно только сожалеть, что писем Соболевского к Пушкину, кроме трех, не сохранилось.

«Умолкну скоро я...» — написал он десять лет назад, но, к счастью, не умолк и теперь примиряется с жизнью. Александр Булгаков вспомнил слова Пушкина: «Не стихи на уме мне теперь»⁸⁵. Сам Пушкин объясняет Плетневу: «Кабы я не был ленив, да не был жених... я бы каждую неделю писал бы обозрение литературное — да лих терпения нет, злости нет, времени нет, охоты нет. Впрочем, посмотрим. Деньги, деньги: вот главное, пришли мне денег» (X. 260).

Теперь надежда на заготовленную в Болдине прозу. Замысел «Повестей Белкина» был, по-видимому, шире. Во всяком случае, перед отправкой рукописи издававшему ее Петру Плетневу оказалось, что текст слишком короток для отдельной книги, и Пушкин дает указания, как ее раздуть: оставлять как можно больше белых мест, на странице помещать не более восемнадцати строк (для сравнения скажем, что в пушкинском «Современнике», тоже сильно разбавленном, на странице свыше тридцати строк). Чтобы утолстить книгу, Пушкин просит набрать имена полностью, вроде Иван Иванович Иванов, а все числа печатать буквами, что должно прибавить тексту еще немного длины.

Французская революция подтолкнула Пушкина к мысли писать историю Франции. Можно было предвидеть, что замысел столь грандиозный останется нереализованным.

ибо на такой труд нужны годы и свободный доступ к источникам. Тем не менее летом он заводит тетрадь для выписок, в ней собирает детали прочитанного, пишет введение. Попробовал дать делать выписки жене; она скопировала из журнала подчеркнутую мужем мысль о важности конституционной монархии во Франции. Для Пушкина неожиданный этот замысел мог стать важным этапом формирования меняющихся его взглядов. Для жены такая помощь ему оказалась не по плечу — больше он ей литературных дел не доверял.

Петру Чаадаеву, который отдал Пушкину законченные части «Философических писем», важно было услышать мнение поэта, и философ с нетерпением ждал отзыва. Не до того было Пушкину: суета поглотила его. Чаадаев почувствовал это раньше других, ибо в письме стыдил: «Нет более огорчительного зрелища в мире нравственном, чем зрелище гениального человека, не понимающего свой век и свое призвание. Когда видишь, как тот, кто должен был бы властвовать над умами, сам отдаётся во власть привычкам и рутинам черни, чувствуешь самого себя остановленным в своем движении вперед; говоришь себе, зачем этот человек мешает мне идти, когда он должен был бы вести меня? Это поистине бывает со мною всякий раз, как я думаю о вас, а я думаю о вас столь часто, что совсем измучился»⁸⁶.

Пушкин не сразу прочитал чаадаевскую рукопись и не вернул ее, а была договоренность, что станет хлопотать насчет опубликования в одном из петербургских журналов. На даче в Царском Селе Пушкин с «Философическими письмами» ознакомился. Содержание оказалось опасным, не могло не насторожить. Будучи опубликованным в журнале «Телескоп» пять лет спустя, оно вызвало взрыв возмущения начальства: журнал закрыли, автора письма объявили сумасшедшим. Почувствовав опасность, Пушкин медлил с ответом. Посылать рукопись Чаадаеву по почте неразумно, нужна оказия. Но и с оказией ответить Пушкин не сумел из-за холеры, хотя давал текст Погодину, Жуковскому, Вяземскому.

Через полтора месяца после отъезда Пушкина Чаадаев, не без оснований обиженный невниманием, полагая, что срок для прочтения более чем достаточный, пишет поэту: «Что же, мой друг, что случилось с моей рукописью? От вас нет вестей с самого дня вашего отъезда. Сначала я колебался писать вам по этому поводу, желая, по своему обык-

новению, дать времени сделать свое дело; но подумавши, я нашел, что на этот раз дело обстоит иначе. Я окончил, мой друг, все, что имел сделать, сказал все, что имел сказать; мне не терпится иметь все это под рукою. Постарайтесь поэтому, прошу вас, чтобы мне не пришлось слишком долго дожидаться моей работы, и напишите мне поскорее, что вы с ней сделали. Вы знаете, какое это имеет значение для меня?»⁸⁷ Несмотря на внешнюю вежливость, письмо требовательное. Автор его в недоумении и обижен: «не терпится иметь все это под рукой», да и сколько же можно ждать?

Чаадаев не ведает, что за день до написания этого письма Пушкин ответил, — письма, таким образом, разминулись. В ответе непонимание: «Ваша рукопись все еще у меня; вы хотите, чтобы я вам ее вернул? Но что будете вы с ней делать в Некрополе?» (Х.659) Пушкин объясняет Чаадаеву, что не смог поговорить насчет издания, отмечает слабые места и свои разногласия с автором, хотя и хвалит новый подход к темам. Пишет, что «мало понятны первые страницы», что ощущается «отсутствие плана и системы во всем сочинении». Об опасных мыслях в философических письмах предпочел ничего не упоминать. Одновременно Пушкин признается, что плохо излагает свои мысли. Почему? Не хочет критиковать? Занят другими делами и спешит? Избегает писать, что думает?

Прошло еще двадцать дней. Возможно, из-за холерных карантинных рукопись так и не вернулась к Чаадаеву, да и пушкинского объяснительного письма он не получил. Чаадаев начинает нервничать и снова требует от Пушкина: «...Я писал вам, прося вернуть мою рукопись; я жду ответа. Признаюсь вам, что мне не терпится получить ее обратно; пришлите мне ее, пожалуйста, без промедления. У меня есть основания думать, что я могу ее использовать немедленно и выпустить ее в свет вместе с остальными моими писаниями. Неужели вы не получили моего письма?»⁸⁸ Как видим, Пушкин ничего не выяснил насчет публикации в Петербурге, но и не дает возможности Чаадаеву попытаться самому издать написанное в Москве.

Чаадаев ждет еще два месяца. Признание Пушкина в том, что он ничего не сделал, получено, а рукопись — нет. В очередном письме из Москвы сарказм и скрытое раздражение: «Ну что же, мой друг, куда вы девали мою рукопись? Холера ее забрала, что ли? Но слышно, что холе-

ра к вам не заходила. Может быть, она сбежала куда-нибудь? Но, в последнем случае, сообщите мне, пожалуйста, хоть что-нибудь об этом». Чаадаев давно чувствует расхождение. «Вам хочется потолковать, говорите вы: потолкуем, — пишет он. — Но берегитесь, я не в веселом настроении, а вы, вы нервны. Да притом, о чем мы с вами будем толковать?»⁸⁹

По поводу рукописи Пушкин хранит молчание. Комментаторы чаадаевского собрания сочинений предполагают, что Пушкин вернул рукопись в декабре 31-го, но доказательств нет. Возможно, вернул позже, а то и вообще не вернул. А что если она попала, куда не надо? У Пушкина оправдания: юная жена, семейные заботы, финансовые проблемы, наконец, эпидемия холеры, кордонами отделившая Царское Село от остального мира. Можно даже предположить, что Пушкин оберегал друга от беды, связанной с изданием взрывоопасных писем.

О чем, казалось бы, мечтать поэту? Славы больше и быть не может: его узнают на улице. Жена поэта — предмет поклонения в обществе, скоро будут дети. Все цели достигнуты, но что-то тяготит его. Скептицизм зреет. Он втянут в окололитературные конфликты, многим и многими недоволен. «Если бы ты читал наши журналы, — пишет он Нащокину, — то увидел бы, что все, что называют у нас критикой, одинаково глупо и смешно» (X. 285). Он принимается за перевод отрывка из дантовского «Ада»:

И дале мы пошли — и страх обнял меня.

Бес в этих стихах крутит ростовщика у адского огня.
Еще бы: ростовщики отравляют жизнь поэта!

Тогда других чертей нетерпеливый рой
За жертвой кинулся с ужасными словами...
Порыв отчаянья я внял в их вопле диком...
(III. 220—221)

Для себя Пушкин записывает байку про придворного поэта XVIII века Ермила Кострова. Костров жил без забот у Хераскова, который держал его трезвым. И вдруг Костров пропал. Его искали по всей Москве, а найти не смогли. Некоторое время спустя Херасков получает письмо из

Казани. Костров благодарит его за доброту и заботу, «но, писал поэт, воля для меня всего дороже» (VIII. 76).

Вдруг Пушкин пропадает на трое суток из своего домашнего благополучия, и жена понятия не имеет, где он и что с ним. А он исчез, как иногда делал это в юношеском возрасте. Оказывается, удрав из дому, он встретился с лицейским одноклассником Константином Данзасом, только что вернувшимся из Польши. Приятели загуляли в заведениях весьма непристойных.

Глава шестая

НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЙ ВЕРНОПОДДАННЫЙ

*Если заварится общая, европейская война, то,
право, буду сожалеть о своей женитьбе,
разве жену возьму в торока.*

Пушкин — Вяземскому (X. 291)

Это кажется невероятным, абсурдным, но факт, что царь Николай Павлович всерьез размышлял и даже советовался со своими генералами о том, чтобы начать войну с Францией. Выступление войск зависело от назревающей, как нарыв, польской ситуации. Западная Европа с тревогой следила за шагами России. Англия, Франция, Германия вполне могли выступить в защиту взбунтовавшейся Польши. Тревога в Царском Селе была реальной, обдумывались ответные меры, среди которых мог быть и шантаж.

Пушкин ежедневно обсуждал взрывоопасную тему с приятелями. Платон считал: «Война — естественное состояние народов». У Пушкина тоже всегда было естественное, то есть позитивное отношение к войне, — не станем делать из него пацифиста. Но в тот период западные страны точку зрения Платона не разделяли; помогать Польше они не спешили.

Именно Польша из всех русских колоний больше других духовно примыкала к Европе; азиатский ошейник был полякам ненавистен. Маркс назвал польский народ «бесмертным рыцарем Европы» по причине того, что поляки спасли Европу от «возглавляемого москвитями азиатского варварства». Энгельс считал Польшу «всемирным сол-

датом революции»⁹⁰. Даже Ленин, когда ему было выгодно, писал: «Русский народ служил в руках царей палачом польской свободы»⁹¹. Демократические силы в европейских странах и русские политические эмигранты требовали защиты польской независимости. Польшу в ее борьбе против России поддерживали Лафайет, Гейне, Герцен, Гюго, Беранже. Последний писал:

В далекой Польше гибнут братья!
Спешите! Честь и слава там!

Встревоженный Николай I предупреждал командующего русской армией в Польше Ивана Паскевича: «В Париже бесились несколько дней сряду и нас ругали до крайности»⁹². Бенкендорф опасался распространения эпидемии на Восток: «Нет сомнения, что при дальнейших неудачах в укрощении мятежа в Царстве Польском дух своевольства пустил бы в отечестве нашем сильные отрасли»⁹³.

Надежда на европейскую войну и связанные с ней перемены в его собственной судьбе не покидает Пушкина весь июнь, июль и август. В эгоистическом плане он рассматривает войну «для себя», а именно: как использовать фронтovou неразбериху для бегства. Он не раз возвращается к мысли бежать в Польшу, теперь — вместе с женой. «Того и гляди навяжется на нас Европа», «*A horse, a horse! My Kingdom for a horse!*», «А если мы и осадим Варшаву... то Европа будет иметь время вмешаться не в ее дело» (X. 273, 276, 289). Наконец еще более определенно (приходится повторить эпиграф): «Если заварится общая, европейская война, то, право, буду сожалеть о своей женитьбе, разве жену возьму в торока» (X. 291).

«Торока» — слово нынче не употребляемое, означает ремни сзади седла для привязывания дорожного мешка или вещей. Для шутки заявление поэта слишком серьезно, для дела звучит не очень реально, но слова произнесены. Пушкин повторяет мысль друзьям много раз. Официальная пушкинистика трактует слова поэта как желание принять участие в войне против поляков, а ведь он уже просился недавно на войну с Турцией — ему отказали. И потом, кто отправляется на войну с женой?

«Но скучен мир однообразный сердцам, рожденным для войны...», — писал Пушкин (IV. 91). Станный характер, которому не скучно только когда война. Григорий в «Бо-

рисе Годунове» (в сцене, изъятой при публикации), сидя в келье, мечтал: «Хоть бы хан опять нагрязнул! Хоть Литва бы поднялась!» (V. 281) Поднялась Польша. Не в силах сделать шаг самостоятельно, от страха ли, от обреченности ли, поэт надеется на внешние обстоятельства, которые помогут ему сдвинуть камень с мертвой точки.

Во всем этом много неясностей: бояться войны и хотеть ее, стремиться сбежать и кичиться патриотизмом. Просматривается, однако, любопытный план, состоящий в том, что поэт хотел, взяв жену, легально уехать в Польшу, ибо добраться до Польши легче, чем до Парижа. А оттуда, как он замышлял раньше не раз, используя военную неразбериху, пробираться в Европу.

Первая же ничтожная попытка обратиться к властям терпит фиаско. Он хотел получить разрешение Комитета иностранной цензуры купить себе «*Histoire de Pologne*» — историю Польши на французском языке, которая была в списке запрещенных изданий. И даже в этом ему отказали.

В июне Пушкин снова начинает встречаться с Александром Тургеневым, который ненадолго вернулся из-за границы. Отставленный от всех дел либерал, возвратившись, стал источником европейских новостей, жизненного опыта, сведений о людях, книгах и архивах, которые Пушкину недоступны, — своего рода представителем Европы здесь, для своих друзей. Европа у Пушкина всегда на кончике языка. Едва Тургенев произносит вслух пушкинскую строку: «Я не рожден царей забавить», Пушкин немедленно прибавляет: «Парижской легкостью своей!», хотя в стихах у него строка «Стыдливой музою моею». Западная жизнь изменила Тургенева. Он называет себя «гремушкой-пилигримом», но друзья спорят о польском вопросе с настоящим европейцем. Тургенев записывает в дневнике про разговор Пушкина и Вяземского об интеллектуальной атмосфере в Англии, Франции, их авторах, добавляя: «...и они моею жизнью на минуту оживились»⁹⁴.

По заданию царя Тургенев рылся во французских архивах, в том числе в архиве Министерства иностранных дел, удачно находил и копировал для русского правительства щекотливые документы, которые боялся опубликовать из-за могущего возникнуть скандала. Благодаря Тургеневу Пушкин по заграничным документам знакомился с деталями русской истории, ибо сам возможности работать в зарубежных архивах не имел, для литературных нужд этих

сведений не использовал, но для общего кругозора это было интересно. Александр Тургенев, брат которого Николай стал невозвращенцем, влиял на мировоззрение поэта, но с любопытством наблюдал за расхождением точек зрения. Взгляды Пушкина на Польшу его поразили.

Дело польское закончилось кровопусканием, имперский порядок восстановлен, надежда на европейскую войну лопнула. Идея поездки с женой в Польшу забыта. В России бунты. В новгородских поселениях озверевшие солдаты поубивали сотню генералов и офицеров. Война не была для Пушкина абстрактной. Лицейский приятель Пушкина Семен Есаков, ставший полковником в польскую кампанию, человек добрый и сердечный, покончил собой: он потерял в бою с польскими повстанцами четыре пушки и застрелился. Двоюродный брат Дельвига был убит при взятии Варшавы. «Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы», — написал Пушкин Вяземскому (X. 289).

Среди русских офицеров, подавивших восстание, были порядочные люди. Когда знатная польская семья пыталась вывезти за границу руководителя восстания переодетым в горничную, офицер проверил документы, потом наклонился к окошку кареты и сказал по-французски, чтобы горничная поправила прическу — из-под парика был виден край повязки в крови⁹⁵. Какие великолепные сюжеты пропускает Пушкин! Но совершенно неприемлемые с точки зрения цензуры.

Соловьиное пение поэта после Болдинской осени умолкло. С начала 1831 года до лета создано одно стихотворение. И вдруг в августе творческий подъем: три инвективы. 2 августа Пушкин пишет оду «Клеветникам России», а 26 августа русскими войсками взята Варшава. Поэт помог армии, так сказать, приравнял перо к штыку.

К «Клеветникам России» примыкают два антипольских стиха: «Бородинская годовщина» и косвенно «Перед гробницею святой». Поэт с таким проникающим видением истории России и мира искал в прошлом страны то, что выгодно сейчас правительству. Еще Карамзин считал, что патриотизм «требуется рассуждения». Консервативный приятель пушкинского брата Михаил Юзефович позже напишет: «Мировоззрение его изменилось уже вполне и бесповоротно. Он был уже глубоко верующим человеком и одумавшимся гражданином,

понявшим требования русской жизни и отрешившимся от утопических иллюзий»⁹⁶.

Объяснение феномена «Клеветников России» имеет свою историю. Хотелось бы отделить воспевание Пушкиным России как родины предков и России как империи, которая получила почетный титул «империи зла», но сделать это трудно. Никто не неволил автора писать стихотворение «Клеветникам России». Ведь еще в юности, даже в пору его вольнолюбивых шалостей, националистические ноты проскальзывали у Пушкина. Трудно забыть, как он писал в «Кавказском пленнике»: «Все русскому мечу подвластно», как назвал кровавого оккупанта Кавказа генерала Ермолова «благодарным гением», что встретило возмущение Вяземского в письме к А.Тургеневу: «Если мы просвещали бы племена, то было бы что воспеть. Поэзия — не союзница палачей; политике они могут быть нужны, и тогда суду истории решать, можно ли ее оправдать или нет; но гимны поэта не должны быть никогда славословием резни»⁹⁷. Раньше в «Бахчисарайском фонтане» о Польше говорилось хотя бы с пониманием трагедии:

Тьмы татар
 На Польшу хлынули рекою...
 Обезображенный войною
 Цветущий край осиротел;
 Исчезли мирные забавы;
 Уныли села и дубравы,
 И пышный замок опустел...
 Скупой наследник в замке правит
 И тягостным ярмом бесславит
 Опустошенную страну. (IV. 136)

Теперь русские вели себя как татаро-монголы, но вызвали искреннее или показное восхищение поэта. Из песни слова не выкинешь: в Пушкине удивительным образом сплетались патриотизм с ненавистью к российской власти и дворянская гордость и независимость с неумеренным подобострастием к сильным мира. Такая гражданская лирика всегда способствует благоволению к поэту высшего начальства.

В оправдание Пушкину, если он в нем нуждается, можно заметить, что в черновике стихотворения «Клеветникам России» остался эпиграф: «*Vox et prateria nihil*» — Звук

и более ничего. Что именно *пустой звук*: клевета западной прессы? Или, может, обратный смысл: пустой звук — его собственное, говоря современным языком, пропагандистское стихотворение? Такого рода «инвективная поэзия» живуча и имеет в России свою, неизученную историю. Русский национализм Николай Тургенев назвал патриотизмом рабов. Пушкинское выражение «славянские ручьи сольются в русском море» в поэтической форме восхваляло великодержавный шовинизм «старшего брата». Федор Тютчев почти двадцать лет спустя сочиняет стихи с великолепным названием «Русская география». В них имперский национализм европейца Тютчева переливается через край:

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...
Вот царство русское... и не преидёт вовек...⁹⁸

К счастью, трескучие фразы чаще оказываются *звучком и более ничем.* Живущий в Лондоне Николай Тургенев возмущился стихами «Клеветникам России». По его мнению, Пушкин и другие певцы империи остались варварами, живущими в лесах, дикими людьми, которые «не вправе судить о людях, коим обстоятельства позволили узнать то, чего в лесах знать невозможно». На это брат Александр ему мягко возразил: «Он только варвар в отношении к Польше»⁹⁹.

У Николая Тургенева были основания для такой критики. В Лондоне, а потом в Париже он написал несколько нелицеприятных трудов о России, и ему претил конформизм российских авторов. Приговоренный судом по делу декабристов заочно к пожизненной каторге, этот критик Пушкина прожил на полвека дольше поэта. Александр II разрешил ему вернуться в Россию, возвратил собственность и дворянство, даже ордена. Николай Тургенев приезжал в Россию трижды, но остаться отказался наотрез.

В Москве, как пишет Александр Тургенев Жуковскому, разнесся слух, будто Пушкин в Петербурге умер от холеры, оставив жену беременной. Поэт был жив и больше холеры боялся упреков в нелояльности. От Пушкина отворачиваются те, кто ему симпатизировал. Г. А. Римский-Корсаков сказал, что после появления стихотворения «Клеветникам России» отказывается «приобретать произведения Русского Парнаса». Алексей Философов писал из Варшавы весьма

недвусмысленно: «Говорят, государь сделал его историографом. Прежде двух последних его пьес я бы сказал: пустили козла в огород, — теперь начинаю думать противное»¹⁰⁰.

Друзья шокированы. Долли Фикельмон перестала с Пушкиным здороваться. Вяземский, сразу охладевший к Пушкину, пишет Хитрово о «Клеветниках»: «Станем снова европейцами, чтобы искупить стихи, совсем не европейского свойства... Как огорчили меня эти стихи! Власть, государственный порядок часто должны исполнять печальные, кровавые обязанности, но у Поэта, слава Богу, нет обязанности их воспевать»¹⁰¹.

В записную книжку Вяземский вписывает свой комментарий: «Пушкин в стихах своих «Клеветникам России» кажет им шиш из кармана... За что *возрождающейся Европе* любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию, нравственному и политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем к ней. *Народные витии*, если удалось бы им как-нибудь поведать о стихах Пушкина и о возвышенности таланта его, могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим, или лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи, подобные вашим»¹⁰².

Нелепость поступка западника Пушкина состояла еще и в том, что упомянутые нами раньше европейские авторы Лафайет, Гейне, Герцен, Гюго, Беранже, вчерашние его единомышленники, которых он почитал, росчерком пера были превращены в «клеветников России».

Были, конечно, патриоты почище Пушкина. Например, Александр Воейков всякую мелочь считал оскорблением чести русского имени. Унижение России он видел в том, что английский скакун опередил на скачках донского. Пушкин презирал Воейкова, но тут опередил его своим патриотизмом. Увы, теория расходилась с практикой, и Пушкин, упрекая других в непоследовательности, сам был в том печальным примером. «Зачем ему было, — пишет он о Вольтере, — променять свою независимость на своенравные милости государя, ему чуждого, не имевшего никакого права его к тому принудить?..» (III.286) А зачем это нужно было Пушкину?

«При всей просвещенной независимости ума Пушкина, — отмечал знавший его ближе других Вяземский, — в

нем иногда пробивалась патриотическая щекотливость и ревность в суждениях его о чужестранных писателях»¹⁰³. Впрочем, Пушкин и сам отмечал: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство» (X.161). Вяземский размышлял на эту тему: «Боже мой, до каких гнусностей может довести патриотизм, то есть патриотизм, который зарождается в некоторых головах, совершенно особенно устроенных. Признаюсь, я не большой и не безусловный приверженец и поклонник так называемой национальности».

Как же все это сочетается с гениальностью поэта? Ответ может быть в том, что Пушкин, говоря современным языком, осуществляет в жизни несколько ролевых игр одновременно. «Осыпанному уже благодеяниями Его Величества, мне давно было тягостно мое бездействие... Если Государю Императору угодно будет употребить перо мое, то буду стараться с точностию и усердием исполнять волю Его Величества и готов служить Ему по мере моих способностей»¹⁰⁴. В черновике этого прошения в Третье отделение поэт предлагает «употребить перо мое для *политических статей*», что показывает, как далеко он готов был пойти на компромисс.

Сказав «а», приходилось говорить «б». Жена да и сам он стремились жить светской жизнью, а свет диктовал свои условия. Платой за связи, протекцию, частые контакты с высшей знатью, министрами и самой царской фамилией было приспособление к их образу мыслей. Отсюда возникает другой Пушкин, то и дело обращающийся к Бенкендорфу и жаждущий доказать свою лояльность (курсивом нами выделена специфическая терминология): «Ныне, когда *справедливое негодование* и острая народная *вражда*, долго растравляемая завистью, соединила *всех нас против польских мятежников, озлобленная* Европа нападает по камест на Россию, не оружием, но ежедневной, *бешеной клеветой*... *Пускай позволят нам, русским писателям, отражать бесстыдные и невежественные* нападения иностранных газет... Россия крепко надеется на царя; и *истинные друзья Отечества* желают ему царствования долголетнего» (X. 512).

Сие — черновик. В беловике письма Пушкин «бесстыдные и невежественные» снял, но что менялось по сути? Он отходит от прежних друзей и единомышленников, пе-

рестает быть выразителем того, чего от него ждали. Зато те, с кем он сошелся в последние годы, даже и не сильные мира, а просто приятели, удивляют. Летом добрейший друг Нащокин писал (стыдно цитировать, но из песни слова не выкинешь): «Поляков я всегда не жаловал — и для меня радость будет, когда их не будет (остальных) *ни одного полячка в Польше, да и только*. Оставшихся всех должно в высылку в степи, Польша от сего пуста не будет, — фабриканты русские займут ее. *Право, мне кажется, что не мудрено ее обрусить*» (Б. Ак. 14. 179). Кстати, выделенные нами слова Нащокина отсутствуют в «Летописи жизни и творчества Пушкина», выпущенной в 1999 году (т.3, с.350), — исправления исторических документов российскими пушкинистами продолжаются и при отсутствии цензуры.

Пушкин воссоединялся с Бенкендорфом в борьбе против «духа своевольтства» и воспевал Паскевича. Слова, брошенные когда-то им графу Воронцову, с обвинением того в лизоблюдстве, оказались бумерангом:

Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить
И в подлости осанку благородства. (II. 220)

Если называть вещи своими именами, Пушкин, написав стихи «Клеветникам России», изрядно замарал свою репутацию — никуда от этого не денешься. С другой стороны, пушкинский патриотизм можно рассматривать и просто как тему, к которой обращается профессиональный писатель за деньги. В отличие от военных патриотов он не действует, но лишь пишет, и это не так ужасно. Однако Пушкин выступает в «Клеветниках России» апологетом русификации, певцом «России — Третьего Рима». Если бы речь шла о завоевании отсталых племен — культурную миссию можно было бы, если не одобрить с грехом пополам, то хотя бы лучше понять в контексте времени. В поэме «Полтава» Пушкин изображал кроваво подавленную попытку Украины освободиться от ига как патриотическую борьбу со шведской экспансией, но, конечно, под эгидой России. Теперь Россия, отвоевав во Франции, проводила «зачистку» в Польше.

Правящие верхи и националистически настроенная часть русского общества приняли инвективы Пушкина с восторгом. «Клеветники» были тотчас переведены на французский и немецкий, положены на музыку. Видные санов-

ники один за другим высказывали похвалы поэту, от которого давно ждали чего-то, особо патриотического, и вот свершилось. Пушкин получил даже поздравительное письмо от графа Хвостова.

Поразительно, что на стороне властей оказался также Чаадаев, пришедший в восторг от «Клеветников России». За «Клеветников» Чаадаев назвал Пушкина «национальным поэтом». Видимо, в мыслях философа об особой роли России не хватало того, что он туманно называл «некоторым подобием политической религии». Пушкин открыто не соглашался с Чаадаевым по поводу исторической ничтожности России, но в узком кругу крыл Россию на чем свет стоит. Он дважды видел русских оккупантов на Кавказе. И вот...

Советские оценки стихотворения следовали имперской линии. «Едва ли можно указать во всей европейской литературе более возвышенное произведение в области политической лирики, — писал Л.Поливанов о стихотворении «Клеветникам России». — Для написания его нужен был не только патриот, нужен был и великий художник, проникнутый тем чувством меры, каким обладал только Пушкин». Другой советский пушкинист Д.Благой объяснял, что стихи эти не против Польши (превращенной к тому времени в часть соцлагеря), но против экспансионистских планов Запада по отношению к России. И цитировал Сталина, что теперь у нас с поляками дружба. Утаенный комический аспект советских интерпретаций этого стихотворения видится еще и в том, что с этим стихом Пушкин оказался политическим противником основоположников всего на свете Маркса, Энгельса и Ленина, которые поддерживали поляков.

Советская трактовка польских взглядов Пушкина и не могла быть иной. Л.Фризман рассказывает, как в начале шестидесятых его статью, содержащую свежие и честные слова о Пушкине и польском восстании, боялись печатать без одобрения Пушкинского Дома, а там так и не дали разрешения. В статье этой пушкинист писал: «Сплошь и рядом выдвигаются доводы, направленные на то, чтобы «смягчить» ошибочность позиции Пушкина, сделать ее более приемлемой»¹⁰⁵.

Нетерпимость иных мнений и стремление оправдать поэта, чего бы он ни написал, иногда носило такой самоуверенный характер: «Мнение о Пушкине, создателе ан-

типольской трилогии, остается в буржуазном литературоведении непреодоленным»¹⁰⁶. Дескать, мы им объясняем, как следует трактовать, а они еще не поняли. Между тем у части польских авторов, несмотря на цензуру, было желание, если не оправдать, то хотя бы извинить Пушкина. М. Топоровский, например, считал, что Пушкин не разобрался. На деле ноябрьское восстание ослабляло царизм и укрепляло демократию в Европе¹⁰⁷.

По свидетельству современников, Пушкин читал стихи «Клеветникам России» царю и членам императорской фамилии, «чего, — справедливо рассуждает Л.Фризман, — конечно, не сделал бы, если бы не был убежден, что стихи понравятся». С этим стихотворением Пушкин оказался, по сути дела, в лагере своих вчерашних противников. Он потерял авторитет у лучшей части российского общества, ибо в данном вопросе перестал быть европейцем.

Белинский в письме к Гоголю объяснил, «почему так скоро падает популярность великих талантов, отдающих себя искренно или неискренно в услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви!»¹⁰⁸

Остепенившийся поэт, бывший инакомыслящий и ссыльный, опять просится на службу, снова жалуясь, что недополучил свое по Табели о рангах: «...Мне следовали за выслугу лет еще два чина, т. е. титулярного и коллежского асессора; но бывшие мои начальники забывали о моем представлении. Не знаю, можно ли мне будет получить то, что мне следовало»¹⁰⁹. Власти решать вопрос не спешили, и шаги Пушкина свидетельствуют, что он пером стремился доказать свою лояльность.

Наконец, ему разрешают, как то было после Лицея, подписать «Клятвенное обещание» «верно и нелицеприятно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови». За этим следует «Обязательство о непринадлежности к тайным обществам» и «Расписка в чтении указа Петра I» о неразглашении служебных тайн. Таким образом, у него «допуск»: все, к чему он будет допущен в секретном архиве, разглашению не подлежит.

Пушкин еще раньше писал: «Чины в России необходимость хотя бы для одних станций, где без них не добыешь-

ся лошадей» (VI.51). Теперь в поездке ему полагаются три лошади. Постепенно он начинает чувствовать себя в замкнутом кругу службы и семьи: политическая корректность, хозяйственные и финансовые обязанности, визиты, связи. Как после заметит Марина Цветаева, «вместо заграничной должности — открытый доступ в архив».

Полевого, например, царь в архивы не пустил, Пушкину же было дозволено. Возможно, он уже говорил царю, что думает об исторических сочинениях, и тема Петра Великого ему предложена. Пушкин получает разрешение читать книги в библиотеке Вольтера, расположенной в Эрмитаже. Он будто попал в парижскую библиотеку. Здесь, листая французских энциклопедистов, поэт и начал овладевать ремеслом, ему определенным, — историка. История перерабатывается через его собственное семейное прошлое, становится как бы личной, а потому субъективной.

В стремлении Пушкина утвердить важность литературы как государственного дела была опасная сторона. Убеждаясь в полезности литературы, правительство тиранической державы неминуемо впрягало литературу в политическую упряжку. Становясь спицей в государственной колеснице, писателю приходилось «функционировать». Для аналогии: Гоголь, воспевая Русь как «птицу-тройку», лил масло в колеса скрипящей телеги. Какой современный образ, кстати: мчит русская тройка, посторониваются другие народы и государства, а в тройке сидит мошенник — новый русский Чичиков!

Предоставление Пушкину возможности заниматься по службе историей, получая за труд из казны, вовсе не означало, что он заменил покойного придворного историографа Карамзина, как часто читаем в многочисленных источниках. Историк — это ученый, ученый есть система, а поэт не был *системником*, не любил систематического умонаправления. Труд упорный Пушкину не был тошен, но он брался за многое сразу и, в сущности, историком, сколько бы ни писали об этом, не стал. Он умелый читатель исторических документов, исторический писатель, — это тоже немало, вполне почетно и самодостаточно. Он шутит в письме к Плетневу, что царь дал ему жалование и открыл архивы, «чтобы я рылся там и ничего не делал» (X.286). Но это исповедальная шутка.

Орест Сомов более точно назвал должность Пушкина: не историограф вообще, но лишь «историограф Петра

Великого». Александр Тургенев писал брату Николаю в Лондон, что Пушкина сделали «биографом Петра». Но и такая должность требовала исследовательского подхода, сосредоточенности на одной теме и каторжного труда. Эти параметры отсутствовали. Пожалуй, точнее всего ситуацию определил знакомый поэту археолог Михаил Коркунов, назвав Пушкина *будущим* историком, которого в нем, вероятно, лишили¹¹⁰.

Пушкин добивался чести быть избранным в члены Академии («сильно добивался», как пишет Бартенев), и, учитывая его заслуги перед властью, теперь это стало реальным. Как академик Пушкин мало что сделал. Известно лишь, что он поддержал идею издать «Краткий священный словарь» Алексея Малова, которого вместе с Пушкиным приняли в члены Академии. Еще он обсуждал предложение создать «Словарь исторический о святых, прославленных в Российской Церкви», о чем писалось в «Современнике», — вот, пожалуй, и все его дела в Академии наук.

Более других ему по-прежнему интересны люди, бывающие за границей. Египтолог Иван Гулянов был представлен Пушкину Чаадаевым в письме. Узнав о помолвке поэта, Гулянов послал поздравительное стихотворение, на которое Пушкин также ответил стихотворением «Ответ анониму». В Бессарабии у них оказались общие знакомые. Член Российской академии наук, он служил в Министерстве иностранных дел при российских миссиях в Турции, Италии, Германии, Голландии, Франции. Личное знакомство Пушкина с Гуляновым состоялось, вероятно, во второй половине лета 1830 года.

В декабре в Москве Пушкин встретился у Нащокина с Гуляновым и долго с ним разговаривал. Несомненно, говорили о заграничье, ведь ученый оказался большим любителем путешествий. Египет был особо интересен Пушкину, как и Африка вообще. Рассуждали они о гуляновских трудах, в которых российский египтолог опровергал воззрения европейских. Он много писал о расшифровке иероглифов, издал пять книг в разных странах.

Специалисты, однако, считали Гулянова неплодотворным гением. Эрудит, полиглот, он оказался довольно поверхностным исследователем. Грановский вспоминает, что его основной труд вряд ли мог увидеть свет. Объяснение одного иероглифа, изображающего тростниковую корзину-

ку, занимало более трехсот страниц. «Сколько же томов будет иметь вся ваша книга?» — «Я заканчиваю только предисловие. Из него выйдет пять больших томов», — отвечал Гулянов¹¹¹. Нащокин вспоминает, что Пушкин развивал ученому свою мысль о всеобщем языке, который объединит слова, общие по смыслу и звучанию¹¹².

Пушкин говорил Гулянову, что мечтает не только о Египте, но и о Шотландии, нарисовал на клочке бумаги египетскую пирамиду. Снизу подписал: *Drèson* и поставил дату 1832, которую потом переделал в 1833. Может быть, поэт имел в виду Дрезден и дату предполагаемого своего свидания с Гуляновым там? Ведь Гулянов раньше служил в русской миссии в Дрездене и в ближайшем будущем снова собирался ехать туда. Через полгода Гулянов отправился за границу и десять лет спустя умер в Ницце. Не исключено, что мысли поэта о плавании в Египет, отраженные позднее в стихах «Осень», навеяны именно разговорами с Гуляновым.

В начале 1832 года у Пушкина новые неудачи. Последняя книга стихотворений плохо расходуется, возможно, от завышенной цены. «Борис Годунов» не раскупается, и магазин объявил об уцененной продаже. Зарплата задерживается, и приходится жаловаться Бенкендорфу, прося помочь. Поэт в карточных долгах и к середине января готов увеличить их, умоляя приятеля Михаила Судиенко дать ему 25 тысяч на два или три года под залог имения «в случае смерти». Берет он деньги и у других людей; значительную часть долгов он не сможет выплатить до конца своих дней. Если верить Екатерине Философовой, хозяйке дома, который Пушкин посетил, намереваясь сменить квартиру, «шляпа у него очень затаскана», и хозяйка приняла поэта за лакея.

Александр Тургенев и Жуковский 18 июня 1832 года отбывают за границу. Жуковский сопровождает наследника царя. Компания друзей, и Пушкин среди них, плывет до Кронштадта. Из дневника Тургенева мы знаем подробности проводов: «Я сидел на палубе, смотря на удаляющуюся набережную, и никого, кроме могил, не оставлял в Петербурге, ибо Жуковский был со мною. Он оперся на минуту на меня и вздохнул за меня по отечестве: он один чувствовал, что мне нельзя возвратиться... Я позвал Пушкина, Энгельгардта, Вяземского, Жуковского, Викулина на завтрак и на шампанское в каюту — и там оживился грус-

тию и самым моим одиночеством в мире... Брат был далеко...»¹¹³

Разумеется, Пушкин мог плыть только до Кронштадта — это был любимый ритуал, дальше ему нельзя. В каюте завтракали. Доплыли до другого парохода «Николай I», «дурно обедали, но хорошо пили», как отметил Тургенев. Произносилось много тостов. Тургенев сказал что-то нелояльное, о чем не положено говорить вслух, Пушкин напомнил ему, что стены имеют уши. Так поменялась ситуация: когда-то Тургенев урезонивал молодого и не сдержанного на слова поэта. Тургенев потерял на Западе привычку контролировать исходящие мысли, хотя из-за оставшегося в Лондоне брата его самого тоже долго не выпускали. Он даже предложил Жуковскому ехать отдельно, чтобы не навредить ему, но Жуковский не побоялся. Документы, которые Тургенев собирал в западных архивах, интересовали правительство. Паспорт Тургеневу был выдан по личному распоряжению царя, под иезуитское требование не видеться с братом. «В 7 часов расстался с Энгельгардтом и Пушкиным, — сообщает в дневнике Тургенев. — Они возвратились в Петербург; Вяземский остался с нами, завидовал нашей участи»¹¹⁴.

· Глава седьмая ВНУТРЕННИЙ ЭМИГРАНТ

Путешествие нужно мне нравственно и физически.

Пушкин — Павлу Нащокину,
около 25 февраля 1833 (X. 332)

Тема дороги у Пушкина — постоянная, тревожная, больная, подчас мрачная, проходящая через всю жизнь. Всегда он стремился двигаться, ехать, идти. Подсчитано, что он восемь лет провел в пути. Почему он так рвался в дорогу? Может, как однажды Гоголь выразился в письме Аксакову из Рима, «еду для того, чтобы ехать»? Он начинает «Путешествие из Москвы в Петербург» (название сочинили публикаторы) символической фразой: «Узнав, что новая московская дорога совсем окончена, я вздумал съездить в Петербург, где не бывал более пятнадцати лет»

(VII. 184). Не обращая внимания на выдумку насчет пятнадцати лет, отметим, что сюжетная цель поездки, названная автором, — испытать новую дорогу. Понятно, что это лишь внешний повод, начало репортажа.

В дороге, в отъезде, в клоповнике гостиницы ему лучше работается. Пушкин удирает из Петербурга в Москву, и тут у него появляется замысел новой прозы. Он включается в работу. «Дубровский» — название, данное не Пушкиным, а издателями, поскольку автор не доработал романа. Но конец 1832 года и начало следующего посвящены этому тексту: быстро рождаются глава за главой. Барон Розен сообщал: «Он решительно ничего не пишет, осведомляясь только о том, что пишут другие»¹¹⁵. Это неправда: Пушкин работал. Б.Томашевский убедительно доказал, что произведение родилось под влиянием романа Жорж Санд «Валентина». В «Дубровском» сходный метод, манера, социальная подкладка. При этом Пушкин остается верен себе: новый герой его опять, как раньше Онегин, отправляется на чужбину. Последняя написанная Пушкиным фраза гласит: «По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу» (VI.209). Герой уехал, и работа над романом останавливается так же неожиданно, как началась.

Поэту не сидится на месте. «Гонимый рока самовластьем», — написал он как раз тогда коротенькое стихотворение в альбом неизвестной приятельнице в Москве (III.228). Значит, неведомая внешняя сила влечет, подгоняет его. Как никто, Пушкин ухитрялся проникаться духом дальних народов, легко овладевал языками, интересовался другими религиями, но по злобной прихоти властей мог передвигаться только внутри империи. Так созревает намерение ехать в Оренбургскую губернию, а в замысле — первые строки сочинения о Пугачеве.

Весной 1833 года Пушкин читает архивные документы, поставляемые ему по распоряжению царя из разных ведомств. Принято считать, что им прочитано пять тысяч страниц. Он записывает воспоминания знакомых. Вечерне видны контуры будущей книги о крестьянском бунте. Гоголь, судя по письму Погодину, заранее в восторге: «Интересу пропасть! Совершенный роман!» — хотя пушкинской рукописи не читал. Когда отец услышал, что Пушкин поехал в Оренбург, он написал дочери: «Большой вопрос: за каким делом он поехал в страну Гуннов и Герулов? Если

на то пошло, то лучше было бы ему поехать посмотреть на что-нибудь менее дикое»¹¹⁶.

Все относительно в мире. За жизнь Пушкин проехал меньше, чем иной нынешний путешественник за неделю. Карта поездок поэта весьма скромна, и не он в том виноват. Чтобы проводить до Кронштадта приятеля Сергея Киселева, 27 мая отплывавшего за границу на пароходе «Николай I», Пушкин должен был опять заранее добыть разрешение, каковое ему было выдано: «Предъявитель сего, состоящий в ведомстве Министерства Иностранных дел Титулярный Советник Александр Пушкин, имеет от Начальства позволение отправиться на два дни в Кронштадт, во удостоверение чего и дан ему сей билет от 1-го Отделения Департамента хозяйственных и счетных дел с приложением печати»¹¹⁷. Прогулка оказалась приятной: то был день рождения Пушкина. Два дня пролетели почти как за границей: поездка морем, много иностранцев, прибывших в Россию и отбывающих, грохот волн, гудки и черный дым парохода, отплывающего в Европу... Одному Пушкину опять приходилось остаться на пристани и махать рукой удаляющимся в туман.

Но и простая поездка в Оренбургскую губернию требовала разрешения. Власти пожелали объяснений: зачем Пушкину туда надо? Он едет, и за ним поспекает дело «Об учреждении надзора за поведением известного поэта, титулярного советника Пушкина». На местном уровне, чтобы угодить верхам, «наблюдение» превращается, судя по секретным документам полиции, в «строгое наблюдение».

Командировка оказалась частично увеселительной. В Симбирске, познакомившись с губернаторской дочкой Елизаветой Загряжской, Пушкин увлекся этой хорошенькой и грациозной девочкой, которой было десять лет. Лиза пригласила его на урок танцев, гость провел с ней некоторое время. Вынув из бокового кармана пистолет и положив его на подоконник, поэт галантно раскланялся, обхватил девочку за талию и вальсировал. Прелестное существо запало в память. Выехав из Симбирска, Пушкин, опережая на сто двадцать лет Набокова, продолжал размышлять о нимфетке, причем в более чувственном ключе:

Когда б не смутное влеченье
Чего-то жаждущей души,
Я здесь остался б — наслажденье

Вкушать в неведомой тиши:
 Забыл бы всех желаний трепет,
 Мечтою б целый мир назвал —
 И все бы слушал этот лепет,
 Все б эти ножки целовал... (III.245)

Заметим пуритански: эти ножки целовал бы, а не те, что остались дома. Обратим внимание также на формулу: «смутное влечение чего-то жаждущей души» — потрясающе точное определение своего *ego*. Когда Елизавете Загряжской исполнилось двадцать, она, видимо, тоже по смутному влечению чего-то жаждущей души вышла замуж в Одессе за брата поэта Льва Пушкина, бестолкового и добродушного гуляку, прожила с ним девять лет и оставила его, когда тот спился.

Общение с местной знатью, представления, вояжи в гости, парадные обеды у местного начальства, которое к тому же собирало для приезжего сочинителя полезных и бесполезных людей, отнимали много и без того короткого времени путешествия. Надзор за Пушкиным во время оренбургского пребывания, как сообщают полицейские документы, исправно соблюдался. В глухомани его приняли за шпиона. Старуху, с которой он беседовал о Пугачеве, казаки повезли в Оренбург, чтобы она донесла, о чем ее расспрашивал приезжий. Позже возле Пушкина стал появляться некий Боголюбов — ловкий старик, который ссужал Пушкина деньгами, вязался в друзья, а был агентом.

Называемую обычно научным трудом «Историю Пугачевского бунта» принято считать серьезной академической работой писателя. Написанная сухим языком, работа эта на ста страницах пересказывает факты, которые автору удалось собрать. Хотя со времени восстания прошло полвека, Пушкин не получил основной части архива: протоколы допросов не дали ему, сотруднику Архива Министерства иностранных дел, для работы, одобренной императором!

Поехав собирать материалы о Пугачеве, он делал это поверхностно. О какой глубине исследования может идти речь, если для сбора материалов Пушкин был в Оренбурге два дня и в Уральске — три? Но иначе, видимо, не мог. К труду приложены документы, примечания и замечания, которые Пушкину было недосуг вставить на места в текст. Издание вышло со множеством ошибок и опечаток. Зато роман «Капитанская дочка», внебрачное дитя научного

труда, родится чуть позже как результат всех этих записок, но свободно, по ассоциации.

Другой исторический писатель, возможно, решил бы, что издавать труд о Пугачеве и не следовало: то были материалы, собранные для создания романа. Но именно научный труд оплатила казна. Пушкин написал: «История Пугачевского бунта», не имея в публике никакого успеха, вероятно, не будет иметь и нового издания» (VIII. 263). Первый экземпляр автор через Бенкендорфа преподнес царю. Тот захотел принять поэта для беседы и теперь, когда книга вышла, разрешил (какой абсурд!) посмотреть секретное дело о Пугачеве.

Еще недавно Пушкин возмущался предложением царя переделать «Бориса Годунова» наподобие романа Вальтера Скотта. Теперь, работая над «Капитанской дочкой», он фактически последовал совету. «Погоди, дай мне собраться, — говорит он Нащокину, — я за пояс заткну Вальтер Скотта!»¹¹⁸ Тема доброго разбойника, его доброго и злого помощников, да и сама манера романа перекочевала из «Роб-Роя».

Почему зверя и ублюдка Емельку Пушкин изобразил в романе благородным рыцарем чести? Почему навязал читателю сон золотой о самозванце? Для чего ему понадобилось исправить историческую правду — только ли в художественной задаче дело? Может, также попытка вальтерскоттовским методом романтизировать русскую историю? «Капитанская дочка», роман «параллельный» с исследованием, была напечатана в «Современнике» без имени автора за подписью Издатель. Исторические изыскания пригодились Пушкину в романе в качестве канвы для вышивки, он создал свою сцену и в ней расставил свои декорации и своих героев. «Капитанская дочка» оторвалась от истории, детали которой забылись, взлетела, стала великолепным художественным вымыслом.

Цветаева увидела в диалоге Пугачева и Гринева «жутко автобиографический элемент»¹¹⁹. «Пугачев задумался: “А коли отпущу, — сказал он, — так обещаешься ли ты по крайней мере против меня не служить?” — “Как я могу тебе в этом обещаться? — ответил я. — Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, нечего делать”». Это представляется Цветаевой аналогией царского допроса поэта после ссылки. Только Пугачев благороднее царя: «Ступай себе на все четыре стороны и делай, что хочешь». «И, продолжая параллель, — пишет Цветаева, — Само-

званец — врага — за правду — отпустил. Самодержец — поэт — за правду — приковал»¹²⁰.

Все чаще Пушкину не до прозы и стихов. Его втягивает круговорот светской суеты. Едва ли не каждый день Пушкины на балах, маскарадах, танцевальных вечерах, концертах, приемах, обедах и просто в гостях. Даже Гоголь, всегда относившийся к Пушкину с неумеренными восторгами, с осуждением пишет приятелю А. Данилевскому: «Пушкина нигде не встретишь, как только на балах. Он там протранжирует всю жизнь свою, если только какой-нибудь случай, а тем более необходимость, не затащут его в деревню»¹²¹. Не был Гоголь приглашен на те балы и просто пересказывал, что слышал от других.

Нацокину Пушкин жалуется: «Жизнь моя в Петербурге ни то ни се. Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга, вольной холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моде — все это требует денег, деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения» (X.332). У состоятельного брата жены Пушкин пытается взять займы и пугает его на случай отказа: «Если я умру, моя жена окажется на улице, а дети в нищете. Все это печально и приводит меня в уныние» (X. 669).

Пушкин с интересом встречал свое имя в иностранных сочинениях и журналах. Уточним: то бывало не часто и не всегда радовало. Так случилось, когда к Пушкину попали из Европы подарки, привезенные Соболевским.

Он исчерпал срок, разрешенный для пребывания за границей, так и не дождавшись там Пушкина. Соболевский, Пушкин и Соллогуб шли по Невскому. Первый из троих отрастил бородку и ярко рыжие усы. Вдруг над коляской посреди улицы заколыхался высокий султан — это ехал император. Пушкин и Соллогуб подошли к краю тротуара, сняли шляпы и ожидали проезда, а Соболевский неожиданно исчез и вынырнул из какого-то магазина, когда царь проехал. Пушкин засмеялся: «Что, брат, бородка-то французская, а душенька-то все та же русская?»¹²² Больно это читать в мемуарах, ибо кланяться пришлось Пушкину и Соллогубу, а надышавшийся европейской свободой Соболевский предпочел на время испариться.

Итак, он привез в подарок Пушкину учебник испанского языка и, главное, том из собрания сочинений Мицкевича. В нем опубликованы несколько стихотворений, в том

Быть может, в моей отчизне пятнает себя моей кровью
И перед царем хвалится как заслугой тем, что его
проклинаяют.

Строки Мицкевича острые, как стрелы, и справедливые. Слово «москаль» означало «москвич», «русский», иногда «солдат» и первоначально не имело никакого негативного оттенка ни в русском, ни в польском языках, о чем свидетельствует Владимир Даль. Если ирония или неприязнь и появилась в слове «москаль» в разговорной речи, то это было последствие кровавых событий подавления польской революции 1831 года. Центральное чувство в стихах Мицкевича — горечь оттого, что поэт и вчерашний единомышленник стал выразителем идей оккупантов. Но имеется в стихотворении и понимание, что ошейник натирает шею его русским друзьям:

Горечь, высосанная из крови и слез моей отчизны,
Пускай же она ест и жжет — не вас, но ваши оковы.

Ответ Пушкина затянулся да и вообще не был опубликован. Логика стихотворного ответа любопытна. Вначале Пушкин вспоминает, о чем беседовали они с Мицкевичем, и тема дружбы народов звучит романтически возвышенно:

Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта.
Он ушел на Запад — и благословеньем
Его мы проводили. (III. 259)

Однако именно суть дела, то есть причина, по которой польский поэт откликнулся, Пушкиным опущена, и получается, что Мицкевич сам ни с того ни с сего принялся осуждать русских друзей. Продолжение ответа представляется неадекватным. Пушкин выливает на бывшего польского друга обиду, причем не от своего имени, а «от нас»:

Наш мирный гость нам стал врагом — и ядом
Стихи свои, в угоду черни буйной,
Он напояет. Издали до нас
Доходит голос злобного поэта...

Кому это «нам» стал врагом Мицкевич? Друзья осудили Пушкина, стало быть, «нам» — это поэту, выразителю интересов власти. М. Цявловский называет стихотворение Пушкина ультра-патриотическим. Алиция Володзько, профессор Варшавского университета, рассказала нам, что в советские времена в Польше эта часть стихотворения Пушкина не переводилась, дабы не обидеть «старшего брата». Печальная истина и в том, что в черновиках выражения были еще агрессивнее. Мицкевич, писал Пушкин, в качестве «падшего поэта» «проклятия нам шлет», «огонь небес меняя, как торгаш», «поет он ненависть», сочиняет песни, «в собачий лай безумно обращая».

Мертвого Пушкина Мицкевич понял и простил, писал в статье: «Погрешности его казались плодами обстоятельств, среди которых он жил»¹²⁴. Тут найдем еще одно замечание, касающееся несомненно западничества и национализма, свидетельствующее о том, что суть метаний Пушкина была польскому поэту ясна: «Казалось, он окончательно покидал чуждые области и пускал корни в родную почву». Вспомним, как в стихотворении «Памятник Петру Великому» Мицкевич писал:

Но в эти мертвые пространства
Лишь ветер Запада дохнет
Свободы...

Превратив Мицкевича во врага, Пушкин, вероятно, полагал, что он укрепляет свою позицию в истеблишменте. Позже он был встревожен, когда прочитал похвальное слово себе в немецком журнале из уст друга Мицкевича. Григорий Строганов, родственник Гончаровых и приближенный к верхам чиновник, переслал Пушкину статью из «Франкфуртского журнала», в которой поминалось эссе Иоахима Лелевеля. Польский историк и эмигрант Лелевель, ставший в 1830 году членом временного правительства и одним из руководителей польского восстания, был профессором Виленского университета и другом Адама Мицкевича. Лелевель не только читал стихи Пушкина, но и много слышал о нем от Мицкевича.

Тут Лелевель поощрительно отозвался о молодом Пушкине-бунтаре, сосланном за свободолюбивые стихи, и вовсе некстати объединил его с бунтарями польскими. Он цитировал ранние пушкинские строки и называл его пев-

цом свободы и другом поляков. Впрочем, заканчивалась статья немного иронически: Пушкин написал «Клеветникам России», и «его часто видят при дворе, причем он пользуется милостью и благоволением своего государя...» (VIII. 403).

Заметку из «Франкфуртского журнала» Пушкин переписал в дневник. Ничего, кроме доброжелательства и похвал, из текста не проистекало, однако реакция поэта была неожиданной. «Пушкин, — сообщает свидетель, — узнал о статье Лелевеля и смутился. Сочувствие повстанцам было столь же оскорбительно для патриотического чувства, сколь и опасно. Он поспешил высказать свой взгляд на польский мятеж»¹²⁵. Пушкин решил, что ему надо ждать неприятностей; Строганову он написал тут же: «Весьма печально искупаю я заблуждения моей молодости. Лобзание Лелевеля представляется мне горше ссылки в Сибирь» (X. 673). Опасения оказались напрасными: статью Лелевеля власти не заметили.

Польский поэт почти на два десятилетия пережил Пушкина: Мицкевич свободно творил в эмиграции, читал лекции о славянских литературах, в том числе и о своем русском коллеге, и, в отличие от Пушкина, остался горячим борцом за свободу. Легенда о том, что Мицкевич вызывал на дуэль Дантеса, чтобы рассчитаться с ним, конечно, вздор. В 1855 году Мицкевич отправился в Турцию создавать военный батальон для борьбы с Россией и умер от тифа. Существуют, однако, недоказанные подозрения, что он был отравлен тайными агентами русского правительства. «Укоренившаяся версия исходила от сына и говорила об азиатской холере, — рассматривает версии Алина Витковска. — Однако большую известность получил также слух об отравлении поэта его политическими врагами... Как видится сегодня, не исключается также участие российской разведки»¹²⁶.

Прошел год со дня пушкинской свадьбы. Он регулярно появляется в домах друзей, на приемах и на балах, но часто без жены. Его восторженные новые стихи посвящены графине Елене Завадовской:

Ей нет соперниц, нет подруг;
Красавиц наших бледный круг
В ее сиянье исчезает. (III. 226)

Как видим, теперь не жена, которая на днях должна родить и которая отодвинута в «бледный круг», а эта женщина назначена им на должность первой красавицы. Жене же, будучи в Москве, он пишет, как ребенку, инструктируя, что ей делать и чего не делать: «платишь деньги, кто только попросит; эдак хозяйство не пойдет... Не сиди поджавши ноги и не дружись с графинями, с которыми нельзя кланяться в публике... На хоры не езди — это место не для тебя» (X. 307). С друзьями он говорит в письмах о литературе, творчестве, делах внутри и вне страны. С ней, раскусив наконец жену, стал говорить как с подростком: куда ехал, что сломалось в экипаже, кого встретил, что съел и был ли понос.

«Не в его натуре было быть хорошим семьянином: домашний очаг не привлекал и не удерживал его», — вспоминал Вяземский¹²⁷. Остепенившийся было поэт возвращается к старому любимому занятию, хотя и стыдит себя.

Нет, нет, не должен я, не смею, не могу
Волнениям любви безумно предаваться;
Спокойствие мое я строго берегу
И сердцу не даю пылать и забываться...

Слова о наложенных на себя ограничениях не более как камуфляж, необходимый светскому человеку, связанному семейными узами, но внутренне свободному от ханжества. И поэт разрешает себе влюбиться платонически (по меньшей мере, в стихах): его новая любовь — любовь глазами.

...Ужель не можно мне,
Любуясь девою в печальном сладострастье,
Глазами следовать за ней... (III. 227)

Это обращение к графине Надежде Соллогуб, фрейлине великой княгини Елены Павловны. Как видим, с возрастом Пушкина стали больше привлекать представительницы следующего поколения: Надежда Соллогуб на шестнадцать лет моложе поэта. Он все чаще встречался с ней и, по свидетельству Вяземского, «открыто ухаживал»¹²⁸.

Наталья болезненно ревновала мужа, тем более, что Пушкин в письмах, то ли забывая о камуфляже, то ли сдер-

живая жену в ее флирте, упоминает, что видится с Соллогуб. А сын Карамзина писал о «постоянстве ненависти» Пушкиной к этой женщине¹²⁹. На лето 1833 года Соллогуб поехала за границу, и поэт 26 мая получил разрешение полиции на двухдневную поездку — доехать с ней вместе до Кронштадта, чтобы посадить на корабль и проститься. Когда она возвращается из-за границы, их встречи продолжаются. В июле 1836 года Соллогуб уехала за границу опять и там вышла замуж. Вернулась она в Россию уже после смерти Пушкина.

Без графини Соллогуб Пушкин не скучает. Он в гостях у Долли Фикельмон с баронессой Амалией Крюднер. Как заметил Вяземский в письме к жене, она была «очень мила, молода, бела, стыдлива», Пушкин, «краснея, поглядывал на Крюднершу и несколько увивался вокруг нее». Баронесса Крюднер блистала многими талантами, любила стихи, прекрасно пела, обладала тонким чувством юмора, оказывалась великолепной собеседницей. Ее любви добились Тютчев, Николай Павлович, Бенкендорф; Гейне называл ее «божественной Амалией». Периодические встречи Пушкина с Амалией продолжались до последних дней его жизни.

Власть не препятствует тому, чтобы поэт влюблялся, но то и дело напоминает о себе. Год назад Пушкин в гостях у Вяземского познакомился с полковником Петром Габбе, который находился под полицейским надзором еще при императоре Александре и даже был разжалован в солдаты за дерзкие суждения. Он стал близок к декабристам, и после восстания его уволили со службы с запрещением въезда в столицу. Габбе сам сочинял, был вхож в дома известных литераторов, всегда питал к Пушкину симпатию и говорил Вяземскому, что Пушкин «один оживит нашу литературу». Они не общались, но Пушкин услышал, что Габбе объявили сумасшедшим — по-видимому, он опять где-то неудачно высказался. Произошло это за три года до Чаадаева. И вот логика, которая задела Пушкина: Габбе предложено выехать за границу с тем, чтобы впредь не въезжать в Россию ни под своим, ни под чужим именем.

Б. Томашевский отмечает, что интерес Пушкина к Франции с годами еще более усиливается: «Газет, рассказов приезжающих из Франции было достаточно для него, чтобы интенсивно жить интересами Парижа»¹³⁰.

Тут слово «достаточно» говорит само за себя: если достаточно чужих впечатлений, незачем ехать самому. В Москве и Петербурге вводятся ограничения на ввозимые французские книги. Цензура запрещает переводы (например, Гюго). Даже лояльный Николай Греч чуть не пострадал: не внес поправки государя в либретто оперы «Роберт Дьявол», опубликованное в «Северной пчеле». Царь пригрозил, что следующий раз сошлет Греча. И притом французские книги многие читали, их можно было купить у букинистов.

Дом Шарля и Долли Фикельмонов — островок западной цивилизации и европейская изба-читальня в России. На этом островке, который власти с удовольствием бы прикрыли, в «свинском», по любимому выражению Пушкина, Петербурге можно укрыться от непогоды. Железнодорожного занавеса все же не существовало. Письма из Парижа в Петербург шли около двух недель — не дольше, чем сейчас, не говоря уж о почте для дипломатов. Люди из посольств общаются ежедневно, они более информированы, чем завсегдатаи русских балов. Пушкин часто бывает у Фикельмонов и подолгу там остается. Уносит французские книги, в том числе запрещенные в России, а главное, газеты. Его мысли занимает Польша и западный взгляд на нее. Какими бы ни были его собственные взгляды, он всегда открыт для других мнений.

В салоне Долли и он, и его знакомые чувствуют себя, как дома. Сама Долли, по-русски едва понимая, знает о гениальности Пушкина понаслышке, но с дамами он обаятельный собеседник, и, в данном случае, это важнее стихов. О том, как выглядел поэт в тот год, мы можем прочитать у молодого Ивана Гончарова, видевшего Пушкина, когда тот приезжал в Московский университет: «С первого взгляда, худощавый, с мелкими чертами смуглого лица. Только когда взглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом не забудешь»¹³¹.

Для Пушкина приемы у Фикельмонов — источник правдивой западной информации, не попадающей в российскую печать. Австрийский особняк экстерриториален в юридическом смысле, и Пушкин по вечерам туда эмигрирует. Александр Тургенев об одном из вечеров у Фикельмонов, где он был вместе с Пушкиным и где всегда несколько иностранных гостей, запишет позже в дневнике:

«Вечер хоть бы в Париже!»¹³² Пушкин тогда ухаживал за женой бывшего австрийского посланника блистательной пианисткой Зинаидой Лебцельтерн, которая провела в Петербурге лето и уехала.

В почти полумиллионном Петербурге проживало в то время одиннадцать тысяч иностранцев, но на австрийский остров попадали избранные. В доме Фикельмонов Пушкин знакомится с приятелем Долли — секретарем Нидерландской миссии О'Сюлливаном де Грассом, поэтом и прозаиком. Пушкин предложил ему какой-то сюжет о России, который сам не мог реализовать. Нам не удалось выяснить, был ли тот сюжет воплощен де Грассом в жизнь. Знакомится Пушкин с необычайным посланником Испании Хуаном Мигуэлем Паэсом де ля Кадена. Об их встречах и разговорах ничего не известно, но записи в дневнике поэта об этих глотках свободы есть.

Шарль Фикельмон, австрийский посланник, имея дипломатический иммунитет, привозил для Пушкина тамиздат — запрещенные в России книги: труды Тьерри и Минье, сочинения Гюго, Сю, Стендаля, Гейне. Дипкурьеры австрийского посольства охотно брали с собой письма от Вяземского и Пушкина за границу к Тургеневу и обратно. Книгами, полученными от зятя, снабжала друзей и Елизавета Хитрово, — роман с ней был прерван несколько раньше, но они оставались в дружеских отношениях. А у Пушкина продолжается роман с Долли — до самого ее отъезда в Дерпт. В дневниках ее Пушкин часто упоминается, а затем наступает перерыв. Н.Раевский считал, что исчезновение Пушкина на три месяца из дневника Долли, доступного мужу, и означает их близость, несмотря — и это необходимо добавить — на противоположные взгляды по части оккупации русскими Польши¹³³.

В письмах к уехавшей на лето с детьми жене Пушкин то уверяет ее, что не бывает у Фикельмонов, то, по рассеянности, описывает бал у них. Любитель хвастаться амурными похождениями, он рассказывал Нащокину, как провел ночь, спрятавшись под диваном у Долли и как они предавались любви на шкуре, расстеленной перед камином, когда муж ее спал в соседних апартаментах. Удивляет только, что Пушкин не расчихался от поддиванной пыли. Долли Фикельмон писала о себе: «Я играю на сцене собственной жизни». В мыслях и делах поэта она тогда занимала более значительное место, чем жена.

Применительно к Пушкину В. Розанов вводит забавное слово *абсентенизм* (или *абсентизм*). Это — «привычка покидать свое отечество для путешествий, жить в других странах (преимущественно в Италии или Франции)»¹³⁴. Смысл французского слова *absentéisme* совсем другой: привычка не появляться, где надо быть, скажем, на работе, а также уклонение избирателей от выборов. *Absentéiste* (*абсентеист* или *абсентист*) — человек уклоняющийся. Розановский смысл скорее не в том, что человек живет в другой стране, а в том, что он *не живет* в собственном отечестве, *отсутствует* в нем.

Через сорок лет Достоевский в «Дневнике писателя» попытается объяснить эту ситуацию: «Герцен был... тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться. Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, он так уж родился эмигрантом. Они и все, ему подобные, так прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России»¹³⁵. Записав в генетические эмигранты Герцена и пушкинского героя Онегина, Достоевский остановился. А Пушкин? По его мнению, Пушкин в такую рамку не подверстывался. Между тем большой поэт, где бы он ни жил — часто оказывается в оппозиции к власти, к своему поколению, а то и в конфликте с самим собой. Он недоволен, не хочет быть там, где он есть, он в эмиграции, внутренней или внешней. Превращение во внутренних эмигрантов — судьба многих российских интеллигентов от сотворения государства до сегодняшнего времени.

По-английски слова «внутренний эмигрант» звучат лучше: *émigré en spirit* — эмигрант в душе. Как многие его современники, Пушкин говорил на петербургском диалекте французского языка, и иначе в его обстоятельствах быть не могло. В биографиях подчеркивается любовь поэта к простой русской еде и говорится о том, что он терпеть не мог, когда у него просили не на водку, а на чай, ибо пить чай — не русский обычай. Однако в Михайловской глухомани он заказывал списками продукты из иностранных магазинов в Петербурге, питался швейцарским сыром, запивая его рейнвейном. Детей Пушкина принимала французская акушерка *М-те Жорж*. Сидящий в Париже Тургенев присылает в Петербург Вяземскому и Пушкину иностранцев со своими рекомендательными письмами, прося показать им Россию «с вашей стороны». Даже пись-

ма Пушкин надписывает: «Соболевскому. В Париже», — имея в виду гостиницу «Париж» в Петербурге.

Сергей Соболевский, нагулявшись по Европе, вернулся восвояси, как писала мать Пушкина, «расстался с медвежьими манерами обитателей Северного полюса». Вернувшись, Соболевский начал уговаривать братьев Пушкиных отправиться в чужие края. Пушкин махнул рукой, а Левушка загорелся, стал просить брата похлопотать за него: «Желание мое быть при миссии или в Греции, или в Персии; хотел бы быть в Египте, но получить там место, кажется, трудно» (Б. Ак. 15. 49). То, в чем отказано Пушкину — пребывание за границей, — он должен помочь достичь брату.

Брат уверен, что протекция поэта, приближенного теперь к верхам, поможет: «Одно слово Паскевича может переменить всю судьбу мою, а одно слово твое Паскевичу его к тому расположит». Приятелю своему Юзефовичу Пушкин-младший писал: «В России я не останусь ни за что на свете... если не найду ничего лучшего, я вернусь в Грузию...»¹³⁶ Понимая ситуацию лучше брата, Александр Сергеевич ответил: «Пристроить тебя в Петербурге на должность с приличным вознаграждением — другое дело: могу, а за границу — не берусь»¹³⁷.

Пушкин спрашивает разрешения посетить Дерпт, в который он семь лет назад мечтал попасть из михайловской ссылки, чтобы бежать в Европу. Неожиданно разрешение дано, но денег не оказалось. Не раз просил он передать извинения Карамзиным, которые в Дерпте его ждали. У него возникли другие заботы. Осиповой в Тригорское он пишет, что в Петербурге придется «потерпеть года два или три» (Х.669). А что потом? Заметим: жить ему остается три с половиной года. В свой день рождения он отправился в Кронштадт: опять ритуальные проводы за границу.

Им пишется заметка о «Путешествии к св. местам» А. Н. Муравьева. Андрей Муравьев был чиновником Азиатского департамента Министерства иностранных дел, а после обер-прокурором святейшего Синода. Пушкин называет его молодым поэтом, который думал о ключах святого храма, о Иерусалиме. «Ему, — пишет Пушкин, — представилась возможность исполнить давнее желание сердца, любимую мечту отрочества. Г-н М. через генерала Дибича получил дозволение посетить святые места — и к

ним отправился через Константинополь и Александрию» (VII. 180).

Далее рецензент не скрывает своего чувства: «С умилением и невольной завистью прочли мы книгу г. Муравьева. «Здесь, у подошвы Сиона, — говорит другой русский путешественник, — всяк христианин, всяк верующий, кто только сохранил жар в сердце и любовь в великому». (Пушкин цитирует записки Д. Дашкова «Русские поклонники в Иерусалиме», опубликованные в «Северных цветах». — Ю. Д.) «Но молодой наш соотечественник привлечен туда не суетным желанием обрести краски для поэтического романа, не беспокойным любопытством найти насильственные впечатления для сердца усталого, притупленного. Он посетил святые места как верующий, как смиренный христианин, как простодушный крестоносец, жаждущий повергнуться во прах пред гробом Христа Спасителя. — Он *traverse* Грецию, *préoccupé* одною великою мыслью, он не старается, как Шатобриан, воспользоваться противоположною мифологией Библии и Одиссеи. Он не останавливается, он спешит, он беседует с странным преобразователем Египта, проникает в глубину пирамид, пускается в пустыню, оживленную черными шатрами бедуинов и верблюдами караванов, вступает в обетованную землю, наконец с высоты вдруг видит Иерусалим...» (VII. 180—181)

Заметка брошена недописанной. Цитата приведена длинная — мы не смели ее оборвать. Пушкин пишет так, будто он сам путешествует и все видит собственными глазами. Он спешит, слова французские чередуются с русскими, «верблюды караванов» появляются вместо «караваны верблюдов». Жажда познания незнакомых мест не угасла с годами, но, не будучи реализованной, ушла в глубину души, а рвущаяся душа заперта в клетку.

Выстраивается своеобразная линия образов: птичка, страдающая в клетке, которую необходимо выпустить — образ его юношеской поэзии; «вскормленный в неволе орел молодой» — образ зрелого поэта; наконец Емельян Пугачев, русский человек в клетке, — таковы реалии вдохновений Пушкина. За ассоциациями ходить недалеко.

Глава восьмая
«СДЕЛАЮСЬ РУССКИМ ДАНЖО»

*Ура! — куда же плыть — к песчаным ли берегам,
 Где дремлют вечности символы, пирамиды,
 Иль... к девственным лесам
 Младой Америки — Флориды?*

Пушкин (Б. Ак. 3. 935)

Приведенные выше строки взяты из черновиков большого стихотворения, написанного в Болдине в октябре («Октябрь уже наступил...») 1833 года. Может, даже задумывалась поэма «Осень», оставшаяся недописанной, ибо автор сам поставил для публикации временный заголовок «Отрывок». Понятно почему В. Набоков для «американского» комментария к роману «Евгений Онегин» выбрал из пушкинского черновика строфу о путешествии в Америку. Строки, вписанные в наш эпиграф, изъяты из черновиков поэта в советском десятитомнике под редакцией Б. Томашевского (1977).

Стихотворение длиной три страницы, а сохранившихся вариантов текста, вошедшего в «Отрывок» и не вошедшего, имеется двадцать одна страница, — беспримерный образец трудолюбия и требовательности к себе опытного поэта, а также важности задуманного произведения, которое так и осталось недописанным. Опубликована «Осень» была через четыре года после смерти Пушкина. Если позволительно изложить мысли, высказанные в стихотворении «Осень», презренной прозой, то окажется, что поэту не нравится почти все: его раздражает весна, мучит лето; ему лучше зимой («Здоровью моему полезен русский холод» и «Я снова жизни полн — таков мой организм»), но и тут «полгода снег да снег». Мила ему осень, но «как чухоточная дева», осужденная на смерть. Ему вообще климат на земле, где он живет, не нравится.

В стихотворении тщательно отделано одиннадцать с небольшим восьмистрочных строф о душевном состоянии поэта на фоне вступающей в свои права осени. Для вернувшегося вдохновения: «Минута — и стихи свободно потекут» — в черновике найдена еще более физиологичная метафора: «Минута — и стихи струею потекут». На деле это не очень-то происходит, ведь стихи, как уже ска-

зано, остались недописанными. Но далее возникает образ корабля:

...паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.

Сделанная часть представляется вступлением к неведомому разговору, следующему за осенним пробуждением духа. В черновиках разговор продолжается:

... какие берега
Теперь мы посетим — Кавказ ли колоссальный
Иль опаленные Молдавии луга,
Иль скалы дикие Шотландии печальной,
Или Нормандии блестящие снега —
Или Швейцарии ландшафт пирамидальный?

Корабль его творчества готов отчалить, но куда, поэт и сам не знает, собираясь бросить стихотворение на полуфразе со знаком вопроса: «Куда ж нам плыть?..» Кажется, все равно куда. «Ура!» в четверостишии, приведенном в эпиграфе, не очень вяжется с отсутствием решения, куда плыть: в Египет или в США. Не исключено, что именно поэтому строфа осталась в черновике. Но размышления сохранились. Летящие птицы да контуры древней статуи, скорей всего, египетского фараона, нарисованные Пушкиным рядом с текстом, сопровождают эти строки.

Есть тут и дата — 19 октября, символическая для Пушкина: день Лицея, в который он привык мечтать, вспоминая друзей юности и гадая о том, кто где сейчас. Сидя в Болдинской глухомани, Пушкин уносится мыслями в Египет, к пирамидам Нила, в Грецию, в Италию — в «тень Везувия», в Лапландию, то есть на север Норвегии, Швеции и Финляндии. Остались в черновиках «плоды мечты моей»: испанцы, турчанки, гречанки, корсары, индейские и арапские цари.

Перечень, похоже, случайный: то, что влезает в размер стиха. Но явственна тенденция сопоставления всего недостижимого с Псковской губернией, «о коей иногда...». А что происходит «иногда», не дописано, но можно догадаться: иногда, после мысленного пребывания в девственных лесах молодой Америки — Флориды, поэт возвращается мыслями к ней, к родной губернии.

Попутно у нас возникло сомнение насчет наличия лесов в этом американском штате. Мы бывали там не раз и лесов не видели, а теперь проверили: лесов и перелесков там имеется общим числом тридцать, все они на учете и охраняются, но на карте есть лишь маленькие, почти незаметные зеленые пятнышки, — какая уж там девственность! Впрочем, Пушкин писал об этом в конце первой трети XIX века, что было тогда?

По мнению моих консультантов с факультета лесов Университета Флориды, несмотря на весьма активное уничтожение лесов испанцами и индейцами, старые, экзотические заросли во времена Пушкина здесь еще оставались. Ведь то было время до массового внедрения тракторов и другой техники в лесную индустрию, с одной стороны, а с другой — до многомиллионного, вытаптывающего всю живую природу туризма, когда леса начали тотально исчезать¹³⁸. Стало быть, и в мелочи Пушкин проявил свою эрудицию, не ошибся, написав про девственные леса Флориды.

Размышляя об Америке, автор «Осени» совершенствует свой английский, пытаясь переводить начало поэмы Уильяма Вордсворта «*The Excursion*». Но язык Вордсворта оказывается слишком трудным, и переводчику приходится воспользоваться французской версией этих стихов.

Америка опять всплывает в уме Пушкина по другому поводу — в тексте статьи «О ничтожестве литературы русской» (одно название чего стоит!). Статья не была, конечно, опубликована, да и неизвестно, предлагал ли ее Пушкин кому-нибудь из издателей. В статье — культ Вольтера, за которым следуют, согласно тексту, все возвышенные умы мира. «Наконец Вольтер умирает в Париже, благословляя внука Франклина и приветствуя Новый Свет словами, дотоле неслыханными!..» (VII.215) Бенджамин Франклин, столп американской демократии, создатель Декларации независимости и Конституции, был тогда послом в Париже и, как известно из его биографий, привел внука к великому французу: просветитель Нового Света встал рядом с просветителем Света Старого. Вольтер положил обе руки на голову мальчика и, благословив, сказал ему: «Бог и свобода!» Слова эти у Пушкина отсутствуют, но намек на них в приведенной цитате трудно не заметить.

Состояние Пушкина помогает почувствовать народная песня, записанная им в Болдине. Отдавая свои фольклор-

ные заметки Киреевскому, Пушкин предложил игру: разгадать, какие тексты народные, а какие написаны им самим. Как ни старался Киреевский, он сделать этого не смог. И уж наверняка можно сказать, что Пушкин, если и не присочинял сам, то выбирал такие песни, которые были близки его сердцу.

Ах ты, молодость, моя молодость,
Не видал я тебя, когда ты прошла,
Когда ты прошла, когда миновалася!
Живучи с женой не с корыстною,
Не продать мне жену, не променять ее
Что ни братцу, ни товарищу. (III. 397—398)

Пребывая в печальных мыслях, герой решает нанять плотников и построить корабль. Не ассоциации, но прямая нить тянется к кораблю в стихотворении «Осень». Что-то слабо верится, что простой крестьянин в песне размышлял бы детально именно о корабельщиках. Вот его план действий:

Я спущу ли корабль на сине море,
Посажу ли жену, свою барыню,
Отпущу ли жену в свою сторону...

Увидев жену уплывающей, заскучал герой и делает попытку полюбить ее снова. Но ничего не получается, и жена ему скажет:

— Не обманывай ты, распостылый муж:
Что не греть солнцу зимой против летнего,
Не светить месяцу летом против зимнего,
Не любить тебе меня пуше прежнего!

Болдинские фольклорные записи поэта близки его собственным мыслям. Реальность, однако, была значительно менее романтической и далекой от литературных реминисценций. 31 декабря 1833 года Пушкину пожаловано звание камер-юнкера. Узнав об этом, он записал в дневнике: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры — (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове. Так я же сделаюсь русским *Dangeau*» (VIII. 27).

На деле не двору хотелось, а лично императору, и Пушкин не может не почувствовать двойственности своего положения. Другой аспект тревоги — растерянность и обида. Обида странная, ведь должность-то Пушкин сам давно просил. Звание, кстати, хотя в нем пребывали и более молодые люди, вовсе не унижало достоинств дворянина. Камер-юнкер по военному эквиваленту — полковник, и это вполне почетно, особенно, если учесть, что служить Пушкин и не собирается: ему нужны государственное содержание и привилегии чиновника, чтобы заниматься литературным трудом. Кроме того, хочется вести светский образ жизни — вот и получил желаемый статус. Но в душе он чувствовал себя некомфортно.

«Сделаюсь русским Данжо» сказано не случайно. Маркиз Филипп де Курсильон Данжо, адъютант короля Людовика XIV, входил в самый узкий круг французского монарха. Имя Данжо в России было хорошо известно. Поэт, игрок, дипломат по статусу, то есть во многом действительно сходный с Пушкиным, маркиз де Данжо вел подробнейший дневник. Туда заносил он изо дня в день детали личной жизни короля. Пушкин вполне мог примерить на себя костюм французского придворного и считать, что его третируют в обществе и распространяли о нем слухи так же, как это происходило с Данжо.

Был и более щекотливый аспект скопированной модели. Данжо решил жениться на светской красавице, но она ему отказала. Тогда вмешался король, настоял на браке, и красотка согласилась. Подтекст трогательной заботы об адъютанте в том, что Людовик нацелился сделать эту женщину своей любовницей и брак ее с подчиненным виделся как удобное прикрытие.

В дневниковой записи, где он называет себя русским Данжо, Пушкин снова изумляет нас своим ясновидением. Сперва ему отказано в женитьбе на юной Гончаровой. Николай Павлович хотя и не настаивал, но одобрил брак. Поэт с его помощью женился, и красавица-жена введена в свет. Никуда не денешься, он стал придворным летописцем: в дневниках записывал светские сплетни, даже чуть-чуть критиковал царя. Презируя службу, получил должность, жалованье и чин, чтобы жена его могла бывать на придворных балах для узкого круга. Даже в советской пушкинистике имеется признание, что Пушкин фактически стал русским Данжо.

Щеголев выразился еще открытее: «Да, он будет историографом ордена рогоносцев!»¹³⁹

По случаю получения Пушкиным чина Соболевский сочинил (русский язык великолепен!) эпиграмму, впрочем, весьма добродушную:

Здорово, новый камер-юнкер!
 Уж как же ты теперь хорош:
 И раззолочен ты, как клюнкер,
 И весел ты, как медный грош¹⁴⁰.

«Клюнкером» тогда назывался «сибирский обоз с золотом», или, проще, «золотуха». Лермонтов писал «клюджер», и это означало золотой червонец. По-немецки *klünker* — кисть, как на кушаке халата, тяжелое металлическое украшение, или, обратите внимание, человек, украшенный таким образом. *Klünger* — соцветие в виде виноградской грозди. Оба слова теперь остались в немецких диалектах, но они родственны: связь их в том, что оба могут значить *комок* или *сгусток*.

Камер-юнкер Его Величества Государя Императора был одет в мундир темно-зеленого цвета с красными обшлагами и красным же воротником. Золотое шитье, кисти (клюджеры?), свисающие по бокам, и специальные пуговицы придавали мундиру роскошный, праздничный вид. Ноги — в суконных белых панталонах, собранных под коленями, а ниже — белые чулки и черные башмаки. Если добавить обязательную шляпу с золотым шитьем и перьями, то это и будет камер-юнкер Александр Пушкин во всем блеске придворного ритуала. Жаль, что прижизненных портретов в парадной форме ни единого не сделано.

Новое звание Пушкин переживал неоднозначно. При друзьях бранил царя, самого царя сердечно благодарил. Хвалы поэта царским милостям раздавались и раньше. Хотя лесть иногда выглядит как пародия, вряд ли то было на самом деле. За месяц до бракосочетания, когда царь дал «благосклонный отзыв» на «Бориса Годунова», Пушкин в письме рассыпался в благодарностях Бенкендорфу и говорил о «свободе, смело дарованной монархом писателям русским в такое время и в таких обстоятельствах, когда всякое другое правительство старалось бы стеснить и оковать книгопечатание» (X. 260).

В одном месте дневника Пушкин высказывал удовлетворение полученным чином: «Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством. Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным...» (VIII. 27) В другом иронически сообщает, что великий князь поздравил его в театре. «Покорнейше благодарю, ваше высочество, — отвечал поэт. — До сих пор все надо мною смеялись, вы первый меня поздравили» (VIII. 28). Тем не менее он приобретает книгу лицейского профессора Ивана Кайданова «Краткое изложение дипломатии Российского Двора со времени Восшествия на Российский престол Дома Романовых до кончины Государя Императора Александра I», разрезает страницы и изучает тонкости придворной службы. Примерно тогда же он купил десятитомник мемуаров Казановы и прочитал их том за томом. Похождения знаменитого авантюриста, перехитрившего всю Европу и оказавшегося вхожим во двор Фридриха Великого, увлекли Пушкина дополнительной ассоциацией.

Год спустя полученная должность начала его тяготить. Согласно списку и рассылаемым Придворной конторой повесткам, он с женой обязаны были присутствовать на определенных мероприятиях в Зимнем дворце. Владимир Соллогуб записывает, что видел: Пушкин «ехал в придворной линейке, в придворной свите. Известная его несколько потертая альмавива драпировалась по камер-юнкерскому мундиру с галунами. Из-под треугольной шляпы лицо его казалось скорбным, суровым и бледным. Его видели десятки тысяч народа не в славе первого народного поэта, а в разряде начинающих царедворцев»¹⁴¹.

Служба и верноподданничество оплачиваются. В другой эпиграмме Соболевский тогда же написал более злые слова: «Твой первый друг — граф Бенкендорф»¹⁴². «В прошедший вторник зван я был в Аничков, — пишет Пушкин. — Приехал в мундире. Мне сказали, что гости во фраках. Я уехал, оставя Н. Н.». Без жены Пушкин поехал переодеться, а потом отправился не обратно на бал, а в гости. Не для того получил он звание, чтобы своевольничать, и царь был недоволен, повторив несколько раз жене поэта: «Он мог бы потрудиться сходить надеть фрак и вернуться».

Приятель поэта Владимир Соллогуб пишет: «Певец свободы, наряженный в придворный мундир для сопро-

вождения жене-красавице, играл роль жалкую, едва ли не смешную»¹⁴³. Между тем другой приятель Пушкина, Николай Смирнов, считал, что если бы Пушкину дали звание не камер-юнкера, а камергера, он бы не возмутился. Именно Смирнов дал ему ношенный мундир, и Пушкин смог сразу поехать во дворец. Отметим здесь звено в цепи потрясающих воображение совпадений: когда Пушкин сравнивает себя с Данжо, чуть ниже в дневнике впервые упоминается принятый офицером в гвардию француз по имени Дантес.

М. Цявловский прямо соединяет два факта: интерес царя к жене поэта и звание, присвоенное Пушкину, таким выражением: «из-за полученного благодаря ее красоте камер-юнкерства»¹⁴⁴. Царь — не просто человек с присущими ему инстинктами здорового мужчины. По идее он отец нации, кормилец народа, муж № 1 и, согласно статусу, нравится нам это или нет, конечно же, *главный оплодотворитель*. Письма Пушкина к жене царь читал: в мае 1834 года Пушкин узнал от Жуковского, что полиция передала Николаю Павловичу одно его письмо. В нем были обидные для царя вещи. Если известен этот эпизод, то, скорей всего, были и другие.

Супруга Николая I Шарлотта, она же Александра Федоровна, была на год старше Пушкина. Выйдя замуж, судя по ее дневникам, по любви, она легко переехала из Берлина в Петербург. Если жену свою Пушкин считал первой красавицей Европы, хотя проверить этого не мог, то императрица почиталась знающими дело современниками одной из наиболее образованных женщин Европы. Она стала внимательной читательницей и даже почитательницей Пушкина.

Современники находили, что Николай и Александра — гармоничная пара. Однако к 1831 году хрупкая Александра Федоровна, уже после нескольких родов, начала тяжело болеть хроническими женскими болезнями, и хотя лечилась на водах, состояние ее не улучшалось. Николай увлекся связями на стороне, оставаясь для народа в ореоле заботливого семьянина. Такой же стиль жизни полагал для себя и Пушкин.

Школу ухаживаний юный Николай, как он сам вспоминал, прошел забавную: на его глазах учитель и старый ловец граф Ламздорф прямо в детской соблазнял ласковую молоденькую англичанку мисс Лайон. Писалось, ско-

рее, со слов женщин, испытавших магию царя на себе, что он обладает решительным талантом покорять дам и что он дьявольски красивый и даже самый красивый мужчина в Европе. Пушкин и не подозревал, какой рекламной опасностью обладает титул «первая красавица Европы», навешенный им на жену.

Создание мифа о примерном семьянине вовсе не мешало царю вести фривольный образ жизни. Многие милостивые фрейлины, прежде чем оказаться замужем, проходили сквозь объятия императора. Одним из его любимых занятий было отпрапляться за кулисы в театральном училище, в уборные к актрисам, и смотреть, как они раздеваются. Некоторые из наложниц отца нации сделались всем известны, например, фрейлина его жены Варвара Нелидова; несомненно, имелось много других, имена которых удалось не разгласить. Настало время флирта императора с мадам Пушкиной, которая подчинялась его желаниям — иначе быть не могло.

Царь приглашает «мадонистую» (выражение Жуковского) красавицу танцевать, а потом усаживает рядом с собой за ужином. От такой чести кружились головы и у более опытных женщин. Мать Пушкина сообщает Евпраксии Вревской о неадекватной радости снохи по случаю присуждения мужу нового чина: «Натали в восторге, потому что это дает ей доступ ко двору. Пока что она всякий день где-нибудь танцует»¹⁴⁵. Если Николай Павлович имел в виду сделать Наталью своей возлюбленной, то появлялась еще одна причина не отпускать Пушкина за границу: дома Пушкин покорно бы молчал и терпел, а там — дойди до него слухи — мог и скандалить.

Таша — по-домашнему зовет он жену, а еще «моя косяя Мадонна», поскольку один глаз у нее косит. После свадьбы он заявил: «Кажется, я переродился». Но дело в том, что он *продолжает перерождаться*. Кокетничая с царем, Пушкина укрепляет положение мужа при дворе. Логика отношений клонится к неизбежному: Наталье предстоит сделаться наложницей государя.

Без спешки дело идет к тому, что известный поэт превратится в известного рогоносца. Обидное это слово впервые сам Пушкин примерил на себя как раз в письме к жене в Петербург из Болдина, грозя приехать, если она не прекратит флиртовать: «К хлопотам, неразлучным с жизнью мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных, рев-

ности *etc. etc.* Не говоря об *cocuage*, о коем я прочел на днях целую диссертацию в Брантоме» (X. 355). *Cocu* — рогосец, обманутый муж, *cocuage* — наставление рогов.

Пьер де Бурделье Брантом не случайно изучается Пушкиным, пребывающим в нервном одиночестве, — это своего рода еще один Данжо, закончивший дни в Париже. Известный циник, писатель Брантом три четверти века собирал придворную и светскую грязь: сплетни, байки о любовных приключениях знати, анекдоты. Все это он выплеснул в три книги мемуаров о знаменитых людях, великих полководцах и отдельно о «знаменитых дамах» и «галантных дамах», не забывая собственных походов. По причине скандальности записки Брантома были опубликованы лишь через полвека после его смерти, когда многие из героев тоже ушли в мир иной. Восемь томов, изданных в Париже, в переплетах из цельной кожи с гравированным портретом гуляки-автора Пушкин держал у себя на полке.

Можно представить, как разыгрывалось воображение поэта, читавшего в Болдине одновременно с Брантом письма собственной жены, в которых она то простодушно, то с хитростью рассказывала о своих головокружительных успехах в свете. Понятно, что оба имени — Данжо и Брантом — оказываются для Пушкина рядом, в неизбежном сравнении с самим собой. Перспектива сделаться рано или поздно *cocu* становилась вполне реальной и вовсе не невозможной, как кажется многим, писавшим о поэте.

Автобиографичность текстов иногда невероятно прозрачна. О философском смысле сказок Пушкина написано много. А о параллелях личностных в них — почти ничего. Первые два года семейной жизни жена поэта равнодушна к своим обожателям и больше озабочена ревностью к мужу, к его новым увлечениям. Однако материального достатка муж обеспечить не может. Наталья требует от Пушкина все больше, становится ненасытной. Случайно ли пишется им «Сказка о рыбаке и рыбке»? Источники ее известны — и немецкие, и русские. В них жена хочет сперва хорошую избу, потом замок, затем хочет стать королевой, императрицей, папой римским и, наконец, Богом. Вот последнее требование и не выполняется. В результате семья оказывается у разбитого корыта.

По части денег Наталья оказалась не менее расточительной, чем он. Ее наряды и выезды съедали львиную часть бюджета семьи. Пушкин играл в карты, а платил долги

царь; платил охотно, но это была опасная зависимость. Пушкин посмеивался: «Царь со мною очень милостив и любезен. Того и гляди попаду во временщики» (X. 285). И еще, когда царь дал ему жалование: «Это очень мило с его стороны, не правда ли? Он сказал, раз он женат и небогат, надо наполнить ему кастрюлю. Ей-богу, он очень со мною мил» (X. 286, фр.). Был резон в пушкинских словах: «Я всем сердцем привязан к государю».

Пушкин получал пять тысяч рублей в год. Для сравнения, Карамзину платили две тысячи, Жуковскому четыре, Крылову полторы тысячи рублей. «Евгений Онегин» продан автором Смирдину на четыре года (то есть фактически получилось — посмертно) с условием, что Пушкин не имеет права печатать ни единого отрывка. Полученные деньги поэт спустил в карточной игре. Зреет ревность к царю, и Пушкин играет еще азартнее. «Я перед тобой кругом виноват, в отношении денежном, — оправдывается он перед женой. — Были деньги — и проиграл их. Но что делать? Я так желчен, что надобно было развлечься чем-нибудь. Все Тот (конечно, речь о Николае. — Ю. Д.) виноват; но Бог с ним; отпустил бы лишь меня восвояси» (X. 386).

«Увлечение картами... исчезает после женитьбы поэта», — цитата из книги Г. Парчевского «Пушкин и карты»¹⁴⁶. Однако в той же книге потом перечисляются игры и проигрыши последующих лет. По подсчетам Парчевского, Пушкин играл по крупной 35 раз (на деле значительно больше) — в банк, фараон, штос, шулерскими методами тоже пользовался: очень хотелось выиграть¹⁴⁷. Но «чаще всего продувался в пух! — вспоминал Ксенофонт Полевой. — Жалко бывало смотреть на этого необыкновенного человека, распаленного грубою и глупою страстью!»¹⁴⁸

Игра в карты не могла не найти своего отражения в сочинениях Пушкина. «Пиковая дама» — его вариант немецкой (по другим источникам шведской) повести под тем же названием, изданной Ламоттом Фуке в Берлине в 1826 году. По-немецки Пушкин не читал, но она была переведена на французский. Некоторые коллизии, как доказал А. Егунов, Пушкин заимствовал у Эрнста Гофмана¹⁴⁹. О параллелизме Пушкин — Германн много написано. Реже отмечается, что в черновиках он начинал писать от первого лица, лишь после решив отстраниться от «я», но много связующих звеньев осталось. Более существенными представляются детали жизни поэта, из которых приистекает стыдливо

опускавшаяся пушкинистикой параллель характеров и материальных обстоятельств автора и героя.

Характер Германа с его сплетением осторожности и благоразумия, с бурлящими страстями и воображением, а также нужда и мечты сразу разбогатеть, — не копия ли автора «Пиковой дамы»? Пушкин одушевил своего героя собственной страстью игрока, своим суеверием. Он столь же настойчиво мечтал разбогатеть за ломберным столом, как Германн. В компании игроков, если заменить имена, окажутся московские и петербургские карточные приятели Пушкина. В черновиках поминается и публичный дом Софьи Астафьевны, в котором все они — желанные гости. Пушкинские рукописи на игровой бирже покупались и продавались. Когда он проигрывал в карты, все шло с молотка, будь то стихотворения или часть романа:

Глава Онегина вторая
Съезжала скромно на тузе. (X. 190)

Прочитав эти шуточные строки, сочиненные Иваном Великопольским, Пушкин чрезвычайно обиделся, но сути дела это не меняло. Обычно, если говорится о Пушкине-игроке, энтузиазм, страсть его преувеличиваются, а надежда и стремление внезапно разбогатеть приуменьшаются, однако он превратился в азартного игрока, жаждущего денег. Для сравнения: Боратынский раз проигрался и прекратил это занятие; Вяземский в юности просадил полмиллиона и больше не играл. Пушкин остался игроком до конца дней. Ценности и бриллианты жены были им заложены, чтобы расплачиваться с карточными долгами. Именно деньги были сутью страсти не только Пушкина, но и Некрасова, и Достоевского. Пушкин играл азартно, но плохо, рассчитывал на авось, проигрывал шулерам. Проигравшись, возвращался к творчеству — другому полюсу страстей.

О созданной в осень 1833 года в Болдине поэме еще Анненков писал, что «Медный всадник» создан одновременно со стихотворением «Не дай мне Бог сойти с ума», и смысл поэмы от этого становится яснее. «Медный всадник», в упрощенной трактовке, — поэма о том, что цель оправдывает средства. Другой ее смысл: надо быть сумасшедшим, чтобы выступить против царя (новое понимание Пушкиным себя и других, декабристов в том числе)¹⁵⁰. Всю жизнь Пушкин слышал позади себя тяжело-звонкое ска-

канье медного всадника и смирился с тем, что судьбы не избежать, что сойти с проторенной дороги невозможно — всадник растопчет. В поэме крайности: абсолютное рабство и — хаос; духовный взлет и — умственное убожество толпы.

Цявловский считает, что Пушкин принял поэму Мицкевича о Петре Первом как вызов со стороны польского собрата, и сатирическим картинам в стихах Мицкевича «Петербург», в частности, «Памятник Петру Великому», противопоставил свой панегирик вечно живому русскому царю¹⁵¹. Однако до «Медного всадника», в 1832 году, вышла книжка Ф. Я. Кафтарева «Петропольские ночи». В ней всадник уже оживлен, власть его безгранична, как, впрочем, безмерно и словоблудие сочинителя:

Бессмертный Петр, богоподобный,
Смирняя буйство на скале,
Один ты властвовать способный
Всемирным тронем на земле.

Но вообще-то и до, и после Кафтарева в литературе собиралось немало подобных дифирамбов. Сам монумент был талантливым созданием Фальконе — нанятого русским правительством французского скульптора, который уехал из России, не дожидаясь открытия памятника. Петр Великий верхом и в лавровом венке (награжденный кем? за что?), в тоге, на ногах сандалии (это для русского-то мороза!), неизвестно куда скачущий римский, точнее, русский патриций? Всадник-то, конечно же, бронзовый, а не медный, но привычка важнее точности.

Для Адама Мицкевича, в отличие от Пушкина, Петр Первый — «Царь-кнутодержец в тоге римлянина», а его деятельность — «водопад тирании». В «Медном всаднике» не только власть и личность, но и обратная сторона: хрупкость личных целей и желаний перед напором власть придержащих.

Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно. (IV. 274)

В сноске Пушкин цитирует Франческо Альгаротти, итальянского писателя, который побывал в петровской России: «Петербург есть окно, через которое Россия смотрит

в Европу». Конечно, повеление природы тут ни при чем: она к политическим амбициям равнодушна. Слова «прорубить» нет у Альгаротти. От этого пушкинского слова веет кровавой бойней. Для сравнения: чеченцы в конце XX века тоже ведь прорубали в Европу (и в Азию) через Россию окно, но им это природой не было суждено. Еще более серьезно другое. Почему, собственно, русскому народу надо иметь в Европу окно, а не дверь и не ворота? Ответ в том, что в окно можно только смотреть. Не вкладывал ли Пушкин иронический подтекст, ведь сам он имел возможность лишь подглядывать в кронштадтское окно, ибо дверь для него была заперта? Нет, не будем приписывать поэту наши сегодняшние мысли.

«Медный всадник» был запрещен цензурой. Николай Павлович, прочитав, сделал ряд замечаний. Жуковский приложил руку, чтобы обкорнать поэму для печати, заменив слова «горделивый истукан» на «дивный русский великан» и пр. Но и это не помогло: подтексты, непонятности, двойной смысл продолжали смущать цензуру. Одна из таких опасных мыслей — жалкость и беспомощность рядового гражданина России по сравнению с силой медных лбов власть имущих. И эту мысль убрать трудно. Даже Достоевский, во всем другом с Пушкиным согласный и его почитающий, остановившись на идиллических строках «Люблю тебя, Петра творенье...» и далее, вдруг взрывается: «Ведь это море, которого не видим, запершись и оградясь от народа в чухонском болоте... Виноват, не люблю его окна, дырья — и монументы»¹⁵².

Незадолго до смерти Пушкин принимается за переделку «Медного всадника». Сперва переносит в свою рукопись все замечания Николая, возможно, чтобы не просто исключить не понравившиеся царю места, но намереваясь перехитрить его изощренными изменениями. Постепенно правка уходит далеко от предшествующей версии, и оказывается брошенной на полпути. В тексте, который остался, ловим мысль Пушкина, с такой страстью вложенную им в строки: зловещая тень медного истукана, этот каменный гость, всю жизнь преследуя поэта, идет за ним по пятам.

Как с грустью говорил Боратынский, «молча можно быть поэтом»¹⁵³. Число близких Пушкину людей уменьшается. Он выбит из колеи. «У меня решительно сплин», — сообщает он. Плетнев жалуется Жуковскому, что Пушкин ничего не делает: «...Утром перебирает в гадком

сундуке своем старые к себе письма, а вечером возит жену свою по балам не столько для ее потехи, сколько для собственной»¹⁵⁴.

У него апатия. Даже в Болдине осенью пишется трудней: «О себе тебе скажу, — сообщает он жене, — что я работаю лениво, через пень-колоду валю. Все эти дни голова болела, хандра грызла меня; нынче легче. Начал много, но ни к чему нет охоты; Бог знает, что со мною делается» (X. 353). Павлищев мягко писал, что в тридцать четыре года Пушкин чувствовал себя пожилым человеком¹⁵⁵.

После десятимесячного путешествия по Германии, Швейцарии, Италии и Франции осенью 1833 года возвратился Жуковский. Увидав его, Пушкин записал в дневнике: «Он здоров и помолодел» (VIII. 23). Разговоры их вернулись к больным темам литературы, власти, службы. Непосредственным начальником поэта был опять граф Нессельроде. Разве не парадоксально, что Пушкин прослужил в Министерстве иностранных дел тринадцать лет — большую часть взрослой жизни, и ни разу не побывал на Западе? В дневнике он осуждает деспотические запреты русским проживать за границей, но что же делать? Невозможно жить, стоя на одной ноге, и, не сумев шагнуть через границу, он опустил вторую ногу на землю здесь.

Пушкин как государственный мыслитель — по существу, явление значительно более скромное, чем Николай Карамзин с его европейским широким подходом к просвещенному абсолютизму. Пушкин пытался подражать Карамзину, особенно во взаимоотношениях с властью, с царем. Карамзин не боялся изложить правду в письменном виде и представить царю. Пушкину хотелось быть таким же независимым, но первый же разговор с Николаем Павловичем в 1826 году показал, что это невозможно и остается только следовать принятой вокруг трона лести.

Часто цитируется высказывание из дневника русского Данжо о Николае: «В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого». Но не Пушкин это сказал, у него в дневнике написано: «Кто-то сказал о государе» (VIII.39). Поэт с некоторых пор предпочитал высказываться осторожнее, и даже в узком кругу друзей поднимал тост за здоровье царя. Дело не только в изменившемся времени, но и в разности натур Карамзина и Пушкина. Поставить себя так, как поставил Карамзин, поэт не сумел, а как историограф не создал труда, сравнимого с карамзинским.

«Путешествие из Москвы в Петербург» являет собой непредубежденному взгляду вполне лояльное сочинение Пушкина, в котором доказывается, что русский крестьянин — самый счастливый в Европе. Здесь трудно обнаружить критический подход поэта к действительности, и вот, чтобы придумать то, чего нет, пушкинистами предложен ход через игольное ушко. В комментариях объясняется, что умеренные взгляды выражает, дескать, не сам Пушкин, но... «воображаемый автор», «взгляды которого во многом не совпадают со взглядами самого Пушкина», и делает это исключительно по цензурной необходимости. А сам поэт, дескать, излагает такие мысли потому, что «не видел в современной ему России политических сил, способных произвести коренные изменения государственного строя» (VII. 493). Значит, если бы видел, то хамелеонски писал бы все наоборот? Эта белиберда сочинена уважаемым Б.Томашевским.

Консерватизм взглядов позднего Пушкина не вызывает сомнения. Близкий друг Вяземский тоже постепенно становится более умеренным, поступает на службу, и его духовное сопротивление прошлых лет улетучивается. «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества», — написал Пушкин в сочинении о Радищеве и повторил еще раз в «Капитанской дочке» (VII. 200 и VI. 301). В «Путешествии из Москвы в Петербург» поэт подчеркивает, что человек должен быть свободен «в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом» (VII. 207). Положение русского Данжо настолько упрочилось, что он мог теперь хлопотать перед правительством за других.

Пушкин записывает в дневнике любопытный разговор с английским посланником Джоном Блайем: «Зачем у вас флот в Балтийском море? для безопасности Петербурга? но он защищен Кронштадтом. Игрушка! — Долго ли вам распространяться? (Мы смотрели на карту постепенного распространения России, составленную Бутурлиным.) Ваше место Азия; там совершите вы достойный подвиг сивилизации... *etc.*» (VIII. 24). Не знаем, что отвечал Пушкин. Не знаем, как он сам думал в тот момент. Илья Фейнберг считал, что патриот Пушкин спорил с англичанином. Нам кажется, и согласие, и патриотические возражения были одинаково возможны для русского Данжо.

Отношения между государством и индивидом, а впрочем, и отношения между людьми есть вообще обмен. Единственным достоянием государства, имевшим обменную ценность для Пушкина, было признание его творчества и предоставление ему возможности свободно печататься. Но именно в этом государство ему отказало. Разговаривая с Николаем на бале и желая потрафить самолюбию царя, поэт сказал, что данное царствование будет ознаменовано свободой печати, он в этом не сомневается. Пушкин вспоминал: «Император рассмеялся и отвечал, что он моего убеждения не разделяет»¹⁵⁶. Следовало поэту либо, как многие другие, более преданно служить государству, либо, как сделали Вольтер и Байрон, его оставить. Ни то, ни другое Пушкин не сделал.

Подавляя ненависть, он принимает ограничения как норму, а муки жизни — как неизбежность судьбы. Существовая «при дворе», он как бы санкционирует собственное рабство. Но тут он чужой, вне правил игры, при большом самолюбии имеет маленький чин. Он согласился, что за данный ему Богом дар творить в действительности платит царь. Когда он размышлял о правах, он уже отдал их государству, превратившись в просителя подаяний.

Бюрократия диктовала ему, где жить, двор — что надевать, цензура — что писать, тайная полиция — куда ехать и кому читать стихи. Перо поэта склонилось к царской службе, и царь шел ему навстречу. Пушкин задумывает издавать журнал — ему дается разрешение, но он ничего не сделал. Он умоляет Бенкендорфа разрешить ему издание литературной газеты и следом, получив оное, пишет ему же, что дело это причиняет ему «отвращение». Честолюбие убожалось беседами с царем, а это была сделка с совестью или наивность, которая плохо уживалась с умом великого человека. «У Пушкина лакейство проникает... в самую сердцевину его творчества, — считал Д. Мирский, — диктует ему стихи, равные по силе лучшим из его достижений...»¹⁵⁷

В гостиной Александры Смирновой Пушкин не раз декламировал стихи в присутствии Николая Павловича, и последний ему аплодировал. Контакты между царем и поэтом происходили довольно часто с лета 1831 года. Смирнова вспоминала, как однажды государь, между прочим, когда речь шла об императоре Петре, сказал Пушкину: «Мне бы хотелось, чтобы король нидерландский отдал мне домик Петра Великого в Саардаме». — «В таком случае, —

подхватил Пушкин, — попрошусь у Вашего Величества туда в дворники». Царь рассмеялся и сказал: «Я согласен, а покамест назначаю тебя его историком и даю позволение работать в тайных архивах»¹⁵⁸.

Как-то не верится, что царь даже в шутку согласился послать Пушкина в Голландию. Но судя по дневникам Пушкина, почти всегда откровенным и отражающим придворные сплетни, включая слышанное о высказываниях императора, поэт определил свое положение: он стал близок к тому, чтобы сделаться русским Данжо. Если уже не стал им.

Глава девятая

**«НЕТ ПРЕПЯТСТВИЙ ЕМУ ЕХАТЬ,
КУДА ХОЧЕТ, НО...»**

Ух, кабы мне удрать на чистый воздух.

Пушкин — жене, 11 июня 1834 (X. 383)

«Ты разве думаешь, что свинский Петербург не гадок мне? — пишет он Наталье. — Что мне весело в нем жить между пасквилями и доносами?» (X. 378) На высокое предназначение российской словесности, когда жизнь протекает «между пасквилями и доносами», он смотрит цинично, ибо «охота являться перед публикою, которая вас не понимает, чтобы четыре дурака ругали вас потом шесть месяцев в своих журналах только что не по-матерну. Было время, литература была благородное, аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок» (X. 366). Пять лет назад он объяснял Егору Розену: «Помните, что только до 35-ти лет можно быть истинно-лирическим поэтом, а драмы можно писать до 70-ти и далее»¹⁵⁹. Неужели это предупреждение реализовалось?

Пушкин злой, зло срывает на дворнике, которого бьет, возвращаясь домой, деньги просаживает в карты. Карточная страсть взяла верх над творчеством и над любовными страстями, но даже самый опытный игрок не в состоянии идти против природы карточной игры. Это можно считать законом: чем дольше играешь, тем меньше шансов выиграть. Он поступал наоборот, втягивался в игру на всю ночь и к утру проигрывался в пух и прах.

Постоянно сидя на мели, он старается выкарабкаться, расплатиться с долгами, но влезает в новые. Играет все больше и проигрывает. Издателем хочет стать в надежде сделать деньги. Обращается к царю с просьбой выдать 15 тысяч на печатание «Пугачева». Получает 20 тысяч, причем «Пугачев» печатается за казенный счет, а полученные деньги частью отданы за долги, остальные проиграны. Год спустя в черновике письма Пушкин снова просит у царя, теперь уже 100 тысяч, чтобы «уплатить все... долги и иметь возможность жить, устроить дела моей семьи и, наконец, без помех и хлопот предаться моим историческим работам» (X. 680). По размышлению ходатай пришел к выводу, что «в России это невозможно», но деньги продолжает просить. Поняв, что замахнулся на нереальное, уменьшил просимую у царя сумму до 30 тысяч, но неожиданно получил 60. Вдумайтесь в эту нелепицу: «Из 60 000 моих долгов половина — долги чести», — без смущения сообщает он о карточных проигрышах (X. 682).

Еще в 1829 году, возвращаясь с Кавказа, Пушкин ехал вместе с картежником и аферистом Василием Дуровым, братом славной кавалерист-девицы. Дуров оказался помещанным на одном пункте, как вспоминал Пушкин: ему хотелось иметь 100 тысяч рублей. Чтобы добыть эти деньги, Дуров придумал 100 тысяч способов. Любопытен один из вариантов, который в шутку предложил ему Пушкин. Он посоветовал украсть полковую казну, и они обсуждают этот вариант. «Однажды сказал я ему, что на его месте, если уж сто тысяч были необходимы для моего спокойствия, я бы их украл. «Я об этом думал», — отвечал мне Дуров. — Ну, что же? — «Мудрено; не у всякого в кармане можно найти сто тысяч, а зарезать или обокрасть человека за безделицу не хочу: у меня есть совесть» (VIII. 81). Через пять лет Пушкин вспомнил эту историю, и, так сказать, примерил ее на себя. «Ох! кабы у меня было 100 000!», — пишет он жене (X. 400). А еще через год опять мечтает о ста тысячах, не зная, как их раздобыть. С этой мыслью он и играет в карты. Пишет письмо Дурову, поздравляя с женитьбой и опять посмеиваясь, что дело-то жизни — достать сто тысяч — не реализовано.

Одна деталь любопытна: каждый раз, упоминая эту «стотысячную мечту», Пушкин прибавляет как заклинание: «Буду жив, будут и деньги», «Главное, были бы мы живы». Деньги — едва ли не главная тема его писем. Не

рифмы, но суммы обсуждает он со своими корреспондентами, жалуется на нужду, просит у всех, у кого может. Не жена, не дети, не творчество — красная нить писем поэта последних лет, а цифры с нулями. Вдохновение его — в игре; тут он оживляется, горит до тех пор, пока не просадит все, что раздобыл, и тогда возвращается к стихам и прозе. Он клянется жене, что бросит карты. Он скрывает от нее проигрыши, обманывает. «Денег тебе еще не посылаю. Принужден был снарядить в дорогу своих родителей», — врет он ей, ибо денег родителям и не думал давать, все проиграл. Жизнь для него — это деньги, денег нет, а те, что попадают в карман, немедленно проигрываются. И опять денег нет, и весь он в долгах что в репьях.

Ах, как хочется после многолетнего тщательного изучения всего, что связано с Пушкиным, вернуться к его школьному чистому хрестоматийно-выглаженному, облизанному поколениями пушкинистов образу! Чтобы не знать той стороны жизни, которая засасывала его в болото. Но как закрыть глаза, как уничтожить факты, свидетельства, накопленные десятилетиями? И остается одно: писать как было на самом деле. Чепуха это все, что поэзия отдельно, а биография отдельно. У писателя жизнь и то, что пишется — одно. Друзья, родные, общество, правительство, царь, даже тайная полиция не только держали Пушкина в узде, но и (о чем не принято писать) помогали, содержали, пытались защитить от разорения его семью.

Бездельное времяпровождение все чаще становится во главу угла его жизни. Нащокин носится с идеей сделать игрушечный домик — копию собственного. Мастера отделяют комнатки, делают игрушечную мебель, посуду. Вложены уйма времени и денег — великолепный способ захоронения человеческих сил. Друг Пушкин в восторге от замысла. Он обитает в Москве у Нащокина, домой ехать не хочет, а жене в Петербург пишет: «Нащокин встает поздно, я с ним забалтываюсь — глядь, обедать пора, а там ужинать, а там спать — и день прошел» (X. 449). Увлекательная жизнь первого поэта России...

За периодами спада и апатии следует подъем творческой энергии. Поэт создает великие вещи, но великое не востребуется, оставаясь в столе. Это опять приводит его в отчаяние: бессмысленная карусель. Вернувшемуся в Петербург другу Александру Тургеневу, которым недовольны наверху, Пушкин читал запрещенного к печати «Медного

всадника». Двадцать лет Тургенев прожил в Европе, изредка приезжая, и в России стал чужим. Александр Воейков писал из Петербурга: «А. И. Тургенев провел здесь и в Москве почти год. Он стал дик и странен в образе мыслей и суждений. Он потерян для России»¹⁶⁰. «Дик и странен» — следует читать, что Тургенев сделался еще более западным человеком и космополитом. Но для Пушкина Тургенев оставался близким по духу. Тургенев повел поэта в английский магазин — купить ему импортные подарки.

А в театре через несколько дней Пушкин, боясь, что увидит государь, не пригласил опального Тургенева к себе в ложу. Обиженный Тургенев, отвыкший от российской паранойи, записал в дневнике: «Итак, простите, друзья-сервилисты и друзья-либералы. Я в лес хочу!» Но, конечно, понял и простил Пушкина. Почтенный иностранный вояжер маркиз Дуро прослышал о том, что царь не пропустил в печать стихи Пушкина, и спросил Тургенева, почему. «Твоим «почему», маркиз, не будет конца», — ответил Тургенев, перефразировав Вольтера («Твоим почему, сказал Бог, не будет конца»)¹⁶¹.

В советских трактовках поступок Пушкина, побоявшегося пригласить опального Тургенева в ложу, оправдывается сложностью положения поэта при дворе. «Понятно, что приглашение в ложу Тургенева, к которому Николай относился неприязненно, было бы расценено царем как очередной демонстративный акт; Пушкин не захотел обострять и без того натянутые отношения со двором»¹⁶². Тургенев же заметил, что грань между рабской угодливостью чиновников вроде Блудова или Уварова и либералистом Пушкиным стерлась. Сам Тургенев не только не отрекся от брата Николая, оставшегося в Лондоне, но, нарушая запрет, виделся с ним за границей, оказывал ему материальную помощь. В дневнике Пушкин писал красиво: «...я могу быть подданным, даже рабом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного» (VIII. 38). В повседневной придворной практике эта деликатная грань никому не казалась существенной.

Сколько раз Пушкин с вызовом глядел в дуло пистолета, в Арзруме, как сам рассказывает, даже добровольно полез в огонь сражения. Опасаясь же недовольства власти, трусил, заискивал. После презирал за это себя, ненавидел всех, но также поступал опять. 23 ноября 1834 года Пушкин просится на прием к царю «иметь счастье пред-

ставить первый экземпляр книги». Пушкин понимает, что экземпляр царь получит и без него, если пожелает, поэтому прибавляет, что хочет рассказать царю кое-что, не опубликованное в книге. Мудрено ли, что после таких действий о Пушкине ползут не самые приятные слухи. Он ими возмущается. Один раз смело выразил свой протест властям: «...ни один из русских писателей не притеснен более моего» (X. 431). Но — в черновике письма Бенкендорфу, которое не отправил.

Пушкина не выпускают за границу, но он хочет знать, что происходит *там*. Он знакомится с Анастасией Сикур, женой французского публициста и тоже журналисткой. Она вскоре уехала, а после написала о Пушкине статью. Французский маг и чревоушатель Александр Ваттемар встречается с поэтом. Пушкин даже пытается помочь ему через друзей с организацией концертов. Позже Ваттемар посвятил свою жизнь осуществлению проекта международного обмена книгами, организовывал выставки, на которых отдел русских коллекций был особо видной частью. Он вывез и сохранил автографы Пушкина.

Полуопальный Александр Тургенев, снова отбывший за границу, становится там пушкинскими ушами и глазами. Он путешествует по Италии, работает в архивах Ватикана, живет в Париже, потом в Лондоне, опять в Париже. Через Тургеневу Пушкин заочно знакомится с Ламартином. Читает и хочет печатать рассказы Тургенева о посещении домов Гете и Шекспира. «Если бы я знал тогда, что Пушкин сделался журналистом, то уладил бы письмо так, чтобы он мог выбрать из него несколько животрепещущих крох с богатой трапезы европейской. Годятся ли ему эти крохи, т. е. мои письма? Мы бы могли и отсюда переключиваться, и потом из Германии, на которую взгляну пристально, хотя и мимоходом, и — из Москвы, где надеюсь найти прежние письма и привести и собрать свежие впечатления. Передавать ли их журналисту Пушкину? Ожидаю от него скорого и откровенного ответа, и, в случае согласия, — условия о том, что ему нужно и на каком основании и чего он преимущественно желает. Чего я не должен присылать — я и без него знаю. Молчание приму за доказательство, что предложение мое не может быть принято».

Тургенев отыскивал любопытные документы по истории России в Королевской библиотеке в Лондоне, в париж-

ском «Арсенале»; письма Тургенева Пушкин охотно печатал в «Современнике». Однако «Хроники русского» были опубликованы без редактирования частных писем, и это привело Тургенева в гнев, что и в самом деле попахивало шелкоперством издателя. В следующем номере Пушкин, Вяземский и Жуковский решили извиниться, как того требовал оскорбленный Тургенев. Вяземский сочинил конфузливое письмо. Когда Тургенев вернулся, они встречались по три раза на дню, и Пушкин буквально поглощал все рассказанное приезжим. После смерти Пушкина «Современник» вместо «Хроники русского» из Парижа стал печатать, по выражению Тургенева, «статьи о тамбовском патриотизме».

В черновиках у Пушкина имеются тезисы, написанные по-французски и названные публикаторами «Планом статьи о цивилизации». Всего несколько строк, но интересно, что, собираясь рассуждать о рабстве и свободе, о цензуре и театре, Пушкин далее ставит рядом две темы: «О писателях. Об изгнании» (VII. 533). Бессмысленно гадать, каково могло быть содержание статьи, будь она написана. Но первоначальный ход мысли, связь между свободой творчества писателя и его местопребыванием, а также сам факт, что тема по-прежнему интересует поэта, очевидны. А вскоре рождается и записывается замысел статьи о правах писателя, опять-таки нереализованный.

Очевидно, в обоих случаях в подкорке наличествует Вольтер, и Пушкин невольно сравнивает себя с великим французом, моралистом, еретиком, изгнанником, конфликтующим с королем. Но столь же очевидно, что сравнение себя с почти свободным и независимым Вольтером не вдохновляет. Может, поэтому Пушкин вдруг упрекает его в том, в чем сам грешен: «Вольтер, во все течение долгой своей жизни, никогда не умел сохранить своего собственного достоинства... Клевета, преследующая знаменитость, но всегда уничтожающаяся перед лицом истины, вопреки общему закону, для него не исчезла...» Ощущение такое, что, называя имя Вольтера, он пишет о себе: «Что из этого заключить? что гений имеет свои слабости, которые утешают посредственность, но печалят благородные сердца, напоминая им о несовершенстве человечества; что настоящее место писателя есть его ученый кабинет и что, наконец, независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы»

(VII. 286). Все понимал Пушкин, оставалось реализовать эти мысли самому.

19 октября 1834 года, в такой вдохновенный обычно для него «лицейский» день, он писал Александре Фукс: «Поэзия, кажется, для меня иссякла. Я весь в прозе; да еще в какой!..» (X. 402) Через девять дней выходит «История пугачевского бунта», написанная полтора года назад. От него ждут следующих исторических изысканий, но труд о Петре (а замысел был написать историю «всех Петров» — от Первого до Третьего) продвигался с трудом и в результате не реализовался.

«История Петра» — и название, и само сочинение, собранное биографами из кусочков, блистательных и второстепенных, — носит характер некоего условного текста, большей частью выписок из книг. Заслуга в изготовлении связного сочинения Пушкина под названием «История Петра» принадлежит И.Фейнбергу¹⁶³. Пушкинист проделал огромную работу, подбирая друг к другу по смыслу готовые и не готовые записи поэта, полагая, что они станут связным текстом.

Такой подход при отсутствующем авторе вряд ли безупречен, и сочинению И. Фейнберга о пушкинском Петре давно противопоставляются серьезные возражения. Нельзя решать за Пушкина, что он внес бы в книгу и что отбросил за ненадобностью. Писалось не вольное сочинение, а заказ царя, поэтому произведение наверняка отличалось бы от имеющихся неполных черновиков. К примеру, поэт назвал Петра «самовластным помещиком», чьи указы «жестоки, своенравны, и, кажется, писаны кнутом». В готовой рукописи это не могло быть оставлено.

Петр-новатор начинается для Пушкина с Европы: «Отсылая молодых дворян за границу, Петр, кроме пользы государственной, имел и другую цель. Он хотел удержать залогом в верности отцов во время своего собственного отсутствия. Ибо сам государь намерен был оставить надолго Россию, дабы в чужих краях учиться всему, чего недоставало еще государству, погруженному в глубокое невежество» (IX. 40).

Осмыслить, что такое Петр Великий без традиционной отечественной мифологизации, Пушкину помогали западные авторы, прежде всего энциклопедисты. Но всей западной литературы Пушкин не имел возможности собрать. Как и в работе над Пугачевым, писателю приходилось следо-

вать официальным канонам. Изменившиеся имперские взгляды поэта способствовали работе; восторги источались, несмотря на факт, что предок его Федор Пушкин был казнен Петром за участие в заговоре против государя. Вот как звучат захватнические планы императора всея Руси: «Петр завоеванием Азова открыл себе путь и к Черному морю; но он не полагал того довольным для России и для намерения его сблизить свой народ с образованными государствами Европы» (IX. 56). Какой великий замысел — сблизиться через оккупацию чужих земель, овладеть культурой с помощью пушек! «Турция лежала между ими». Но позвольте, разве Турция лежит между Петербургом и Лондоном?

«Он, — продолжает Пушкин о Петре, — думал об Ижорской и Карельской земле, лежащих при Финском заливе, некогда нам принадлежавших, отторгнутых у нас незаконно во время несчастных наших войн и междуцарствия. Уже обиды рижского губернатора казались Петру достаточным предлогом к началу войны. Молчание шведского двора в ответ на требования удовлетворения подавало к тому ж новый повод». Может быть, Пушкин иронизирует? Рижский губернатор обиделся — и война. Шведский двор не ответил на письмо — захватим шведские территории.

К сожалению, никакой сатиры в черновых тетрадках нет. Пушкин то и дело оказывается под прессом мнения господствующего. Впрочем, вот точка зрения самого Пушкина: «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора и при громе пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, и европейское просвещение причалило к берегам Невы» (VII. 211). И в приведенном фрагменте устами Пушкина озвучивается вечное убеждение русских властей: то, что грабят они, законно и благодетельно. И на все, что им нужно, они имеют право. Вот, например, аллилуйя захватчику Петру у одописца Ломоносова:

...Росские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь отворят на восток,
И наша досягнет в Америку держава...

Если учесть мысли Пушкина об овладении Индией, то идея о мировом господстве русских принимает цельные

формы. Кстати, Петр собирался завоевать не только Дербент, но и милую поэту Африку, всерьез снаряжал экспедицию, глядя на карте на остров Мадагаскар. Вяземский весьма точно характеризовал русскую политику как *хвятизм*¹⁶⁴. В патриотических чувствах Пушкин идет еще дальше. Например, оправдываясь перед неизвестными критиками, упрекнувшими его за то, что он написал стихотворение о не совсем русском Барклае-де-Толли, он выдвигает вперед Кутузова: «Имя его не только священо для нас, но не должны ли мы еще радоваться, мы Русские, что оно звучит Русским звуком?»¹⁶⁵

Планы труда о Петре приоткрывают нам стремление Пушкина взглянуть на своего героя шире. Один из разделов плана назван: «Россия извне». Это события в странах Запада и Востока, так или иначе komponующиеся с внутренними российскими, взгляд со стороны. Сравнение обогащает понимание, «иностранные факты» дают возможность лучше понять Петра. Например, кровавая расправа Гусейн-шаха с любимым сыном Мирзой-Зефи — контраст с убийством царевича Алексея Петром, и контраст не в пользу русского царя. Для создания оригинальной биографии царя Петра необходимы материалы из иностранных архивов, в которые доступа поэту не было.

Пушкин чувствовал, что работу ему не кончить. «Я собрал теперь много материалов о Петре, — сказал он актеру Щепкину, — и никогда не напишу его истории, потому что есть много фактов, которых я никак не могу согласить с личным моим к нему уважением»¹⁶⁶. По мнению Анненкова, Пушкин оставил работу над «Петром», когда узнал об ужасах, творимых его героем. Сомнительно, что это так. находка для историка, если субъект оказывается недостаточно приглаженным; да и не в том видится причина, что труд не завершен. В заготовках много полусказов, намеков, остающихся по сей день нерасшифрованными, но представляется справедливым мнение о Пушкине-историке князя Вяземского: «Он выдал в свет несколько исторических сочинений, которые должно признать одними подготовительными работами»¹⁶⁷.

Разные причины отвлекали поэта от творчества. После трех лет семейной жизни у супругов Пушкиных назревает кризис. В ресторации «Дюмэ» поэта познакомили с молодым французом, и они, при обычной тяге Пушкина к иностранцам, быстро сошлись. Не исключено, что у них были

совместные похождения и обмен опытом по части женщин. Новый друг Жорж Дантес попадает в дом к Пушкину и вскоре начинает бывать у него почти ежедневно, принимая участие в светских развлечениях вместе с сестрами Гончаровыми. Сперва внимание, уделяемое офицером хорошенькой жене Пушкина, — необходимая часть светского ритуала. Затем Дантес начинает ухаживать за Натальей, все более увлекаясь ею.

Восемнадцатилетний сын барона Жозефа Дантеса, обремененного большой семьей и мизерным достатком, учился в Сенсирском военном училище, воевал, а затем повис на шее у семьи. Причина его перемещения в Германию не совсем ясна, но факт, что в Пруссии нашли родственников, к которым отец отправил сына, видимо, по материальным причинам. Используя связи, обратились к принцу Вильгельму, но получить офицерское звание тут не удалось, и Вильгельм порекомендовал Дантесу отправиться в Россию: жена Николая Павловича была сестрой Вильгельма. Рекомендательное письмо Дантес вез с собой.

Карьера Жоржа Дантеса в России известна. Протекция встреченного им по дороге голландского посланника Луи-Борхарда Геккерена обеспечила молодому французу ковровую дорожку в высший свет, встречу с царем, должность с десятью тысячами рублей жалованья в год, вдвое больше пушкинского. Из отечественной литературы, накопленной за полтора столетия, мы знали, что посланник Геккерен усыновил Дантеса. Однако голландские исследователи Баак и Грюйс давно доказали, что в действительности усыновление оказалось юридически незаконным и не было оформлено¹⁶⁸. Вот плоды изоляции от Европы: в России до конца XX века считалось историческим фактом то, что еще в тридцатые годы было опровергнуто на Западе.

Специальная грамота короля Нидерландов разрешала Дантесу получить подданство, имя, герб Геккерена, а значит, и его состояние. Это и было так называемое усыновление, о котором Геккерен, вернувшийся в Россию, сообщил ложные сведения. Для чего Геккерен распространял свою версию? Видимо, чтобы ему было сподручнее поддерживать тесные отношения с «приемным сыном».

Перед Дантесом открывалась почти невероятная перспектива карьеры: теоретически он мог стать в будущем одним из первых лиц Российской империи, скажем, министром или шефом Третьего отделения. Он обладал рядом

несомненных достоинств, и первое среди них — его целеустремленность в карьере. Слово «карьера» следует понимать здесь в положительном смысле, как благо и как это понимается на Западе, а не в традиционно-негативном российском контексте (который, кстати, меняется). Сенат и гвардия оказывали протекцию французу.

Служивший вместе с французом в Кавалергардском полку князь Александр Трубецкой вспоминал, что это был жизнерадостный, находчивый, веселый, общительный человек, многим близкий приятель: «И за ним водились шалости, но совершенно невинные и свойственные молодежи, кроме одной, о которой, впрочем, мы узнали гораздо позднее»¹⁶⁹. Трубецкой имеет в виду его голубизну.

Гомосексуальные причины породнения холостяка Геккерена с молодым красавцем-офицером, конечно же, были понятны в обществе всем, на «греческую любовь» в российской армии и в дипломатии закрывали глаза. Пушкин посмеивался над чересчур активными голубыми вроде своего приятеля Филиппа Вигеля («Тебе служить я буду рад... но, Вигель, пощади мой зад!»), однако дружил с ними. Возможно, ревность к ухажеру своей жены не возникала по этой причине: да, флирт имеет место, но ведь Дантес, как всем известно, — любовник голландского посла.

Авторы, изучающие отношения Пушкина и Дантеса, подчас не придают значения одному любопытному факту: Пушкин был давно, задолго до появления Дантеса в Петербурге, близко знаком с Геккереном. Они общаются с 1830 года, между ними добрые отношения и дружеские беседы при встречах у общих знакомых, они вместе веселятся, принимая участие то в костюмированной поездке, то в танцах на балах. Пушкин бывает дома у Геккерена, а стало быть, находит его интересным собеседником. Дипломат часто уезжает за границу, привозит книги и журналы, они становятся доступными поэту. Ни единого плохого слова не сказано Пушкиным о Геккерене до самого конфликта осени 1836 года.

Какие бы мы догадки ни строили, простой факт, что Дантес долго ухаживал за мадам Пушкиной, доказывает серьезность его любви к ней. А то, что она его не отталкивала и не прекращала этой двусмысленности — о ее взаимности. Светский воздух уже полнился сплетнями, и поэт, с интересом питавшийся слухами, не мог их не слышать.

Весной 1835 года Геккерен уезжает более, чем на год, и Дантес может действовать свободнее. Как явствует из его писем, он обещает Геккерену, что его страсть к «самому прелестному созданию в Петербурге» утихнет к возвращению приемного отца. Но главное тут, что пылкая страсть существует, сколько бы ни отрицали ее пуристы¹⁷⁰. Серьезность ситуации для Дантеса в том, что он находится в двух любовных связях одновременно: с Натальей и с Геккереном.

Неизвестно, как развивались бы отношения Натальи и Дантеса, если бы Пушкин не разыграл трагический спектакль. Ведь не разреши жена Пушкина, Дантес ее не преследовал бы. Не исключено, однако, что Наталья сознательно разжигала ревность мужа, который был занят другими женщинами, дразнила его, рассказывая об ухаживаниях француза. Николаю Павловичу были выгодны сплетни о связи Натальи с Дантесом. Как бы то ни было, Дантес появляется в сюжете на фоне охлаждения отношений внутри семьи. Пока что пушкинистика недалеко ушла от советской концепции: раз сам Пушкин называл в письмах жену ангелом, то просто грех думать иначе. Спору нет, не нужно делать из Натальи Пушкиной ни богиню, ни дьяволицу; однако важно понять, что происходило.

Пушкин любил жену, но в письмах его к ней нет ни его, ни ее духовной жизни, ни поэзии, только то, что ей интересно: сплетни и деньги. Он приноравливался к вкусам жены, но был предел. Ее участие в его жизни? «Я родила ему детей, что ж больше от меня требуется?» — говорила она с возмущением сестре Александрине. Наталья так и не вписалась в его интересы, но разве не ясно было первоначально этому опытному бабнику, что не впишется? Похоже, лучшая часть его жизни для нее отсутствовала и ее не интересовала.

Невесте он писал письма только по-французски, а меньше чем через год после женитьбы объяснил причину, по которой он переходит в письмах к ней на русский: «Я по-французски браниться не умею». «Одно худо, — отчитывает он ее. — Не утерпела ты, чтоб не съездить на бал княгини Голицыной. А я именно об этом и просил тебя... Если ты и в эдакой безделице меня не слушаешь, так как мне не думать...» (Х.372) И бранится: «Мой совет тебе и сестрам быть подале от двора», «Сиди дома, так будет лучше», «какая ты безалаберная», «тебе уши выдрать», «вы, бабы.

не понимаете счастья независимости», «Ох, семья, семья!» (Х.243, 382, 383).

Николай Смирнов писал о Пушкине, что «женитьба была его несчастье», о котором все близкие его друзья сожалели. Без состояния сам, он взял такую же жену и обеспечил себе «грустные заботы» до конца дней¹⁷¹. И все же было бы неправильным считать, что корни происходившего в семье Пушкиных лежали в ошибке выбора невесты. Его вина, что семья не сложилась, не меньше, если не больше жены. Она попала к нему в руки юной девочкой; он — зрелый, умный, знающий жизнь и женщин. По инерции он делал ей комплименты, но, женившись, собственные правила не изменил, жил, как привык, холостяком. Все его страсти только развились: карты, загулы, постоянные измены, которыми он хвастался перед ней. Чего же ждать от жены?

Человек двойных, если не множественных стандартов, он требовал от других большего, чем от себя. Добавим брошенное вскользь мнение Вересаева. Елена Булгакова в дневнике пишет: «Днем были у В. В. Вересаева. М. А. (Булгаков. — Ю. Д.) пошел туда с предложением писать вместе с В. В. пьесу о Пушкине, то есть чтобы В.В. подбирал материал, а М. А. писал... В. В. зажегся, начал говорить о Пушкине, о двойственности его, о том, что Наталья Николаевна была вовсе не пустышка, а несчастная женщина»¹⁷². Другие дамы света пускались и не в такие тяжкие, в том числе с ее мужем, а она, кажется, единственный раз влюбилась, и...

Конечно, хорошо было бы объективности ради посмотреть на происходившее глазами Натальи Пушкиной, но она не оставила ни слова о своих переживаниях: ни странички дневника, ни впечатлений. Жены друзей поэта приняли ее сердечно и дружелюбно, а она к ним осталась прохладна и в общем-то равнодушна. Годы рядом с мужем никак ее не развили. Окружающих она рассматривала в несложных категориях: «Гриша очень красивый мальчик, — писала она второму мужу о сыне, — гораздо красивее своего брата, и по этой причине записан в дворцовую стражу, честь, которой Саша никогда не мог достигнуть, потому что он числился в некрасивых»¹⁷³.

Серьезных исследований о Пушкине-семьянине нет, и это неслучайно. Миф держится, в основном, на его ласковых письмах к жене. В них он часто заботлив, но это фасад. Каким

отцом был Пушкин? Думается, никаким. В семье его не дождутся, а когда он появляется, возникают ссоры не только с женой, но и с детьми. «Александр порет своего мальчишку, которому всего два года; Машу он тоже бьет; впрочем, он нежный отец», — смягчает под конец этот отчет сестра Ольга¹⁷⁴. Что вложил он в своих детей? Что сделал для них, оставляя сиротами? Для жены его смерть, несмотря на обмороки и потрясение, стала избавлением от бремени.

«Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным», — пишет он жене. Увы, идеал и практика разделились. Внешне Мадонна в ампула жены после родов даже похорошела, но его восторг сменился привычкой. После женитьбы Пушкин говорил жене Александра Булгакова: «Пора мне остепениться: ежели не делает этого жена моя, то нечего уже ожидать от меня»¹⁷⁵. Стало ясно, что жена на него в лучшую сторону не повлияла. Она — ребенок, как заметила сестра Ольга по прошествии лет, стало быть, пятый ребенок в семье. Чем Пушкин только не занимается! Пытается продать статую, бесконечно ссорится с полоумной тещей, участвует в сваговстве Натальиной сестры, которую сделали фрейлиной двора.

Обратимся еще раз ко взятой эпитафией фразе из письма Наталье: «Ух, кабы мне удрать на чистый воздух». Не кажется ли странным, что Пушкин пишет жене «мне удрать», но не «нам»? Как это понимать? «А живя в нужнике, поневоле привыкаешь к...» — далее идет слово, приемлемое для забора. К таким словам поневоле привыкаешь, читая письма поэта, но мало радости их часто цитировать (Х.383). Мысль же в том, что ему хочется из российского нужника на свежий воздух. Притом одному.

Стихотворение начинается словами: «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» Ниже Пушкин приписывает несколько фраз, среди них: «Блажен кто находит подругу — тогда удались он *домой*» (Б. Ак. 3. 941). С чего бы писать о блаженстве с подругой, когда в семье происходит тяжелая ссора? Или это не о жене, а о другой женщине? Но тогда почему — *домой*? Да потому, что «блажен, кто находит» означает, что он *не нашел*, а стало быть, и *домой* не хочется, ибо дома подруги нет. Приписанная им фраза — крик души. Обратим внимание на еще одну деталь: в начале стихотворения «Пора, мой друг, пора!...» Пушкин говорит о двоих («а мы с тобой вдвоем предполагаем жить...»), а в конце размышляет об одном себе.

На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег. (III. 258)

«Не дай Бог ссориться с царями!» — говаривал Пушкин. Праздновались именины Николая. Пушкин не явился, сказавшись больным, а Наталья танцевала с царем. Второму сыну она хотела дать имя Николай. В честь ее отца, конечно, но ведь и Николаю Павловичу, с которым она танцевала, обедала и будет опять танцевать, как только придет в себя после родов, будет приятно. Отец настоял, чтобы назвали Григорием. Забегая вперед скажем: можно считать доказанным, что Пушкина стала любовницей царя после смерти поэта. Но Пушкину-то это не дано было знать.

Пишется «Сказка о золотом петушке». Что это вольный перевод на русскую почву «Легенды об арабском звездочете», известно, но нам показалось не случайным, что в сказке спор идет из-за женщины. Не раз Пушкин ассоциативным путем связывал мысли своих героев с собственными. Здесь из-за женщины царь убивает мудреца. Пушкин вписывает в сказку строку «Но с царями плохо вздорить», а потом исправляет: «Но с иным накладно вздорить», — явная самоцензура.

Один любовный треугольник — это тяжело, а он стал углом сразу в двух треугольниках. Несколько раз Пушкин возмущенно пишет жене, что его письмо распечатано. «Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство. Без политической свободы жить очень можно, без семейственной неприкосновенности... невозможно; каторга не в пример лучше» (X. 379). Копия письма Московским почт-директором Александром Булгаковым послана Бенкендорфу. Тогда Пушкин написал письмо с оскорблениями в адрес Булгакова. Письмо это не дошло до жены, но и не было передано Бенкендорфу, а просто исчезло, что подтвердило подозрения о перлюстрации.

Тихо протестуя против внедрения тайной полиции в свою переписку, Пушкин, между прочим, вводит в оборот термин и сегодня звучащий: «семейственная неприкосновенность». Об этом же еще раньше писал жене Вяземский: «Зачем ты о Пушкине сплетничаешь по почте? Разве ты не знаешь, что у нас родительское и чадолюбивое правительство, которое, за неимением

государственных тайн, занимается домашними тайнами детей своих?»¹⁷⁶

Быт его уныл. Удивляешься, как такой большой поэт умещался в такой маленькой комнатке, загнанный криками детей и дразнами родственников? Еще недавно там, в простеночке между полками книг, уходящими к потолку, на маленькой кушетке он мог отдохнуть, подумать, побыть один со своими мыслями. Теперь все ему опротивело. Сидеть на месте тошно. Даже любимый Летний сад он называет «огородом», как он назывался в XVIII веке.

Вдруг у него снова возникает желание попытаться попасть в Варшаву — на сей раз под предлогом «родственной необходимости»: сестра Ольга собиралась родить, и мать отправлялась туда. Надежда Пушкина писала дочери: «Александр, кроме того, сказал, что если возьмет продолжительный отпуск, то съездит повидаться с тобой в Варшаву; ни разу там не был. Вместе бы и приехали»¹⁷⁷. На следующий день отец писал Ольге: «Посмотреть Варшаву ему не мешает... Какие-то польские паны... протрубили ему, будто бы Варшава — Париж в миниатюре, куда после Варшавы и ездить не стоит»¹⁷⁸. Отец не понимает, что Варшава для его сына — последняя надежда. Разве не ясно, что в Варшаву его тоже не пустят?

Пушкин полон противоречий. «Домашние обстоятельства мои затруднительны; положение мое не весело; перемена жизни почти необходима» (X.388). Что это значит: перемена жизни? Размышления о необходимости ехать куда угодно, лишь бы двигаться, разговоры на эту тему — нормальное, постоянное и более типичное состояние, чем само бегство. Он добился должности, а теперь просится в продолжительный отпуск. Но денег нет. Раньше он гордился, что пишет за деньги — то была заявка на профессионализм. Теперь: «Писать книги для денег, видит Бог, не могу» (X.426). «Я исхожу желчью», — объясняет он приятельнице и соседке по Михайловскому Осиповой, а чуть дальше добавляет: «Свет — мерзкая куча грязи» (X.683—684). «Подал в отставку я в минуту хандры и досады на всех и на все» (X. 388).

Остается деревня. Мысли о том, чтобы вырваться из города, возникали и раньше, вскоре после женитьбы. Еще в июне 1831 года он писал Осиповой: «...Не могу ли я приобрести Савкино, и на каких условиях? Я бы выстроил себе там хижину, поставил бы свои книги и проводил бы подле добрых

старых друзей несколько месяцев в году. Что скажете вы, сударыня, о моих воздушных замках, иначе говоря, о моей хижине в Савкине? — меня этот проект приводит в восхищение, и я постоянно к нему возвращаюсь» (Х. 658).

Сельскую жизнь Пушкин идеализирует так же, как всегда идеализировал Запад. «Деревня Пушкину нравилась, но в деревне он думал о столице, а в столице о деревне», — писал Н.Котляревский¹⁷⁹. Теперь на черновике стихотворения он записывает: «О скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические — семья, любовь *etc.* — религия, смерть» (Б.Ак.3.941). Но о какой семье идет речь? Повторим крик души поэта: «Перемена жизни почти необходима».

Весной 1835 года он рвется в Михайловское, хотя жена должна вот-вот родить. Все удивлены его внезапным решением ехать туда. «Ты, быть может, подумаешь, что это за делом, — пишет дочери Ольге мать, — вовсе нет: ради одного лишь удовольствия путешествовать, — и по такой плохой погоде!.. Его жена очень этим опечалена. Признаться надо, братья твои — чудачки порядочные и никогда чудачеств своих не оставят»¹⁸⁰.

Погода действительно ужасная: в мае в Петербурге выпал снег и все собирались вернуться к саням. В когда-то любимое им Михайловское Пушкин заглянул, но быстро уехал. Он появляется в Тригорском у Прасковьи Осиповой и уезжает в Голубово к влюбленной в него давно, еще во времена михайловской ссылки, Евпраксии Вревской, которая недавно приезжала в Петербург. Баронессу Вревскую, до этого Зи-зи, Пушкин называл «кристалл души моей». Мать ее Осипова говорила, что он любил ее «как нежный брат», однако у Пушкина с ней был долгий роман до ее замужества. Зи-зи вышла замуж вскоре после того, как Пушкин женился.

Тогда ей было шестнадцать, теперь двадцать семь. Виделся с ней Пушкин и после, периодически; связь с ней обозначил в Донжуанском списке. В Петербурге он доставал ей билеты в театр, о чем она сообщила в письме к мужу. Отметим особые отношения Пушкина с этой женщиной в последние годы. Накануне смертельной дуэли не жена, не близкие друзья, но Вревская знала, что произойдет. А перед смертью полвека спустя Вревская завещала дочери предать сожжению пачку писем Пушкина. Думается, в письмах, особенно последних лет его жизни, сохранилось немало тайн.

Тут, в своем имени, Вревская была с мужем, и Пушкин, радушно и с заботой встреченный, проводил с ними дни втроем, хотя рассчитывал на другой расклад. Через десять дней он вернулся в Петербург, где жена его рожала сына. Три месяца спустя снова отправился один в Михайловское и опять пытался воскресить роман и с Вревской, и с другой возлюбленной из Тригорского — Алиной Беклешовой, которая тоже вышла замуж и жила в Пскове. В Алину он тоже был влюблен, будучи в ссылке в Михайловском. Ей посвящено одно из самых живых, легких и остроумных любовных стихотворений поэта:

Я вас люблю — хоть и бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь! (II.302)

Все это выглядит как новая ярмарка невест тридцатипятилетнего Пушкина, только невесты замужем и жених женат. Он остается ночевать в Тригорском в надежде, что Алина приедет из Пскова. Из Тригорского он мчитя в Голубово к Зи-зи и пытается срочно позвать туда Алину призывно-любовным письмом. Судя по внешне шутовским, но отчаянным строкам, она ему срочно нужна: «Приезжайте, ради Бога; хоть к 23-му. У меня для Вас три короба признаний, объяснений и всякой всячины. Можно будет, на досуге, и влюбиться» (X. 426). Что это? Привычный флирт? Не думает ли он всерьез о перемене своего семейного статуса?

Отодвигая подозрения от себя, Вревская в то время писала Алексею Вульффу: «Поэт по приезде сюда был очень весел, хохотал и кричал по-прежнему, но теперь, кажется, впал в хандру. Он ждал Сашеньку (Беклешову. — Ю. Д.) с нетерпением, надеясь, кажется, что пылкость ее чувств и отсутствие ее мужа разогреют его состаревшие физические и моральные силы»¹⁸¹.

Он поехал в Михайловское работать, но письма его оттуда, одно за другим, говорят о другом. «Писать не начал и не знаю, когда начну... Вот уж три дня, как я только что гуляю, то пешком, то верхом. Эдак я и осень мою прогуляю» (X.425). Ночует он у Вревских, ждет Беклешову, но увы... «Вообрази, что я до сих пор не написал ни строчки... Все кругом меня говорит, что я старею, иногда даже чистым русским языком» (X.427). Вдохновение, не-

смотря на любимую осень, не приходит: «Я теряю время и силы душевные, бросаю за окошки деньги трудовые и не вижу ничего в будущем... Утром дела не делаю, а так из пустого в порожнее переливаю... А ни стихов, ни прозы писать и не думаю» (X. 428). «Такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу, через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен» (X. 430).

Впечатление, которое он производил на ярмарку бывших невест, отнюдь не розовое. Пушкин «с каждым днем становится все более эгоистичным и все более тоскующим», — пишет все еще влюбленная в него старшая дочь Осиповой Анна Вульф.

В стихах его опять появляется знакомое слово «изгнанник». Всю жизнь он чувствует себя таковым. Пятнадцать лет назад это был «изгнанник самовольный», полный энергии для предстоящего побега, а теперь он видит себя в качестве «усталого изгнанника». Впрочем, зачеркивает эти два слова и пишет «печального изгнанника», жалуясь на судьбу, которая истомила усталое его сердце, ожесточив ум (Б. Ак. 3. 1003). Рождается «Вновь я посетил...», в котором выплескивается ненависть к окружающему миру. Мизантроп-герой находится в полном одиночестве, при полном непонимании окружающих и предательстве друзей:

Я зрел врага в бесстрастном судии,
Изменника — в товарище, пожавшем
Мне руку на пиру, — всяк предо мной
Казался мне изменник или враг.
Утрачена в бесплодных испытаньях
Была моя неопытная младость. (III. 429)

Поистине все возможные и невозможные неприятности должны валиться на голову поэта, чтобы он создавал такие строки. Образ русского скептика и западного романтика сливаются в нечто единое. И вдруг, наперекор сказанному, Пушкин зачеркивает мизантропические пассажи и обращается к потомкам: «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» (III. 314) Байроническая тема двигается у Пушкина по второму кругу, только все стало серьезней. Раньше герою, как и Байрону, было душно на родине, теперь невыносимо. И тема изгнания звучит осознанней и безвыходней. В июне или июле 1835 года рождается стихотворение «Странник».

Гоголь в статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии» писал, что в этих стихах звуками, почти апокалиптическими, изображены побег из города, обреченного гибели, и часть пушкинского собственного душевного состояния. Но более явственно, на наш взгляд, в «Страннике» проявляется трагическая интонация непонимания человека в семье. И — о чем не говорилось — опять тема бегства, но на этот раз — из семьи. Рядом со стихотворением «Странник» Пушкин рисует автопортрет, изображая себя безумцем, к которому протянута рука, призывающая его одуматься. А в жизни? Тесть и теща его — душевнобольные, один из братьев Натальи близок к этому. Семья не дала счастья, не помогла избежать трагедии.

И горько повторял, метаясь, как больной:
«Что делать буду я? что станется со мной?» (III. 310)

Бежать! Но куда? Да и не дадут скрыться: «Кто силой воротить соседям предлагал». Выхода нет и не предвидится. Чего Пушкин мог ждать от «начальников народных наших сил», как он назвал их в стихотворении «Полководец» (III. 301)? Кризис разросся от безвыходности. Жуковский жалел всю жизнь, что отговорил Пушкина от отставки и отъезда в деревню. Это спасло бы ему жизнь.

Пушкин пытается разобраться в причинах ссоры между собственными дедом и бабкой Ганнибалами, которые жили врозь: «И сей брак был несчастлив. Ревность жены и непостоянство мужа были причиною неудовольствий и ссор, которые кончились разводом» (VIII. 59). Официальному разводу препятствовала церковь. Мария Ганнибал предложила мужу незаконный развод по обоюдному письменному договору — «отзыву». Подобные домашние разводы были распространены при Екатерине II в Петербурге и назывались «разъездами».

На прошении поэта об отпуске года на три или четыре в деревню Николай наложил резолюцию: «Нет препятствий ему ехать, куда хочет, но не знаю, как разумеет он согласить сие со службой; спросить, хочет ли отставки, ибо иначе нет возможности его уволить на столь продолжительный срок» (Б. Ак. 16. 288). О загранице речь не идет, он весь в долгах и хочет податься в деревню. Но решительности снова не хватило — и опять его унизили: прошение подано — прошение с раскаянием отозвано.

Бенкендорф докладывает царю: «Так как он сознается в том, что просто сделал глупость, и предпочитает казаться лучше непоследовательным, чем неблагодарным, то... я предполагаю, что Вашему Величеству благоугодно будет смотреть на его первое письмо, как будто его вовсе не было. Перед нами мерило человека; лучше, чтобы он был на службе, нежели предоставлен самому себе»¹⁸². Бенкендорф старался отчитываться перед Николаем Павловичем в виде, облегчающем ответ. И резолюция царя была адекватной: «Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться; то, что может быть простительно двадцатилетнему безумцу, не может применяться к человеку тридцати пяти лет, мужу и отцу семейства»¹⁸³.

С женой он не советовался, она была по понятным причинам против деревни. «А ты и рада, не так? Хорошо, коли проживу я лет еще 25; а коли свернусь прежде десяти, так не знаю, что ты будешь делать» (X. 393). Но она не знала, что делать и при нем.

Как спастись от хандры? Осенью 35-го у него опять флирт, на этот раз чисто платонический, с юной Машей, пятнадцатилетней дочерью Прасковьи Осиповой. «Я думал, сердце позабыло», — начинает он стихотворение, и признается, что «легковерные мечты... опять затрепетали». Но это уж спад, инерция, почти шутка. Маша стала героиней «Капитанской дочки», а любовь свою автор вложил в сердце Гринева.

В нем какой-то надлом. В декабре 1835 года он пишет Осиповой: «Как подумаю, что уже 10 лет протекло со времени этого несчастного возмущения, мне кажется, что все это я видел во сне. Сколько событий, сколько перемен во всем, начиная с моих собственных мнений, моего положения и проч., и проч.» (X.684). Взгляды его изменились, чтоб не сказать — сделались противоположными. Кажется, он смиряется:

Я возмужал среди печальных бурь,
И дней моих поток, так долго мутный,
Теперь утих дремотою минутной
И отразил небесную лазурь.
Надолго ли?.. (III. 260)

26 мая близкий друг — дочь Карамзина Екатерина Мещерская с мужем и сыном отправляются в Италию, и «я

проводил их до пироскафа» (X. 379). То был день его рождения. Эти бесконечные проводы хорошо понятны. С юности у Пушкина была тяга к порту, где он дышал воздухом дальних странствий. В порту стояли корабли с пестрыми флагами, слышалась разноязыкая речь, до которой он был большой охотник. Каждый раз возникала иллюзия возможности уплыть, но...

На следующий день Пушкин представлен Великой княгине Елене Павловне, урожденной принцессе Вюртембургской. Она получила блестящее образование в Париже и стала православной, выйдя замуж за младшего сына императора Павла — Михаила. Николай Павлович называл ее «ученая из нашей семьи». Остроумная, начитанная, со скептическим взглядом на мир, эта опережающая время парижанка чувствовала себя чужой в России и держала себя весьма независимо. Счастья у нее с мужем не было, и вся ее жизнь сосредоточилась на друзьях, в основном писателях-либералистах, как тогда говорили, близких ей по духу и по интересам. Великая княгиня интересовалась произведениями Пушкина еще до знакомства, а теперь Пушкин быстро стал одним из близких ей людей, может даже самым близким, и не только в духовном смысле, о чем он, как ни странно, намекал в письме к жене. Встречи его с Еленой Павловной стали частыми.

В дневнике Пушкин дважды поминает новый указ о выезде за границу. Сперва в виде слуха: «Говорят, будто на днях выйдет указ о том, что уничтожается право русским подданным пребывать в чужих краях. Жаль во всех отношениях, если слух сей оправдается» (VIII. 36). Еще бы: щель сузилась. Право ехать за границу могут отобрать: царь решает единолично, кого выпускать. А через две недели Пушкин отмечает: «Вышел указ о русских подданных, пребывающих в чужих краях. Он есть явное нарушение права, данного дворянству Петром III; но так как допускаются исключения, то и будет одною из бесчисленных пустых мер, принимаемых ежедневно к досаде благомыслящих людей и ко вреду правительства» (VIII. 37). Указ Пушкин рассматривает спокойно: у него право побывать в чужих краях с молодости отобрано.

Он сближается с фрейлиной Александрой Россет, которую знал давно, но теперь она замужем за дипломатом, собирается уезжать, и перед отъездом они особенно часто

видятся. Жена ревновала Пушкина к Россет, впрочем, она ревновала его ко всем.

Портретов красавицы Россет сохранилось множество. Когда она родилась, матери ее было пятнадцать лет, и Александра была вторым ребенком. Она на десять лет моложе Пушкина, красива, остроумна, наблюдательна, человек талантливый во многих отношениях (сама сочиняла музыкальные пьесы) — подлинная сокровищница для писателей. Пушкин называл ее «красноглазым кроликом», Жуковский — «небесным дьяволенком»; для Гоголя, по его словам, в Ницце она была «душевным монастырем». С царем она была близка. Пушкин ухаживал за ней, Вяземский и Жуковский к ней сватались. Перед тем, как венчаться, Россет сожгла письма Вяземского. Графиня Евдокия Ростопчина, близкая подруга Россет, опасаясь ее скомпрометировать, перед смертью уничтожила свою переписку. Аксаков, считавший ее «сиреной-соблазнительницей», утверждал, что у нее хранился портфель с непристойными письмами к ней, которые она собирала. Она стала прототипом многих литературных героинь.

Ей было разрешено выйти замуж за дипломата Николая Смирнова. Пушкин, возможно, из ревности не советовал ей делать этот шаг, хотя с дипломатом дружил и часто брал у него деньги в долг. Молодоженов пригласили на свадьбу Пушкина, и Смирнов был шафером. Он имел знакомство с Байроном, что для Пушкина казалось особым знаком.

Россет всем помогала, то и дело обращалась к императору с просьбами, защищала гонимых и была авторитетом среди известных писателей. Стихи Пушкина она передавала Николаю быстрее, чем Бенкендорф. Из-за границы она писала: «Скажите Пушкину, что я могу ему сообщить все, что происходит в литературном мире Берлина... А ведь и здесь жалуются, как и у нас, на застой в изящной литературе...» В сороковые годы у Смирновой после родов начались первые приступы душевной болезни, а последние годы своей жизни она была тяжело психически больна и умерла в Париже. После ее смерти осталось два сундука, полных рукописей. Судьба их неизвестна.

Споры о достоверности воспоминаний Смирновой-Россет не утихли до сих пор. Сошлемся на логичные рассуждения Н. Арсеньева: «Особенно интересные и живые рассказы ее «Записок», которые печатались в 1893—94 гг. в журнале

«Северный вестник». Хотя подлинность этих записок заподозрена, т. е. был обнаружен ряд неточностей, и литературную обработку или даже фальсификацию приходится приписать дочери Смирновой, Ольге Николаевне, — материалом для этих записок, по-видимому, послужили действительно рассказы и воспоминания Александры Осиповны»¹⁸⁴.

Поиски привели нас в квартиру Смирновых в Тбилиси. Сюда по ее завещанию привезли пять телег имущества из Калуги. В Калуге имение Смирновых уничтожили в советское время и на его месте разбили городской сквер. Царские подарки разграбили солдаты Красной армии и чекисты. Сохранилось только то, что вывезли за границу или спрятали наследники. Потом появилась в Тбилиси закрытая для широкой публики квартира под нелепым названием «Дом литературных взаимосвязей», — еще бы: не открывать же музей императорской фрейлины!

Когда мы побывали в музее, три комнаты там были приведены в порядок, а в остальных просто свалены вещи, в том числе портреты, иконы XVI века, принадлежавшие Смирновым (надеюсь, их по сей день не разворовали). Сохранилась камер-юнкерская шляпа, которую, по преданию, надевал Пушкин (сам Смирнов тоже начинал карьеру камер-юнкером). Сохранился хрустальный кубок: в годы существования салона у Смирновых за лучшее исполнение чего-либо произносился тост, и Пушкин тоже пил из этого кубка.

В салоне Смирновой-Россет Пушкин прочитал целую лекцию про демократию в Европе по сравнению с Россией. Говорил он об участии крестьян в управлении и добавил: «Я всегда желаю съездить в Стокгольм, чтобы видеть палату крестьянскую в действии»¹⁸⁵. «Всегда желаю» звучало бы смешно, если бы мы не знали, насколько это серьезно.

Знакомый Пушкина Авраам Норов путешествовал по Египту. Вернувшись, он много вспоминал о поездке, о том, как купил там каменную статую. «Какую чудную поэму можно было бы создать из этого эпизода, — вдруг воскликнул Пушкин. — Но чтобы написать об этих исторических странах, нужно их видеть, жить там. Мы, северные варвары...»¹⁸⁶ Смирнова не могла слышать слов Пушкина, потому что уехала за границу до возвращения Норова. Он рассказал ей об этом в Париже.

А еще раньше, когда весной 1835 года Смирнова уезжала с мужем-дипломатом за границу, она от всей души сочувствовала поэту. «Сегодня утром, — отмечает она в

дневнике, — я встретила бедного Пегаса Пушкина в английском магазине, куда ездила купить себе дорожный мешок. Он сказал мне: «Увезите меня в одном из ваших чемоданов, ваш же боярин Николай меня соблазняет. Не далее как вчера он советовал мне поговорить с Государем, сообщить ему обо всех моих невзгодах, просить у него заграничного отпуска. Но все семейство (Гончаровы) поднимет гвалт. Я смотрю на Неву и мне безумно хочется доплыть до Кронштадта, вскарабкаться на пароход...»¹⁸⁷

Чемоданное настроение не проходит. Среди недоделанных набросков есть три страницы комедии без названия. Действуют в комедии графиня и ее любовник по имени Дервиль. Начинается отрывок с письма, которое пришло от мужа, и графиня в истерике читает это письмо любовнику: «Через неделю буду в Париже непременно». А чуть ниже любовник отвечает графине: «Я не допущу его до Парижа, я поеду навстречу к графу. Мы поссоримся, я вызову его на дуэль и прокалю его» (V. 418—419). Последний шанс, который оставался Пушкину, чтобы очутиться в Париже «непременно», — спрятаться в смирновском чемодане. Надо было спешить: жить Пушкину осталось меньше двух лет.

В тбилисской квартире Смирновых сохранились их дорожные сундуки. В один из них мечтал спрятаться Пушкин. Я открыл сундук и попробовал в него улечься. Оказалось тесновато. Но Пушкин был небольшого роста, вполне сумел бы уместиться и пролежать до выхода корабля в открытое море.

Глава десятая

ИСТИНА ДОРОЖЕ РОДИНЫ

*Такие смутные мне мысли все наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть, да бежать...*

Пушкин, 14 августа 1836 (III. 338)

Однажды вечером в последнее лето своей жизни Пушкин зашел к Карлу Брюллову, чтобы пригласить к себе на ужин. Несколько раз возвращались они к разговору о том,

что художник начнет портрет поэта, а дело не сдвинулось. Настроения идти в гости у Брюллова не было, Пушкин стал его уговаривать и в конце концов уломал.

С Брюлловым подружился в Италии Соболевский, а потом познакомил Пушкина. Брюллов рассказывал, что жизнь в Италии ему нравилась своей независимостью, и собирался навсегда остаться за границей. По указанию царя русский посол в Риме настоял, чтобы художник вернулся. Брюллов схитрил: отправился в Грецию и Турцию, но в Константинополе его разыскали сыщики из русского посольства и передали приказ немедленно выехать в Россию. Брюллов повиновался, однако приехал не в Петербург, а в Москву и там прикинулся больным. Тогда они с Пушкиным и сошлись. Пушкин сообщал жене: «Брюллов сейчас от меня. Едет в Петербург скрепя сердце; боится климата и неволи. Я стараюсь его утешить и ободрить; а между тем у меня у самого душа в пятки уходит...» (X. 454)

Мысли Пушкина в этом письме близки к брюлловским: художника запугали и заставили вернуться, а Пушкин здесь повязан по рукам и ногам: «Будучи еще порядочным человеком, я получал уж полицейские выговоры и мне говорили: *vous avez trompé* (вы не оправдали. — Ю. Д.) и тому подобное. Что же теперь со мною будет? Мордвинов будет на меня смотреть, как на Фаддея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона; черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом! Весело, нечего сказать».

Цитата о трагической ошибке поэта родиться в России слишком важна, чтобы пройти мимо нее. Пушкин всегда выражается точно, и немного восклицательных знаков в его письмах. Выходит, с талантом без души в России можно жить, с душой без таланта — тоже, но вот когда у тебя и душа, и талант, возникает серьезная проблема. Поэт знал, что письма его к жене перлюстрируются, что их читает царь, и четко различал, какое письмо посылать почтой и какое по оказии. Это послано обычной почтой, на нем имеются два штемпеля, московский и петербургский. Стало быть, автор письма хотел, чтобы кто надо прочитал его крик отчаяния, и мазохистски желал, чтобы ошейник затянули еще туже.

Любопытна своим перевертышем трактовка цитаты отцом Сергеем Булгаковым. «Действительно, — объясняет Булгаков, — Пушкин однажды обмолвился в письме к жене (уже в 1836 году): «...догадало меня родиться в Рос-

сии с душой и талантом». Однако это есть стон изнеможения от своей жизни, но не выражение его основного чувства к родине, его почвенности»¹⁸⁸.

Проигнорируем еретического «чорта», выкинутого о. Булгаковым из пушкинского текста. Но почему надо объяснять нам, что поэт имел в виду вовсе не то, что написал? Зачем навязывать классику почвенность там, где ее нет? Сей комментарий — мелочь, но мелочь наглядная: именно так националисты выворачивают поэта наизнанку. К каким только домыслам они не прибегают, чтобы употребить мысли поэта в полезном для них ключе! Котляревский в работе «Пушкин как историческая личность» приводит два высказывания: «Удрать бы в Париж и никогда в проклятую Русь не возвращаться» и «черт догадал меня родиться в России...» Комментарий такой: «Никто, конечно, из этих возгласов никаких выводов делать не будет. Все они продиктованы злой минутой, а не часами размышления. Никто их не слышал, кроме тех, кому они были сказаны, и Пушкин никому не позволил бы повторить их». Тут что ни утверждение, то выдумка. Для сравнения: эмигрант Максим Горький называл фразу Пушкина «черт догадал меня родиться в России...» *горькой и верной*¹⁸⁹.

С Брюлловым Пушкин вел тогда бесконечные разговоры на эту болезную тему. Он писал жене о встрече с художником: «Он хандрит, боится русского холода и прочего, жаждет Италии, а Москвой очень недоволен» (Х.448). Позже ученик Брюллова художник Михаил Железнов свидетельствовал: «Брюллов не мог равнодушно вспоминать, что Пушкин не был за границей, и при мне сказал господину Левшину, генералу с двумя звездами: «Соблюдение пустых форм всегда предпочитают самому делу. Академия, например, каждый год бросает деньги на отправку за границу живописцев, скульпторов, архитекторов, зная наперед, что из них ничего не выйдет. Формула отправки за границу считается необходимою, — говорит он, — и против нее нельзя заикнуться, а для развития настоящего таланта никто ничего не сделает. Пример налицо — Пушкин. Что он был талант — это все знали, здравый смысл подсказывал, что его непременно следовало отправить за границу, а... ему-то и не удалось там побывать, и только потому, что его талант был всеми признан»¹⁹⁰.

Вернемся на дачу в Царском Селе, куда поэт пригласил Брюллова. То, что художник увидел дома у Пушкина, пока-

залось ему печальным. «Я был не в духе, не хотел идти и долго отказывался, но он меня переупрямил и утащил с собой. Дети Пушкина уже спали, он их будил и выносил ко мне по одиночке на руках. Не шло это к нему, было грустно, рисовало передо мной картину натянутого семейного счастья...» Тут-то Брюллов задал Пушкину бестактный вопрос: «На кой черт ты женился?» И Пушкин (мы уже цитировали, но придется повторить) ответил со свойственной ему искренностью: «Я хотел ехать за границу — меня не пустили, я попал в такое положение, что не знал, что мне делать, — и женился». Трудно сдерживать эмоции, хочется протестовать, вымарать эту фразу из воспоминаний, чтобы наш великий поэт выглядел более респектабельно.

Словом, по мнению Брюллова, поэта берегли, чтобы не отдать Европе, держали взаперти «за талант». А почему, собственно, спрашивает американский славист, наш оппонент, Пушкину было плохо? Он диссидент, но его охотно печатают, он допущен во дворец к императору и в дома к первым лицам государства. Он историк, работает в государственных архивах, куда иностранцев и теперь пускают с трудом. Сравните его положение с травлей Солженицына или Сахарова, с жизнью советских писателей-диссидентов. Сравнить трудно, но Пушкину было плохо в *его* время.

Давно хотелось взглянуть на картину с противоположной точки зрения. Что если реальная ситуация в бытовом плане была обратная: не ему создавали сложности семья и общество, а он сам создавал сложности семье и обществу? Жenu выбрал сам, сам сделал ее такой, какой она стала.

«Брак этот, как и весь конец жизни Пушкина, был несчастным, — писал В. Майков. — Злой рок как бы преследовал поэта»¹⁹¹. Сестра Пушкина Ольга говорила, что у него «три жены», а Дантес называл сестер Гончаровых «пушкинским гаремом». В этой истории поэт запутывался, росли дети, но домашнего очага, который был у Карамзина, у Вяземского, у Нащокина, у Смирновых, у Фикельмон, у многих его друзей, не получилось. По складу характера, образу жизни, любвеобильности, он оставался одиноким, или, точнее сказать, *женатым холостяком*.

Правительство виновно в ограничениях его свободы, но материально сам он, не желая быть деловым помещиком, давно и добровольно стал иждивенцем казны и заявлял, что писать ради денег не будет (противоположное тому, что декларировал в молодости).

Случайный гость Петербурга английский турист Томас Рейкс, встретившись с Пушкиным, удивлялся: «Он, будучи доволен славою, редко обращается к своей музе, кроме тех случаев, когда его денежные средства приходят в упадок... Он откровенно сознается в своем пристрастии к игре; единственное примечательное выражение, которое вырвалось у него во время вечера: “Я бы предпочел умереть, чем не играть”»¹⁹².

По мнению М. Дубинина, именно карточные долги загнали Пушкина в угол. «Не ненависть к семейству Геккеренов, не ощущение зависимости, тягостной и многоликой, как камер-юнкерство, жандармская опека, перлюстрация писем и строгости цензуры, привели поэта к роковому концу. Эти причины, ни каждая в отдельности, ни в своей совокупности, не могли бы вывести Пушкина из равновесия, если бы не было еще одной: хронического безденежья и связанной с ним заботы о завтрашнем дне, расстраивавшей поэта»¹⁹³. Пушкин

Все ставки жизни проиграл. (Б. Ак. 6. 519)

С деньгами катастрофа. Чтобы раздобыть их, Пушкин заложил ростовщику белую турецкую шаль жены, а спустя некоторое время часы «брегет» и серебряный кофейник. Видя трудности приятеля, Соболевский перед отъездом в Англию собрал все свое столовое серебро (набралось больше двух пудов) и отдал Пушкину для залога. Кредиторов становилось все больше, а отдавать было нечем. Министр финансов империи Егор Канкрин, тоже, между прочим, писатель, лично занимался карточными долгами Пушкина (назовите еще одну такую ситуацию в мировой истории).

Летом из-за границы возвратился Иван Яковлев, с которым Пушкин нацеливался отправиться в Париж еще в 1829 году. Карточный долг поэта Яковлеву (шесть тысяч рублей) висел все эти годы, и Пушкину пришлось, в который раз признаваясь в несостоятельности, просить отсрочки. Долг этот возвратила опека после смерти поэта. За два месяца до смерти он закладывает ростовщику черную шаль жены. За месяц до смерти соглашается на продажу родного ему Михайловского. Выходит, даже пуповина, привязывавшая его «к отеческим гробам», обрывается. За три дня до дуэли он забрал столовое серебро, принадлежав-

шее Александрине, сестре Натальи, и получил за него у ростовщика 2 тысячи 200 рублей.

Сам еле сводящий концы с концами, он вынужден, кроме растущей семьи, помогать брату, сестре, содержать сестер жены. Труды его не оправдывают надежд, долги составляют 45 тысяч рублей и продолжают быстро расти. Начинает журнал — не столько из литературных целей, сколько надеясь заработать. Деятельность такого рода требует напряженного труда, опыта нет, на журнальном рынке растет конкуренция.

Название «Современник» придумал для Пушкина Вяземский, оно имело большой смысл, но, как это ни парадоксально, не отвечало сути издания, в котором именно современности, то есть актуальных проблем России, не было и в помине. Смирдин, прослышав о замысле, заволновался и предложил Пушкину отступного полторы тысячи рублей, опасаясь, что новое издание перебьет его «Библиотеку для чтения». Зря беспокоился: Пушкин был журналист не конъюнктурный, материалы в «Современнике» собирались случайные. Занимался изданием совсем уж непрофессионал Гоголь, который в первом же номере напечатал одиннадцать своих заметок и провалил выпуск, вызвав скандал критикой всех и вся.

Пушкин признал, что мало делал для первого номера «Современника» и только второй книжкой собирается заняться «деятельно». Он попытался расширить жанры, дать политику, науку, больше западной информации. Белинский, которого ему хотелось привлечь для работы в журнале, напечатал в «Молве» зубодробительную рецензию на «Современник» и, таким образом, отпал. Приговор был строг: журнал «не будет иметь никакого достоинства и не получит ни малейшего успеха».

Достоинства журнала и его роль в истории русской литературы сильно преувеличены. Рядом с проблесками хорошей литературы, интересными заметками Александра Тургенева из Парижа «Современник» печатал заведомо бездарных авторов. Пушкин покупает книги и сам пишет на них короткие рецензии — не самое важное занятие для поэта. Он попал в карусель компромиссов, когда необходимо ради ублажения цензуры смягчать все, о чем думаешь. Ища независимости как писатель, он впадал в еще большее рабство в качестве издателя. Заполняя журнал собственными статьями и переводами, он делал его одно-

образным. «Современник» не имел успеха, тираж его из номера в номер понижался. Книгопродавцы отказывались его брать. Из последнего тиража удалось продать меньше ста экземпляров.

В сентябрьской книжке «Современника» (том третий) Пушкин публикует без подписи свою рецензию на сборник стихов Виктора Теплякова. Что привлекло внимание рецензента в посредственном поэте, у которого он «обнаруживает самобытный талант»? Биография Теплякова значительно интереснее стихов. В юности на него наложен был «венец терновый»: офицер и вольнодумец, он подвергся аресту за отказ присягнуть царю, прошел через процедуру церковного покаяния, был сослан на юг, там занимался археологическими раскопками. В книге «Фракийские элегии» герой предстает отверженным родиной и друзьями сосланным невольником, еще одним Чайльд-Гарольдом. Пушкин не мог не обратить внимания на сходство судеб своей и Теплякова. В центре анонимной рецензии — путешествие на корабле к фракийским берегам:

Плывем!.. бледнеет день; бегут брега родные,
Златой струится блеск по синему пути;
Прости, земля! прости, Россия;
Прости, о родина, прости!

. И далее «самобытный талант» Тепляков убывает из России, и Пушкин обильно цитирует повторяющиеся мысли о том, «как быстро мой корабль в чужую даль несется!». «Увижу я страну богов», — мечтает Тепляков о Франции, и далее строфа за строфой, как рефрен, мысли об одном:

Теперь — сны сердца прочь летите!
К отчизне душу не маните!
Там никому меня не жаль!..
Мечты о родине молчите;
Там никому меня не жаль!..
Утесы родины, простите!
Там никому меня не жаль!

«Тут, — не обращая внимания на игру слов *там* и *тут*, заключает Пушкин эти строки весьма преувеличенной похвалой, — есть гармония, лирическое движение, истина чувств!» (VII. 287—288)

Для своего «Современника» Пушкин кратко пересказывает записки «цивилизованного американца» Джона Теннера, прожившего тридцать лет среди индейцев. Рецензент читал не английский оригинал, а его французскую версию, статью подписал *The Reviewer* (Обозреватель), а в авторстве признался Чаадаеву. Пушкин хвалит труд Алексиса Токвиля, у которого ознакомился с проблемами демократии в Америке. Пушкинское сочинение о Джоне Теннере разоблачает Америку в стиле, хорошо нам знакомом по установленным позже канонам агитпропа. Правда, суть критики иная.

Если бы Пушкин предвидел, что его поверхностные замечания об американском капитализме будут полтора века использоваться для разоблачения Запада, он, вероятно, писал бы осторожнее. Госпушкинистика эксплуатировала небольшую заметку с большой энергией. Во время Второй мировой войны тема была приглушена, поскольку хотелось получать бесплатно грузовики и свиную тушенку из Америки. А во время холодной войны Д. Благой восхвалял поэта за то, «с каким возмущением писал Пушкин о ханжески-лицемерной американской “демократии”»¹⁹⁴. В. Набоков издевался над попытками советских пушкинистов разглядеть антиамериканизм Пушкина, в частности, над Н. Бродским, который объяснял слово «боливар» в «Онегине»: дескать, шляпа боливар символизировала общественные настроения носившего ее, означая, что ее владелец симпатизирует борьбе за независимость угнетенных меньшинств в США. Набоков говорил, что с таким же успехом можно утверждать: американки носят головные платки «бабушка» из сочувствия к СССР.

При перечитывании пушкинской заметки о Теннере выясняется, что через полвека после американской революции умнейший человек России не знал элементарных принципов американской демократии и конституции. На основе чужих мнений (Токвиля, а также тех, кто писал о Токвиле в России) Пушкин рассуждал об американской буржуазии, сетуя на «народ, не имеющий дворянства», и находил сходство демократических устоев Нового Света и лукавых нравов диких племен.

Одно из преступлений Радищева, по мнению Екатерины, состояло в том, что он хвалил Франклина. Мысли об Америке действительно волновали Радищева. Будучи помощником главы петербургской таможни, он встречал пер-

вые американские парусники, которые зашли в Петербург. Два года спустя Радищев записывает: «Американских кораблей нынешний год очень мало. Доселе здесь только один. Желательно, чтобы они ездить к нам не наскучили». Америка начинала торговать с Россией. Но не только об этом мысли Радищева. В стихах он пишет:

К тебе душа моя воспаленна,
К тебе, словутая страна,
Стремится, гнетом где согбенна
Лежала вольность поправа;
Ликуешь ты! а мы здесь страждем!..
Того ж, того ж и мы все жаждем;
Пример твой мету обнажил.

Славная (словутая) страна показывает, по мнению Радищева, цель (мету), которую мы все жаждем достичь. Было за что преследовать Радищева. Друг Пушкина Дельвиг тоже назвал Америку в юношеской поэме страной с несчетным богатством. Впрочем, то была расхожая тема в европейской публицистике.

Поток эмигрантов из старой Европы в Новый Свет ширился. Пушкин это, несомненно, знал, но был воспитан на политических идеях XVIII века. Подобно Вольтеру, обличал тиранов, но постичь принципы сложившейся на Западе демократии, которую поэт не наблюдал, питаюсь устной, а также ущербной газетной информацией, он не успел. Его подход был великолепен: *Закон* и *Свобода*, но американская демократия далека от пушкинской концепции идеальной монархии при правовом строе и гарантии прав дворянства, то есть привилегированного класса. Вяземский назвал взгляды Пушкина «свободным консерватизмом», но это мало что объясняет. Существенно одно: интерес русского поэта к Новому Свету.

Пушкин снова обратился к текстам Роберта Саути, начал переводить «Медока» — поэму об открытии Америки в XII веке, то есть за три века до Колумба, Уэльским принцем Медоком.

Попутный веет ветр. — Идет корабль —
Во всю длину развиты флаги, вздулись
Ветрила все, — идет... (III. 195)

Бунтарь Саути постепенно стих, пережил насмешки над собой Байрона, превратился в смиренного мистика и теолога. В кругу пушкинских приятелей он одно время стал темой для дискуссий. Делались его переводы, из которых упомянутый пушкинский не самый лучший и, возможно, потому брошенный: не написано и тридцати строк. Америка занимала Саути. Он мечтал об организации там, в условиях девственной природы, Пантисократии — свободной общины философов, художников и поэтов. Разговоры об этом звучали в петербургских гостиных и при встречах Чаадаева с Пушкиным.

Реальная жизнь поэта была далека от Пантисократии. Плетнев выговаривал Пушкину: «Ты все повторяешь: грустно, тоска, ничего не пишешь и не читаешь». — «Любезный друг, — отвечал поэт, — вот уже год, что я, кроме Евангелия, ничего не читаю»¹⁹⁵. В конце жизни, судя по текстам, взаимоотношения поэта с Богом становятся более политизированными. От религии вообще, от открытости и свободы мнений он перемещается к православию, и об этом, в частности, спорит с Чаадаевым. Слова Николая Павловича, сказанные Жуковскому, лучше всего объясняют государственный подход к поэту: «Пушкина мы насилу заставили умереть христианином». В центре же полемики между Пушкиным и Чаадаевым — разное отношение писателей к совести и долгу перед родиной.

«Прекрасная вещь — любовь к отечеству, — писал Чаадаев, — но есть нечто еще более прекрасное — это любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к родине разделяет народы, воспитывает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур... Не чрез родину, а чрез истину ведет путь на небо»¹⁹⁶. Этот важнейший для цивилизованного мира постулат столетиями ускользает из российского понимания ценностей бытия.

Чаадаев много размышляет о причинах, выталкивающих русского писателя из России. Он говорит о диетическом содержании души в нашем отечестве, о необходимости смирения, о том, что все мы странники, что возмущение расстраивает самое наше здоровье, и даже — о вредном влиянии воздуха, которым здесь дышат. «Жалкую странность» России Чаадаев видит в том, что истины, всем известные, у нас только открываются. Русские не при-

надлежат ни к одному великому семейству человечества — ни к Западу, ни к Востоку. Они вне времени.

Чаадаев добровольно вернулся из-за границы, после публикации письма был объявлен сумасшедшим; запрет печататься действовал до конца его жизни, но и после смерти многие его рукописи оставались неопубликованными полтора столетия. Еще бы: он критиковал православие за то, что оно совлекло Россию с общечеловеческого пути, он осуждал патриотизм и ратовал за право индивида не соглашаться с толпой и государством.

19 октября 1836 года, в день Лицея, Пушкин пишет Чаадаеву, оспаривая его мысли, изложенные в первом «Философическом письме»: «Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал» (X. 689).

Цитата эта часто приводится в доказательство пушкинского патриотизма. Но, во-первых, письмо написано с пониманием, что с ним будет знакомиться третий читатель, — с чего бы иначе заявлять в частном послании о преданности царю? Во-вторых, Пушкин говорит, что не хочет иметь другую историю своих предков, но ведь такого выбора ему и не дано. Иначе рассуждает Чаадаев: «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, со склоненной головой, с запертыми устами», — это из его «Апологии сумасшедшего», написанной в то время¹⁹⁷.

Традиционно объясняют, что Пушкин не отправил Чаадаеву письмо, так как опасался причинить ему вред. Однако свои возражения показал приятелю Клементию Россету. Тот, прослышав о реакции царя на чаадаевское философическое письмо в журнале «Телескоп», отправил к Пушкину слугу с предупреждением не посылать написанное по почте. Видимо, после этого поэт добавил к письму: «Ворон ворону глаза не выклюнет» и решил не отправлять вообще. Чаадаев этого письма так никогда и не прочитал.

Тяжело пришлось отечественной пушкинистике. В восьмидесятые годы XX века, накануне развала страны, когда труднее стало представлять поэта розовошечким патриотом, была придумана новая формула: «прогрессивность пушкинского патриотизма». Оказалось, что отличительной «чер-

той такого патриотизма является *глубокий критицизм*»¹⁹⁸. Теперь классик мог сколько угодно критиковать свою страну, но оставался «прогрессивным патриотом».

Вот принципиальное расхождение между Чаадаевым и Пушкиным на вершине спора: Пушкин говорил, что *истина сильнее царя*, а Чаадаев требовал большего, считая, что *истина сильнее родины*. Это и было его постижение всечеловеческих ценностей, которые всегда выше административно-государственных. Тезис Чаадаева принципиален и в сегодняшнем мире для всех, хотя далеко не все ему следуют.

Пушкин обособился от Чаадаева, но никто точнее, чем первый друг его молодых лет, с которым он мечтал вместе путешествовать по Европе, не сформулировал в «Философических письмах» суть отечественных проблем. Не борец вовсе, но честный скептик, российская версия маркиза Астольфа де Кюстина, для жизни в России фигура *non grata*, Чаадаев добавляет, что мы живем как великий урок для отдаленных потомков. В XXI столетии это звучит пророчеством.

Пушкин стремился в Европу так же страстно, как Фома Кемпийский и Рёйсбрук Удивительный рвались в Царство Небесное. Иначе как Землей Обетованной поэт с его умом, живым и оригинальным, Европу себе и не представлял. Неосуществленное желание попасть на Запад привело к обидам, к раздражению, к злобе на всех и вся. Отсюда, возможно, накапливающиеся критические высказывания по отношению к западным странам, начиная с Польши и кончая Америкой.

Летом 1836 года в Петербурге жил барон Франсуа-Адольф Леве-Веймар, французский историк и дипломат. Вяземский организовал в его честь вечер. Приехал Пушкин, который пригласил Леве-Веймара к себе на дачу, перевел для него русские песни. «Для полного счастья, — вспоминал француз о поэте в некрологе, — Пушкину недоставало только одного: он никогда не бывал за границей. В первой юности препятствием к его путешествию по Европе служил его пылкий образ мыслей, а впоследствии его не выпускали из России семейные обстоятельства. С каким страданием во взгляде упоминал он в разговоре о Лондоне и в особенности о Париже! С каким жаром он мечтал об удовольствии посещения знаменитых людей, великих ораторов и великих писателей. Это была его мечта!»¹⁹⁹

Заявление французского историка и литератора тем более достоверно, что они породнились: осенью того же года Леве-Веймар женился на родственнице Натальи Пушкиной Ольге Голынской. Он вспоминает откровения русского писателя о желании вырваться из обыденной жизни, как трясина, его засасывающей, и доказывает, что в конце жизни большая тема бегства из рабства к свободе продолжала назойливо всплывать в мыслях Пушкина.

Поэт писал жене: «Письмо мое похоже на тургеневское — и может тебе доказать разницу между Москвою и Парижем» (X. 451). Сидя в Москве, он печально сравнивал город, его родное гнездо, которое он то любил, то ненавидел, и Париж. У каждого в этом мире свои обстоятельства и свои горизонты: Пушкин, мечась между Москвой и Петербургом, бредит Западной Европой, а каторжанин Кюхельбекер в Сибири, судя по его письму, мечтает о Петербурге и Москве, завидуя Пушкину.

Через год с лишним после того, как поэт собрался было спрятаться в смирновском чемодане, владелец его побывал в Петербурге. Аркадий Россет свидетельствует: «В июне 1836 года, когда Н. М. Смирнов уезжал за границу, Пушкин говаривал, что ему тоже очень бы хотелось, да денег нет. Смирнов его убеждал засесть в деревню, поработать побольше и приезжать к ним. Смирнов уверен был, что государь пустил бы его. Тогда уже, летом 1836 года, шли толки, что у Пушкина в семье что-то неладно: две сестры, сплетни, и уже замечали волокитство Дантеса»²⁰⁰. Состояние Пушкина отразилось и в законченном тогда же «Путешествии в Арзрум», где автор размышляет о несбывшейся мечте вырваться за пределы России.

«В сущности, — считает Владимир Соллогуб, — Пушкин был до крайности несчастлив, и главное его несчастье заключалось в том, что он жил в Петербурге и жил светской жизнью, его убившей»²⁰¹. Мечта поэта в стихотворении «Из Пиндемонте» («Не дорого ценю я громкие права») — освободиться, выйти из системы, какой бы она ни была:

Зависеть от властей, зависеть от народа
Равно мне тягостно...

Б.Томашевский в десятитомном собрании сочинений заменил беловую строку Пушкина на черновую, чтобы вместо слова «властей» появилось «царя»: «Зависеть от

царя, зависеть от народа...» Пушкинисты не раз демонстрировали читателям, что они знают лучше Пушкина, как он хотел написать (Б. Ак. 3. 420 и 1031; III. 336). Поэт выходит из игры:

...Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать...

Блистательная искренность крайнего индивидуалиста! А как же быть с народом, в котором пробуждал он чувства добрые? Единственная свобода и единственное право, которые еще ценятся Пушкиным, сводятся к *свободе передвижения*:

По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданными искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
— Вот счастье! вот права...

Горькая ирония по поводу свободы, которая ему доступна: зависимости от всех — выливается в стихах. Зачем ему права, если ими нельзя воспользоваться? В стихах звучит тема сопоставления порядков в России, кои он отвергает, с общечеловеческими идеалами, которые он тоже критиковал. И все же взгляды Пушкина оказываются тут ближе к космополитическим чаадаевским, чем в прямой полемике с ним.

В черновиках осталась рецензия «Путешествие В. Л. П.», то есть, конечно же, о путешествии дяди Василия Пушкина, который тут, однако, называется N.N. и «одним из приятелей автора». Пишет Пушкин-рецензент о книжке, не появившейся в продаже, — стало быть, и рецензия на нее не так уж важна. И вдруг в конце заметки Пушкин выплескивает горячее восклицание: «Виноват: я бы отдал все, что было писано у нас в подражание лорду Байрону, за следующие незадумчивые и невосторженные стихи, в которых поэт заставляет героя своего восклицать друзьям:

Друзья! Сестрицы! я в Париже!
Я начал жить, а не дышать!» (VII. 297)

Стихи эти, написанные Иваном Дмитриевым, опубликовали тиражом пятьдесят экземпляров двадцать восемь лет назад. Чего же особенного в сих строках (именно восторженных), чтобы Пушкин решил написать сентиментальный отзыв на них, да еще отдать за пару строк значительную часть литературы, включая, стало быть, и написанное им самим? Оставим порыв без комментария, тем более, что он сам понимает: стремления бежать потеряли смысл.

Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам...
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий. (III. 335)

На сионские высоты человек попадает в результате праведной жизни. «Напрасно» — значит, жизнь этого «я» полна пороков. Точно лев, вечный символ человеческой гордости, преследующий добычу, грех алчный гонится за поэтом. Бегущего льва Пушкин рисует тут же на черновике. Грех постоянно с ним, и ясно, что стремиться к сионским высотам бессмысленно. Куда деваться? С кем быть? Кого любить, кроме самого себя? Шесть лет назад он писал:

Поэт! не дорожи любовью народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм. (III. 165)

Оставаться твердым и спокойным нет сил.

В январе 1837 года Пушкин начинает делать выписки про Камчатку, исписав две тетради и еще отдельные листы под названием «Камчатские дела». Наброски оказались опубликованными сто лет спустя; сперва их считали частью исторических записок о Петре Великом. В сущности, это компиляция толстенного труда Степана Крашенинникова «Описание земли Камчатки». Конспект не закончен. Пишет его Пушкин, когда в семье драма, долги чудовищны, «Современник» рушится из-за отсутствия к нему интереса читателей. При чем тут Камчатка? Нет разве более важной темы для журнала?

Пушкина не занимает жизнь камчатских народов до прихода русских. На первой же странице, сказав дежурные слова о «высокой царской руке», завоевавшей Сибирь,

он вспоминает соседей Камчатки: Америку, Курилы, Китай — и отмечает, как трудно и сколько времени добираться до Америки через Восточный океан. В мысленном пути на Камчатку Пушкин запоминает расстояния от Петербурга до губернских городов и способы передвижения: вниз по реке Лене до устья, от Якутска до Усть-Яны 1960 верст.

Дорога не безопасна, указывает он, но медведи людей не трогают. Из книги извлекаются детали: когда там становится тепло и опять холодает, где расположены монастыри, где зимовки, остроги, как звучат местные названия пунктов, встречающихся на пути, как там охотники ловят уток, где в реках имеется жемчуг. Интересуют Пушкина сведения о племенах, расправы местных с пришлыми русскими людьми, узнает он, как везут скарб на оленях, как на ремнях спускаться с крутых гор, как входить в острог, окруженный земляным валом, как питаться недосушенной рыбой, кроша березовую кору и смешивая ее с икрой. Вывод делается важный: «Климат на Камчатке умеренный и здоровый» (XI. 327).

Заинтересовавшийся этой рукописью Н.Эйдельман замечает, выделяя одно слово: «Но мы еще не поняли, зачем он туда *отправляется* за несколько дней до смерти»²⁰². А ведь понятно! Камчатка интересна Пушкину тем, что там нет начальства, зорких глаз властей, ибо сама земля плохо нанесена на карту. До ближайшего губернатора тысяча верст, до царя — десять тысяч. Весть с Камчатки до Якутска доходит за три года, а до Петербурга — за четыре-пять лет. Курьер, посланный туда, отмечает поэт, вернулся через шесть лет. Власть сквозь пальцы следит за прошлым ушедших туда людей. По Руси распространился рассказ об абсолютно свободном рае там для людей любых сословий. Все это звучит так, будто в голову ему пришла несуразная мысль, что на дикой Камчатке — единственное место для спасения. Через неделю Пушкин погиб.

Забыв и рошу, и свободу,
Невольный чижик надо мной
Зерно клюет и брыжжет воду,
И песнью тешится живой. (III. 349)

Невольный чижик, сидя в клетке, забыл, что где-то на свете есть свобода, которая была ему всю жизнь столь не-

обходима, но теперь больше не нужна. Только вот песнями он перестал теперь тешиться, — ведь это последнее стихотворение, написанное Александром Пушкиным.

Глава одиннадцатая
ВИЗА В ЛУЧШИЙ МИР

*Я подданным рожден и умереть
Мне подданным во мраке б надлежало...*

Пушкин (V. 271)

Удивимся еще раз способности Пушкина не только перевоплощаться, но и прочитывать свое будущее. Едва ли не все его шаги в последний год продиктованы предчувствием неотвратимой смерти. Предсмертные слова царя Бориса Годунова, приведенные в эпитафии, звучат обреченно, но Борис тут ни при чем. Озноб берет от догадки, что власть и смерть в этой формуле действуют сообща.

13 апреля 1836 года он отвозит в отеческое имение гроб с телом матери и хоронит ее в Святогорском монастыре. После похорон покупает там место для собственной могилы. Жить ему остается одиннадцать месяцев. 18 мая он сообщает жене из Москвы: «Это мое последнее письмо, более не получишь» (X. 453). Имеется в виду, что он не будет больше писать, поскольку едет домой, но это действительно его последнее письмо к ней. 13 августа он пишет из Петербурга мужу сестры Николаю Павлищеву, и опять: «Нынче осенью буду в Михайловском — вероятно, в последний раз» (X. 461). Конечно, речь идет о попытках продать родовое имение (землю, которую он любил), а все же оторопь берет от второго, вешего смысла: то и дело писать слово «последний», рассчитываясь с земными делами.

Люди, рождаясь, начинают умирать, и поэты не исключение, но не все и не всю жизнь с юности до последней минуты столь целеустремленно думают и пишут о смерти. С Пушкиным смерть, можно сказать, неразлучна. У него чрезвычайно развито чувство смерти. Чувство это он лелеет в себе с юности. «И смерти мысль мила душе моей», — сообщает нам двадцатилетний поэт (I. 354).

К чему мне жизнь? Я не рожден для счастья,
Я не рожден для дружбы, для забав... (I. 342)

Конечно, это дань романтической традиции. При этом составная часть блаженства есть возможность умереть за границей, — вот повторяющийся лейтмотив.

Дарует небо человеку
Замену слез и частых бед:
Блажен факир, узревший Мекку
На старости печальных лет...
Блажен, кто славный брег Дуная
Своею смертью освятит:
К нему навстречу дева рая
С улыбкой страстной полетит.

Это «Бахчисарайский фонтан» (IV. 134). Смерть — непременный участник его литературных коллизий. Бесы, утопленники, фаталисты, маньяки, разбойники и благородные убийцы, палящие по своим знакомым на дуэлях, — вот его любимые герои. В стихах и прозе то и дело появляются убиенные: отравленный Моцарт, задавленный смертельным рукопожатием Дон-Жуан, бедный рыцарь, которого запирают в тюрьму до смерти.

Возвратясь в свой замок дальний,
Жил он строго заключен:
Все безмолвный, все печальный,
Как безумец умер он. (V. 410)

Пушкин чтит наложившего на себя руки Радищева, повешенного Рылеева, гильотинированного Шенье, волея-неволей ставя себя в этот ряд, примериваясь к смерти. С возрастом все чаще он рисует черепа, гробы, катафалки, повешенных.

О жизни не жалеет он.
Что смерть ему? Желанный сон.
Готов он лечь во гроб кровавый. (IV. 199)

Рождение и смерть — две крайние точки жизни человека. Если по части рождения еще можно предполагать волю родителей, то в смерти — одна Божья воля. Литературная

статистика мало что дает эмоциям, но все же отметим: слово «рождение» встречается в произведениях Пушкина 53 раза, а слово «смерть» — 484. Цявловский назвал поэта «гениальным суевером» и считал, что это было «иррациональным в его психике»²⁰³. Легенду о том, что ему была предсказана смерть от белого человека, он сам если не придумал, то пустил в свои биографии. «Но примешь ты смерть от коня своего» и «Так вот где таилась погибель моя!» — творческие воплощения той же легенды о себе самом.

После стихов, написанных летом 1834 года, казалось бы, в связи с отъездом в деревню:

Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег... —

он замечает: «Предполагаем жить... И глядь — как раз умрем» (III. 258). Мечта перенести пенаты в деревню в черновике заканчивается другим отъездом: «Религия, смерть».

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана? (III. 59)

Ответа, разумеется, не получить. Старость наступила рано. Двадцатипятилетним он, хотя и хитрит, ибо свою болезнь «аневризму» выдумал, но запугивает начальство: «Я ношу с собою смерть». Все мы ее носим, но не все столь сосредоточенно. Перечисляя умерших друзей, он размышляет, почти физически переходя из бытия в небытие:

Увы, наш круг час от часу редеет;
Кто в гробе спит, кто дальный сиротеет;
Судьба глядит, мы вянем; дни бегут;
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему...
Кому ж из нас последний день Лицея
Торжествовать придется одному? (II. 247)

Шутки его, брошенные мимоходом, смертельные: «Мне нужны деньги или удавиться» (X. 125). По поводу предстоящей встречи с Нащокиным: «Думаю побывать в Москве, коли не околею по дороге» (X. 435). Влюбившись, он видит себя на виселице:

Вы ж вздохнете обо мне,
Если буду я повешен? (III. 13)

О виселице мечтает и Пугачев в «Капитанской дочке». В мотивах Роберта Саути, которого Пушкин вольно переводит, смерть:

Скоро, скоро удостоен
Будешь царствия небес...
Ах, ужели в самом деле
Близок я к моей кончине? (III. 427)

В отрывке, начатом в Михайловском: «Слава Богу, что утром отрубят ему голову, а уж эту ночь напляшемся...» (V. 421) Кровавые картины возникают в текстах мимоходом, безо всяких эмоций: «Мужичок вскочил с постели, выхватил из-за спины топор и стал махать во все стороны... Комната наполнилась мертвыми телами». Со смерти дяди, завязки к сюжету, начинается «Евгений Онегин», мыслью о веселой смерти заканчивается: «роман на новый лад займет веселый мой закат». «Блажен, кто праздник жизни рано оставил», — узнаем мы посередине романа, один герой которого убит, другой — убийца, и есть еще несколько покойников походя. В стихах: «Мне время тлеть» — признание, что каждый день он пытается угадать дату своей смерти (III. 130).

Накануне женитьбы он записывает в плане повестей «Белкина»: «Гробовщик-самоубийца». В «Метели» герой убит, отец и мать умирают. Станционный смотритель спился и лежит в могиле. Лишь последняя история, «Барышня-крестьянка», обходится без трупов. Впрочем, и тут есть раненый герой и убитый заяц.

Пушкин беседует с умершими возлюбленными. В стихотворении «Заклинание» призывает любимую встать из гроба и явиться к нему. Творческий подъем в Болдине начинается с рассказа о самоубийце-гробовщике, а заканчивается мечтой увидеться не с невестой, ждущей в Москве, а с умершей пять лет назад в Италии чужой женой и его Одесской подругой Амалией Ризнич, которая ждет его *там*.

Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —

А с ними поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой... (III. 193)

Смерть ничего не меняет в любви; переход в иное состояние так же реален для Пушкина, как и сама жизнь: там встречи с Амалией и с другими его возлюбленными продолжатся. Отметим: смерть не разделяет ни близких людей, ни друзей, ни мужчину с женщиной — таков посыл Пушкина, становящийся с годами все более важным для него. В черновике стихотворения «Воспоминание» тени умерших к нему возвращаются:

И нет отрады мне — и тихо предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые, — два данные судьбой
Мне ангела во дни былые;
Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И стерегут... и мстят мне оба.
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастья и гроба. (III. 417)

Страсти поэта преобразились, мистически набрали высоту, ищут выхода за пределы жизни. Возврат к молодости, к былому наполнению души любовью возможен через смерть. Ангелы огненные с мечом. Ангелы, которые мстят поэту. Но за что? За неверность? За ошибки молодости? Счастье и гроб, бытие и небытие сливаются в одну тайну. Описывая смерть, художник умирает вместе с героем:

Все кончено — глаза мои темнеют,
Я чувствую могильный хлад...
И темный гроб моею будет кельей...
Простите ж мне соблазны и грехи
И вольные и тайные обиды... (V. 272—273)

В черновых набросках к истории Петра Великого Пушкин с такими подробностями описывает кончину царя, что нам начинает казаться, будто поэт примеряет процедуру на себя. Он перевоплощается в умирающего, лежит вместо него на смертном ложе и вместе с ним отдает душу Богу. Умирающий поэт, если сверять его текст о Петре с воспоминаниями о нем самом, будет почти слово в слово повторять им написанное (IX. 319—320). Детали собственных

похорон обдумывает он в письме к жене: «Умри я сегодня, что с вами будет? Мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане и еще на тесном Петербургском кладбище, а не в церкви на просторе» (X. 385). Оплакав в стихах смерть друга, пишет:

И смерти дух средь нас ходил
И назначал свои закланья...
И мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг милый... (III. 215)

Он отправляется на Волково кладбище к могиле Дельвига и записывает: «Я посетил твою могилу — но там тесно; *les morts m'en distraient* (покойники меня обращают в свою пользу. III. 362). В стихотворении «Когда за городом, задумчив, я брожу...» (Пушкин хотел назвать его «Кладбище») опять унылое размышление о будущих клиентах погоста:

Могилы склизкие, которы также тут
Зеваючи жильцов к себе на утро ждут... (III. 338)

Он не был одинок: страх смерти не существовал в пушкинском окружении. Ранняя зрелость, головокружительные карьеры молодых людей, чины и власть над людьми в юношеском возрасте, поощряемый обществом вкус к прожиганию жизни, — все это имело последствием раннюю усталость. Тридцатисемилетний мужчина мог считаться стариком, все испытавшим. Тридцатичетырехлетний Вяземский записал для себя: «Может быть, смерть есть величайшее благо, а мы в святотатственной слепоте ругаемся сею святынею! Может быть, сие таинство есть звено цепи нам неприступной и незримой, и мы, расторгая его, потрясаем всю цепь и расстроиваем весь порядок мира, за предельного нашему»²⁰⁴.

Смерти не боялись и не относились к ней с пиететом. В быту, на войне, на дуэли умирали, если уместно употребить такое слово, легко. Смерть часто описывалась весело, с бравадой, эпитафии были остроумны. Согласимся с Тыняновым, что страх смерти в России придумали позже — Тургенев, Толстой; постепенно страх этот наполнил литературу, охватил все поколения и все возрасты. У Пушкина страх смерти отсутствовал; смерть постепенно превращается в благо.

21 ноября 1836 года Пушкин должен был стреляться с Дантесом и предшествующие дни внутренне готовился умереть *последний раз*. Он берется за составление письма, которое в случае смерти должно стать известным в свете. В письме он обвиняет Геккерена в сочинении пасквиля, называет его *бесстыжей старухой*, а Дантеса, который тогда лежал с простудой, — *сифилитиком*. Такое письмо было не одно, но другими архив не располагает. Позже Геккерен в объяснении отметит, что «самые презренные эпитеты были в нем даны моему сыну... доброе имя его достойной матери, давно умершей, было попрано». Стало быть, Пушкин перешел в письме на мат. Жуковский, узнав о ссоре, просил царя вмешаться. Пушкин вызван во дворец, дал Николаю слово чести, что не будет драться, но слова не сдержал.

За несколько дней до последней дуэли он был у Великой княгини Елены Павловны, отношения с которой длились уже два с половиной года. За столом разговор шел об Америке как о стране новых возможностей. От Пушкина ждали интересных мыслей. Он назидательно сказал: «Мне мешает восхищаться этой страной, которой теперь принято очаровываться, то, что там слишком забывают, что человек жив не единым хлебом». Княгиня Елена усмехнулась, а Вера Анненкова, жена адъютанта Великого князя Михаила и верная читательница Пушкина, сказала после ему: «Как вы сегодня нравственны!»²⁰⁵

Накануне последнего дня Пушкин получил письмо от графа Толя, который ознакомился с «Историей пугачевского бунта» и получил удовлетворение, прочитав о генерале Михельсоне, оклеветанном завистниками. «Здесь невольно вспоминаю я, — писал Карл Толь, — о стихе Державина: *«Заслуги в гробе созревают»*, так и Михельсону история отдает справедливость» (Б. Ак. 16. 219). Державинской мыслью «Вот кто заменит меня!» якобы началась поэтическая карьера Пушкина и волею Промысла и графа Толя державинской мыслью заканчивалась.

27 января, в час дня, написав записку писательнице Александре Ишимовой, Пушкин ходил по комнате необыкновенно весело и пел. Потом отправился в умывальную комнату, вымылся тщательно и надел чистое белье, будто готовился к священному ритуалу. Накинул было бекешу, но передумал, вернулся и велел подать медвежью шубу. Не следовало возвращаться, но он это сделал, вдруг пре-

зрев суеверия. Земная суета отступила, он шел под пулю сознательно, расчетливо, спокойно, — не невольник чести, но невольник смерти.

События последней дуэли известны. Пушкин ранен в живот, истекает кровью, стреляет и ранит Дантеса. Поэт привезен домой и в течение сорока восьми часов умирает. Владимир Даль опустил ему веки, придерживав их пальцами, чтобы не открылись. «И тайна его с ним умерла», — сказал Пушкин об Овидии, судьбу которого примерял на себя, и процитировал в латинском оригинале:

Alterius facti culpa silenda mihi.

(О другой моей вине мне следует молчать. II. 345)

Пушкин, как заметил Достоевский, «бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну», которую нам суждено разгадывать²⁰⁶. Сосредоточимся на нюансах этой тайны.

В сем сердце билось вдохновенье,
Вражда, надежда и любовь,
Играла жизнь, кипела кровь;
Теперь, как в доме опустелом,
Все в нем и тихо и темно;
Замолкло навсегда оно. (V. 114—115)

Так описал он смерть убитого Ленского (и свою смерть) за десять лет до конца, указав на три главных составных части жизнедеятельности героя: *вражду, надежду и любовь*. Что касается *надежды и любви* — все понятно. Отметим наше давнишнее недоумение по поводу слова *вражда*: почему *вражда* оказалась на первом месте, да еще в таком характере, какой был у романтического поэта? Не только ведь для рифмы, причем банальной — «кровь-любовь»! Написать «Любовь, надежда и вражда» было бы логичнее. Ответ в том, что *вражда* составляла важнейшую часть жизни самого Пушкина, была его тенью, а периодами — страшно сказать — сутью его активности, доводя до ярости и помрачения рассудка.

В начале семейной жизни поэта Долли Фикельмон, взглядевшись в лицо Натальи Пушкиной, отметила в дневнике свое предчувствие: «Эта женщина не будет счастлива, я в том уверена! Она носит на челе печать страдания»²⁰⁷. И то

же в письме к Вяземскому: «Страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность»²⁰⁸. Страдала ли Наталья Пушкина?

Года за три до смерти, как сообщает дочь от второго брака, мать вдруг рассказала гувернантке Констанции, что ее мучит совесть: «...единственный поступок, в котором она (совесть. — Ю. Д.) меня уличает, это согласие на роковое свидание... Свидание, за которое муж заплатил своею кровью, а я счастьем и покоем всей жизни»²⁰⁹. Стало быть, свидание не было подстроено. Она знала, к кому и зачем идет втайне от мужа. Именно это, по ее мнению, стало для Пушкина решающим, а бумажка Ордена рогоносцев — мелкая деталь в веренице событий.

Позже Соболевскому в Париже Дантес рассказывал, что он действительно имел связь с Натальей. И, без ханжества, разве не естественное право женщины жить по любви, а не по принуждению? Может, Пушкин вымещал на Дантесе гнев на жену? Но в кодексе чести не было статьи, согласно которой долженствовало стреляться с успешным любовником жены, если жена шла на связь добровольно: муж, пытающийся убить любовника, становится посмешищем.

Утверждения некоторых пушкинистов об идеальной жене поэта сегодня звучат пародийно. «Несомненно одно, — пишет В. Кунин. — В последние шесть лет жизни Пушкина она была близким другом и поверенной его надежд, печалей, а нередко и литературных замыслов (последнее обстоятельство иногда игнорируется)»²¹⁰. А сам поэт называет жену в письме Хло-Пушкина.

Александр Тургенев отмечает: «Пушкина первая по красоте и туалету»²¹¹. Кто только не пытался волочиться за ней — от юнцов до старых ловеласов, включая ближайших друзей Пушкина, и все вокруг об этом знали. «Подозревают другую причину, — писал граф Соллогуб. — Жена Пушкина была фрейлиной (!) при Дворе, так думают, что не было ли у ней связей с Царем. Из этого понятно будет, почему Пушкин искал смерти и бросался на всякого встречного и поперечного. Для души поэта не оставалось ничего, кроме смерти»²¹². Пушкин писал жене за два года до того: «Кроме тебя в жизни моей утешения нет». Теперь не осталось и этого утешения.

Загадочна роль обидевшейся на поэта Идалии Полетки, их ссора, ее месть. Внебрачная дочь графа Строганова и португальской графини д'Ега, жена полковника и приятель-

ница Дантеса, наконец, подруга Натальи, она безусловно была вовлечена в конфликт и даже подозревалась в изготовлении пасквиля на поэта, но традиционно изымалась при изучении обстоятельств дуэльной истории. И. Андроников привез из-за границы письма Полетики и ее портрет, но Пушкинская комиссия не разрешила даже поместить эти документы в музей на Мойке под предлогом, что сплетни не имеют отношения к поэту. Сам Пушкин вовсе не возмущался сплетнями, а тщательно их записывал. Слухи возбуждали его, иногда радовали. «Это слава!» — гордился он в письме.

С юности ища признания, он шокировал публику выходками. Неотделимая от общественных скандалов жизнь Байрона служила Пушкину образцом. Он стремился к тому, чтобы его частная жизнь становилась известна свету. Сколько раз издевался он над другими, обвиняя их в самых невероятных проступках — посмотрите его злые эпиграммы и резкие, оскорбительные ответы даже женщинам! Сколько раз он наставлял рога другим, почитая сие за особую доблесть и делясь с приятелями тем, о чем лучше бы помолчать! И не он ли в гостях вписывал имена соблазненных дам в список, который обсуждал вслух? Все это было нормой его жизни, его моралью, так что нечего лицемерно ссылаться на дворянский кодекс чести.

И я, в закон себе вменяя

Страстей единый произвол... (V. 143)

Дело не в злой шутке и не в очередной сплетне. Александра Гончарова свидетельствовала, что Геккерен уговаривал Наталью «оставить своего мужа и выйти за его приемного сына». Биографы не верили дочери Натальи Пушкиной от второго брака Александре Араповой, которая рассказывала, что был разработан обдуманый до мельчайших подробностей план бегства Натальи с Жоржем за границу, который был ей предложен под дипломатическим патронажем Геккерена. Связь с ним сделала Дантеса богатым, и его бегство с Натальей облегчалось. Теперь подтверждения серьезности этих намерений обнаружены в письмах Дантеса.

Дантес писал отъехавшему в Европу Геккерену письмо, в котором признавался в своей безумной любви к жене поэта еще с осени 1835 года. «Самое же ужасное в моем

положении, что она тоже любит меня, однако встречаться мы не можем, и до сих пор это невозможно, так как муж возмутительно ревнив»²¹³. В те дни француз был принят в доме Пушкина, и, таким образом, влюбленные получили место для встреч на глазах у мужа, а также и тогда, когда его дома не было. Страстного поклонника Натальи повстречала там сестра Пушкина Ольга. Пушкин вроде бы призывает жену к семейному очагу: «Нехорошо, мой ангел: скромность есть лучшее украшение вашего пола» (X. 449). Он возмущен, но изображает удивление: «Что это, женка?» (X. 452)

Француз хочет избавиться от наваждения. Если верить письму, написанному спустя полгода после начала романа, они с Натали еще не сблизились: «...Более двадцати раз просила она пожалеть ее и детей, ее будущность... она осталась чиста и может высоко держать голову, не опуская ее ни перед кем в целом свете»²¹⁴. Публика рассказы о платонических отношениях воспринимала иронически. Пушкин своей неадекватной реакцией, бесконечными упреками жене, почти открытой ненавистью к собственному приятелю, ее поклоннику, способствовал разжиганию конфликта и еще большим сплетням. Растут слухи о жене и царе.

Пушкин понимал, что жена стала ему чужой и спокойно относился к охлаждению в семье до момента, когда пошли сплетни. Оклеветанный десятки раз в печати, облитый грязью во множестве изданий, ненавидимый завистниками его поэтического дара и презирающий своих врагов, он наливается гневом.

Публично Пушкин защищает жену и ненавидит Дантеса. А если полагаться на письмо отцу, то происходит прямо противоположное. После помолвки Екатерины Пушкин характеризует будущего родственника весьма ласково: «Это очень красивый и добрый малый, он в большой моде и четырьмя годами моложе своей нареченной». А ярость обрушивается на жену и ее сестру по другому поводу: «Шитье приданого сильно занимает и забавляет мою супругу и ее сестру, но приводит меня в бешенство» (X. 697). Впрочем, судя по письмам, в бешенство его приводит не только это.

Екатерина, как убедительно доказал Франс Суассо, в ноябре была уже беременна, стало быть реальный роман возник теперь не между Дантесом и Натальей, а между ним и ее сестрой²¹⁵. Любопытная деталь: зная о тяжелом

материальном положении Пушкина, царь посылает тысячу рублей, чтобы поэт мог купить подарок на свадьбу Екатерины с Дантесом. Но на торжества Пушкин не поехал. Он заявлял, что сия женитьба — уловка, и она не пройдет. Брак был серьезным (Екатерина счастливо прожила с Жоржем всю жизнь), а вовсе не хитрость, как утверждала пушкинистика, следуя за уверениями Пушкина, которому был нужен не мир, а кровь.

После этой свадьбы, ставший Дантесу свояком Пушкин, не обсудив с женой, как ей быть (ведь то родная ее сестра), — решил не иметь никаких отношений с семейством Геккеренов. «Свояк», по Далю, — свой. Он еще приводит псковское слово *своёк*. Стремление убить родственника, кажется нам еще страшнее и абсурднее, чем убить чужого человека. Впрочем, пословица, безо всякой, конечно же, связи с Пушкиным, показывает, что отношения со свояками бывают на Руси плохими: «Два свояка, между их черна собака».

Молодые приехали с визитом — Пушкин отказался впустить их в дом. Геккерен-старший прислал письмо, жест доброй воли к примирению, — Пушкин не ответил; на обеде у Строганова Геккерен подошел, чтобы протянуть руку, и в ответ получил свое письмо нераспечатанным, услышав, что Пушкин не желает иметь с ним никаких отношений. За два дня до дуэли Геккерен приезжает к Пушкину домой, чтобы попытаться уладить ссору. Пушкин оскорбляет, выгоняет его и в тот же день пишет новое письмо, загоняя в угол угрозами: «Я не остановлюсь...» И стремится, чтобы о следующем витке скандала знали все. Но возможность дуэли уплывала, и тогда Пушкин заговорил о мести. Резонной представляется точка зрения Р.Скрынникова: «...речь должна идти не о непоследовательности, а о двуличии и лицемерии Пушкина»²¹⁶.

Устремившись на врага, как бык на матадора, Пушкин не мог не видеть, что положенная на бумагу в его собственной предсвадебной спешке домогостроевская концепция Татьяны Лариной: «Но я другому отдана и буду век ему верна» — для него самого теперь не действовала. Жена любила не его, а свояка Дантеса. Спорная позиция: защищая честь жены, убивать мужа ее сестры, чтобы оставить ее вдовой, и ради этого рисковать оставить вдовой собственную жену (с распоряжением два года не выходить замуж). Сергей Булгаков писал: «Семья, которую он нежно любил, как бы выпала из его сознания в этот роковой

час»²¹⁷. Мягко сказано, ибо чувство мести поставлено выше любви к жене и детям.

Роль жены также кажется странной. Могла ли Пушкина хоть что-нибудь сделать, чтобы предотвратить дуэль? «Подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте», — говорит она Пушкину и Дантесу. Тут же изумляется мужу: «Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совестно?» И приказывает секунданту Данзасу: «Сейчас рассади их по разным углам, на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла» (VI. 285).

К сожалению, это говорит не жена поэта, а его героиня Василиса Егоровна Гринева и Швабрину, повздорившим из-за капитанской дочки Маши. А жена ни в те несколько месяцев, ни в день дуэли никакой тревоги не чувствовала, ездила гулять, повстречалась и не заметила поспешавшего на смерть мужа. Двое суток она билась в истерике отдельно от него, умиравшего, заходя в комнату на мгновения и снова исчезая. Она покормила смертельно раненого морошкой. Покормила — и это все? Можно ли говорить о Наталье Пушкиной как о *фатальной женщине*? Нет, пожалуй, на такой почетный титул она не потянет.

Пушкин умирал, искренне веря или уговаривая себя, что жена невинна. Состояние можно понять, ибо иначе разъяренному русскому Отелло полагалось бы задушить свою Дездемону. Анна Ахматова считала, что «мы имеем право смотреть на Наталью Николаевну как на сообщницу Геккеренов в преддуэльной ситуации. Без ее активной помощи Геккерены были бы бессильны». И еще: она «одна могла все остановить в любой момент»²¹⁸. Жена не явилась на вынос тела в церковь, как пишет Вяземская, «от истомления и от того, что не хотела показываться жандармам»²¹⁹. Насчет жандармов звучит потешно. В церкви во время отпевания Пушкина столпившиеся вокруг гроба женщины плакали, поглядывая друг на друга, вспоминали шепотом свои и чужие связи с поэтом, а жена отсутствовала.

Нарушение десятой евангельской заповеди, за соблюдение которой он вышел бороться с пистолетом, Пушкин часто обсуждал открыто, причем не теряя чувства юмора:

Обидеть друга не желаю
И не хочу его села,
Не нужно мне его вола,
На все спокойно я взираю...

Но ежели его рабыня
Прелестна... Господи! Я слаб!
И ежели его подруга
Мила, как ангел во плоти, —
О, Боже праведный! Прости... (II. 76)

Согласно стихотворению «Десятая заповедь» —

Смотрю, томлюся и вздыхаю,
Но строгий долг умею чтить,
Страшусь желаньям сердца льстить,
Молчу... и втайне я страдаю.

Возможно, и случился эпизод, в котором Пушкин страдал от жены ближнего втайне, но то были особые обстоятельства. Во всех прочих случаях никакие моральные заповеди не останавливали его от романов с чужими женами, и кому-кому, но не нам осуждать поэта. Применительно к последней дуэли отметим лишь, что даже при двойном стандарте (мне можно соблазнять всех, а другим на мою жену заглядываться нельзя), вовсе не ревность, как почти всегда пишут, стала лейтмотивом ссоры.

Длительная история изучения дуэли Пушкина, или, как следовало бы сказать на новоречи, его крутой разборки с иностранцем, идет под девизом: все виноваты, а он во всем прав. Но взглянем на дуэль сквозь призму времени. Пушкин всегда возил с собой коробку с двумя пистолетами. И, даже вызванный к царю, отказался ехать без оных. Рисунки пистолетов и сабель раскиданы на полях его рукописей обычно в связи с предстоящими дуэлями. Он любил риск, игру с судьбой, любил, по его собственному выражению, ставить жизнь на карту.

Для некоторых молодых людей дуэли были признаком мужской отваги, частью жизненного ритуала. Удаль, смелость, бесшабашность, лихость, позерство отличали героев в свете, эти качества способствовали популярности, облегчали доступ к сердцам красавиц. Завзятыми дуэлянтами числились приятели Пушкина Федор Толстой, Александр Якубович, Иван Липранди, Михаил Лунин. О выходах их, как, впрочем, и поэта, сохранилось немало воспоминаний.

Дуэли в России запретили указом Петра в 1702 году; все участники, включая секундантов и врачей, подлежали

суровому наказанию, но отделялись, как правило, легко. Герцен говорил, что такой тип выяснения отношений лишь оправдывает мерзавцев. Детальное описание ссор и поединков стало навязчивой темой Пушкина в литературе, хотя в жизни (кроме его собственной) они не происходили столь часто. В «Кавказском пленнике» молодой автор в восхищении от своего героя:

Невольник чести беспощадной,
Вблизи видал он свой конец.
На поединках твердый, хладный,
Встречая гибельный свинец. (IV. 91)

Дуэльная игра щекочет нервы, и герой «жаждой гибели горел». Пушкин рассказывал Мицкевичу, что, подражая Байрону в «Евгении Онегине», он с беспокойством ждал выхода следующих глав «Дон-Жуана», боясь, что там окажется дуэль. Но то, что в России все еще почиталось модой, в Англии практически ушло, и дуэль не стала важным эпизодом для продолжения Байроном своего сюжета. Дочитав «Дон-Жуана» и убедившись в этом, Пушкин принялся ссорить своих героев и вывел Онегина с Ленским к барьеру. В глумлении над противником Пушкин (не будем притворяться!) видит некое удовольствие:

Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага...
Еще приятнее в молчанье
Ему готовить честный гроб
И тихо целить в бледный лоб
На благородном расстоянье... (V. 115)

У кого еще прочитаешь столь блистательные строки о сладострастном желании замочить человека? Авторская ирония, примешенная к цинизму, лишь добавляет изумления. Поэту нравится методика Зарецкого — холодный и точный расчет при подготовке «честного» убийства:

В дуэлях классик и педант,
Любил методу он из чувства,
И человека растянуть
Он позволял не как-нибудь,
Но в строгих правилах искусства,

По всем преданьям старины
(Что похвалить мы в нем должны). (V. 112)

Прошли годы. К искусству убивать Пушкин вроде бы потерял интерес. Но герои его по-прежнему решают даже ничтожные бытовые конфликты, паля друга в друга. К «Выстрелу» два эпиграфа: «Стрелялись мы» (из Боратынского) и «Я поклялся застрелить его по праву дуэли». Далее следует описание собственной дуэли Пушкина с офицером Зубовым в Кишиневе: поединок, похожий на убийство, игра в поддавки со смертью. Сильвио вспоминает: «В наши дни буйство было в моде: я был первым буйном по армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом» (VI. 62).

За три недели до смерти Пушкин пишет странное сочинение «Последний из свойственников Иоанны Д'Арк». Некто Дюлис, дальний потомок французской героини, ставший англичанином, строчит возмущенное письмо Вольтеру, обвиняя его «Орлеанскую девственницу» в грубых ошибках и клевете. «А по сему не только я полагаю себя вправе, но даже и ставлю себе в непременную обязанность требовать от вас удовлетворения за дерзкие, злостные и лживые показания, которые вы себе дозволили напечатать касательно вышеупомянутой девственницы». Дальний потомок требует «дать мне знать о месте и времени, также и об оружии вами избираемом для немедленного окончания сего дела» (VII. 350). Вольтер от дуэли уклоняется, поскольку уже восемь месяцев лежит в постели: «я бедный старик, удрученный болезнями и горестями». Больше того, от упомянутого сочинения он тоже отказывается, называя его «глупой рифмованной хроникой» и «печатной глупостью», которую бессмысленная и неблагодарная публика приписывает ему. Письмо Вольтер подписывает своим титулом: «камер-юнкер французского короля». Пушкин ставит дату, будто это происходит ровно за год до смерти Вольтера.

Данный текст выдается Пушкиным за перевод статьи, написанной якобы английским журналистом, которому письма попали с торгов после смерти Дюлиса, защитника чести девственницы Жанны. В пушкинской мистификации много любопытного, начиная с указания титула французского писателя: «камер-юнкер». Вольтер действительно

смеялся над национальным мифом, который сотворили его сограждане из сомнительной пастушки. Но английский журналист, согласно Пушкину, считает, что Вольтер «сатаническим дыханием раздувает искры, тлевшие в пепле мученического костра и, как пьяный дикарь, пляшет около своего потешного огня». Если бы тогда узнали, что Дюлис из-за анонимной публикации тридцатилетней давности (Пушкин ошибочно пишет сорокалетней) хочет стреляться с великим писателем, его бы подняли на смех. «Жалкий! жалкий народ!» — заканчивает Пушкин от имени английского журналиста.

Второй смысл пародии представляется прозрачным: иностранец (француз) вызывает на дуэль писателя (камерюнкера русского «короля»), который видится иностранцу клеветником на собственное отечество. В таком конфликте, в отличие от реального, было бы действительно хоть что-то благородное. Если учесть, что это писалось Пушкиным для собственного «Современника» (опубликовано после смерти поэта), фантазия приобретает, хотя и далекую от реальности, но любопытную для спора ассоциацию, не затронутую пушкинистикой.

Накануне дуэли Пушкин мимоходом совершил не совсем благовидный поступок. Советник Английского посольства в Петербурге Артур Меджнис несколько лет подавал ходатайства по начальству, что он засиделся в холодной стране и мечтает о переводе куда-нибудь, где потеплее. В ночь, предшествующую дуэли, на балу у графини Разумовской Пушкин просит Меджниса быть его секундантом и вести переговоры с атташе Французского посольства, секундантом Дантеса.

Согласись Меджнис на предложение, вся его профессиональная карьера рухнет. Дуэлянт не мог не понимать, что подставляет английского дипломата. Не случайно Данзас на суде показал, что Пушкин обратился к иностранцу, чтобы не подвергать неприятности суда соотечественника. Меджнис, видимо, попытался решить вопрос примирением, после чего той же ночью послал письмо, что от предложения отказывается. Он даже хотел сам заехать к Пушкину, но побоялся, что ночной визит вызовет подозрения у жены дуэлянта.

Многие современники отмечают отвагу Пушкина, защитника своей чести. Но что такое честь? Не условность ли, принятая в данной группе людей? Шопенгауэр объяс-

няет: «Честь есть мнение других о нашем достоинстве (объективно). Честь есть наш страх перед этим мнением (субъективно)». Если принять точку зрения Шопенгауэра, выходит: Пушкин считал отвагой то, что на самом деле было его страхом. Он понимал условности света и фальшь части параграфов кодекса чести,

Но дико светская вражда
Бойтся ложного стыда. (V.113)

Однако сам великий человек оставался сыном своего времени и опасался «ложного стыда». Презирал людей, в друзьях видел предателей и боялся сплетен за спиной. В последних стихах его — пограничье между жизнью и смертью, измерение ценности человеческого бытия, и Высший Суд, и тайное предательство.

Время, из которого он хотел вырваться, диктовало ему условия. На протяжении своей истории западноевропейская цивилизация создала троичную модель мира, в которой наличествуют три сферы: божественная, человеческая и дьявольская. Эти три сферы, переливаясь из одной в другую, существовали еще в Древней Греции, но достигли своего пропорционального развития в Европе в эпоху Просвещения. Российская цивилизация традиционно сводила среднюю сферу, то есть человеческую, до минимума, а то и игнорировала ее совсем. Древнегреческого гуманизма Россия не знала, получив от Византии две крайности: божественную и дьявольскую, а эпоха русского Просвещения запоздала и оказалась половинчатой.

Первым писателем, внесшим несомненный вклад в развитие гуманизма в русской культуре и достойным лаврового венка, был Николай Карамзин. Круг его сподвижников расширил человеческую сферу в культуре, потеснив божественную и дьявольскую. Наиболее значительный рывок сделало поколение Пушкина. Прыжок самого поэта был резким, сильно прозападным и настолько требовательным, что власти пытались его умерить, а то и вовсе задушить.

В каждую эпоху поначалу кажется, что можно порвать со старым вообще. В новой гуманной сфере оставались, однако, сильные черты вечного понимания несамостоятельной сущности человека: зависимость его как от божественного, так и от дьявольского, признание временности и скоротечности жизни, покорность смерти, за которой вос-

последствием освобождения от земных оков. Именно в этой зависимости общечеловеческая сила Пушкина слабеет, сфера сужается до традиционных русских размеров, места в жизни для него не остается, и ему видится единственный выход: полностью отдать себя во власть Промыслу. Таким представляется нам философский аспект смерти Пушкина.

Поистине неземной голос говорит ему, что пора писать завещание. На рисунке он изображает себя в лавровом венке. В стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» из предшественников в литературе сперва оставляет Радищева, взгляды которого давно не разделял и осудил за экстремизм. А по размышлению, убирает Радищева из окончательной редакции. В принципе замененная строка (вместо «Вослед Радищеву...») — «Что в мой жестокий век восславил я свободу») не делает стихотворение цензурно проходимым. Но поэт находится «над цензурой», «над властью».

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал...

О чем он? О любви благодарных сограждан к его лире? Ведь только что был «суд глупца и смех толпы холодной», которая плюет на алтарь поэта. «Так называемый здравый смысл народа вовсе не есть здравый смысл... не в людской толпе рождается истина»²²⁰. Это мысль Чаадаева, но Пушкин и сам так считал. А в контексте стихотворения идеальный поэт ставит себя на постамент, к которому будут стекаться толпы. Однако же и тут, смирившись с судьбой и сочиняя свой «*Exegi monumentum*», он, оказывается, продолжает думать об изгнании, что никогда биографами не отмечалось. В известном варианте заключительные строки звучат так:

Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. (III. 340)

А в предыдущем варианте Пушкин написал иначе (этого нет в черновиках, опубликованных в академическом десятитомнике):

Призванью своему, о Муза, будь послушна,
 Изгнанья не страшась, не требуя венца;
 Хвалу и брань толпы приемли равнодушно
 И не оспаривай глупца. (Б. Ак. 3. 1034)

О каком изгнании думает он теперь? Куда? Стихи о памятке себе есть итог земного существования поэта. Не просто предчувствие кончины, но — волевое решение больше не жить, принять смерть, завершить путь, назначить себе вечную эмиграцию в никуда. Если хотите, «*Exegi monumentum*» — предсмертная записка, некролог, написанный для самого себя.

Глава двенадцатая САМОУБИЙСТВО?

*...И толпою наши тени
 К тихой Лете убегут.
 Смертный миг наш будет светел,
 И подруги шалунов
 Соберут их легкий пепел
 В урны праздные пиров.*

Пушкин (I. 289)

«Изучение жизни Пушкина убеждает психиатра в том, что он обладал полным психическим здоровьем», — писал в конце XIX века дерптский профессор В. Чиж. И прибавлял: «Я как психиатр удивляюсь, как мог Пушкин перенести все постигшие его беды... Пушкин даже не заболел неврастенией, хотя несчастья, его постигшие, вредно влияли на его здоровье в течение нескольких лет»²²¹. Вопрос серьезный, и сегодня вряд ли можно решать его столь категорически, ибо мнения современных экспертов, с которыми мы разбирались в истории болезни, расходятся. Да и первый простой факт состоит в том, что «постигшие его беды», как выразился Чиж, Пушкин на самом деле перенести не смог.

Нам не дано увидеть, как он выглядел и как смеялся: поэт максимально серьезен на всех портретах. Написанные маслом, они мрачнеют с возрастом, яркость красок

исчезает, а фотография появилась на свет через два года после его смерти. Идеальный поэт, изображенный Орестом Кипренским в 1827 году: вьющиеся кудри, неземное вдохновенное лицо, тонкие, изящные руки с нервными пальцами, сложенные на груди, лира с вещими струнами, из которой извлекаются бессмертные звуки. Это икона, где наличествуют все атрибуты обожествления.

Три портрета, созданные в последний год жизни и сразу после смерти Пушкина, привлекают наше внимание. На них он другой, отличный от романтизированного образа, не сусальный: изрядно польсевший, апатичный, угрюмый. Нарисованный Петром Соколовым Пушкин, скрестив руки на груди, с плотно сжатыми губами, глядит на вас потухшими, немного покрасневшими глазами. Лицо усталого человека, который, сдерживаясь, выслушивает от собеседника нечто неприятное.

Второй портрет работы Ивана Линева, на котором глаза зрителя скользят, как отмечает искусствовед, по «болезненному, желчному выражению, поредевшим волосам»²²². «Один лишь Линева, — размышляет другой критик, — являет нам лицо Пушкина без Пушкина — вот уж подлинно «потух огонь на алтаре». Это трагическая маска мертвенно желтого неподвижного лица: растерянность, отрешенность, поглощенность непоправимым горем»²²³. Поэт болен.

Третий портрет, шведского художника Карла Мазера, в течение семидесяти лет считался прижизненным, а потом автора стали обвинять в неточностях и портрет назвали посмертным, но, судя по многим экспертизам, он протокольно точен в деталях. Перед Пушкиным, сидящим на кушетке, географический атлас — символ его неосуществленных путешествий. Равнодушный взгляд обращен в никуда. Вокруг черный фон — атмосфера безысходности и мрака.

Когда скульптор Иван Витали собрался делать бюст поэта, Пушкин возразил было: «Здесь хотят лепить мой бюст. Но я не хочу. Тут арапское мое безобразие предано будет бессмертию во всей своей мертвой неподвижности» (Х. 452). В мертвой неподвижности его запечатлела, однако, знаменитая посмертная маска, сделанная Самуилом Гальбергом, великолепная в своей простоте и точности.

Мрачное состояние Пушкина начинается задолго до ревности и последней дуэли, сопровождаемая спадом творчес-

ких занятий. Внешне он подавлен запретами, ограничениями, бесправием, долгами, внутренне — один «между четырех стен» (его выражение). Александр Тургенев писал: «Он полон идей». Но энергия для осуществления этих идей иссякла. Нездоровый образ жизни и расшатанное душевное состояние делают его раздражительным, недоверчивым, обидчивым. Он стал замкнутым и угрюмым.

Наверняка есть немало пушкинистов, убежденных в полном психическом здоровье поэта. Отнесемся с полным уважением к их аргументам, однако предложим свои. Введем в русский обиход слово, имеющееся в немецком (*Ressentiment*) и в польском (*resentyment*). Им пользовался Ницше, как определителем социальной проблемы. Смысл слова *ресентимент* — недовольство, неприязнь, враждебность, ненависть индивида по отношению к окружающему миру.

Пушкин привык к непониманию окружающих, давно решив, что приятелей у него полно, а друзей нет, но те и другие — предатели. Жена его проблем не замечает и потому не способна ни успокоить его, ни поддержать. Дети малы, чтобы сколько-нибудь чтить отца. Нет возле него родных: мать умерла, на отца он в обиде за скупость, сестра с мужем в Варшаве, брат на Кавказе. Лицейские приятели кто где, Соболевский в Европе, Нащокин в Москве, Вяземский в стороне от него, Жуковский помог остановить дуэль в ноябре, и за это Пушкин на него тоже зол. Он один, кругом враги.

Нервы у него расстроены, отмечает зять Николай Павлищев. Сестра поражена его худобой, желтизной лица. Встречи с братом ее огорчали: он «с трудом уже выносил последовательную беседу, не мог сидеть долго на одном месте, вздрагивал от громких звонков, падения предметов на пол; письма же распечатывал с волнением; не выносил ни крика детей, ни музыки». Ольга писала мужу в Варшаву (он там служил помощником статс-секретаря Госсювета): «...Я очень сердита на вас за то, что вы написали к Александру (Павлищев давал ему хозяйственные советы. — Ю. Д.); это лишь привело к тому, что он рассвирепел, я не припомню, чтобы когда-нибудь видела его в таком отвратительном расположении духа. Он кричал до хрипоты, что готов отдать все, что имеет (может быть, включая жену), чем опять иметь дело с Болдином, с управляющим, с Ломбардом и т. д.»²²⁴ Позже сестра писала, что Пушкин перестал даже открывать пришедшие письма.

Тот же В. Чиж, противореча самому себе, в указанной выше работе писал: «...в действительности характер Пушкина был раздражительный, «хандрливый», по его собственному выражению, — глубоко неуравновешенный и пессимистический». Пушкин был мнителен и упрям, считала его мать. Еще в Лицее он оскорбительно шутил с товарищами, злословил, был вспыльчив, но отходил, любил участвовать в драках (вспомним хвастливый рассказ о потасовке с немцами в кабаке), бывал бит, ходил с опухшим лицом, в синяках.

Петр Плетнев вспоминал: «Он без малейшего сопротивления уступал влиянию одной минуты и без сожаления тратил время на ничтожные забавы»²²⁵. А вот наблюдение Прасковьи Осиповой: «Молодой, пылкий человек, который, кажется, увлеченный сильным воображением, часто к несчастью своему и всех тех, кои берут в нем участие, действует прежде, а обдумывает после...»²²⁶ Плетнев добавляет к этому: «Пылкость его ума образовала из него это необыкновенное, даже странное существо, в котором все качества приняли вид крайностей»²²⁷.

Вот как Пушкин видит себя в письме к Василию Зубкову: «...Характер мой — неровный, ревнивый, подозрительный, буйный и слабый одновременно — вот что иногда наводит на меня тягостные раздумья» (X. 622). Он сам пишет про «минуту хандры и досады на всех и все» (X. 388). Хандра — то есть тоска, *spleen* (то есть раздражение, злоба), а также уныние, скука — все эти слова в его постоянном лексиконе. Отцу он сообщает: «Я ничего не делаю, а только исхожу желчью» (X. 690). В последнем письме к Чаадаеву он объясняет социальные причины своего состояния: «Отсутствие общественного мнения, равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние» (X. 689).

Физическое здоровье поэта, судя по косвенным данным, стало не лучше психического. Модест Корф, одноклассник и многолетний сосед Пушкина, пишет: «Должно удивляться, как здоровье и самый талант его выдерживали такой образ жизни, с которым естественно сопрягались «частые любовные болезни, низводившие его не раз на край могилы»²²⁸.

Тоску Пушкин, по свидетельству Плетнева, «изъяснял расположением своим к чахотке». Врач и друг поэта Влади-

мир Даль понимал эту болезнь как *изнурительную и смертельную*, для объяснения предлагая следующие слова: *сохнуть, вянуть, блекнуть, хилеть, хиреть, дряхлеть, худеть и слабеть*, лишь в последнюю очередь упоминая *порчу легких*. Пушкин знал, что болен.

Дуэль занимала поэта-фаталиста всю жизнь. В кишиневской ссылке он ел черешню и сплевывал косточки, демонстрируя свое хладнокровие, когда в него целились. Периодически «бредил» (его выражение) войной и в том же Кишиневе с восторгом писал о трупах. Дрался на дуэли с любимым другом юности Кюхельбекером. Вернулся из шестилетней ссылки в Москву и после встречи с царем первым делом послал секундантов к Федору Толстому, чтобы свести счеты. Но с кем? С дуэлянтом, который уже убил одиннадцать человек и с Пушкиным бы не промахнулся. Кровь имела для него особый смысл.

Враги! Давно ли друг от друга
Их жажда крови отвела? (V. 113)

Жажда человеческой крови — что может быть более пугающим? Сразу три дуэльных ситуации создает Пушкин в начале февраля 1836 года. Из-за нескольких слов, которые Владимир Соллогуб сказал Наталье, подшучивавшей над ним, Пушкин вызвал молодого человека на поединок. Конфликт тянулся долго и исчерпался благодаря письменным извинениям Соллогуба. Тогда же, 4 февраля, Пушкин послал письмо князю Николаю Репнину, требуя от него отказа от слов некоего Боголюбова, который, ссылаясь на Репнина, якобы нелестно отозвался о поэте, — иначе, понятно, дуэль.

Ответ Репнина, который ничего против Пушкина не говорил, полон мудрости: «Вам же искренно скажу, что гениальный талант ваш принесет пользу отечеству и вам славу, воспевая веру и верность русскую, а не оскорблением честных людей» (Б. Ак. 16. 84). Пушкин успокоился, но в тот же день, что, видимо, связано с ухудшением состояния, придрался в собственном доме к гостю Семену Хлюстину, который якобы повторил неприятные слова Сенковского о нем, о Пушкине. Начинается нелепая переписка по поводу употребления двух слов «свиньи» и «мерзавцы». Хлюстин отказывается отступить, и дуэль надвига-

ется неотвратимо. Лишь переговоры общих друзей привели к перемирию, чему поспособствовало, возможно, улучшение психического состояния поэта.

Относительно несостоявшейся ноябрьской дуэли с Дантесом Пушкин говорил: «Чем кровавее, тем лучше»²²⁹. Соллогуб рассказывал о Пушкине: «Губы его дрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения». Значение пушкинских африканских корней уже тогда преувеличивалось, и ему самому это нравилось. Жуковский пытается убедить Пушкина: «Но ради Бога одумайся. Дай мне счастье избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления» (Б. Ак. 16. 183). Однако как избавить поэта от навязчивого желания приблизить смерть? Поединок стал бы бессмысленным, если бы дуэлянт собирался жить дальше. Отодвинуть удалось на два месяца.

Дуэль таяла, а он жаждал крови и все начал сначала. Решил, что клеветническое письмо сочинил Геккерен, и отказывался слушать возражения. Вере Вяземской он сказал: «Через неделю вы услышите, как станут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит этого человека в грязь» (Б. Ак. 16. 186). Жуковский отметил «бешенство» Пушкина. Дантесу, встречаясь в свете, он говорил грубости, провоцируя того на продолжение скандала. Все хотят его утихомирить, только сам он этого не желает. Геккерен готов идти на любые условия, лишь бы заключить мир. Поэта уговаривают, что Дантес всерьез женится на Екатерине. Пушкин снова остывает, но ненадолго.

На именинах жены Греча он был мрачен. Когда хозяин провожал его в прихожую, Пушкин сказал ему: «Всё словоно бьет лихорадка... Нездоровится что-то в нашем медвежьем климате. Надо на юг, на юг!»²³⁰ Непонятно, какой юг он в тот момент имел в виду, но ему плохо. Следует новое оскорбительное послание Геккерену с обвинениями в авторстве анонимного письма и в сводничестве.

Ничего не осталось от дуэльной романтики, да и, пожалуй, от романтики вообще. Приятель «накануне видел Пушкина, которого он нашел ужасно упавшим духом, раскаивавшимся, что написал свой мстительный пасквиль...». Софья Карамзина свидетельствовала: Пушкин «своей тоской и на меня тоску наводит. Его блуждающий, дикий, рас-

сеянный взгляд с вызывающим тревогой вниманием оставался лишь на его жене и Дантесе...»²³¹

Накануне нового года Карамзина пишет: «Мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер во гневе, Пушкин прерывал свое угрюмое и стеснительное молчание лишь редкими, короткими, ироническими, отрывистыми словами и время от времени демоническим смехом»²³². Новый год Пушкины встречают вместе с Дантесом. Вид у поэта такой страшный, что графиня Строганова говорит: будь она его женой, не решилась бы вернуться с ним домой. После обсуждения ситуации с Вяземскими Тургенев отмечает в дневнике: «Поэт — сумасшедший»²³³.

За два дня до последней дуэли он был на вечере у Мещерских. Карамзина записывает: «Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра...»²³⁴ Ярость ищет выхода. Екатерина Карамзина говорит о последней дуэли: «Он внес в нее свою долю непостижимого безумия». Борец за честь семьи — совратитель жившей с ними вместе свояченицы Александрины, готовый убить мужа другой свояченицы. Не в Пушкине, а в Дантесе значительная часть пушкинского окружения видела настоящего мужчину, который жертвовал собой, чтобы защитить репутацию возлюбленной.

Иван Тургенев в речи на открытии памятника Пушкину в 1880 году заявил, что дуэль и смерть Пушкина были трагическими случайностями, тем более трагическими, что они случайны²³⁵. А если не случайны? И не в измене жены причина. Не в Дантесе, не в царе, словом, не в злобном окружении, где вот уже полтора десятилетия пытаются найти виновных, чтобы обелить поэта. Первопричина трагедии — в самом Пушкине, в его состоянии. Оно объясняет его последние шаги: упрямство и несговорчивость, злобу и ненависть. Жизнь стала труднее смерти. Лучшее осталось в прошлом; он явственно видел свой финал и целеустремленно к нему шел.

Не в наследственной берлоге,
 Не среди отческих могил, —
 На большой мне, знать, дороге,
 Умереть Господь судил... (III. 121)

Не раз посещала Пушкина мысль, что умрет он в дороге, но не умер. Отчаявшись, он уже никуда не стремился. Оставался единственный выход рассчитаться с жизнью.

За несколько дней до смерти, по воспоминаниям Плетнева, у Пушкина «было какое-то высокорелигиозное настроение. Он говорил со мной о судьбах *Промысла...*»²³⁶. Друзья, конечно, подкрашивали образ поэта, чтобы сделать его более угодным власти, однако семь из шестнадцати стихов 1836 года так или иначе ведут к мыслям о Промысле. Возрастающая вера связана не столько со взрослением и избавлением от мальчишеского ерничества, сколько с надвигающейся смертью. «Мне кажется, что мертвые могут внушать мысли живым», — сказал он Александре Смирновой²³⁷.

«Выражение лица его было страшно», — встретил поэта на улице Вяземский-младший²³⁸. Баронессе Евпраксии Вревской, с которой, как помним, у него были долгие отношения и которая понимала его лучше жены, Пушкин поведал накануне дуэли, что не собирается жить. Он говорил ей «о бремени клевет, о запутанности материальных средств, о посягательстве на его честь, на свое имя, на святость семейного очага и, давимый ревностью, мучимый фальшивостью положения в той сфере, куда ему не следовало стремиться, видимо, искал смерти»²³⁹. Он сказал ей, что о детях позаботится царь.

Человек, ищущий смерть, с большей степенью вероятности найдет ее раньше, чем тот, кто ее не ищет. Выстрел произвел человек, доведенный Пушкиным до крайности, загнанный им в тупик. Дантес не хотел убивать. Поединок был *избежным*. Разве Пушкин не мог умом обыграть своего врага? Можно ли верить его разговорам, что он решил — нет, не сразить эпиграммой, как делал раньше, а — примитивно устранить Дантеса физически? Банальный любовный конфликт Пушкин превратил в смертельную схватку двух самцов за самку. Он режиссировал так, что под видом благородной дуэли, защищающей честь, Дантес вынужден выступить в роли *киллера*.

Молодой журналист Николай Иваницкий, встречавшийся с поэтом, записывает в дневнике: «В последний год жизни Пушкин решительно искал смерти. Тут была какая-то психологическая задача»²⁴⁰. Александр Тургенев понял, что это не дуэль, накануне смерти Пушкина написав в письме: «...Вероятно, сегодня Россия лишится великого поэта». Поистине, как писал Соллогуб, который был секундантом при подготовке ноябрьской дуэли: «Все хотели остановить Пушкина. Один Пушкин того не хотел... Он в лице Данте-

са искал или смерти, или расправы со всем светским обществом». Соллогуб прибавляет: «...Он сам увлекался к смерти силою почти сверхъестественною и, так сказать, осязательною»²⁴¹.

По дороге с Черной речки домой Пушкин сказал: «Я жить не хочу». В постели повторял: «...Если Арендт найдет мою рану серьезной, смертельной, ты мне об этом скажешь! Меня не испугаешь: я жить не хочу»²⁴². Заявил, что если останется жить, дуэль возобновится, так как хотел идти до конца, но надеялся прожить не больше двух дней, то и дело спрашивал верного ему Данзаса, скоро ли умрет. Он сам себе нащупал пульс и сказал: «Смерть идет». Даль записал слова, которые повторял Пушкин: «Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?»; «Нет, мне здесь не житье; я умру, да, видно, уже так надо»; «А скоро ли конец? Пожалуйста, поскорее!»; «Кончена жизнь. Жизнь кончена». Он был не жилец.

Ни единого слова не было сказано поэтом о написанном, неопубликованных рукописях, собственном журнале, литературе вообще, о стране, о политике, о делах общественных. Никаких распоряжений великого поэта-гражданина, сознающего, что умирает! Жена, ее ухажер, которого он великодушно простил («не мстите за меня»), слова преданности царю (возможно, придуманные его друзьями), — вот и весь перечень последних его забот. Не за отчизну дрался Пушкин, не за семью, а — против себя.

Потеряв много крови, он успокоился после опиума, данного доктором. Не случайно Вяземский писал: «Необузданный, пылкий, беспорядочный, сам себя не помнящий во всех своих шагах, имевших привести к роковому исходу, он сделался спокоен, прост и полон достоинства, как скоро добился, чего желал; ибо он желал этого исхода». Если бы Пушкин не был смертельно ранен 27 января, он вскоре повторил бы дуэль или, возможно, покончил бы с собой другим способом.

Можно ли было спасти раненого Пушкина? Восемь лучших врачей Петербурга, включая личного врача царской семьи, пытались сделать это. Даль, который производил вскрытие тела, заявил, что пуля ранила брюшину и вошла в крестец; ранения кишечника не было установлено. Лечили раненого консервативно, ставили ему, и без того потерявшему много крови, пиявки. Вопрос об операции, хотя лапаротомия (вскрытие брюшной полости) даже в

России тогда уже делалась, почему-то не возник. Знаменитый хирург (так пишется о нем в энциклопедии Брокгауза) Николай Арендт, который принимал участие в войне с Наполеоном, а значит, не раз имел дело с подобными случаями, сказал только: «Для Пушкина жаль, что он не был убит на месте, потому что мучения его невыразимы».

В тридцатые годы XX века утверждалось, что доктор Арендт не лечил Пушкина из политических соображений и дал ему умереть, но что советские врачи спасли бы поэта²⁴³. Для проверки писатель Андрей Соболев в 1926 году пришел на Тверской бульвар к памятнику Пушкина с наганом и выстрелил себе в живот. Через двадцать минут его положили на операционный стол в той самой клинике, врачи которой, отвечая на вопрос пушкиниста, похвальнось своими преимуществами перед Арендтом. Через три часа после операции Соболев умер, хотя пуля нанесла ему более легкое повреждение, чем Пушкину. На деле и того, и другого писателя спасти надо было не после выстрела, а до выстрела: оба оказались психически неуравновешенными.

По воззрениям американских психиатров, Пушкин как любая творческая личность относился к так называемой группе риска. Приступы тоски с желанием покончить с собой бывали у него с юности. Самое раннее признание относится к 1815 году — «Мое завещание друзьям»: «Певец решил умереть». А в черновике шестнадцатилетний подросток, который решил «навек укрыться», объясняет:

Нет, полно, полно мне терпеть!
Дорожный посох мне наскучил,
Угрюмый рок меня замучил,
Хочу я завтра умереть. (Б. Ак. 1. 363)

В юности, да и потом он весело склоняет в стихах имя Сенеки, вскрывшего себе вены. Двадцати лет отроду пишет: «Мне мир постыл...» Под текстом недописанного стихотворения нарисован пистолет, и трудно отделить романтическую позу от реальных мыслей. Т.Цявловская резонно пишет: «Покушения на самоубийство не было. Но искушение, по-видимому, было. Вернулось оно в апреле 1820 года, когда по Петербургу распространились слухи, оскорбительные для чести Пушкина»²⁴⁴. Причина — сплетня, будто молодого поэта высекли в тайной канцелярии. Же-

ление покончить с собой от позора есть один из важных признаков депрессии.

Слух о самоубийстве Пушкина летом 1824 года распространился по Одессе и не на шутку перепугал его друзей в Петербурге и Москве. Осенью того же года в Михайловском после драки с отцом, согласившимся доносить в полицию о поведении сына, поэт написал Жуковскому: «Стыжусь, что доселе живу, не имея духа исполнить пророческую весть, которая разнеслась недавно обо мне, и еще не застрелился. Глупо час от часу далее вязнуть в жизненной грязи, ничем к ней не привязанным» (Б.Ак.13.402). Переписывая это письмо набело, Пушкин поостыл и про желание покончить собой не стал упоминать.

Тоска душила его каждую весну. Брат Лев предупреждает соседку по Михайловскому Осипову: «...Я еще более тревожусь за брата. Приближается весна; это время года располагает его сильнее к меланхолии; признаюсь, что я во многих отношениях опасаясь ее последствий»²⁴⁵. «Последствия» — это опасения, что в связи с неудавшимся бегством за границу поэт наложит на себя руки.

Пушкин живет в пространстве, замкнутом границами империи, с контролем за каждым его словом внутри. «С огорчением вижу я, — пишет он Бенкендорфу, — что всякий шаг мой возбуждает подозрение и недоброжелательство. Простите мне, генерал, свободу, с которою я высказываю свои сетования, но ради неба, удойте хоть на минуту войти в мое положение и посмотрите, как оно затруднительно. Оно так непрочное, что каждую минуту я чувствую себя накануне несчастья, которого я не могу ни предвидеть, ни избегнуть» (X. 215—216). Как тут не развиться клаустрофобии?

Он писал об Ушакове и Радищеве: «Муки его (Ушакова. — Ю. Д.) сделались нестерпимы, и он потребовал яду от одного из своих товарищей. Радищев тому воспротивился, но с тех пор самоубийство сделалось одним из любимых предметов его размышлений». И дальше: «Огорченный и испуганный, он возвратился домой, вспомнил о друге своей молодости, об лейпцигском студенте, подавшем ему некогда первую мысль о самоубийстве... и отравился. Конец, им давно предвиденный и который он сам себе напроорочил!» (VII. 241 и 244) За год до конца Пушкин нарисовал в розовых тонах гибель Грибоедова: «Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя,

не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна». На той же странице Пушкин писал, что он Грибоедову завидует, сочинил свой миф о сладкой смерти и примерил его к старому другу (VI. 452).

Не раз (в том числе в «Евгении Онегине») Пушкин помнит Шамфора, французского сатирика конца XVIII века, который был сперва революционно настроен, а потом попал к умеренным и при аресте покончил с собой. Да и Онегин думал о самоубийстве: «Он застрелиться, слава Богу, попробовать не захотел». В 1828 году Пушкин узнает, что его приятель карикатурист Эммануил Карлович (Сен-При), уехав в Италию, покончил там самоубийством. Поэт вспоминает Марка Савра, поэта, обвиненного в оскорблении императора Тиберия. Савра затравили, и он покончил с собой.

Через два месяца после женитьбы Пушкин готовит для «Литературной газеты» эссе о стихах Иосифа Делорма, в которых тот описывает прелести самоубийства:

Нырнуть головой, чтобы больше ее не поднимать,
Вот моя заветная мечта, когда я задумываю умереть.
(VII. 522)

А чуть ниже —

Соловей, чувствуя, что голос его ослабевает,
И приближается холодный ветер, и опадает его оперение,
Исчезает из жизни незаметно для всех, как лесное эхо:
Я так же хочу исчезнуть.

Восторгаясь этими стихами, Пушкин указывает на литературную мистификацию и последовавший скандал: поэта-самоубийцу Делорма выдумал Сент-Бёв.

В последний год жизни мысль, казалось, погребенная в прошлом, воспламеняется с новой силой. Навязчивое желание подставить грудь под пистолет дождалось своего часа. Нидерландский посланник Геккерен первым назвал Пушкина в письме самоубийцей, искавшим смерти. И наша неприязнь к барону не отменяет резонности этого объяснения. Самоубийство требует, однако, изменить весь подход к биографии поэта.

Самоаннигиляция Пушкина имела место всегда, за жизнь он никогда не цеплялся, и остается удивляться не

тому, что он рано рассчитался с земным существованием, а тому, что он смог прожить так долго и успел оставить нам так много. Как заметит позже герой Ивана Тургенева, «уничтожаясь, я перестаю быть лишним». Поэзия отодвинулась, оставив его в житейской смуте. Самоубийство стало активной защитой, протестом, демонстрацией его независимости. Он решил сам управиться со смертью. Подчеркнем: не она с ним, а он с ней. То был единственный и последний шаг к полной свободе.

Вопрос о дуэли в качестве самоубийства Пушкина возник не на пустом месте. Не мы — поэт сам приравнял дуэль к суициду. В состоянии хандры он комментирует анналы Тацита и там устанавливает прямую связь между самоубийством и дуэлью: «Самоубийство так же было обыкновенно в древности, как поединок в наши времена» (VIII. 95). Пожалуй, наиболее прямолинейно тему сформулировал на Западе Дмитрий Мирский. Задуматься над пушкинским решением уйти из жизни Мирскому дало повод самоубийство Маяковского.

Князь Мирский, сделавшийся ярким марксистом, еще живя на Западе, доказывал, сравнивая смерти Маяковского и Пушкина, что последний нашел единственный для себя выход. Оказался он в этом положении, идя на бесконечные уступки царю. «Загнанный в тупик Пушкин выбрал путь, который, этически и психологически, был путем самоубийства, — писал Мирский. — Дуэль, как мы теперь видим, была для него линией наименьшего сопротивления на пути к смерти»²⁴⁶. Перебравшись из Англии в сталинскую Москву, бывший английский коммунист написал несколько работ о Пушкине, но больше не касался вопроса о самоубийстве Пушкина. Впрочем, возможно, об этом позаботились цензоры. В 1937 году Мирский сгинул в колымских лагерях.

Т. Цявловская назвала рисунки пистолетов в рукописях Пушкина «сигналами дуэли». Всего у Пушкина было не менее пятнадцати шансов отправиться на тот свет, пятнадцать репетиций Черной речки. О других его дуэлях мы не знаем. Борис Пастернак, размышляя о смерти Пушкина, тоже отмечал финал «иногда насильственный, чаще естественный, но и тогда, по нежеланию защищаться, очень похожий на самоубийство». Скепсис Пастернака по отношению к пушкинистике известен.

Освоив изрядное количество специальной медицинской литературы и понимая всю условность подобной работы,

мы перешли к дебатам с несколькими американскими психиатрами разных профилей, в том числе невропатологом и профессором криминалистики²⁴⁷. Факты были предложены консультантам без имени Пушкина, без дат и мест, дабы исключить побочные соображения, связанные с узнаванием конкретного человека. Поэт в обществе всегда странен, наподобие городского сумасшедшего. Имя стало экспертам ясно, когда перешли к анализу произведений.

Тема сумасшествия в произведениях Пушкина богата и разнообразна. От текста к тексту следует вереница сошедших с ума героев: старик в «Русалке», старик-отец в «Дубровском», Евгений в «Медном всаднике», Германн. Пушкин сам говорит о своем страхе перед сумасшествием: «Не дай мне Бог сойти с ума...» Вообще говоря, сумасшествие и самоубийство — такие же темы литературы, как все прочие; писатель исследует закоулки человеческого сознания. Может он эти состояния героев гиперболизировать и, конечно, писать от первого лица. Но, исследуя своих героев, писатель невольно разбирается и в себе. Критики часто отмечают эту близость: поэтическое творчество как скольжение на грани. В психоанализе поэт и неврастеник находятся в одной категории. Пушкина больше волнует не само сумасшествие, а — как к больному относится общество.

Душевное нездоровье становится у Пушкина лейтмотивом творчества. Германн настойчиво пытается узнать тайну трех карт у графини, приехавшей из Парижа. Дальше следует фраза: «Все мысли его слились в одну, — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых игрецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны» (VI. 234). Игра и в жизни Пушкина соединялась с желанием «играть в Париже».

«После «Пиковой дамы» Пушкин больше не обращался к патологическим типам, маньякам и сумасшедшим, — отмечал М. Гофман. — Почему? Потому ли, что зафиксировав психозы, поэт освободился от них, или потому что с 1834 года он находился в таком безысходно мрачном состоянии, что боялся касаться этих тем?»²⁴⁸ А может, предположим мы, думал об участии Чаадаева, которого государство объявило сумасшедшим?

Слово «меланхолия», употреблявшееся Пушкиным и применительно к себе, означает по-гречески «черную

желчь», преобладанием которой в организме Гиппократ объяснял состояние человека. Говоря сегодняшним языком, меланхолия есть *депрессия*. По мнению американских экспертов, следует различать *тяжелую депрессию* и *легкую депрессию*. Поскольку тяжелая депрессия имеет место, когда больной не реагирует на среду, то меланхолия, которой Пушкин описывает свое состояние, будет синонимом легкой. Однако же, объективно ли он оценивал собственное здоровье?

На приеме у психиатра Пушкин не бывал. Собирая анамнез сегодня, можно сказать, что за год до смерти у него наличествовали семь из девяти основных признаков тяжелой депрессии: снижение жизненной энергии, снижение интереса и удовольствия почти во всех проявлениях деятельности, потеря концентрации в доведении дел до конца, наличие психомоторного возбуждения, неадекватное чувство безнадежности, нарушение сна, мысли о самоубийстве. О двух из девяти признаках: снижении или увеличении аппетита и понижении сексуальных желаний — у нас нет информации.

Кроме того, у Пушкина скорее всего имела место как минимум *циклотимия* — мягкий вариант маниакально-депрессивного психоза. После депрессии бывают смены состояния, переходы в манию. Злобность, злопамятность, скандальность, мстительность, мнительность (я окружен врагами, все только и делают, что плетут интриги против меня), а также другие сходные социальные отклонения являют собой элементы психопатии.

С Петровских времен в России смерть, согласно официальной идеологии, венчала героическую жизнь, становилась наградой и кратчайшим путем к славе. «Лицо эпохи отразилось и в образе смерти, — писал Ю. Лотман. — Смерть давала свободу. Смерть искали в Кавказской войне, казавшейся бесконечной, и на дуэли. Под дулом дуэльного пистолета человек освобождался от императорской власти и от петербургской бюрократии. Возможность увидеть своего врага лицом к лицу и направить на него свой пистолет давала лишь миг свободы. Не понимая этого, мы не постигнем, почему Пушкин пошел к барьеру, а Лермонтов бравировал готовностью подставить грудь под выстрел. Там, где вступала в права смерть, кончалась власть императора»²⁴⁹.

Этот важнейший пассаж Лотман завершает выводом об обдуманной стратегии пушкинского поведения и твердой

воле в исполнении задуманного, но не касается главного: психиатрического аспекта обстоятельств дела, остановившись на полпути.

В начале XIX века причинами самоубийства в России не занимались, хотя тема и факты становятся предметом постоянных упоминаний в газетах. В образованной части общества, склонной к чтению романтической литературы, самоубийство окружено неким таинственно-соблазнительным ореолом. В тридцатые годы, о которых идет речь, суицид становится распространенным явлением.

Самоубийство по сей день не объяснено наукой, но сегодняшний подход к добровольному лишению себя жизни не обязательно рассматривается как психическое заболевание. Условием его может оказаться некое сгущение жизненных неприятностей: горе, безнадежность, страх, ненависть, жажда мести, наконец ярость, причем индивид загнан в угол и не видит возможностей развязать узел как-то иначе. Для того чтобы прийти к выводу, что жить дальше не целесообразно, порешить себя, нужен повод, пусть мелкий, довесок, который перетянет чашу весов.

Некая тайна суицида всегда остается, но все же считается, что едва ли не самый существенный вопрос в нем, вокруг которого вращаются все проблемы, — это свобода воли. Пушкин был бесправен, но понимал: право распоряжаться своей жизнью у него отнять не могут. От мудрецов древности, от философов Просвещения, даже от Радищева, который тоже пытался следовать Руссо, Пушкин усвоил взгляд: личность, которая не боится смерти, становится свободной.

При самоубийстве, с точки зрения психиатров, ситуация выглядит так. «Давление смерти» на потенциального самоубийцу развивается от слабого к сильному и обратно, но может резко меняться в зависимости от ухудшения ситуации, поэтому следует разделить *суицидное поведение* и *суицид*. В американской криминалистике используются термины *саморазрушительное поведение* и *задуманное самоубийство*, когда обстоятельства вокруг оказываются непреодолимыми, а выход из них прост.

Некоторые американские эксперты считают *argumentum ad hominem*, что часть автокатастроф со смертельным исходом — это самоубийства. То же касается полетов на частных маленьких самолетах, любительских прыжков с парашютом, участников ридео — скачек верхом на обезу-

мевших от боли бычках и т. п. Желание или свойство характера некоторых любителей просто рискнуть, побывать «у бездны на краю» считается объяснением не всегда достаточным. Сегодня психиатры готовы обсудить под этим углом зрения наркоманов и даже просто злостных курильщиков. В криминалистике США зарегистрированы способы самоубийства, распространенные среди черного населения: самоубийца на улице стремительно бежит прямо на полицейского с игрушечным пистолетом или делает вид, что на ходу вынимает пистолет, и полицейский стреляет в целях самозащиты. Дуэль по отношению к активной стороне, ищущей поединка, можно приравнять к саморазрушительному поведению и в более определенной фазе — к задуманному самоубийству.

В любом из этих случаев сразу окончательно погубить себя трудно. Поэтому люди, склонные к суициду, ищут путей осуществления навязчивой идеи долго. Психиатру важно получить ответы на два вопроса. Первый: хочет ли человек жить дальше? И второй, если не хочет жить: есть ли у него *план*, как это сделать? Приходится признать, что у Пушкина отрицательный ответ на первый вопрос в течение его жизни появлялся несколько раз. А при трехмесячной подготовке последней дуэли, несомненно, как мы видим, существовал план.

Когда человек бросается под поезд — это не значит, что его убил поезд. Доказывать, что Пушкина убил Дантес есть то же, что доказывать, что Анну Каренину убил поезд, — ведь она сама искала смерти. Бартенев писал: «Таким образом, несчастный убийца был убийцею невольным»²⁵⁰. Д. Благой объяснял дуэль тем, что поэт был затравлен «царскими пса́рями»: он бросил вызов самодержавию и пал жертвой. Отсюда недалеко до легенды советских времен о том, что в сугробе за кустом притаился секретный агент Третьего отделения, который убил Пушкина²⁵¹.

Имеются публикации, в которых доказывается, что истинной причиной дуэли были ухаживания царя за Натальей или просто ненависть к царю, как к символу системы. Сошлюсь, в частности, на статьи Б.Парамонова, в которых позиция автора сформулирована коротко и ясно: «Целился — в царя, стрелял — в Дантеса» и «В этой истории Дантес... был для Пушкина подставной фигурой. Метил-то он в царя»²⁵².

В самом деле, идея царевубийства приходила к Пушкину дважды: в Петербурге после Лицея и в михайловской

ссылке, о чем он признавался в «Воображаемом разговоре с Александром I». Н. Лернер полагал, что черновик письма Александру Павловичу с признанием Пушкина в том, что он лелеял мысль о цареубийстве, написан «в момент экзальтации»²⁵³. Экзальтация, то есть болезненное состояние, наступает в случае, если человек покушается на жизнь другого человека и тем более, когда человек размышляет об убийстве главы государства.

Однако если бы Пушкин метил в царя Николая, он мог бы легко осуществить террористический акт: пистолеты он часто имел с собой, царь один гулял по улице, гарцевал на лошади перед его окнами, давая Наталье возможность полюбоваться на себя. Но одно дело воображать и совсем другое — осуществить такой акт. Переносный же смысл: стрелять в Дантеса и воображать, что стреляешь в царя — придумка неправдоподобная. В том-то и дело, что метил Пушкин не в царя, не в сводню Геккерена, даже не в Дантеса, который реально стоял в снегу перед ним, — метил он в самого себя.

Самоубийца выбирает способ ему близкий. Использование огнестрельного оружия самоубийцами по статистике находится на втором месте после отравления. Но отравлением чаще пользуются женщины. Современники свидетельствовали, что Пушкин ехал на дуэль, как на увеселительную прогулку, не придавая ей особого значения, не сделав никаких распоряжений на всякий случай. Правила дуэли, изложенные заранее письменно, его не заинтересовали. На месте он, скучая, сидел и ждал, пока протаптывали дорожку, торопил секундантов, не слушая их инструкций.

Он давно не стрелял и потерял навык, но не мог не знать, что его бывший приятель, а теперь враг Дантес в военном училище был признан лучшим стрелком по голубям в полете. Нажав курок издали, на ходу, француз терял точность, зато опережал выстрел Пушкина, который, долго не поднимал пистолета и двигался вперед, подставив себя под пулю. Дантес потом объяснял, что старался попасть противнику в ноги. Но, будучи высокого роста, он целился в маленького Пушкина, и пуля пошла чуть выше ног. Упав в снег, раненый сказал, что тоже хочет выстрелить, и сделал это плохо.

После дуэли истекающий кровью Пушкин заявил, и слова его записал Вяземский: «Как только мы поправимся, снова начнем». В постели Пушкин пытался покончить с собой. По воспоминаниям А. Аммосова, позвав челове-

ка, он велел подать ему один из ящиков письменного стола; человек исполнил его волю, но поскольку в ящике были пистолеты, предупредил Данзаса. Тот подбежал и отобрал у Пушкина пистолет, уже спрятанный под одеяло. «Пушкин признался, что хотел застрелиться, потому что страдания его были невыносимы»²⁵⁴.

Если говорить не о литературе, а о его жизни, то зададимся вопросом: принимал ли Пушкин сам значительные решения, менявшие его судьбу? В Лицей его устроили друзья семьи по благу (если не нравится это слово, замените «благу» «протекцией»). Он начинал баловнем судьбы, получившим блестящее образование. Из столицы за мальчишеские авантюрные стихи его отправили не в Сибирь, но гулять на юг. Вернули его благодаря хлопотам друзей. Барин и помещик-крепостник, Пушкин в жизни не надел себе ботинок без слуги, любил загульную жизнь, дорогое шампанское и мог за ночь проиграть в карты все состояние семьи. Окружение, в котором высшим шиком считались экспромты в альбомы барышень, стыдилось полезных занятий. Два поступка он совершил в практической жизни, доведя их до конца: женился, правда, неудачно, и — успешно заставил убить себя.

Одно желание сопровождало его всю сознательную жизнь — тяга на Запад, и это стремление осталось нереализованным. Когда римские писатели говорили *emigrare*, это значило просто «переселиться». У Цезаря смысл немного меняется: «покинуть родину». Позже это слово стало означать насилие: «выгнать из страны». Цицерон первым сказал: «эмигрировать из жизни», то есть «принять смерть».

О самоубийстве как эмиграции в эпоху Просвещения заговорил итальянский юрист и реформатор уголовного права Чезаре де Баккария, чьи труды оказали влияние на формирование законов в Европе и в США. В «Трактате о преступлениях и наказаниях» Баккария размышляет о странах, в которых самоубийства законами запрещены, а эмиграция разрешена. Утилитарно говоря, с экономической точки зрения для государства выгоднее самоубийство индивида, чем его выезд в другую страну, ибо эмигрант забирает с собой имущество, а самоубийца оставляет все на родине²⁵⁵. Достоевский воспользовался названием этого трактата Баккария для романа «Преступление и наказание». Свидригайлов уговаривает Раскольникова после убийства бежать поскорее в Америку или застрелиться...

Сын Карамзина Александр писал матери, что поэт оставил мир, в котором он не был счастлив. Тургенев отметил в дневнике: «Жуковский читал нам свое письмо к Бенкендорфу о Пушкине и о поведении с ним государя и Бенкендорфа. Критическое расследование действий жандармства. И он закатал Бенкендорфу, что Пушкин — погиб оттого, что его не пустили ни в чужие края, ни в деревню, где бы ни он, ни жена его не встретили Дантеса»²⁵⁶.

В. Розанов считал, что Пушкин умер вовремя. Поэт рассказал нам свои «сны», в последнее время обратился к деловым заботам, и можно предположить, что, живи он дольше, эта часть жизни не была бы посвящена стихотворству. Путь, пройденный Пушкиным, «утомительно длинен»²⁵⁷. Пушкин хотел соединить семейную жизнь с холостой, финансовую обеспеченность с проматыванием денег в карты, презрение к журналистской братии с желанием самому издавать то газету, то журнал, службу на правительство с оппозицией, стремление к уединенной райской жизни в деревне с ежедневными светскими раутами в свинском Петербурге, желание бежать *туда* — с работой в архивах и суетой *тут*, любовь к родине с ненавистью к ней и ко всему, что его окружало, кроме «отеческих гробов». То, чего хватило бы сотне талантливых людей, он пытался осуществить один. Многое ему удавалось, но не все, *полужизнь* физически не могла быть охвачена одним человеком. Наступил крах.

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог. (V. 356)

Стало быть, смерть — неизъяснимое наслаждение, возможно, залог бессмертия. Как тут не согласиться с иронией В. Величко, сказавшего в конце XIX века: «В России трагическая смерть помогает писателям, пожалуй, серьезнее, чем на Западе долгая и плодотворная жизнь»²⁵⁸. Пушкин осуществил свою гибель и, может быть, в процессе аннигиляции самого себя, а вовсе не в других ипостасях, стал свободен, независим, а значит, счастлив.

Когда в два и три четверти часа пополудни 29 января 1837 года агония кончилась и ему закрыли глаза, началась другая эпоха. Пушкин вступил во вторую жизнь, теперь не зависимую от него самого. Однако душа его не успела отлететь. Она была удержана, как теперь говорят, властными структурами.

Глава тринадцатая ПОСМЕРТНЫЙ ОБЫСК

Они любить умеют только мертвых...

Пушкин (V. 208)

Сразу после смерти возникли трудности, связанные с отпеванием тела умершего и похоронами, ибо дуэлянта церковь рассматривает таким же нарушителем христианских заветов, как и самоубийцу. В 1835 году появился «Свод законов Российской империи». Согласно законодательству самоубийца терял право на христианское погребение. Таких хоронили без церковного ритуала и за оградой кладбища, где земля считалась неосвященной. Но был ряд исключений, среди них материальные проблемы, стыд позора, обида, беспамятство. Службу в Исаакиевском соборе отменили, но тот факт, что Пушкина отпевали в Конюшенной церкви, говорит о высочайшем на то разрешении, которое церковь не обсуждает.

Скромность прощания с телом в Конюшенной церкви как результат ограничений, наложенных властями, старавшимися сделать похороны незаметными, обычно особо отмечается в литературе, чтобы подчеркнуть противодействие или даже страх правительства, однако это не соответствует действительности: если верить донесению прусского посланника Либермана, у гроба побывало пятьдесят тысяч человек. Службу совершал сам архимандрит и шесть священников. Николай Павлович заранее удостоверился в том, что Пушкин захотел умереть христианином. Говорили, что царь приедет в церковь, но этого не произошло.

Из церкви гроб вынесли на руках Крылов, Жуковский, Тургенев, Вяземский. Последний, рыдая, упал головой в

снег, его подняли. «Упоминающиеся везде «толпы народа» перед выносом тела и на паперти не должны обманывать непредвзятое суждение: толпы возникают по побуждениям часто весьма далеким от настоящей причины и смысла событий», — резонно замечает критик²⁵⁹. Но публики в церкви и вокруг было много. После отпевания гроб перенесли в холодный заупокойный подвал, где поставили жандармов. Тело там пролежало двое суток. Потом, когда гроб заколачивали, Вяземский и Жуковский бросили в него по перчатке.

Существует некий перекокс в описаниях похорон Пушкина как всероссийского события. На деле, как вспоминают современники, внимание шокированного петербургского общества сперва сосредоточилось на беде голландского посланника Геккерена и его «приемного сына», который тоже был ранен. Карету, чтобы довести до дому раненого поэта, предложил его враг Геккерен. Не на Мойку, где умирал поэт, ехала знать выказать внимание, а наносила визиты голландскому дипломату и Дантесу, ибо их загнал в угол разъяренный, или, как писали, «взбесившийся» Пушкин, которого навещали только друзья.

Первая реакция царя была проявлением благоволения к моральной жертве дуэли — Дантесу. Только когда наверху стала ясна подоплека, прочитан пасквиль и Николай Павлович усмотрел намек на себя как соблазнителя мадам Пушкиной, не оставалось другого пути, кроме как посадить Дантеса на гауптвахту и приговорить в повешению. Впрочем, несерьезно, а серьезно — выслать обоих иностранцев из страны, отобрав у молодого офицера его российские регалии.

Польский врач и литератор Станислав Моравский сразу разглядел противоположную картину: «Все население Петербурга, а прежде всего чернь и быдло, будто в судорогах, дышало желанием самого жестокого отмщения Дантесу. Ни молод, ни стар знать не хотели, что Дантес не был убийцей. Хотели даже отомстить хирургам, которые лечили Пушкина, доказывая, что это был заговор и измена, что ранил его иностранец и воспользовались иностранцами, чтобы лечить его»²⁶⁰.

Думается, это преувеличение, как и опасность Пушкина для правительства, и стремление избавиться от поэта. Всегда говорилось, что дела, связанные со смертью Пушкина и публикации о его гибели замалчивались властями.

боявшимися влияние поэта на общество. Д. Благой, например, писал, будто запрещалось сообщать, что Пушкин погиб на дуэли. Между тем, некрологи, хотя и предписывалась «надлежащая умеренность», можно было прочесть во всех газетах. Выходила реклама о продаже его сочинений. Подробности смерти рассказали правительственные газеты «Сенатские ведомости» и «Санкт-Петербургские ведомости».

Не существовало запрета хоронить Пушкина в Петербурге — то была воля покойного лежать на купленном им участке в Святогорском монастыре. Похоронная процессия являла собой вид странный. Остается удивляться, что жена не поехала проводить мужа в последний путь, да и вообще из родных никто не сопровождал гроба. Впереди скакал жандармский капитан, за ним везли гроб, а позади в санях следовал Александр Тургенев, получивший соответствующее предписание от царя. Помимо дружеских чувств к поэту, тут была своя корысть. Тургенев писал опальному брату в Лондон: за умело организованные похороны получил от царя «обещание отпустить меня в Париж»²⁶¹. Отдельно поскакал фельдъегерь с уведомлением Псковскому градоначальнику о прибытии гроба. По подсчетам, Пушкин проехал за свою жизнь тридцать четыре тысячи верст, и даже умерев, четырехста верст он должен был ехать в гробу.

Покойника оставили в церкви Святогорского монастыря; а Тургенев ночевал в Тригорском у Прасковьи Осиповой. Она послала мужиков на кладбище долбить промерзшую землю. Продолбили чуть-чуть, поставили гроб и забросали снегом. Весной, когда начало таять, ящик с телом Пушкина обнаружился, его вынули и снова зарыли, на этот раз глубоко. Тургенев рассказывал в письме, как ехал с похорон обратно: «На дороге видел я колодников с голыми руками там, где на них цепи, подумал об этом жестоком неудобстве, а в тюрьме видел уже солдата с отмороженною от цепи рукою. Передам это здесь, кому следует...»²⁶² Через месяц Тургенев отбыл во Францию. Факт, замалчиваемый адвокатами Натальи Пушкиной: жена посетила могилу мужа первый раз через два года: с глаз долой — из сердца вон. Если вообще был он в ее сердце.

После смерти хозяина в доме оставалось 300 рублей. Михайловское заложено и должно было пойти с молотка за бесценок. Проживи Пушкин еще немного, нечем бы стало кормить детей, близилась долговая яма. Хоронить отца семейства было не на что; деньги на похороны щед-

рой рукой пожертвовал граф Строганов. Сопровождать гроб к могиле в Святые Горы Тургенев поехал за свой счет.

По ходатайству Жуковского Его Величество распорядился уплатить все долги Пушкина из казны. Оказалось 138 тысяч 488 рублей, из них 94 тысячи 988 рублей — долги частные, то есть в значительной части карточные проигрыши. Если суммировать уплаченные долги по имению отца, пенсион жене и детям, то забота о Пушкине обошлась казне в полмиллиона золотых рублей.

Царь поручил Жуковскому вместе с Третьим отделением разбирать бумаги Пушкина. Никогда еще, пожалуй, к рукописям писателя правительство не относилось так же бдительно, как к секретным бумагам государственной важности. Операция эта проливает некоторый свет и на причины, по которым власти так боялись увеличить дозу свободы поэта и выпустить его за границу.

Правительственную ложь Герцен называет высочайшей ложью. Инструкции Бенкендорфа в его письме Жуковскому важны как прямые указания, что следует делать, но едва ли не больше интересны тем, что явственно читается между строк. «Бумаги, могущие повредить памяти Пушкина, — пишет глава Третьего отделения, — должны быть доставлены ко мне для моего прочтения. Мера сия принимается отнюдь не в намерении вредить покойному в каком бы то ни было случае, но единственно по весьма справедливой необходимости, чтобы ничего не было скрыто от наблюдения правительства, бдительность коего должна быть обращена на все возможные предметы»²⁶³. Таково понимание властью пользы, справедливости, вреда.

А что делать, если в бумагах обнаружится юмор, или недостаточно почтительная строка о царе, или стихотворение с тайной мечтой о свободе? «По прочтении этих бумаг, ежели таковые найдутся, они будут немедленно преданы огню в вашем присутствии». Все материалы, которые Пушкин готовил к публикации как издатель «Современника», Бенкендорф тоже велел рассматривать, сортируя на две части: «которые возвратить к сочинителям и которые истребить совершенно».

Как быть с личными письмами? «По той же причине, — продолжает Бенкендорф, — все письма посторонних лиц, к нему писанные, будут, как вы изволите предполагать, возвращены тем, кои к нему их писали, не иначе, как после моего прочтения». Таким образом устанавли-

вался конкретный контроль над всем окружением поэта. Письма вдовы генерал, конечно, тоже затребовал к себе на стол. Был тут и личный интерес должностных лиц: открылась возможность поглядеть, нет ли чего-либо «про меня».

Мертвый Пушкин оставался для правительства поднадзорным, или, говоря современным языком, некой мимной замедленного действия, которую власти пытались обезвредить. Во всем этом сильнее всего поражает маленькая деталь: сообщая сестре Анне о смерти Пушкина, Николай Павлович вдруг забоялся писать свое мнение, сказав: «Это не терпит любопытства почты»²⁶⁴. Царь не доверял созданной им самим системе слежки: ни почтмейстерам, ни тайной полиции, ни фельдъегерям.

Разбирать бумаги разрешили у Жуковского дома, при том генерал-майор Леонтий Дубельт, уходя, каждый раз лично опечатывал сундук с рукописями, уносил с собой ключ и опечатывал комнату, где стоял сундук. Дубельт первым читал каждый клочок бумажки и, занеся ее в протокол, отдавал Жуковскому только то, что тому дозволялось прочитать, а что нет — запечатывал в пакеты для Бенкендорфа. Так продолжалось шестнадцать дней.

Третьему отделению и Жуковскому открылась картина, которую легче осмыслить нам, прошедшим жизнь под покровительством человеколюбивых органов, озабоченных исключительно чистотой наших мыслей. Мы выросли на самиздатской литературе XX века. Скажем сразу: Пушкин и тут оказался основоположником — нашим самым известным самиздатчиком, хотя такого слова тогда еще не существовало.

В 1836 году он вспоминал, что «вся литература сделалась рукописною» в последнее пятилетие жизни Александра Павловича. Всю жизнь Пушкин писал в стол, точнее в шкатулку, стоящую на его столе. Он считал, что жизнь писательская невыносима: «никогда не бывали они притеснены, как нынче» (X.462). Но при этом копии стихов, написанных им, растекались по всей стране и попадали в Европу. Только после смерти поэта, приоткрылась рукописная сокровищница. А сколько гениальных замыслов осталось по разным причинам не записанными! Когда-то в «Послании цензору» он писал:

И Пушкина стихи в печати не бывали;
Что нужды? их и так иные читали. (II.113)

Титул Великого Самиздатчика, примеренный нами к юному Пушкину, сохраняется за ним и спустя двести лет. Не в этом ли тайна, не в этом ли ответ на вопрос, почему Пушкин энергично добивался права стать профессиональным литератором и, упершись в стену, стремился выбраться из страны? Занимаясь розысками в его биографии, мы не без влияния генерала Бенкендорфа вдруг увлеклись арифметикой достижений поэта и, используя нехитрый компьютерный калькулятор, решили посчитать то, что еще подытожено не было: какую часть созданного сам автор опубликовал и сколько осталось в рукописях.

Трудность задачи — в определении, что включать и что не включать в расчеты. Например, предвидимы возражения, что некоторые произведения Пушкин не хотел публиковать и потому они не были напечатаны. Согласимся, но и возразим: если поэт записал их в частный альбом, дал посмотреть рукопись или почитал кому-то, то такие произведения самим фактом *услышания* стали достоянием самиздата, и значит, мы должны их учесть.

Непросто решить, как поступить с неоконченными произведениями, так как степень их завершенности трудно определить: например, «Осень» и много других стихотворений, «Русалка», «Дубровский», «Арап Петра Великого» (у Пушкина нет такого произведения, а есть шесть глав начатого текста, но давно стало традицией неоконченное его публиковать как готовое). Добавим к этому «Египетские ночи», «Сцены из рыцарских времен», «Историю Петра». Решено было неоконченное, но, так сказать, состоявшееся, включать в расчеты, поскольку произведения существуют. Стихи, соединенные самим автором в цикл, например, «Подражания Корану» (девять стихотворений), или «Повести Белкина» (пять рассказов), берутся как единые произведения. Не учитываются разные редакции одного текста, газетные и журнальные заметки, дневники, письма, *Table Talk*, деловые бумаги.

Если суммировать произведения Пушкина по названиям, то окажется, что он за свою недолгую жизнь написал 934 произведения. При жизни из этого числа увидело свет 247 работ, или 26 процентов. И хотя многие основные произведения публика знала, остается фактом, что три четверти всего написанного великим русским поэтом публиковалось постепенно, в течение ста пятидесяти лет после его смерти. Проценты эти довольно стабильны по всем жанрам. Не было напе-

чатано при жизни Пушкина 77 процентов написанных им стихотворений, 84 процента поэм, 82 процента сказок, 75 процентов пьес, 76 процентов романов и повестей в прозе. Наконец, у него, исторического писателя, не было опубликовано при жизни 98 процентов исторических исследований (впрочем, ни одно из них и не было закончено).

Газетные и журнальные статьи Пушкина подсчитывались отдельно, и здесь картина несколько более оптимистическая: остались неопубликованными 66 статей из 120 им написанных, то есть 45 процентов. Выходит, почти половина появилась в печати, но это и понятно. Статьи и рецензии писались по конкретному поводу и в большей степени подвергались самоцензуре в надежде быть сразу опубликованными. Иное дело проблемные эссе Пушкина и литературная критика. Тут он почти весь остался в рукописях, опечатанных в его кабинете.

Добавим, что наши расчеты по произведениям Пушкина подлежат дополнительной перепроверке, и мы заранее благодарны за уточнения, кои будут сделаны людьми, более нас сведущими в арифметике.

Цифры становятся еще печальнее, если учесть, что часть стихотворений была опубликована по требованию его самого или даже против воли поэта под псевдонимом и вообще без имени. Не считая части стихов о любви и природе, трудно найти произведение Пушкина, появившееся в таком виде, как его создал мастер. В некоторых он сам изымал части, опасаясь преследований, другие подвергались замене цензурой.

С личным контролем царя поэт попал в двойную ловушку. Неоконченные произведения тоже есть иногда свидетельство безнадежности: не было смысла немедленно их заканчивать: все равно им предстояло лечь на дно ящика, присоединившись к кипе неопубликованного. Ведь даже хождение стихов по рукам и чтение вслух в случае с Пушкиным преследовалось тайной полицией.

В противоречие с ходячим выражением «Рукописи не горят» скажем, что они горят великолепно, а также тонут, прячутся и не находятся, выцветают, выбрасываются на помойку и просто теряются. Исчезли юношеские комедии Пушкина на французском языке: «Мошенник», «Философ», «Так водится в свете». Из писем до нас дошла примерно треть да еще некоторое количество деловых бумаг, сохранившихся в госархивах.

Пушкин сам успешно сжигал свои рукописи в ожидании обысков, и делал это не раз. Опасаясь появления жандармов, он сжег поэму «Разбойники», автобиографию, над которой работал пять лет, важнейшие части дневников, главу «Евгения Онегина». Не известно, кстати, какая судьба ожидала роман в стихах, если бы он не печатался на протяжении восьми лет отдельными поэмами (автор называл их песнями): целиком роман вполне мог испугать цензуру или не угодить вкусу Бенкендорфа.

Сколь же даровит был писатель, если публика называла его гением при жизни, зная только 26 процентов им написанного, и четверти созданного оказалось достаточно, чтобы оценить его дар! Что такое реальный Пушкин — без трех четвертей неопубликованного? Можно ли в полной мере говорить о пушкинской школе, пушкинской эпохе, о влиянии на литературу, если отбросить 74 процента его произведений, которые тогда *не влияли* по не зависящим от автора обстоятельствам на литературный процесс? Что было бы — допиши он все задумки до конца и издай их? Впрочем, разве же только напечатанные произведения были известны?

Я скоро весь умру. Но, тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя! —

говорит Пушкин в стихотворении «Андрей Шенья» (II.233).

Не менее, чем еще одна четверть — неопубликованное — распространялась из рук в руки. А что это значило? Какие были, так сказать, тиражи переписанного? В каких вообще количествах распространялась непечатная литература в первой трети XIX века?

Нам не удалось преодолеть трудности подсчета таких данных по произведениям Пушкина. Но поможет сравнение. Григорий Литинский, наш знакомый журналист, писатель, театральный критик и сиделец, проведший десять лет в сталинских лагерях, а затем активный автор самиздата, будучи на пенсии, потратил немалое время, чтобы выяснить, как распространялась ставшая бессмертной комедия Александра Грибоедова «Горе от ума».

Задуманная в 1816 году, она была наполовину написана в 1822 году в Тифлисе, а закончена в 1824-м. Если не считать мелких отрывков из нее, опубликованных в журнале «Русская Талия», комедия распространялась в руко-

писных списках. Представление ее, также с большими купюрами, состоялось в Петербурге в 1829 году. Первое издание со многими купюрами вышло в 1831 году. Для театров вне Москвы и Петербурга пьеса оставалась запрещенной до 1863 года. Кажется, ни одно произведение не сопровождалось такими слухами, запретами, потоками брани и восторгов, что способствовало массовому интересу к прочтению.

Переписывался текст почитателями комедиографа в Петербурге, в Москве и в провинции. Известен, например, ее так называемый Бахтеевский список, заключающий первоначальный вариант комедии. Полагают, что список, привезенный Иваном Пушциным в Михайловское Пушкину, тоже был близок этому варианту. Массовое распространение текста началось, когда Грибоедов ее закончил. Страстный поклонник его творчества декабрист А. Бестужев явился инициатором дела. Он организовал коллективное переписывание комедии, видимо, под диктовку. Бестужев привез комедию в Москву и здесь тоже организовал размножение текста. От него список попал к владельцу книжной лавки на Страстном бульваре Ширяеву, который был комиссионером многих московских писателей. Ширяеву приходилось давать копировать произведения для издателей, и у него имелось много знакомых переписчиков.

Отсюда копии «Горя от ума» потекли по всей Руси великой, размножались образованными людьми во многих городах и весях, дарились и продавались. Текст комедии продолжали переписывать даже после публикации. Много копий погубило и было уничтожено после декабристского восстания, в годы войн и революций, но и сейчас они хранятся у частных коллекционеров и в архивах внутри страны и за рубежом. Литинский подсчитывал «тираж» этих пожелтевших от времени документов с выцветшими чернилами по воспоминаниям современников, архивным копиям, хранящимся во многих крупных библиотеках, по мемуарам. Он утверждал, что количество копий могло достигать полутысячи экземпляров.

Тиражи книг тогда бывали от нескольких сотен до тысячи и отнюдь не всегда продавались хорошо. На этом фоне рукописное размножение, как видим, для известности того или иного произведения и его автора подчас играло более весомую роль, чем публикация. Короткие стихи копиро-

вать легче, чем комедию. Секретность и опасность чтения составляли для публики дополнительный шарм. Пушкин был более популярен, чем Грибоедов, интересу этому самиздат способствовал не меньше, а может, и больше, чем печатная продукция, потому-то Третье отделение и спешило наложить на рукописи волосатую лапу.

Когда посмертный сыск в кабинете поэта закончился, было от чего возмутиться лояльному Жуковскому. Бесконечно терпеливый и униженный, превращенный в понятого, под конец этой полицейской процедуры он сорвался. Письмо Бенкендорфу о выполнении поручения начинается как отчет о проделанной работе, и Жуковский докладывает, что среди рукописей ничего «вредного обществу не находится». Обычно сдержанный, он вдруг выговаривает свое возмущение: «Ваше сиятельство не могли не заметить этого угнетающего чувства, которое грызло и портило жизнь его... Ему нельзя было тронуться с места свободно, он лишен был наслаждения видеть Европу, ему нельзя было произвольно ездить и по России...»²⁶⁵

Среди множества видов наказания и унижения *homo sapiens*, изобретенных за века во многих странах, существует особо гнусный способ, ни в каких правовых документах не обозначенный, но великолепно освоенный поколениями русских властей. Наказание это — «лишать наслаждения видеть Европу». Невидимый ошейник надевается на жертву, поводок находится в руках начальства, чаще неизвестного: хочет — отстегнет, не хочет — затянет так, что недохнуть.

Жуковский очень точно заметил причину, отчего Пушкина сделали невыездным: даже в деревню его не пустили «под тем видом, что он служил, а действительно потому, что не верили»²⁶⁶. Что же говорить о загранице? Обличительное, гневное письмо свое шефу Третьего отделения Жуковский читал вслух Вяземскому и Тургеневу, сделал его, таким образом, достоянием самиздата. Но точно неизвестно, отправил ли Жуковский это письмо по назначению. Вероятнее, по совету друзей спрятал его и потом вывез в Германию. Бенкендорф упрека скорей всего и не прочитал.

С тех пор больная тема невыездного Пушкина почти не затрагивалась в литературе о нем до небольшой статьи «Тоска по чужбине у Пушкина», опубликованной М. Цявловским во время Первой мировой войны в 1916 году. Злая

заметка Н. Лернера «Пушкин и чужбина», появившаяся тогда же, осуждала Цявловского, который первым сказал о тоске поэта. Лернер упрекал коллегу в том, что тоска «не анализирована» и что нелюбовь Пушкина к Германии — спекуляция Цявловского в связи с идущей русско-германской войной.

Пушкин, по мнению Лернера, «не интересовался философией, которая была тогда главным продуктом Германии». Но и Лернер признает, что Пушкин так и не изведal «той прелести освобождения от отечества, которая одна составила бы для поэта главный момент путешествия, его метафизику, его мистику»²⁶⁷. Как ни крути, в сущности, Лернер согласился с Цявловским. Единственное в истории пушкинистики эссе о тоске поэта по загранице было переиздано в сборнике статей в 1962 году. В советской книге текст обрезан, чтобы Пушкин выглядел патриотом. В частности, изъята фраза: «Мысль о бегстве из России незадолго до смерти искушает поэта так же, как и в молодости, в Одессе»²⁶⁸.

В размышлении о трагической судьбе поэта возникает типично русский вопрос, на который не только не ответило, но который и не ставило еще пушкиноведение. Ответ на этот всегда чувствительный для властей вопрос затрагивает миф о писателе-государственнике, строящийся полтора столетия. Вопрос этот: хотел Пушкин просто поехать за границу и вернуться или же собирался уехать навсегда, то есть эмигрировать?

Как отметил погибший в сталинских лагерях пушкинист Петр Губер, у поэта было «пламенное желание» побывать за границей²⁶⁹. Его категорически держали против воли. И тогда он начинает искать возможности покинуть родину тайно. Попытки эти, как мы знаем, задумывались много раз, но каждому, кто понимает русскую историческую ситуацию, ясно: если бежать, вернуться невозможно. Побег на Запад напрочь отрезал любому беглецу добровольный путь назад, ибо за ним следовало печальное путешествие в кандалах в Сибирь, которое Пушкин также обдумывал в деталях не раз.

Стать беглецом — автоматически означало сделаться невозвращенцем. Таких людей Россия плодила в течение нескольких столетий. Власти лепили из них пропагандистские чучела отщепенцев, изменников родины, врагов. Как правило, беглецы, превратившиеся в изгнанников, возвра-

шались обратно после серьезных политических перемен внутри страны или — после смерти.

Наиболее значительные из эмигрантов становились хранителями духовного наследия, до того на родине запретного. А вернувшиеся неудачники кончали жизнь на каторге. И те, и другие случаи во все времена имели место. Пушкин, разумеется, знал о них, подобные события происходили с его знакомыми, и поэт не раз примеривал на себя их судьбу. Не остается лазейки для сомнений, что Пушкин, решая стать беглецом, хотел он того или нет, был вынужден присовокупить к этому эмиграцию.

Вяземский считал одной из странностей русской судьбы, что бедный Пушкин не выезжал из России. Почему мечта всей жизни поэта не реализовалась? Кто или что помешало осуществить хотя бы одну из попыток: царь? тайная полиция? чувство долга перед отечеством? женщины, которых он любил? деньги? собственный характер? страх? Была то одна причина, или они менялись? Тяготело над ним вето на всю жизнь, или возникали запреты по обстоятельствам? Решали цари Александр и Николай Павловичи сами, или им подсказывали?

Жуковский написал, что Пушкину *не верили*. Особое отношение к нему имелось всегда. «Пушкин был противник трона и самодержавия и в этом направлении действовал на верноподданных России»²⁷⁰. Данное мнение императора Александра II, по-видимому, заимствованное из соображений Александра I и Николая I, было высказано сыну Пушкина Александру. То была ложь, но факт в том, что власти никогда поэту не доверяли.

По мнению Марины Цветаевой, Пушкин был страстным сыном России, а родина была ему не матерью, но мачехой. Царю следовало сказать поэту:

Плыви — ни об чем не печалься!
Чай есть в паруса кому дуть!
Соскучишься — так ворочайся,
А нет — хошь и дверь позабудь!²⁷¹

Понятно, почему этот аспект биографии Пушкина во все времена оставался в тени. Один из парадоксов его жизни: он не боялся смерти, но боялся, что царь осерчает. Смело шел под пули в дуэлях, но остерегался неприятных высказываний должностных лиц. Противоречивый голос

«строгой необходимости земной» был ему свойствен. Если даже участие в масонской ложе он воспринял как акцию, враждебную существовавшим порядкам, то знал ведь, что побег за границу всегда на Руси приравнивался к самым тяжким государственным преступлениям, и тот же голос необходимости отговаривал его от опрометчивого шага.

А еще, наверное, даже у гения мечты противоречивы, и лежит пропасть между желаниями и их осуществлением. Поэт по природе своей беглец, и если бежать ему некуда, то он бежит от самого себя. Пушкину было от кого бежать и было куда: ему тесно, ему душно в России. Он называл себя то «беглецом», то «изгнанником», хотя беглец — самовольно спасающийся от властей, а изгнанник — человек, насильственно удаленный. Парадокс великого поэта в том, что он считал себя беглецом даже тогда, когда был в ссылке, то есть был изгнанником. И чувствовал себя изгнанником в Москве или в Петербурге, когда вовсе не был в ссылке. Сам он назвал свою судьбу «блуждающей». Как бы ни были причины и последствия, биографию и творчество Пушкина, находившегося всю жизнь на цепи, в состоянии имманентного трагизма, нельзя ни понять, ни объяснить вне его стремления увидеть своими глазами Запад.

Глава четырнадцатая, похожая на эпилог ИЗ РОССИИ ПОСЛЕ ПУШКИНА

*Это напомнило мне слова моего приятеля Ш. по
возвращении его из Парижа: «Худо, брат,
жить в Париже: есть нечего;
черного хлеба не допросишься!»*

Пушкин (Б. Ак. 8. 450)

«Это» в приведенных выше словах — обида пленных турок, которых Пушкин встретил на Кавказе по дороге к турецкой границе. Они жаловались, что никак не могут привыкнуть к русскому черному хлебу. Приятель Пушкина Ш., по-видимому, чиновник дипломатической службы Петр Шереметев, который одно время работал в Париже, жаловался на тамошнюю жизнь, чем и рассмешил поэта.

Что стало бы с Пушкиным, если б удалось ему вырваться за пределы России? Как сложилась бы его судьба? Кем бы стал по отношению к Западу, проживи он дольше и насытись путешествиями по заграницам: Гоголем или Герценом? Что написал бы, живя в Париже или Риме? Можно гадать. У нас нет уверенности, что, осуществив «пламенное желание» и очутившись в Европе, где игорные и публичные дома не хуже, чем у него на родине, Пушкин нашел бы признание и расцвел.

По отношению к Западу он был невольным идеалистом, вполне мог разочароваться увиденным, затосковать по черному хлебу и вернуться к родным пенатам. Иммануил Кант считал, что у человечества два благородных недуга: тоска по другим странам и тоска по родине. Добавим, что только у второго благородного недуга есть название. *Ностальгия* от греческого *nostos* — возвращение домой и *algos* — боль, страдание. А каким словом назвать *тоску по загранице*, состояние человека, который стремится выехать из своей страны, эмигрировать или просто поглядеть другие страны, а его не выпускают? Нет такого слова ни в одном языке, и приходится сказать *тоска по чужбине*.

Запад магнетически притягивал пушкинское поколение. «Все наши писатели рождаются, так сказать, во французской библиотеке», — писал выдающийся и несправедливо забытый критик первой трети XIX века Алексей Мерзляков²⁷². Оба чувства: тоска по другим странам и тоска по родине — естественны для полноценного человека. Бывало, русские уезжали западниками, а обратно поспешали славянофилами. Василий Розанов написал мемуары об Италии, рассуждая так: почему царь не позвал Пушкина и не сказал: «На тебе деньги, поезжай за границу, смотри, ищи...»? Ответ находим у Глеба Успенского: «Тащить и не пущать» — определит он политику правительства со времен Николая I.

Попытаемся представить судьбу Пушкина, глядя на его окружение, писателей, его современников, отбывавших на Запад. Логично полагать, что жизнь поэта сложилась бы не хуже, чем у других путешественников. Идеальным вариантом для него (впрочем, утопическим) было бы повторить судьбу чтимого им Вольтера. Тот построил себе замок в Швейцарии, недалеко от французской границы. Когда обстановка во Франции накалялась и Вольтеру грозили

кары, он брал в руки шкатулку с драгоценностями и перешагивал через границу. Здесь он был недосыгаем для французского короля.

Приятель Пушкина Андрей Карамзин, сын историографа, будучи в Париже, с горечью отреагировал на смерть поэта: «Бедная Россия! Одна звезда за другою гаснет на твоём пустынном небе, и напрасно смотрим, не зажигается ли заря, на востоке темно»²⁷³. Дантес, добровольно приехавший в Россию делать карьеру, радовался, когда из-за дуэли его выслали за границу. Скакал с бешеной скоростью восемьсот верст в четверо суток и жандарму дал на чай 25 рублей. Не будь несчастного поединка, размышлял состарившийся Дантес, его, возможно, ждало бы незавидное будущее командира полка где-нибудь в русской провинции с большой семьей и недостаточными средствами²⁷⁴. После всего, что произошло, и жена его Екатерина Гончарова с удовольствием покинула страну, где счастливой быть не смогла.

В Париже Дантес сделался бонапартистом, и Наполеон III назначил его сенатором и камергером, дав оклад 60 тысяч франков в год. После государственного переворота 1851 года Дантесу, полагаясь на его российские связи, поручили секретную дипломатию: выяснить в европейских дворах, как там воспримут желание Наполеона III провозгласить Францию империей.

Через русское посольство в Париже Дантес прозондировал почву о возможности своего визита в Россию. Царь отказался принять его, однако встреча состоялась, когда Николай Павлович был в Берлине. Дантес смог сообщить в Париж, что русский император не будет возражать против аналогичного титула, который присвоит себе племянник Наполеона I. Л. Гроссман сообщает, что француз якобы стал осведомителем русского посольства в Париже и сообщал сведения о русских эмигрантах. За несколько месяцев до убийства Александра II Дантес раздобыл важную информацию об активности русских нигилистов в Париже, однако сведения не пошли впрок²⁷⁵.

Наталья Пушкина, ставшая Ланской, ездила за границу и встретила с ним через четырнадцать лет в доме баронессы Фризенгоф, своей сестры Александры, в Словакии. Дантес возвращался из Вены, где виделся с Геккереном. Мадам Ланской и Дантесу стало по тридцать восемь. О содержании их долгого разговора можно строить предпо-

ложения, но кроме воспоминаний, говорить им было не о чем: как написал первый муж Натальи Ланской: «А счастье было так возможно, так близко!...» (V. 162)

Брат поэта Лев в подпитии грозил, что поедет во Францию, чтобы вызвать Дантеса на дуэль и отомстить ему. Приятели (если воспринимали это всерьез) его отговаривали. Лев Пушкин служил в Одессе по таможенному ведомству и дослужился до надворного советника, но оставался лоботрясом. Здоровье его стало ухудшаться. По совету врачей он поехал в Париж, но не для дуэли с Дантесом, а лечиться от «водяной болезни». Возвратившись, снова принялся за пьянство. Приятель Льва уже ухаживал за его женой Елизаветой; вскоре она от младшего Пушкина ушла. Умер он в одиночестве.

На детей Пушкина слезка и запреты не распространились. Поэт навсегда остался в России, а наследники его стали перемещаться на Запад. Дочь поэта Наталья вышла замуж за сына Леонтия Дубельта, который перлюстрировал бумаги поэта. Разойдясь с Дубельтом, Наталья уехала с детьми к тетке Александре в Словакию, потом с матерью в Ниццу, снова вышла замуж за прусского принца Нассауского и больше в России не появилась.

Внучка Пушкина Софья, она же леди Торби, вышла в Италии замуж за великого князя Михаила, внука Николая I. Брак их был морганатический, и Александр III запретил им жить в России. В Англии у них хранились письма Пушкина к невесте, доставшиеся от бабки. Обидевшись на Россию, внучка поклялась, что письма деда никогда не увидят на родине. Внучка умерла, князь Михаил пристрастился к вину и, нуждаясь в деньгах, продал письма Дягилеву за 50 тысяч франков.

Другая внучка поэта, Елена Пушкина, бежала от Октябрьской революции в Константинополь. Последняя жившая в России внучка Пушкина Анна умерла в 1949 году в Москве. Теперь публикуется все больше материалов о заграничных потомках Пушкина, которых в Италии, Франции, Англии, Германии, Бельгии, Швейцарии, Марокко и США от Нью-Йорка до Гавайев живет больше, чем в России: в 2000 году их насчитывалось 246.

Друзья и современники поэта охотно и весело отправлялись за границу, только теперь Пушкин их уже не провожал до Кронштадта. Жуковский, учитель царских детей и автор гимна «Боже, царя храни», отбыл в Европу вскоре

после смерти Пушкина. Долли Фикельмон, с которой Жуковский встречался в Риме, писала Вяземскому: «Жуковский настолько влюблен в Рим, что ему от этого двадцать лет или того меньше».

Пятидесятилетний Жуковский подал в отставку и навсегда поселился в Германии. Там он женился на восемнадцатилетней дочери немецкого художника Герхарда Рейтерна, поселился сперва в Дюссельдорфе, а потом во Франкфурте у родных жены. Племянница Жуковского привезла портрет дяди, написанный немецким художником. Нарисованный Жуковский вернулся в Россию, а живой — нет. Он говорил, что собирается побывать на родине, но живым туда не выбрался. Тело привезли в Петербург, чтобы предать земле.

В Петербурге чувствуют себя чужими Чаадаев и Александр Тургенев. В письме к Вяземскому с Волги Тургенев пишет: «Как мое Европейство обрадовалось, увидев у Симбирска пароход, плывущий из Нижнего к Саратову и Астрахани... Отчизна Вальтера Скотта благодетельствует родине Карамзина и Державина. Татарщина не может долго устоять против этого угольного дыма шотландского; он проест ей глаза, и они прояснятся»²⁷⁶. Тургенев вспоминал, что он обсуждал свои мечтания о будущем России с Пушкиным, но сам предпочитал жить в Европе. Чаще стал ездить за границу Вяземский. Оба они с Тургеневым продолжают заботиться о памяти Пушкина, защищая покойного поэта от упреков французской прессы в подражательстве.

Больше двадцати лет скитался по Европе Сергей Соболевский. Впечатления о путешествиях изложены в его письмах поверхностно; о Пушкине сказано немного, хотя лучшие годы они провели вместе. Литературный дар у Соболевского отсутствовал, хотя он сочинял экспромты. Зато у него оказались финансовые способности. Доходы этого фабриканта достигли ста тысяч, и он охотно тратил их на кутежи и поездки за границу. В конце сороковых фабрика его сгорела. Соболевский опять отбыл в Европу, а когда вернулся, сделался еще более страстным библиофилом. После смерти гигантскую его библиотеку вывез за границу немецкий книгопродавец. Часть книг приобрел Британский музей, где мы некоторые из них нашли.

«Брат по музею» Пушкина Евгений Боратынский мечтал вырваться в Европу. «Сказочная Италия, — пишет его биограф, — представлялась поэту земным раем, который из-

лечит его ото всех душевных и телесных немочей»²⁷⁷. Отправился он туда через шесть лет после смерти Пушкина. Можно представить, что европейское путешествие Пушкина с женой и детьми выглядело бы похожим на этот вояж. Замените имена в биографии Боратынского, и вы в том убедитесь (правда, в карты Боратынский не играл). «Я очень наслаждаюсь путешествием и быстрой сменой впечатлений, — сообщает он из Парижа другу Николаю Путьте. — Железные дороги чудная вещь. Это *опофеоза* рассеяния. Когда они обогнут всю землю, на свете не будет меланхолии».

Мрачный, скептически настроенный Боратынский свел знакомство с Ламартином, Виньи, Мериме, Сент-Бёвом, Жорж Санд, Тьерри, Гизо и ожил. Из Франции он отправляется в Италию; там у него «то внутреннее существование, которое дарует небо и воздух». Скорей всего, и Пушкин, возвращаясь из заграничного путешествия, рассуждал бы также, как Боратынский в письме к матери: «Я вернусь в мою родину исцеленным от многих предубеждений и с полной снисходительностью к некоторым нашим истинным недостаткам, которые мы часто с удовольствием преувеличиваем»²⁷⁸. В Италии он мечтал

Незримо слить в безмыслии златом
Сон неги сладострастной
С последним вечным сном.

И собственное пророчество реализовалось: в Неаполе Боратынский умер. В Париже умерли приятели Пушкина Плетнев и Шевырев. Первый пушкинист Павел Анненков умер в Дрездене.

В поездках на Запад развивается и частично там создается русская классика золотого века. Первое опубликованное стихотворение Гоголя «Италия» наполнено предвкушением восторга:

Италия — роскошная страна!
По ней душа и стонет и тоскует;
Она вся рай, вся радости полна,
И в ней любовь роскошная веснует.

Гоголь мечтал двинуться за границу после гимназии, а затем из Петербурга, когда критика разругала его первую

поэму. «В беспокойном искании жизненного дела», как замечает А.Пыпин, Гоголь отправился за границу, но через месяц вернулся, объясняя поступок то Божьим провидением, то безнадежной любовью. «Его тянуло в какую-то фантастическую страну счастья и разумного производительного труда... такой страной представлялась ему Америка. На деле, вместо Америки, он попал на службу в департамент уделов»²⁷⁹.

После Гоголь ездил в Европу, угнетенный нравственными тревогами, чтобы отдохнуть под другим небом. Отъезд он рассматривал особым образом: «И нынешнее мое удаление из отечества, оно послано свыше, тем же Провидением, ниспославшим все на воспитание мое. Это великий перелом, великая эпоха моей жизни». По замечанию современника, в Петербурге он выглядел хмурым, а когда Анненков встретил его в Риме, то был «чудный, веселый, добродушный Гоголь»²⁸⁰. Он жил в Германии, Швейцарии, Франции. Узнав о смерти Пушкина, написал Погодину, что решил вообще не возвращаться в Россию: «Ты предлагаешь мне ехать к вам. Для чего? не для того ли, чтоб повторить вечную участь поэтов на родине?»

Рим стал его вторым отечеством. Впечатления Гоголя пестрят неумеренным количеством восклицательных знаков: «Что за воздух! Кажется, как потянешь носом, то по крайней мере 700 ангелов влетают в носовые ноздри!.. Верите, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше — ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были величиною с добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благоволия и весны». Это состояние в Риме писателя, работавшего над «Мертвыми душами».

Гоголь любил Италию. Как писала его приятельница Смирнова-Россет, там «его душе яснее виделась Россия». Там он был бодрым и оживленным, а в Москве сходил с ума. В письме к Данилевскому из Эмса он писал: «У меня нет теперь никаких впечатлений, и мне все равно, в Италии ли я, или в дрянном немецком городке, или хоть в Лапландии... Зато я живу весь в себе, в своих воспоминаниях, в своем народе и земле...» Но в Россию не едет: «...о России я могу писать только в Риме».

Дозволенный срок пребывания Гоголя за границей истекал, и, не желая возвращаться, писатель стал хлопотать

о новом заграничном паспорте. «Не вознегодуйте, — пишет он послание Николаю I, — что дерзаю возмущать маловременный отдых Ваш от многотрудных дел моей, может быть неуместной, просьбой... знаю, что осмеливаться Вас беспокоить подобной просьбой может только один именитый, заслуженный гражданин Вашего Государства, а я ничто: дворянин незаметнейший из ряду незаметных, чиновник, начавший было служить Вам и оставшийся поныне в 8 классе, писатель, едва означивший свое имя кое-какими незрелыми произведениями»²⁸¹.

Когда Гоголь писал это, он был уже известен в России, жил за границей и надумал совершить поездку по святым местам в Палестине. Заканчивал письмо царю Гоголь так: «...По возвращеньи моем из Святой Земли я сослужу Вам службу также верно и честно, как умели служить истинно Русские духом и сердцем. Тайный, твердый голос говорит мне, что не останусь я в долгу перед Вами, Мой Царственный Благодетель, Великодушный спаситель уже было погибавших дней моих! Двойными узами законного благоволения и вечной признательности сердца связанный с Вами вечно Верноподданный Ваш Николай Гоголь».

Пребывание в Иерусалиме не впечатлило Гоголя. Когда однажды в Назарете его застиг дождь, ему показалось, что он просто сидит в России на станции. Из Палестины через Константинополь и Одессу Гоголь вернулся в Россию. Провел он за границей двенадцать лет, более половины творческой жизни, и всегда рвался туда уехать. «С того времени, как только ступила моя нога на родную землю, мне кажется, как будто я очутился на чужбине»²⁸².

Решил уехать из России поэт и профессор греческой словесности Московского университета Владимир Печерин. Он твердил, что не может вынести душной политической атмосферы. Фальшь обязательной религии, разочарование в профессорстве и литературный тупик в стране, где «невозможно было ни говорить, ни писать, ни мыслить», подталкивали этого мечтателя и поэта бежать за тридевять земель. Может быть, его судьбу примерим для Пушкина?

Печерин решил скопить денег и стал давать уроки. Начальство долго сомневалось, выпускать ли его. Он сделался нелюдимым, а перед самым отъездом уведомил попечителя, что не вернется. Окажись Пушкин во Франции, да еще без денег, он мог бы воскликнуть, как это сделал Пе-

черин: «Теперь я свободен и легок, как птица: ни копейки в кармане и ни облачка заботы на сердце! Ведь я во Франции! Будущее мне принадлежит, путеводная звезда сияет надо мною!»²⁸³

Как сладостно отчизну ненавидеть!
И жадно ждать ее уничтоженья!
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!

Громоздкие эти стихи были написаны, как Печерин сам потом говорил, «в припадке байронизма». «Бедная страна, — говорил он о России, встретившись с Герценом, — особенно для меньшинства, получившего несчастный дар образования».

Средства у Печерина кончились. Живя в Швейцарии, он не знал, чем завтра заплатит за обед. Попечитель Московского университета граф Строганов послал ему некоторую сумму, но он от нее отказался, ибо возвращаться и не думал. При всех сладостных мечтах о свободе следовать французскому девизу: *Pain bis et Liberté!* (Черный хлеб и свобода!) — в реальности оказалось непросто.

Живя в Цюрихе, Печерин предлагал встреченным там русским вместе ехать в Америку, чтобы основать общину, свободно выпускать журнал и книги. Он считал Штаты страной, в которой каждый человек может реализовать свои возможности, но сам попал в Англию и сделался монахом иезуитского ордена. Он громко заявил: «Россия никогда не будет меня иметь своим подданным»²⁸⁴.

Прожив долго на Западе, Печерин постепенно становился все более горячим патриотом — логически замкнутый круг неуживчивого русского интеллигента. Свои записки назвал «Оправдание моей жизни» и в них писал, что отказаться от России нельзя, как невозможно отказаться от матери:

Есть народная святыня!
Есть заветный край родной!

Более удачно осуществил жизненный путь, который Пушкин примеривал на себя с юности, Федор Тютчев. Закончив учение в девятнадцать лет, Тютчев благодаря протекции родственника оказался сверхштатным чиновником

русской миссии в Мюнхене. Женится на баварской аристократке графине Ботмер, и салон Тютчевых сделался европейским культурным центром, о каком Пушкин мог только мечтать.

Печатался Тютчев и на родине, и в Европе, стал секретарем посольства в Турине. В год смерти камер-юнкера Пушкина Тютчев — уже камергер и статский советник. Вторая его жена баронесса Эрнестина Дёрнберг учила русский, чтобы понимать произведения мужа. Когда Тютчев за служебные нарушения был лишен звания камергера и отправлен в отставку, он снова поселился в Мюнхене. Двадцать два года с незначительными перерывами он провел на Западе. Вернувшись, восстановил свое положение и звания, в обществе считался не только большим поэтом, но и блестящим мыслителем.

Семнадцати лет заговорил о том, чтобы отправиться за границу Михаил Лермонтов: «На Запад, на Запад помчался бы я». Он называет умершего отца «изгнанником на родине» и размышляет о Шотландии, земле его предков, которую он считал своей, как говорят сейчас «исторической родиной»:

Стоит могила Оссиана
В горах Шотландии моей.
Летит к ней дух мой усыпленный
Родимым ветром подышать
И от могилы сей забвенной
Вторично жизнь свою занять!..²⁸⁵

«В горах Шотландии моей» копирует пушкинское «Под небом Африки моей» (V.26). В стихотворениях и в «Странном человеке» есть, как писал Б.Эйхенбаум, «намек на то, что осенью 1831 г. Лермонтов собирался уехать за границу»²⁸⁶. Отец его героя Арбенина говорит о будущей поездке в Германию. «Романс к И...» начинается по-пушкински:

Когда я унесу в чужбину
Под небо южной стороны...

Наказанный, как и Пушкин, за вольный стих, Лермонтов отправился в первую ссылку на Кавказ. Ко второй ссылке уже будет написано «Прощай, немытая Россия».

«В известном смысле, — заметил Владислав Ходасевич, — историю русской литературы можно назвать историей уничтожения русских писателей»²⁸⁷. Не знала Русь того, что Радищев называл частной вольностью, гуманисты XIX века свободой, а мы — правами человека. Однако в течение десяти лет после смерти Пушкина проблемы, связанные с выездом, несколько упростились.

Русское дворянство начало получать выездные паспорта почти без мытарств, даже декабристы отправлялись за границу. Притом всегда были исключения, или, точнее, оставался контроль: кто, куда и с какой целью отправляется. Заграница оставалась в глазах властей некоей зоной особого режима. Для отдельных выезжавших процедура превращалась в унижение, а то и в абсурд. Когда император разрешил академику Иосифу Гамелю, историку, путешественнику и инженеру, поездку по научным делам в Нью-Йорк, он начертал: «Согласен, но обязать его секретным предписанием отнюдь не сметь в Америке употреблять в пищу человеческое мясо, в чем взять с него расписку и мне представить»²⁸⁸.

С переменой царствования (т. е. после смерти Николая I) наступила льготная пора для русских путешественников, которые «высвобождены были от паспортных стеснений при отъезде, считавшихся прежде нужными для благоденствия и устойчивости порядка»²⁸⁹. Но вот вопрос: смог бы Пушкин воспользоваться новыми благами путешествий, доживи он до послаблений второй половины XIX века? Пример — отношение властей к Ивану Тургеневу.

Четыре года писателю не давали паспорта, но потом он полжизни провел за границей, стал заметным явлением западной литературы и там, «кажется, окончательно пустил корни» (его собственное выражение)²⁹⁰. «Европа единодушно дала Тургеневу первое место в современной литературе», — писал лондонский журнал «*Athenaeum*» в 1883 году. Русский классик не стал бы европейским, отгородил его от Франции. На родине же, поскольку Тургенев состоял под надзором полиции, для него, как писал Анненков, при выезде за границу «требовалось соблюдение старых порядков и ходатайство особого разрешения»²⁹¹.

В другом случае Министр внутренних дел Валуев направил в губернию совершенно секретную депешу о том, что если литератор Николай Чернышевский обратится с прошением о заграничном паспорте, оно не выдавать, а

представить на разрешение в министерство²⁹². Для поднадзорного Пушкина свобода выезда не наступила бы и после смерти Николая Павловича.

Дважды путешествовал по заграницам родственник Пушкина Лев Толстой. Вернувшись, он после обыска в Ясной Поляне приходит к мысли вообще покинуть Россию: «Я и прятаться не стану, я громко объявлю, что продаю имение, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой вперед, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут, я уеду». Типичная реакция русского интеллигента: желание уехать как следствие притеснений. В старости Лев Толстой бежал из дома — похоже, с дальним прицелом осесть на Святой земле.

Российские власти всегда параноидально боялись неконтролируемого слова. Помогали ли запреты? Временно — безусловно, помогали: отодвигались опасные публикации, отсрочивалась утечка нежелательной правды о происходившем в стране. Власти понимали, что литератор не может быть отделен от литературы изгнанием, поддерживает контакты с оппозицией.

Конечно, тайная полиция старается влиять на умы подданных и за границей, но это сложнее. Когда писатель и дипломат Иван Головин выпустил в Париже книгу, русское правительство потребовало через посольство, чтобы он немедленно вернулся. Головин возвращаться отказался, став, таким образом, политическим эмигрантом. Он получил английское подданство, но и после опасался, что его выкрадут.

И такое бывало, ведь Головин раздражал российские власти. Он написал ряд интереснейших, острых книг на французском и немецком: «Россия при Николае I», «Русский характер», «История Петра Великого», «Прогресс в России», «Российская автократия», «Русский нигилизм». Не вернулся он даже тогда, когда был прощен Александром II. Книги Головина, хотя идеи его использовались многими авторами, не переводились на русский и в XX веке. «Замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...» (VI.452) Сказано это Пушкиным о другом писателе, но применимо ко многим.

Сосредоточенный на национальном самосознании Достоевский, говоря о Пушкине, соглашался, что «стремление наше в Европу, даже со всеми увлечениями и крайно-

стями его, было не только законно и разумно в основании своем, но и народно, совпадало вполне с стремлениями самого духа народного, а в конце концов бесспорно имеет и высшую цель»²⁹³. Лучшие творческие годы Достоевский провел за границей, а самые страшные — в России. Он ездил за границу трижды: первый раз после ссылки, второй — с любовницей, третий — с женой бежал от долгов на четыре года. Когда вернулся, его поразила двуликость Петербурга, которую он до этого не замечал: сочетание европейской столицы с захолустьем.

А в романах Достоевского, наоборот: отношение писателя к теме бегства за границу негативное. Есть мнение, что такой взгляд сложился у него под влиянием внимательного чтения понадобившейся ему книги по уголовному праву. В ней говорится, что из стран Европы в Америку отправлялась лихая публика. Англия извбавлялась «разом от всех мазуриков, бродяг, отъявленных злодеев и людей позорительных»²⁹⁴.

В «Бесах» писатель рассказывает о нескольких русских, среди которых были и помещики, и офицеры. Они отправились в Америку на четыре месяца; там их били, обсчитали, они остались без работы и без средств, чтобы вернуться назад. С горем пополам они вернулись. В «Дневнике писателя» Достоевский комментирует сообщение газет о предполагаемом бегстве трех гимназистов в Америку — «изведать свободный труд в свободном государстве»²⁹⁵. Событие врезалось писателю в память, ибо два года спустя в рукописной редакции «Подростка» появился герой, который намеревается бежать в Америку. Апофеоз этих раздумий: Дмитрию Карамазову предлагает скрыться в Америку черт.

Проблема бегства из России наличествует, начиная с Карамзина, у многих русских классиков: в «Лихой болезни» у Гончарова, в «Вешних водах» у Тургенева. Стив Облонский из «Анны Карениной», не зная, куда деться от домашнего скандала, вспоминает сон: он обедал в Дармштадте, но это было в Америке, и там «столы пели» и были «маленькие графинчики, и они же женщины»²⁹⁶. Начитавшись Фенимора Купера, о бегстве в Америку пишут Чернышевский в «Что делать?», Чехов в «Мальчишках», Короленко в «Без языка».

В середине XIX века русские добирались в Париж подпольно, поскольку упоминание Франции в их паспортах из-

за страха властей перед революцией было запрещено. Через десять лет после смерти Пушкина к Анненкову в Париж приехал Александр Герцен, который решил, что «выдыхаться в вечном плаче, в сосредоточенной скорби — не есть дело. Что же мне делать в Москве?.. Тяжелая атмосфера северная сгибает в ничтожную жизнь маленьких прений, пустой траты себя словами о ненужном, ложной заменой истинного дела и слова...» Анненков вспоминает, как выслушал от Герцена юмористическую повесть об усилиях, какие потребовались ему для выезда. Получив приличное наследство, Герцен сумел (возможно, за взятки) добиться снятия полицейского надзора и выхлопотал паспорт²⁹⁷.

Трудно переоценить значение вольного русского слова за границей, того, которое запрещалось в России. Пушкину и не снились такие возможности. Герцен создал прецедент, и после запрещения журнала «Отечественные записки» Салтыков-Щедрин обсуждал идею повторить путь Герцена, уехать за границу, стать политическим беженцем и там возобновить издание «Отечественных записок» в условиях вольной русской печати.

Получается, что за граница гарантировала жизнь свободную, спокойную, творческую, а Россия нужна была писателям для несчастий. Салтыков-Щедрин сформулировал так: «У нас лучше потому, что страдают больше». Время в России менялось, становилось свободнее дышать внутри страны, необходимость эмиграции делалась менее очевидной. Но и в конце XIX — начале XX века существовала подпольная «железная дорога», по которой приходилось бежать на Запад тем, кто не мог выехать легально.

И все же мысль о том, что русским писателям лучше жить за границей, мягко говоря, спорна: эмиграция приемлема не для всех, отнюдь не всегда, и в принципе лучше, если бы писателя к этому не вынуждали. У людей искусства хорошей жизни в России никогда не было, однако не процветали они и в эмиграции, ибо оставались теми, кем их создала природа, и обращались мыслями к брошенному дому — особенно писатели, связанные пуповиной с родным языком. Балеринам и музыкантам всегда было на Западе легче, чем поэтам.

Редкие исключения только подтверждают практику. Даже Тютчев писал стихи почти только на русском, хотя

говорил по-русски менее свободно, чем по-французски или по-немецки. Набоков писал на своем странном английском, но не стал таким американским писателем, как Стейнбек, Чивер или Фолкнер.

К тому же патриотические тенденции всегда были сильны в России. Чувство меры при выражении любви к родине терялось: «Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок, — писал К.Паустовский, — я отдаю за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску...»²⁹⁸ Мотивы любви к родине объясняет Анна Ахматова в известных строках:

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Вопрос, однако же, непростой, где с народом писатель: там, где он вынужден молчать или говорить с недомолвками, или там, где может сказать о себе, о народе и правительстве то, что думает? Не потому ли ни в одной стране мира не сыщешь такого количества творческих людей, бежавших за границу. Один наш знакомый журналист составил список значительных русских писателей, умерших за пределами России, в нем оказалось 350 имен. Обязательный государственный патриотизм при наличии запертой границы сделал большинство писателей заложниками.

Воздадим должное царской власти. Кабы она была так бесчеловечна, как советская, Россия не имела бы своих классиков: Пушкина и Лермонтова сгноили бы в острогах и в ссылке, Гоголь, Чаадаев и Достоевский закончили бы дни в психушке, Герцена и Тургенева не выпустили бы за границу, и едва ли не всех лучших русских писателей запрещено было бы упоминать в печати.

В советское время окно на Запад захлопнулось, зато широко открылись ворота на Восток. Прогресс был налицо: Владимирку, историческую дорогу для зеков в Сибирь, переименовали в шоссе Энтузиастов. Но и теперь жива шутка — Литературная премия имени Солженицына: высылка из страны в 24 часа.

Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот)... (V. 133)

Пушкинская мечта «отдвинем более границ» «благому просвещенью» есть синоним свободных контактов со всем миром. Прошло меньше двух веков. Есть надежда, что великий скептик на сей раз ошибся и границы *отдвигаются*.

1983—1987, Москва,

1988—1999, Дейвис, Калифорния.

ПРИМЕЧАНИЯ

Сноски на цитаты из Пушкина приводятся в тексте. Их принято давать по Большому академическому собранию сочинений в 16-ти томах (Издательство Академии наук СССР, 1937—1949, справочный том — 1959). За полвека, прошедшие после выпуска, это важнейшее издание обросло множеством критических замечаний, поправок и дополнений, а тома комментариев остались неизданными по политическим причинам. Его ухудшенный репринт конца прошлого века — не в счет. Здесь мы ссылаемся в основном на более позднее Малое академическое издание: А.С.Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах. Издание четвертое. Под редакцией Б. В. Томашевского, «Наука», Ленинград, 1977—1979. Оно тоже устаревшее, с тенденциозным толкованием отдельных текстов, но лучшего пока нет. Римская цифра в круглых скобках означает том, арабская — страницу. Если текст цитируется по Большому академическому собранию сочинений, указывается: Б. Ак. и арабскими цифрами том и страница.

ХРОНИКА ПЕРВАЯ ИЗГНАННИК САМОВОЛЬНЫЙ

Глава первая ПУШКИН СОБИРАЕТСЯ ЗА ГРАНИЦУ

¹ Воспоминания Катенина были переданы Павлу Анненкову и опубликованы им впервые: П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. Соч. Пушкина с приложением материалов для биографии, портрета, снимков с его почерка и его рисунков, и проч. СПб., 1855. Здесь: Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 183, комментарий, с. 477.

² Ibid.

³ Примечания Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович, И. Б. Мушиной. Писатели-декабристы в восп. совр. М., 1980, т. 1, с. 445.

⁴ М. А. Цявловский. Тоска по чужбине у Пушкина. Голос минувшего, 1916, № 1. Отд. оттиск с авторской надписью, 2. VI. 1916.

⁵ Gnammanku Dieudonne. Abraham Hanibal: l'aieul noir de Pouchkine. Paris, 1996.

⁶ Н. И. Греч. Записки о моей жизни. М.—Л., 1930, с. 702.

⁷ Н. К. Телетова. Забытые родственные связи А. С. Пушкина. Л., 1981.

⁸ Ibid.

⁹ В. В. Маяковский. Мое открытие Америки. Соч. в одном томе. М., 1941, с. 217.

¹⁰ Летописи Государственного литературного музея Пушкина. Кн. 1, М., 1936, с. 447.

¹¹ Н. К. Телетова. Забытые родственные связи А. С. Пушкина. Л., 1981.

¹² П. Милюков. Очерки по истории русской культуры, ч. I. М., 1918.

¹³ Б. В. Томашевский. Пушкин и Франция. Л., 1960, с. 62.

¹⁴ Воспоминания о детстве А. С. Пушкина со слов его сестры О. С. Павлищевой. Летописи Гослитмузея. Кн. 1, М., 1936, с. 453—454.

¹⁵ Цит. по: В. Вересаев. Пушкин в жизни. М., 1936, т. 1, с. 64.

¹⁶ О. С. Павлищева в передаче П. И. Бартенева. Род и детство Пушкина. Отечественные записки, ноябрь, 1853.

¹⁷ Например, А. Попов. Пушкин и французская юмористическая поэзия XVIII века. Пушкинский историко-литературный сб. под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1914, т. 1, с. 205.

¹⁸ П. В. Анненков. Материалы для биографии. Соч. Пушкина, т. 1, СПб., 1855, с. 6.

¹⁹ В. П. Бурнашев. Из воспоминаний петербургского старожила. Заря, 1871, № 4, с. 25.

²⁰ «Протокол Лицейской годовщины», написанный самим поэтом. Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.—Л., 1935.

²¹ Высказывания Д. Шарыпкина, П. Морозова и др. Временник Пушкинской комиссии, 1970, с. 91—95.

²² С. П. Шевырев. Рассказы о Пушкине. Пушкин в восп. совр. М., 1985, т. 2, с. 49.

²³ Летописи Государственного литературного музея Пушкина. Кн. 1, с. 88.

²⁴ К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. М., 1959, т. 13, с. 603, т. 11, с. 323.

²⁵ В. Глинский. Республиканец при дворе. Исторический вестник, т. XXXIV, СПб., 1888, с. 89.

²⁶ С. Ф. Платонов. Лекции по русской истории. Изд. 7-е. СПб., 1910, с. 624.

²⁷ Ibid., с. 623.

²⁸ И. С. Тургенев. Речь по поводу открытия памятника Пушкину в Москве. Соб. соч. М., 1979, т. 12.

²⁹ Очерки по истории русской культуры. М., 1918, ч. I, с. 156—157.

³⁰ Цит. по: Г. Р. Державин. Избр. проза. М., 1984, с. 143.

³¹ Воспоминания эти приводит Я. Грот: Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Изд. 3-е. СПб., 1901, с. 246.

³² Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 119.

³³ Ibid., с. 117.

³⁴ Абрам Терц (А. Д. Синавский). Прогулки с Пушкиным. Лондон, 1975, с. 78.

³⁵ Поэты пушкинского круга. М., 1983, с. 454.

Глава вторая

«ПЕРЕСЕЛИТЬ ЕГО... В ГЕТТИНГЕН»

³⁶ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 131.

³⁷ Жуковский — Вяземскому, 19 сентября 1815. Литературное наследство. М., 1952, т. 58.

³⁸ К. Н. Батюшков. Соч. СПб., 1887, т. 3, с. 553—554.

³⁹ Пушкин. Сб. статей под редакцией А. Еголина. М., 1941, с. 29.

⁴⁰ Цит. по: Книжное обозрение, 1991, № 6, с. 5.

⁴¹ РГАЛИ, фонд 384, ед. хр. 326.

⁴² Письмо от 11 июля 1818. В книге: Письма Н. М. Карамзина И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, с. 243.

⁴³ К. Н. Батюшков. Соч. СПб., 1887, т. 3, с. 503.

⁴⁴ Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899, т. 1, с. 150.

⁴⁵ Ibid., с. 110.

- ⁴⁶ И. С. Тургенев. Новые письма Пушкина. Соб. соч. т. 12. М., 1979, с. 258.
- ⁴⁷ В. Кирпотин. Наследие Пушкина и коммунизм. М., 1936, с. 7 и 122.
- ⁴⁸ В. Непомнящий. Начало большого стихотворения. Вопросы литературы, 1982, № 6, с. 126.
- ⁴⁹ Б. Вадецкий. Федор Матюшкин. М.—Л., 1949, с. 8—9.
- ⁵⁰ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 128.

Глава третья НЕВЫЕЗДНОЙ

- ⁵¹ ИРЛИ, № 1623, л. 11.
- ⁵² Цит. по: Книжное обозрение, 1991, № 6, с. 5.
- ⁵³ Ibid.
- ⁵⁴ Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию. СПб., 1906, с. 224.
- ⁵⁵ Н. А. Рожков. Происхождение самодержавия в России. Пг., 1923, с. 101.
- ⁵⁶ С. М. Соловьев. История России с древнейших времен. М., 1959—1966, т. 5, с. 340.
- ⁵⁷ Г. Котошихин. О России в царствование Алексея Михайловича. 1666, с. 52—53.
- ⁵⁸ Ю. Крижанич. Политика. М., 1965, с. 384, 407, 482, 540.
- ⁵⁹ D. Rancour-Laferriere. Out from under Gogol's Overcoat. Ardis, 1982, p. 228.
- ⁶⁰ Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. М., 1980, с. 28.
- ⁶¹ Временник Пушкинской комиссии, 1973, с. 72.
- ⁶² Н. М. Карамзин — И. И. Дмитриеву, 30 декабря 1798. Цит. по: Н. Эйдельман. Последний летописец. М., 1983, с. 39.
- ⁶³ Проблемы истории общественных движений и историографии. Сб. М., 1971, с. 62—92.
- ⁶⁴ О романтической поэзии. Опыт в трех статьях. Ст. третья. Соч. О. Сомова. СПб., 1823, с. 87.
- ⁶⁵ И. А. Крылов. Соч. М., 1956, т. 1, с. 151.

Глава четвертая КОНФЛИКТ УМА И СЕРДЦА

- ⁶⁶ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 161.

⁶⁷ Альбом Московской Пушкинской выставки 1880 года. М., 1882, с. 45; М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 142.

⁶⁸ Ibid., с. 148.

⁶⁹ Цит. по: Пушкин. Сб. статей. М., 1941, с. 60.

⁷⁰ П. В. Анненков. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений. СПб., 1873, с. 40.

⁷¹ Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899, т. I, с. 174.

⁷² М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 143.

⁷³ Письмо полностью не опубликовано. Архив бр. Тургеневых. ИРЛИ, ф. 309, № 230.

⁷⁴ Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899, т. I, с. 117.

⁷⁵ Звенья. Сб. материалов и документов. М.—Л., 1936, т. 7, с. 195.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. М., 1980, с. 38.

⁷⁸ А. Н. Муравьев. Ответ сочинителю речи о защите права дворян на владение крестьянами. В сб.: Их веча с вольностью союз. М., 1983, с. 221.

⁷⁹ Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.—Л., 1936, с. 267.

⁸⁰ Н. И. Тургенев. Запись в дневнике 21 июня 1819. Сб.: Их веча с вольностью союз. М., 1983, с. 314.

⁸¹ Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899, т. I, с. 137.

⁸² П. В. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874, с. 137.

⁸³ Всеобщая история, обработанная «Сатириконом». СПб., 1912, с. 230.

⁸⁴ См. указания на прямые заимствования в «Руслане и Людмиле», отмеченные Б. А. Майковым: Пушкин. Изд. 2-е. СПб.—Варшава, 1912, с. 35—37.

⁸⁵ Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899, т. I, с. 200, 202.

⁸⁶ К. Н. Батюшков. Соч. СПб., 1887, т. 3, с. 555.

⁸⁷ Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899, т. I, с. 253.

⁸⁸ Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.—Л., 1936, с. 299.

⁸⁹ М. А. Цявловский. *Летопись жизни и творчества Пушкина*. М., 1951, с. 161, 182, 187.

⁹⁰ Б. Вадецкий. Федор Матюшкин. М.—Л., 1949, с. 42—43.

⁹¹ В. В. Вересаев. Пушкин в жизни. М., 1936, т. 1, с. 132.

⁹² П. А. Вяземский. Из старой записной книжки. *Русский архив*, № 11, с. 2139.

⁹³ *Невский зритель*, 1820, февраль—апрель; *Соревнователь просвещения и благотворения*, 1820, № 1—3.

⁹⁴ *Старина и новизна*, кн. 1, с. 99.

⁹⁵ Пора, наконец, нам кажется, вернуться к правильному написанию фамилии русского классика. Аргумент, что слишком много издано с ошибкой, представляется ошибочным. Между тем прапраправнучка Евгения Боратынского Katherina Boratynski, работающая вместе с нами в Калифорнийском университете, ни слова не знает по-русски, но свою фамилию пишет правильно.

⁹⁶ *Воспоминания о Тынянове*. Сб.: *Портреты и встречи*. М., 1983, с. 58.

⁹⁷ Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 221.

⁹⁸ *Русская старина*, 1887, т. 53, с. 241—242.

⁹⁹ М. Басина. На берегах Невы. Л., 1969, с. 234—235.

¹⁰⁰ М. А. Цявловский. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 45—46.

Глава пятая

КУРОРТНИК ПОНЕВОЛЕ

¹⁰¹ Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 106—107.

¹⁰² Письма Н. М. Карамзина И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, с. 290.

¹⁰³ Цит. по: М. А. Цявловский. *Летопись жизни и творчества Пушкина*. М., 1951.

¹⁰⁴ А. М. Фадеев. *Воспоминания 1790—1867*. Одесса, 1897, с. 43—44.

¹⁰⁵ Цит. по: В. Я. Рогов. *Далече от берегов Невы*. 1984, с. 45.

¹⁰⁶ М. А. Цявловский. *Летопись жизни и творчества Пушкина*. М., 1951, с. 227.

¹⁰⁷ Ю. М. Лотман. Пушкин. Биография писателя. Л., 1981, с. 57—58.

Глава шестая

КИШИНЕВ: ТРАНЗИТНЫЙ ПУНКТ

¹⁰⁸ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951.

¹⁰⁹ И. Н. Халиппа. Бессарабия до присоединения к России. Кишинев, 1914.

¹¹⁰ А. Н. Шимановский. Пушкин в Кишиневе в связи с предыдущей и последующей жизнью. Кишинев, 1900.

¹¹¹ Юбилейный сборник Кишинева. 1812—1912, с. 1.

¹¹² Цит. по: Пушкинские места в Молдавии. Кишинев, 1973, с. 9.

¹¹³ Книга, которую мы не сумели разыскать: А. Я. Стоженко. Два месяца в дороге по Бессарабии. 1829. Цит. по: И. Н. Халиппа. Город Кишинев времен жизни в нем Пушкина. Кишинев, 1899, с. 67.

¹¹⁴ Б. А. Трубецкой. Пушкин в Молдавии. Кишинев, 1983.

¹¹⁵ В. Теплов. Граф И. Каподистриа, президент Греции. Исторический очерк. СПб., 1893.

¹¹⁶ Об этом пишет свидетель И. Халиппа. Город Кишинев времен жизни в нем Пушкина. Кишинев, 1899, с. 36—37.

¹¹⁷ С. Потоцкий. Инзов. Биографические очерки. Бендеры, 1904.

¹¹⁸ Пушкин в Бессарабии. Сб. Кишинев, 1899.

¹¹⁹ М. Хазин. Твоей молвой наполнен сей предел. Кишинев, 1979, с. 155—156.

¹²⁰ Друзья Пушкина. М., 1984, т. 1, с. 229.

¹²¹ Ю. Н. Тынянов. Избр. произв. М., 1956, с. 76.

¹²² Б. А. Трубецкой. Пушкин в Молдавии. Кишинев, 1983, с. 305.

¹²³ Ю. Н. Тынянов. Пушкин и его совр. М., 1969, с. 324.

¹²⁴ Ю. Н. Тынянов. Избр. произв. М., 1956.

¹²⁵ Н. И. Греч. Записки о моей жизни. М.—Л., 1930, с. 462—463.

¹²⁶ Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1999, т. 1, с. 214.

¹²⁷ Друзья Пушкина. М., 1984, т. 2, с. 136.

¹²⁸ Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 298—299.

¹²⁹ М. А. Цявловский. Тоска по чужбине у Пушкина. Голос минувшего, 1916.

¹³⁰ М. Хазин. Твоей молвой наполнен сей предел. Кишинев, 1979, с. 177.

¹³¹ Л. С. Масевич. Из Кишинева о Пушкине. В сб. ста-

тей: В. Я. Яковлев. Отзывы о Пушкине с юга России. Одесса, 1887, с. 29.

Глава седьмая С ГРЕКАМИ В ГРЕЦИЮ

¹³² Пушкин. Статьи и материалы. Вып. I. Одесса, 1925, с. 5.

¹³³ Ю. М. Лотман. Пушкин. Биография писателя. Л., 1981.

¹³⁴ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951.

¹³⁵ Цит. по: М. Хазин. Твоей молвой наполнен сей предел. Кишинев, 1979, с. 145.

¹³⁶ И. А. Новиков. Пушкин в изгнании. М., 1985, с. 223.

¹³⁷ Воспоминания И. П. Липранди. Русский архив, 1866, с. 1481—1482.

¹³⁸ М. Хазин. Твоей молвой наполнен сей предел. Кишинев, 1979, с. 145—146.

¹³⁹ Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина. Изд. 2-е. СПб., 1910, с. 486.

¹⁴⁰ В. Н. Иванов. Александр Пушкин и его время. Хабаровск, 1985.

¹⁴¹ П. В. Анненков. *Ibid.*, 1874, с. 196—197.

¹⁴² Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 1, СПб., 1888, с. 109.

¹⁴³ В. Я. Брюсов. Летопись жизни Тютчева. Русский архив, 1903, с. 486.

Глава восьмая БЕГСТВО С ТАБОРОМ

¹⁴⁴ Пушкинский историко-литературный сборник. Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1914, т. 1.

¹⁴⁵ Пушкин. Статьи и материалы. Вып. I. Одесса, 1925.

¹⁴⁶ Материалы собраны в кн.: Б. А. Трубецкой. Пушкин в Молдавии. Кишинев, 1983.

¹⁴⁷ Л. А. Черейский. Пушкин и его окружение. Л., 1988, с. 192. Воспоминания о Кириенко и Пушкине опубликованы в «Русском обозрении», 1890, № 1—3.

¹⁴⁸ В. А. Яковлев. Отзывы о Пушкине с юга России. Сб. статей. Одесса, 1877.

¹⁴⁹ Пушкин в Бессарабии. Кишинев, 1899.

¹⁵⁰ А. Н. Шимановский. Пушкин в Кишиневе в связи с предыдущей и последующей жизнью. Кишинев, 1900.

¹⁵¹ Б. А. Трубецкой. Овидиев венец. Кишинев, 1969, с. 43.

¹⁵² Б. А. Трубецкой. Пушкин в Молдавии. Кишинев, 1983, с. 301—304.

¹⁵³ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 306.

¹⁵⁴ Новороссийский телеграф, 22 мая 1880, № 1576.

Глава девятая

НАДЕЖДА НА ВОЙНУ

¹⁵⁵ А. Н. Шимановский. Пушкин в Кишиневе в связи с предыдущей и последующей жизнью. Кишинев, 1900, с. 71—72.

¹⁵⁶ И. А. Новиков. Пушкин в изгнании. М., 1985, с. 125.

¹⁵⁷ Пушкин. Статьи и материалы. Вып. I. Одесса, 1925.

¹⁵⁸ Ю. М. Лотман. Пушкин. Биография писателя. Л., 1981.

¹⁵⁹ Пушкин. Статьи и материалы. Вып. II. Одесса, 1926, с. 8.

¹⁶⁰ Ю. Курочкин. Дело Липранди. Урал, № 6, 1973, с. 144.

¹⁶¹ Б. А. Трубецкой. Пушкин в Молдавии. Кишинев, 1983, с. 42.

¹⁶² Об этом пишет, напр., Л. Гроссман в книге: Пушкин. М., 1939.

¹⁶³ Т. Г. Цявловская. Храни меня, мой талисман. Прометей, № 10, М., 1974, с. 308.

¹⁶⁴ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951.

¹⁶⁵ Цит. по: Б. А. Трубецкой. Пушкин в Молдавии. Кишинев, 1983, с. 91.

¹⁶⁶ Бессарабия. Сб. М., 1903, с. 183.

¹⁶⁷ Е. М. Двойченко-Маркова. Заметки о Пушкине и беженцах этерии в Кишиневе. Временник Пушкинской комиссии, 1973, с. 26.

Глава десятая

ХЛОПОТЫ И ОТКАЗЫ

¹⁶⁸ Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899, т. 2, с. 257.

¹⁶⁹ Литературное наследство. М., 1952, т. 58, с. 301.

¹⁷⁰ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951.

¹⁷¹ В. А. Яковлев. Отзывы о Пушкине с юга России. Одесса, 1887, с. 151.

¹⁷² П. А. Катенин. Избр. произв. М.—Л., 1965, с. 185.

¹⁷³ Более подробный анализ см.: Пушкинский историко-литературный сборник. Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1914, т. 1.

¹⁷⁴ Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899, т. 3, с. 48 и далее.

¹⁷⁵ Эта эффектная формулировка приговора заимствована нами из статьи о Пушкине в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. СПб., 1895, т. XIVа (28), с. 724.

¹⁷⁶ Друзья Пушкина. М., 1984, т. 1, с. 494.

¹⁷⁷ Литературное наследство. М., 1935, т. 22—24, с. 23.

¹⁷⁸ Так считал, напр., Ю. М. Лотман. Пушкин. Биография писателя. Л., 1981, с. 86—87.

¹⁷⁹ Цит. по: М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 326.

¹⁸⁰ Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 356—357.

¹⁸¹ Ibid., с. 361.

¹⁸² С. Потоцкий. Инзов. Биографические очерки. Бендеры, 1904, с. 47.

¹⁸³ Государственный архив Молдовы, ф. 1, оп. 2, д. 752, л. 4—5.

¹⁸⁴ Ibid.

¹⁸⁵ Эти слова приводит без комментария М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 387.

Глава одиннадцатая

ОДЕССА: ЗА ЧЕРТУ ПОРТО-ФРАНКО

¹⁸⁶ В. А. Яковлев. Значение нашего края в жизни и деятельности Пушкина. Речь. Одесса, 1887.

¹⁸⁷ Братья Россет рассказали это П. И. Бартеневу. Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 314.

¹⁸⁸ А. В. Сухомлинов. Дом-музей Пушкина. Кишинев, 1959, с. 21—22.

¹⁸⁹ А. П. Кирпичников. Столетие Одессы. Исторический вестник. 1894.

¹⁹⁰ Пушкин в Одессе. Методические рекомендации в

помощь лектору. Одесса, 1973. См. также: Из прошлого Одессы. Сб., сост. Л. М. де Рибасом. Одесса, 1894.

¹⁹¹ Например, статья З. А. Бориневич-Бабайцевой. Пушкин в Одессе. Сб.: О. С. Пушкін в Одесі. Одесса, 1950, с. 71.

¹⁹² Пушкин на юге. Труды Пушкинской конференции Одессы и Кишинева. Кишинев, 1961.

¹⁹³ Об этом упоминает, не придавая значения, Л. Гроссман в книге: Пушкин. М., 1939, с. 285.

¹⁹⁴ И. П. Липранди. Из дневника и воспоминаний. Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 342.

¹⁹⁵ С. А. Соболевский. Миллион терзаний. М., 1991, с. 61.

¹⁹⁶ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 406.

¹⁹⁷ Русский архив, 1866, № 10, с. 1473—1474.

¹⁹⁸ С. А. Соболевский. Миллион терзаний. М., 1991, с. 74.

¹⁹⁹ Л. П. Гроссман. Пушкин. М., 1939, с. 204.

Глава двенадцатая

ПУТЯМИ КОНТРАБАНДИСТОВ

²⁰⁰ О. С. Пушкін в Одесі. Одесса, 1950, с. 76.

²⁰¹ Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина. Изд. 2-е. СПб., 1910, с. 89.

²⁰² В. В. Вересаев. Пушкин в жизни. Вып. I, М., 1936, с. 45.

²⁰³ А. Н. Вульф. Рассказы о Пушкине, записанные М. И. Семевским. Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 413.

²⁰⁴ Высказывание это приводит Л. П. Гроссман: Пушкин. М., 1939.

²⁰⁵ Н. В. Гоголь. Собр. соч. М., 1953, т. 5, с. 245.

²⁰⁶ О. О. Чижевич. Город Одесса и одесское общество в 1837—1877 гг. Из прошлого Одессы. Сб., сост. Л. М. де Рибасом. Одесса, 1894, с. 22—23.

²⁰⁷ Ibid.

²⁰⁸ Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина. Изд. 2-е. СПб., 1910, с. 97.

²⁰⁹ П. И. Бартенев со слов Веры Вяземской. Русский архив, 1888, т. 2, с. 306.

²¹⁰ Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 342.

²¹¹ Из прошлого Одессы. Одесса, 1894, с. 359.

²¹² В. Лясковский. Корсар. Горизонт. Сборник. Одесса, 1974.

²¹³ Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 338.

²¹⁴ Материалы для биографического словаря одесских знакомых Пушкина. Пушкин. Статьи и материалы. Вып. III. Одесса, 1927.

²¹⁵ Пушкин в восп. совр. Комментарий. М., 1974, т. 2, с. 510.

²¹⁶ Из прошлого Одессы. Сб., сост. Л. М. де Рибасом. Одесса, 1894.

²¹⁷ Н. В. Берг. Посмертные записки. Русская старина, 1891, № 3, с. 591.

²¹⁸ А. В. Недзведовский. Пушкинский юбилей 1937 года в Одессе. В кн.: Пушкин на юге. Кишинев, 1958, с. 348.

²¹⁹ Н. Мурзакевич. Одесская старина. Одесса, 1869, с. 33.

Глава тринадцатая ДЕНЬГИ ДЛЯ ВЫЕЗДА

²²⁰ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, т. 1, с. 127.

²²¹ На это первым обратил внимание Л. Гроссман в книге: Пушкин. М., 1939, с. 284.

²²² Ю. М. Лотман. Роман Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1983, с. 172.

²²³ Из прошлого Одессы. Сб., сост. Л. М. де Рибасом. Одесса, 1894.

²²⁴ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951.

Глава четырнадцатая ОТ ТУЧ ПОД ГОЛУБОЕ НЕБО

²²⁵ В. Ходасевич. Поэтическое хозяйство Пушкина. Л., 1924, кн. 1, с. 51—52.

²²⁶ Иван Бороздна. Поэтические очерки Украины, Одессы и Крыма. Письма в стихах к графу В. П. З. М., 1837.

²²⁷ А. И. Кирпичников. Столетие Одессы. Исторический вестник. 1894, август.

²²⁸ Л. Н. Толстой. ПСС. М., 1950, т. 35, с. 40.

²²⁹ А. Сергеенко, В. Мишин. Ibid., с. 690.

²³⁰ Из прошлого Одессы. Сб., сост. Л. М. де Рибасом. Одесса, 1894, с. 367.

²³¹ Литературные листки. 1824, с. 25.

²³² Записки Н. В. Басаргина. Деятнадцатый век. Сб., изд. П. И. Бартеневым. М., 1872, кн. 1, с. 80.

²³³ М. С. Воронцов — П. Д. Киселеву, 28 марта 1824. Литературное наследство. М., 1952, т. 58.

²³⁴ Из поздних работ на эту тему: М. Филин. Перстень верный. Литературная Россия, № 7, 17 февраля 1989.

²³⁵ Цит. по работе Т. Г. Цявловской. Храни меня, мой талисман. Прометей, М., 1974, № 10, с. 22.

²³⁶ Т. Г. Цявловская. Храни меня, мой талисман. Прометей, М., 1974, № 10, с. 359.

²³⁷ З. А. Бориневич-Бабайцева. Высылка Пушкина из Одессы (с. 272) и другие статьи в сборниках «Пушкин на юге». Труды Пушкинских конференций Одессы и Кишинева. Кишинев, 1958 и 1961.

²³⁸ Альбом Московской Пушкинской выставки 1880 года. М., 1882.

²³⁹ О. С. Пушкін в Одесі. Одесса, 1950, с. 124.

²⁴⁰ Т. Г. Цявловская. Храни меня, мой талисман. Прометей, М., 1974, № 10.

²⁴¹ Ibid.

²⁴² П. В. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874.

²⁴³ Г. Зленко. Одесские тетради. Одесса, 1980, с. 5.

²⁴⁴ Ф. Ф. Вигель. Из «Записок». Пушкин в восп. совр. М., 1885, т. 1, с. 230.

²⁴⁵ П. В. Анненков. Ibid., с. 259.

²⁴⁶ Временник Пушкинской комиссии. М.—Л., 1936, т. 2, с. 287—288.

²⁴⁷ Переписка Пушкина. М., 1982, т. 1, с. 177.

²⁴⁸ А. де Рибас. Старая Одесса. Исторические очерки и воспоминания. Одесса, 1913.

²⁴⁹ Ibid.

Глава пятнадцатая

«Я НОШУ С СОБОЮ СМЕРТЬ»

²⁵⁰ Б. В. Томашевский. Пушкин. М.—Л., 1956, кн. 1, с. 435.

²⁵¹ Пушкин. Соб. соч. М., 1959. Комментарий Т. Цявловской. т. 1, с. 612.

²⁵² Л. Н. Майков. Пушкин. Изд. 2-е. СПб.—Варшава, 1912, с. 29.

²⁵³ Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1926, т. 1, с. 314.

²⁵⁴ П. В. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874, с. 260.

- ²⁵⁵ Ibid., с. 253.
- ²⁵⁶ Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 357.
- ²⁵⁷ Из прошлого Одессы. Сб., сост. Л. М. де Рибасом. Одесса, 1894, с. 31.
- ²⁵⁸ Е. В. Петухов. Об отношениях императора Николая I и Пушкина. Речь. Юрьев, 1897.
- ²⁵⁹ По морю и суше. Одесса, 1895, № 11, с. 1—2.
- ²⁶⁰ Переписка Пушкина. М., 1982, т. 1, с. 89.
- ²⁶¹ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 485.
- ²⁶² Рукою Пушкина. М.—Л., 1935, с. 837—838.

Глава шестнадцатая ЧАС ПРОЩАНИЯ

- ²⁶³ П. И. Бартенев. Из рассказов князя П. А. и княгини В. Ф. Вяземских. Русский архив, 1888, № 7, с. 306.
- ²⁶⁴ Т. Г. Цявловская. Неясные места биографии Пушкина. Сб. Пушкин. Исследования и материалы. М.—Л., 1962, т. 4, с. 33; Прометей, М., 1974, № 10, с. 34.
- ²⁶⁵ А. О. Смирнова-Россет. Воспоминания о Жуковском и Пушкине. Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 154.
- ²⁶⁶ Т. Г. Цявловская. Храни меня, мой талисман. Прометей, М., 1974, с. 25.
- ²⁶⁷ Ibid., с. 160.
- ²⁶⁸ Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 годах. Л., 1925.
- ²⁶⁹ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, т. 1, с. 494.
- ²⁷⁰ Пушкин. ПСС. М.—Л., 1931, т. 6. Путеводитель. Хронологическая канва биографии Пушкина. Сост. М. А. Цявловский, с. 11.
- ²⁷¹ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 493.
- ²⁷² Альбом Московской Пушкинской выставки 1880 года. М., 1882.
- ²⁷³ П. В. Анненков. Ibid., с. 283.
- ²⁷⁴ Прометей, М., 1974, № 10, с. 30.
- ²⁷⁵ В. Лясковский. Корсар. В сб.: Горизонт. Одесса, 1974.
- ²⁷⁶ Л. П. Гроссман. Пушкин. М., 1939.
- ²⁷⁷ Л. Берловская в сб.: Одесский год Пушкина. Одесса, 1973, с. 8.
- ²⁷⁸ Пушкин об искусстве. М., 1990, т. 1, с. 73.

- ²⁷⁹ Одесский год Пушкина. Одесса, 1973, с. 12.
- ²⁸⁰ Рукою Пушкина. М.—Л., 1935, с. 636.
- ²⁸¹ М. Цветаева. Сочинения. М., 1980, т. 2, с. 360.
- ²⁸² Пушкин. Статьи и материалы. Вып. II. Одесса, 1926, с. 93.
- ²⁸³ Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина. Изд. 2-е. СПб., 1910, с. 446.
- ²⁸⁴ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 560.
- ²⁸⁵ Л. М. Аринштейн. К истории высылки Пушкина из Одессы. В сб.: Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1982, с. 288.
- ²⁸⁶ А. Л. Вейнберг. Граф Воронцов о Пушкине. Московский пушкинист. Вып. II. М., 1930, с. 55—58. Подлинник по-фр.
- ²⁸⁷ Русский архив, 1901, № 6, с. 187.
- ²⁸⁸ Пушкин. Статьи и материалы. Вып. I. Одесса, 1925, с. 49.
- ²⁸⁹ Об этом мечтательно пишет в биографии поэта Л. П. Гроссман. Пушкин. М., 1939, с. 310.
- ²⁹⁰ И. А. Крылов. Сочинения. М., 1984, т. 1, с. 161.

ХРОНИКА ВТОРАЯ

ДОСЬЕ БЕГЛЕЦА

Глава первая

МИХАЙЛОВСКОЕ: УГОВОР С БРАТОМ

¹ Ю. М. Лотман. Пушкин. Биография писателя. Л., 1981, с. 112.

² Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899, т. 3, с. 74.

³ М. А. Цявловский. Тоска по чужбине у Пушкина. Голос минувшего, 1916, с. 36.

⁴ Несколько слов о Пушкине. Псковские губернские ведомости, 1868, № 10.

⁵ Русская старина, 1908, октябрь, с. 111—112.

⁶ Псковские губернские ведомости, 1868, № 10.

⁷ Соболевский, друг Пушкина. Со статьей В. И. Саитова. Пг., 1922.

⁸ Рукою Пушкина. М.—Л., 1935, с. 304—305.

⁹ В. И. Чернышев. Пушкинский уголок. Известия Гос. рус. геогр. общества, 1928, т. 10, с. 353.

¹⁰ Русский архив, 1872, с. 2360—2361.

¹¹ Звенья. Сб. материалов. 1936, т. 6, с. 149.

¹² Ал. Виков. Письма П. Я. Чаадаева из-за границы брату, 1823—1825. Записки общества истории, филологии и права при Варшавском университете. 1912, вып. VI, с. 168—169.

Глава вторая

СЛУГА НЕПОКОРНЫЙ

¹³ П. В. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874, с. 283.

¹⁴ Друзья Пушкина. М., 1984, т. 2, с. 200.

¹⁵ П. В. Анненков. Ibid., с. 287.

¹⁶ Е. В. Петухов. Пушкинский сб. Императорского Юрьевского университета. Юрьев, 1982, с. 9.

¹⁷ А. Н. Вульф. Рассказы о Пушкине, записанные М. И. Семеновским. Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 414.

¹⁸ П. Мериме. Новеллы. М., 1953, с. 529.

¹⁹ А. Н. Вульф. Ibid., с. 414.

²⁰ Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. М., 1980, с. 30, 35.

²¹ И. И. Пущин. Записки о Пушкине, письма. М., 1956, с. 82.

²² Ibid., с. 88.

²³ Г. Дейч. По следам утерянной переписки. Ленинградская правда, 6 июня 1986.

Глава третья

ЛЕГАЛЬНО, ДЛЯ ОПЕРАЦИИ

²⁴ С. М. Бонди. Подлинный текст и политическое содержание «Воображаемого разговора с Александром I». Литературное наследство. М., 1952, т. 58, с. 191.

²⁵ Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1926, т. 1, с. 431.

²⁶ Ibid., с. 574.

²⁷ Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1926, т. 1, с. 447.

²⁸ В. В. Вересаев. Пушкин в жизни. М.—Л., 1936, с. 275.

²⁹ Н. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. М., 1959, с. 96.

- ³⁰ Н. И. Пирогов. Соч. СПб., 1887, т. 2, с. 136.
- ³¹ П. В. Анненков. *Ibid.*, с. 287—288.
- ³² *Ibid.*, с. 288—289.
- ³³ Эта приписка опущена в Полном академическом собрании сочинений в десяти томах. См.: Б. Ак. 13, 163.
- ³⁴ Русский архив, 1870, № 6.
- ³⁵ ЦГВИА, ф. 35, оп. 2/243, д. III, л. 3 и об. Оригинал на фр.
- ³⁶ Советские архивы, 1977, № 2, с. 85.
- ³⁷ *Ibid.*, с. 82.
- ³⁸ П. В. Анненков. *Ibid.*, с. 294.
- ³⁹ Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина. СПб., 1910, с. 119.
- ⁴⁰ Псковские губернские ведомости, 1868, № 10, с. 68.
- ⁴¹ И. А. Крылов. Соч. М., 1956, т. 1, с. 174.

Глава четвертая

ЗАГОВОР С ТИРАНСТВОМ

- ⁴² С. А. Соболевский. Миллион сочувствий. М., 1991, с. 88.
- ⁴³ Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 гг. Л., 1925, с. 52.
- ⁴⁴ В. В. Вересаев. Спутники Пушкина. М., 1993, с. 359.
- ⁴⁵ Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 398.
- ⁴⁶ П. В. Анненков. *Ibid.*, с. 283.
- ⁴⁷ Пушкин и его современники. Л., 1930, вып. VIII, с. 86.
- ⁴⁸ В. В. Вересаев. Об автобиографичности Пушкина. Печать и революция, 1925, кн. 5—6, с. 41.
- ⁴⁹ Б. В. Томашевский. Пушкин и итальянская опера. Пушкин и его совр. Л., 1930, вып. VIII, с. 50.
- ⁵⁰ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 570.
- ⁵¹ В. Я. Смирнов. Жизнь и поэмы Н. М. Языкова. Критико-биографическое исследование. Пермь, 1900, с. 120.
- ⁵² Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни. СПб., 1913, с. 196.
- ⁵³ *Ibid.*, с. 261.
- ⁵⁴ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 641.
- ⁵⁵ А. Роспопов. Русская старина, 1876, № 15, с. 466.
- ⁵⁶ Цит. по ст. Н. Скатова. Прекрасен наш союз. Пушкинист. Сб. Пушкинской комиссии. М., 1989, с. 243.
- ⁵⁷ И. А. Новиков. Пушкин в изгнании. М., 1985, с. 682—683.

Глава пятая

ПРОШЕНИЕ ЗА ПРОШЕНИЕМ

⁵⁸ Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1926, т. 1, с. 520. Здесь ссылка на работу: A. Hasselblatt und G. Otto. Album Academicum der Kais. Univ. Dorpat. 1896, S. 43, N. 622

⁵⁹ I. Brenson. Die Aerzte Livlands. Mitau, 1905, S. 342.

⁶⁰ Das Inland. Eine Wochenschrift für Liv—Esth—und Kurlands Gesch., Geogr., Stat. und Liter. Jahrgang 1837, № 12, 24 März, S. 212.

⁶¹ Письмо А. П. Керн от апреля—мая 1859 г. в кн.: А. П. Керн. Воспоминания, дневники, переписка. М., 1989, с. 333.

⁶² Комментарий Б. Л. Модзалевского в кн.: Пушкин. Письма. М.—Л., 1926, т. 1, с. 463.

⁶³ Журнал «Даугава», Рига, 1985, № 9, с. 77—78.

⁶⁴ ЦГВИА, Дела Канцелярии Главного штаба Его Императорского Величества, ф. 35, оп. 2/243, д. III, л. 11.

⁶⁵ Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899, т. 5, вып. I, с. 56—57.

⁶⁶ ЦГВИА, Дела Канцелярии Главного штаба Его Императорского Величества, ф. 35, оп. 2/243, д. III, л. 10. Оригиналы обоих писем на фр.

Глава шестая

«ЧТО МНЕ В РОССИИ ДЕЛАТЬ?»

⁶⁷ И. А. Новиков. Пушкин в изгнании. М., 1985, с. 715.

⁶⁸ П. В. Анненков. Ibid.; Ю. Айхенвальд. Дон-Кихот на русской почве. Chalidze Publications, NY, 1982, vol. I, p. 42.

⁶⁹ С. А. Соболевский. Таинственные приметы в жизни Пушкина. Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 7.

⁷⁰ И. Фейнберг. Читая тетради Пушкина. М., 1985.

⁷¹ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 659.

⁷² Ю. Н. Тынянов. Кюхля. Глава «Побег», с. 211—236. В кн.: Избр. произв. М., 1956.

⁷³ Цит. по: Б. Вадецкий. Федор Матюшкин. М.—Л., 1949, с. 17.

⁷⁴ М. А. Бестужев. Мои тюрьмы. В сб.: Писатели-декабристы в восп. совр. М., 1980, т. 1, с. 73.

⁷⁵ Барон А. Е. Розен. Записки декабриста. В сб.: Писатели-декабристы в восп. совр. М., 1980, т. 1, с. 159.

⁷⁶ Письма Языкова к родным за дерптский период его жизни. СПб., 1913, с. 243.

Глава седьмая НА ПРИВЯЗИ

⁷⁷ В кн.: М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951.

⁷⁸ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 688.

⁷⁹ Цит. по: Н. Я. Эйдельман. Пушкин и его друзья под тайным надзором. Вопросы литературы, 1985, № 2, с. 132.

⁸⁰ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 712, по-фр.

⁸¹ А. Покровский. Следствие над декабристами. В кн.: Восстание декабристов. Материалы. М.—Л., 1925—29, т. 1, с. 18.

⁸² Книга К. Х. Бенкендорфа издана в Петербурге в 1879 году, экземпляр имеется в Российской государственной библиотеке.

⁸³ Фраза русского царя, высказанная послу Н. Пальмшерну, приводится в книге: A. Wellington. Despatches, Correspondence, and Memoranda. Vol. III. London, 1860, p. 152.

⁸⁴ Интересно, что это цитировал советский вузовский учебник «История СССР XIX века». М., 1983, с. 161.

⁸⁵ Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1928, т. 2, с. 157.

⁸⁶ Л. Гроссман. Пушкин. М., 1939, с. 363.

⁸⁷ Н. Д. Дубровин. П. Я. Чаадаев. Материалы для его биографии. Русская старина, декабрь, 1900, с. 586.

⁸⁸ Архив братьев Тургеневых. Пушкинский дом, фонд 309.

⁸⁹ Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского, М.—Л., 1928, т. 2, с. 157.

⁹⁰ П. В. Анненков. Ibid., с. 321.

Глава восьмая МОСКВА: «ВОТ ВАМ НОВЫЙ ПУШКИН»

⁹¹ М. А. Корф. Записки. Русская старина, 1900, т. 101, с. 574; В. В. Вересаев. Пушкин в жизни. Минск, 1986, с. 25.

Пушкин в восп. совр. Изд. 1-е. М., 1974, т. 1, с. 122. Изд. 2-е. М., 1985.

⁹² Описание Санкт-Петербурга Ив. Пушкарева. СПб., 1839, с. 1.

⁹³ Многочисленные источники на эту тему собраны в кн.: Г. А. Невелев. Истина сильнее царя. М., 1985, с. 101—102.

⁹⁴ Е. В. Петухов. Об отношениях императора Николая I и А. С. Пушкина. Юрьев, 1897, с. 1—2.

⁹⁵ Рассказы о Пушкине. Изд. М. и С. Сабашниковых. М., 1925, с. 34.

⁹⁶ См. также аргументы Д. Д. Благого: Творческий путь Пушкина. М., 1967, с. 29, 674. Первоисточник всех предположений — воспоминания А. П. Пятковского «Пушкин в Кремлевском дворце». Русская старина, 1880, т. 27, с. 674. Пятковскому высказал мнение брат поэта Веневитинова.

⁹⁷ См.: Е. А. Маймин. Пушкин. Жизнь и творчество. М., 1981, с. 110.

⁹⁸ С. Н. Булгаков. Жребий Пушкина. Наше наследие, 1989, с. 345.

⁹⁹ Слова брата Пушкина записал Н. И. Лорер. Записки декабриста. М., 1931, с. 200.

Глава девятая ПОХМЕЛЬЕ ПОСЛЕ СЛАВЫ

¹⁰⁰ Воспоминания С. А. Соболевского. «Русский», газета политическая и литературная. 1867, л. 7—8, с. 111.

¹⁰¹ Архив братьев Тургеневых. Вып. VI. Пг., 1921, с. 42—43.

¹⁰² Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 363—364.

¹⁰³ Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1928, т. 2, с. 208—209.

¹⁰⁴ П. В. Анненков. Ibid., с. 83.

¹⁰⁵ Ibid., с. 85.

¹⁰⁶ Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 463.

¹⁰⁷ Пушкин. Сб. статей. Под ред. А. Еголина. М., 1941, с. 51.

¹⁰⁸ В. В. Ермилов. Наш Пушкин. М., 1949, с. 16, 18, 19.

¹⁰⁹ П. А. Вяземский. ПСС. СПб., 1878, т. 1, с. 321.

¹¹⁰ Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 89—90.

¹¹¹ А. Н. Радищев. ПСС. М.—Л., 1952, т. 1, с. 7—8.

¹¹² П. И. Першин-Караксарский. Воспоминания о декабристах. В сб.: В потомках ваше имя оживет. Иркутск, 1986, с. 138.

¹¹³ Ю. М. Лотман. Пушкин. Биография писателя. Л., 1981, с. 176.

¹¹⁴ Неизданные места из записок И. И. Пущина. Полярная звезда, 1861, с. 113.

¹¹⁵ П. А. Вяземский — В. А. Жуковскому. Март, 1826. Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899.

¹¹⁶ Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 222.

¹¹⁷ 1917 год в документах и материалах. Буржуазия накануне Февральской революции. Изд. Б. Б. Граве. М.—Л., 1927, с. 61.

¹¹⁸ Ю. М. Лотман. Пушкин. Биография писателя. Л., 1981, с. 126.

¹¹⁹ И. С. Тургенев. ПСС. М.—Л., 1968, т. XV, с. 68.

¹²⁰ А. И. Дельвиг. Из «Моих воспоминаний». Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 117.

¹²¹ Это отмечает Ю. Н. Тынянов. Пушкин и его совр. М., 1968, с. 307.

¹²² Ibid., с. 281.

¹²³ Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888, кн. 2, с. 253, по-фр.

Глава десятая

НОВАЯ СТАРАЯ СТРАТЕГИЯ

¹²⁴ Д. -Г. Байрон. Соб. соч. М., 1981, т. 1, с. 567.

¹²⁵ П. И. Бартенев. Русский архив, 1874, т. 2, с. 703.

¹²⁶ Цит. по: Б. Л. Модзалевский. Пушкин. Л., 1929, с. 375, по-фр.

¹²⁷ Б. В. Томашевский. Пушкин. М.—Л., 1962, кн. 2, с. 385.

¹²⁸ О. Демиховская, К. Демиховский. Тайный враг Пушкина. Русская литература, 1963, № 3, с. 85—89.

¹²⁹ К. Н. Батюшков. Избр. соч. М., 1986, с. 444, 448.

¹³⁰ Ф. Ф. Вигель. Из «Записок». Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 229—230.

¹³¹ Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888, кн. 2, с. 63—64.

¹³² РГАЛИ, ф. 450, ед. хр. 43.

¹³³ Пушкин и его совр. Л., 1927, вып. XXXI—XXXII, с. 38.

¹³⁴ Б. Ак. 13. 329.

¹³⁵ М. Я. фон Фок, донесение А. Х. Бенкендорфу. Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайным надзором. Л., 1925, с. 40.

¹³⁶ Исторический вестник, 1886, № 3, с. 552.

¹³⁷ Соболевский, друг Пушкина. Со статьей В. И. Саитова. Пг., 1922, с. 39.

¹³⁸ П. Я. Чаадаев. Полн. соб. соч. и избр. писем. М., 1991, т. 2, с. 66.

Глава одиннадцатая НЕОТМЕЧЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ

¹³⁹ П. Л. Яковлев — А. Е. Измайлову, 21 марта 1827. В кн.: Сборник памяти Л. Н. Измайлова. СПб., 1902, с. 249.

¹⁴⁰ А. П. Керн. Воспоминания, дневники, переписка. М., 1989, с. 39.

¹⁴¹ А. А. Скальковский. В кн.: Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 392.

¹⁴² Цит. по: Т. Г. Цявловская. Не Ленский, а Туманский. Пушкинский праздник. 4—9 июня 1976, с. 21.

¹⁴³ А. Н. Вульф. Из дневника. Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 421.

¹⁴⁴ Н. К. Шильдер. Император Николай I, его жизнь и царствование. СПб., 1903, т. 1, с. 342.

¹⁴⁵ Русский архив, 1877, т. 1, № 4, с. 513—514.

¹⁴⁶ Исторический вестник, 1883, № 12, с. 536.

¹⁴⁷ Воспоминания о Тынянове. Сб. М., 1983, с. 281.

¹⁴⁸ В. Гаевский. Празднование лицейских годовщин. Отечественные записки, 1861, т. 139, с. 36.

¹⁴⁹ Разговоры Пушкина. М., 1939, с. 138.

¹⁵⁰ П. И. Бартенев. Русский архив, 1888, т. 3, с. 468.

¹⁵¹ Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 246; Звенья, т. 4, М.—Л., 1936, с. 198.

Глава двенадцатая В АРМИЮ ИЛИ В ПАРИЖ

¹⁵² Н. В. Путята. Записные книжки. Русский архив, 1899, т. 2, с. 350.

¹⁵³ Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина. Изд. 2-е. СПб., 1910.

¹⁵⁴ П. А. Муханов — М. П. Погодину, 11 августа 1828 г. Цит. по: Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888, кн. 2, с. 185.

- ¹⁵⁵ М. П. Алексеев. Английский язык в России. Ученые записки ЛГУ, вып. IX, 1944, с. 102—106.
- ¹⁵⁶ Исторический вестник, 1883, № 12, с. 527.
- ¹⁵⁷ П. А. Вяземский — А. И. Тургеневу, 18 апреля 1828 года. Переписка А. И. Тургенева с кн. П. А. Вяземским. Пг., 1921, т. 1, с. 70—71.
- ¹⁵⁸ А. И. Герцен. Соб. соч. М., 1956, т. 7, с. 207.
- ¹⁵⁹ Друзья Пушкина. М., 1984, т. 1, с. 245.
- ¹⁶⁰ Русский вестник, 1865, ноябрь, с. 367.
- ¹⁶¹ И. К. Ениколопов. Пушкин в Грузии. Тбилиси, 1950, с. 34.
- ¹⁶² Временник Пушкинской комиссии, 1980, с. 111.
- ¹⁶³ Литературное наследство. М., 1952, т. 58, с. 76.
- ¹⁶⁴ Ibid., с. 14.
- ¹⁶⁵ Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1928, т. 2, с. 48.
- ¹⁶⁶ М. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. Изд. 2-е. СПб., 1909, с. 487.
- ¹⁶⁷ Русский архив, 1901, т. 3, с. 142.
- ¹⁶⁸ В. В. Вересаев. Пушкин в жизни. М.—Л., 1936, с. 390.
- ¹⁶⁹ П. А. Вяземский — А. И. Тургеневу, 25 февраля—12 марта 1827. Литературное наследство. М., 1952, т. 58, с. 63.
- ¹⁷⁰ Переписка А. И. Тургенева с кн. П. А. Вяземским 1814—1837. Пг., 1921, с. 68—69.
- ¹⁷¹ Ibid., с. 71—72.
- ¹⁷² Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1928, т. 2, с. 50.
- ¹⁷³ Ibid., с. 287.
- ¹⁷⁴ Ibid., с. 288—289.
- ¹⁷⁵ Переписка А. И. Тургенева с кн. П. А. Вяземским. Пг., 1921, вып. VI, с. 70—71.
- ¹⁷⁶ П. А. Вяземский. Старая записная книжка. Л., 1929, с. 337.
- ¹⁷⁷ Звенья. Сб. материалов и документов. М.—Л., 1936, т. 6, с. 199, по-фр.

Глава тринадцатая «ЧЕСТЬ ИМЕЮ ДОНЕСТИ»

- ¹⁷⁸ Б. Л. Модзалевский. Пушкин под тайным надзором. Изд. 3-е. Л., 1925, с. 6.
- ¹⁷⁹ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 43.
- ¹⁸⁰ Б. Л. Модзалевский. Ibid., 1925, с. 36.

- ¹⁸¹ МВД. Исторический очерк. СПб., 1901, с. 100.
- ¹⁸² М. А. Дмитриев. Воспоминания. Рукописный отдел РГБ, шифр 818412, с. 211.
- ¹⁸³ И. И. Пущин. Записки о Пушкине, письма. М., 1956, с. 75.
- ¹⁸⁴ М. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. Изд. 2-е. СПб., 1909, с. 135. Здесь ссылка на «Северную пчелу», 1854, № 175.
- ¹⁸⁵ Ibid., с. 467.
- ¹⁸⁶ На это обратил внимание И. И. Панаев: Литературные воспоминания. ПСС. СПб., 1888, т. 4, с. 40—42.
- ¹⁸⁷ И. И. Горбачевский. Записки декабриста. М., 1916, с. 300.
- ¹⁸⁸ Н. Я. Эйдельман. Пушкин: история и современность в художественном сознании поэта. М., 1984, с. 118.
- ¹⁸⁹ В. В. Вересаев. Спутники Пушкина. М., 1993, с. 146.
- ¹⁹⁰ Ю. М. Лотман. Пушкин. Биография писателя. Л., 1981, с. 149.
- ¹⁹¹ А. Х. Бенкендорф. Донесение Николаю I 12 июля 1827. Старина и новизна, т. 6, с. 6, по-фр.
- ¹⁹² С. П. Шевырев. Рассказы о Пушкине. Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 40.
- ¹⁹³ Русская старина, 1874, № 2, с. 392—399.
- ¹⁹⁴ М. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. Изд. 2-е. СПб., 1909, с. 491.
- ¹⁹⁵ Н. В. Путья. Из записной книжки. Русский архив, 1899, т. 1, с. 351.
- ¹⁹⁶ П. В. Анненков. Ibid., с. 53.
- ¹⁹⁷ М. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. Изд. 2-е. СПб., 1909, с. 491.
- ¹⁹⁸ Литературное наследство. М, 1952, т. 58, с. 16.

Глава четырнадцатая ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО

- ¹⁹⁹ Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым. Л., 1925, с. 49.
- ²⁰⁰ Воспоминания Ф. М. Деларю. В кн.: Альбом Московской Пушкинской выставки 1880 г. М., 1882, с. 156.
- ²⁰¹ С. П. Шевырев. Рассказы о Пушкине. В кн.: Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 39.
- ²⁰² Записки А. О. Смирновой. СПб., 1895, с. 33.
- ²⁰³ Л. Павлищев. Воспоминания об А. С. Пушкине. М., 1890, с. 97.

²⁰⁴ К. А. Полевой. Записки. Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 62.

²⁰⁵ Русский библиофил, 1911, № 5, с. 34.

²⁰⁶ Уже цитированное Литературное наследство. М., 1952, т. 58.

²⁰⁷ Протокол заседания комиссии. Секретно. Дела III отделения собственной Е. И. В. канцелярии об А. С. Пушкине. СПб., 1906, с. 343.

²⁰⁸ Копию письма сделал А. Н. Бахметев, зять П. А. Толстого, ведшего расследование дела. Об этом: В. П. Гурьянов. Письмо Пушкина о «Гавриладице». Пушкин. Исследования и материалы, т. 8, с. 287—288.

²⁰⁹ А. Н. Вульф. Дневник, 4—5 октября 1828 года. Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 417.

²¹⁰ Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина. М., 1967, с. 180.

²¹¹ Н. В. Измайлов. Из истории Пушкинского текста «Анчар, древо яда». Пушкин и его совр. Л., 1927, вып. XXXI—XXXII, с. 3—14.

²¹² Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина. М., 1967, с. 189—190.

²¹³ В. В. Виноградов. Стиль Пушкина. М., 1941, с. 422—426. А также: О стиле Пушкина. Литературное наследство. М., 1934, т. 16—18, с. 143—148.

²¹⁴ Е. А. Маймин. Пушкин. Жизнь и творчество. М., 1984, с. 118.

²¹⁵ Словарь языка Пушкина. М., 1961, т. 4, с. 1030.

²¹⁶ Разные варианты, кроме полных соб. соч. (X. 509 и Б. Ак. 14. 266), см.: Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1928, т. 2, с. 56 с пропусками и ошибками; Пушкин. Соб. соч. М., 1962, т. 9, с. 386.

²¹⁷ Например: Е. А. Маймин. Пушкин. Жизнь и творчество. М., 1984, с. 118.

²¹⁸ Соч. Пушкина. Переписка. Под ред. и с прим. В. И. Саитова. СПб., 1908, т. 2, с. 77.

²¹⁹ Н. А. Муханов. Дневник. Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 182.

Глава пятнадцатая НЕ СОВСЕМ ТАЙНЫЙ ОТЪЕЗД

²²⁰ А. П. Керн. Воспоминания, дневники, переписка. М., 1989, с. 46.

- ²²¹ Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1928, т. 2, с. 243.
- ²²² Литературное наследство. М., 1952, т. 58, с. 16.
- ²²³ Ibid., с. 89.
- ²²⁴ В. В. Кунин. Жизнь Пушкина. М., 1987, с. 147.
- ²²⁵ Ibid., с. 149.
- ²²⁶ Г. А. Невелев. Истина сильнее царя. М., 1985, с. 53.
- ²²⁷ Литературное наследство. М., 1952, т. 58, с. 91.
- ²²⁸ Московский телеграф, 1830, № 12.
- ²²⁹ Соч. Пушкина под ред. Ефремова. 1903, т. 7, с. 677.
- ²³⁰ Цит. по: М. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. Изд. 2-е. СПб., 1909, с. 493.
- ²³¹ В. В. Кунин. Соболевский. В кн.: Друзья Пушкина. М., 1984, т. 2, с. 283.
- ²³² Русский архив, 1906, т. 3, с. 567.
- ²³³ Цит. по: Н. М. Волович. Пушкинские места Москвы и Подмосковья. М., 1979, с. 91.
- ²³⁴ Русский архив, 1899, № 6, с. 356.
- ²³⁵ Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1928, т. 2, с. 356.
- ²³⁶ Л. А. Черейский. Пушкин и его окружение. Изд. 2-е. Л., 1988, с. 522.
- ²³⁷ И. К. Ениколопов. Пушкин в Грузии и под Эрзерумом. Тбилиси, 1975, с. 31.
- ²³⁸ Предисловие в кн.: Письма и дневник А. И. Тургенева геттингенского периода. СПб., 1911.
- ²³⁹ Ibid., с. 11.
- ²⁴⁰ Архив Раевских. СПб., 1908, т. 1, с. 441—442.
- ²⁴¹ М. О. Гершензон. Статьи о Пушкине. М., 1926, с. 59.
- ²⁴² Литературный архив, М.—Л., 1938, т. 1, с. 5.
- ²⁴³ Русский архив, 1901, т. 3, с. 298.
- ²⁴⁴ Ibid.
- ²⁴⁵ А. Э. Одынец — Ю. Корсаку, 9—21 мая 1829 года. Цит. по: В. В. Вересаев. Пушкин в жизни. М., 1936, с. 330—331.
- ²⁴⁶ Литературное наследство. М., 1952, т. 58, с. 89—90.
- ²⁴⁷ Ibid., с. 88.
- ²⁴⁸ Т. Г. Цявловская. Храни меня, мой талисман. Прометей, М., 1974, № 10, с. 68.
- ²⁴⁹ Ю. Н. Тынянов. О «Путешествии в Арзрум». Пушкин и его совр. М., 1968, с. 193.

Глава шестнадцатая
КАВКАЗ: ПЕРЕХОД ГРАНИЦЫ

²⁵⁰ Н. Муравьев. Записки. Рукопись. Гос. центр. архив Грузии, ф. 2, № 9202.

²⁵¹ Записки А. П. Ермолова. М., 1868, ч. 2, с. 130, 162.

²⁵² Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899, т. 2, с. 275.

²⁵³ В. В. Кунин. Жизнь Пушкина. М., 1987, т. 2, с. 154.

²⁵⁴ И. К. Ениколопов. Пушкин в Грузии и под Эрзерумом. Тбилиси, 1975, с. 47.

²⁵⁵ Цит. по: З. А. Каменский. Урок Чаадаева. Вопросы философии, 1986, с. 139.

²⁵⁶ Любопытно об этих планах — в ставшей раритетом книге Исарлова: Письма о Грузии. Тифлис, 1899, с. 15.

²⁵⁷ К. Черный. Кавказ подо мною. Ставрополь, 1965, с. 62.

²⁵⁸ Кавказская поминка о Пушкине. Издание редакции газеты «Кавказ». Тифлис, 1899, с. 118.

²⁵⁹ Н. И. Ушаков. История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах. Изд. 2-е. Варшава, 1843, с. 303.

²⁶⁰ А. С. Гангеблов. Воспоминания декабриста. М., 1888, с. 187—188.

²⁶¹ Л. Гроссман. Пушкин. М., 1939, с. 435.

²⁶² Цит. по: К. Черный. Кавказ подо мною. Ставрополь, 1965, с. 126.

Глава семнадцатая
«ЖАЛЬ МОИХ ПОКИНУТЫХ ЦЕПЕЙ»

²⁶³ Ю. Н. Тынянов. Избр. произв. М., 1956, с. 122.

²⁶⁴ А. С. Грибоедов. Соч. М., 1971, с. 294.

²⁶⁵ И. К. Ениколопов. Пушкин в Грузии. Тбилиси, 1950, с. 93.

²⁶⁶ М. М. Щербатов. Генерал-фельдмаршал кн. Паскевич. СПб., 1888—1894, т. 3, с. 198—199.

²⁶⁷ Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина. Изд. 2-е. СПб., 1910, с. 185.

²⁶⁸ М. А. Корф. Записка о Пушкине. Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 122.

²⁶⁹ Акты Кавказской археолог. экспедиции, т. 7, с. 954.

²⁷⁰ Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1928, т. 2, с. 345.

²⁷¹ Н. Б. Потокский. Встречи с Пушкиным в 1824 и 1829 годах. Русская старина, 1880, № 7, с. 583.

²⁷² Известия Отделения русского языка и словесности, 1896, т. 1, кн. 1, с. 106.

²⁷³ Дела III отделения собственной Е. И. В. канцелярии о А. С. Пушкине. СПб., 1906, с. 91. На фр.

²⁷⁴ Русский архив, 1899, т. 2, с. 351.

²⁷⁵ И. К. Ениколопов. Пушкин в Грузии и под Эрзерумом. Тбилиси, 1975, с. 156.

²⁷⁶ М. В. Юзефович. Воспоминания о Пушкине. Русский архив, 1880, т. 3, с. 435.

²⁷⁷ Т. И. Орнатская. От «Путешествия в Арзрум» к «Фрегату «Паллада». Болдинские чтения. Горький, 1981, с. 156.

²⁷⁸ Г. П. Макогоненко. Творчество Пушкина в 30-е годы. Л., 1982, с. 321.

²⁷⁹ Напр.: И. К. Ениколопов. Пушкин в Грузии и под Эрзерумом. Тбилиси, 1975.

²⁸⁰ А. П. Семенов. Пушкин на Кавказе. Пятигорск, 1937.

²⁸¹ Е. А. Маймин. Пушкин. Жизнь и творчество. М., 1981, с. 132.

²⁸² Voyages en Orient entrepris par ordre du Gouvernement Francais. Paris, 1834. — Путешествия на Восток, предпринятые по заданию французского правительства.

²⁸³ Временник Пушкинской комиссии, 1964, с. 37.

²⁸⁴ Б. Л. Модзалевский. Поездка в Тригорское. Пушкин и его современники. СПб., 1903, вып. I, с. 86.

ХРОНИКА ТРЕТЬЯ

СМЕРТЬ ИЗГОЯ

Глава первая

«ПОЕДЕМ, Я ГОТОВ...»

¹ П. П. Свињин. Опыт живописного путешествия по Северной Америке. Изд. 2-е. СПб., тип. Крайя, 1818.

² П. П. Свињин. Взгляд на республику Соединенных Американских областей. Сын отечества, 1814, ч. 17, № 45, с. 268.

³ Дело об установлении автора письма об условиях жизни переселенцев в Америку. Первая экспедиция Третьего отделения собственной Е. И. В. Канцелярии, 1829. Госархив РФ, ф. 109, е. х. 435, здесь и далее л. 13—18.

⁴ Б. Л. Модзалевский. Пушкин и его совр. М., 1999, с. 72, 106.

⁵ Пушкин. Письма под ред. Б. Л. Модзалевского, М.—Л., 1928, т. 2, с. 345.

⁶ Перевод несколько не уступает оригиналу. Вот это место у Саути:

... Venerable Powers!

Hearkian your hymn of praise! Tho' from your rites

Estrangled, and exiled from your altars long,

I have not ceased to love you, Household Gods!

In many a long and melancholy hour

Of solitude and sorrow, has my heart

With earnest longings preyed to rest at length

Beside your hallowed hearth — for Peace is there!

(Robert Southey. Poems 1797. Oxford, 1989, p. 204.)

⁷ М. А. Цявловский. Тоска Пушкина по чужбине. Голос минувшего, 1916, кн. 1, с. 59.

⁸ Н. О. Лернер. Пушкин и чужбина. Журнал журналов, 1916, № 14, с. 14.

⁹ С. А. Соболевский. Миллион сочувствий. М., 1991, с. 21.

¹⁰ Соболевский, друг Пушкина. Со статьей В. И. Саитова. СПб., 1922, с. 39.

¹¹ Русский архив, 1899, кн. 2, с. 351.

¹² Р. Е. Терехина. Записки о Пушкине, Гоголе и др. в дневнике П. Д. Дурново. Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1978, т. 8, с. 250.

¹³ Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1928, т. 2, с. 362.

¹⁴ А. О. Смирнова. Записки. М., 1929, ч. 1, с. 45.

¹⁵ Н. В. Путята. Из записной книжки. Пушкин в восп. совр. М., 1985, т. 2, с. 6.

¹⁶ М. А. Цявловский. Тоска Пушкина по чужбине. Голос минувшего, 1916, кн. 1, с. 60.

¹⁷ Московский вестник, 1830, № 2, с. 151.

¹⁸ Русская старина, 1880, июль, с. 272.

¹⁹ Северная пчела 1825—1859 год. Русский архив, 1882, кн. 4, с. 302.

²⁰ Рукую Пушкина. М.—Л., 1935, с. 202.

²¹ С. А. Соболевский — С. П. Шевыреву. Русский архив, 1909, кн. 2, с. 481.

Глава вторая ХОТЯ БЫ В ПОЛТАВУ

²² Красный архив, т. 37, с. 240.

²³ Звенья, т. 6, с. 235.

²⁴ Ю. М. Лотман. Пушкин. Л., 1981, с. 172.

²⁵ М. К. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826—1855. СПб., 1909, с. 499—500.

²⁶ Ibid.

²⁷ А. Лацис. Из-за чего погибали пушкинисты? Время и мы, 1994, № 125, с. 267—268. В фантазии А. Лациса, имеющей мало отношения к реальной биографии поэта, говорится о возможном родстве Пушкина и Троицкого.

²⁸ Русский архив, 1879, кн. 1, с. 390.

²⁹ П. А. Бартнев. О Пушкине. М., 1992, с. 358; С. Гессен и Л. Модзалевский. Разговоры Пушкина. М., 1929, с. 210.

³⁰ К. Н. Батюшков. Нечто о поэте и поэзии. 1815.

³¹ Н. В. Фридман. Поэзия Батюшкова. М., 1971, с. 317.

³² К. Н. Батюшков. Соч. СПб., 1886, т. 3, с. 87.

³³ В. Г. Белинский. ПСС. М., 1955, т. 7, с. 354.

³⁴ Ю. М. Лотман. Пушкин. Л., 1981, с. 180.

³⁵ Пушкин в восп. совр. М., 1974, с. 296.

³⁶ Звенья, т. 6, с. 242.

³⁷ П. И. Бартнев. Рассказы о Пушкине. М., 1925, с. 62—64.

³⁸ Русская старина, 1903, № 3, с. 489.

³⁹ Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1928, т. 2, с. 86.

⁴⁰ Рукою Пушкина. М.—Л., 1935, с. 206.

Глава третья «ЛИШНИЙ ЧЕЛОВЕК» В ЗЕРКАЛЕ

⁴¹ Хозяйственный архив А. С. Пушкина. В сб.: Летописи Гослитмузея. М., 1936, кн. 1, с. 87.

⁴² Ю. М. Лотман. Пушкин. Л., 1981, с. 185.

⁴³ Н. А. Саввин. Болдино и Пушкин. Нижний Новгород, 1929, с. 24.

⁴⁴ И. Д. Ермаков. Этюды по психологии творчества Пушкина. М.—Пг., 1923, с. 164.

- ⁴⁵ А. А. Ахматова. О Пушкине. Горький, 1984, с. 89.
- ⁴⁶ Маяк, 1843, кн. 17, с. 12.
- ⁴⁷ В. Г. Белинский. Соч. А. Пушкина. М., 1984, примечания, с. 86.
- ⁴⁸ Например, А. А. Илюшин. К истории онегинской строфы. В кн.: Замысел, труд, воплощение. М., 1977, с. 92—100.
- ⁴⁹ Ф. М. Достоевский. ПСС. Л., 1984, т. 26, с. 140.
- ⁵⁰ D. Mirsky. A History of Russian Literature. Vintage, p. 189.
- ⁵¹ Jesse Clardy. The Superfluous Man in Russian Letters. Washington D. C., p. v.
- ⁵² П. А. Стеллиферовский. Боратынский. М., 1988, с. 169.
- ⁵³ Eugene Onegin. Revised Edition. Translated from Russian, with a commentary, by Vladimir Nabokov. Princeton University Press, 1975, Vol. 3, p. 258—259. Перевод наш.
- ⁵⁴ Ю. М. Лотман. Роман Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1983, с. 380.
- ⁵⁵ Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1928, т. 2, с. 124.
- ⁵⁶ С. Т. Овчинникова. Пушкин в Москве. М., 1984, с. 49.
- ⁵⁷ П. И. Бартенев со слов Нащокина. Деятнадцатый век. Сб. М., 1872, т. 1, с. 386.
- ⁵⁸ П. И. Бартенев. О Пушкине. М., 1992, с. 357.

Глава четвертая ПОИСКИ НИШИ

- ⁵⁹ Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 293.
- ⁶⁰ А. Я. Булгаков — К. Я. Булгакову, 23 февраля 1831. Русский архив, 1902, кн. 1, с. 54.
- ⁶¹ А. В. Флоровский. Пушкин на страницах дневника Д. Ф. Фикельмон. Прага, 1959, с. 565.
- ⁶² С. Н. Булгаков. Жребий Пушкина. Наше наследие, 1990, с. 345—346.
- ⁶³ Н. Берг. Сельцо Захарово. Москвитянин, 1851, № 9—10, с. 32.
- ⁶⁴ Московские ведомости, 1831, № 33.
- ⁶⁵ В. Я. Смирнов. Жизнь и поэмы Языкова. Пермь, 1900, с. 89.
- ⁶⁶ Русский архив, 1902, кн. 1, с. 52.
- ⁶⁷ Рукою Пушкина. М.—Л., 1935, с. 758—759.
- ⁶⁸ Narrative of a Visit to the Courts of Russia and Sweden in the Years 1830 and 1831. London, 1832.

⁶⁹ George Steiner. Under Eastern Eyes. New Yorker, October 11, 1976, p. 159.

⁷⁰ В. Г. Белинский. ПСС. М., 1955, т. 1, с. 87.

⁷¹ Денница. Альманах на 1830 год. М., 1830, с. 129.

⁷² Ю. Н. Тынянов. Пушкин и его совр. М., 1968, с. 191.

⁷³ Н. А. Полевой. «Борис Годунов», соч. Пушкина. Московский телеграф, 1831, № 2.

Глава пятая

ПРИМИРЕНИЕ ДУХА С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

⁷⁴ П. А. Вяземский — В. Ф. Вяземской. Литературное наследство, М., 1935, т. 16—18, с. 806.

⁷⁵ Красный архив, 1929, т. 6, с. 37.

⁷⁶ Русский архив, 1884, кн. 2, с. 418.

⁷⁷ Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1935, т. 3, с. 271.

⁷⁸ Л. П. Гроссман. Пушкин. М., 1939, с. 506.

⁷⁹ Ibid., с. 22—23.

⁸⁰ О. Бальзак. Соб. соч. М., 1960, т. 23, с. 63.

⁸¹ С. Гессен, Л. Модзалевский. Разговоры Пушкина. М., 1929. Запись П. Мартынова.

⁸² Русский архив, 1882, кн. 6, с. 184.

⁸³ Б. Л. Модзалевский. Поездка в Тригорское. Пушкин и его совр. СПб., 1903, вып. 1, с. 65.

⁸⁴ Соболевский, друг Пушкина. Со статьей В. И. Саитова. СПб., 1922, с. 38.

⁸⁵ Русский архив, 1902, кн. 1, с. 53.

⁸⁶ П. Я. Чаадаев. ПСС. М., 1991, т. 2, с. 66.

⁸⁷ Ibid., с. 67.

⁸⁸ Ibid., с. 68.

⁸⁹ Ibid., с. 69.

Глава шестая

НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЙ ВЕРНОПОДДАННЫЙ

⁹⁰ К. Маркс, Ф. Энгельс. Соб. соч., т. 16, с. 205, 208; т. 18, с. 555.

⁹¹ В. И. Ленин. Соб. соч., т. 31, с. 432.

⁹² Н. К. Шильдер. Император Николай. СПб., 1903, т. 2, с. 380.

⁹³ См.: И. А. Федосов. Революционные кружки в России. Исторические записки, № 59, с. 236.

- ⁹⁴ А. И. Тургенев. Дневник, 10 декабря 1831. Пушкин в восп. совр. М., 1974, с. 167.
- ⁹⁵ Факт приводит Ю. Айхенвальд: Дон-Кихот на русской почве. N. Y., 1982, т. 1, с. 113.
- ⁹⁶ М. В. Юзефович. Памяти Пушкина. Русский архив, 1880, кн. 3, с. 435.
- ⁹⁷ Остафьевский архив. СПб., 1899, с. 274.
- ⁹⁸ Ф. И. Тютчев. Лирика. М., 1965, т. 2, с. 118.
- ⁹⁹ Литературное наследство, М., 1935, т. 16—18, с. 388.
- ¹⁰⁰ Литературное наследство, М., 1954, т. 58, с. 106.
- ¹⁰¹ Русский архив, 1895, кн. 2, с. 110—113.
- ¹⁰² П. А. Вяземский. Из записных книжек. Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 163—164.
- ¹⁰³ П. А. Вяземский. ПСС. СПб., 1878, т. 1, с. LI.
- ¹⁰⁴ Рукою Пушкина. М.—Л., 1935, с. 838—839.
- ¹⁰⁵ Л. Г. Фризман. Пушкин и польское восстание. Вопросы литературы, 1992, № 3, с. 213—214.
- ¹⁰⁶ А. В. Кушаков. Пушкин и Польша. Тула, 1978, с. 12.
- ¹⁰⁷ М. Топоровский. Гений и царизм. Варшава, 1971.
- ¹⁰⁸ В. Г. Белинский. Избр. соч. М., 1948, с. 618.
- ¹⁰⁹ Рукою Пушкина. М.—Л., 1935, с. 838—839.
- ¹¹⁰ Письмо к издателю «Московских ведомостей». Пушкин и его совр. СПб., т. 8, с. 82.
- ¹¹¹ Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897, т. 2, с. 324, по-фр.
- ¹¹² П. В. Нащокин. Рассказы о Пушкине. Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 190.
- ¹¹³ Пушкин в восп. совр. М., 1985, т. 2, с. 208.
- ¹¹⁴ Ibid.

Глава седьмая ВНУТРЕННИЙ ЭМИГРАНТ

- ¹¹⁵ Русский архив, 1878, кн. 2, с. 48.
- ¹¹⁶ Л. Павлищев. Из семейной хроники. Исторический вестник, 1888, т. 34, с. 41.
- ¹¹⁷ Литературный архив, М.—Л., 1938, т. 1, с. 7.
- ¹¹⁸ Пушкин в восп. совр. М., 1985, т. 2, с. 234.
- ¹¹⁹ М. Цветаева. Мой Пушкин. М., 1967, с. 119.
- ¹²⁰ М. И. Цветаева. Сочинения. Минск, 1989, т. 2, с. 333—334.
- ¹²¹ Н. В. Гоголь. ПСС. М., 1952, т. 10, с. 259.
- ¹²² Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 311—312.

¹²³ Перевод здесь и далее по кн.: Рукою Пушкина. М., 1935, с. 548.

¹²⁴ А. Мицкевич. Биографическое и литературное известие о Пушкине. Перевод П. Вяземского из «Le Globe», 25 мая 1837. Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 144.

¹²⁵ Альбом Московской Пушкинской выставки, 1880. М., 1882, с. 136—137.

¹²⁶ Alina Witkowska. Mickiewicz. Slowo i czyn. Warszawa, 1998, s. 331; см. также: К. Kostenicz. Prawda i nieprawda w relacjach o smierci Mickiewicza. Warszawa, 1975, s. 42—95.

¹²⁷ Старые записные книжки. Русский архив, 1873, кн. 3, с. 1795.

¹²⁸ Русский архив, 1888, кн. 2, 309.

¹²⁹ Литературное наследство, М., 1958, т. 58, с. 113—114.

¹³⁰ Б. В. Томашевский. Пушкин и Франция. Л., 1960.

¹³¹ И. А. Гончаров. Собр. соч. в 8 тт. М., 1954, т. 7, с. 207—208.

¹³² Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 174.

¹³³ Н. А. Раевский. Избр. Минск, 1978, с. 258—259.

¹³⁴ В. В. Розанов. О писательстве и писателях. М., 1995, с. 681.

¹³⁵ Ф. М. Достоевский. ПСС. Л., 1980, с. 8—9.

¹³⁶ Пушкин. Исследования и материалы. М.—Л., т. 10, с. 334—335.

¹³⁷ Л. И. Павлицев. Из семейной хроники. Исторический вестник, октябрь, 1888, с. 45.

Глава восьмая

«СДЕЛАЮСЬ РУССКИМ ДАНЖО»

¹³⁸ Моя благодарность Тейлору Стайну и Дугласу Картеру из Университета Флориды за полученную информацию.

¹³⁹ Л. В. Крестова. Почему Пушкин называл себя «русским Данжо»? Пушкин. Исследования и материалы. М.—Л., т. 4, 1962; П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987, т. 2, с. 166.

¹⁴⁰ С. А. Соболевский. Миллион терзаний. М., 1991, с. 70.

¹⁴¹ В. А. Соллогуб. Воспоминания. Л., 1931, с. 594.

¹⁴² С. А. Соболевский. Миллион терзаний. М., 1991, с. 71.

¹⁴³ Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 298.

¹⁴⁴ Рукою Пушкина. М.—Л., 1935, с. 323.

¹⁴⁵ М. И. Семевский. К биографии Пушкина. Русский вестник, 1869, № 11, с. 90, по-фр.

¹⁴⁶ Г. Ф. Парчевский. Пушкин и карты. СПб., 1996, с. 63.

¹⁴⁷ Р. В. Плетнев. Меркантильные обстоятельства Пушкина. Новое Русское слово, 13 февраля 1977 года. Канадский славист Ростислав Плетнев ссылается в статье на книгу М. Дубинина «Меркантильные обстоятельства». Книгу эту об игре Пушкина в карты, выпущенную на Западе, по-видимому в 1976 году (тогда отрывки из нее печатались в газете), разыскать не удалось.

¹⁴⁸ К. А. Полевой. Из записок. Пушкин в восп. совр. СПб., 1998, т. 2, с. 65.

¹⁴⁹ Временник Пушкинской комиссии. Л., 1967—1968, с. 111—115.

¹⁵⁰ Более подробный анализ сходной версии в кн.: Jozef Tretiak. Mickiewicz i Puszkin. Warszawa, 1906.

¹⁵¹ Рукою Пушкина. М.—Л., 1935, с. 551.

¹⁵² Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, с. 359.

¹⁵³ Е. А. Боратынский — П. А. Плетневу, июль 1831. Боратынский. Стихотворения. М., 1951, с. 496.

¹⁵⁴ Соч. и переписка П. А. Плетнева. СПб., 1885, т. 3, с. 524.

¹⁵⁵ Из семейной хроники. Исторический вестник, 1888, октябрь, с. 47.

¹⁵⁶ Пушкин в восп. совр. М., 1985, т. 2, с. 193.

¹⁵⁷ Д. Мирский. Проблема Пушкина. Литературное наследство, М., 1934, т. 16—18, с. 101.

¹⁵⁸ А. О. Смирнова-Россет. Дневник. Воспоминания. М., 1989, с. 566.

Глава девятая

«НЕТ ПРЕПЯТСТВИЙ ЕМУ ЕХАТЬ, КУДА ХОЧЕТ, НО...»

¹⁵⁹ Е. Ф. Розен. Ссылки на мертвых. Сын Отечества, № 6, 1847, с. 12.

¹⁶⁰ Ibid., с. 113.

¹⁶¹ Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 171.

¹⁶² Примечания. Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 432.

¹⁶³ И. Фейнберг. Незавершенные работы Пушкина. М., 1975.

- ¹⁶⁴ Архив бр. Тургеневых. Пг., 1921, вып. 6, с. 70.
- ¹⁶⁵ Современник, 1836, кн. 4, с. 295.
- ¹⁶⁶ Исторический вестник, 1898, № 10, с. 217.
- ¹⁶⁷ П. А. Вяземский. Биограф. и лит. известие о Пушкине. Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 1, с. 143.
- ¹⁶⁸ J. Vaak et P. Gruys. Les deux baron de Heeckeren. *Revue des études slaves*, 1937, XVII, p. 41.
- ¹⁶⁹ П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987, т. 2, с. 139.
- ¹⁷⁰ См.: Yuri Druzhnikov. Natalia Goncharova and the Myth of Pushkin. American Association for Advanced Slavic Studies, Philadelphia, 1994; то же: Русская мысль, 8 июня 1995; Русские мифы. Нью-Йорк, 1995 и ряд других изданий; Serena Vitale. Il Bottone di Puškin. Milano, 1995. Переводы на английский «Русских мифов» и «Пуговицы Пушкина» — 1999.
- ¹⁷¹ Русский архив, 1882, кн. 1, с. 232—233.
- ¹⁷² Дневник Елены Булгаковой. М., 1990, с. 76.
- ¹⁷³ В. М. Русаков. Рассказы о потомках Пушкина. Л., 1992, с. 75.
- ¹⁷⁴ Письма О. С. Павлищевой. СПб., 1994, т. 2, с. 128.
- ¹⁷⁵ А. Я. Булгаков — К. Я. Булгакову, 19 февраля 1831. Русский архив, 1902, кн. I, с. 53—54.
- ¹⁷⁶ Звенья, т. 2, с. 265.
- ¹⁷⁷ Л. И. Павлищев. Из семейной хроники. Исторический вестник, 1888, ноябрь, с. 288.
- ¹⁷⁸ Ibid.
- ¹⁷⁹ Н. А. Котляревский. Пушкин как историческая личность. Берлин, 1925, с. 166.
- ¹⁸⁰ Письма Пушкиных к их дочери. СПб., 1993, т. 1, с. 278—279.
- ¹⁸¹ Пушкин. Письма последних лет. Л., 1969, с. 275.
- ¹⁸² М. К. Лемке. Николаевские жандармы и литература. СПб., 1908, с. 516.
- ¹⁸³ Ibid.
- ¹⁸⁴ Н. С. Арсеньев. Из русской культурной и творческой традиции, с. 99. Имеются в виду два варианта записок: сделанные дочерью (переизданы в 1999 г.) и опубликованные в серии «Литературные памятники».
- ¹⁸⁵ Северный вестник, 1884, № 2, с. 146—147.
- ¹⁸⁶ Записки А. О. Смирновой. Из записной книжки 1826—1845. СПб., 1897, ч. 2, с. 71.
- ¹⁸⁷ Ibid., ч. 1, с. 340.

Глава десятая
ИСТИНА ДОРОЖЕ РОДИНЫ

¹⁸⁸ С. Н. Булгаков. Жребий Пушкина. Наше наследие, М., 1990 с. 345.

¹⁸⁹ М. Горький. Портреты замечательных людей. М., 1936, с. 32.

¹⁹⁰ М. И. Железнов. Брюллов в гостях у Пушкина летом 1836 года. Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 293.

¹⁹¹ В. А. Майков. Пушкин. Изд. 2-е, СПб.—Варшава, 1912, с. 21.

¹⁹² T. Reikes. A Visit to St. Petersburg in the Winter of 1829—1830. London, 1838, p. 105.

¹⁹³ Цит. по: Р. В. Плетнев. Меркантильные обстоятельства Пушкина. Новое Русское слово, 13 февраля 1977.

¹⁹⁴ Д. Благой. Творческий путь Пушкина. М., 1949, с. 27.

¹⁹⁵ А. О. Смирнова. Воспоминания о Жуковском и Пушкине. Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 153.

¹⁹⁶ П. Я. Чаадаев. ПСС. М., 1991, т. 1, с. 523—524.

¹⁹⁷ Ibid., с. 533.

¹⁹⁸ И. Л. Фейнберг. Читая тетради Пушкина. М., 1985, с. 63.

¹⁹⁹ Journal de Debats, 3 mars 1837.

²⁰⁰ Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 314—315.

²⁰¹ Ibid., с. 297—298.

²⁰² Н. Я. Эйдельман. Пушкин: история и современность. М., 1984, с. 264.

Глава одиннадцатая
ВИЗА В ЛУЧШИЙ МИР

²⁰³ М. А. Цявловский. Мелочи о Пушкине. Русский библиофил, 1916, № 8 (декабрь), с. 72.

²⁰⁴ П. А. Вяземский. Записные книжки. М., 1992, с. 76.

²⁰⁵ И. Трофимов. Полководец. Прометей, 1974, № 10, с. 198.

²⁰⁶ Ф. М. Достоевский. Пушкин. ПСС. Л., 1984, т. 26, с. 149.

²⁰⁷ Пушкин в восп. совр. М., 1985, т. 2, с. 152.

²⁰⁸ Н. Раевский. Избр. Минск, 1978, с. 205.

²⁰⁹ А. П. Арапова. Н. Н. Пушкина-Ланская. М., 1994, с. 52.

²¹⁰ В. В. Кунин. Друзья Пушкина. М., 1984, т. 1, с. 7.

- ²¹¹ Пушкин в восп. совр. М., 1974, с. 172.
²¹² Пушкин и его совр. СПб., 1910, вып. 13, с. 37.
²¹³ С. Витале, В. Старк. Черная речка. СПб., 2000, с. 114.
²¹⁴ Ibid., с. 135.
²¹⁵ France Suasso. Dichter, dame, diplomat. Het laaste jaar van Alexander Puskin. Weiden, 1988.
²¹⁶ Р. Скрынников. Дуэль Пушкина. Новый журнал, № 205, с. 241.
²¹⁷ С. Н. Булгаков. Жребий Пушкина. Наше наследие, М., 1990, с. 342.
²¹⁸ Вопросы литературы, 1973, № 3, с. 195, 222.
²¹⁹ В. Ф. Вяземская. Русский архив, 1888, кн. 2, с. 305.
²²⁰ П. Я. Чаадаев. ПСС. М., 1991, т. 1, с. 524.

Глава двенадцатая САМОУБИЙСТВО?

- ²²¹ В. Ф. Чиж. Пушкин как идеал душевного здоровья. Пушкинский сб. Императорского Юрьевского университета, 1899, с. 68—70.
²²² С. Ф. Либрович. Пушкин в портретах. СПб., 1890, с. 61.
²²³ Е. В. Павлова. Пушкин в портретах. М., 1983, с. 56.
²²⁴ Дневники-письма сестры Пушкина. СПб., 1994, с. 147.
²²⁵ Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 252.
²²⁶ Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1926, т. 1, с. 356.
²²⁷ Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 254.
²²⁸ Ibid., т. 1, с. 119.
²²⁹ В. А. Соллогуб. Повести, воспоминания. Л., 1988, с. 471.
²³⁰ В. П. Бурнашев. Воспоминания. Русский архив, 1872, кн. 10, с. 1789—1790.
²³¹ Пушкин в письмах Карамзиных. М.—Л., 1960, с. 103, 139.
²³² Ibid., с. 148.
²³³ П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987, т. 1, с. 322.
²³⁴ Пушкин в письмах Карамзиных. М.—Л., 1960, с. 165.
²³⁵ И. С. Тургенев. Речь по поводу открытия памятника Пушкину в Москве. ПСС. М.—Л., 1968, т. 15, с. 71.
²³⁶ Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 256.

- ²³⁷ Записки А. О. Смирновой. СПб., 1895, ч. 1, с. 267.
- ²³⁸ Пушкин в восп. совр. СПб., 1998, т. 2, с. 183.
- ²³⁹ Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 2000, т. 4, с. 587.
- ²⁴⁰ Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 482.
- ²⁴¹ В. А. Соллогуб. Пушкин в восп. совр. М., 1974, с. 302—306.
- ²⁴² Пушкин в письмах Карамзиных. М.—Л., 1960, с. 68.
- ²⁴³ Например, Литературная газета, 5 февраля 1937.
- ²⁴⁴ Рисунки Пушкина. М., 1983, с. 390.
- ²⁴⁵ Л. С. Пушкин — П. А. Осиповой, 16 февраля 1825. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1999, т. 2, с. 480.
- ²⁴⁶ Д. Святополк-Мирский. Две смерти (1837—1930). В кн.: Р. Якобсон. Смерть Владимира Маяковского. Berlin, 1931, с. 49—50.
- ²⁴⁷ Из использованных источников сошлемся на: David A. Thomb. *Psychiatry. Fifth edition.* Baltimore, 1995; *Diagnostic Criteria from DSM-III-R.* Washington, D. C., 1991.
- ²⁴⁸ М. Л. Гофман. Проблема сумасшествия в творчестве Пушкина. Новый журнал, N. Y., 1957, № 51, с. 86.
- ²⁴⁹ Ю. М. Лотман. Беседы о русской культуре. СПб., 1994, с. 230.
- ²⁵⁰ П. И. Бартенев. О Пушкине. М., 1992, с. 354.
- ²⁵¹ Ю. Т. Воищев. Ночная метель. Подъем, 1973, № 1, с. 83—106.
- ²⁵² Б. Парамонов. Под сенью дружных муз. Московские ведомости, 1993, № 4, с. 22—23; Мальчишка-океан. Звезда, 1999, № 10, с. 218—223.
- ²⁵³ Н. О. Лернер. Пушкин и чужбина. Журнал журналов, 1916, № 14, апрель, с. 15.
- ²⁵⁴ А. Н. Аммосов. Последние дни жизни и кончина Пушкина. СПб., 1863, с. 32.
- ²⁵⁵ Cesare de Baccaria. *Trattato del delitti e delle pene.* 1764.
- ²⁵⁶ П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987, кн. 1, с. 340.
- ²⁵⁷ В. В. Розанов. О писательстве и писателях. М., 1995, с. 46—47.
- ²⁵⁸ Кавказская поминка о Пушкине. Тифлис, 1899, с. 134.

Глава тринадцатая
ПОСМЕРТНЫЙ ОБЫСК

²⁵⁹ Г. Барабтарло. Английское междоветие. Новый журнал, № 197, с. 88.

²⁶⁰ Stanisław Morawski. W Peterburku, 1827—1838. Wspomnienia pustelnika i kochałki opałki. Poznań, 1927, str. 17. Перевод наш.

²⁶¹ Пушкин и его совр. СПб., 1908, т. 2, с. 78.

²⁶² Ibid., с. 75.

²⁶³ Цит. по: Друзья Пушкина. М., 1984, т. 1, с. 357 и далее.

²⁶⁴ Е. Снеговский. Календарь дней Пушкина. 1937, вып. 2, с. 82.

²⁶⁵ Н. А. Жуковский. Письмо А. Х. Бенкендорфу. Пушкин в восп. совр. М., 1974, т. 2, с. 363.

²⁶⁶ Ibid., с. 359.

²⁶⁷ Н. О. Лернер. Пушкин и чужбина. Журнал журналов, 1916, № 14, апрель, с. 14.

²⁶⁸ М. А. Цявловский. Тоска по чужбине у Пушкина. Голос минувшего, 1916, кн. 1, с. 60; М. А. Цявловский. Статьи о Пушкине. Редакция и примечания Т. Г. Цявловской. М., 1962.

²⁶⁹ П. К. Губер. Донжуанский список Пушкина. Пг., 1923, с. 10.

²⁷⁰ Временник Пушкинской комиссии, Л., 1974, с. 32.

²⁷¹ М. И. Цветаева. Соб. соч. М., 1994, т. 2, с. 284; Мой Пушкин. М., 1981, с. 131.

Глава четырнадцатая, похожая на эпилог
ИЗ РОССИИ ПОСЛЕ ПУШКИНА

²⁷² А. Ф. Мерзляков. Журнал Министерства нар. просвещения, 1913, март, с. 13.

²⁷³ Цит. по: Л. П. Гроссман. Пушкин. М., 1939, с. 626.

²⁷⁴ В. В. Никольский. Русская старина, 1880, т. 29, с. 429; Я. Полонский. Дантес, неизданные материалы. Последние новости, 15 мая 1930.

²⁷⁵ Л. П. Гроссман. Карьера Дантеса. М.—Л., 1927.

²⁷⁶ Литературный архив. М.—Л., 1938, т. 1, с. 85.

²⁷⁷ П. А. Стеллиферовский. Боратынский. М., 1988, с. 197.

²⁷⁸ Поэты пушкинского круга. М., 1983, с. 502.

- ²⁷⁹ Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь. 1893, т. 17, с. 18.
- ²⁸⁰ Временник Пушкинской комиссии. Л., 1974, с. 58.
- ²⁸¹ Временник Пушкинского Дома. Пг., 1914, вып. 2, с. 89—90.
- ²⁸² Н. В. Гоголь. ПСС. М., 1952, т. 12, с. 32.
- ²⁸³ В. С. Печерин. Оправдание моей жизни. Наше наследие. М., 1990, с. 208.
- ²⁸⁴ Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь. 1898, т. 46, с. 538—539.
- ²⁸⁵ М. Ю. Лермонтов. ПСС. Л., 1939, т. 1, с. 74.
- ²⁸⁶ Б. Эйхенбаум. Предисловие. *Ibid.*, т. 2, с. XXIII.
- ²⁸⁷ Цит. по: В. С. Варшавский. Незамеченное поколение. N. Y., 1956, с. 170.
- ²⁸⁸ Дела и дни. СПб., 1920, кн. 1, с. 407—408.
- ²⁸⁹ П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М., 1983, с. 395.
- ²⁹⁰ Летопись жизни и творчества Тургенева. СПб., 1997, с. 3.
- ²⁹¹ П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М., 1983, с. 334.
- ²⁹² Голос минувшего, 1918, № 1—3, с. 288.
- ²⁹³ Ф. М. Достоевский. Объяснительное слово. ПСС. Л., 1984, т. 26, с. 131.
- ²⁹⁴ В. Спасович. Учебник уголовного права. СПб., 1863, т. 1, с. 211.
- ²⁹⁵ Ф. М. Достоевский. ПСС. Л., 1980, т. 21, с. 135.
- ²⁹⁶ Л. Н. Толстой. Соб. соч. М., 1984, т. 7, с. 6.
- ²⁹⁷ П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М., 1983, с. 238.
- ²⁹⁸ К. Г. Паустовский. Несколько отрывочных мыслей. Соб. соч. М., 1967, т. 1, с. 16.

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ПОПЫТОК А. С. ПУШКИНА ВЫЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ

Роман-исследование Юрия Дружникова «Смерть изгоя» завершает трилогию «Узник России. По следам неизвестного Пушкина». Первые два романа — «Изгнанник самовольный» и «Досье беглеца» — публиковались на Западе по частям с 1989 года и потом российскими издательствами. Впервые в истории пушкинистики жизнь и творчество великого русского поэта детально рассматриваются в свете его постоянного стремления выбраться из Российской империи за границу. Он рвался в страны Европы, в Африку, в Китай, в Америку в качестве дипломата или путешественника. Когда ему отказывали, Пушкин пытался бежать, что автоматически превратило бы его в невозвращенца. Ниже на основе текста трилогии «Узник России» и архивных материалов к этому произведению кратко систематизированы сведения о проходящих через всю жизнь Пушкина попытках легально поехать за границу и тайно покинуть родину. Хронология дает возможность кратко представить факты пушкинской дилеммы «родина или свобода», которую раньше почти не затрагивало литературоведение. Это позволяет подвести сжатый итог новому пониманию биографии, взглядов и ряда произведений русского классика.

Хронологическая канва отражает сведения, отмеченные самим поэтом, а также детали, сохранившиеся в документах эпохи и свидетельствах современников. По очевидным причинам, некоторые планы Пушкина (тайные замыслы, договоренности с друзьями, устные обращения к властям) остаются неизвестными, но, предположительно, шагов для легального выезда за границу или бегства было еще больше.

ХРОНИКА ПЕРВАЯ

«ИЗГНАННИК САМОВОЛЬНЫЙ»

(1815—1824)

1815, 19 сентября. Василий Жуковский пишет о лицеисте Пушкине Петру Вяземскому: «Я бы желал переселить его года на три, на четыре в Геттинген или в какой-нибудь другой немецкий университет. Даже Дерпт лучше Царского Села».

1817, 13 июня. Высочайшим указом царя Пушкин по окончании Лицея зачислен в Коллегию иностранных дел.

1817, 15 июня. Присяга на верность престолу и отечеству, а также о неразглашении государственных тайн дана Пушкиным в Министерстве иностранных дел.

1817, 17 августа. В альбом Прасковье Осиповой об отъезде из России навсегда:

Прости, Тригорское, где радость
Меня встречала столько раз!
На толь узнал я вашу сладость,
Чтоб навсегда покинуть вас?

1817, 26 августа. Проводы Пушкиным друга Федора Матюшкина в кругосветное плавание из Кронштадта на шлюпе «Камчатка».

1817, 27 августа. Пушкин, встретив в театре Павла Катенина, сообщил, что «вскоре отъезжает в чужие края».

1817, лето — 1819, начало июня. Братья Тургеневы безуспешно хлопочут о разрешении Пушкину выехать за границу по дипломатической части. Александр Тургенев Вяземскому: «Теперь остается только пристроить Пушкина».

1817, 27 ноября. После того как стало известно о запрещении выехать за границу, в стихотворении «Уныние» («Не спрашивай, зачем унылой думой...») приписка: «Я человек несвободный».

1818, лето. Попытка Пушкина получить назначение на работу в Варшаву. Хлопоты Вяземского, отказ.

1818, 19 ноября. Пушкин провожает поэта Константина Батюшкова в Италию.

1819, март — конец мая. В связи с предполагаемым походом в Турцию Пушкин пытается поступить на военную службу.

1819, 20 апреля. Николай Тургенев из Петербурга — брату Сергею во Францию о хлопотах для получения поэтом должности по дипломатической линии за границей: «О помещении

Пушкина теперь, кажется, нельзя и думать». И дальше: «Любимая надежда Пушкина — путешествовать с Чаадаевым по Западной Европе».

1820, около 21 апреля. Пушкин в Варшаву Вяземскому: «Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих».

1820, весна. Предложение Обер-прокурора Синода, министра просвещения Александра Голицына выслать провинившегося Пушкина за границу, в Испанию.

1820, сентябрь. Сосланный на юг поэт мечтает вырваться из России:

Лети, корабль, неси меня к пределам дальним
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей.

1820. Первый замысел Пушкина — воспользоваться выдуманной болезнью (аневризмой) как предлогом для выезда за границу из Кишинева на лечение.

1821, 23 марта. Подготовка к бегству в Грецию. Пушкин из Кишинева Антону Дельвигу в Петербург: «Недавно приехал в Кишинев и скоро оставляю благословенную Бессарабию — есть страны благословеннее». Далее в этом же письме о брате: «Боюсь за его молодость, боюсь воспитания, которое дано будет ему обстоятельствами его жизни и им самим... Люби его, я знаю, что будут стараться изгладить меня из его сердца, — в этом найдут выгоду... Прощай».

1821, 24 марта. Пушкин из Кишинева Николаю Гнедичу в Петербург: «Не скоро увижу я вас; здешние обстоятельства пахнут долгой, долгою разлукой!»

1821, 6 апреля. Пушкин договаривался ехать за границу вместе с Чаадаевым и теперь из ссылки в стихотворении «Чаадаеву» пишет:

О скоро ли, мой друг, настанет час разлуки?
Когда соединим слова любви и руки?

1821, 7 мая. Из Кишинева в Петербург Александру Тургеневу: «...без вас двух, да еще без некоторых избранных соскучишься и не в Кишиневе, а вдали камина княгини Голицыной, замерзнешь и под небом Италии... дайте знать минутным друзьям моей минутной младости, чтобы они прислали мне денег, чем они чрезвычайно обяжут искателя новых впечатлений... Верьте, что, где б я ни был, душа моя, какова ни есть, принадлежит вам и тем, которых умел я любить».

1821, 27 июня. Из Кишинева брату Льву в Петербург: «Пиши ко мне, покамест я еще в Кишиневе».

1821, с 28 июля по 20 августа. Пушкин исчез со службы на три недели, по-видимому, чтобы тайно перекочевать с цыганским табором в Грецию.

Почто ж, безумец, между вами
В пустыне не остался я,
Почто за прежними мечтами
Меня влекла судьба моя!

1821, 11 августа. Михаил Погодин из Москвы в Петербург: «...Я слышал от верных людей, что он ускользнул к грекам».

1821, лето. Пушкин надеется на войну с Турцией, когда в неразберихе легко будет перейти границу Бессарабии и оказаться в Греции.

1821, 21 августа. Сергею Тургеневу из Кишинева в Одессу: «Дело шло об моем изгнании — но если есть надежда на войну, ради Христа, оставьте меня в Бессарабии».

1821, 26 декабря. В стихотворении «К Овидию» Пушкин пишет:

Приблизьте хоть мой гроб к Италии прекрасной!

1821—1823. В поэме «Бахчисарайский фонтан»:

Дарует небо человеку
Замену слез и частых бед:
Блажен факир, узревший Мекку
На старости печальных лет.
Блажен, кто славный брег Дуная
Своею смертью освятит...

1823, 5 апреля. Вяземскому из Кишинева в Москву: «Говорят, что Чаадаев едет за границу, — давно бы так; но мне его жаль из эгоизма — любимая моя надежда была с ним путешествовать — теперь Бог знает, когда свидимся».

1823, июль — начало августа. Переезд в Одессу под предлогом лечения морскими ваннами, а затем на службу к графу Михаилу Воронцову.

1823, май — октябрь. Из первой главы «Евгения Онегина»:

Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас...

...Ночей Италии золотой
Я негой наслажусь на воле...

...Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии,
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России...

...Онегин был готов со мною
Увидеть чуждые страны...

1824, 12 января — начало февраля. Льву Пушкину из Одессы в Петербург: «Ты знаешь, что я дважды просил Ивана Ивановича о своем отпуске через его министров — и два раза воспоследовал всемилостивейший отказ. Осталось одно — писать прямо на его имя — такому-то, в Зимний дворец, что против Петропавловской крепости, не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится невтерпеж. Une bene, une patria».

1824, весна. Поиски денег для бегства с помощью контрабандистов и предпринимателя Морали.

• 1824, 28 марта. Письмо губернатора Михаила Воронцова министру иностранных дел Карлу Нессельроде с просьбой удалить Пушкина из Одессы. Возможная реальная причина удаления — не дать возможности поэту уплыть морем за границу.

1824, май. Замысел побега в Италию с Амалией Ризнич.

1824, 22 мая. Александру Казначееву. В Одессе. «Вы, может быть, не знаете, что у меня аневризм. Вот уже 8 лет, как я ношу с собою смерть. Могу представить свидетельство которого угодно доктора. Ужели нельзя оставить меня в покое на остаток жизни, которая, верно, не продлится».

1824, 11 июля. Повеление императора Александра I отправить Пушкина в Псковскую губернию под надзор местных властей.

1824, ночь с 31 июля на 1 августа. Перед отъездом в Михайловское попытка бегства на корабле при содействии Веры Вяземской и Елизаветы Воронцовой.

Храни меня мой талисман...
В уединенье чуждых стран.

...Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег...

1824, после высылки Пушкина из Одессы в Михайловское. Александр Булгаков брату в Петербург: «Воронцов очень сердит на графиню и княгиню Вяземскую, особенно на княгиню, за Пушкина, шалуна-поэта, да и поделом. Вяземская хотела покровительствовать его побегу из Одессы, искала ему денег, гребное судно...»

ХРОНИКА ВТОРАЯ

«ДОСЬЕ БЕГЛЕЦА»

(1824—1829)

1824, осень. Планы подготовки побега из Михайловского за границу.

Презрев и голос укоризны,
И зовы сладостных надежд,
Иду в чужбине прах отчизны
С дорожных отряхнуть одежд.
Умолкни, сердца шепот сонный,
Привычки давней слабый глас,
Прости, предел неблагоклонный,
Где свет узрел я в первый раз!..

Мой брат, в опасный день разлуки
Все думы сердца — о тебе.
В последний раз сожжем же руки
И покоримся мы судьбе.

Далее в этом стихотворении остались недописанными следующие строки:

Благослови побег поэта

...Но русский... не посетит
Моей могилы безымянной.

1824, 20 сентября. Стихотворение «К Языкову»:

Давно б на Дерптскую дорогу
Я вышел утренней порой...

1824, не позднее 20 декабря. Льву Пушкину из Михайловского в Петербург: «Вульф здесь, я ему ничего еще не говорил, но жду тебя — приезжай... переговорить нужно непременно... Деньги нужны. Долго не торгуйся за стихи — режь, рви, кромсай хоть все 54 строфы его («Онегина»). Денег, ради Бога, денег!.. Мне дьявольски не нравятся петербургские толки о моем побеге. Зачем мне бежать? здесь так хорошо! *Когда ты будешь у меня, то станем толковать о банкире, о переписке, о месте пребывания Чедаева.* Вот пункты, о которых можешь уже осведомиться».

1824, ноябрь — декабрь. Из Михайловского в Петербург Льву Пушкину: «Бумаги, перьев, облаток, чернил, чернильницу de voyage. Чемодан. Библии 2. Шекспир. Вина (bordeau) Soterne. Champagne. Сыр лимбургский. Курильницу. Lampe de voyage Allumettes. Табак. Глиняную трубку с черешневым чубуком... montre».

1824, 22 ноября. Прасковья Осипова Жуковскому о Пушкине из Тригорского в Петербург: «...Желательно бы было, чтобы ссылка его сюда скоро кончилась; иначе я боюсь быть нескромною, но желала бы, чтобы вы, милостивый государь Василий Андреевич, меня угадали. Если Алекс. должен будет оставаться здесь долго, то прощай для нас Русских его талант, его поэтический гений, и обвинить его не можно будет. Наш Псков хуже Сибири, а здесь пылкой голове не усидеть. Он теперь так занят своим положением, что без дальнего размышления из огня вскочит в полымя; а там поздно будет размышлять о следствиях. Все здесь сказанное не пустая догадка... Если вы думаете, что воздух и солнце Франции или близлежащих к ней через Альпы земель полезен для русских орлов и оный не будет вреден нашему, то пускай остается то, что теперь написала, вечной тайной... Когда же вы другого мнения, то подумайте, как предупредить отлет».

1825, январь. Подготовка к побегу в Дерпт и оттуда с Алексеем Вульфом в качестве слуги за границу. Вульф позже вспоминал, что ими замышлялись «различные проекты, как бы получить свободу». И еще: «Пушкин, надеясь получить в скором времени право свободного выезда с места своего заточения, измышлял различные проекты, как бы получить свободу. Между прочим, предложил я ему такой проект: я выхлопочу себе заграничный паспорт и Пушкина, в роли своего крепостного слуги, увезу с собой за границу».

1825, 20—25 апреля. Пушкин Жуковскому из Михайловского в Петербург: «Мой аневризм носил я 10 лет и с Божией помощью могу проносить еще года три. Следовательно, дело не к спеху, но Михайловское душно для меня. Если бы Царь меня до излечения отпустил за границу, то это было бы благодеяние, за которое я вечно был ему и друзьям моим благодарен».

1825, 6 мая. Прощение матери о выпуске сына в Ригу или любой другой город для операции.

1825, 25 июня. В альбом Осиповой:

Но и в дали, в краю чужом
Я буду мыслию всегдашней
Бродить Тригорского кругом...

1825, начало июля. Пушкин Жуковскому из Михайловского в Петербург: «Я все жду от человеколюбивого сердца императора, авось-либо позволит он мне со временем искать стороны мне по сердцу и лекаря по доверчивости собственного рассудка, а не по приказанию высшего начальства». В этом же письме: «Я справлялся о псковских операторах; мне указали там на некоторого Всеволожского, очень искусного по ветеринарной части и известного в ученном свете по своей книге об лечении лошадей».

1825, начало июля — сентябрь (до 22-го). Пушкин царю Александру I (черновое, не отправленное, по-французски, приложено к письму Жуковскому): «Здоровье мое было сильно подорвано в мои молодые годы; аневризм сердца требует немедленной операции или продолжительного лечения. Жизнь в Пскове, городе, который мне назначен, не может принести мне никакой помощи. Я умоляю Ваше Величество разрешить мне пребывание в одной из наших столиц или же назначить мне какую-нибудь местность в Европе, где я мог бы позаботиться о своем здоровье». Пушкин жалуется на аневризм сердца, а мать пишет, что у него аневризм в ноге.

1825, 28 июля. Льву Пушкину из Михайловского в Петербург: «...Мне нужны деньги или удавиться. Ты знал это, ты обещал мне капитал прежде году — а я на тебя полагался».

1825, июль. Пушкин придумывает сцену «Корчма на литовской границе» для «Бориса Годунова», которой не было в первоначальном замысле. В ней тщательно и географически точно описывается эпизод, как Григорий Отрепьев бежит из России и пытается нелегально перебраться через границу.

1825, июль. Второе прошение матери на высочайшее имя отпустить Пушкина (возможно, не отправленное).

1825, начало августа. Жуковский получил письмо от Александры Воейковой: «Пушкин хочет иметь 15 тысяч, чтобы иметь способы бежать с ними в Америку или Грецию. Следовательно не надо их доставлять ему».

1825, 17 августа. Пушкин Жуковскому из Михайловского в Петербург: «Вижу по газетам, что Перовский у вас. Счастливцев! он видел и Рим и Везувий».

1825, 13 и 15 сентября. Вяземскому из Михайловского в Москву: «Аневризмом своим дорожил я пять лет как последним предлогом к избавлению, *ultima ratio libertalis* — и вдруг последняя моя надежда разрушена проклятым дозволением ехать лечиться в ссылку!.. Друзья хлопочут о моей *жиле*, а я об *жилье*».

1825, 6 октября. Пушкин Жуковскому из Тригорского в Петербург: «...Больной должен лежать несколько недель неподвижно, etc. Воля твоя, мой милый, — ни во Пскове, ни в Михайловском я на то не соглашусь...»

1825, 10 октября. Алексею Вульфу: «...Ни в Пскове, ни в моей глуши лечиться я не намерен. О коляске моей осмеливаюсь принести вам нижайшую просьбу. Если (что может случиться) деньги у вас есть, то прикажите, наняв лошадей, отправить ее в Опочку, если же (что также случается) денег нет — то напишите, сколько их будет нужно. — На всякий случай поспешим, пока дороги не испортились...»

1825, начало октября. Прошение графу Нессельроде через Псковского губернатора о выезде на лечение за границу.

1825, 27 ноября. Отправлено новое ходатайство Надежды Пушкиной к царю с просьбой разрешить ее сыну выезд за границу для лечения.

1825, вторая половина ноября. Пушкин Вяземскому: «Мне нужен английский язык — и вот одна из невыгод моей ссылки: не имею способов учиться, пока пора».

1825, 4—6 декабря. Пушкин Петру Плетневу: «...ради Бога, не просить у царя позволения мне жить в Опочке или в Риге; черт ли в них? *а просить или о въезде в столицу, или о чужих краях*. В столицу хочется мне для вас, друзья мои, — хочется с вами еще перед смертью поврать; но, конечно, благодарнее бы отправиться за море. Что мне в России делать?»

1826, около 7 марта. Прошение Пушкина, посланное через Жуковского: «Вступление на престол государя Николая Павловича подает мне радостную надежду. Может быть, Его Величеству угодно будет переменить судьбу мою».

1826, 11 мая — первая половина июня. Прошение новому царю Николаю I: «Здоровье мое, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного

лечения, в чем и представляю свидетельство медиков: осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или Петербург, или в чужие края».

1826, 27 мая. Пушкин Вяземскому: «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если Царь даст мне свободу, то я месяца не останусь. ...Когда воображаю Лондон, чугунные мосты, паровые корабли, Английские журналы или Парижские театры и бордели — то мое глупое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-й главе «Онегина» я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно — услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница... Я теперь в Пскове, и молодой доктор спяна сказал мне, что без операции я не дотяну и до 30 лет. Не забавно умереть в Опоческом уезде».

1826, 19 июля. Свидетельство, выданное врачебной управой: «По предложению гражданского губернатора за № 5497, ею освидетельствован был коллежский секретарь А. С. Пушкин, и оказалось, что он действительно имеет на нижних конечностях, а в особенности на правой голени повсеместное расширение крововозвратных жил... от чего... затруднен в движении вообще... Инспектор Врачебной управы В. Всеволодов».

1826, 28 августа. Высочайшее повеление доставить Пушкина в Москву «свободно, но в сопровождении фельдъегеря».

1826, 28—29 августа. Мать Пушкина снова подает прошение, написанное за нее Вяземским, о выпуске сына за границу.

1827, 18 мая. Из Москвы Пушкин сообщает брату Льву в Тифлис: «Из Петербурга поеду или в чужие края, т. е. в Европу, или восвоюси, т. е. во Псков, но вероятнее в Грузию...»

1827, 8 мая. Замысел ехать в Ереван с Всеволожскими, а оттуда в Грецию к Каподистрия.

1827, июнь. Дельвиг пишет Осиповой, что он в Ревеле и ждет Пушкина, который обещал приехать.

1827, 15 июня. Пушкин начальнику Третьего отделения Александру Бенкендорфу в Петербурге: «Теперь осмеливаюсь просить Вас дозволить мне к Вам явиться, где и когда будет угодно Вашему превосходительству».

1827, 15 июля. Из Петербурга в Москву Сергею Соболевскому: «Приезжай в Петербург, если можешь. Мне бы хотелось с тобою свидеться да переговорить о будущем».

1827. План путешествия за границу с Соболевским. Тайный агент 23 августа: «Известный Соболевский... едет в деревню к поэту Пушкину и хочет уговорить его ехать с ним за

границу. Было бы жаль. Пушкина надо беречь как дитя. Он поэт, живет воображением и его легко увлечь».

1827, 20 сентября. Соболевский Николаю Рожалину: «...Еду завтра в Псков к Пушкину, уславливаться с ним письменно и в этом деле буду поступать пьяно — т. е. riано».

1828, 24 января. Пушкин Осиповой: «Жизнь эта, признаться, довольно пустая, и я горю желанием так или иначе изменить ее. Не знаю, приеду ли я еще в Михайловское».

1828, весна. Князь Вяземский жене: «...Смерть хочется, приехав, с вами поздороваться и распрощаться, возвратиться в июне в Петербург и отправиться в Лондон на пироскафе. Из Лондона недели на три в Париж, а в августе месяце быть снова у твоих саратовских прекрасных ножек... Вчера были мы у Жуковского и сговорились пуститься на этот европейский набег: Пушкин, Крылов, Грибоедов и я. Мы можем показываться в городах, как жирафы: не шутка видеть четырех русских литераторов...»

1828, 5 марта. Пушкин Бенкендорфу: «Осмеливаюсь беспокоить Вас покорнейшей просьбою лично узнать от Вашего Превосходительства будущее мое назначение».

1828, после 14 апреля. Письменное ходатайство Пушкина Бенкендорфу получить назначение в действующую армию в связи с подготовкой войны с Турцией.

1828, 18 апреля. Снова Бенкендорфу: «Являлся я сегодня к вам дабы узнать решительно свое назначение...»

1828, 18 апреля. Пушкин переправляет с оказией (с Сергеем Ломоносовым) свои книги за границу к Александру Тургеневу.

1828, 20 апреля. Отказ Бенкендорфа в просьбе Пушкина определить его в армию, наступающую на Турцию.

1828, 21 апреля. Пушкин Бенкендорфу: «Так как следующие 6 или 7 месяцев остаюсь я, вероятно, в бездействии, то желал бы я провести сие время в Париже, что, может быть, впоследствии мне уже не удастся».

1828, апрель. Вяземский Александру Тургеневу: «И есть же люди, которые почитают за несчастье быть удаленными из России». Вяземский в письме к жене: «Мне душно здесь, я в лес хочу. Мне душно здесь, в Париж хочу. Пушкину отказали ехать в армию. И мне отказали самым учтивым образом».

1828, конец апреля — начало мая. Агент Третьего отделения Андрей Ивановский от имени Бенкендорфа предлагает Пушкину сотрудничество с тайной полицией, что сделает возможным поездку поэта в Турцию, а затем и во Францию.

1828, 9 мая. Из дневника Александры Смирновой: «Вчера приезжал ко мне Пушкин и рассказывал, что он только что

перед этим едва устоял против сильнейшего искушения: он провожал в Кронштадт одного приятеля, и ему неудержимо захотелось спрятаться где-нибудь в каюте и просидеть там до тех пор, пока корабль не выйдет в открытое море. Но он-таки устоял против этого страстного желания — отправиться за границу без паспорта».

1828, 21 мая. Снова поездка Пушкина на пироскафе в Кронштадт (дальнейший путь за границу для Пушкина закрыт). Приступовали Вяземский, Оленин, Киселев, Грибоедов.

1828, 14 июня. Пушкин Николаю Языкову:

К тебе собирался я давно
 В немецкий град, тобой воспетый...
 ...И я с веселою душою
 Оставить был совсем готов
 Неволю невских берегов.
 И что ж? Гербовые заботы
 Схватили за полу меня,
 И на Неве, хоть нет охоты,
 Прикованным остался я.

1829, начало. Соболевский из Флоренции Ивану Киреевскому, собирающемуся за границу: «Прошу тебя написать больше о Пушкине, как и когда приехал, где и как жил, в кого влюблялся и когда едет».

1829, 5 марта. Пушкину выдана подорожная «от Санкт-Петербурга до Тифлиса и обратно».

1829, 7 мая. Вяземский сообщает жене: «Пушкин едет на Кавказ и далее, если удастся».

1829, май—июль. Неосуществленный замысел бегства Пушкина в турецкие порты Трапезунд и Самсун через Арзрум и оттуда в Европу («Путешествие в Арзрум»). «Вот и Арпачай, — сказал мне казак. — Арпачай! наша граница!.. Я поскакал к речке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимой мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России».

1829, 14 июля. В Арзруме чума, в Персии фанатиками убит Грибоедов, а в Турции друг Пушкина Бурцов, продолжение путешествия становится смертельно опасным, и поэт решает вернуться.

ХРОНИКА ТРЕТЬЯ

«СМЕРТЬ ИЗГОЯ»

(1829—1837)

1829, 4 октября. Стихотворение «Дорожные жалобы»:

Долго ль мне гулять на свете
 То в коляске, то верхом,
 То в кибитке, то в карете,
 То в телеге, то пешком?

1829, ноябрь—декабрь. Обсуждение Пушкиным возможности путешествия в Китай с Шеллингом и Бичуриным.

1829, декабрь. Иван Яковлев ждет Пушкина в Париже, о чем сообщает Николаю Муханову в Петербург: «Благодарю за несколько слов о Пушкине. Если он не уехал в деревню на зиму, то кланяйтесь поэту-герою. Он чуть ли не должен получить отсюда небольшого приглашения анонимного. Дойдет ли оно до него? А не худо бы ему потрудиться пожаловать, куда зовут».

1829, 23 декабря. Пушкин собирается в поездку за границу:

Поедем, я готов: куда бы вы, друзья,
 Куда б ни вздумали, готов за вами я
 Повсюду следовать, надменной убегая:
 К подножию ль стены далекого Китая,
 В кипящий ли Париж, туда ли наконец,
 Где Тасса не поет уже ночной гребец,
 Где древних городов под пеплом дремлют мощи,
 Где кипарисные благоухают рощи,
 Повсюду я готов, поедем...

1829, декабрь. Пушкин мечтает о Греции:

Но вас любить не остывал я, боги.
 И в долгие часы пустынной грусти
 Томительно просилась отдохнуть
 У вашего святого пепелища
 Моя душа — ...зане там мир.

1829, декабрь — январь 1830. В поэме «Тазит» возникает болезненная тема бегства:

Среди родимого аула
 Он как чужой; он целый день
 В горах один; молчит и бродит.
 Так в сакле вскормленный олень
 Все в лес глядит; все в глушь уходит.
 ...Из мира дальнего куда
 Младые сны его уводят?..

1830, 7 января. Пушкин снова Бенкендорфу: «...Я бы хотел совершить путешествие во Францию или Италию. В случае же, если оно не будет мне разрешено, я бы просил соизволения посетить Китай — с отправляющимся туда посольством».

1830, 12—14 января. Бенкендорф докладывает императору о ходатайстве Пушкина посетить Париж или Китай. Запрет.

1830, 17 января. Письменный отказ Бенкендорфа: «это слишком расстроит Ваши денежные дела, а кроме того, отвлечет Вас от Ваших занятий... в Китай... все входящие... лица уже назначены...»

1830, 17 марта. Выговор Бенкендорфа за самовольный отъезд Пушкина из Петербурга в Москву.

1830, 3 апреля. Отказ Бенкендорфа в просьбе Пушкина съездить в Полтаву.

1830, 12—13 мая. Пушкин пишет неоконченный набросок «Участь моя решена, я женюсь»: «Если мне откажут, думал я, поеду в чужие края, — и уже воображал себя на пироскафе. Около меня суетятся, прощаются, носят чемоданы, смотрят на часы. Пироскаф тронулся: морской, свежий воздух веет мне в лицо; я долго смотрю на убегающий берег — My native land, adieu!»

1830. Пушкин надеется на войну и собирается в Польшу. Из записок Петра Бартенева: «По словам Нащокина... Пушкин в Москве перед женитьбой, думая отправиться в Польшу, говорил... Он хотел было совсем оставить свою женитьбу и уехать в Польшу».

1830. Вяземский жене о Пушкине: «Женившись, ехать бы ему в чужие края, разумеется, с женою, и я уверен, что в этом случае разрешили бы ему границу».

1830, вторая половина лета. Знакомство Пушкина с Иваном Гуляновым, собирающимся за границу.

1830, декабрь. Пушкин встречается с Гуляновым в Петербурге. Мечты Пушкина о Египте, Шотландии, Нормандии, Швейцарии, переговоры с Гуляновым на эту тему.

1831, июнь. Пушкин ждет начала Европейской войны в связи с восстанием в Польше.

1831, 14 августа. Пушкин Вяземскому: «Если заварится общая, европейская война, то, право, буду сожалеть о своей женитьбе, разве жену возьму в торока».

1832, 18 июня. Проводы Александра Тургенева и Жуковского за границу. Пушкину разрешено доехать с ними до Кронштадта.

1833, 25 февраля. Пушкин Павлу Нащокину: «Путешествие нужно мне нравственно и физически».

1833, 27 мая. Пушкин получает пропуск доехать до Кронштадта, чтобы проводить Сергея Киселева, отплывающего за границу на пароходе «Николай I». Тогда же провожает Надежду Соллогуб.

1833, октябрь. Неоконченная поэма «Осень»:

Ура! — куда же плыть — к песчаным берегам,
Где дремлют вечности символы, пирамиды,
Иль... к девственным лесам
Младой Америки — Флориды?

...какие берега

Теперь мы посетим — Кавказ ли колоссальный
Иль опаленные Молдавии луга,
Иль скалы дикие Шотландии печальной,
Или Нормандии блестящие снега —
Или Швейцарии ландшафт пирамидальный?

1834, апрель. Желание поехать хотя бы в Варшаву. Надежда Пушкина дочери Ольге: «Александр, кроме того, сказал, что если возьмет продолжительный отпуск, то съездит повидаться с тобой в Варшаву; ни разу там не был». Отец Сергей Пушкин сестре поэта Ольге: «Посмотреть Варшаву ему не мешает».

1834, 11 июня. Пушкин жене из Петербурга в Полотняный завод: «А живя в нужнике поневоле привыкаешь к... и вонь его тебе не будет противна, даром что gentleman. Ух, кабы мне удрать на чистый воздух».

1834, 4 июля. Пушкин из Петербурга в Царское Село Жуковскому: «Домашние обстоятельства мои затруднительны: положение мое невесело; перемена жизни почти необходима».

1835, март или июнь. Из дневника Александры Смирновой: «Сегодня утром я встретила бедного Пегаса Пушкина в английском магазине... Он сказал мне: “Увезите меня в одном из ваших чемоданов... Я смотрю на Неву и мне безумно хочется доплыть до Кронштадта, вскарабкаться на пароход”».

1836, 18 мая. Пушкин жене из Москвы в Петербург: «...Черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом!»

1836, конец мая. Пушкин на ужине с Карлом Брюлловым признается ему: «Я хотел ехать за границу — меня не пустили, я попал в такое положение, что не знал, что мне делать, — и женился». Брюллов вспоминал: «Что он был талант — это все знали, здравый смысл подсказывал, что его непременно следовало отправить за границу... ему-то и не удалось там побывать, а только потому, что его талант был всеми признан».

1836, 14 августа.

Такие смутные мне мысли все наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть, да бежать...

1836, вторая половина — до смерти 29 января 1837. Размышления Пушкина, выраженные во многих произведениях, об уходе из жизни, о самоубийстве как единственной возможности обрести свободу.

1837, 25 февраля — 8 марта. Жуковский в письме обвинил Бенкендорфа после смерти Пушкина: «...Ему нельзя было тронуться с места свободно, он лишен был наслаждения видеть Европу, ему нельзя было произвольно ездить по России...»

Составила В. Л. Дружникова.

СОДЕРЖАНИЕ

Хроника первая ИЗГНАННИК САМОВОЛЬНЫЙ

<i>Глава первая.</i> Пушкин собирается за границу	5
<i>Глава вторая.</i> «Переселить его... в Геттинген»	22
<i>Глава третья.</i> Невыездной	31
<i>Глава четвертая.</i> Конфликт ума и сердца	38
<i>Глава пятая.</i> Курортник поневоле	59
<i>Глава шестая.</i> Кишинев: транзитный пункт	66
<i>Глава седьмая.</i> С греками в Грецию	76
<i>Глава восьмая.</i> Бегство с табором	85
<i>Глава девятая.</i> Надежда на войну	90
<i>Глава десятая.</i> Хлопоты и отказы	100
<i>Глава одиннадцатая.</i> Одесса: за черту порто-франко	114
<i>Глава двенадцатая.</i> Путиами контрабандистов	123
<i>Глава тринадцатая.</i> Деньги для выезда	131
<i>Глава четырнадцатая.</i> От туч под голубое небо	139
<i>Глава пятнадцатая.</i> «Я ношу с собою смерть»	153
<i>Глава шестнадцатая.</i> Час прощания	162

Хроника вторая ДОСЬЕ БЕГЛЕЦА

<i>Глава первая.</i> Михайловское: уговор с братом	179
<i>Глава вторая.</i> Слуга непокорный	191
<i>Глава третья.</i> Легально, для операции	198
<i>Глава четвертая.</i> Заговор с тиранством	210
<i>Глава пятая.</i> Прошение за прощением	227
<i>Глава шестая.</i> «Что мне в России делать?»	236
<i>Глава седьмая.</i> На привязи	247
<i>Глава восьмая.</i> Москва: «Вот вам новый Пушкин»	257
<i>Глава девятая.</i> Похмелье после славы	262

<i>Глава десятая. Новая старая стратегия</i>	276
<i>Глава одиннадцатая. Неотмеченный юбилей</i>	288
<i>Глава двенадцатая. В армию или в Париж</i>	296
<i>Глава тринадцатая. «Честь имею донести»</i>	308
<i>Глава четырнадцатая. Гений и злодейство</i>	318
<i>Глава пятнадцатая. Не совсем тайный отъезд</i>	332
<i>Глава шестнадцатая. Кавказ: переход границы</i>	344
<i>Глава семнадцатая. «Жаль моих покинутых цепей»</i>	351

Хроника третья

СМЕРТЬ ИЗГОЯ

<i>Глава первая. «Поедем, я готов...»</i>	365
<i>Глава вторая. Хотя бы в Полтаву</i>	387
<i>Глава третья. «Лишний человек» в зеркале</i>	406
<i>Глава четвертая. Поиски ниши</i>	423
<i>Глава пятая. Примирение духа с действительностью</i>	434
<i>Глава шестая. Неблагонадежный верноподданный</i>	441
<i>Глава седьмая. Внутренний эмигрант</i>	455
<i>Глава восьмая. «Сделаюсь русским Данжо»</i>	472
<i>Глава девятая. «Нет препятствий ему ехать, куда хочет, но...»</i>	489
<i>Глава десятая. Истина дороже родины</i>	513
<i>Глава одиннадцатая. Виза в лучший мир</i>	529
<i>Глава двенадцатая. Самоубийство?</i>	548
<i>Глава тринадцатая. Посмертный обыск</i>	568
<i>Глава четырнадцатая, похожая на эпilog. Из России после Пушкина</i>	580
<i>Примечания</i>	596
<i>Краткая хронология попыток А.С.Пушкина выехать за границу</i>	637

Дружников Ю. И.

Д 76 Узник России. По следам неизвестного Пушкина. Роман-исследование. Трилогия. — М.: Голос-пресс, 2003. — 656 с.

ISBN 5-7117-0389-7

«Вам известно, что у нас происходит: в Петербурге народ вообразил, что его отравляют. Газеты изощраются в увещаниях и торжественных заверениях, но, к сожалению, народ неграмотен, и кровавые сцены готовы возобновиться». Звучит как сегодня, но это из письма Пушкина Чаадаеву. В романе Юрия Дружникова о Пушкине (работа над рукописью продолжалась без малого 20 лет) трагически сплетены прошлое и современность. Какой хомут надевает на поэта власть? Возможен ли компромисс свободы слова с цензурой? Что благо для русского писателя: западничество или почвенничество, конформизм или инакомыслие? Есть середина или нужен выбор? В какой зависимости творчество и личная жизнь? Семья для поэта — поддержка или бремя?

Парадоксальные ответы впервые в литературной истории Дружников отыскивает в замалчиваемых деталях пушкинской биографии. О вершинах гения написаны тысячи книг, о его бедах предпочитали молчать. Пушкин бежит — от власти, от людей, от ненависти, даже от любви, бежит не столько от общества, сколько от самого себя. Куда? В ссылку? В деревню? За границу? Отсюда — дуэль. Не просто с любовником жены, но спасение от кризиса в творчестве, запутанности в интригах и карточных долгах, от проблем психики. Голос сверху призывает разорвать земные путы, уйти в другой мир. Как следствие — самоубийство.

«Узник России» — роман об унижительной, мелочной, смертельной игре писателя с государством за право смотреть на мир своими глазами. Игре, в которой раб Божий Пушкин, выиграв бессмертие, «все ставки жизни проиграл». Это — детальное расследование крепостной зависимости русского писателя от сгибающей его в три погибели власти, неудачных попыток выскользнуть из ее когтей и, в итоге, непреодоленной национальной беды: длинной вереницы растленных судеб.

ББК 84 (2Рос-Рус)6

Дружников Юрий Ильич
УЗНИК РОССИИ

Корректор *Л. Марченко*
Художник *А. Морозова*

Лицензия на издательскую деятельность
ИД № 00800 от 20.01.00 г.

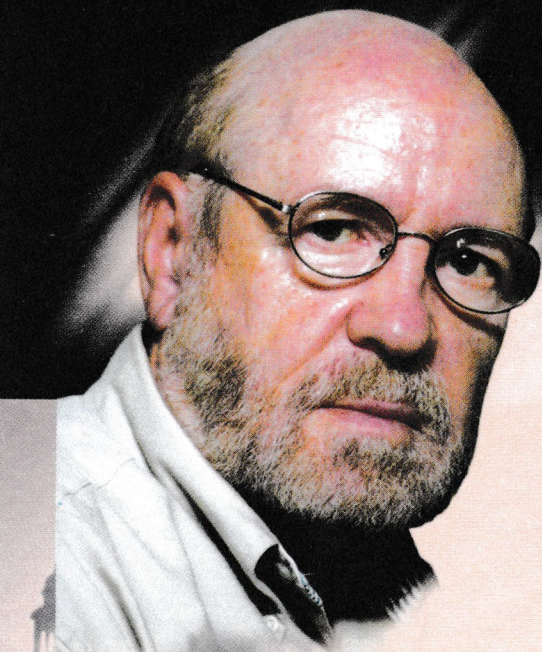
Сдано в набор 01.11.02 г. Подписано в печать 04.02.03 г.
Формат 84х108/32. Бумага писчая. Печать высокая.
Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 34,44.

Тираж 3000 экз. Заказ № 517.

Издательство «Голос-Пресс»
115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 52, стр. 1
тел./факс (095) 953-02-25

**Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в издательско-полиграфическом комплексе «Звезда».
614990, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.**

Юрий Дружников



Юрий Ильич Дружников (Москва, 1933). Исключен из Союза писателей СССР (1977), запрещен (1976–1991), на Западе публикуется с 1979 года, сейчас работает в США.

Другие книги: «Ангелы на кончике иглы» (роман о журналистах, о подавлении Московской весны после Пражской включен ЮНЕСКО в список лучших современных произведений мировой литературы в переводе, награжден Союзом польских писателей премией имени Достоевского); «Донощик 001, или Вознесение Павлика Морозова» (первое независимое расследование), «Виза в позавчера» (роман), «Микророманы», «Вторая жена Пушкина», «Русские мифы», «Дуэль с пушкинистами», «Я родился в очереди». А также собрание сочинений в шести томах (Baltimore, VIA Press, 1998), избранное в двух томах (Санкт-Петербург, «Пушкинский дом», 1999), избранное в двух томах (Екатеринбург, «У-Фактория», 2001).

Профессор Калифорнийского университета, вице-президент Международного ПЕН-клуба (секция «Писатели в изгнании»). В 2002 году Дружников был номинирован на премии «Русский национальный бестселлер» и «Букер».